

КОБО А БЗ

ИЗБРАННОЕ



ИЗДАНИЕ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1988

84.5 Я

А 13

Перевод с японского
В. С. Гривнина

Вступительная статья
Н. Т. Федоренко

Иллюстрации и оформление
В. П. Борисова

А $\frac{4703000000-1591}{080(02)-88}$ 1591-88

КОБО АБЭ. ВПЕЧАТЛЕНИЯ И МЫСЛИ

Среди современных писателей Японии Кобо Абэ принадлежит особое место. Его творчество привлекает внимание прежде всего оригинальностью художественного видения. Именно поэтому каждая новая книга этого автора — значительное событие в духовной жизни — и не только для Японии, — раскрытие новых неизведанных граней бытия. Неверно, что все важнейшие темы давно уже исчерпаны мировой литературой и это неизбежно обрекает писателей на повторение. Никто не может знать, на чем сосредоточится пронизательный взгляд писателя, какие открытия ждут читателя Кобо Абэ. Ибо Кобо Абэ никогда не перепахивает старое поле — каждый раз поднимает целину.

Творчество Кобо Абэ противоречиво, но никоим образом его не отнесешь к литературному плоскогорью. Это — художник определенного социального и духовного климата, певец огромного и печального города Токио.

Мне не раз доводилось встречаться с Кобо Абэ в Токио и Москве, и всегда наши встречи сопровождались увлекательными беседами о творчестве писателя, нескончаемых его поисках, раздумьях и проблемах. Стремился читать и книги Абэ, как только они выходили в свет. И теперь мне трудно отделить их содержание от наших бесед.

Родился Абэ в 1924 году. Окончил медицинский факультет Токийского университета. Врачом, однако, не работал ни одного дня: свое призвание он увидел в литературном творчестве. В 1948 году в журнале появился первый его рассказ «Дорожный знак в конце улицы». Но известность принесла ему повесть «Стена. Преступление S. Кармы», за которую он был удостоен высшей литературной премии Японии — Премии Акутагавы. Это случилось в 1951 году.

В 1960 году вышел его роман «Женщина в песках», за который Абэ получил Премию газеты «Иомиури». А произведения, вошедшие в этот том — «Чужое лицо», «Сожженная карта» и «Человек-ящик», — были опубликованы в 1966, 1969 и 1973 годах. Все они переведены и не раз издавались во многих странах мира.

Широкую известность Абэ приобрел не только как прозаик, но и как драматург и режиссер. Им написано большое число пьес, некоторые из них переведены на русский язык («Крепость», «Охота на ра-

бов», «Призраки среди нас», «Друзья»). Свои пьесы Абэ ставил в созданной им «Студии Абэ».

В 1980 году руководимый Абэ театральный коллектив — двадцать пять человек — побывал на гастролях в Соединенных Штатах и дал представления в пяти крупнейших городах, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Чикаго. Гастроли прошли с большим успехом, что подтвердило правильность творческих принципов Абэ.

Конечно, быть одновременно прозаиком, драматургом и режиссером, писать для радио и телевидения далеко не просто. Абэ считает, что именно эта многогранность позволяет ему лучше познать синтетическую природу искусства. Может быть, потому его романы в чем-то сродни драматическим произведениям, ибо писатель должен, говорит Абэ, прежде воздействовать на чувства, вызвать душевный отклик, а уж потом взволновать и разум.

Оригинально художественное воображение Абэ. Тайна здесь в том, что писатель обладает редкостным даром перевоплощения; он становится то Ники Дзюмпвэм (роман «Женщина в песках»), то человеком-маской (роман «Чужое лицо»), то агентом, разыскивающим беглеца («Сожженная карта»), то человеком-ящиком («Человек-ящик»). Автору удается воплотить в литературных образах реальные характеры с их неподдельной живостью и естественностью. Это, разумеется, отнюдь не означает, что позиции автора совпадают с идейными устремлениями его героев. Для того чтобы сделать персонажи живыми, полнокровными, художнику необходимо пережить их чувства, проникнуться их мыслями, найти отклик в окружающих и в самом себе. Именно поэтому художник превращает в предмет повествования, в зрелище самого себя.

Популярность Кобо Абэ у читателей, в том числе в нашей стране, объясняется не просто высоким мастерством писателя, но и тем, что он поднимает в своих романах острее проблемы, стоящие перед человечеством. Основная идея его романов — столкновение человека с враждебным ему чувством и тщетность любых попыток уйти от него, порождающие чувство глубокой безысходности. В буржуазном обществе человек — былинка, неспособная определять свою судьбу, а значит, главная проблема заключена в необходимости изменения общественного устройства, социальных условий существования человека.

«Быть напечатанным в России,— говорит Абэ,— большая честь для любого писателя. Каждая моя публикация в Советском Союзе — событие для меня очень радостное. Во-первых, потому что я давний поклонник русской литературы. Еще в школьные годы я был покорен творчеством двух гигантов русской литературы — Гоголя и Достоевского. Я прочел почти все написанное ими, и не один раз, и причисляю себя к их ученикам.

Особенно большое влияние оказал на меня Гоголь. Переплетение вымысла и реальности, из-за чего реальность предстает предельно ярко и впечатляюще, появилось в моих произведениях благодаря Гоголю, научившему меня этому.

Во-вторых, по моему глубокому убеждению, ни один писатель,

творчество которого представляет определенный интерес, не может не выйти за рамки своей страны. Таким образом, факт, что мои произведения переводятся в Советском Союзе, как, впрочем, и в ряде других стран мира, знаменателен для меня, поскольку свидетельствует о том, что мое творчество привлекает внимание не только японского читателя. Я не настолько самоуверен, чтобы преувеличивать свое место в японской, а тем более в мировой литературе, но тем не менее каждый раз, когда мои произведения преодолевают границы Японии, я испытываю волнение и гордость».

Я хотел показать, во что может превратиться мир, если в нем правит ненависть, если человеческие отношения деформированы. Людям необходимо другое. Самое главное сейчас для человечества — мир, спокойная созидательная жизнь. Те усилия, которые предпринимаются в этой области, достойны всемирной поддержки».

Слова эти приоткрывают завесу над идейными и творческими принципами Абэ и в то же время указывают на огромное уважение писателя к русской культуре и литературе. Кстати, в этом я убеждался всякий раз, когда встречался с писателем.

Творчество Абэ — явление сложное, неоднозначное. Бесспорно одно: Абэ обличает зло современного буржуазного общества, бессилие, ничтожность человека, столкнувшегося лицом к лицу с этим обществом. И эта тема присутствует во всех произведениях писателя. Тема отчуждения, одиночества людей, враждебности буржуазного общества личности человека — главная тема трех романов, включенных в настоящий сборник.

Несомненное созвучие времени — примечательная черта творчества Кобо Абэ, о котором можно уверенно сказать, что ему чужды неподвижность и оцепенение его образов и героев. Нет, он не погружается в полузабытый мир прошлого. В его творчестве, если соотнести его с предшествующим опытом, заметен сдвиг во взаимоотношениях читателя с художественным образом, при котором стало ненужным создавать видимость сюжета или похожести на жизнь, на реальную действительность.

«Чужое лицо» на первый взгляд может показаться романом о трагедии человека, лишившегося лица в самом прямом смысле. В результате взрыва в лаборатории на лице человека образовались чудовищные шрамы, и он убежден, что его уродство, именно внешнее уродство, преградило ему путь к людям. Теперь он обречен на одиночество. И человек решает преодолеть трагедию. Путь один — прикрыть лицо маской. Казалось бы, так просто — ведь современное развитие химии как будто дает для этого возможность. Но все оказывается намного сложнее и трагичнее, ибо герою неведома истинная природа маски, неведомо, что человек всегда в маске. И он вдруг прозревает: «Все люди закрывают окно души маской из плоти и прячут обитающие под ней пиявки», и потому маска выполняет роль «прикрытия истинного облика человека».

В связи с экранизацией этого романа Жорж Садуль писал, что «обезображенный человек... должен символизировать лицо Японии, опустошенной войной». Таким образом, Абэ как бы вторгается в жар-

кие споры, ведущиеся в мире, и в Японии в том числе, об идентичности, о выявлении человеком своей личности и своего места в мире.

Надев маску, герой неожиданно осознает, что она «легко может взять на себя роль прикрытия правды», и у него возникают ассоциации с так называемыми мнимыми числами, которые, как ему представляется, по своей природе схожи с маской. Это «странные числа, которые при возведении в квадрат превращаются в отрицательные. В маске тоже есть нечто схожее с ними: наложить на маску маску — то же самое, что не надевать ее вовсе».

Другое весьма важное открытие, к которому приходит герой, — стремление людей отождествить внешний облик с внутренним содержанием, убеждение, что «лицо и душа находятся в совершенно определенной взаимосвязи». И отсюда стремление скрыть свое истинное лицо, чтобы не позволить посторонним проникнуть в душу. Вот почему, рассуждает герой, в давние времена палачи, инквизиторы, разбойники не могли обойтись без маски. Да, видимо, все, кто творит неправое дело, будь то во времена средневековья или в наши дни, стараются надеть на себя маску в прямом или переносном смысле, поскольку маска призвана «скрыть облик человека, разорвать связь между лицом и сердцем, освободить его от духовных уз, соединяющих с людьми». Таким образом, достаточно прикрыть маской свое настоящее лицо, и открывается истинная сущность человека, подчас весьма непривлекательная, а то и вовсе страшная. Следовательно, лицо человека — нечто гораздо более важное, чем мы привыкли считать, поскольку все в нашей жизни, в том числе и порядок, обычаи, законы — «эта готовая рассыпаться песчаная крепость, удерживается тонким слоем кожи — настоящим лицом».

Итак, связь между внешним обликом человека и его внутренним содержанием существует несомненно, но носит она совсем другой характер, чем предполагали физиогномисты или Ломброзо. По Абэ, лицо не выявляет сущности человека, оно связано с чем-то совсем иным. Ни черты лица, ни тем более цвет кожи не имеют никакого отношения к тому, что представляет собой человек. Для Абэ, убежденного противника расизма, такая постановка вопроса вообще нелепая. «Мы желтая раса, но мы не были желтой расой от природы, — говорит Абэ устами своего героя. — Впервые мы превратились в желтую расу благодаря тому, что были названы так расой с другим цветом кожи». Надев маску и тем самым обнажив свою душу, чтобы испытать маску, герой направляется в корейский ресторан, подсознательно чувствуя, что он, лишенный лица, и корейцы — дискриминируемое национальное меньшинство в Японии — сродни друг другу. Именно здесь и осознает он, к немалому своему удивлению, что и он — расист, и приходит к выводу, что «сам тот факт, что я искал убежища среди этих людей, был не чем иным, как перелицованным предрассудком».

Следуя за рассуждениями героя, мы в конце концов понимаем, что имел в виду автор, сопрягая лицо и душу человека: лицо человека — его совесть. Соорудив себе маску и прикрыв ею лицо, герой лишается совести. Теперь он готов на любые, самые ужасные поступ-

ки, а может быть, даже преступления. Значит, маску, в прямом или переносном смысле, должны иметь все, кто творит зло. И не случайны слова героя: «...именно солдат ведет совершенно анонимное существование. Хотя он и не имеет лица, это не препятствие для выполнения долга...» Безликая воинская часть — идеальное формирование. Идеальная боевая часть, которая, не дрогнув, пойдет на разрушение ради разрушения.

Герой, надев маску, превращается в насильника. А что, если все люди, надев маски, освободят себя от обязательств по отношению к обществу, задает он себе вопрос. Тогда все преступления станут анонимны: преступника нет — маска. Но так ли уж далек этот вымышленный мир масок от того, что происходит в сегодняшней Японии? Бедь только личина, только способность прикрыть ею свою совесть позволяет добиваться успеха в жизни. Вымысел героя при ближайшем рассмотрении оказывается близким реальности.

Совершенно иной аспект приобретает проблема «потери лица», когда человек добр, когда он открыт людям. В этом плане весьма выразителен маленький эпизод в романе о трагедии девушки — жертвы Хиросимы, у которой искалечена половина лица и жизнь фактически перечеркнута. Не в силах вынести этого, она кончает жизнь самоубийством. Автор как бы говорит: пусть в мире не происходит трагедий, которые бы привели к «потере лица», будь то внутренняя катастрофа человека, будь то война.

Кобо Абэ — художник сознательной, нарочитой зашифрованности, писатель аллегорического смысла и сатирических красок. В его произведениях — красочный мир художественной иллюзии. Книги его написаны образно и вместе с тем со скрупулезностью исследователя.

В романе «Сожженная карта» проблема «человек и враждебное ему общество» рассматривается в несколько ином аспекте. Безрадостная повседневность, в которой существует человек, неуверенный в своем завтрашнем дне, обыватели, укrywшиеся в своих квартирах-пеналах, монотонное их существование. Предельно выразительны слова агента, рисующего эту картину всеобщего «обывательства»: «Если смотреть сверху вниз, ясно осознаешь, что люди — шагающие на двух ногах животные. Кажется даже, что они не столько шагают, сколько, борясь с земным притяжением, усердно тащат мешок из мяса, набитый внутренностями. Все возвращаются. Приходят туда, откуда ушли. Уходят для того, чтобы прийти обратно. Прийти обратно — цель, и, чтобы сделать толстые стены своих домов еще толще, надежней, уходят запастись материалом для этих стен. И запираются каждый в своем «пенале» — безликая серая масса, чтобы утром снова по звонку почти одновременно повернуть ключ в дверях своего жилища».

Такова картина одуряющей, развешивающей душу повседневности, на которую обречены миллионы людей преуспевающей сегодня Японии. Внутренняя неустроенность человека, страх перед будущим, страх потерять даже то мизерное, чем он обладает сегодня, заставляет его делать бесконечные попытки найти опору в жизни.

Известно, что в условиях капиталистического принуждения даже труд, в процессе которого человек себя отчуждает, есть принесение

себя в жертву, самоистязание. Труд, как и все его существование, проявляется для рабочего в том, что труд этот принадлежит не ему, а другому, и сам он принадлежит не себе, а другому. В итоге «труд производит чудесные вещи для богатей, но он же производит обнищание рабочего. Он создает дворцы, но также и трущобы для рабочих. Он творит красоту, но также и уродует рабочего. Он заменяет ручной труд машиной, но при этом отбрасывает часть рабочих назад к варварскому труду, а другую часть рабочих превращает в машину. Он производит ум, но также и слабоумие, кретинизм как удел рабочих»¹.

Пропавший без вести человек, которого по просьбе заявителями — его жены — разыскивает агент частного сыскного бюро, принадлежит именно к таким людям. Верным средством удержаться на поверхности ему представляются дипломы. Потеряв место, он, как ему кажется, с помощью диплома может найти другое. Он получает диплом автомеханика, радиста, школьного учителя. Будущее обеспечено, утешается он. Но никакие дипломы не могут спасти человека от самого себя, и тогда он бежит из той жизни, на которую обречен. Даже тот, кто еще не исчез, — агент, разыскивающий пропавшего, — тоже внутренне ощущает себя беглецом. Не случайно его жена бросает ему обвинение: «Ты просто ушел из дому, сбежал... Нет, не от меня... от жизни... От того, что заставляет без конца хитрить, от напряжения, словно приходится ходить по канату, от того, что делает тебя пленником спасательного круга, — в общем, от всего этого бесконечного соперничества». И тогда агент понимает, что пропавший без вести не одинок, что «он существует в бесчисленных обличьях».

Произведения Абэ в известном смысле можно считать не просто зарисовками, но монументальными полотнами бегущей эпохи. Бегущей эпохи... Еще точнее — неотвратимо исчезающего, движимого ходом исторического развития времени.

Художник вскрывает неизлечимые язвы буржуазного общества. Их много, они разнообразны, хотя сущность их едина. Он обнаруживает их в явлениях социальных, психологических и нравственных, в самых, казалось бы, невинных движениях человеческой души.

Бесперспективность, неопределенность, а подчас и иллюзорность цели — вот основная причина, почему бежит из дому герой «Сожженной карты». Тасиро, еще совсем молодой служащий фирмы, в которой работал исчезнувший, с горечью признается: «Эта мерзкая фирма... Я буквально убить себя готов, как подумаю, что ради этой фирмы торгую человеческими жизнями... служу я там, а что меня ждет? Стану начальником отделения, потом начальником отдела, потом начальником управления... а если и об этом не мечтать, то жизнь еще горше покажется... товарищей обойди, к начальству подлижись... кто не следует этому правилу, того кто угодно ногой пнет, с таким как с отбросом обращаются».

Автор невольно задается вопросом: развее в жизни одного чело-

¹ Маркс К. и Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., Госполитиздат. 1956, с. 562.

века мы не можем найти в той или иной мере ответа на другую жизнь? И разве не случается, что разные грани идеи получают воплощение в жизни того или другого характера, человека, личности?

Имеет ли человек право мешать своему ближнему выбрать свой путь, если сам помочь ему не в силах? Разве перед человеком не открывается возможность искупления, нравственного исповедания? Истинному художнику нет нужды доказывать, что человек — высшая ценность. Отсюда — укрупнение мыслей и чувств создаваемого характера, и духовные конфликты, связанные с поисками смысла его существования, и наполнение характеров, будто уже знакомых, чуть ли не хрестоматийных, новой современной актуальностью.

Весьма интересна мысль одного из героев: «Мы по своему усмотрению определяем человеку место, где он должен жить, а сбегавшему набрасываем на шею цепь и водворяем на место... Мы видим в этом здравый смысл, но основателен ли он?.. Кому дано право наперекор воле человека решать за него, где ему жить?» Другой, как бы развивая эту мысль, говорит: «Никак не возьму в толк, почему люди думают, что имеют право — и считают само собой разумеющимся — преследовать человека, скрывшегося по своей собственной воле?»

Как бы привлекательно ни звучали эти слова, Абэ решительно отвергает идею логичности, допустимости бегства человека от общества. «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», — читаем мы у В. И. Ленина. Но большое общество часто не в ладах с логикой. Случайно ли, что в романе приводится газетная заметка, в которой говорится, что в Японии ежегодно пропадают без вести восемьдесят тысяч человек. Возможно, эта цифра вымышленная, но Абэ специально приводит ее, чтобы лишний раз подчеркнуть универсальность явления, описываемого им в романе.

Другая мысль, к которой автор неоднократно возвращается, — одиночество человека в нынешней Японии, где такое огромное количество людей сосредоточено на сравнительно небольшой территории, что об одиночестве, казалось бы, не может быть и речи. «Под ночным небом, на котором дышит неон, водовороты людей, мчащихся к неведомой цели... людей, которые не могут увеличить расстояние между собой и чужими больше чем на три метра, с какой бы скоростью они ни неслись». И вот в этом людском водовороте человек одинок.

Есть японская старинная картина «Ад одиночества». На ней изображено множество летящих людей. Они теснят друг друга, отстают, обгоняют, кажется, они слиты в единое целое, в какой-то общий, несущийся вперед организм. Но весь ужас в том, что каждый из летящих — одинок. Это души грешников, обреченных на вечное одиночество. Это одиночество и имеет в виду Абэ — одиночество духовное. Вот как говорится об этом в «Сожженной карте».

В подземном переходе, опершись о колонну, сидит человек. Но людей, проходящих мимо, этот странный человек несколько не беспокоит. Видимо, потому, что для них он не больше, чем пустота, исчезающая под ногами, подобно узору на кафеле». Вот что для них

человек — пустота. Они могут, не задумываясь, растоптать его, а не то что помочь — вдруг человек болен, умирает и его еще можно спасти. Нет, такая мысль чужда окружающим. Сегодня они способны растоптать человека, завтра — не исключено — растопчут их. Такова жизнь — обижаться, удивляться, негодовать не приходится.

От этой-то жизни и бежит человек, хотя прекрасно осознает, что бежит он в такую же точно жизнь, не сулящую ему никаких радостей, неспособную спасти его от тех горестей, которые его окружают.

Призывы «убей», «укради», «все дозволено» могут быть — субъективно, в устах тех, кто их проповедует, — направлены против лицемерия буржуазного общества, превращающего человека в ничтожную вещь. Но объективно все эти и другие подобные лозунги представляют собой апологию зла, то есть еще более злобную и агрессивную форму той же буржуазности, глубоко враждебной трудящемуся человеку.

С выходом в свет книг Кобо Абэ мы видим, что в мире японского искусства снова возникают произведения, повествующие о человеке, о людях современных.

Кобо Абэ — художник многопланового творчества. Дарование художника сочетается у него с аналитическим складом ума. В его произведениях обнаруживается широта взглядов человека, внимательно следящего за развитием философской, социологической и естественнонаучной мысли бурного и многоопытного нашего века. Именно поэтому книги Абэ обладают значительным интересом. Разве не возникает отсюда ощущение устойчивости позиций писателя?

Герой романа «Человек-ящик» тоже пытается скрыться от общества, но не путем бегства от него, а надев на себя ящик и превратившись тем самым как бы в новое существо, олицетворяющее уход, бегство от общества, — в человека-ящика. Люди оказываются в ящике по самым разным причинам. Одни потому, что не в силах жить в обществе потребления, в обществе зла, когда отношение окружающих заставляет человека чувствовать свою ничтожность, инородность в этом обществе сытых, зараженных духом стяжательства. И вот человек-ящик — сначала очень робко, очень нерешительно — освобождается от привычной психологии. «Накапливать трудно, выбрасывать еще труднее». Но постепенно, по мере превращения в настоящего человека-ящика, стяжатель умирает в нем. Человек освобождается от инерции накопительства.

Стремление укрыться в ящике для такого человека — это стремление к свободе. «Кто хоть раз нарисует в своем воображении безымянный город, существующий лишь для безымянных жителей, двери домов в этом городе, если их вообще можно назвать дверьми, широко распахнуты для всех — любой человек твой друг, и нет нужды всегда быть начеку... кто хоть однажды размышлял об этом, того всегда подстерегает... опасность стать человеком-ящиком», — говорит один из героев романа.

Ящик позволяет увидеть все в истинном свете — в этом его преимущество. От внимательного взгляда человека-ящика ничто не ускользнет. «Глядя из ящика, можно рассмотреть и ложь, и злой умы-

сел, укрывшиеся в невидимой части пейзажа». Вот почему ящик для героя — это не тупик, в котором он оказался, а «широко распахнутая дверь в иной мир». И он не собирается покидать своего убежища. «Только ради того, чтобы вернуться в прежний мир, мне не стоит вылезать из ящика. Я бы покинул его только в том случае, если бы смог... сбросить кожу в ином мире».

Для иных ящик — средство скрыться от позора, как, например, для отца обесчещенного юноши. Кстати, и обесчещенного потому, что подозрительность, недоверие возведены в принцип отношений между людьми.

Итак, человек укрывается в ящике, превращаясь в некое новое существо — человека-ящика. Механическое соединение человека и ящика — это не просто сложение двух разнородностей, а рождение третьей. Так же как маска в «Чужом лице» привела к ломке всей психологии героя, так и ящик — что скрыто в нем, никому неизвестно. Человек-ящик, как ему кажется, почти не обременяет общество, и он хочет лишь одного — чтобы и общество не обременяло его.

Человек-ящик — логическое развитие образа человека в подземном переходе из «Сожженной карты». «Все точно сговорились хранить молчание о людях-ящиках», — говорит герой. Их видят все, но никто не признается в этом. Для окружающих человек-ящик — пустота. Люди так привыкли игнорировать окружающих, что фактически все они для них не существуют, превратившись как бы в людей-ящиков. Один из персонажей романа поражен, что лишь беспристрастный объектив фотоаппарата запечатлел человека-ящика. Незначительность, неинтересность для окружающих судьбы человека прекрасно переданы в размышлении героя о яде информации, которым заражено человечество. Ныне век информации. Но какая информация, какие новости интересуют людей? События мирового масштаба. Где-то полыхает война, гибнут тысячи людей, а я жив, землетрясения стерло с лица земли город, а я жив. Такая новость устраивает обывателя. Он сравнивает мизерное свое счастье с катастрофой, отчего оно представляется ему значительнее, весомее, прекраснее. Такая новость нужна. Но вот на улице умирает человек, и фоторепортер, нацелившийся было сфотографировать эту трагедию, вдруг передумал — кому нужна такая новость? А ведь именно смерть человека и есть самая потрясающая и печальная новость.

И если человек не находит силы противопоставить себя этому всеобщему безразличию, бороться с ним, у него действительно не остается другого выхода, как забиться в нору — укрыться в ящике. Общество отвергает человека, и что ж, человек тоже отвергает общество — такова нехитрая философия человека-ящика.

Человек одинок. Он никому не нужен. Кажется бы, что может быть прекраснее свободы человека, его независимости? Независимость человека, однако, рассматривается односторонне. Поскольку человек независим от общества, значит, и у общества тоже нет по отношению к нему никаких обязательств. Абэ стремится вскрыть лживость подобных утверждений. Он доказывает, что связь между человеком и обществом разорвать невозможно, независимо от того,

негативны эти связи или позитивны. Ни один ящик, даже во сто крат прочнее картонного, не в состоянии оградить человека от общества, сделать его независимым от него. Ведь ящик — это только физическая преграда, отделяющая человека от общества. Главное же — духовное порабощение человека обществом, от которого никакой ящик не спасет.

Нет ни одной мельчайшей клеточки классового общества и государства, где царили бы порядок и благообразие, все здесь находится в раздвоении и противоречиях, в постоянной борьбе и брожении. И тем больше обостряются самостоятельность и активность человеческого самосознания, стремящегося вырваться из тех узких границ, которые поставила ему буржуазная цивилизация. На этом пути человек неизбежно терпит поражения и совершает ошибки, но остановить его движение вперед невозможно, ибо оно — неотъемлемая черта «живой жизни», глубоко укоренилось в самой внутренней природе вещей.

Для Кобо Абэ, насколько можно понять принципы его творчества, главное состоит в том, чтобы изображать мир не просто как его видит художник, но таким, каков он на самом деле. Его ведут не зигзаги памяти, не зигзаги и фантазии, а предложенные обстоятельства. Предложенные кем? Самой жизнью. Отсюда — тема смертельной схватки героев его книг, отсюда — отчужденность, гложущая их существо тоска. Отсюда же жадное стремление к воздуху физического и духовного здоровья. Разве не это — главная причина того, что герои романов Абэ, ощущая гнетущую свинцовую атмосферу окружающей действительности, готовы в любую щель запрягаться, искать спасения даже в картонном ящике? Разве читателя вместе с действующими лицами произведений Абэ не охватывает чувство — скорее бы вырваться из окружающего мрака, из той реальности, которая создана против воли человека и которая беспощадно его угнетает? Каждый по-своему носит в себе трагизм жизни, трагизм человеческой личности. Верно, что проблема человеческих отношений проста, как жизнь, и сложна, как жизнь. Типичное в его произведениях приобретает характер индивидуальный. Абэ выступает не только как зритель бытия, но как участник ситуаций японской общественной жизни.

Чрезвычайно интересен образ нищего в шляпе, сплошь утыканной национальными флажками. Вряд ли можно сомневаться, что этот увешанный значками и медалями человек должен, по замыслу Абэ, олицетворять власти нынешней Японии. Именно он проявляет наибольшую агрессивность по отношению к человеку-ящику, пытающемуся поставить себя вне общества. Чтобы распространить на него свою власть, нищий неожиданно насккивает на ящик и втыкает в него свой флажок — теперь, мол, ты принадлежишь мне. И хотя герой убежден, что с настоящим человеком-ящиком нищему не совладать, читатель не разделяет его уверенности.

Порой слышатся голоса критиков — нужно освободиться от символики, от условности. Но когда художник избавляется от условных фигур, не теряет ли сюжет свой смысл, не исчезает ли искусство?

И разве все метафоры и символы должны пониматься буквально? Кого не бьет меткое слово, того не будет бить и палка.

Прибегает ли Абэ к символике для того, чтобы сюжет не показался слишком обыденным, заземленным? Или речь идет о бессознательных символах? Не подменяются ли причины действительные причинами фиктивными? Или это дань системе знаков, в которой язык человека — знаки, жест — знаки, поведение — знаки? Без знаков нет информации. Исчезновение информации ведет к прекращению существования мира. Едва ли все можно объяснить только таким образом. Пожалуй, это было бы слишком легко и утешительно. Нет здесь простого пути.

Через весь роман проходят два образа: образ человека, упрятавшего себя в ящик, и обнаженного человека. Это столкновение «герметичности», «закрытости», страха соприкосновения с обществом — и «открытости» как попытки вернуть разорванные связи с людьми. В эпизоде с подростком, которого в наказание заставили раздеться, Абэ показывает, что такое понимание обнаженности, естественности чуждо людям, воспитанным в духе недоверия к человеку. Для них обнаженность — наказание. Они живут еще некими категориями средневековья, ставившего к позорному столбу обнаженного человека. И когда подростка заставляют обнажиться, то есть выставляют на осмеяние, этот, казалось бы, незначительный эпизод ломает всю его жизнь. До конца дней он обрекается на одиночество, что с предельной выразительностью показано в его сие о неудачной женитьбе.

В этом ряду стоит и образ обнаженной женщины, которая, по мысли автора, должна символизировать жизнь в ее первозданном, не замутненном сложными и противоречивыми человеческими отношениями состоянии. Вообще Женщина занимает в романе особое место. Собственно, она центр, вокруг которого развивается все повествование. Но было бы неверно видеть в ней предмет физического влечения героя. В изображении автора она значительно больше, чем просто женщина — объект любви или вожделения. Она олицетворяет Жизнь. И эта Женщина-жизнь — единственная, кто может спасти человека от ящика, дать силы, которые позволят ему противопоставить себя враждебному обществу, выстоять под его ударами, а может быть, даже и самому нанести удар.

Уже давно стало аксиомой, что не вымысел, не фантастичность ситуации, присутствующие в произведении, служат чертой, отделяющей модернистскую литературу от реалистической. В модернистской литературе вымышленный мир существует независимо от реального мира, нередко вопреки ему. Мир вымысла модернистского произведения создан не для того, чтобы глубже проникнуть в мир реальный, — в нем два эти мира не пересекаются.

В романах Абэ, в «Человеке-ящике» в том числе, взаимосвязь вымышленного и реального миров существует постоянно. Автор использует документ, газетную статью, то есть факты реальные, и проецирует их на ситуацию вымышленную, чтобы подчеркнуть, что

вымышленный мир его романа не мир фантастический, а лишь несколько деформированный воображением реальный мир.

Читатель верит в реальность вымышленного мира Абэ, когда он ощущает на своем лице не дающую ему дышать маску, когда чувствует на своих плечах ящик. И читателю становится ясна психология человека, вынужденного надеть маску, человека, бежавшего в никуда, человека-ящика, решившегося оградить себя от общества. Итак, человек не имеет права совершать поступки, не взвесив их на весах совести («Чужое лицо»). Человек не может найти себя вне самого себя («Сожженная карта»). Человек бессилён эмансипироваться от общества («Человек-ящик»). Таковы некоторые постулаты, над которыми Абэ предлагает нам задуматься и исходя из этого строить свою программу жизни.

Изобразил ли Абэ в своих произведениях, спросим мы, страдания человека, осознавшего до конца глубину истины социальных несправедливостей в изображаемом частнособственническом обществе? Едва ли. Постигание истины явлений во всей их многосложности — задача куда как шире, неизмеримо труднее. Да вряд ли писатель вообще ставил перед собой задачу всеохватного изображения наблюдаемой реальности, хорошо понимая, что знания никогда не могут достигнуть крайних пределов. Справедливо это как в отношении жизни, так и в отношении искусства.

Все это, конечно, так. Смею думать, однако, что позицию художника следует рассматривать в сложных взаимосвязях и противоречиях. Скорее можно говорить об изображении автором определенных сторон общественной жизни буржуазного общества, существенных социальных явлений, типичных для этого общества. Важно при этом указать, что характерные эти явления и персонажи писатель изображает не изолированно, не в отрыве, но на определенном фоне и во взаимосвязи со всей социальной действительностью современного буржуазного общества, в котором развиваются события.

Герои Абэ нередко предстают перед читателем не живыми людьми, а символами, призванными олицетворять то или иное явление. Происходит это потому, что романы Абэ тяготеют к притчам. В ответе на анкету «Реализм сегодня», проведенную журналом «Иностранная литература», Абэ писал: «В области литературы мыслить диалектически — это не значит стремиться отобразить действительность во всей ее совокупности, но на первый взгляд ограничивая себя определенным кругом явлений, прийти в результате творческого процесса к открытиям, которые на деле обогащают наше познание действительности...» Таково понимание Абэ художественного метода, позволяющего, по его мысли, найти более рельефное отображение действительности.

Сказав это, мы должны в то же время констатировать, что не всегда и не во всем согласны с Абэ в методе отражения действительности. Усложненность формы, иносказательность, символичность нередко затрудняют проникновение в замысел писателя и, таким образом, могут привести к результатам, противоположным тем, на которые автор, быть может, и рассчитывал.

Оставаясь в русле реалистической литературы, Абэ все же отдаст известную дань модернизму, особенно в романе «Человек-ящик». Верно, модернистский его поиск не представляется самоцелью. Абэ стремится к предельной выразительности повествования, к максимальному воздействию на читателя и ищет адекватных изобразительных средств. Поэтому даже те страницы романа, которые сделаны в модернистском ключе, неотвратимо тяготеют к реализму голевского толка.

Вечно актуально указание Ленина, что новизна сама по себе не бог, которому надо поклониться, хотя все, что ново, заманчиво, так как создает новые, свежие раздражители, вызывает элементарное любопытство. Особенно опасна такая новизна, когда художники увлекаются современным модернизмом, забывая предостережение В. И. Ленина против бессознательного почтения к художественной моде, господствующей на Западе. Известно, что современная западная литература, включая авангардизм и модернизм, не стала средством социальных преобразований.

Указывая на зло, обнажая пороки буржуазного общества, автор находит выход для своих героев в некой абстрактно-гуманной идее добра, которой они должны следовать. Вместе с тем весь ход повествования показывает, что все это химера, что только перестройка общества позволит переделать жизнь и психологию человека. Ибо за пристойным фасадом скрывается прогнившее существо социальных порядков, царят двойная мораль, двойная мера, двойные права в общественной жизни.

Существенно иметь в виду и другое: едва ли было бы обоснованно воспринять романы Абэ как активный призыв к борьбе социальной, классовой. Задачу свою Абэ, как и другие писатели, видит в том, чтобы главным образом ставить и заострять вопросы человеческого существования во враждебном обществе. Отсюда и обличительность его книг.

Отчужденность становится в последние годы все более модным словом, когда речь идет об отношениях между человеком и современным буржуазным обществом. Но вряд ли к чему-либо, кроме анархии, может привести попытка «освобождения» человека от общества, бегство от него как средство разрешения конфликта. Чтобы изменить характер отношений между человеком и обществом, нужно прежде всего изменить характер самого общества. Достигнуть этого можно не путем бегства от него, но, напротив, путем активного вторжения в жизнь, революционными средствами. В книгах Абэ лишь указывается па мучительность существования в современном буржуазном обществе, осуждаются враждебные человеку условия в нем — и мы позволим себе это отметить, — но не предлагается средств, с помощью которых человек может действительно добиться своего социального раскрепощения. Именно на это обращается внимание литературной критикой, считающей, что присутствие позитивной программы в произведениях Абэ усилило бы социальное их звучание. Можно надеяться, что это также произойдет в творчестве писателя.

Только время всему учит, но нужно, чтобы пришло время. Ничто и никто не остается вечным и неизменным.

Многое ли у Кобо Абэ, однако, возникает умозрительно, от личных его ощущений и видения? Как сообразуются в творческом его сознании самодвижение жизни и авторская заданность, эмоция и интеллект, непосредственность и рассудочность, пластика и проблема? Несомненно одно: Абэ обладает ощущением художника, знающего меру. Он прекрасно чувствует время, существование и развитие наиболее типичного в обществе, реальность которого перед его глазами. Что существенного для нас в его рассуждениях о смысле страданий современного человека частнособственнического общества — страданий телесных, душевных, страданий человеческого духа? Речь, разумеется, не идет о ветхозаветном восприятию, по которому стыдятся страдать и кричать о своей боли.

У каждого, вероятно, свои представления о страданиях и счастье. Бронированный сейф или ящик, в котором человек будто бы способен обрести благополучие, — самое идеальное устройство для самосохранения в западном «свободном» обществе. Мудрый человек сказал: в жизни есть только два действительных несчастья — угрызения совести и болезнь. То, что мы называем счастьем, и то, что называем несчастьем, одинаково полезно нам, если мы смотрим на то и на другое как на испытание. Это слова Л. Н. Толстого.

Но Абэ повествует о боли, человеческой боли как о социальном недуге.

Случается, что глубина душевной боли помогает лучше осознать природу человека, охваченного внутренним противоборством сложных психологических сил. И отнюдь не всегда ему удается справиться со своим страданием. Нельзя долго испытывать судьбу. Нельзя — без фатального риска, особенно человеку с надломленной душой. Издавна замечено, что истинным художникам свойственно иметь «душу, терзающую самое себя». Поэт сказал: «Мчится в стремнине к собственной смерти форель». Разве знает человек, когда открывает новую или последнюю страницу своей жизни?

Произведения Абэ всегда несут на себе печать личного авторского видения, ощущения многосложности жизни. Все созданное писателем отмечено пронизательностью художественного таланта, выражает индивидуальность его сознания, сатирическое своеобразие стиля. Язык Абэ отличается лапидарностью: при определенной сжатости глубоко выразителен. Никакой нивелировки языка: он сохраняется ясным, живым, уходящим корнями в живую речь. У писателя свой, самобытный почерк. И свои убеждения и привязанности. Думается, что главной болью его стала боль за человека той Японии, современником которой он является. Быть может, не слишком много в японской литературе таких писателей, которые столь болезненно испытывают чувство вины перед обществом, вины человека, который сам живет в этой социальной среде и которого неотвязно преследует трагедия происходящего.

Николай ФЕДОРЕНКО



ЧУЖОЕ ЛИЦО

РОМАН





史
通
六

七



Преодолев запутанный лабиринт, ты все же пришла, доверившись полученному от него плану, ты наконец пришла в это убежище. Несмело ступая, ты поднялась по лестнице, поскрипывающей, как педали органа; и вот комната. Затаив дыхание, постучала — ответа почему-то не последовало. Вместо ответа вприпрыжку, как котенок, подбежала девочка и открыла тебе дверь. Ты окликаешь ее, пытаешься узнать, не передавал ли он тебе что-нибудь, но девочка, ничего не ответив, только улыбнулась и убежала.

Тебе был нужен он, и ты заглянула в дверь. Но не увидела его, не увидела ничего, что напоминало бы о нем, — мертвая комната, в которой витает дух запустения. Вид тусклой стены заставил тебя вздрогнуть. Ты собралась было уйти, хотя испытывала чувство вины, но вдруг тебе попались на глаза три тетради, лежавшие на столе, и рядом — письмо. Тут ты сообразила, что попала все-таки в ловушку. Какие бы горькие мысли ни овладели тобой в эту минуту, все равно — соблазн непреодолим. Дрожащими руками разрываешь конверт и начинаешь читать письмо...

Ты почувствовала, наверно, злость, почувствовала, наверно, обиду. Но я выдержу твой взгляд, упругий, как

сдавленная пружина: я во что бы то ни стало хочу, чтобы ты продолжала читать. У меня нет никакой надежды, что ты благополучно преодолеешь эти минуты и сделаешь шаг в мою сторону. Я уничтожен и м или о н уничтожен мной? — так или иначе занавес в трагедии масок упал. Я убил его, признал себя преступником и хочу сознаться во всем до конца. Из великодушия или наоборот, но я хочу, чтобы ты продолжала читать. Тот, кто обладает правом казнить, обязан выслушать показания обвиняемого. И так просто отвернуться от меня, стоящего перед тобой на коленях, — не заподозрят ли тебя в том, что ты соучастница преступления? Ну ладно, садись, почувствуй себя как дома. Если воздух в комнате спертый, сразу же открой окно. Чайник и чашки, если понадобятся, на кухне. Как только ты спокойно усядешься, это убежище, запрятанное в конце лабиринта, превратится в зал суда. И пока ты будешь просматривать показания, я, чтобы сделать конец трагедии масок еще более достоверным, готов ждать сколько угодно, латая прорехи в занавесе. Да и одни воспоминания о нем не дадут мне скучать.

Итак, возвратимся к тому, что произошло со мной совсем недавно. Было утро, за три дня до того момента, который для тебя «сейчас». И в ту ночь ветер, смешанный с дождем, в котором будто растворили мед, с жалобным стоном сотрясал окно. Весь день я обливался потом, а когда зашло солнце, захотелось погреться у огня. Газеты писали, что еще вернутся холода, но как бы то ни было, дни стали длиннее, и только кончится этот дождь, сразу почувствуешь, что наступило лето. Стоило подумать об этом, и сердце начинало тревожно биться. В нынешнем моем положении я похож на фигурку из воска, бессильную перед жарой. При одной лишь мысли об ослепительном солнце вся моя кожа вздувалась волдырями.

Тогда я решил любым способом покончить со всем, пока не наступило лето. По долгосрочному прогнозу, в течение трех-четырех дней распространится высокое атмосферное давление с материка и возникнут метеорологические явления, характерные для лета. Мое единственное желание — в течение трех дней закончить пригото-

ления для твоей встречи и сделать так, чтобы ты начала читать это письмо. Но нельзя сказать, что три дня — срок достаточный. Как ты сама видишь, показания, о которых я упоминал, — это три исписанные убористым почерком тетради, которые охватывают события целого года. В день я должен обработать по тетради, добавлять, вычеркивать, переделывать и оставить тебе в таком виде, который бы удовлетворил меня, — труд поистине огромный. Я настроился на работу и, купив на ужин пирожки с мясом, обильно сдобренные чесноком, вернулся сегодня домой часа на два раньше обычного.

Ну и какой же результат?.. Отвратительный... Я вновь ощутил, к чему может привести убийственный недостаток времени. Пробежал написанное и почувствовал омерзение к себе — записки выглядят почти как попытка оправдаться. Но такое неизбежно в эту залитую дождем, будто созданную для гибели ночь, когда промозглая сырость тревожит душу. Не стану отрицать — финал выглядит достаточно жалким, но я тешу себя надеждой, что всегда полностью отдавал себе отчет в происходящем. Без этой уверенности я вряд ли мог бы писать с такой неутолимой жадностью, независимо от того, послужат мои записки подтверждением алиби или, наоборот, вещественным доказательством виновности. Я до сих пор твердо убежден в одном, и не потому, что нелегко признать свое поражение: лабиринт, в который я сам себя загнал, был моим логически неизбежным страшным судом. Но вопреки ожиданиям мои записки вызывают жалким голосом, похожим на голос приبلудной кошки, запертой в комнате. Не знаю, удастся ли мне, забыв, что я располагаю всего тремя днями, обработать записки настолько, чтобы они меня удовлетворили.

Ну, хватит. Настал момент, когда я утвердился в мысли откровенно рассказать обо всем — ощущение, точно в горле застрял непрожеванный кусок жилистого мяса, стало для меня невыносимым. Если те страницы, которые вопиют, покажутся тебе ничемными и ты их только пролистаешь — ну что ж. Ты, например, не переносишь визг электрической дрели, шуршание тараканов, скрежет металла по стеклу. Но вряд ли можно сказать, что это самое важное в жизни. Почему визг электрической дрели — понять можно: он, видимо, ассоциируется с бормашиной. Два же других звука вызывают — не назовешь иначе — какую-то нервную сыпь. Но мне еще не

приходилось слышать, чтобы сыпь была опасна для жизни.

Однако всему есть мера, пора, пожалуй, кончать. Сколько ни нагромождай оправданий, оправданиям — они ни к чему. Куда важнее то, чтобы ты не бросила на полдороге это письмо — мое время кончается, оно накладывается на твое настоящее, — а потом перешла к чтению записок... Я буду неотступно следовать за течением твоего времени, читай их не отрываясь до последней страницы...

Сейчас ты уже, наверное, успокоилась? Чай в низкой зеленой банке. Кипяток — в термосе.

ЧЕРНАЯ ТЕТРАДЬ

Прежде всего — последовательность тетрадей по цвету обложек: черная, белая, серая. Между цветом и содержанием нет, конечно, никакой связи. Я выбрал их наугад, просто чтобы легче было различать.



Начну, пожалуй, с рассказа об убежище. Да, собственно, какая разница, с чего начать. Легче всего начать рассказ с того самого дня. Это было примерно полмесяца назад, когда я, как я тебе объяснил, на неделю должен был поехать в командировку. Моя первая большая поездка, с тех пор как я вышел из больницы. Я думаю, для тебя это тоже был памятный день. Я придумал и цель командировки — проверка хода работ по сооружению завода полиграфической краски в Осаке. Первое, что пришло мне в голову. На самом же деле с того дня я укрылся в доме S. и стал готовиться к осуществлению своего плана.

В тот день я писал в своем дневнике:

«26 мая. Дождь. По газетному объявлению посетил дом. Увидев мое лицо, девочка, игравшая во дворе, заплакала. Решил остановить выбор на этом доме — место прекрасное, расположение квартиры почти идеальное. Бодрит запах нового дерева и краски. Соседняя квартира как будто еще не занята. Хорошо бы и ее снять, но...»

Но я не собирался скрываться в доме S. под чужим именем, не собирался выдавать себя за другого. Это, может быть, покажется неразумным, но у меня был свой расчет. Мое лицо сейчас уж никак ни годилось для мелких плутней. Действительно, игравшая у подъезда девочка, по виду уже школьница, только увидела меня, начала всхлипывать, будто перед ее глазами еще плыл страшный сон. Правда, управляющий, стараясь как можно лучше обслужить клиента, был невероятно приветлив...

Нет, приветлив был не только управляющий. Как это ни печально, почти все люди, встречавшиеся со мной, были приветливы. И поскольку их не тянуло слишком глубоко вникать в мои дела, каждый делал хорошую мину. И это понятно. Если они не решались взглянуть мне прямо в лицо, им ничего не оставалось, как быть приветливыми. Потому-то я и имел возможность избегать бессмысленных расспросов. Окруженный непреодолимой стеной приветливости, я всегда был совершенно одинок.

Дом только что построили, так что примерно половина из его восемнадцати квартир еще была не занята. Управляющий, сделав понимающее лицо, без всякой моей просьбы услужливо выбрал самую дальнюю квартиру на втором этаже, рядом с черной лестницей. Во всяком случае, внешне он был чрезвычайно услужлив. Квартира мне понравилась, хотя бы потому, что ее выбрали для меня специально. Разумеется, там была и ванная, а в самой комнате стояли, хотя и не особо изысканные, стол и два стула, и к тому же она в отличие от других квартир имела эркер, очень большой — почти как застекленная терраса. Черная лестница вела к стоянке для пяти-шести машин, и оттуда можно было выйти на другую улицу. Это, конечно, очень удобно и еще больше повышало ценность квартиры. Я должен был с самого начала все предусмотреть и потому тут же заплатил за три месяца вперед. Потом я попросил купить мне в ближайшем магазине постельные принадлежности. Управляющий, изображая безмерную радость, болтал без умолку, рассказывал, как хорошо устроена вентиляция, какая квартира солнечная. А покончив с этой темой, готов был начать рассказ уже о своей жизни. Но к счастью, ключ от квартиры, который он протянул, выскользнул из его пальцев и со звоном покотился по полу. Управляющий в

замешательстве ретировался. Я вздохнул с облегчением... Как хорошо, если бы с людьми всегда вот так легко можно было сдирать налет лжи.



Стемнело, стало невозможно разглядеть пальцы на руке, даже поднесенной к самому лицу. Комната, которая не знала еще человеческого тепла, была безжизненно холодной и неприветливой. Но она казалась мне лучше, чем приветливые люди. К тому же, с тех пор как случилось это несчастье, я больше всего полюбил темноту. Правда, как было бы хорошо, если б все люди на земле вдруг лишились глаз или забыли о существовании света. Наконец удалось бы достигнуть единодушия относительно ф о р м ы. Все люди согласились бы, что хлеб — это хлеб, независимо от того, треугольный он или круглый... Да, вот, например, как было бы хорошо, если б та маленькая девочка, еще не видя меня, зажмурилась и услышала только мой голос. Тогда, может быть, мы привыкли б друг к другу, стали друзьями — вместе ходили в парк, ели мороженое... И только потому, что всюду лез этот назойливый свет, девочка ошиблась, приняв треугольный хлеб не за хлеб, а за треугольник. То, что называют светом, само по себе прозрачно, но все предметы, попадая в его лучи, становятся непрозрачными.

Однако свет все же существует, и тьма — это лишь строго ограниченная временем отсрочка исполнения приговора. Когда я открыл окно, в комнату, как клуб черного пара, ворвался пропитанный дождем ветер. Захлебнувшись им, я закашлялся, снял темные очки и вытер слезы. Электрические провода, верхушки столбов, карнизы стоящих в ряд домов вдаль, на широкой улице, слабо поблескивали, когда на них падал свет фар пронесившихся мимо автомобилей, точно следы мела на черной доске.

В коридоре послышались шаги. Привычным движением я снова надел очки. Из магазина принесли постельные принадлежности, которые я заказал через управляющего. Деньги я подсунул под дверь и попросил оставить покупки в коридоре.

Итак, приготовления к старту как будто закончены. Я разделся и открыл платяной шкаф. В створку с внут-

ренной стороны было вделано зеркало. Я снова снял очки, сбросил повязку и, пристально вглядываясь в зеркало, начал разбинтовывать лицо. Намотанные в три слоя бинты насквозь пропитались потом и стали вдвое тяжелее, чем утром, когда я их наматывал.

Как только я освободил лицо от бинтов, на него выползли полчища пиявок — багровые, переплетающиеся келоидные рубцы... Ну что за отвратительное зрелище!.. Все это повторяется каждый день, как урок, — пора бы привыкнуть.

Меня еще больше разозлил мой, казалось бы, беспричинный испуг. Если вдуматься — не имеющая никаких оснований, неразумная чувствительность. Стоит ли поднимать такой шум из-за какой-то оболочки человека, да еще из-за ее небольшой части — кожи лица? Честно говоря, подобный предрассудок, устоявшийся взгляд ничуть не удивителен. Например, вера в колдовство... расовые предрассудки... безотчетный страх перед змеями (или тот же болезненный страх перед тараканами, о котором я уже писал)... Вот потому-то не прыщавый желторотый юнец, живущий иллюзиями, но даже я, заведующий важной лабораторией в солидном институте и накрепко, чуть ли не корабельным канатом привязанный к обществу, страдал от охватившей меня душевной аллергии. Прекрасно сознавая, что для особой ненависти к этому обиталищу пиявок нет никаких оснований, я ничего не мог поделать с собой и испытывал к нему непреодолимое отвращение.

Я, разумеется, предпринимал бесчисленные попытки преодолеть себя. Чем пройти мимо, отвернувшись, гораздо лучше посмотреть правде в глаза и привыкнуть к своему положению раз и навсегда. Если сам перестанешь обращать внимание, другие начнут поступать так же. Это несомненно. Исходя из этого, я и в институте стал часто говорить о своем лице. Я, например, с наигранной веселостью сравнивал себя с чудовищем в маске, которое показывают в телевизионных мультфильмах. Говорил с той же наигранной веселостью, как удобно видеть и не быть видимым, когда можешь подсматривать за другими, для которых выражение твоего лица скрыто. Самый быстрый способ привыкнуть самому — приучать других.

Такой результат был, пожалуй, достигнут. Очень скоро в лаборатории я уже не чувствовал прежней напряженности. Дошло до того, что чудовище в маске тоже не-

рестало быть пугалом, и в бесконечном его появлении на экранах телевизоров и в комиксах мои товарищи стали даже усматривать определенный резон. Действительно, маска, если, конечно, под ней не гнездятся пиявки, безусловно, имеет свои удобства. Если облачение тела в одежды знаменует прогресс цивилизации, то вряд ли можно быть гарантированным от того, что в будущем маска не станет самой обыденной вещью. Даже теперь маски часто используются в важнейших обрядах, на празднествах, и я затрудняюсь дать этому факту исчерпывающее объяснение, но мне представляется, что маска, видимо, делает взаимоотношения между людьми значительно более универсальными, менее индивидуальными, чем когда лицо открыто...

Временами я начинал верить, что хоть и медленно, но все же пошел на поправку. Однако я еще по-настоящему не представлял себе, сколь ужасно мое лицо. А все это время под бинтами продолжалось непрерывное наступление пиявок. Обмороживание жидким воздухом не поражает так глубоко, как ожог, и, следовательно, заживление должно идти сравнительно быстро. Однако вопреки уверениям врачей, сокрушив все возможные оборонительные рубежи — прием теразина, инъекции кортизона, радиотерапия, — орды пиявок, бросая в бой все новые и новые силы, расширяли и без того обширный плацдарм на моем лице.

Однажды, например... Это случилось в обеденный перерыв, в тот день, когда я возвратился после совещания по согласованию работы нашей лаборатории с другими. Молодая лаборантка, только в этом году окончившая институт, подошла ко мне, перелистывая страницы книги, всем своим видом показывая, что хочет мне что-то сказать. «Посмотрите, сэнсэй¹, какая забавная картинка». В книжке, которую она мне со смехом протянула, под ее тоненьким пальчиком был рисунок Клее, названный «Фальшивое лицо». Лицо было расчерчено параллельными горизонтальными линиями, и, если смотреть на него с определенной точки, казалось, что оно все обмотано бинтами. Оставались лишь узкие щелочки для глаз и рта — все это безжалостно подчеркивало отсутствие в лице всякого выражения. Я неожиданно почувствовал себя глу-

¹ Сэнсэй — вежливое обращение к старшему, уважаемому человеку. — *Здесь и далее прим. переводчика.*

боко уязвленным. Девушка не имела, конечно, злого умысла. Я ведь сам сознательно своими разговорами спровоцировал ее на такой поступок. Ничего, успокойся!.. Если раздражаться из-за подобного пустяка, то все мои усилия будут лопаться, как пузырьки на воде... Так я уговаривал себя, но вынести этого не мог — рисунок даже начал казаться мне моим собственным лицом, отражавшимся в глазах девушки... «Фальшивое лицо», видное другим, но само неспособное посмотреть... Меня мучила мысль, что девушке я кажусь именно таким.

Неожиданно для себя я выхватил книжку из рук девушки и разорвал ее пополам. Вместе с ней разорвалось и мое сердце. Из раны, точно содержимое протухшего яйца, вылилось мое нутро. Опустошенный, я собрал разорванные страницы и с извинениями вернул их девушке. Но было уже поздно. Раздался звук, который в обычных условиях, даже напрягаясь, невозможно услышать: будто в термостате зашуршала, изогнувшись, металлическая пластинка. Наверно, это девушка плотно сжала под юбкой колени, точно стараясь слить их в одно целое.



Я еще, по всей вероятности, не осознал всего, что скрывалось за моей тогдашней тоской. Буквально физически ощущая муки стыда, я все же не мог точно определить, чего же, собственно, я так стыжусь. Нет, пожалуй, если бы захотел, то смог, но я инстинктивно избегал заглядывать в пучину и спасался в тени избитой, банальной фразы: подобное поведение недостойно взрослого человека. Я убежден, что в жизни человека лицо не должно занимать такое уж большое место. Значимость человека в конечном счете нужно измерять содержанием выполняемой им работы, и это связано с уровнем интеллекта, лицо же тут ни при чем. И если из-за того, что человек лишился лица, его общественный вес уменьшается, причиной может быть лишь одно — убогое внутреннее содержание этого человека.

Однако вскоре... Да, через несколько дней после этого случая с рисунком.... Волей-неволей я стал все яснее сознавать, что удельный вес лица значительно больше, чем я наивно предполагал. Это предостережение подкра-

лось внезапно, откуда-то изнутри. Все мое внимание было поглощено подготовкой к защите от нападения извне, поэтому я был застигнут врасплох и в мгновение ока повержен. Причем атака была столь резкой и неожиданной, что я не сразу осознал свое поражение.

Когда я возвратился вечером домой, мне непреодолимо захотелось послушать Баха. И не то чтобы я не мог жить без Баха — просто мне казалось, что моему неровному, зазубренному, что ли, настроению, у которого неизменно сократилась амплитуда колебаний, больше всего подходит именно Бах, а не джазовая музыка или Моцарт. Я не такой уж тонкий ценитель музыки — скорее ревностный ее потребитель. Когда работа у меня не клеится, я выбираю музыку, больше всего соответствующую нерабочему настроению. Если мне нужно на какое-то время прервать размышления — зажигательный джаз; если я хочу напружинить всего себя — раздумчивый Барток; если стремлюсь испытать чувство внутренней свободы — струнный квартет Бетховена; если мне нужно на чем-то сосредоточиться — нарастающий по спирали Моцарт; ну а Бах — прежде всего, когда необходимо душевное равновесие.

Но вдруг меня охватило сомнение — не спутал ли я пластинку. А если нет, то, значит, проигрыватель неисправен. Настолько была искажена мелодия. Такого Баха я еще никогда не слышал. Бах — бальзам, пролитый на душу, но то, что я услышал, не было ни ядом, ни бальзамом, а каким-то бесформенным комом глины. Это было нечто лишённое смысла, глупое, все музыкальные фразы до одной представлялись мне вываленными в пыли, приторными леденцами.

Это случилось как раз в тот момент, когда ты с двумя чашками чаю вошла в комнату. Я ничего не сказал, и ты, видимо, подумала, что я погрузился в музыку. Ты тут же тихонько вышла. Значит, это я сошел с ума! И все равно я не мог поверить в это... Неужели изуродованное лицо способно влиять на восприятие музыки?.. Сколько я ни вслушивался, умиротворяющий Бах не возвращался, и мне не оставалось ничего другого, как примириться с этой мыслью. Вставляя сигарету в щель между бинтами, я нервно спрашивал себя, не потерял ли я еще чего-то вместе с лицом. Моя философия, касающаяся лица, нуждалась, кажется, в коренном пересмотре.

Потом, точно из-под ног вдруг выскользнул пол времени, я погрузился в воспоминания тридцатилетней дав-

ности. Этот случай, о котором я с тех пор ни разу не вспоминал, внезапно ожил, отчетливо, точно цветная гравюра. Все вышло из-за парика моей старшей сестры. Трудно объяснить почему, но эти чужие волосы казались мне чем-то невыразимо непристойным, аморальным. Однажды я потихоньку стащил его и бросил в огонь. Но мать как-то это обнаружила. Она приняла мой поступок очень близко к сердцу и учинила допрос. И хотя мне казалось, что я поступил правильно, когда меня стали допрашивать, я не знал что ответить и стоял растерянный, красный. Нет, если бы я попытался, то смог бы, конечно, ответить. Но мне казалось, что даже говорить об этом неприлично, брезгливость сковывала язык... Ну, и если заменить слово парик словом лицо, то станет ясно, почему непереносимое внутреннее напряжение так точно совпало с пустым звучанием разрушенного Баха.

Когда я, остановив пластинку, выбежал из кабинета, точно спасаясь от погони, ты вытирала стоявшие на обеденном столе стаканы. То, что произошло дальше, было настолько внезапно, что сейчас я не могу восстановить в памяти, как все это случилось. Столкнувшись с твоим противодействием, я смог наконец полностью осознать, в каком положении оказался. Правой рукой я сжал твои плечи, левой попытался залезть под юбку. Ты закричала и вдруг, напрягшись, как пружина, вскочила. Стул отлетел в сторону, стакан упал на пол и разбился.

Схватившись за упавший стул, мы, не дыша, замерли друг против друга. Мои действия, может быть, и правда были слишком грубыми. Но я находил им и некоторое оправдание. Это была отчаянная попытка одним усилием вернуть то, что я начал терять из-за искаленного лица. Ведь с тех пор, как это случилось, физической близости между нами не было. Хотя теоретически я признавал, что лицо имеет лишь подчиненное значение, но все же избегал посмотреть на себя со стороны, уходил от этого. Я был загнан в угол, и у меня не оставалось другого выхода, кроме как броситься в лобовую атаку. Видимо, своим поступком я хотел доказать, что барьер, воздвигнутый между нами моим лицом, призрачен, что его не существует.

Но и эта попытка окончилась неудачей. Ощущение твоего лона, точно припорошенного алебастровой пылью, блуждающими огоньками до сих пор покалывает кончи-

ки моих пальцев. В горле у меня будто пучок колючек, застрял хриплый вопль. Я хотел сказать что-нибудь. Мне хотелось многое сказать... Но я не мог вымолвить ни слова. Оправдание?.. Сожаление?.. А может быть, обвинение? Если уж говорить — нужно было выбрать что-нибудь из этого, но сделать выбор я, кажется, уже не успевал. Если выбрать оправдания или сожаление, то лучше уж просто улетучиться как дым. Если же выбрать наступление, то я бы разодрал твое лицо, и ты бы стала подобна мне или даже еще страшнее. Вдруг ты заплакала навзрыд. Это был жалобный, безысходный плач, похожий на урчанье воздуха в кране, из которого перестала течь вода.

Внезапно на моем лице разверзлась глубокая дыра. Она была такой глубокой, что в ней, казалось, могло легко поместиться все мое тело и еще место бы осталось. Откуда-то засочилась жидкость, похожая на гной из гнилого зуба, и застучала каплями. Сопровождающее этот звук зловоние, наполнившее комнату, ползло, будто полчища тараканов, отовсюду: из обивки стульев, из шкафа, из водопроводного крана, из выцветшего, засиженного мухами абажура. У меня возникло непреодолимое желание заткнуть на лице все дыры. Захотелось прекратить эту пародию на игру в прятки, когда не от кого прятаться.



Отсюда был лишь один шаг до моего плана изготовить маску. В том, что такая идея появилась, не было ничего удивительного. Ведь для сорняка вполне достаточно клочка земли и капли влаги. Не принимая близко к сердцу, не придавая этому серьезного значения, со следующего дня, как и намечал, я стал просматривать оглавления старых научных журналов. Нужная мне статья об искусственных органах из пластика должна быть примерно в летних номерах за позапрошлый год. Да, моей целью было сделать пластиковую маску и прикрыть ею дыры на лице. Согласно одной теории, маска служит не простым заменителем, а выразителем весьма метафизического желания заменить свой облик каким-то другим, превосходящим собственный. Я тоже не мыслил катего-

риями рубахи и брюк, которые можно менять, когда захочется. Не знаю, как поступили бы древние, поклонявшиеся идолам, или юнцы, вступающие в пору половой зрелости, я же не собирался возложить маску на алтарь своей второй жизни. Сколько бы ни было лиц, я неизменно должен был оставаться самим собой. Маленькой «комедией масок» я пытался лишь заполнить затянувшийся антракт в моей жизни.

Мне без особого труда удалось найти нужный журнал. Согласно статье, можно создать части тела, внешне почти не отличающиеся от настоящих. Правда, все это относилось лишь к воспроизведению формы, что же касается подвижности, то здесь оставалось еще много нерешенных проблем. Нужно постараться, чтобы маска, если мне удастся ее создать, обладала мимикой. Мне бы хотелось, чтобы она могла свободно растягиваться и сокращаться в плаче и смехе, следуя за движением мускулов лица, управляющих мимикой. И хотя нынешний уровень высокомолекулярной химии вполне позволяет добиться этого, наши возможности в области технологии несколько отстают. Но одно то, что надежда существовала, уже было для меня в то время прекрасным жаропонижающим. Когда нет возможности лечить зубы, не остается ничего иного, как глотать болеутоляющее.

Прежде всего я решил встретиться с К., автором статьи об искусственных органах, и поговорить с ним. К. сам подошел к телефону, но был очень неприветлив и разговаривал со мной без всякого интереса. Может быть, он испытывал предубеждение против меня — человека, тоже занимающегося высокомолекулярными соединениями. Но все же обещал уделить мне час после четырех.

Поручив дежурному проследить за приборами и просмотрев несколько документов, я быстро ушел. Улица сверкала, точно отполированная, ветер разносил запах маслин. Эта сверкающая улица, этот запах вызывали у меня острое чувство зависти. Пока я ждал такси, мне казалось, что со всех сторон на меня глазают, будто видят перед собой незаконно вторгшегося пришельца. Но я терпел этот слишком яркий солнечный свет — пока все было лишь негативом, в котором черное — белое, а белое — черное, и, если удастся получить маску, я сразу же смогу получить позитив.

Нужный мне дом находился на улице, тесно застроенной жилыми зданиями, недалеко о станции кольцевой

железной дороги. Это был обыкновенный, ничем не примечательный дом, на котором висела малозаметная табличка «Научно-исследовательский институт высокомолекулярной химии К.». Во дворе у ворот как попало были расставлены клетки с кроликами.

В тесной приемной стояла лишь истертая деревянная скамья и пепельница на ножках, лежало несколько старых журналов. Я почему-то пожалел, что пришел сюда. Институт — звучало внушительно, но вряд ли это было то место, где следовало выбирать лечащего врача. Может быть, К. — обыкновенный шарлатан, пользующийся доверчивостью своих пациентов. Обернувшись, я увидел на стене две фотографии в замусоленных рамках. На одной — в профиль лицо женщины без подбородка, напоминающее мордочку полевой мыши. На другой — оно же, чуть улыбающееся, ставшее несколько привлекательнее, видимо, после пластической операции.

Сказывалась длительная бессонница — что-то давило на переносицу, сидеть на твердой скамье было невыносимо. Наконец вошла сестра и проводила меня в соседнюю комнату. В ней разливался молочный свет, проникавший сквозь жалюзи. На столе у окна никаких шприцев не было, зато устрашающе блестели какие-то незнакомые инструменты. Около стола стояли шкаф с историями болезней и вращающееся кресло с подлокотниками, напротив — такое же кресло для пациентов. Несколько поодаль — невысокая ширма и рядом кабинка на колесиках для переодевания. Стандартное оборудование кабинета врача. Оно привело меня в уныние.

Я закурил. Приподнявшись в поисках пепельницы, я замер от неожиданности, увидев содержимое эмалированного лотка. Ухо, три пальца, кисть руки, щека от века до губы... Они лежали как попало в лотке, еще дыша жизнью, будто только что отрезанные. Мне стало не по себе. Они казались более настоящими, чем настоящие. Честно говоря, даже и в голову не приходило, что слишком точная копия может производить такое тягостное впечатление. Хотя достаточно было посмотреть на срезы, чтобы убедиться, что это всего лишь пластиковые муляжи, мне все равно казалось, что я ощущаю запах смерти.

Из-за ширмы вдруг появился К. Меня поразила его неожиданно приятная внешность. Вьющиеся волосы, очки без оправы с толстыми стеклами, похожими на до-

нышки стаканов, мясистый подбородок... И к тому же от К. исходил родной, привычный мне запах химикатов...

Теперь была его очередь испытать беспокойство. Некоторое время он молчал, в замешательстве глядя то на мою визитную карточку, то на мое лицо.

— Итак, вы... — К. замолчал, снова бросил взгляд на мою визитную карточку и голосом, уже совсем другим, нежели по телефону, сдержанно закончил: — Вы пришли ко мне как пациент?

Конечно же, я пациент. Но каким бы превосходным ни было искусство К., я не смел питать ни малейшей надежды, что ему удастся выполнить мое желание. Единственное, на что я мог рассчитывать, — это на совет. С другой стороны, сказать об этом прямо, в лоб и обидеть собеседника тоже было бы невежливо. К., видимо, объяснил мое молчание робостью и продолжал участливо:

— Садитесь, пожалуйста... На что жалуетесь?

— Во время эксперимента произошел взрыв жидкого кислорода. Обычно мы использовали жидкий азот, поэтому по привычке я был не особенно осторожен...

— Келоидные рубцы?

— Как видите, по всему лицу. Наверно, я предрасположен к появлению келоидов. Мой врач решил отказаться от дальнейшего лечения, так как малейшая неосторожность может вызвать рецидив.

— Вокруг губ лицо как будто не пострадало?

Я снял темные очки и показал ему.

— Благодаря очкам глаза тоже уцелели. Мое счастье, что я близорук и ношу очки.

— Да, вам повезло! — И с жаром, будто это касалось его самого: — Ведь речь идет о глазах и губах... Если они теряют подвижность — очень плохо... Одной формой обмануть никого не удастся.

Вроде бы увлеченный своим делом человек. Пристально разглядывая мое лицо, он, казалось, в уме уже выработывал план. Чтобы не разочаровывать его, я поспешил переменить тему разговора:

— Мне попала написанная вами работа. По-моему, летом прошлого года.

— Да, в прошлом году.

— Я был потрясен. Просто не мог представить себе, что достижимо такое искусство.

К. с видимым удовольствием взял из миски согнутый палец и, слегка перекатывая его на ладони, сказал:

— Знали бы вы, какая это кропотливая работа. Разве чем-нибудь отличается дактилограмма этого пальца от настоящего? Потому-то я и получил на первый взгляд странное распоряжение полиции — регистрировать все дактилограммы...

— Формой служит гипс?

— Нет, я использую вязкий кремний. Дело в том, что гипс не позволяет передать мельчайшие детали... А здесь, смотрите, даже заусенцы у основания ногтей и те ясно вырисовываются.

Я боязливо прикоснулся к нему кончиками пальцев — ощущение, точно потрогал что-то живое. И хотя я понимал, что это нечто искусственное, меня все равно охватил какой-то суеверный страх, будто я прикоснулся к смерти.

— Все-таки мне это представляется кощунством...

— И тем не менее все это — куски человеческого тела...

К. с гордым видом взял другой палец и срезом вниз поставил его вертикально на стол. Казалось, что мертвец, проткнув доску стола, высунул наружу палец.

— Попробуйте-ка сделать, чтобы он был вот таким, чуть грязноватым, это не так просто. Призываешь все свое мастерство, чтобы предельно точно воспроизвести тот или иной орган пациента, стараешься передать почти неуловимое, только ему присущее своеобразие... Это, например, средний палец, и поэтому внутренней стороне первой фаланги придан вот такой оттенок. Разве он не напоминает следы никотина?

— Наносили кисточкой или еще чем-нибудь?

— Отнюдь... — К. впервые громко рассмеялся. Краска ведь сотрется моментально. Изнутри, слой за слоем, накладываются вещества разных цветов. Например, ногти — тут поливинилацетат... Если нужно — полоска грязи под ногтями... суставы и линии морщин... вены — здесь нужна легкая синева... Вот так-то.

— Чем же они отличаются от обыкновенных ремесленных поделок? Их ведь может изготовить кто угодно?..

— Это конечно. — И, почесывая колено: — Но в сравнении с изготовлением лица все эти вещицы — лишь первые неуверенные шаги. Лицо есть лицо... Во-первых, существует такая вещь, как выражение. Верно? Морщинка или бугорок в какую-то десятую долю миллиметра, оказавшись на лице, приобретают огромное значение.

— Но подвижность-то вы ему не можете придать?

— Вы хотите слишком многого.— К., расставив ноги, повернулся ко мне.— Я отдал все силы, чтобы создать внешний облик, а вот подвижность— до этого еще не дошло. Частично это компенсируется путем выбора наименее подвижных участков лица. И еще одно— существует такая проблема, как вентиляция. Возьмем, например, ваш случай. Без детального осмотра сделать окончательное заключение трудно, но, судя по тому, что я вижу, даже сквозь бинты у вас выделяется значительное количество пота... Наверно, потовые железы не затронуты и продолжают исправно функционировать. И поскольку они функционируют, закрыть лицо чем-то таким, что затрудняет вентиляцию, нельзя. Это не только вызовет нарушения физиологического характера, но и приведет к тому, что человек начнет задыхаться и больше чем полдня вряд ли выдержит. Тут нужна большая осторожность. Смешно, когда у старика зубы белые, как у ребенка. То же самое и здесь. Гораздо большего эффекта можно достичь исправлениями, незаметными для посторонних... Бинт вы можете снять сами?

— Могу... но, видите ли...— И, размышляя о том, как бы лучше объяснить ему, что я не тот пациент, каким ему показался:— По правде говоря, я не принял еще окончательного решения, и меня это очень мучит... И пока я не решил, стоит ли делать что-либо с рубцами на лице.

— Конечно, стоит.— К., точно подбадривая меня, стал еще настойчивее.— Шрамы— особенно на лице— нельзя рассматривать лишь как проблему косметическую. Нужно признать, что эта проблема соприкасается с областью профилактики душевных заболеваний. В противном случае разве по доброй воле кто-нибудь стал бы отдавать свои силы подобной ереси? Я же уважаю себя как врач. И никогда не удовлетворился бы ролью ремесленника, изготавливающего муляжи.

— Да, да, понимаю.

— Ну вот, видите?— Он иронически скривил губы.— А ведь не кто иной, как вы, называли мои работы ремесленными поделками.

— Нет, я говорил не в таком смысле.

— Ничего.— И нравоучительно, с видом понимающего все педагога:— Вы не единственный, кто в последнюю минуту начинает колебаться. Внутренний протест против

изготовления лица — это обычное явление. Пожалуй, начиная с позднего средневековья... да и сейчас еще люди, находящиеся на низкой ступени развития, охотно меняют свои лица... Корни этого мне, к сожалению, не известны, поскольку я не специалист... Но статистически они выявляются достаточно точно... Если взять, например, ранения, то повреждений лица по сравнению с повреждениями конечностей больше примерно в полтора раза. А между тем восемьдесят процентов из всех, кто получил такие ранения, обращаются к врачам по поводу потери конечностей, главным образом пальцев. Ясно, что в отношении лица существует определенное табу. Примерно то же наблюдают и мои коллеги. И самое ужасное — к моей работе относятся как к работе высококвалифицированного косметолога, одержимого страстью наживы...

— Но нет ведь ничего удивительного в том, что содержание предпочитают внешней форме...

— Значит, предпочитается содержание, лишенное формы? Не верю. Я твердо убежден, что душа человека заключена в коже.

— Возможно, выражаясь фигурально...

— Почему фигурально?..— И спокойным, но решительным тоном: — Душа человека — в коже. Я убежден в этом. Убедился на собственном опыте, приобретенном во время войны, когда я был в армии военным врачом. На войне отрывало руки и ноги, калечило лица — там это происходило изо дня в день. Но что, вы думаете, заботило раненых солдат больше всего? Не жизнь, не восстановление функций организма, нет. Прежде всего их беспокоило, сохранится их первоначальный облик или нет. Сначала я тоже смеялся над ними. Ведь все, о чем я говорю, происходило на войне, где ничто не имело цены, кроме количества звездочек в петлицах и здоровья... Но однажды произошел такой случай: какой-то солдат, у которого было сильно изувечено лицо, хотя других явных повреждений и не было, перед самой выпиской из госпиталя неожиданно покончил с собой. До этого он был в состоянии шока... И вот с тех пор я стал внимательно изучать внешний вид раненых солдат... И наконец пришел к совершенно определенному выводу. К тому печальному выводу, что серьезное ранение, особенно ранение лица, подобно переводной картинке, отпечатывается душевной травмой...

— Да, такие случаи, видимо, бывают... Но, основываясь на том, что подобных примеров можно привести сколько угодно, нельзя, мне думается, рассматривать это явление как общий закон, пока ему не будет найдено точное научное объяснение.— Во мне вдруг поднялось непреодолимое раздражение. Не пришел же я сюда вести разговоры о том, что меня ждет.— Впрочем, я еще не разобрался как следует во всем этом... Простите, наговорил, наверно, всяких несуразностей. Совершенно бесцельно отнял у вас так много драгоценного времени, виноват...

— Подождите, подождите.— И самоуверенно, со смешком: — Может быть, вы воспримете это как принуждение, но я хочу сказать вам, и совершенно уверен, что прав... если вы все оставите так, как есть, вам придется всю жизнь прожить в бинтах. Они ведь и сейчас на вас. Это как раз и доказывает: вы сами считаете — лучше пусть бинты, чем то, что под ними. Сейчас в памяти окружающих вас людей живет ваше лицо таким, каким оно было до увечья... Но ведь время вас не будет ждать... да и память постепенно тускнеет... появляются все новые и новые люди, которые не знали вашего лица... и в конце концов вас объявят несостоятельным должником за то, что вы не платите по векселю бинтов... и хотя вы останетесь в живых, общество похоронит вас.

— Ну, это уж слишком! Что, собственно, вы хотите этим сказать?

— Людей, имеющих одинаковые увечья, если это касается повреждений рук или ног, можно встретить сколько угодно. Никого не удивит слепой или глухой... Но видели ли вы когда-нибудь человека без лица? Нет, наверное. Вы что же, думаете, все они испарились?

— Не знаю. Другие меня не интересуют!

Мой ответ прозвучал непреднамеренно грубо. Пришел в полицейский участок заявить о грабеже — а там, вместо того, чтобы помочь, пристают с поучениями и на прощание предлагают купить замок понадежней. Но и мой собеседник не сложил оружия.

— К сожалению, вы меня, по-видимому, не совсем поняли. Лицо — это в конечном счете его выражение. А выражение... как бы это лучше сказать... В общем, это своего рода уравнение, выражающее отношения с другими людьми. Это тропинка, связывающая с ними. И если тропинка преграждена обвалом, то люди, даже пробрав-

шись кое-как по ней, скорее всего, пройдут мимо вашего дома, приняв его за необитаемую развалюху.

— Ну и прекрасно. Мне и не нужно, чтобы попусту заходили.

— Значит, вы хотите сказать, что пойдете своей собственной дорогой?

— А что, нельзя?

— Даже ребенок не может игнорировать устоявшийся взгляд, согласно которому человек узнает, что он собой представляет, только посмотрев на себя глазами другого. Вам случалось когда-нибудь видеть выражение лица идиота или шизофреника? Если перегородить тропинку и надолго оставить ее так, то в конце концов забудут, что тропинка существовала.

Чтобы не оказаться окончательно припертым к стене, я попытался наугад броситься в контратаку.

— Ну что ж, это верно. Предположим, выражение лица представляет собой именно то, что вы говорите. Но вы ведь сами себе противоречите. Почему за неимением лучшего, прикрывая какую-то часть лица, вы считаете, что восстанавливаете его выражение?

— Не беспокойтесь. Прошу вас довериться мне. Это уж по моей специальности. Во всяком случае, я убежден, что смогу дать вам нечто лучшее, чем бинты... Ну что ж, давайте снимем их? Мне бы хотелось сделать несколько фотоснимков. С их помощью методом исключения удастся последовательно отобрать важнейшие элементы, необходимые для восстановления выражения лица. А из них — наименее подвижные, легко фиксируемые...

— Простите... — Теперь у меня в мыслях было одно — бежать отсюда. Отбросив чувство собственного достоинства, я начал упрашивать: — Уступите мне лучше вот этот палец. Пожалуйста!

К. удивленно потирал ладонью колено.

— Палец, вот этот палец?

— Если нельзя палец, я удовлетворюсь ухом или еще чем-нибудь...

— Но ведь вы пришли ко мне по поводу келоидных рубцов на лице.

— Ну что ж, прошу извинить. Нельзя так нельзя...

— Вы не поняли меня, простите... дело не в том, что я не могу продать... но, верите ли, цена непомерно высока... ведь для каждого из них приходится изготавливать отдельную форму... только расходы на материал достига-

ют пяти-шести тысяч иен... по самым скромным подсчетам.

— Прекрасно.

— Не понимаю, что у вас на уме?

Он и не может понять... Наш разговор напоминал два рельса, проложенных без точного расчета и расходящихся в разные стороны. Я вынул бумажник и, отсчитывая деньги, без конца извинялся самым искренним образом.

Когда, крепко, будто нож, сжимая в кармане искусственный палец, я вышел на улицу, резкая граница между светом и тенью показалась мне неестественной, прочерченной рукой человека. Дети, игравшие в переулке в мяч, увидев меня, побледнели и прижались к забору. У них были лица, точно их подвесили за уши прищепками для белья. Сними я бинты, у них бы поджилки затряслись. А меня так и подмывало ворваться в этот ландшафт, точно сошедший с рекламной открытки. Но для меня, лишённого лица, было немислимо отойти хоть на шаг от своих бинтов. Представляя себе, как бы я раскромсал этот пейзаж, размахивая искусственным пальцем, который лежал сейчас у меня в кармане, я с трудом переваривал отвратительные слова К. «похоронить себя заживо». Ничего, посмотрим. Если теперь мне удастся прикрыть лицо чем-то таким, что сделает неотличимым от настоящего, то, каким бы бутафорским ни был ландшафт, он не сможет превратить меня в отверженного...



В ту ночь... поставив искусственный палец на стол, словно свечку, я, не смыкая глаз, думал об этой «подделке», более похожей на настоящий палец, чем настоящий.

Возможно, я воображал костюмированный бал из какой-то чудесной сказки, на котором я неожиданно появлюсь. Но даже в воображении я не мог не сделать маленького примечания: «сказка». Не символично ли это? Я уже писал, что выбрал этот план, не особенно задумываясь о последствиях, точно переправлялся через узенькую речушку. И уж конечно, у меня не было никакого окончательного решения. Может быть, из-за бессознательного стремления легко относиться к маске, успо-

каивая себя тем, что потеря лица еще не означает потерю чего-то весьма существенного? Поэтому проблему составляет в некотором роде не сама маска — самодовлеющее значение приобретает смысл вызова, который она бросает лицу, авторитету лица. Если бы, столкнувшись с разрушенным Бахом, с твоим отказом, я не был доведен до такого затравленного состояния, то, может быть, посмотрел бы на все более спокойно и даже нашел бы в себе силы подшучивать над своим лицом.

А пока черный мрак, как тушь в стакане воды, разливался в моем сердце. Лицо — тропинка между людьми, такова точка зрения К. Как мне сейчас представляется, если К. и произвел на меня неблагоприятное впечатление, то не из-за самодовольства или стремления навязать свое лечение, а из-за этой идеи. Согласиться с ним — значило признать, что, потеряв лицо, я навечно замурован в одиночной камере, и, следовательно, маска приобретает уже весьма глубокий смысл. Мой план превращался в попытку бежать из тюрьмы, попытку, где на карту было поставлено существование человека. Значит, мое нынешнее положение становится безнадежным и, следовательно, подходящим для подобного плана. По-настоящему угрожающая обстановка — это обстановка, воспринимаемая тобой как угрожающая. При всем желании трудно было согласиться с такой точкой зрения.

Я сам признаю, что не кто иной, как я, нуждаюсь в тропинке, которая связывала бы меня с людьми. И как раз поэтому продолжаю писать тебе эти строки. Но разве лицо — единственная тропинка? Не верится. Моя диссертация, посвященная реологии¹, получила поддержку среди людей, которые ни разу не видели моего лица. Конечно, устанавливать связь с людьми можно не только с помощью научных трудов. От тебя, например, я хочу совсем другого. То, что называют душой, сердцем, не имеет четких очертаний, но представляет собой куда более осязаемый символ человеческих отношений. Эти отношения значительно сложнее, чем отношения между животными, которым, для того чтобы обозначить себя, достаточно запаха, и потому наиболее приемлемый и распространенный путь установления отношений между людьми — выражение лица. По-видимому, так же, как денежная система обмена является шагом вперед по

¹ Реология — наука о деформациях и текучести вещества.

сравнению с натуральной. Но в конечном итоге и деньги не более чем средство, и вряд ли можно утверждать, что они всеисильны при любых обстоятельствах. В одних случаях маленькая почтовая марка и телеграфный перевод, в других — драгоценные камни и благородные металлы гораздо удобнее денег.

Не предвзятое ли это мнение, объяснимое привычкой считать, что душа и сердце нечто идентичное и связь с ними может быть установлена только с помощью лица? Ведь совсем не редки случаи, когда дорога к тесному единству сердец — не бесконечное взаимное лицезрение, а четверостишие, книга, грампластинка. Если считать, что лицо совершенно необходимо, тогда в первую очередь слепые лишены возможности судить о человеке. Разве я не прав? Меня беспокоит скорее другое — не приведет ли склонность слишком бездумно опираться на привычное представление о лице к обратным результатам — к сужению, к формальному восприятию связей между людьми. Прекрасным примером может служить известное всем идиотское предубеждение против цвета кожи. Поручать несовершенному лицу, функции которого ограничены тем, чтобы можно было различить черного, белого и желтого, поручать ему великую миссию быть тропинкой к душе — это-то и означает пренебрегать душой.

Постскриптум. Прочитал написанное и увидел, что, отвергая всякую связь с лицом, я прибегаю к довольно откровенной уловке. Ну, к примеру, тот неопровержимый факт, что впервые я обратил на тебя внимание прежде всего благодаря твоему лицу. И теперь тоже, когда я думаю о том расстоянии, которое нас разделяет, меркой служит не что иное, как моя неспособность увидеть выражение твоего лица. Да, видимо, с самого начала мне следовало сделать попытку поменяться с тобой местами и откровенно представить себе, что бы случилось, если бы лица лишилась ты. Недооценка лица, так же как и его переоценка, всегда несет в себе элемент искусственности. Взять хотя бы ту историю с накладными волосами моей сестры. Я привел ее, наверно, для того, чтобы объяснить свое желание не придавать слишком большого значения лицу. Но, если вдуматься, она вряд ли подходит для данного случая. Может быть, это был просто интерес и в то же время отвращение ко всему искусственному, что

часто наблюдается у подростков, и история эта скорее говорит о том, что я придавал лицу слишком большое значение. А может быть, я просто ревновал сестру, которая намеревалась распахнуть створки своего лица перед кем-то чужим.

И еще одно. Как-то мне довелось в газете или журнале прочесть статью, где, как ни странно, доказывалось, что корейцы с примесью японской крови делают себе пластическую операцию, чтобы быть больше похожими на корейцев. Это уж явное стремление к реабилитации лица, а ведь о них при всем желании не скажешь, что они подвержены предрасудкам. В общем, я так и не сумел разобраться в самых простых вещах. И если представится случай, мне бы обязательно хотелось спросить корейца, какой совет дал бы он мне, лишившемуся лица.

В конце концов я... я устал от разговора с самим собой о лице, разговора, который ни на шаг не приблизил меня к решению вопроса. Но в то же время не было и особой причины отказываться от моего плана... и я весь ушел в рассмотрение технической стороны проблемы.

С технической точки зрения искусственный палец тоже представлял значительный интерес. Чем больше я присматривался к нему, тем больше поражался мастерству, с которым он был сделан. Он рассказывал об очень многом, словно обыкновенный живой палец. Судя по тому, как натянута кожа, он мог бы, пожалуй, принадлежать тридцатилетнему. Прямой ноготь... впадины с боков... глубокие складки на суставах... четыре маленьких пореза в ряд, точно жаберные щели акулы... человек, бесспорно занимавшийся легким физическим трудом.

...В чем же тогда его уродство?.. Уродство!.. Какое-то особое уродство — он ни живой, ни мертвый! Нет, видимо, не потому, что в чем-то он отличается от настоящего. А может быть, воспроизведение слишком скрупулезно (значит, и моя маска тоже)?.. Значит, именно слишком большая приверженность форме приводит к противоположному результату — к отходу от реального. Можно придавать большое значение лицу, но лишь после того, как увидишь его уродство!

Да, утверждение, что слишком похожая копия недоверна, совершенно справедливо. Но разве мыслимо воссоздать в своей памяти палец, лишенный формы?

Змея, лишённая длины, котелок, лишённый объёма, треугольник, лишённый углов... нет, такое не встретишь, пока не полетишь к далеким звездам, где подобное существует. Иначе лицо без выражения не было бы чем-то необычным. И то, что мы когда-то называли лицом, уже не было бы лицом. В этом смысле и маска имеет право на существование.

Тогда, может быть, проблема состоит в подвижности? Ведь «форму», не способную двигаться, странно называть формой. Вот хотя бы этот палец — он выглядел бы значительно лучше, если обладал бы подвижностью. В подтверждение я взял палец и подвигал им. Действительно, он казался намного естественнее, чем когда стоял на столе. Об этом, значит, беспокоиться нечего. Таким образом, с самого начала я твердо решил, что маска должна быть подвижной.

Но оставалось еще нечто такое, что не удовлетворяло. В пальце было что-то отталкивающее. Я стал сравнивать его со своим пальцем, сконцентрировав все внимание, пристально всматриваясь. Да, разница есть... если это не из-за того, что он отрезан и неподвижен, то... может быть, ощущение вещественности кожи? Возможно, нечто присущее только живой коже, что не может быть имитировано лишь цветом и формой?

Заметки на полях I. Об ощущении вещественности эпидермы.

Эпидерма человека, как я представляю, сохраняется прозрачным слоем, лишённым пигмента. Следовательно, ощущение вещественности эпидермы — это, возможно, ложный эффект, вызываемый лучами, отраженными поверхностью эпидермы, и лучами, частично проникшими внутрь и вторично отраженными слоем эпидермы, содержащим пигмент. В случае же с этой моделью пальца подобный эффект не наблюдается, поскольку слой, имитирующий пигментную окраску, выходит непосредственно наружу.

О прозрачном слое эпидермы и о ее оптических свойствах нужно будет расспросить специалистов.

Заметки на полях II. Проблемы, которые нужно изучить в первую очередь:

Проблема изнашиваемости.

Проблема упругости и эластичности.

Средство фиксации.
Способ соединения края маски с лицом.
Проблема вентиляции.
Выбор прототипа и создание модели.



Мне кажется, чем добросовестнее и обстоятельнее я веду свои записки, тем большую скуку нагоняю на тебя, и ты, видимо, уже перестала следить за рассказом. Но я все же хочу, чтобы ты, отвлекшись от моего внутреннего состояния, почувствовала хотя бы ту атмосферу, в которой родилась маска, созданная мной в совершенном одиночестве.

Прежде всего, если говорить о прозрачном слое эпидермы, то он представляет собой кератин, содержащий небольшое количество флюоресцирующих элементов. Теперь о способе соединения — если добиться, чтобы толщина краев маски была по возможности меньше глубины мельчайших морщин, и потом наложить на место соединения искусственную бороду, то выйти из положения вполне удастся. Далее проблема эластичности, которая представлялась мне наименее сложной, — она тоже была вполне разрешима, если рассматривать механизм мимики биологически.

Основой выражения лица является, безусловно, мимическая мускулатура. Она зафиксирована в определенном направлении, в котором растягивается и сокращается. Помимо этого, существует еще кожная ткань, также имеющая определенное направление волокон, и эти волокна перекрещиваются почти перпендикулярно. Из медицинской книги, взятой мной в библиотеке, я узнал, что подобное расположение волокон называется «линиями Лангера». Соединением двух этих направлений создаются характерные морщины, характерные очертания. Следовательно, если хочешь придать маске живую подвижность, нужно пучки волокон соединять в соответствии с «линиями Лангера». К счастью, некоторые виды пластмасс, если их вытягивать в определенном направлении, обнаруживают большую эластичность. Если не пожалеть времени и труда, и эту проблему можно считать разрешенной.

Я тут же решил использовать свою лабораторию и начать опыты на растяжимость эпителиальных клеток. И в данном случае мои коллеги проявили трогательную деликатность. Почти не привлекая ничего внимания, я мог широко пользоваться необходимым мне оборудованием.

Только в отношении «выбора прототипа и создания модели» мне не хотелось ограничиваться лишь техническими средствами. Дело в том, что, если я хотел воспроизвести мельчайшие детали кожи, я должен был волею-неволею взять чье-то чужое лицо: Только таким мог быть для меня прототип, то есть изначальный вид. Взять у другого не означало, конечно, просто нацепить на себя чужое лицо, поскольку речь шла только о поверхности кожи на глубину сальных и потовых желез и о ее видоизменении в соответствии со строением моего лица. С самого начала не должно быть ни малейших опасений, что я собирался нарушить авторское право чужого лица.

Однако в таком случае... возникал весьма серьезный вопрос... не станет ли тогда маска моим прежним лицом в совершенно не измененном виде? Любой опытный ремесленник вылепит по черепу лицо и воспроизведет внешний его вид точно таким, каким он был при жизни. Если это соответствует действительности, значит, внешний вид определяет в конечном итоге находящийся под кожей костяк, и, значит, нужно либо стесать кости, либо игнорировать анатомические основы выражения лица (но тогда нельзя называть это выражением лица) — других способов уйти от лица, с которым родился, нет.

Эти мысли привели меня в замешательство. Выходило, что с каким бы искусством ни была сделана маска, я надевал маску самого себя и ни о какой маске в полном смысле этого слова не могло быть и речи.

К счастью, я вспомнил о своем школьном товарище, который стал специалистом в области палеонтологии. В работу палеонтолога входит, как известно, восстановление первоначального облика по окаменелостям, найденным при раскопках. Полистав адресную книгу, я узнал, что он продолжает работать в университете. Я собирался ограничиться телефонным разговором, но, может быть, потому, что после окончания школы прошло так много времени, или потому, что те, кто занимается палеонтологией, проникаются человеколюбием, он как нечто само собой разумеющееся предложил где-нибудь встретиться и не захотел продолжать разговор по теле-

фону. В конце концов я согласился. Я не отказался из протеста против чувства стыда, которое испытывал, ни на минуту не забывая о своем забинтованном лице. Но тут же меня обожгло жестокое раскаяние. Ну что за дурацкая гордыня. Одни мои бинты и те возбуждают его любопытство, а тут еще этот забинтованный человек начинает дотошно выспрашивать об анатомии лица, технике восстановления первоначального облика, что не является его специальностью. Он, пожалуй, подумает, не жулик ли перед ним, который, надев маску, хочет спокойно разгуливать по городу среди бела дня. Если у него действительно возникнут подобные подозрения, то лучше бы с самого начала отказаться от встречи. К тому же я не навидел улицу. В любом смущенном или даже безразличном взгляде — не коснись это меня, я бы и не почувствовал — были запрятаны ржавые, отравленные иглы. Улица изматывает меня. Однако момент, когда я мог взять свои слова назад, был упущен. Сгорая со стыда, я поплелся в условленное место. Ничего другого не оставалось.

Кафе, где мы договорились встретиться, находилось на углу хорошо знакомой мне улицы, и поэтому я безошибочно остановил такси у самых его дверей и таким образом смог добраться туда, не привлекая ничего внимания. Зато товарищ мой так смутился, что теперь уж мне захотелось ему посочувствовать. И может быть, потому, что я увидел его смущение, ко мне вернулось злое хладнокровие. Нет, хладнокровие не то слово. Мне хочется, чтобы ты представила себе — это совсем не трудно, — как я был жалок, точно бездомная собака, как чувствовал, что само мое существование вызывает отвращение окружающих. Я испытывал отчаянное одиночество, какое можно увидеть в глазах старой подыхающей собаки, безысходность, которая слышится в разносимом рельсами звоне, когда глубокой ночью ремонтируют пути. Я весь был скован, понимая, что, какое бы выражение ни пытался я придать своему лицу, спрятанному под бинтами и темными очками, оно не дойдет до моего собеседника.

— Что, испугался? — И, почувствовав его душевное состояние, уже другим, успокаивающим, как ночной ветерок, голосом: — Опрокинул на себя баллон с жидким кислородом. Видимо, я имею предрасположение к образованию келоидных рубцов... Да, в общем, паршиво...

Все лицо изрыто, точно пиявками. Бинты тоже не выход, но лучше, чем выставлять его на всеобщее обозрение...

Мой собеседник что-то пролепетал с растерянным видом, но я ничего не расслышал. Его предложение, встретившись, завернуть куда-нибудь выпить вина, несколько раз повторенное бодрым голосом каких-то полчаса назад, сейчас, казалось, рыбьей костью застряло у него в горле. Но раздражать его не входило в мои планы, и поэтому я быстро переменял тему разговора и перешел к делу. Товарищ мой, конечно, тут же прыгнул в эту спасательную лодку. Объяснения его сводились в основном к следующему. Было бы большим преувеличением сказать, что палеонтолог в состоянии до мельчайших подробностей воссоздать первоначальный облик. Общее расположение мышц — вот что он может достаточно точно представить себе, исходя из анатомического строения скелета. Поэтому, например, если попытаться по скелету реконструировать хотя бы только строение такого животного, как кит, имеющего особенно развитые подкожные образования и жировой слой, получится невообразимое, ни на что не похожее животное, некая помесь собаки с тюленем.

— Значит, можно представить себе, что и при восстановлении лица неизбежны существенные ошибки?

— Если бы безошибочное восстановление первоначального облика было возможным, загадки многих окаменелостей перестали бы существовать. Лицо человека, хотя до кита ему и далеко, вещь достаточно деликатная. Здесь невозможна подделка, как, например, в фотомонтаже. Ведь если бы нельзя было полностью отойти от строения черепа, то прежде всего не были бы возможны пластические операции косметического характера...

Тут он скользнул взглядом по моим бинтам, как-то неловко запнулся и прикусил язык. Можно было не спрашивать, что мешает ему продолжать. Пусть думает, что хочет. Не интересовало меня это потому, что он, не пряча неловкости и даже не пытаясь как-то оправдаться, сидел насупившийся, красный.

Постскриптум. В чем истинная сущность чувства стыда? Здесь, может быть, стоит еще раз вспомнить тот случай с сожженным париком. Сейчас все было как раз наоборот: теперь я ношу «парик» и сам же заставляю собеседника краснеть. Но стоит ли при-

нимать это так близко к сердцу? А вдруг как раз тут и спрятан удивительный ключ для разрешения загадки лица?

Какой он, однако, неловкий. Я нарочно выбрал совершенно безобидную, нейтральную тему и ничем уже не мог помочь, когда он сам забрел куда не следует и покраснел. Поскольку я в основном выведал все самое необходимое для моего плана, то не моя забота, какой осадок останется у него от нашей встречи. Но то, что вызывает чувство стыда, часто становится источником сплетни. А я терпеть не могу, когда рассказывают о чем-нибудь с таким видом, будто сообщают о подсмотренном через замочную скважину. Кроме того, скованность моего собеседника постепенно стала заражать и меня. И в конце концов с отвратительным чувством я стал ни с того ни с сего оправдываться, а этого уж совсем не следовало делать.

— О чем ты думаешь сейчас, я, в общем, представляю себе. Ведь если попытаться найти связь между вот этими бинтами и моими вопросами, то можно прекрасно все сообразить. Но предупреждаю, ты глубоко ошибаешься. Я уже не в том возрасте, когда страдают из-за искаленного лица...

— Сам ты ошибаешься. Нечего приписывать мне мысли, которых у меня нет.

— Если ошибаюсь — прекрасно. Но, видимо, ты произвольно судишь о людях по лицу. Правда? Совершенно естественно, что ты принял мои дела так близко к сердцу. Но если вдуматься, удостоверения личности далеко не достаточно, чтобы удостоверить человека. После того, что произошло со мной, мне пришлось многое передумать. Не слишком ли мы привержены этим удостоверениям личности? Потому-то и появляются все время, калеки, занимающиеся фальсификациями и подделками, чтобы скрыть свое уродство.

— Согласен, полностью... Фальсификации и подделки ни к чему, совершенно... Среди слишком размалеванных женщин много, говорят, истеричек...

— Но с другой стороны, разве можно представить себе лицо человека гладким, как яйцо — без глаз, без носа, без рта?..

— Да, тогда никого нельзя будет отличить.

— Вора от полицейского... Преступника от пострадавшего...

— Да, и свою жену от жены ближнего своего...— Точно ища спасения, он закурил и тихо засмеялся.— Это было бы здорово. Здорово, но возникают кое-какие вопросы. Вот, кстати, станет жизнь от этого более удобной или, наоборот, неудобной?..

Я засмеялся вместе с ним и решил, что на этом разговор нужно кончать. Но меня вдруг захватил круговорот, в центре которого было лицо, и тут уж тормоза оказались бессильны. Пока центробежная сила не вырвала из моих рук веревку, я, прекрасно сознавая опасность, продолжал стремительно мчаться вперед. И ничего не мог поделать с собой.

— Ни то ни другое. На такой вопрос однозначный ответ немислим даже логически. Коль скоро противоречия отпадут, станет невозможным и сравнение.

— Если отпадут противоречия, это будет означать деградацию.

— А что, тебе они очень необходимы? Разве можно утверждать, что, например, различия в цвете кожи принесли истории какую-либо пользу? Я абсолютно не признаю значения такого рода противоречий.

— О-о, ты, я вижу, начал обсуждать национальный вопрос. Но толкуешь его слишком широко.

— Если бы это было возможно, я расширил бы его еще больше. До каждого отдельного лица, существующего в этом мире... Только с такой вот физиономией, чем больше говоришь, тем больше это похоже на монотонную песню преступника, доказывающего свою невиновность.

— Если ты разрешишь коснуться только национального вопроса... Может, это зря — всю ответственность возлагать лишь на лицо...

— А я хочу вот что спросить. Почему, когда мы начинаем фантазировать о жителях других миров, то прежде всего пытаемся представить себе их внешний вид?

— Этот разговор нас далеко заведет...— И, сминая в пепельнице сигарету, которой затынулся всего раза три: — Чтобы закончить его, объясним это хотя бы любовью.

Я до боли остро ощутил неожиданно изменившийся тон собеседника, и мое фальшивое лицо покатилося с того места, где оно должно было быть, как падает тарелка, которую жонглер перестает вращать.

— Постой, посмотри на ту картину.— Я снова ничему не научился. И, указывая пальцем на довольно приятную репродукцию портрета эпохи Возрождения: — Что ты о ней скажешь?

— Ты, вижу, готов укусить меня, если я отвечу необдуманно. В общем, довольно глупое лицо.

— Да, верно, пожалуй. А нимб над головой? В этом ведь тоже есть определенная идея. Идея лжи и обмана. Благодаря этой идее лицо погрязло во лжи...

На лице моего собеседника появилась легкая улыбка. Тонкая, все понимающая улыбка, лишенная уже и тени смущения.

— Ну что я за человек. Какие бы высокие слова ты ни употреблял, пока я сам не пойму что к чему, ничего не в состоянии почувствовать. Может быть, мы просто не находим общего языка? Я занимаюсь ископаемыми, но, когда речь идет об искусстве, тут я модернист.



Сетовать бессмысленно. Лучше побыстрее осознать то, что я услышал от товарища. Ждать более значительных результатов означало только обольщать себя. Ведь помимо всего прочего я получил нужную информацию, а преодолеть унижение, собственно, тоже было моей целью, входило в задуманный план.

Но я до глубины души возненавидел палеонтологию, лишь когда понял: то, что я считал добычей и приволок домой, на самом деле несъедобная приманка. Нет, она была похожа на настоящую пищу, но, к сожалению, никто не знал способа ее приготовления — раздражили, а есть невозможно.

Признание закономерности множества нюансов при восстановлении облика по одному и тому же скелету было еще одним шагом на пути к возможности создания маски. Значит, независимо от основы можно выбирать любое лицо по своему усмотрению? Выбирать по своему вкусу приятно, но ведь выбирать-то все равно нужно. Необходимо просеять сквозь сито бесчисленные возможности и решить, каким, тем единственным, будет твое лицо. Какую избрать единицу измерения, взвешивая на весах лица?

Я не собирался придавать лицу особое, исключительное значение, и поэтому, по мне, какое ни лицо — все равно... Но когда лицо делают специально, никто не захочет, чтобы оно было отечным, как у сердечника. И уж конечно, не нужен в качестве модели киноактер.

Идеальное лицо — желать его бессмысленно. Да такое, в общем, и не существует. Но поскольку я должен был сделать выбор, необходим был какой-то эталон. Имей я даже самый неподходящий эталон, который, возможно, поставил бы меня в затруднительное положение, все равно это было бы уже что-то... Ни субъективно, ни объективно представить себе подобный эталон невозможно... Но в конце концов примерно через полгода блужданий я наконец нашел решение.

Заметки на полях. Было бы неверно сводить все к отсутствию эталона. Скорее следовало принять в расчет мое внутреннее стремление отказаться от всякого эталона вообще. Выбрать эталон неизбежно означает отдать себя на волю другого. Но человек имеет в то же время и противоположное желание — быть отличным от других. Две эти проблемы должны находиться в следующих отношениях:

$$\frac{A}{B} = f\left(\frac{1}{n}\right),$$

где A — показатель чужой воли, B — показатель сопротивления чужой воле, n — возраст, f — степень приспособляемости. (Ее снижение означает, что человек самоутверждается и одновременно растет его склонность к консерватизму. Она, как правило, обратно пропорциональна возрасту, но отмечаются значительные индивидуальные отклонения, кривая которых строится в зависимости от пола, характера, профессии и т. д.)

Даже исходя из возраста степень моей приспособляемости значительно снизилась, и я уже испытывал сильное сопротивление самой идее перемены лица. Нужно сказать, что к данному случаю вполне подходила точка зрения того самого палеонтолога, считавшего, что слишком накрашенные женщины — истерички. Поскольку, согласно психоанализу, истерия представляет собой один из видов впадения в детство.

Все это время я, конечно, не сидел сложа руки. Эксперименты над материалом для гладкого эпителия... стоило погрузиться в них, и они стали прекрасным предлогом, чтобы отдалить мою очную ставку с проблемой. В общем, копились и копились горы технической работы.

Гладкий эпителий потребовал значительно больше времени, чем я предполагал. Он и в количественном отношении занимает значительное место в коже, а кроме того, определяет успех или неудачу в достижении ощущения вещественности подвижной кожи. Воспользовавшись деликатностью коллег по лаборатории, я по собственному усмотрению стал использовать оборудование и материалы, и все же эксперименты потребовали добрых три месяца. В то время меня не особенно беспокоило несколько комическое противоречие: я осуществлял план создания маски, не решив, каким будет лицо. Но нельзя до бесконечности укрываться от дождя под чужим навесом. Когда этот период окончится и работа начнет продвигаться вперед, я окажусь в тупике.

Для кератинового слоя эпидермы прекрасно подойдут акриловые смолы — это я обнаружил сразу же. Что касается внутренних слоев кожи, то, видимо, для них вполне можно использовать тот же материал, что и для эпителия, предварительно вспенив его. Жировой слой, безусловно, будет отвечать своим требованиям, если в тот же материал добавить раствор кремния и, заключив в оболочку, сделать его воздухонепроницаемым. Наконец ко второй неделе нового года вся необходимая подготовка материала была завершена.

Дольше медлить было нельзя. Если не решишь, каким должно быть лицо, ни на шаг не продвинешься вперед. Но сколько я ни размышлял, в голове у меня беспорядочно, как в запаснике музея, громоздилось множество самых разных лиц. Однако проблему разрешить невозможно, если пятиться от нее назад. Другого способа, кроме как настойчиво перебирать лицо за лицом, не было, и я достал каталог музейных фондов. На первой же странице было помещено неожиданное любезное заглавие: «Правила систематизации», и я, сдерживая волнение, прочел:

1. Критерии оценки лица предельно объективны. Ни в коем случае не следует допускать такой ошибки: поддавшись личному впечатлению, приобрести подделку.

2. Лицо не имеет критериев оценки. Оно может лишь доставлять удовольствие или неудовольствие. Критерии отбора должны вырабатываться путем совершенствования вкуса.

Как я и ожидал, утверждают, что черное одновременно является и белым. Чем такой совет лучше никакого? При чем, когда я сравнивал два эти правила, казалось, что каждое из них одинаково справедливо, и поэтому положение запуталось еще больше. В конце концов мне стало не по себе от мысли, сколько существует на свете самых разных лиц. До сих пор не перестаю ломать голову, почему я не отказался раз и навсегда от своего плана?



Снова о портретной живописи. Палеонтолог, может быть, наградит меня кислой улыбкой, но я не могу не коснуться этого. В идее портрета, мне кажется — я оставляю в стороне его художественную сторону, — существует философия, над которой стоит задуматься.

Например, чтобы портрет воспроизводил универсальный образ, нужно исходить из универсальности выражения лица людей. Значит, необходимо, чтобы большинство людей были убеждены в том, что за одинаковым выражением обязательно должен проглядывать одинаковый образ. Подобное убеждение поддерживается, несомненно, опытом, уверенностью, что лицо и душа находятся в совершенно определенной взаимосвязи. Нет, конечно, никакой гарантии, что опыт всегда истина. Но вместе с тем невозможно и утверждать, что опыт — это обычно сгусток заблуждений. И не уместнее ли считать, что, чем сильнее опыт захватан грязными руками, тем больший процент истины он, как правило, содержит. В этом смысле, в общем, представляется неоспоримым утверждение, что существует объективный критерий ценности.

С другой стороны, нельзя также игнорировать и тот факт, что все та же портретная живопись с веками меняла свой характер: перемещала точку зрения от классической гармонии лица и души к индивидуальному выражению, скорее лишенному этой гармонии, и дошла до окончательного разрушения в восьмиугольных лицах Пикассо или «Фальшивом лице» Клее.

Но во что же тогда верить? Если бы меня спросили, каково мое личное желание, я бы, разумеется, остановился на последней точке зрения. Я думаю, было бы слишком наивно вырабатывать для лица какие-то объективные критерии — это ведь не выставка собак. Даже я в детстве ассоциировал идеальную личность, какой бы я хотел стать, с определенным лицом.

Заметка на полях. Высокая сопротивляемость благодаря высокой степени приспособляемости.

Естественно, романтический, неординарный облик фокусировался в моем воображении сквозь затертую линзу... Но я не должен был вечно пребывать в блаженном сне. Наличные деньги дороже любого векселя. Не оставалось ничего иного, как платить только за то, что я мог оплатить тем лицом, которым обладал на самом деле. Может быть, мужчины избегают косметики, противясь стремлению не быть ответственными за свое лицо. (Конечно, женщина... женская косметика... если вдуматься, не потому ли они прибегают к ней, что наличные деньги у них на исходе?..)



Итак, я не приходил ни к какому решению... испытывая что-то вроде недомогания, точно перед простудой... но все мои трудности были связаны только с моим будущим внешним обликом, и поэтому я продолжал биться в одиночку над техническими проблемами, касающимися других сторон изготовления маски.

После выбора материала нужно было подумать о формовке внутренней стороны маски. Хотя я и говорил, что мне предоставили все возможности, я не хотел заниматься этим на работе и решил перевезти все необходимое оборудование домой и установить его в кабинете. (А ты, кажется, подумала, что рвение, с каким я работаю, — это компенсация за раны на лице, и, прослезившись, пыталась помочь мне. Разумеется, это была компенсация, но рвение было не то, о котором ты думала. Я закрыл дверь кабинета, дошел до того, что запер ее на замок, отвергая даже твою доброту, когда ты пыталась приносить мне ужин.)

Работа, в которую я ушел с головой за закрытой дверью, заключалась вот в чем.

Прежде всего я приготовил таз такого размера, чтобы в него входило целиком все лицо, налил в него раствор альгинокислого калия, гипса, фосфата натрия и кремния и, ослабив мимическую мускулатуру, медленно погрузил туда лицо. Раствор застывает в течение трех—пяти минут. Столько времени не дышать я не мог и поэтому взял в рот тонкую резиновую трубку, а конец ее вывел за край таза. Представь, что тебе нужно в течение нескольких минут неподвижно, с застывшим выражением лица сидеть перед фотоаппаратом. Это невероятно трудно. После множества неудач — то чесался нос, то дергался глаз — на четвертый день я наконец добился удовлетворительного результата.

Теперь на очереди было покрытие полученной формы никелем в вакууме. Сделать это дома было невозможно; я тайком принес форму в лабораторию и, прячась от посторонних глаз, проделал всю необходимую работу.

Наконец остались последние доделки. В ту ночь, убедившись, что ты пошла спать, я поставил на переносную газовую плитку железную кастрюлю со свинцом и сурьмой. Расплавленная сурьма приняла цвет какао, в которое плеснули слишком много молока. Когда я стал осторожно вливать раствор в форму из альгинокислого калия, покрытую слоем никеля, вверх медленно поплыли струйки белого пара. Из отверстия, оставленного резиновой трубкой, через которую я дышал, а потом и отовсюду, вдоль края формы, обильно пошел голубоватый, прозрачный дымок. Видимо, сгорала альгиновая кислота. Запах был отвратительный, и я открыл окно. Морозный январский ветер, будто ногтями, зацарапал ноздри. Перевернув форму, я высвободил затвердевший слепок из сурьмы и остудил еще дымившуюся форму, погрузив ее в таз с водой. Со стола на мое кроваво-красное обиталище пиявок смотрели скопища пиявок, тускло поблескивающие серебром.

Но все же никак не верилось, что это мое лицо. Другое... Совсем другое... Я не мог представить себе, что это те самые пиявки, которые благодаря зеркалу до отвращения мне знакомы... Конечно, между слепком лица из сурьмы и моим отражением в зеркале, возможно из-за того, что в них левая и правая стороны поменялись места-

ми, чувствовалась определенная разница. Однако такую же разницу можно сколько угодно наблюдать с помощью фотографии, и это не так уж важно.

Потом, как ты понимаешь, возникла проблема цвета. Из книги французского врача Анри Блана «Лицо», которую я нашел в библиотеке, следовало, что между цветом лица и его выражением существует связь, значительно более тесная, чем это можно предположить. Например, гипсовая посмертная маска только путем придания ей того или иного цвета может быть превращена и в маску мужчины, и в маску женщины. Это можно видеть и на таком примере: стоит сделать черно-белую фотографию мужчины, переодетого женщиной, и маскарад сразу же будет разгадан. Значит, все дело действительно в цвете. Чуть заметные утолщения на слепке из сурьмы — если не падает свет, их и не обнаружить... Совсем незначительные неровности — они не стоят, пожалуй, всех этих волнений с маской... На какое-то мгновение я даже подумал, не шахаюсь ли я от призрака, не сражаюсь ли с врагом, созданным моим воображением. Но может быть, если даже эти сплетения металлических пиявок окрасить в кроваво-красный цвет мяса, то они моментально обнаружат свое уродство. Возможно, и так. Как жаль, что человек сделан не из металла.

Но коль скоро цвет так важен, при окончательной обработке маски нужно с особым вниманием отнестись к окрашиванию. Точно слепой, радующийся любому ощущению, я, нежно поглаживая хранящий еще остатки тепла слепок из сурьмы, остро ощутил, как тернист путь к изготовлению маски, когда завершение одной работы сразу же оборачивается началом новых трудностей. Действительно, я замыслил бросить дерзкий вызов. Исходя даже из объема проделанной работы и затраченного времени я должен бы уйти очень далеко, но следовало помнить, что до сих пор я еще не брался за главное — выбор прототипа. К этому прибавилась новая трудность — цвет. Такие-то дела... Наступит ли мгновение, когда я смогу осуществить свою мечту — начать новую жизнь в образе другого человека?..

Были, конечно, не только огорчения. Мысленно блуждая между складками металлических пиявок, я думал о том, как нелепа роль, которую играет лицо: из-за утолщений в какие-то несколько миллиметров человек должен терпеть преследования, словно бездомная ше-

лудивая собака, и вдруг, точно с глаз спала пелена, я обнаружил уязвимое место у самого главного своего врага.

Эти металлические пиявки сами по себе могут существовать только в виде негатива для создания внутренней стороны маски. Другими словами — отрицательное существование, которое должно быть прикрыто и уничтожено с помощью маски. Но только ли это? Да, отрицательное существование, это несомненно. Но если не сделать его основой, не может существовать и маска, которая должна его уничтожить, И так, металлическая основа — это цель, которую маска должна уничтожить, и в то же время — отправная точка для создания маски.

Представим себе проблему несколько конкретнее. Например, если говорить о глазах — их остается только использовать, не изменяя ни расположение, ни форму, ни величину. Но предположим, я осмелился и занялся ими, тогда должен ли я, определив в качестве границы расположение глаз, сделать выпуклым только лежащий над ней лоб или, наоборот, сделать выступающей только лежащую под ней часть лица, а если ни то, ни другое — может быть, сделать выпученные глаза и сильно выдающееся вперед лицо? Возможны только эти варианты. То же можно сказать, когда дело идет о носе или рте. Тогда выбор типа лица уже не покажется таким неопределенным. Ограничение? Может быть, и ограничение. Но, по мне, это гораздо лучше, чем дешевая, эфемерная свобода. Во всяком случае, оно указывало мне цель, которую я должен достичь. И даже если я пойду кружным путем заблуждений и ошибок, сначала лучше всего попытаться по-настоящему смоделировать лицо и, подгоняя его к оригиналу, изучить, какой тип представляется возможным. Этот путь был для меня самым подходящим. (Не ученый, а всего только ремесленник — так отзываются обо мне коллеги, и, может быть, они отчасти правы.)

Прикладывая палец к разным частям металлической основы, прикрывая ее обеими руками, затеняя ее, я незаметно для себя предался мечтам. Какая все-таки это тонкая штука... Достаточно тронуть пальцем — и вот уже другой человек, и даже не похожий на родного или двоюродного брата... Приложишь ладонь — совсем другой, незнакомый... С тех пор как я занялся изготовлением маски, пожалуй, впервые у меня было такое бодрое, рабочее настроение.



...Да, можно смело сказать: то, чего я достиг в ту ночь, было очень важной вершиной всей моей работы. Гора не была такой уж крутой, не была и величественно-высокой, но зато, кажется мне, представляла собой важную точку рельефа, определявшую направление вод, вытекающих из источника, и, в общем, достаточно выдающуюся, чтобы указать путь потоку. И это потому, что с того момента между проблемой критерия выбора лица и проблемой технического воплощения плана в жизнь, которые до сих пор шли как две параллельные линии, действительно пролегло нечто подобное чуть намеченному каналу. Слепок из сурьмы, хотя и не давал никаких перспектив в смысле метода изготовления маски, ободрил меня, вселил уверенность в том, что благодаря конкретной работе изо дня в день мои возможности будут все больше расширяться.

Я решил на следующее же утро купить глины и начать практиковаться в моделировании лица. Ясной цели у меня не было, и я шел к ней на ощупь. Сверяясь с анатомическим атласом мимической мускулатуры, я накладывал один на другой тонкие слои глины. Работа трагическая, напряженная, будто участвуешь во внутреннем процессе рождения человека, будто критерий выбора, который в общем-то и не ухватишь, начинает затвердевать, точно остывающий желатин,— с таким чувством я постепенно придавал форму податливому материалу. Есть гениальные детективы, которые находят преступника, сидя в кресле, а есть заурядные сыщики, которые, не жалея ног, гоняются за уликами. Я тоже больше всего люблю действовать, работать руками.

Как раз в это время я снова стал испытывать интерес к книге Анри Блана «Лицо», о которой уже упоминал. Когда она впервые попала мне на глаза, я принял содержащийся в ней анализ за скрупулезную классификацию, которую так любят ученые, и даже подумал с раздражением — ну что могут дать все эти рассуждения мне, человеку, занятому конкретным делом. Но когда я буквально на ощупь подошел к проблеме создания лица, то обнаружил наконец, что в блановой теории форм содержится нечто большее, чем то, что можно обнаружить в

обыкновенном справочнике. Такое случается, когда смотришь карту знакомой местности и карту чужой страны.

В общих чертах классификация Блана выглядит следующим образом. Сначала рисуется большая окружность, центром которой служит нос, а радиусом — расстояние от кончика носа до конца подбородка. Затем рисуется малая окружность, радиус которой — расстояние между носом и губами. В зависимости от соотношения этих окружностей лица подразделяются на два типа: с центром, смещенным вниз, и с центром, смещенным вверх. А они, в свою очередь, распадаются на худые и полные. Таким образом, всего существует четыре типа лица:

1. Центр смещен вниз, худое — на лбу, щеках, подбородке мощные мускулистые выпуклости.

2. Центр смещен вниз, полное — на лбу, щеках, подбородке мягкие жировые отложения.

3. Центр смещен вверх, худое — заостренное к носу лицо.

4. Центр смещен вверх, полное — лицо, мягко выдающееся вперед у носа.

Все типы лица ими, разумеется, не исчерпываются. Эти четыре ствола бесконечно разветвляются в зависимости от сочетания ряда взаимоисключающих важных элементов, подчеркивания определенных частей, затушевывания деталей. Но мне не было нужды вдаваться в тонкости. И поскольку я накладывал слой за слоем, начиная с нижнего, можно было не принимать всего этого в расчет. Главное — не забыть основного, а дальше пусть идет как идет.

Если рассмотреть приведенные выше четыре основных типа в свете психоморфологии, то получим следующее. Первые два — это тип людей интровертных, сосредоточенных на своем внутреннем мире, а два последних — экстравертных, сосредоточенных на том, что происходит вокруг них. Типы под нечетными номерами враждебны или, во всяком случае, сопротивляются внешнему миру. Типы же под четными номерами, наоборот, имеют тенденцию примириться с ним или даже находиться в согласии. Путем сочетания двух этих видов классификации можно установить специфические особенности каждого типа.

Если же прибавить к методу классификации идею того же Блана о коэффициенте мимики, то проблема приобретает еще большую стройность. Коэффициент мими-

ки — это количественное определение влияния, оказываемого на выражение лица каждой из расположенных по степени подвижности девятнадцати точек, выбранных из более чем тридцати мимических мускулов. Весьма интересен и метод, каким проводился подсчет. Последовательно сфотографировав примерно 12 000 случаев выражения радости и печали и методом проецирования разделив их на горизонтали, как топографическую карту, Блан определил среднюю величину подвижности каждой точки. Выводы, к которым он пришел, в общих чертах следующие. Плотность коэффициента мимики особенно высока в треугольнике, ограниченном кончиком носа и углами губ. Затем она постепенно уменьшается в такой последовательности: участок между ртом и скулами, участки под глазами и, наконец, у переносицы. Самым низким коэффициентом обладает лоб. Таким образом, мимическая функция концентрируется в нижней части лица, в первую очередь вокруг губ.

Все это объясняется распределением коэффициента мимики в зависимости от места. Но на него влияет, вносит свои коррективы также и характер подкожного слоя. Коэффициент снижается пропорционально его толщине. Вместе с тем нельзя, видимо, отождествлять незначительность коэффициента с отсутствием мимики. Даже при высокой плотности коэффициента может быть сколько угодно случаев отсутствия мимики, а при незначительном коэффициенте наблюдается богатство мимики. Следовательно, может быть отсутствие мимики и при высоком и при низком коэффициенте.

Постскриптум. Может быть, попробуем применить метод классификации Блана к нашим лицам? Сначала — к твоему. Если говорить, каково оно, то его следует, видимо, причислить к лицам с центром, смещенным вверх. Подкожная ткань имеет жировые отложения. Следовательно, оно приближается к четвертому типу: к носу лицо выдается слегка вперед. С точки зрения психоморфологии ты относишься к людям экстравертным, сосредоточенным на том, что происходит вокруг них, и находишься в согласии с окружающим. Коэффициент мимики сравнительно низок, и выражение твоего лица стабильно и мало подвержено колебаниям.

Ну как? Надеюсь, попал в самую точку, а? Ты, кажется, сама рассказывала, что в школе тебя про-

звали Бодисатвой. Когда я первый раз услышал это, то рассмеялся. Что же все-таки меня рассмешило? Если вдуматься, я, видимо, совершенно неверно представлял себе и Бодисатву и тебя. Внешне, конечно, ты ни капельки не была на него похожа. Да если бы и захотела, не смогла бы стать такой же холодной и неприступной. Я бы сказал, что у тебя скорее темпераментное, чувственное лицо. Если же посмотреть на тебя изнутри, то, согласно классификации Блана, в тебе действительно есть черты Бодисатвы. Сосредоточенность на том, что происходит вокруг, согласие с внешним миром — все равно, что быть живой резиновой стеной толщиной в метр. Беспредельно мягкая — она никогда не причинит боли. Чуть улыбающееся, с полузакрытыми глазами лицо, как у статуи Будды, — человек с таким лицом побеждает голыми руками. Издали это такая привлекательная, располагающая улыбка. Но по мере приближения она начинает расплываться в туман, заволакивающий глаза. Я от души хочу выразить свое восхищение человеком, который придумал тебе прозвище Бодисатва.

...Тебе это кажется ехидством? Может быть, если кое-где и оказались колючки, виноват в этом только я, ты здесь совершенно ни при чем. Наверно, я отношусь к людям, болезненно воспринимающим доброту других.

Теперь мое лицо... да ладно... стоит ли говорить о лице, которое потеряно. Если бы мне представился случай, я бы предпочел послушать, как по теории Блана рассматривать лица людей племени саракаба, которые так видоизменяют свои лица, что их невозможно подвести ни под один пункт классификации.

Как я и ожидал, руки привели меня к первым проблемам успеха, чего никак не могла добиться моя голова. В результате десятидневных предварительных опытов с каждым из четырех типов лица два из них я признал непригодными.

Сначала отпал четвертый тип. «Лицо, мягко выдающееся вперед у носа». Этот тип лица имеет жировые отложения вокруг участков с высоким коэффициентом мимики и поэтому обладает большей стабильностью. Оно трудно приспособляемо — будучи однажды сделано, тре-

бует точного следования своей форме. И я столкнулся бы со слишком серьезными трудностями, если бы мне пришлось с самого начала совершенно точно запланировать всю работу до конца. Потому-то я, хоть и с некоторым сожалением, все же решил отказаться от этого типа лица.

Постскриптум к постскриптуму. Тебе, может быть, показалось, что в предыдущем постскриптуме я хотел еще что-то сказать. Но клянусь, никаких задних мыслей у меня не было. Ведь между моими основными записками и постскриптумом — разрыв почти в три месяца...

Теперь первый тип лица с центром, смещенным вниз при наличии «мощных мускульных выпуклостей на лбу, щеках и подбородке». С точки зрения психоморфологии такое лицо принадлежит человеку интровертному, сосредоточенному на своем внутреннем мире, противоречиво, страдает недостатком стабильности. Даже при самом пристрастном отношении нельзя было бы сказать, что это лицо ростовщика, ни разу не потерпевшего убытка. Но уж никак не маска обольстителя. Исходя лишь из внешнего впечатления, я без сожаления отбросил и этот тип.

Осталось еще два...

«На лбу, щеках и подбородке мягкие жировые отложения»... С точки зрения психоморфологии это лица людей интровертных, сосредоточенных на своем внутреннем мире, гармоничных или отличающихся интроспективностью при большом самообладании.

Лицо, «заостренное к носу»... С точки зрения психоморфологии — лица людей экстравертных, сосредоточенных на окружающем, негармоничных или волевых, склонных к действию.

Мне казалось, что передо мной развернулась вполне ясная картина. Выбирать из четырех или из двух — большая разница. Четыре — не просто два и два, в них содержится шесть комбинаций. Таким образом, я смог свести свою работу к одной шестой. Да к тому же два оставшихся типа представляли собой прямую противоположность друг другу: по ошибке принять один за другой было совершенно невозможно. Только путем экспериментального моделирования, что я и делаю, удастся узнать, какое лицо мне нужно.

На некоторое время я весь ушел в сравнительное изучение этих двух типов лица. Но так как у меня был лишь один слепок, служивший основой, я испытывал большое неудобство, когда каждый раз приходилось ломать одно и делать другое. Подумав, я купил поляроидную фотокамеру. Достаточно нажать на спуск, и в руках у тебя уже готовая проявленная фотография. Удобство состояло в том, что тут же, не теряя времени, можно было не только сравнивать фотографии, но и фиксировать шаг за шагом весь процесс создания маски.

Да, в те дни мое сердце пело, как цикада, почувствовавшая, что у нее выросли крылья.

И мне даже в голову не приходило, что в любую минуту моя работа может зайти в тупик...



Однажды небо клубилось в южном ветре, невыключенное отопление дышало непереносимым жаром. Взглянул на календарь — уже вторая половина февраля. Я даже растерялся. Хотел ведь закончить все, пока стоят холода. Что касается передачи ощущения вещественности и подвижности моей маски, я уже мог действовать почти наверняка, а вот как быть с вентиляцией, я еще не знал. В общем, время года, когда истекаешь потом, ничего хорошего не предвещало. И закреплять маску в этих условиях трудно, возникнет, как я предполагал, целый ряд препятствий физиологического характера. Но я должен был еще сделать крюк в три месяца, прежде чем подошел к тому, с чего начал эти записки, — прежде чем нашел убежище в этом доме.

Почему все же я должен был пойти таким кружным путем? На первый взгляд работа шла вполне успешно. Я так напрактиковался, что мог мысленно представлять себе каждый из двух типов лиц, мог даже, увидев лицо, принадлежащее к тому или иному типу, тут же разложить его в своем воображении на основные элементы и начать вносить в них поправки. Что ж, материал был у меня в руках, и я мог выбрать то, что мне понравится. Но не выберешь ведь одно из двух, если не располагаешь определенным критерием. Нечего и пытаться выбрать красное или белое, если не знаешь, о чем идет

речь — о цвете билета или цвете флага. Ох уж эти мне критерии, исчезающие во мгле! Неужели есть загадка, которую не разрешить простым хождением из угла в угол? Теперь критерий приобрел, конечно, совсем не тот смысл, что прежде. Но чем яснее становилось мое представление об объекте, тем больше я раздражался. В гармоничном типе есть прелесть гармонии, в негармоничном типе тоже есть своя прелесть. Решать вопрос с точки зрения ценности того или иного типа, здесь совершенно невозможно. И чем больше я узнавал, тем больший интерес начинал испытывать к обоим этим типам. Оказавшись в безвыходном положении, отчаявшись, я много раз думал: не бросить ли мне кости? Но поскольку в лице заключен определенный метафизический смысл, решить вопрос так безответственно я не мог. Исходя из результатов даже тех исследований, которые я до сих пор провел, нельзя не признать, как это ни прискорбно, что внешний вид в той или иной мере связан с психологией и индивидуальными чертами.

Но стоило мне вспомнить изъеденные пиявками, ищербленные остатки своего лица, как я отметал всякую его значимость, и кончалось это тем, что меня била дрожь, как продрогшую до костей собаку. Да что же это такое — психология, индивидуальные черты? Разве, когда я работал в институте, такие вещи имели какое-нибудь значение? Какие бы ни были у человека индивидуальные черты, один плюс один всегда два. Есть совершенно особые случаи, когда мерилом человека является лицо, — например, актер, дипломат, работник отеля или ресторана, личный секретарь, жулик. Но если он не принадлежит ни к одной из этих категорий, то могут ли иметь индивидуальные черты большее значение, чем рисунок листьев?

Тогда я плюнул на все и решил подбросить монету. Но сколько ни подбрасывал, орел и решка выпадали поровну.



К счастью или к несчастью, оставалась еще работа, которую нужно было сделать до того, как принимать решение о типе лица. Работа такая: найти материал для

поверхности кожного покрова лица, которую можно будет использовать при завершении маски. Мне не осталось ничего иного, как купить его у незнакомого человека, с которым я никогда больше не увижусь. Но характер этого предприятия был такой, что психологически его было очень трудно осуществить, и если бы я не оказался в безвыходном положении, то, несомненно, не смог бы заставить себя взяться за него. В этом смысле момент был исключительно подходящий.

Я, конечно, прекрасно знал, что в тот миг, как я закончу эту работу, мне неизбежно будет вручен ультиматум, но, как говорят, на яд действуют ядом — один яд уничтожает другой, — и тогда на какое-то время я мог обрести покой. Наступил март, и в первое же воскресенье я уложил в чемодан свои мудреные инструменты и решил с самого утра поехать наконец на электричке в город.

Электрички, идущие за город, были переполнены, те же, что шли к центру, — пока сравнительно пустые. И все же для меня было мучением через столько месяцев снова оказаться в толпе. Мне бы надо быть готовым ко всему, но я тем не менее стоял у двери, глядя наружу, не в силах заставить себя оглянуться и посмотреть, что делается в вагоне, и понимая, как комично я выгляжу, спрятавшись по уши в поднятый воротник пальто — хотя отопление работало так, что нечем было дышать, — не в силах шевельнуться, как насекомое, прикинувшееся мертвым. Как же смогу я тогда обратиться к незнакомому человеку? Каждый раз, когда вагон останавливался, я, вцепившись в ручку двери, должен был буквально бороться с малодушным желанием возвратиться домой.

В конце концов, чего мне бояться? Никто ни в чем меня не обвиняет, но все равно я весь сжался от стыда, точно и в самом деле совершил преступление. Если выражение лица столь незаменимо для идентификации личности, то можно ли утверждать, что немислимо установить личность человека, только услышав его голос по телефону? Можно ли сказать, что в темноте все люди боятся, подозревают друг друга, враждуют между собой? Чепуха. В конце концов, такая штука, как лицо, имеет глаза, рот, нос, уши, и, если функционируют они нормально, это больше чем достаточно! Лицо служит не для того, чтобы демонстрировать его окружающим, а только для самого себя! (Нечего принимать это близко к сердцу...

Так брюзгливо оправдывалось мое второе «я»... Стеснялся я только без нужды нагонять на посторонних людей страх, показывая им лицо, лишенное выражения...) Но по правде говоря, только ли в этом было дело? Темные очки, изготовленные по специальному заказу, были темнее обычных, и можно было совершенно не беспокоиться, что кто-нибудь почувствует на себе мой взгляд. И все же...

Поезд повернул, и та сторона вагона, где я стоял, оказалась обращенной к западу, в стекле двери отразилась семья с ребенком, позади меня. Мальчик лет пяти, который сидел между молодыми родителями, горячо что-то обсуждавшими, показывая пальцами на висевшую в вагоне рекламу (я потом прочитал: рекламировалась продажа ванн в рассрочку), округлившимися глазами неотрывно смотрел на меня из-под темно-синей матросской шапочки. Удивление, тревога, страх, неуверенность, понимание, недоверие, зачарованность и, наконец, все оттенки любопытства собрались в его глазах. Он был точно в трансе. Я начал терять самообладание. И родители тоже хороши — сидят и не пытаются даже одернуть его. Я резко повернул к ребенку лицо, и он, как я и ожидал, в страхе прижался к матери, а та, оттолкнув его локтем, начала бранить.

...А что, если бы я молча встал перед этими родителями и ребенком, с презрением глядя на их замешательство, снял очки, сбросил повязку и начал разматывать бинты? Замешательство перешло бы в растерянность, а потом в ужас. Но я, не обращая на них внимания, продолжал бы разматывать. Чтобы усилить эффект, последние витки я сорвал бы разом. Взял бы за верхний край бинта и рванул вниз. Но лицо, которое они увидят, будет совсем иным, нежели мое прежнее лицо. Нет, оно будет отличаться не только от моего лица — оно будет отличаться вообще от человеческих лиц. Мертвенно-белое, как воск, сквозь который просвечивает бронза или золото. Но они не смогут позволить себе дальнейших уточнений. Не успеют они сообразить, кто перед ними, бог или черт, как все трое превратятся в камни, слитки свинца, а может быть, просто в насекомых. А за ними последуют и другие пассажиры, присутствовавшие при этом...

Неожиданный шум в вагоне заставил меня очнуться. Поезд подошел к нужной мне станции. Я выскочил на платформу, будто за мной гнались. Опустошающая усталость охватила меня. В конце платформы стояла скамей-

ка. Как только я сел на нее, вся она оказалась в моем распоряжении: или меня избегали, или просто не хотели сидеть с кем-то рядом. Задумчиво глядя на беспорядочный поток пассажиров, я чувствовал, что вот-вот разрываюсь от переполнявшего меня отчаяния.

Видимо, я слишком радужно рисовал себе положение. Найдется ли в этой бессердечной и капризной толпе добрая душа, которая согласится продать мне свое лицо? Едва ли. Даже если я и выберу какого-то человека и позову его, вся эта толпа на платформе злобно воззрится на меня. Огромные часы под навесом платформы... общее время для всех людей... что же это, однако, такое — равнодушие тех, кто обладает лицом? Неужели обладание лицом имеет столь решающее значение? Можно ли сказать, что быть видимым — это цена, которую платишь за право видеть?.. Нет, хуже всего то, что моя судьба слишком необычна, слишком индивидуальна. В отличие от голода, безответной любви, безработицы, болезни, банкротства, стихийного бедствия, разоблаченного преступления в моем горе не было того, что позволило бы разделить его с другими. Мое несчастье навсегда останется только моим, и я ни с кем не смогу им поделиться. Поэтому кто угодно может без тени угрызения совести игнорировать меня. А мне не позволено даже протестовать.

...Не тогда ли я начал превращаться в чудовище? И разве не душа чудовища, цепляясь острыми когтями, взбиралась вверх по моему позвоночнику, от чего тело покрывалось холодными мурашками, будто от звука электрической пилы? Несомненно. Именно тогда я стал превращаться в чудовище. Карлейль, кажется, сказал: сутана делает священника, мундир делает солдата. Может быть, лицо чудовища создает сердце чудовища. Лицо чудовища обрекает на одиночество, а это одиночество создает душу чудовища. И стоит температуре моего ледяного одиночества чуть понизиться, как все узлы, связывающие меня с обществом, с треском разорвутся, и я превращусь в чудовище, которому безразличен внешний вид. Если мне суждено превратиться в чудовище, то какого рода чудовищем я стану, что я натворю? Не узнаешь, пока не станешь им. Но одна мысль об этом была так страшна, что хотелось выть.

Заметки на полях. Интересен роман, в котором описано чудовище Франкенштейна. Когда чудовище бьет тарелки, это обычно относят за счет инстинкта

разрушения, которым оно надделено. Здесь же наоборот — объяснение находят в хрупкости тарелок. Осознавая себя чудовищем, оно хотело одного — похоронить себя в одиночестве, и только хрупкость жертв без конца превращала его в убийцу, вот в чем дело. Значит, пока в этом мире существует то, над чем можно совершить насилие — что можно разломать, разорвать, сжечь, чему можно пустить кровь, что можно задушить, — чудовищу лишь остается без конца совершать насилия. В поведении чудовища, в общем, не содержалось ничего нового. Само чудовище не что иное, как изобретение своих жертв...

Нет, изо рта моего не вырвалось ни звука, но, думаю, к тому моменту я уже безмолвно выл. Помогите! Не смотрите на меня так! Если вы и дальше будете так на меня смотреть, я ведь и вправду превращусь в чудовище!.. Наконец я не выдержал и, как зверь, ищущий спасения в норе, продираясь сквозь чащу людей, в отчаянии устремился в ближайший кинотеатр — туда, где продают темноту, единственное место, где может укрыться чудовище.

Какой шел фильм, не помню. Я забился в самый угол балкона и плотно укутался, точно в шарф, в искусственную темноту. Постепенно начал успокаиваться, как крот, нашедший наконец свою нору. Кинотеатр был похож на длинный бесконечный туннель. Кресло казалось мне бешено мчащимся экипажем. Разрывая темноту, я неудержимо несусь вперед. Я лечу с такой скоростью, что никакие люди не могут догнать меня. Я обгоняю их, и они застывают марионетками. Я буду первым в мире Вечной Ночи. Я провозглашу себя императором страны, где нет ничего, кроме света звезд, светлячков и росы... Точно укрادкой смакуя сладкий плод, я упивался мечтами, похожими на детские каракули. И не надо смеяться надо мной из-за того, что темноты-то этой был всего лишь маленький клочок. Ведь если мыслить космическими масштабами, то тьма — важнейшая субстанция, занимающая большую часть Вселенной...

Вдруг в креслах передо мной началась какая-то неестественная возня. Из темноты послышался приглушенный смех женщины. «Ш-ш», — оборвал ее мужчина, и движение прекратилось. Зрителей было мало, произошло это в тот момент, когда музыка всей мощью, на какую

только была способна, потрясала зал, и поэтому никто, кроме меня, наверно, не обратил на них внимания. Хотя это касалось не меня, я вздохнул с облегчением. И все же продолжал пристально смотреть в ту сторону, не в силах оторвать глаз. Экран посветлел, и отчетливо всплыли силуэты двух человек. Женщина высвободила из-под воротника белого лохматого пальто подстриженные, как у девочки, волосы; к ее плечу, чуть опущенная вниз, прижималась голова мужчины. Причем оба они были укутаны до половины в его черное пальто. Что происходило под ним?

Особенно бросалась в глаза белая шея женщины. Этот белый клочок во тьме, казалось, то тонул, то снова всплывал в воротнике такого же белого пальто, мои глаза никак не находили фокус, и в них все мелькало. А вот что делал мужчина, было совсем неясно. Положение его головы такое, будто он что-то рассматривает на груди у женщины... Я впился глазами в его правое плечо — от напряжения даже слезы выступили. Но передо мной была картина, написанная черной тушью на черной доске. И если мне казалось, что плечо вздрагивает, то потому, что мне хотелось, чтобы так было, и если мне казалось, что оно движется ритмично, то только потому, что я хотел этого. В конце концов я сам увлекся собственным увлечением.

Неожиданно женщина громко рассмеялась. Я вздрогнул, будто меня ударили, — мне почему-то представилось, что виновник этого внезапного смеха я. На самом деле смеялась не она, а динамик за экраном. И будто вторя ей, на экране тоже забурлило вожделение.

Весь экран крупным планом заполнила белая шея женщины. Она решительно поворачивалась из стороны в сторону, точно выражая страдания и муку, а потом постепенно поплыла вниз, и вместо нее на экране появились губы, похожие на только что сваренные сосиски, и эти губы растянулись в какую-то невообразимую улыбку, значительно превосходящую все установленные для нее размеры. Потом ноздри, напоминавшие отверстие в резиновом шланге... за ними веки, так плотно сжатые, что они совсем потерялись в морщинах... и, наконец, смех, подобный хлопанью крыльев вспугнутых диких птиц...

Мне стало не по себе. Нужно ли, чтобы лицо демонстрировалось в таком виде? Кино с самого начала было задумано как зрелище, мыслимое только в темноте. И я

думаю, что поскольку у тех, кто смотрит, нет лиц, то и тому, на кого смотрят, лица не нужно...

Но в жизни не найдется ни одного актера, который согласился бы стащить с себя лицо, хотя одежду он готов стаскивать сколько угодно. Мало того, он абсолютно убежден, что вся его игра сконцентрирована на лице. Разве это не тот же обман: заманить зрителя темнотой и подстроить ему такую западню?.. Или вот, подглядывать стыдно, но можно ли сказать, что, если только притворяться, что подглядываешь, тогда все в порядке? Укройте отвратительную напыщенность, отбросьте ханжество! (Смешно, что подобное самоутверждение исходит от калеки, лишенного лица? Но ведь лучше всех понимает, что такое свет, не электрик, не художник, не фотограф, а слепой, потерявший зрение в зрелом возрасте. Как в изобилии есть мудрость изобилия, так и в нищете есть мудрость нищеты.)

Словно обращаясь за помощью, я снова посмотрел на ту пару. Сейчас оба они сидели совсем тихо. В чем же дело? Может быть, и то кипящее вожделение не более чем плод моей фантазии? Сквозь щели бинтов, точно черви, поползли струйки липкого пота. И видно, не только из-за того, что в зале было слишком жарко. Нечто едкое, как горчица, проникло в каждую пору, обжигая тело. (Фальшью оказалась не темнота, а, как ни странно, мое собственное лицо.) Если бы в эту секунду в зале неожиданно загорелся свет, то не кто иной, как я, непрошено вторгшийся сюда, был бы унижен и осмеян зрителями...

Собрав все свое мужество, я решился наконец выйти на улицу. Однако не могу сказать, что поиски убежища оказались бесплодными. Я почувствовал, что решимость моя гораздо сильнее, чем прежде,— другими словами, хоть в этом я восстановил свою связь с людьми.



Приближался полдень. По привокзальной улице нескончаемо лился поток людей, как всегда на бойком месте в выходной день. Я смешался с этим потоком и под взглядами, липкими, как назойливые мухи, все же продолжал бесцельно бродить примерно в течение часа. Считается, что хождение пешком имеет определенный

психологический эффект. Возьмем, например, воинскую часть на марше. Колонна может двигаться в две или в четыре шеренги, и солдат превращается лишь в двуногое существо, имеющее единственную цель — сохранять строй. Думаю, одновременно с чувством мрачной опустошенности, потери лица и сердца в этом ритме бесконечного марша заключается и бездушное успокоение. Мало того, совсем не редки случаи, когда во время долгого марша люди даже испытывают половое возбуждение.

Однако нельзя же до бесконечности отгонять мух. Скорее я должен превратиться во всевидящий мушиный глаз и жадно летать в людской толпе. Я должен найти в ней какого-то человека, который захочет продать мне поверхность кожного покрова. Пол — мужской... Обладатель гладкой кожи, по возможности без характерных признаков... Поскольку потом она будет растягиваться и сжиматься, черты лица и размеры безразличны... Возраст — от тридцати до сорока... Правда, у сорокалетнего мужчины, который согласится на мое предложение ради денег, кожа может оказаться со множеством шрамов и непригодна для меня, поэтому речь фактически шла о тридцатилетнем...

Я попытался взять себя в руки, но и это усилие, вспыхнув, как перегорающая электрическая лампочка, погасло — было очень трудно поддерживать внутреннее напряжение. Да к тому же и люди, шедшие по улице, хотя они и были между собой чужими, образовали прочную цепь, как органическое соединение, без единого разрыва, куда можно было бы втиснуться. И сможет ли одно лишь обладание избранным мной лицом послужить столь уж прочной связью? Ведь даже одежда, которую они носили, была согласована, точно пароль. Выпущенный в огромном количестве сегодняшний пароль, именуемый модой. Не есть ли это отрицание формы и вместе с тем некий новый вид формы? В том смысле, что изменения происходят непрерывно, это, видимо, отрицание формы, но в том смысле, что это отрицание осуществляется в массовом порядке, оно представляется опять-таки облеченным в форму. Может быть, такова душа сегодняшнего дня. И из-за этой души я стал еретиком. И хотя представление о моде, созданное искусственным волокном, действительно поддерживалось моими исследованиями, люди, думая, наверно, что человек, лишенный ли-

ца, лишен и души, ни за что не допустят, чтобы я слился с ними. Я отдавал все силы тому, чтобы продолжать идти.

Если бы я легкомысленно окликнул кого-нибудь из толпы, моя связь с окружающими вмиг расплзлась бы, как намокшая бумага сёдзи¹. Меня, наверно, окружили бы частоколом люди и стали без всякого снисхождения расспрашивать о моей маске, такой нелепой. Я раз шесть прошел из конца в конец по привокзальной улице и все это время непрерывно получал подобное предостережение. Нет, не потому, что я слишком много думал об этом. Хотя там была невообразимая толчея, вокруг меня, точно это был зачумленный район, всегда оставалось свободное пространство и ни разу никто не задел меня плечом.

Мне казалось, что я в тюрьме. В тюрьме, и тяжело давящие на тебя стены, и стальные решетки — все превратилось в отполированное зеркало, и ты повсюду находишь собственное отражение. То, что ты не можешь в любую минуту убежать от самого себя, — вот в чем ужас заточения. Я тоже прочно упрятан в мешок самого себя — как ни бейся, не вырвешься из него. Нетерпение превратилось в раздражение, а раздражение вылилось в мрачную злобу. Но тут вдруг мне в голову пришла мысль: а что, если зайти в ресторан в универмаге? Может быть, потому, что у меня было время, а может быть, из-за того, что я проголодался. Но эта мысль заключала в себе еще больший вызов. Интуиция человека, загнанного в угол, наконец подсказала мне, где распорот мешок, в который меня упрятали.

Люди ведь становятся одинокими, становятся разобщенными, становятся беззащитными, обнаруживают свои слабости, становятся слезливо-просительными главным образом в те минуты, когда спят, отправляют естественные надобности, ну и когда поглощены едой. Кстати, «индивидуальное» меню составляет особую гордость ресторанов в универмагах.

Помещение, куда я спустился на эскалаторе, было похоже на зал для приемов. Ресторан, видимо, сразу же за ним. Я совсем уж было направился туда, как вдруг прямо передо мной выплыло огромное объявление: «Выставка масок Но». На секунду я замер и в растерянности чуть не повернул обратно. «Конечно же, это должно

¹ Сёдзи — раздвижные перегородки в японском доме, обтянутые бумагой.

было непременно случиться,— подумал я.— Но если я убегу, надо мной будут смеяться еще больше». И хотя попасть в ресторан можно было, не заходя на выставку, я все равно направился прямо в этот зал.

Поступил я так, может быть, потому, что был воодушевлен уже принятым решением пойти в ресторан. Или, пожалуй, лучше назвать это пробой сил перед тем, как бросить вызов. Осмотр масок Но человеком в маске — что ни говори, сочетание необычное. Нужно собрать столько решимости, чтобы ее хватило пройти сквозь огненное кольцо.

Но, к счастью, посетителей было так мало, что все мое напряжение испарилось. Благодаря этому я невольно почувствовал умиротворенность и в таком состоянии решил обойти выставку. Никаких особых надежд я на это не возлагал. Между маской Но и той, которая была нужна мне, хотя называются они одинаково — «маска», — слишком большая разница. Мне нужна была такая, которая бы уничтожила препятствие в виде пиявок и восстановила тропинку, связывающую меня с другими людьми, а маска Но, наоборот, олицетворяет стремление уничтожить все связи с жизнью. Прекрасным доказательством этого может, кстати, служить ощутимая атмосфера тлена, царящая в зале.

Я не могу, конечно, не признать, что в маске Но содержится какая-то совершенная красота. То, что мы называем красотой, может быть, и есть сила чувства протеста, восстающего против разрушения. Трудность воспроизведения может служить мерой совершенства искусства. Значит, если исходить из невозможности массового производства, придется, несомненно, признать, что тонкое листовое стекло — лучшая вещь в нашем мире: Но все равно самое непостижимое — это то, что лежит за пределами всеобщего стремления искать такое редкое совершенство. Потребность в маске, как подсказывает здравый смысл, отражала желание людей, которых уже не удовлетворял облик живого актера, увидеть нечто превосходящее его. В таком случае зачем нужно было нарочно придавать ей сходство с удавленником?

Я неожиданно остановился у женской маски. Она висела на низкой полукруглой перегородке, соединяющей две стены, — в том, как ее поместили, был определенный замысел. Среди белых столбиков балюстрады на фоне черного полотна эта маска, будто отвечая на мой взгляд,

казалось, повернулась ко мне. И широко, во все лицо улыбнулась, точно ждала меня...

Нет, это была, безусловно, галлюцинация. Двигалась не маска, а падавший на нее свет. Позади балюстрады были запрятаны миниатюрные лампочки, они в определенном порядке зажигались и гасли, создавая неповторимый эффект. Да, ловко они это подстроили. И хоть я и понимал, что это подстроено, во мне все еще продолжал звенеть испуг. И я без всякого сопротивления навсегда отказался от привычного и наивного взгляда, что маски Но не имеют выражения...

Маска не просто была тщательно продумана. Она отличалась от остальных и блестящим выполнением.

Но это ее отличие было непонятным, невольно раздражало. Однако, когда я еще раз обошел зал и возвратился к женской маске, она вдруг предстала передо мной, точно в фокусе невидимой линзы, и я разгадал загадку. То, что я видел перед собой, не было лицом. Оно лишь прикидывалось лицом, а на самом деле было обыкновенным черепом, обтянутым тонкой пленкой. В других масках, масках стариков, гораздо отчетливее проглядывали очертания черепа, но эта женская маска, на первый взгляд казавшаяся такой округлой, если присмотреться, больше всех остальных напоминала именно череп. Рельефно выделяющиеся кости переносицы, лба, скул, подбородка были воспроизведены с такой точностью, что на ум приходил анатомический атлас, и движение теней, следуя за перемещающимся светом, превращалось в мимику. Непрозрачность клея, напоминающая старый фарфор... сеть тонких трещин, покрывающая поверхность... белизна и теплота сплавных бревен, лежащих на берегу под ветром и дождем... или, может быть, маски Но ведут свое начало от черепов?

Однако совсем не все женские маски были такими. С течением веков они превращались в обыкновенные, ничего не выражающие лица, похожие на очищенную дыню. Может быть, потому, что неверно истолковали замысел первых создателей масок и все внимание уделили самому процессу ее изготовления, забыли об основных костях черепа и подчеркнули только отсутствие выражения.

Неожиданно я столкнулся со страшной гипотезой. Почему создатели первых масок Но должны были попытаться преодолеть границы выражения и в конце концов

дойти до черепа? Конечно, не просто чтобы стереть выражение. Уход от повседневного выражения — это можно увидеть и в других масках. Если же углублять поиски принципиальной разницы, то она, пожалуй, заключается в том, что в отличие от обычных масок, в которых этот уход решен в позитивном направлении, в масках Но он идет в негативном. Если хочешь придать выражение — можно придать какое угодно, но все равно это будет ничего не содержащий, пустой сосуд... Отражение в зеркале, которое может видоизменяться как угодно в зависимости от того, кто смотрится в него.

Это не значит, конечно, что нужно возвращать к черепу мое лицо, на котором роились пиявки. А не содержалось ли в универсальном методе создания масок Но, когда лицо превращалось в пустой сосуд, основного принципа, выражаемого через любое лицо, любое выражение, любую маску? Не лицо, которое создаешь сам, а лицо, создаваемое другим... Не выражение, которое выбираешь сам, а выражение, выбираемое другим... Да, это, пожалуй, верно... Чудовище есть нечто сотворенное, а значит, и человека можно назвать творением... Творец же, поскольку речь идет о письме, именуемом выражением, выступает не как отправитель, а скорее как получатель.

Не объясняет ли это все мои затруднения с выбором типа лица, все мои бесконечные блуждания?.. Сколько марок ни наклеишь на письмо, не имеющее адреса, оно просто вернется обратно... Постой, есть, кажется, выход. Что, если показать кому-нибудь используемый мною для справок альбом установленных типов лица и попросить, чтобы выбрали... Но кому же, кому? Ну разве не ясно? Конечно, тебе!.. Кроме тебя, никто не может быть получателем моих писем!



Сначала я скромно решил, что открытие мое совсем незначительно, но постепенно окружающие меня волны света начали менять длину, сердце мое затеплилось улыбкой, и, чтобы ее не задуло, я прикрыл ее ладонями и осторожно, точно спускаясь с горки, покинул зал.

Да, это совсем не маленькое открытие, если его удастся осуществить... Возникнет, наверно, немало проблем

с точки зрения формальностей... разумеется, возникнет... но тем не менее в конце концов удастся все уладить. Я решительно направился в ресторан. Без тени колебания я вторгся в столь отличную от зала «Выставки масок Но» раскаленную атмосферу большого ресторана, который в своем двухстраничном меню охватывает все без исключения виды аппетита. Я сделал это не из-за какой-то безумной смелости. Наоборот. Мелькнувшая надежда скорее сделала меня трусом. В своем стремлении как можно быстрее установить связь между письмом и адресом я превратился в ребенка, который пробегает темноту, закрыв уши.

И тут как раз передо мной, загораживая дорогу, вырос мужчина. Невозмутимость, с которой он неторопливо — казалось, никогда не оторвется, — рассматривал выставленные в витрине кушанья, как раз должна была быть присуща человеку, которого я так упорно разыскивал. Убедившись, что возраст мужчины как раз подходит и что на лице у него нет шрамов, я сразу же решил — пусть будет он.

Мужчина, решившись наконец, купил в кассе талон на миску китайской лапши, вслед за ним я взял талоны на кофе с бутербродом. С невинным выражением лица, хотя какого лица — у меня же его не было, — я молча сел за один столик с женщиной, напротив него. Поскольку были и другие свободные места, он явно выразил неудовольствие, но ничего не сказал. Молоденькая официантка проколола наши талоны, принесла по стакану холодной воды и ушла. Я снял повязку, зажал в зубах сигарету и, чувствуя, что человек смущен, начал издали:

— Простите, я вам помешал, наверно...

— Нет, нет, нисколько.

— А вон ребенок так уставился на меня, что совсем позабыл о своем вожаденном мороженом. Чего доброго, он подумает, что вы мой приятель.

— Ну так пересядьте куда-нибудь!

— Да, это можно, конечно. Но прежде я бы хотел спросить вот о чем, прямо, без обиняков... Вы не хотите получить десять тысяч иен? Если они вам не нужны, я тут же перейду на другое место.

На лице моего собеседника отразился такой живой интерес, что мне даже стало жаль его; не мешкая, я начал тянуть сеть.

— Просьба не особенно обременительная. Риска никакого, много времени не займет — и десять тысяч иен ваши. Ну как? Будете слушать или мне пересесть?..

Мужчина облизывал кончиком языка желтые зубы, его нижнее веко нервно подрагивало. По классификации Блана у него было чуть полноватое лицо с центром, смещенным вниз. В общем, это был отвергнутый мной тип лица человека, сосредоточенного на своем внутреннем мире и антагонистичного внешнему. Но мне было важно лишь строение кожи, и поэтому само лицо не имело существенного значения. В отношениях с людьми такого рода необходимо, осуществляя нажим, внимательно следить за тем, чтобы не ранить их самолюбия.

Постскриптум. Всеми силами отвергая лицо как мерку для себя, в отношении других я легко ею пользуюсь. Такой подход слишком произволен? Да, произволен, но относиться так же к себе было бы слишком большой роскошью. Самыми злобными критиками чаще всего становятся обездоленные.

— Но ведь... — Как бы давая понять, что мы можем договориться, если даже он и не будет смотреть мне в лицо, он сидел, закинув руку за спинку стула, неловко ерзая, и, казалось, внимательно смотрел в сторону выхода к лифту на крышу, где детям раздавали в подарок воздушные шарик.

— Ну что ж, давайте обсудим...

— Вы меня успокоили. Хорошо бы нам уйти куда-нибудь. Очень уж здесь официантки неприветливые. Но сначала я хочу договориться об одной вещи. Я не спрашиваю у вас, чем вы занимаетесь, — не спрашивайте и вы.

— В конце концов, есть ли такое занятие, о котором стоило бы спрашивать? Да к тому же, если я ничего не буду знать, то потом не придется оправдываться перед другими.

— Когда мы все закончим, я хочу, чтобы вы забыли обо всем, будто мы никогда не встречались.

— Хорошо. Судя по началу, не такой у нас разговор, чтобы о нем захотелось вспоминать...

— Ну, как сказать! Вы и сейчас не решаетесь посмотреть мне прямо в лицо. Разве одно это не доказывает, что вы заинтригованы? Вам не терпится узнать, что у меня под бинтами.

— Чепуха.

— Что же тогда? Страх?

— Нет никакого страха.

— Тогда почему же вы меня так избегаете?

— Почему?.. Мне что, нужно по порядку ответить на все ваши вопросы? Это тоже входит в десять тысяч иен?

— Не хотите — не отвечайте. Я знаю все ваши ответы наперед, даже и не услышав их. Просто я думал хоть немного освободить вас от тяжести...

— Скажите же наконец, что я должен делать?

Мужчина с недовольным видом вынул из кармана пиджака смятую пачку сигарет и, оттопырив нижнюю губу, стал ее расправлять. Но тут же худая щека, на которой резко выступали мускулы рта, судорожно задергалась, как брюшко насекомого. У него был вид затравленной жертвы. Но могло ли такое случиться? Из опыта я знал, что, если имеешь дело с ребенком, он, подстегиваемый самой невероятной фантазией, может впасть в панику, мой же собеседник вполне зрелый человек. Коллеги отводили от меня глаза, болезненно ощущая свое превосходство. Именно зная это, я с помощью приманки в десять тысяч иен хотел выудить псевдоравенство. Не более...

— Итак, приступим к делу. — Я осторожно, но в то же время в намеренно резких выражениях начал зондаж. — Так вот, я подумал, не уступите ли вы мне свое лицо?..

Вместо ответа он мрачно взглянул на меня и с силой чиркнул спичкой. Кончик спички обломался, и горящая головка полетела на стол. Он суетливо погасил ее, щелчком скинул на пол и, досадливо хмыкнув, зажег новую. Как я и ожидал. Все это продолжалось каких-то несколько секунд, но в эти мгновения он весь сосредоточился, напрягся, чтобы проникнуть в смысл слов «уступить лицо».

Объяснений могло быть сколько угодно. Начиная с таких широко известных, как убийство, шантаж, афера, когда хотят изменить свой облик, и кончая уже совершенно фантастическими случаями, когда действительно занимаются куплей-продажей лиц... Да, догадаться совсем не легко. Если у него осталась способность спокойно рассуждать, он должен сразу вспомнить десять тысяч иен — это совершенно определенное условие. Сколько можно купить на десять тысяч иен, известно. Не самое ли благо-разумное, не мучая себя догадками, прямо спросить, что я имею в виду? Не было никакого сомнения, что его подавили мои бинты и он оказался в неуютном положении человека, которого мучат во сне какой-то невероятной софи-

стикой. В общем, я как будто не ошибся, решив пойти в ресторан. И больше всего мне понравилось то, что он, точно наткнувшись на проволочное ограждение, заинтересовался не столько тем, что было под бинтами, сколько самими бинтами.

В какой-то миг — точно знаменитый фокусник взмахнул платком — во мне произошло потрясающее превращение. Как из невидимой воздушной ямы внезапно появляется летучая мышь, так и я стал вдруг насильником, готовым вонзить в горло собеседника отточенные клыки.

— Да что там. Хотя я и говорю о лице, но, в общем-то, речь идет всего-навсего о коже. Бинты хочу заменить...

Лицо мужчины затуманивалось все больше, казалось, он поглощен курением — так старательно он складывал губы, — о нашем деле вроде бы совсем забыл. Вначале, чтобы предупредить его возражения, я думал коротко рассказать о действительном положении вещей, но сейчас в этом уже не было необходимости. Под бинтами я непроизвольно выдавил никому не видимую горькую улыбку. Выместить злобу — лучший способ сохранить здоровье.

— Нет, нет, не тревожьтесь. Я не собираюсь сдирать с вас кожу. Единственное, что мне нужно, — это рисунок ее поверхности. Морщины, поры, линии кожи... В общем, мне нужно, чтобы вы дали мне перенести на форму все, что позволяет создать ощущение вещественности кожи.

— Ах, форма...

Мужчина облегченно вздохнул, напряжение растаяло, у него заходил кадык, и он мелко закивал, но до конца его опасения все же не рассеялись. Было ясно, что его беспокоит. Что я собираюсь натворить, надев на себя лицо, точно такое же, как у него, — вот это не могло не волновать мужчину. Вместо того чтобы тут же разрешить его сомнения, я все время, пока поглощал принесенную еду, делал ему мелкие гадости, лишь утверждая его в сомнениях. К нему персонально я ненависти не питал. Просто хотел, наверно, отомстить за то, что мне приходится договариваться с ним о лице.

Конечно, если бы только меня не мучили эти пиявки, в бинтах тоже была своя прелесть, и выбросить их было совсем не так легко. Я считаю, например, что наиболее отчетливо истинный смысл лица выявляется тогда, когда оно в бинтах — эффект маски. Маска — это злая игра, в которой то, чего ждешь от лица, и то, что видишь, меня-

ются местами. В общем, это можно считать одним из способов укрыться от людей — стирая лицо, стирают и душу. Наверно, именно поэтому в давние времена палачи, расстриги, инквизиторы, жрецы, священники тайных орденов ну и, наконец, разбойники не могли обойтись без маски, она была им совершенно необходима. Маска имела не только негативное назначение — просто скрыть лицо, но, несомненно, и гораздо более позитивную цель — скрыв облик человека, разорвать связь между лицом и сердцем, освободить его от духовных уз, соединяющих с людьми. Возьмем более простой пример — сюда вполне приложима психология франта, который любит щеголять в темных очках, даже когда в них нет необходимости. Но ведь если освободить себя от всех духовных уз и обрести безграничную свободу, то легко стать и безгранично жестоким.

В сущности, мне уже приходилось задумываться над использованием бинтов как маски. Да... Впервые это произошло еще до того случая с рисунком Клее. Я с гордостью уподоблял себя человеку-невидимке, который видит всех, но сам скрыт от других. Потом — когда я был на приеме у господина К., изготавливающего искусственные органы. К. всячески подчеркивал наркотический характер маски и серьезно предупредил меня, что в конце концов я превращусь в наркомана, не мыслящего жизни без бинтов. Можно, значит, считать, что сейчас это произошло в третий раз... Прошло ведь уже больше полугода — возможно ли, чтобы я топтался на одном и том же месте? Нет, есть все же разница. Вначале было обыкновенное бахвальство, потом я получил предупреждение от постороннего и, наконец, сейчас впервые по-настоящему вкусил тайную прелесть быть человеком в маске. Моя мысль двигалась как будто по спирали. Я, правда, в глубине души немного сомневался: в каком направлении идет это движение — по спирали вверх или, наоборот, вниз?..

Итак, продолжая ощущать себя насильником, я выманил мужчину из универмага, заплатил за номер в ближайшей гостинице и через два часа тем же способом, каким я снял тогда слепок со своего обиталища пиявок, получил отпечаток кожи лица этого человека. Глядя, как мужчина, закончив работу, засунул в карман бумажку в десять тысяч иен и пошел, чуть ли не побежал к выходу, я испытал противное чувство одиночества, точно все силы выскользнули из моего тела. Если сделка с настоящим

лицом бесплодна, такой же бесплодной будет; пожалуй, и сделка с лицом, закрытым маской.

Постскриптум. Нет, это рассуждение неверно. Такое чувство было, возможно, вызвано тем, что, по моим предположениям, перемены, которые произойдут в моей душе, когда я закончу маску, будут очень похожи на все случаи, когда надевают личину, чтобы скрыться от людей... И неудивительно, что я испытывал тревогу, ведь я удаляюсь от заветной цели — восстановить тропинку, связывающую меня с людьми. Правда, в самой этой аналогии была определенная непоследовательность. Считать маску, не являющуюся моим собственным лицом, личиной — значит белое называть черным. Если маска расширяет тропинку, то личина разрывает ее — они скорее антиподы. Иначе я сам со своим стремлением убежать от маски-личины и найти маску-лицо окажусь в идиотском положении.

И еще одно. Только что я подумал: маска нужна жертве, а личина, наоборот, — насильнику. Верно?

БЕЛАЯ ТЕТРАДЬ

Ну вот я и сменил тетрадь, но в делах моих ~~особых~~ перемен не произошло. Действительно, раньше, чем я смог начать новую страницу, прошло несколько недель без всяких событий, точно я замер на мертвой точке. Несколько невыразительных недель, без глаз, без носа, без рта, похожих на мою маску из бинтов. Но кое-что все же произошло: я упустил возможность запатентовать одну работу, что позволило бы мне хорошо заработать, и, кроме того, молодые сотрудники лаборатории неожиданно подвергли меня серьезной критике по вопросу ассигнований на этот год. Что касается патента, то работа была еще очень далека от практического завершения и слишком специальная; и поэтому задумываться над этим вопросом не стоило. А вот ассигнования... хотя они и не были непосредственно связаны с моими планами, касающимися маски... но дело есть дело, и я должен был все продумать как следует. Когда мои коллеги заговорили об ассигнованиях, я понял, что они считают это определенным тактическим ходом с моей стороны. Действительно, активно поддерживая желание группы молодых сотрудников, я раньше со-

гласился на организацию специального сектора, но, когда дело дошло до ассигнований, получилось, что я отступился от своих слов. Это не было, конечно, ни интригой, ни завистью, ни злым умыслом, ни какими-либо другими, заранее продуманными маневрами, хотя они и называли так мой поступок. Особо хвастаться мне нечем — просто я забыл об этом. Если меня обвинят в недостаточно серьезном отношении к работе, мне кажется, я должен покорно принять это обвинение. Прежде я почти не сознавал этого, но после их слов как-то очень остро почувствовал, что с некоторых пор начал терять интерес к работе. Хоть это и не особенно приятно признавать, но не сказалось ли здесь влияние пивок? Если оставить в стороне некоторые угрызения совести, откровенно говоря, их протест подействовал на меня освежающе. Ведь со мной обращались как с равным — не в пример тем деланным улыбкам, с которыми встречали раньше калеку...

Но какое все-таки открытие сделал я на «Выставке масок Но», на которой, как я писал в конце предыдущей тетради, мне, кажется, удалось окончательно разрешить важнейший вопрос — выбор лица?

Писать об этом так грустно. Выражение лица — не потайная дверь, которую скрывают от постороннего взора, а парадный вход, и поэтому его сознательно так строят и так украшают, чтобы он услаждал глаз проходящего. Оно — письмо, а совсем не рекламный листок, который посылают, не задумываясь над тем, кто его получит, и поэтому не может существовать без адресата. Убедившись в правильности своих выкладок, я тут же решил предоставить тебе право выбора и таким образом с облегчением снял тяжесть со своих плеч. Теперь в мою игру сразу заиграли двое.

В тот вечер — вечер цвета глины, когда мутный туман, точно грязная вода, клубясь, поднялся вверх, на час раньше обычного затянул небо и свет грязных фонарей, вызывающе делал то, что не подвластно ему, — подгонял время... я, двигаясь в людской толпе, все густевшей по мере приближения к вокзалу, снова сделал попытку войти в роль насильника, чтобы как-то освободиться от невыносимого чувства одиночества, преследовавшего меня с того момента, как я расстался с тем человеком. Но если не встретиться с кем-то один на один, как это было в ресторане универмага, ничего, пожалуй, не получится. Когда люди образуют толпу, пусть даже и эту отвратитель-

ную толчею воскресного вечера, их лица, как амебы, протягивая друг другу ложноножки, создают цепь, и в ней нигде нет ни щелки, в которую можно было бы втиснуться. Но все равно я уже не был так раздражен, как раньше, когда выходил из дому. Я даже мог позволить себе признать, что сверкающее море света, которое, разрывая туман, плыло, дышало, волновалось, действительно великолепно. Может быть, потому, что теперь у меня был совершенно определенный план. С таким трудом купленный слепок лица из альгината калия, который я нес в портфеле под мышкой, был невыносимо тяжелым... но, правда, уравнивался тяжестью бинтов на моем лице, насквозь пропитавшихся туманом... в общем, у меня был план, и я мог попытаться осуществить его. Надежды на этот план, я думаю, и смягчили, пусть чуточку, мое сердце.

Да, так вот в тот вечер... мое сердце широко открылось тебе, будто преграда перед ним исчезла. И это не было просто пассивной надеждой, связанной со стремлением взвалить на тебя выбор... это не было простым побуждением, связанным с тем, что подготовка закончилась и я подошел к этапу, когда должна была вот-вот появиться маска... как бы это лучше сказать... наивно, как ребенок, мягко, точно переступая босыми ногами по траве, я сокращал и сокращал расстояние между нами.

Возможно, это спокойствие и уверенность, вызванные тем, что я получил возможность заманить тебя в сообщники, пусть косвенные, для изготовления маски — работы, требующей одиночества. Для меня, что ни говори, ты была чужаком номер один. Нет, я употребляю эти слова не в отрицательном смысле. Ты — первая, к кому я должен восстановить тропинку, ты та, чье имя я должен написать на первом своем письме, вот в каком смысле **назвал** я тебя чужаком номер один. (...В любом случае я просто не мог лишиться тебя. Потерять тебя означало для меня потерять весь мир.)



Но в тот миг, как я столкнулся с тобой лицом к лицу, надежды мои превратились в бесформенную кучу, точно вынутая из воды морская трава. Я бы не хотел быть не-

правильно понятым. Я совсем не собираюсь придирается к тому, как ты меня встретила. Я далек от этого — ты сочувствовала мне с великодушием, превосходящим великодушие. Кроме того случая, когда не пустила к себе под юбку. Во многом, несомненно, следовало винить и меня или, лучше сказать, именно меня. Как писал поэт: всегда ли имеешь ты право на любовь того, кого любишь?

В тот день ты встретила меня, как обычно, с ненавязчивой предупредительностью или, вернее, с ненавязчивым состраданием. И наше молчание тоже было обычным.

Сколько же времени прошло с тех пор, как между нами воцарилось молчание, будто умолк сломанный музыкальный инструмент.

Наши ежедневные разговоры, обмен старыми новостями не прекратились, но свелись к минимуму и приобрели чисто символический характер. Но я и не думаю обвинять тебя в этом. Я прекрасно понимаю, что это была частица твоей жалости. Сломанный инструмент всегда фальшивит. Пусть лучше молчит. Для меня это было горькое молчание — для тебя, несомненно, во много раз горше. Потому-то я и должен был как-то использовать этот случай, чтобы мы поговорили еще раз — я так на это надеялся...

Но все равно, как было бы хорошо, если бы ты по крайней мере спросила, куда я ходил. Ведь за последнее время это необычный случай, чтобы я в воскресенье с раннего утра на целый день ушел из дому — а ты не выказала ни малейшего удивления.

Ты быстро отрегулировала огонь в печке и сразу же возвратилась на кухню, не успела принести горячую салфетку, как снова убежала посмотреть, согрелась ли вода в ванне. Ты вроде бы и не оставляла меня, но и не старалась быть ближе. Конечно, любая хозяйка ведет себя в своем доме так же, как ты, но я хочу сказать вот о чем — о твоей слишком рассчитанной уравновешенности в те минуты. Ты действительно была на редкость искусна. Стремясь придать нашему молчанию естественность, ты с точностью электронных весов отмеряла время.

Чтобы сломать молчание, я решил показать, что рассердился, но и это не помогло. Увидев твои отважные усилия, я сразу же сник, поняв, что мне снова дали остро почувствовать, насколько я бессмысленно самонадеян. Застывшее между нами ледяное поле молчания оказалось,

видимо, гораздо массивнее, чем я предполагал. Совсем не тоненькая корка льда, которую растопил бы первый попавшийся предлог. Все подготовленные мной по дороге вопросы — или поводы для разговора — были не более чем огоньком спички, упавшей на айсберг.

Я, конечно, не был настолько оптимистичен, чтобы думать, будто смогу поставить перед тобой образцы двух типов лица и сказать, подделываясь под заправского торговца, ну, какой нравится тебе больше? Первое условие — чтобы моя маска не бросалась в глаза как маска, и поэтому мне не следовало раскрывать истинный смысл своего вопроса. Иначе я дождусь лишь злых насмешек и колкостей. И теперь, поскольку я не собираюсь воздействовать на тебя гипнотически, вопросы мои должны быть, естественно, более косвенными. Но дальше этого мои планы не шли, и удача, которую я с трудом ухватил, потому что я, как хороший сыщик, не жалел ног, — эта удача чуть ли не обернулась для меня провалом, но я все равно надеялся, что в нужную минуту смогу ее использовать по назначению. Например, я с легким сердцем разбирал лица своих друзей, произвольно протягивая ниточку к твоим вкусам.

Но ты не была рыбой, удовлетворяющейся молчанием. Молчание — тяжелое испытание для тебя. Не кто иной, как я сам, страдал, когда мне приходилось говорить с кем-либо о случившемся со мной, и именно ты, зная это, старалась поддержать меня... Ругая себя за лицемерие, я молча прошел мимо молчания, вернулся в свой кабинет, запер в шкаф инструменты для формовки и сегодняшний трофей, а потом, как обычно, начал разматывать бинты, чтобы смазать лицо кремом и сделать ежедневный массаж. Но рука вдруг остановилась на полпути, и я заблудился в диалоге с несуществующим собеседником.

«Нет, это не простая приманка... Сколько десятков калорий огня нужно для того, чтобы растопить это молчание? Это знает только мое потерянное лицо. Может быть, маска и есть ответ?.. Но если не будет твоего совета, я не смогу сделать маску... Так, может быть, лучше все бросить?.. Но если где-то не разорвать этот порочный круг, то будет повторяться одно и то же, как в той дурацкой орлянке. Но все равно терять надежду не следует. Если не удастся растопить весь лед молчания, нужно попытаться развести хоть маленький — только руки погреть — костер...»

Точно водолаз, надевающий свой костюм, я снова тщательно намотал бинты. С выставленным напоказ обиталищем пиявок я лишился уверенности, которая позволила бы мне преодолеть гнет молчания.

Чтобы скрыть сковавшее меня напряжение, безразличной походкой кошки, будто ничего не произошло, я вернулся в гостиную. Делая вид, что углубился в вечернюю газету, краешком глаза я следил, как ты ходила на кухню и из кухни. Ты не улыбалась, но у тебя, когда ты делала то одно, то другое, ни на миг не переставая двигаться, было такое удивительно легкое выражение лица, точно ты вот-вот улыбнешься. Это было в самом деле удивительное выражение, которое появилось у тебя непроизвольно, и я даже подумал: не было ли самым главным стимулом, заставившим меня сделать тебе предложение, именно то, что я был неожиданно очарован этим выражением твоего лица?

(Не писал ли я уже об этом? Ладно, если и повторюсь, не страшно. Для меня, ищущего смысл в выражении лица, оно было как свет маяка. Даже сейчас, когда я это пишу и думаю о тебе, первое, что всплывает перед глазами,— снова то выражение твоего лица. В ту самую секунду, как на твоём внешне бесстрастном лице появилась улыбка, в выражении его неожиданно что-то засверкало, и все, освещенное этим светом, вдруг почувствовало уверенность, подтверждение своего существования...) Щедро даря это выражение окнам, стенам, лампам — всему, что тебя окружало, но только не мне, только в мою сторону ты не могла заставить себя повернуться. И хотя я считал это вполне естественным и ни на что, в общем, не надеялся, я вдруг почувствовал, что мне было бы вполне достаточно, если бы удалось заставить тебя повернуться в мою сторону, чтобы увидеть выражение твоего лица.

— Поговорим.

Но когда ты повернулась ко мне, то выражение уже исчезло.

— Сегодня я ходил в кино.

Ты ждала, что я скажу дальше, заглядывая в щели между бинтами с таким вниманием, что его даже нельзя было принять за внимание.

— Нет, не потому, что хотел посмотреть фильм. Просто мне нужна была темнота. Когда идешь по улице с таким лицом, начинает овладевать сознание, что делаешь что-то плохое. Странная это штука — лицо... Раньше я со-

всем о нем не думал, а как только его не стало, мне кажется, что от меня оторвана половина мира...

— Какой был фильм?

— Не помню. Наверно, потому, что совсем потерял голову. Меня вдруг настигла идея насилия. И тогда я, точно спасаясь от дождя, влетел в ближайший кинотеатр...

— А где этот кинотеатр?

— Не все ли равно где. Мне нужна была темнота.

Ты осуждающе поджала губы. Но глаза грустно прищурились, показывая, что не только меня ты обвиняешь. Меня охватило жестокое раскаяние. Я не должен был этого делать. Нужно было говорить совсем о другом.

— ...Так вот, тогда-то я и подумал. Может быть, стоит иногда ходить в кино. Там все зрители будто берут напрокат у актеров лица и надевают их. Никому не нужно свое собственное лицо. Кино — это такое место, куда ходят для того, чтобы, уплатив деньги, на какое-то время поменяться лицами.

— Да, пожалуй, иногда ходить в кино стоит.

— Я думаю, не подходят только фильмы, в которых не нравятся лица актеров. Верно? Ведь идешь, чтобы взять напрокат эти лица и надеть на себя. Поэтому, не придись они точно, половина интереса пропадает.

— А разве нет фильмов без актеров? Ну, например, документальные...

— Не имеет значения. Пусть в них нет актеров, лица-то все равно есть. Даже рыбы, даже насекомые имеют какую-то физиономию. Даже стулья и столы имеют свое лицо, которое может нравиться или не нравиться.

— Но кто захочет смотреть фильм, нацепив рыбью морду?

Ты затрепетала, как бабочка, наслаждаясь шуткой. Права была, конечно, ты. Несомненно, лучше молчать, чем вытаскивать на свет эту рыбью морду.

— Нет, ты ошибаешься. Речь идет совсем не о моем лице. Лица-то у меня ведь нет, а значит, оно не может ни нравиться, ни не нравиться. Ты — другое дело. Для тебя не может не быть вопроса, с какими актерами фильм ты хочешь смотреть.

— Что б ты ни говорил, все равно мне нравятся фильмы без актеров. Не получаю никакого удовольствия ни от трагедии, ни от комедии.

— Ну почему, ну почему ты всегда стараешься меня утешать!

Непроизвольно тон у меня стал резким, мне как-то все вдруг стало безразлично, и под бинтами я скорчил отвратительную гримасу, которую все равно никто не мог увидеть. Может быть, оттого, что снова стало жарко, пивянки закопошились, и все лицо вокруг них загорелось зудом.

Это не было молчание, которое можно преодолеть таким способом. С какой стороны мы ни подступали к разговору, он все время замирал на одной и той же точке. У меня не хватило духа продолжать, и я замолчал. Наше молчание не было безмолвием, возникшим оттого, что уже все сказано. Это было горькое молчание, когда весь наш разговор рассыпался на мелкие кусочки.



Потом в течение нескольких недель я продолжал двигаться в этом молчании, механически, точно передвигая взятые напрокат суставы. Но однажды я вдруг заметил, что лиственница за окном играет на ветру тоненькими зеленоватыми побегам, оповещая, что вот-вот наступит лето. Так же неожиданно пришло и мое решение. Это случилось в тот вечер, когда я, помнишь, вдруг закричал во время еды — что послужило поводом, забыл:

— Ну скажи мне, скажи, что заставляет тебя жить со мной! — Я знал, каким бы громким ни был мой крик, он оставался всего лишь частью молчания, и не в силах взглянуть тебе прямо в лицо, уставился на обметку петли цвета вялой зелени, выглядывавшую из-под маленькой зеленой пуговички на груди. И, стараясь не спасовать перед собственным голосом, продолжал вопить: — Отвечай сейчас же, отвечай! Почему ты не разводишься со мной? Сейчас нужна полная ясность — это в наших с тобой интересах. Просто по инерции? Говори, не стесняйся. Нельзя насильно заставлять себя делать то, в чем сама не убеждена...

Когда я, выговорившись, заперся в своем кабинете, то был в жалком состоянии, как бумажный змей, попавший под дождь. Какая связь может существовать между мной — человеком, закатившим по поводу такого пустяка, как лицо, подобную безумную сцену, и мной — руководителем лаборатории с жалованьем 97 тысяч иен? И чем больше я думал, тем больше превращался в разод-

ранный змей, от которого остались наконец одни драпки — вся бумага разлезлась...

И когда остались одни драпки и я пришел в себя, то понял, что грубые и обидные слова, брошенные тебе в лицо, я должен был обратить как раз к себе. Да, мы женаты уже восемь лет. Восемь лет — срок немалый. Во всяком случае, достаточный, чтобы ответить друг за друга, кто что любит из еды, кто чего не любит. Ну, а если мы можем представлять друг друга во вкусах, касающихся еды, то разве не можем делать то же, когда речь идет о лицах? Значит, не было никакой необходимости попусту выискивать в нашем молчании тему для разговора.

Я начал судорожно копаться в своей памяти. Где-то непременно должно быть завещание, в котором ты назначаешь меня своим душеприказчиком. Не может не быть. А если мы были так далеки друг от друга еще до несчастного случая, что же я тогда стараюсь возратить, затевая всю эту возню с маской? Значит, мне просто нечего возвращать. И поскольку нет абсолютно ничего, что мы должны были скрывать друг от друга все эти восемь лет, которые протекли без всяких событий, мне нечего сомневаться в этом сейчас, когда я огражден более толстой, чем мои бинты, стеной отчуждения. Следовательно, я уже потерял право требовать что-либо. Коль скоро я ничего не потерял, то не могу требовать и возмещения. Может быть, мне следует примириться с тем, что мой первоначальный облик тоже маска, и, не сопротивляясь, удовлетвориться своим нынешним положением?

...Проблема весьма важная... сам факт, что я считал ее важной, был чрезвычайно важен. Следовательно, просто даже из самолюбия я должен выполнить миссию душеприказчика. Эта работа не особенно привлекала меня, но, мобилизовав все воспоминания, впечатления, разговоры, я создал твою модель и стал припоминать, какие черты лица нравились тебе, и, поставив себя на твое место, попытался вспомнить выражение лиц разных мужчин. Я испытал отвратительное чувство, будто за воротник влезла гусеница. Но прежде, чем определить, что представляют собой все эти мужчины, необходимо поточнее установить, что представляешь собой ты? Лянза должна, безусловно, быть твердо зафиксирована. Если она будет колыхаться, как медуза, то смотри не смотри — ничего не увидишь. И сейчас, когда я изо всех сил старался рассмотреть тебя, ты, казалось, то превращалась

в точку, то в линию, то в плоскость и, наконец, стала бесформенной пустотой и проскользнула сквозь сеть пяти моих чувств.

Я оторопел. Что же я видел, к чему обращался, с каким чувством жил это совсем не короткое время. Неужели я так мало знал о тебе? Я замер в растерянности перед твоим внутренним миром — неведомой областью, окутанной безбрежным молочным туманом. Мне стало так стыдно, что я готов был намотать на свое лицо еще столько же бинтов.

Но может быть, наоборот, хорошо, что однажды я оказался так вот припертым к стене. Я выбросил из-за воротника гусеницу, взял себя в руки и вернулся в гостиную — ты сидела, спрятав лицо в ладони, перед телевизором с выключенным звуком. Наверно, тихо плакала. Стоило мне это увидеть, как я сразу же понял, что возможно совсем другое объяснение, почему я оказался не способен быть твоим душеприказчиком.

Нельзя, пожалуй, утверждать, что я был идеальным душеприказчиком. Во всяком случае, с уверенностью можно сказать, что наше общение с тобой было односторонним, я даже не представлял себе, что ты можешь проявлять особый интерес к мужскому лицу. К чему же это привело? Теперь я вынужден превратиться в полное подобие сводника! Разве это не обычная форма брака, когда с самого начала отбрасывается вопрос о том, каковы вкусы твоей будущей жены в отношении мужского лица (вкусы в еде — другое дело). Когда мужчина и женщина вступают в брак, они должны отбросить подобные сомнения и любопытство. Если в этом нет согласия, то лучше не начинать такого хлопотного дела!

Тихонько, чтобы ты не заметила, я подошел сзади — пахло как от асфальта после дождя. Может быть, это был запах твоих волос. Ты обернулась, несколько раз потянула носом, будто простудилась, и, чтобы рассеять мои иллюзии, посмотрела на меня ясными и бездонными глазами — они казались нарисованными. С совершенно прозрачным, отсутствующим выражением — так лучи солнца пронзают лес, оголенный холодным осенним ветром...

Тогда это и случилось. Странный порыв охватил меня. Может быть, ревность? Возможно. Внутри меня комок, похожий на колючий репейник, начал разрастаться до размеров ежа. И сразу же вслед за этим я вдруг обнаружил, что критерий выражения лица, мое заблудшее дитя,

которое, казалось, потеряно безвозвратно, находился рядом со мной. Это было неожиданно. Настолько, что я даже сам не мог ясно осознать эту неожиданность. Но не думаю, что я так уж удивился. Как я раньше не спохватился, что, кроме этого ответа, другой невозможен? Вот это показалось мне неразумным.

Я оставляю в стороне это «как» и начну с вывода, к которому я пришел. Моя маска должна была относиться к четвертому типу по классификации Блана: «Негармоничный, экстравертный тип». Лицо, остро выдающееся вперед у носа... с точки зрения психоморфологии — волевое, целеустремленное лицо...

Всего этого было слишком мало, и я почувствовал себя чуть ли не одураченным. Но если вдуматься, объяснение можно было найти. Ведь при превращениях куколка, внешне не претерпевая никаких изменений, готовится к переходу в новое. После того как я столкнулся с новым смыслом, которое приобрело лицо — из того, что я выбираю, оно стало тем, что для меня выбирают, — мне не оставалось ничего другого, как внимательно следить за тобой, бредя наугад, как человек в темноте, который — открыты у него глаза или закрыты, смотри он вправо или влево — видит лишь одно — тьму. И хотя возникшая теперь необходимость следить за тобой ранила мое самолюбие, заставляла нервничать, раздражаться, испытывать чувство унижения, хотя я уже устал от своих бесконечных мыслей, оторвать от тебя глаз все равно не мог ни на минуту.

Я жаждал приблизиться к тебе и в то же время жаждал отдалиться от тебя. Хотел узнать тебя и в то же время противился этому. Стремился видеть тебя и в то же время стеснялся тебя видеть. И вот в таком неопределенном состоянии, когда трещина между нами становилась все глубже, мне не оставалось ничего другого, как сжимать руками расколотый стакан, изо всех сил стараясь сохранить его форму.

Все это я прекрасно понимал. Понимал, что это была беспорядочная ложь, мною самим измышленная и очень для меня удобная, — будто ты жертва, прикованная цепью ко мне, уже не имеющему на тебя никаких прав. И ты безропотно, по собственной воле обрекла себя на такую участь. И не к тебе ли самой относилось сияние, промелькнувшее на твоём лице, когда из серьезного оно стало улыбающимся? Значит, как только тебе вздумается, в любую минуту ты можешь покинуть меня. Но

представляешь ли ты себе, как это страшно для меня? У тебя есть тысяча выражений лица — у меня ни одного. Но, стоило мне вспомнить, что под кимоно у тебя тело и кожа неповторимой эластичности, неповторимой температуры, я начинал серьезно думать о том, что конца моим мучениям не будет до тех пор, пока я не проткну твоё тело огромной иглой — даже если это лишит тебя жизни — и не превращу тебя в экспонат коллекции.

И все это потому, что внутри меня терзали друг друга стремление восстановить тропинку между нами и мстительность, заставляющая желать твоего уничтожения. В конце концов я уже не мог различить, где одно чувство, где другое, и поза — стрела моего лука всегда направлена на тебя — стала привычной, повседневной, а потом в моем сознании неожиданно высветилось лицо охотника.

Лицо охотника не может принадлежать к «гармоничному, интровертному типу». С таким лицом я либо превращусь в друга пичужек, либо, в противном случае, в добычу диких зверей. В таких условиях решение мое не только не представлялось неожиданным, но, можно сказать, было неизбежным. Может быть, потому, что я был ослеплен двойственным характером маски — отрицание лица и одновременно создание нового лица — и упустил из виду основное: даже это ослепление есть одна из форм действия, — может быть, поэтому неминуемым для меня оказался такой кружной путь.

Существуют «мнимые числа». Странные числа, которые при возведении в квадрат превращаются в отрицательные. В маске тоже есть нечто схожее с ними: наложить на маску маску — то же самое, что не надевать ее вовсе.



Стоило лишь выбрать тип — остальное было просто. Одних фотографий, собранных в материалах по моделированию лица, я просмотрел шестьдесят восемь, и больше половины из них принадлежало к «типу лиц, выдающихся вперед у носа». Все было готово, даже более чем готово.

Я решил немедленно приступить к работе. Под руками у меня никаких образцов не было, но я попытался ри-

совать в своем воображении лица, как картину, написанную невидимой краской, накладывая слой за слоем и так на ощупь определяя каждый раз, какое впечатление производят они на тебя. Прежде всего на слепке из сурьмы я замазал вспененной древесной смолой все места, изъеденные пиявками. Сверху вместо глины, следуя линиям Лангера, я стал слой за слоем в определенном направлении накладывать тонкие пластиковые ленты. Благодаря полугодовой тренировке мои пальцы, точно пальцы часовщика, на ощупь чувствующие искривление волоска маятника, разбирались в мельчайших деталях лица. Цвет лица я подбирал по цвету кожи у запястья. Чтобы виски и подбородок были светлее, я использовал материал с добавлением небольшого количества двуокиси титана, чтобы щеки были розоваты, добавлял в материал красный кадмий. По мере приближения к поверхности я все осторожнее использовал красящие вещества, особенно большое искусство потребовалось, чтобы легким, сероватым налетом у ноздрей естественно передать возраст. Наконец растопленной древесной смолой я залил прозрачный слой — тонкую пленку, содержащую флуоресцирующие вещества и имеющую коэффициент преломления света, близкий кератину, на котором была воспроизведена поверхность купленной мной кожи. Затем на очень короткое время я подверг полученную оболочку действию пара под большим давлением, и она натянулась и застыла, как влитая. Морщин пока не было, и поэтому она была гладкой, не имеющей выражения. Но все равно создавалось впечатление, будто это нечто живое, только что содрванное с живого человека.

(Пока мне удалось добиться этого, прошло двадцать два или, кажется, двадцать три дня.)

Следующая проблема: что делать с границей соединения маски с кожей. На лбу ее удастся прикрыть волосами. (К счастью, волос у меня больше чем достаточно, и они немного вьются.) Вокруг глаз, если сделать побольше мелких морщин, наложить посильнее краску и надеть очки, никто ничего не заметит. Губы можно будет заправить внутрь, а края закрепить на деснах. Ноздри удастся соединить с более твердыми трубками и ввести трубки внутрь. Некоторые затруднения вызывал участок у подбородка. Выход был только один. Скрыть его бордой.

Вырвав из головы и отобрав наиболее тонкие волосы, я втыкал, стараясь сохранить направление и угол, волосок за волоском, по двадцать пять — тридцать штук на каждый квадратный сантиметр маски. Закончилась и эта работа — она одна потребовала двадцать дней, — но меня еще мучило чувство психологического протеста. В прошлом веке борода была обычным явлением, но сейчас, что ни говори, это несколько претенциозно. К примеру, стоит мне услышать слово «борода», и, как это ни прискорбно, оно ассоциируется с постовым полицейским у вокзала, ты его помнишь?

Все существующие бороды не ограничиваются, конечно, бородами бандитов или героев. Есть бороды различных типов. Есть бороды пророков, бороды европейских аристократов. Есть бороды Кастро, есть, не знаю, как они называются, чрезвычайно современные бороды, которые любит носить молодежь, корчащая из себя людей искусства. Хотя и трудно избежать несколько экстравагантного вида, когда ты с бородой и в темных очках, но поскольку другого выхода у меня не было, нужно было только постараться сделать все так искусно, чтобы она не производила неприятного впечатления.

Ты все видела и все знаешь сама, и вряд ли нужно снова говорить о том, насколько успешной оказалась моя работа. Мне самому не хотелось ее оценивать, и не было у меня какого-либо другого плана, чтобы сделать ее поиному — то, что получилось, удовлетворяло меня. Правда, некоторых угрызений совести я не мог избежать, но...



Нет, я случайно обронил слова «некоторые угрызения совести», но если вдуматься, в них действительно заключается глубокий смысл. Мысли мои еще не отлились в слова, были совсем неясными, и это вызывало какое-то неприятное чувство, будто вскочил прыщик на языке, начинавший саднить, стоило открыть рот, — чувство, предостерегавшее меня: не занимайся пустой болтовней...

В ту ночь, когда я закончил наконец бороду, на большом пальце правой руки пинцет оставил кровавую мозоль. Боль, от которой я весь взмок, угольками горела внутри глаз. Сколько я их ни вытирал, вновь и вновь

выступали слезы, липкие, как разбавленный мед, и глаза туманились, как грязные оконные стекла. Когда я поднялся, чтобы пойти в ванную умыться, уже забрезжил рассвет — я и не заметил, как прошла ночь. Невольно зажмурившись от ярких бликов утреннего солнца, рассеянных оконным переплетом, я неожиданно испытал стыд, чувство, уже однажды пронзившее мой мозг.

Я вспомнил сон, который видел однажды. Это был сон, похожий на старый немой фильм, начинавшийся с очень милой сцены: однажды в конце лета или самом начале осени я — мне было тогда лет десять, а может, и меньше — рассеянно следил за тем, как возвратившийся с работы отец снимает в передней ботинки. Но вдруг мир рушится. Возвратился еще один отец. И этот отец, как ни странно, тот же самый человек, что и прежний отец, — другая у него только шляпа. У старого отца — соломенная шляпа, у нового — мягкая, фетровая. Увидев отца в соломенной шляпе, отец в мягкой шляпе с презрением посмотрел на него и преувеличенно резким жестом показал ему, что тот ошибся адресом. Тогда тот, что был в соломенной шляпе, в полной растерянности, со снятым ботинком в руке, грустно улыбнувшись, чуть не бегом выскочил из дома. Сердце разрывалось у меня в груди, когда я, совсем еще ребенок, смотрел ему вслед... Тут фильм оборвался. И после него остался лишь горький осадок.

Сон можно было бы счесть детской реакцией на смену времен года... Но если бы дело было только в этом, разве сохранились бы в течение десятилетий так ясно и отчетливо все ощущения, испытанные мной тогда? Едва ли. Две шляпы, которые я увидел, были чем-то иным. Может быть, символом лжи, недопустимой в отношениях между людьми... Точно можно сказать лишь одно: смена шляпы привела к тому, что доверие, которое я питал прежде к отцу, оказалось полностью подорванным. Наверно, с тех пор я все время испытываю стыд за отца.

Но сейчас позиции наши переменялись. Теперь была моя очередь оправдываться. Я рассматривал в зеркале покрывшие лицо багровые пиявки, и это еще больше подстегнуло мое стремление поскорее сделать маску. Все равно не я должен стыдиться. И если уж есть люди, у которых действительно должно щемить сердце, то это скорее те, кто не признает, что может существовать человек, не имеющий лица — его паспорта, — и этим заживо хоронят меня. Разве не так?

Вновь настроившись агрессивно, я вернулся к маске. Бесстыдно обросшая физиономия... физиономия с торчащим носом... в глаза бросается только ее вызывающий вид. Создается неприятное впечатление, видимо, оттого, что рассматриваешь отдельные части,— я прислонил маску к стене и, отойдя на несколько шагов, стал рассматривать ее сквозь сложенные трубкой ладони. Я не ощутил радости завершения работы, скорее испытывал чувство, похожее на печаль, оттого, что это чужое лицо постепенно завладеет мной.

Наверно, это от переутомления, подбадривал я себя. Ведь так у меня всегда бывало, когда я заканчивал большую работу. Радость завершения испытывают только те, кто не несет никакой ответственности за результат работы. Может быть, я еще бессознательно испытывал воздействие предвзятости, касающейся лица. Сколько бы я ни боролся против обожествления лица, не было никакой гарантии, что в глубине сознания не останутся корни этого зла. Так люди, даже не верящие в привидений, все равно боятся темноты.

Тогда я решил любыми средствами загнать себя в работу. Чтобы окончательно решить, что же представляет собой маска, попробую надеть ее. Сначала я освободил маску под ушами, оттянул у подбородка, снял с губ, вытащил трубки из ноздрей и содрал ее со слепка. Она повисла мягким мешочком для сухого льда. Потом в обратном порядке натянул ее на лицо. Технических ошибок как будто не было. Как вещь, уже долго бывшая в носке, она точно пришлась к лицу — стоявший в горле комок глотком провалился вниз.

Глянул в зеркало. На меня холодно смотрел незнакомый человек. Как я и ожидал, нет ни черточки, которая бы напоминала меня. Полное перевоплощение. И цвет, и эластичность, и полное ощущение вещественности кожи — в общем, можно говорить об успехе. Но почему же тогда оно такое безжизненное? Может быть, зеркало плохое... Или свет падает как-то неестественно... Я рывком открыл ставни и впустил в комнату солнце.

Острые осколки лучей, вибрируя, как щупальца насекомых, проникли во все уголки маски. Отчетливо всплыли на поверхности поры, мелкие повреждения, даже разветвления мельчайших вен. И нигде невозможно было усмотреть дефекта. Но где же тогда причина ощущения неудовлетворенности? Уж не в том ли, что маска непод-

вижна и поэтому лишена выражения? Нечто напоминающее неприятное до ужаса лицо покойника, нарумяненное под живое. Попробовать разве подвигать каким-нибудь мускулом? Поскольку я еще не приготовил специального состава, чтобы приклеивать маску к лицу — я собирался использовать что-нибудь вроде клея для липкого пластиря, но менее концентрированного, — то точно воспроизвести маской движения мускулов не смогу, видимо, единственное, что мне удастся, — сделать это только в районе носа и рта, где маска прилегает к лицу сравнительно плотно.

Прежде всего напряг углы рта и попробовал слегка растянуть их вправо и влево. Прекрасно. Не зря я так внимательно отнесся к доставившей мне столько хлопот анатомической проблеме — накладывал слой за слоем материал, имеющий определенную направленность волокон. Воодушевившись, я решил теперь попробовать улыбнуться по-настоящему. Но маска не хотела улыбаться. Только чуть искривилась. И так странно искривилась, что я даже подумал, не искривилось ли само зеркало. Сейчас в ней ощущалась смерть гораздо сильнее, чем когда она была неподвижной. Я растерялся, мне показалось, что ниточка, связывающая мои внутренности, оборвалась, и в груди стало пусто.

...Но я не хочу быть неправильно понятым. У меня ведь и в мыслях не было становиться в трагическую позу, спекулировать своими горестями. Хорошо ли, плохо ли, но это была маска, которую я сам себе выбрал. Лицо, к которому я наконец пришел после многомесячных экспериментов. Если я недоволен, то лучше самому и переделать по своему усмотрению. Но если вопрос не в том, хорошо или плохо она сделана, что же мне тогда предпринять? Смогу ли я потом безропотно признать, что это мое лицо, и безоговорочно принять его? И тогда я почувствовал, что эта опустошенность, от которой я совсем пал духом, была вызвана не столько растерянностью перед новым лицом, сколько безысходностью исчезновения, будто я увидел, как мой собственный образ укрывается от меня под шапкой-невидимкой. А если так, удастся ли мне, осуществить дальнейшие планы?

Выражения лица напоминают годовые кольца, прочерченные жизнью, и, может быть, напрасно я сразу же попытался засмеяться. Жизненные обстоятельства вызывают повторение тех или иных выражений лица, и они

застывают, например, в виде морщин, в виде складок. Постоянно улыбающееся лицо привыкает к естественной улыбке. И наоборот, сердитое лицо привыкает к сердитому выражению. Но на моей маске, как на лице новорожденного, не запечатлелось ни одного годичного кольца. Как бы ни улыбался ребенок, надев лицо сорокалетнего, он будет похож на оборотня. Конечно! Обязательно! Поэтому первое, что я включу в план после того, как укроюсь в своем убежище,— приучить маску к морщинам. Если мне это удастся, маска станет мне родной и удобной. Я, в общем, с самого начала предполагал нечто подобное, и поэтому сейчас не было никаких оснований для отчаяния. Так, ловко подменив один вопрос другим, я не только не обратил внимания на уколы совести, но, наоборот, постепенно увязал все глубже и глубже.



Ну вот, как будто я и подошел к убежищу в доме S., с которого начал свои записки. Где же это я уклонился в сторону?.. Да, конечно, когда остался один и начал разматывать бинты... Ну что ж, продолжу теперь с того самого места.

Первое, чем я должен был заняться в своем убежище,— это, конечно, приучить маску к морщинам. Никаких особых приспособлений не требовалось — это была огромная, кропотливая работа, для которой нужно было собрать всю свою волю, выдержку, внимательность.

Сначала я нанес на лицо клейкий состав. Маску следовало надевать с носа. Я плотно вставил в ноздри трубки, прикрепил к деснам загубники маски; затем, легонько похлопывая, плотно прижал ее к носу, щекам и подбородку, внимательно следя за тем, чтобы нигде не было складок. Подождав, пока маска пристанет к лицу, я стал прогревать ее инфракрасной лампой и, поддерживая определенную температуру, повторял одно и то же мимическое движение. Материал, из которого была сделана маска, имел такое свойство, что, когда он нагревался выше определенной температуры, эластичность его резко снижалась и поэтому в направлении, заранее приданном материалу, то есть вдоль линий Лангера, естествен-

но образовывались морщины, соответствующие тому или иному выражению лица.

Содержание и распределение выражений лица в процентах могут быть представлены следующим образом:

заинтересованность	— 16%
любопытство	— 7%
согласие	— 10%
удовлетворение	— 12%
смех	— 13%
отрицание	— 6%
недовольство	— 7%
отвращение	— 6%
сомнение	— 5%
недоумение	— 6%
озабоченность	— 3%
гнев	— 9%

Я не считал, конечно, что можно удовлетвориться, разложив такое сложное и деликатное явление, как выражение лица, только на эти основные элементы. Но если смешивать их на палитре в разных комбинациях, удастся получить любые оттенки. Как ты понимаешь, проценты указывают на частоту того или иного выражения лица. Короче говоря, я вообразил себе человека такого типа, у которого выражение эмоций протекает примерно в такой пропорции. Конечно, если бы меня спросили, что принято мной за критерий, я затруднился бы сразу ответить. Просто я поставил себя в положение соблазнителя и, представив себе сцену, в которой я стою перед тобой, символизирующей других людей, взвешивал одно выражение лица за другим. Как дурак, я все снова и снова то плакал, то смеялся, то злился, и так до утра. Поэтому на следующий день я проснулся только под вечер. Щели в ставнях пропускали лучи света, будто проходившие сквозь красное стекло. Кажется, пошел долгожданный дождь. Но настроение несколько не улучшилось, усталость, терпкая, как настоявшийся чай, сковала все тело. Особенно жгло и болело в висках. И не случайно. Больше десяти часов я беспрерывно двигал мимическими мускулами.

Нужно еще сказать, что я не просто двигал мимическими мускулами, а до предела напрягал нервы — когда смеялся, то смеялся по-настоящему, когда злился, то злился по-настоящему.

Дело в том, что, пока я это делал, даже самое незначительное выражение должно было глубоко врезаться в поверхность моего нового лица, как герб, не терпящий никаких исправлений. И если бы я все время фальшиво улыбался, на моей маске навсегда сохранилась бы печать лица, способного лишь на искусственную улыбку. Поэтому, какими бы мимолетными ни были отпечатки, я не мог не относиться к ним со всей серьезностью, поскольку они будут запечатлены маской как история моей жизни.

Я приготовил горячее полотенце и промассировал лицо. Пар проник в кожу. Она воспалилась оттого, что инфракрасной лампой я стимулировал потовые железы, а клейким составом забил поры. Это, несомненно, плохо повлияло и на келоиды. Но ничего более страшного, чем то, что уже случилось, произойти не могло, и вряд ли стоило проявлять излишнее беспокойство. Мертвому безразлично, кремируют его или погребут.

В течение трех дней я повторял одно и то же в одном и том же порядке. То, что нужно было исправить, я исправил, все пришло в норму, и на третий день я решил сделать попытку поужинать в маске. Когда-нибудь я должен буду столкнуться с такой необходимостью, и поэтому нет ничего лучше, как испытать сейчас все на практике. Так создам же я условия самые что ни на есть натуральные. После того как клейкий состав достаточно застыл, я взъерошил волосы и прикрыл ими края маски, надел очки с затемненными стеклами, чтобы граница маски-вокруг век не бросалась в глаза, и вообще сделал все приготовления, будто собирался выйти из дому.

Преодолевая искушение заглянуть в висевшее напротив меня зеркало, я поставил на стол оставшиеся от вчерашнего ужина консервы и хлеб и, представляя себя в ресторане или еще в каком-нибудь зале, где я ем вместе со множеством людей, медленно поднял голову и взглянул в зеркало.

Тот тоже, конечно, поднял голову и посмотрел на меня. Потом, в такт движению моего рта, начал жевать хлеб. Когда я ел суп, он тоже его ел. Наше дыхание совпадало, и это выглядело очень естественно. Чужие губы и притупившиеся нервы не позволяли по-настоящему почувствовать вкус пищи, мешали жевать, но, если привыкнуть, можно об этом забыть, как забывают о вставных зубах. Только вот из углов рта стекали капли слю-

ны и соуса, и я понял, что за этим нужно все время следить.

Вдруг он поднялся и подозрительно уставился на меня. В этот миг меня охватило чувство какой-то удивительной гармонии — возбуждения, смешанного с умиротворенностью. Появилась острота восприятия, я испытал опьянение, будто принял слишком большую дозу снотворного и оно сразу начало действовать. Может быть, моя скорлупа где-то треснула? Некоторое время мы смотрели друг на друга — он улыбнулся первым, я улыбнулся в ответ, а потом, не встретив никакого сопротивления, впился взглядом в его лицо. Мы мгновенно слились, и я стал им. Не думаю, чтобы это лицо мне особенно нравилось, но вместе с тем не похоже, чтобы и не нравилось, — во всяком случае, теперь я стал чувствовать, мыслить этим лицом. Все шло настолько хорошо, что даже я сам, прекрасно знавший о своей подделке, сомневался, существовала ли подобная подделка на самом деле.

Действительно, очень уж все гладко. Не исключено, что потом возникнут побочные явления оттого, что залпом хлебнул слишком много? Я отошел назад на пять-шесть шагов и прищурился. Уловив момент, когда я выглядел особенно неприятным, широко открыл глаза. Но лицо по-прежнему, с постоянством камертона продолжало излучать все ту же улыбку. Вроде бы никакой ошибки. Как ни считай, я, кажется, помолодел не меньше чем лет на пять.

Что ж тогда так беспокоило меня до вчерашнего дня? Может быть, и резонерствовал я, будто не нужно особенно стесняться, будто кожа лица не имеет никакого отношения к характеру человека, только потому, что сам был скован предубеждением? По сравнению с обиталищем, пиявок или маской из бинтов теперешняя маска из синтетической смолы гораздо больше похожа на живое лицо. Если первая — декоративная дверь, нарисованная на стене, то эту можно сравнить с широко распахнутой дверью, через которую льется солнечное тепло.

Чьи-то шаги, которые, казалось, я слышу уже давно, становились все громче, приближались. И когда они приблизились ко мне вплотную, оказалось, что это мое сердце. Открытая дверь торопит меня.

Решено, выхожу! Через новое чужое лицо выхожу в мир новых чужих людей!



Сердце учащенно билось. В душе моей боролись надежда и тревога, как у ребенка, которому впервые решили одному ехать в поезде. Благодаря маске все, конечно, изменится. Не только я — мир и тот предстанет в совершенно новом одеянии. И унижительный стыд стал вскоре тонуть в водовороте надежд.

Постскриптум. Думаю, что должен признаться: в тот день я принял большую дозу снотворного. Нет, не только в тот день. С некоторых пор я делал это регулярно. Но не для того, как это может показаться, чтобы парализовать тревогу. Цель была скорее иная: снять ненужное раздражение и сохранить рационализм. Как я неоднократно повторял, моя маска должна была прежде всего означать борьбу с предвзятым мнением относительно лица. Я должен был все время помнить о маске, будто управлял сложнейшей машиной.

И еще одно... Когда я принимал, смешав в нужной пропорции, снотворное и успокоительное, то через несколько минут после того, как начинало действовать лекарство, наступало удивительное безмятежно-спокойное состояние, будто я смотрел внутрь самого себя в телескоп. Я невольно избегал писать об этом, так как не был убежден, что это не наркотическое опьянение, но сейчас мне кажется, испытанное мной в течение тех нескольких минут ощущение заключает смысл, гораздо более глубокий, чем я предполагал. Например, нечто приближающее меня к сущности отношений между людьми, которые объединены ложным символом, именуемым лицом...

Когда лекарство только начинало действовать, наступало состояние, будто я споткнулся о камень. Какое-то мгновение тело мое плыло в воздухе, и я испытывал легкое головокружение. Потом ноздри начинал щекотать запах скошенной травы и сердце вырывалось в далекие просторы. Нет, я выражаюсь, пожалуй, не совсем точно. Неожиданно поток времени приостанавливался, я терял направление, выплывал из потока. Выплывал не только я — все,

кто летел вместе со мной, рвали существовавшие прежде связи и рассыпались в разные стороны. Вырвавшись из потока, я испытывал чувство освобождения, становился необыкновенно великодушным и, соглашаясь со всем, повторял странное, поспешно сделанное заключение, что мое лицо точно в-точь как твое — тоже напоминает лицо Бодисатвы. Время, когда я был абсолютно безразличен к тому, что именуется лицом, длилось минут семь-восемь.

Похоже, что, когда поток времени на секунду замирал, я преодолевал не только свои скопища пиявок, но и само лицо и оказывался на другой стороне. Видимо, и в те минуты, когда я, отбросив сомнения, проникал сквозь окно, именуемое лицом, в человеческие отношения, передо мной, пусть на мгновения, мелькала свобода, существование которой я не мог себе даже представить. Видимо, я неожиданно для себя сталкивался со страшной действительностью: все люди закрывают окно души маской из плоти и прячут обитающие под ней пиявки. Может быть, благодаря потере лица я смог подойти вплотную к другому, настоящему, а не нарисованному на окне миру... Тогда испытываемое мной чувство освобождения — правда. Тогда оно — не временный обман, приносимый наркотиками.

И потом... как это ни неприятно... моя маска легко сможет скрыть правду. Если вдуматься, не исключено, что в этом как раз и была причина того, что я стыдился своей маски. Но маска уже прикрыла мое лицо. К тому же почти двойная доза лекарства начала оказывать свое действие, заставляя забыть о свободе, которую дает отсутствие лица. Я говорил самому себе: пусть в мире сказки, но ведь гадкий утенок получил все-таки право превратиться в белого лебедя.

Чтобы превратиться в совершенно другого человека, нужно было, естественно, начать с одежды. Но, к сожалению, к этому я еще не подготовился, и потом в тот вечер мне нужно было только достичь душевного равновесия, поэтому я и решил просто накинуть куртку и выйти из дому. Маска была совершенно готова, ничем не отличалась от лица, и можно было не опасаться, что она покажется подозрительной.

Лестница черного хода скрипела, и было очень странно, что я, казалось, летевший на крыльях, столько весил. К счастью, я не встретил никого, пока добирался до улицы. Но, завернув за угол, я столкнулся лицом к лицу с соседкой, которая несла сумку с покупками. Я остановился как вкопанный, буквально заскрипел зубами от досады, а соседка лишь мельком взглянула на меня и как ни в чем не бывало пошла своей дорогой. Это хорошо. Итак, ничего не случилось. Разве это не самое лучшее алиби?

Я пошел дальше. Поскольку у меня была одна цель — привыкнуть к маске, мне было все равно куда идти. В самом деле, просто идти и то уже немалая работа. Вопреки ожиданиям колени не сгибались, будто кончилась смазка, дыхание перехватило. От стыда, хотя маска и не могла краснеть, от страха, что все узнают правду, я весь сжался и дрожал, вид у меня был самый жалкий. Но если чужой взор и сможет проникнуть сквозь маску, то, скорее всего, из-за моей скованности. Когда ведешь себя как подозреваемый, тебя и будут подозревать. Ведь я всего лишь пытался немного изменить рисунок на обертке. Хоть бы не осуждали меня. Но если не обманет то, что у меня внутри, окружающих нечего бояться.

Пока я так рассуждал, мой энтузиазм куда-то испарился, силы предавали чувства, так же как чувства предавали силы, и у меня все больше опускались руки. Так прошло три часа. Если попадалась слишком освещенная витрина, я переходил дорогу, делая вид, что меня привлек магазин на противоположной стороне... если улицу заливал яркий неоновый свет, я выбирал темные переулочки, будто в поисках приключений... если, подходя к остановке, видел приближающийся трамвай или автобус, то сознательно ускорял шаг, избегая соблазна сесть в него... или же, наоборот, нарочно шел медленнее, пропуская его вперед... и в конце концов я устал от самого себя. Сколько бы дней я так ни ходил, все равно по-настоящему не привыкну к маске.

Мне встретилась табачная лавчонка, прилепившаяся вплотную к кондитерскому магазину. И я решил пойти на рискованную авантюру. Авантюра — слишком сильно сказано, просто решил зайти и купить сигарет. Не успел я подойти к лавке, как у меня бешено заколотилось сердце. Внутри что-то прорвалось, и полились слезы. Маска сразу же отяжелела и, казалось, начала сползать. Ноги

дрожали, точно я спускался в бездонную пропасть, держась за тоненькую веревку. Ради какой-то пачки сигарет я отдал столько сил, будто схватился с чудовищем.

Но, не знаю почему, стоило мне встретиться взглядом с продавщицей, подошедшей ко мне с безразличным видом, как меня точно подменили, я вдруг осмелел. Может быть, потому, что она обратила на меня не больше внимания, чем на обычного покупателя, или, может быть, потому, что пачка сигарет, точно мертвая пичужка, невесомо лежала у меня на ладони? Нет, причина была скорее в той перемене, которую принесла с собой маска. До тех пор пока я воображал обращенные на себя чужие взгляды, я боялся своей собственной тени, но стоило мне встретиться с настоящим взглядом, как я точно увидел свой истинный облик. В моем представлении маска, может быть, выставляла меня напоказ, но в действительности она была непрозрачным прикрытием, прятавшим меня. Под ней пульсировали кровеносные сосуды, потовые железы выделяли пот, а на поверхности ее не было ни капли.

В конце концов я избавился от страха покраснеть, но к тому времени был уже окончательно измотан. У меня не было сил идти дальше, я взял такси и вернулся прямо в свое убежище. Я пришел в уныние при мысли, что единственной компенсацией за все мои мучения была лишь пачка сигарет, но, если принять в расчет, что я осознал себя в маске, сделка представлялась вполне выгодной. В подтверждение этому, когда я, вернувшись в свою комнату, снял маску, смыл клейкий состав и посмотрел на свое лицо, безобразные скопища пиявок почему-то не показались мне такими уж реальными. Маска стала настолько же реальной, насколько реальными были пиявки, и если считать маску временным обликом, то временным же обликом были и пиявки. В общем, маска, казалось, спокойно укоренялась в моем лице.

На следующий день я решил смело расширить сферу своих опытов. Прежде всего, как только встал, позвал управляющего и сказал, что если соседняя квартира еще свободна, то хотел бы снять ее для «младшего брата». Этим «младшим братом» был, конечно, еще один я — в маске.

К сожалению, я опоздал — комната была сдана днем раньше.



Но это не могло заставить меня изменить свои планы. Больше того, я воспользовался этим случаем, чтобы рассказать о существовании «младшего брата» — для меня было очень важно, чтобы мой собеседник твердо это усвоил.

— Брат живет в очень неудобном пригороде, да к тому же работать ему приходится в разные часы, и поэтому он очень хочет иметь квартиру, в которой мог бы время от времени отдыхать. Но если она сдана, ничего не поделаешь. Условия жизни у нас примерно одинаковые, мы не особенно привередливы, так что проживем вместе.

Потом я сразу же предложил увеличить квартирную плату на тридцать процентов. Управляющий сделал вид, что смущен, очень смущен, безмерно смущен, но на самом деле никакого смущения он не испытывал. В конце концов для «младшего брата» мне удалось даже получить дополнительный ключ.

Часов в десять я надел маску и вышел из дому. Мне нужно было подобрать одежду к маске, дополненной очками и бородой. Выйдя из дому, я некоторое время не мог побороть напряжения — я впервые оказался на улице среди бела дня... Не знаю из-за чего — то ли волоски на маске, за ночь превратившись в живые, начали расти?.. то ли из-за слишком большой дозы успокоительного?.. — но так или иначе, ожидая автобуса, я уже спокойно дымил сигаретой.

Но по-настоящему я осознал, насколько жизнеспособна и своенравна маска, когда пришел в универсальный магазин, чтобы купить костюм. Хотя наиболее подходящим для очков и бороды было бы что-нибудь броское, я тем не менее выбрал строгий пиджак с узкими бортами, на трех пуговицах. Мне просто не верилось, что я способен на такое. Во-первых, сам факт, что я, как оказалось, разбираюсь в моде, был выше моего понимания. Мало того, я специально зашел в ювелирный отдел и купил кольцо. Выходило, что маска игнорирует мои желания и начинает сама ходить, куда ей вздумается. Меня это, правда, не особенно обеспокоило, но порядком удивило. Хотя в этом не было ничего смешного, приливы смеха

следовали один за другим, будто меня шекотали, и я, слившись с этим смехом, впал в игривое настроение.

Выйдя из универмага, может быть, по инерции я решил предпринять еще одну небольшую авантюру. Да нет, ничего серьезного, всего лишь зайти в маленький корейский ресторан, находившийся в узком переулочке вдали от ярких центральных улиц. Я уже давно не ел как следует, и голод давал о себе знать, да к тому же жареное мясо, такое вкусное, всегда было самой любимой моей едой. Но разве только поэтому? Разве жареное мясо было единственным побуждением, заставившим меня пойти туда?

В какой мере я действовал сознательно — это другой вопрос. Но было бы ложью говорить, что выбор именно корейского ресторана ни на чем не основывался. Я совершенно явно принимал в расчет, что это корейский ресторан и там будет много корейцев. Я бессознательно надеялся, конечно, на то, что, если в моей маске и есть еще какие-то изъяны, корейцы, наверно, ничего не заметят, к тому же мне казалось, что общаться с ними мне будет проще. А может быть, я находил сходство между собой, лишившимся лица, и корейцами, часто становившимися жертвой расовых предрассудков, и невольно проникся к ним дружескими чувствами. Сам я, конечно, вовсе не испытывал предубеждения против корейцев. Прежде всего, человек без лица просто не вправе иметь предубеждения. Правда, расовые предрассудки, несомненно, существуют как универсальное явление, поскольку выходят за рамки индивидуальных склонностей и бросают тень на историю и народы. Поэтому, во всяком случае субъективно, тот факт, что я искал убежище среди этих людей, был не чем иным, как перелицованным предрассудком, но...

Вился вверх голубой дымок. Шумел допотопный вентилятор. Посетителей трое, и, к счастью, все трое как будто корейцы. Двоих на первый взгляд не отличить от японцев, но их беглый разговор по-корейски неопровержимо свидетельствовал, что они настоящие корейцы. Хотя был еще только полдень, они уже опорожнили целую батарею пивных бутылок, что еще больше разожгло их и без того экспансивную манеру разговаривать.

Я слегка прикоснулся к маске у щек, чтобы проверить, все ли в порядке, и сразу же заразился их весельем. Или скорее, может быть, стремился опьянить себя

возможностью, доступной обыкновенному человеку, — если я этого захочу, то легко могу сделать. Может быть, психологически это объяснялось тем же, что и неодолимое желание нищих поговорить о своих богатых родственниках — таких можно часто встретить в романах. Но так или иначе, присев к колченогому столику и заказав жареное мясо, я явственно ощутил себя чуть ли не киногероем.

По стене сновал таракан. Свернув газету, забытую кем-то на столе, я смахнул его на пол. Потом стал рассеянно читать заголовки — обычные объявления: «Требуются». «Сегодня в кино, мюзик-холлах, увеселительных заведениях»... Соединение всех этих иероглифов странным образом распалило мое воображение. Между рекламными колонками начал разворачиваться ландшафт, полный загадок и намеков, а непрерывная болтовня трех корейцев служила идеальным аккомпанементом моему воображению.

На столе стояла пепельница, к которой было прикреплено специальное устройство для предсказания судьбы. Если в него опустить десятииенную монету и нажать кнопку, из отверстия внизу выскакивает свернутая бумажка величиной со спичку. Моя маска пришла, казалось, в такое бесшабашно-веселое настроение, что решила тоже попытаться счастья. Я развернул бумажку — моя судьба была определена так:

«Небольшая удача: жди и дождешься. Если увидишь человека с родинкой под глазом, иди на запад».

Я уже готов был рассмеяться, но тут один из корейцев заговорил вдруг по-японски, повернувшись к девушке, которая принесла мой заказ, он громко сказал:

— Эй, девочка, у тебя лицо, как у корейской деревенской девчонки. Правда, точь-в-точь как у корейской деревенской девчонки.

Казалось, он не заговорил, а заорал. В испуге втянув голову в плечи, будто он издевался надо мной, я посмотрел украдкой на официантку, но она, не выказывая никакого беспокойства, поставила передо мной тарелку с мясом и, присоединяясь к громкому смеху трех приятелей, расплылась в улыбке. Я растерялся. Может быть, в выражении «корейская девчонка» не было того плохого смысла, который мне почудился? И ведь верно, именно этот вопивший мужчина средних лет был самым неотесанным из всех троих, и, как никому другому, ему

подходило определение «деревенский». Судя по их веселой болтовне, можно было догадаться, что они просто шутили над самими собой. Да к тому же совсем не исключено, что и девушка тоже была корейкой. И нет ничего удивительного, если корейцы ее возраста знают только японский язык. Тогда слова, сказанные тем корейцем, не только не должны были восприниматься как насмешка, но, наоборот, как полное доброжелательности одобрение. Да, это точно. Начать хотя бы с того, что не станет же кореец употреблять слово «корейский» в дурном смысле.

Все эти рассуждения привели к тому, что меня начала непреодолимо мучить совесть: я подло обманывал себя, делая вид, будто питаю к корейцам чувство близости. Выражаясь фигурально, моя позиция выглядела так: белый нищий обращается дружески с цветным монархом. Хотя этот предрассудок в одинаковой мере распространялся и на них и на меня, природа его различна. У них было право высмеивать носителей предрассудка, у меня же такого права не было. У них были друзья, с которыми они объединяли силы в борьбе с предрассудками, у меня же таких друзей не было. Если бы я серьезно решил уравниаться с ними, мне бы пришлось смело сбросить маску и выставить напоказ скопища пивок. И, созвав привидения, лишенные лиц... нет, бессмысленная гипотеза — может ли найти друзей человек, который не любит самого себя?

Воодушевление сразу же остыло, все опротивело, и мне ничего не оставалось, как уныло вернуться в свое убежище, снова испытывая проникшее во все поры чувство стыда. Но перед самым домом — неужели я так изменился? — я снова повел себя непростительно глупо. Ничего не подозревая, я повернул за угол и неожиданно столкнулся с дочкой управляющего.

Прислонившись к стене, она неумело играла в йо-йо¹. Йо-йо был огромный, блестящий золотом. Я остановился как вкопанный. Это было уж совсем глупо. Дорожка, по которой я шел, кончалась тупиком и нужна была лишь тем, кто пользовался стоянкой автомашин за домом или черной лестницей. До тех пор пока я сам не представляюсь семье управляющего как «младший брат», в ма-

¹ Йо-йо — игрушка, представляющая собой два полушария, между которыми пропущена нитка, по которой полушария движутся вверх и вниз.

ске ходить с черного хода не следовало. Правда, поскольку дом только что построен и почти все жильцы новые, переехали вчера, а может быть, даже сегодня, было бы лучше всего, наверно, если бы я прошел как ни в чем не бывало... Я сделал попытку приосаниться, но было уже поздно... девочка заметила мою растерянность. Как же выйти из этого положения?

— В той квартире,— я понимал, насколько бездарно мое объяснение, но был не в силах придумать ничего более подходящего,— там живет мой брат... Он сейчас у себя? У него все лицо вот так обмотано бинтами... Ты его, наверно, знаешь?

Но девочка только чуть-чуть шевельнулась, ничего не отвечая и не изменив выражения лица. Мне все больше становилось не по себе. Уж не заметила ли она чего-нибудь? Нет, не должна бы... Если верить словам ее отца — управляющего — то, хоть на вид она почти девушка, но в умственном развитии отстает от сверстников: с трудом учится в начальной школе. Когда она была совсем маленькой, простуда осложнилась менингитом, и окончательно она так и не поправилась. Слабый, как крылышки насекомого, рот... детский безвольный подбородок... узкие, покатые плечи... и контрастирующий с ними тонкий, как у взрослой, нос... большие, овальные, ничего не выражающие глаза... видимо, я не ошибся, сразу подумав, что она слабоумная.

Но что-то в молчании девочки вызывало чувство неловкости, которое не позволяло просто пройти мимо. Чтобы заставить ее заговорить, я сказал первое, что пришло в голову:

— Прекрасный йо-йо. Здорово, наверно, подпрыгивает.

Девочка задрожала от испуга и, спрятав игрушку за спину, ответила вызывающе:

— Мой, я не вру!

Я едва не рассмеялся. Успокоившись, я вдруг захотел чуть-чуть подразнить ее. Отплатить ей за то, что она заставила меня пережить неприятные минуты, наказать за то, что она подняла крик, в первый раз увидев обмотанное бинтами лицо. Хотя девочка была умственно отстающая, но обладала привлекательностью эльфа. Если все пойдет как нужно, разговор с ней поможет, пусть хоть немного, восстановить пошатнувшийся авторитет маски.

— Правда? А где доказательства, что ты не врешь?

— Зря вы мне не верите. Ведь я ничего плохого не делаю.

— Ладно, верю. Но мне кажется, на йо-йо чье-то другое имя написано.

— Да в этом нет ничего такого. Давным-давно одна кошечка сказала... похожая на нашу, не пестрая, а такая, совсем-совсем белая кошечка...

— Ты мне ее покажешь?

— Я очень крепко храню секреты.

— Секреты?..

— Давным-давно одна кошечка сказала. Мыши хотят надеть на меня колокольчик, что же мне делать?..

— Ну, ладно, хочешь, дядюшка купит тебе точно такой же?

Я испытывал удовлетворение от одного того, что могу вот так спокойно беседовать, но результаты заигрывания значительно превзошли все мои ожидания.

Девочка терлась спиной о стену и некоторое время, казалось, сосредоточенно взвешивала смысл моих слов. Потом, подозрительно посмотрев на меня исподлобья, спросила:

— Тайком от папы?

— Конечно, тайком.

Я невольно рассмеялся (да ведь я смеюсь!) и, сознавая эффект смеющейся маски, засмеялся еще громче. Наконец девочка как будто согласилась на мое предложение. Она расслабила напрягшуюся спину и оттопырила нижнюю губу.

— Хо-ро-шо... хо-ро-шо,— пропела она несколько раз и грустно протирая золотой йо-йо полый кофты: — Если вправду купите, я этот отдам... но правда, правда, я не украла потихоньку... мне его когда еще обещали... Но я отдам... вот прямо сейчас пойду и отдам... А мне нравится, кто бы что ни подарил, мне это очень нравится...

Продолжая прижиматься к стене, она бочком, бочком кралась мимо меня. Дети есть дети... я совсем уже успокоился, но, поравнявшись со мной, она прошептала:

— Играем в секреты!

«Играем в секреты»? Что это значит? А, нечего обращать внимание. Разве способна эта недоразвитая девочка на такие сложные хитрости? Легче всего было отнести это на счет ее скудного умишка, но ведь собака со

скудным умишком в качестве компенсации имеет острый нюх... Сам факт, что я беспокоился по этому поводу, служил доказательством того, что моя уверенность снова колебалась.

В общем, осадок был очень неприятный. Только лицо мое стало совершенно новым, а память и привычки остались прежними — все равно что черпать воду ковшом без дна. Поскольку я надел на лицо маску, мне нужна была такая, которая бы отвечала ритму моего сердца. Мне бы хотелось в своем лицедействе достигнуть такого совершенства, чтобы меня не могли разоблачить даже с помощью детектора лжи...



Я снял маску. Напитанный потом клейкий состав пахнул как перезрелый виноград. И в эту минуту невыносимая усталость хлынула вверх, как из засоренной канализации, и вязким дегтем стала застаиваться в суставах. Но все зависит от восприятия — как первую попытку, ее совсем нельзя назвать неудачной. Муки, связанные с рождением ребенка, — и то не шутка. А здесь сформировавшийся взрослый человек собирается переродиться в совершенно другого — не должен ли я те или иные шероховатости, неудачи считать естественными? Не должен ли я скорее радоваться, что не был смертельно ранен?

Вытерев маску изнутри, я снова натянул ее на слепок, вымыл и намазал кремом. Чтобы дать коже немного отдохнуть, прилег на кровать. Наверно, это была реакция на слишком длительное напряжение: хотя солнце еще не зашло, я заснул крепким сном. И проснулся, когда уже занимался рассвет.

Дождя не было, но сквозь густой, мокрый туман торговый квартал, за которым была широкая проезжая улица, выглядел темневшим вдали лесом. Бледное небо, тоже, наверно, из-за тумана, приняло розоватый оттенок. Распахнув окно, я полной грудью вдохнул воздух, тугой, как морской ветер, и эти минуты, созданные для тех, кто прячется, минуты, когда совсем не нужно беспокоиться о посторонних взглядах, эти минуты представлялись мне прекрасными, созданными специально для меня. Не является ли истинный облик человека именно вот в таком

тумане? И настоящее лицо, и маска, и обиталище пня-вок — все эти фальшивые наряды просвечиваются насквозь, будто радиоактивными лучами... их истинное содержание, их суть раскрываются во всей своей наготе... и душу человека, как персик с ободранной кожицей, можно попробовать на вкус. За это, конечно, нужно заплатить одиночеством. Но не все ли равно? Как знать, может быть, имеющие лицо не менее одиноки, чем я. Какую бы вывеску я ни повесил на своем лице, незачем поселять внутри себя человека, потерпевшего кораблекрушение.

Одиночество, поскольку я бежал его, было адом, а для тех, кто жаждет одиночества, оно благо. Ну, а если отказаться от роли героя слезливой драмы и добровольно пойти в отшельники? Раз уж на моем лице оттиснуто клеймо одиночества, нелепо не извлечь из этого выгоды. К счастью, у меня есть бог — высокомолекулярная химия, есть молитва — реология, есть храм — лаборатория и совсем отсутствует боязнь, что одиночество помешает моей повседневной работе. Наоборот, разве оно не гарантирует, что каждый мой день будет более простым, более правильным, более мирным и к тому же более содержательным, чем прежде?

Я смотрел на розовеющее небо, и на душе становилось все светлее. Правда, если вспомнить о тяжелых боях, которые я до этого вел, такая смена настроений могла показаться слишком резкой, слишком неустойчивой, но, если уж выгреб в открытое море и возврата нет, роптать нет смысла. Радуюсь в душе, что есть еще возможность, пока виден берег, повернуть лодку назад, я бросил взгляд на маску, лежавшую на столе. Легко и великодушно, чистосердечно, с неподдельной готовностью я решил распрощаться с ней.

Разлитый по небу свет еще не коснулся маски. И это темное чужое лицо, без всякого выражения смотревшее на меня, не собиралось подчиняться и, глубоко упрятав непокорность, изо всех сил противилось моему сближению с ним. Эта маска казалась мне злым духом из сказочной страны, и неожиданно я вспомнил сказку, которую когда-то прочел или услышал.

В давние времена жил король. Однажды он заболел какой-то непонятной болезнью. Это была ужасная болезнь, от нее тело короля постепенно таяло. Ни врачи, ни лекарства не помогали. И тогда король

решил издать новый закон, по которому казнь ждала каждого, кто его увидит. Закон принес пользу: хотя у короля растаял нос, не стало кистей рук, затем исчезли ноги — до колен, никто не сомневался, что король по-прежнему жив и здоров. А болезнь шла своим чередом, и король, который таял, как свеча, и не мог уже двигаться, решил наконец обратиться за помощью, но было слишком поздно — у него уже пропал рот. И вот король исчез. Но ни один из преданных ему министров не выразил сомнения в том, что король существует. Рассказывают даже, что этот исчезнувший король, поскольку он уже не мог творить зло, долгие годы слыл мудрым правителем и пользовался любовью народа.

Неожиданно я разозлился, закрыл окно и снова бросился на кровать. Ведь и двенадцати часов не прошло с тех пор, как я решил испробовать маску. Такой незначительный опыт не дает никаких оснований для столь бурного волнения. Воспользоваться сурдинкой можно когда угодно. Закрыв глаза, я начал вспоминать один за другим бессмысленные осколки видений: влажное от дождя окно, а потом — то травинка, выглядывающая из трещины в тротуаре, то пятно на стене, похожее на животное, то нарост на старом, израненном дереве, то паутина, готовая прорваться под тяжестью росы. Мой обычный обряд, когда я бывал возбужден и не мог заснуть.

Но сейчас и это не помогло. Наоборот, раздражение, не знаю почему, все разбухало и наконец стало невыносимым. Вдруг я подумал: хоть бы этот туман на улице превратился в отравляющий газ, хоть бы случилось извержение вулкана или война и мир задохнулся, а действительность рассыпалась на куски. Специалист по искусственным органам К. рассказывал, что на войне солдаты, потерявшие лицо, лишали себя жизни. Почти всю свою молодость я провел на фронте и прекрасно знаю, что такие случаи действительно бывали. В те годы цена на лица упала. Когда смерть ближе к тебе, чем самый близкий друг, может ли тропинка, связывающая с людьми, иметь какое-либо значение? Атакующему солдату лицо ни к чему. Да, это было неповторимое время, когда забинтованное лицо казалось прекрасным.

В воображении я превратился в артиллериста, расстреливающего все, что попадалось на глаза. И в окутавшем меня порохом дымом я наконец заснул.



Влияние солнечных лучей на психическое состояние человека поразительно. Или, может быть, я просто выспался? Когда от яркого света я повернулся на другой бок и открыл глаза, был уже одиннадцатый час, и мое сумеречное нитье испарилось начисто, как утренняя роса.

Завтра кончается срок моей вымышленной командировки. И если я собираюсь осуществить свой план, то должен непременно в течение сегодняшнего дня окончательно освоиться с маской. В приподнятом настроении я надел маску и стал одеваться. Испытывая некоторую неловкость, облачился в свою новую одежду, надел на палец кольцо и, закончив туалет, приобрел вполне элегантный вид. Невозможно было представить себе, что это тот самый человек, который в халате, залитом химикатами, с утра до ночи занимался молекулярными исследованиями. Мне захотелось выяснить, почему это невозможно себе представить, но, к сожалению, я был слишком возбужден. И не только возбужден, опьянен своим блестящим перерождением. И в какой-то точке, на два пальца вглубь от глазного дна, непрерывно раздавался треск фейерверка, возвещавший начало чего-то... Я вел себя как щеголь, отправившийся полюбоваться празднеством.

На этот раз я решил выйти из дому через парадный ход. Поскольку я «младший брат», мне уже не нужно особенно избегать посторонних взглядов, а если повезет и я встречу с девочкой, то смогу уточнить у нее, в каком магазине продают йо-йо. Я и представить себе не мог, где покупают такие игрушки. После того как умер наш первый ребенок, а потом у тебя случился выкидыш, я совсем отошел от мира детей, может быть, умышленно избегая его... Но к сожалению, ни с девочкой, ни с управляющим я не встретился.

Никакой особой цели у меня не было, и поэтому я начал с поисков йо-йо. Не имея представления, где находятся специальные магазины игрушек, я прежде всего стал заглядывать в игрушечные секции универмагов. Может быть, из-за того, что йо-йо только что вошли в моду, в каждой секции обязательно стояли витрины с этими игрушками, которые со всех сторон, точно мухи, облепляли дети. Смешиваться с толпой в таком месте, пожалуй, не

следовало с точки зрения психогигиены, и я заколебался. Но в конце концов должен был раз и навсегда покончить с неудобной «игрой в секреты» и, решившись, стал протискиваться сквозь это мушиное царство. Но йо-йо той формы, которая мне была нужна, не попадалось. Наверно, тот йо-йо и формой и цветом отличался от тех, какие продают в универмагах. Взять, к примеру, сласти — мне они больше по душе из дешевой лавочки. Выйдя из универмага, я около часа бродил в поисках подходящего магазина, как вдруг в переулке против вокзала наткнулся на маленький магазин игрушек.

Как и следовало ожидать, он несколько не был похож на игрушечные секции универмагов. Магазин, правда, не был таким дешевым, как лавочка детских сладостей, но в нем продавались не только дорогие вещи. Он был рассчитан, наверно, на детей постарше, которые на подаренные деньги покупают игрушки по своему вкусу, — в нем царил атмосфера невинного греха таинственности. Вернее, в нем бесстыдно спекулировали на психологии ребенка, который предпочитает подкрашенную сладкую воду из треугольного пакета фруктовому соку в бутылке. Как я и предполагал, нужный мне йо-йо там тоже был. Держа в руках разделенный на две половинки шар из синтетической смолы, я с горечью улыбнулся, неожиданно подумав о его создателе, сумевшем так прекрасно выразить суть магазинчика в переулке. Все было сделано с предельной предусмотрительностью. Простота формы сочеталась с кричащей расцветкой. Если бы он не был безжалостен к своему вкусу, ему бы ни за что такого не придумать. Причем он продемонстрировал не отсутствие вкуса, а скорее сознательное насилие над своим вкусом. Это было все равно что в упоении растаптывать каблуком свой вкус, стяхнув его на землю, как насекомое. Жестоко, правда? Ничего не поделаешь, существуют и жестокие обстоятельства. Но если он избрал такой путь по своей воле, то не было ли это, наоборот, продиктовано мстительностью, чувством освобождения, будто снял одежду и остался обнаженным? Поскольку он был волен не действовать по своему вкусу, а убежать от своего вкуса...

Да, я не отрицаю: такое впечатление было вызвано и тем, что со мной случилось. Я должен идти вперед, шаг за шагом растаптывая свой вкус, если хочу создать чужое сердце, подходящее чужому лицу. Но это оказалось не таким трудным делом, как я предполагал. И, будто

маска обладала способностью призывать осень, мое усталое сердце превратилось в сухой лист, готовый вот-вот упасть — стоит лишь слегка потрясти ветку. Я не особенно сентиментален, но удивился, что не почувствовал боли, хотя бы похожей на пощипывание глаз, как от мяты, хотя бы как комариный укус. Собственное «я», видимо, не то, что о нем говорят.

Но какое же, наконец, сердце собираюсь я нарисовать на этом старом, выцветшем холсте? Не сердце ребенка, конечно, и не мое собственное. Сердце для моих завтрашних планов... хотя я и не мог бы определить его словом, которое можно понять, заглянув в словарь, ну, например, йо-йо, туристская открытка, футляр для драгоценных камней, приворотное зелье... Как программу действий я представлял себе это сердце гораздо яснее, чем карту, полученную с помощью аэрофотосъемки. Сколько раз уже повторял я намеки, заставлявшие тебя задумываться. Но сейчас, когда все закончено и можно и говорить и слушать о содержании и последствиях того, что произошло, можно буквально пощупать происшедшее, вряд ли стоит ограничиваться намеками, боясь той боли, которую я причиню, если облеку свои ощущения в слова. Я воспользуюсь представившимся случаем и расскажу все. Я как совершенно чужой для тебя человек... решил соблазнить тебя... тебя — символ чужого.

Нет, подожди... Я совсем не собирался писать об этом... Я ведь не похож на малодушного человека, который тянет время, повторяя то, что известно и так. Я хочу лишь рассказать о своем странном, неожиданном даже для меня самом поведении после покупки йо-йо.

Примерно треть магазина игрушек занимали стенды, на которых были выставлены игрушечные пистолеты. Среди них несколько, видимо, импортных и достаточно дорогих, но действительно прекрасно сделанных. Я взял один из них — немного тяжеловат и дуло залито свинцом, в остальном же был в нем и механизм подачи патронов, и курок совершенно ничем не отличался от настоящего. Я вспомнил, что мне как-то попала статья в газете, в которой говорилось, что игрушечный пистолет можно переделать и стрелять из него настоящими пулями. Может быть, и этот такой же? Интересно, можешь ли ты представить себе меня, с увлечением рассматривающего игрушечный пистолет? Самые близкие мои товарищи по лаборатории и те вряд ли смогли бы. Да и мне самому никог-

да бы такая мысль не пришла в голову, не будь я свидетелем своих собственных действий.

Хозяин магазина, заворачивая йо-йо, прошептал с искательной полуулыбкой: «Нравится? Может быть, показать, что у меня отложено?» И тогда на какое-то мгновение я начал сомневаться, я ли это. Или правильнее, пожалуй, сказать так: я растерялся оттого, что не реагировал на это так, как реагировал бы я. Растеряться и одновременно осознать это — нет ли тут противоречия? Нет, здесь виновата маска. Не обращая внимания на мое замешательство, маска согласно кивнула пугливо озирающемуся по сторонам хозяину магазина и, как бы используя возможность доказать свое существование, стала горячо договариваться о том, что было отложено.

Это был духовой пистолет «вальтер». С трех метров пробивает пятимиллиметровую доску — сильная штука, но и цена у него была порядочная — 25 тысяч иен. Как ты думаешь, что я сделал?.. Мне уступили за 23 тысячи, и я купил его. «Учтите, это ведь незаконно. Духовой пистолет — не духовое ружье, он приравнивается к настоящему. А незаконное хранение пистолета очень строго преследуется. Я серьезно прошу вас, внимательно отнестись к тому, что я сказал...» Но я все равно купил его.

У меня было странное состояние. Мое настоящее «я» с подлинным лицом пыталось что-то пропищать тоненьким голоском, забившись глубоко между кишками. Такого не должно было быть, но... Ведь я выбрал экстравертный агрессивный тип из единственного побуждения получить лицо охотника, пригодное для твоего соблазнителя. Теперь о другом... Я просил маску лишь об одном: помоги мне выздороветь. Я ведь ни разу не просил: делай как тебе нравится. И вот теперь у меня этот пистолет — что же мне с ним делать?

Но маска, будто нарочно выставляя напоказ торчащий из кармана твердый сверток, смеялась над моими затруднениями, наслаждалась ими. Она, конечно, и сама не знала как следует, что ответить на вопросы моего настоящего лица. Будущее — не что иное, как производное прошлого. У маски, которая не прожила и двадцати четырех часов после своего рождения, не должно было быть плана действий на завтра. Социальное уравнение человека — это, в сущности, математическая функция возраста, и маска, возраст которой равен нулю, ведет себя как младенец, чересчур непринужденно.

Да, этот младенец в темных очках, отражающийся в зеркале вокзального туалета, возможно, под влиянием того, что было спрятано у него в кармане, держал себя вызывающе агрессивно. И честно говоря, я не мог решить, что я должен делать — наплевать на этого младенца без возраста или опасаться его.



Ну, так что же делать?.. Но это не было «что делать» человека, в растерянности опустившего руки, а скорее полный любопытства вопрос. Во всяком случае, для маски это была первая самостоятельная прогулка, а у меня не было других планов, кроме как прогуливать ее. Прежде всего я хотел приучить ее к людям, но, подготовившись крайне неумело, все испортил и вынужден был, утешая, вести ее за руку. Однако после того, что случилось в магазине игрушек, хозяин и гость поменялись местами. О том, чтобы вести ее за руку, не могло быть и речи — ошеломленный я был способен лишь на то, чтобы слепо следовать за этим изголодавшимся духом, напоминавшим преступника, только что выпущенного на свободу.

Ну, так что же делать?.. Пока я слегка поглаживал пальцами бороду (может быть, это была реакция на бинты, обматывавшие раньше мое лицо), маска демонстративно принимала самые различные выражения, как охотник, жаждущий удачи: готовность, презрение, вопрос, алчность, вызов, внимание, желание, уверенность, стремление, любопытство... В общем, все возможные выражения, каждое в отдельности и в различных вариациях, какие только мыслимо представить себе в подобном случае, — она вынюхивала эти выражения, точно сорвавшаяся с привязи и сбжавшая от хозяина собака. Это было знаком того, что маска начинает спокойно относиться к реакции посторонних, и я не могу отрицать, что в какой-то степени — пусть дурачит других — испытывал даже удовлетворение от ее действий.

Но в то же время меня охватило страшное беспокойство. Как бы она ни отличалась от моего настоящего лица, я — это я. Я не был ни загипнотизирован, ни опьянен наркотиками, и за все, что совершит маска — например, за то, что в кармане спрятан духовой пистолет, — ответ-

ственность должен нести я, и никто иной. Характер маски совсем не случаен, он ничем не напоминал кролика, выскочившего из шляпы фокусника, — нет, он был частью меня самого, появившейся не по моей воле, а благодаря тому, что стража моего настоящего лица прочно прикрыла все входы и выходы. Теоретически понимая, что все это именно так, я не мог представить себе ее характера целиком, будто потерял память. Попробуй представить себе мое раздражение, когда существует лишь абстрактное «я», и мне не под силу вдохнуть в него желаемое содержание. Я был вконец расстроен и решил неприметно нажать на тормоза.

«Провал того, тридцать второго эксперимента: опыты были проведены плохо или же изъян оказался в самой гипотезе?»

Я решил избрать темой этот важный для лаборатории вопрос и попытаться вспомнить занятую мной позицию. Я высказал предположение, что в некоторых высокомолекулярных соединениях существует выражающаяся функционально зависимость между изменением коэффициента упругости под действием давления и изменениями под действием температуры, и получил весьма обнадеживающие результаты, но последний, тридцать второй эксперимент опрокинул все мои ожидания, и я оказался в весьма тяжелом положении.

Однако маска только досадливо нахмурила брови. С одной стороны, мне показалось это естественным, но в то же время я почувствовал укол самолюбия...

Заметки на полях. Собственно говоря, маска не более чем средство для моего выздоровления. Представь себе, что ты сдала комнату, а у тебя отняли весь дом — у любого самолюбия взиграет:

...И тогда я взорвался.

«Что же тебе, наконец, нужно? Стоит мне захотеть, и я в любую минуту сорву тебя!»

Но маска хладнокровно, беззаботно парировала:

«Видишь ли, я ведь никто. До сих пор мне пришлось отдать немало сил, чтобы быть кем-то, и теперь я непременно воспользуюсь этим случаем, я хочу отказаться от жалкого жребия стать кем-то иным. А ты сам? Разве, честно говоря, ты хочешь меня сделать кем-то иным? Да, по-моему, и не сможешь, так что давай оставим все как есть. Согласен? Взгляни-ка! Не выходной день, а такая тол-

чая... толчея возникает не потому, что скапливаются люди, а люди скапливаются потому, что возникает толчея. Я не вру. Студенты, длинноволосые, точно хулиганы, целомудренные жены, накрашенные, точно известные своим распутством актрисы, замызганные девицы в модных платьях, тощие, точно манекены... Пусть это несбыточная мечта, но они вливаются в толчею, чтобы стать никем. Или, может быть, ты собираешься утверждать, что только мы с тобой другие?»

Мне нечего было ответить. Ответа и не могло быть. Ведь это были утверждения маски, а их она придумывала моей головой. (Ты сейчас, наверно, смеешься? Нет, ждать этого — значило бы желать слишком многого. Горькая шутка совсем не для того, чтобы рассмешить. Я был бы вполне удовлетворен, если бы ты признала, что в моих словах содержится хоть частица здравого смысла, но...)

Я оказался припертым к стене или под предлогом, что оказался припертым к стене, перестал сопротивляться и разрешил маске делать все, что она захочет. И тогда маска, хотя и была никем, придумала неожиданно разумный план, ничуть не менее дерзкий, чем случай с пистолетом. Он заключался в том, чтобы после обеда пойти к нашему дому и посмотреть, что там происходит. Нет, не что происходит в нашем доме, а что происходит во мне самом. Попытаюсь заглянуть домой, чтобы установить, насколько смогу я противиться роли соблазнителя, исполнение которой намечено на завтра. В глубине души я еще на что-то надеялся, но облечь эти надежды в слова никак не мог и с готовностью согласился подчиниться маске.

Постскриптум. Не собираюсь зарабатывать хорошую отметку, но, думается, я был слишком добр. Я напоминал человека, который, признавая гелиоцентрическую теорию, проповедует геоцентрическую. Нет, я считаю, что доброта — преступление, и немалое. Стоит подумать, к чему она может привести, и из всех пор моего тела, извиваясь, выползают черви стыда. Если я стыжусь перечесть написанное, представляешь, во сколько раз больший стыд испытываю я, когда подумую, что ты это читаешь? Я и сам прекрасно знаю, что гелиоцентрическая теория верна, и тем не менее... видимо, я придавал слишком большое значение своему одиночеству... я вообразил, что оно трагичнее одиночества всего челове-

ства. И в знак раскаяния я безжалостно выброшу из следующей тетради все фразы, в которых будет хоть намек на трагедию.

СЕРАЯ ТЕТРАДЬ

Хотя всего пять дней назад я ездил этой дорогой на электричке, свежесть восприятия была такой, будто прошло пять лет. Ничего удивительного. Для меня дорога настолько знакома, что я не заблудился бы и с закрытыми глазами, но ведь для маски это была совершенно новая дорога. Если же она и припоминала ее, то, наверно, потому, что еще до рождения, в утробной жизни, видела ее во сне.

Да, в самом деле... даже у облаков, напоминающих обросших белой бородой старцев, которые я видел по пути из окна вагона, даже у них есть воспоминания... Внутренняя поверхность маски промыта содовым раствором, и на ней пенятся маленькие пузырьки... Я инстинктивно провел тыльной стороной ладони по неvspотевшему лбу и тут же посмотрел по сторонам — не заметил ли кто мою оплошность?.. Расстояние между мной и другими? Я могу позволить себе присоединяться к остальным, сохраняя естественную дистанцию. Вдруг мне неудержимо захотелось рассмеяться. Возбуждение, будто проник на вражескую территорию, сменилось умиротворением, связанным с возвращением домой; угрызения совести, словно совершил преступление, сменились радостью новых встреч. Что захочу, то и сделаю. Как дистрофик, которому разрешили наконец поесть, я в такт покачиванию вагона стал изо всех сил тянуться, точно лоза, выбрасывающая усы, к твоему белому лбу, бледно-розовому шраму от ожога на запястье, прожилкам на щиколотках, гладких и нежных, как раковина изнутри.

Что, слишком неожиданно? Если ты и подумаешь так, ну что ж, ничего не поделаешь. Скажешь, что это бред опьяненной маской — у меня нет оснований отрицать это. Действительно, в своих записках я впервые так пишу о тебе. Но это совсем не потому, что я отказался от тебя до поры, точно положил деньги на срочный вклад. Скорее, мне подумалось, что я не имею на это права. Судить о твоём теле лишённому лица привидению еще более нелепо, чем лягушке судить о пении птиц. Причину лишь

боль себе, да и тебе, наверно, тоже... Ну, а благодаря ма-ске проклятие снято? Для меня это еще более трудный вопрос. Но эта проблема чем дальше, тем настойчивее будет требовать ответа. Подожду, ответить никогда не поздно.

Уже вылилась первая волна служащих, окончивших работу, и электричка была переполнена. Я чуть повернулся, и молодая женщина в зеленом пальто коснулась задом моего бедра. Я подался в сторону, чтобы она не почувствовала, что у меня пистолет, но ничего не вышло — нас прижали друг к другу еще сильнее. Правда, и сама женщина не особенно избегала меня, и я решил остаться в том же положении. С каждым толчком вагона мы прижимались все теснее, но теперь я не отстранялся. Она старательно делала вид, что дремлет. Пока я развлекался мыслью, что будет, если я пистолетом ткну ее в зад, мы подъехали наконец к станции, на которой мне нужно было выходить. Подойдя к дверям, я посмотрел на женщину — притворно-сосредоточенно она изучала рекламные щиты у платформы; сзади, судя по ее прическе, она не казалась молодой. Нет, никакой роли в дальнейших событиях этот случай не сыграл. Мне захотелось рассказать о нем только потому, что я подумал: такого, наверно, никогда бы не случилось, не надень я маску.

Постскриптум. Нет, этой части моих записок недостает откровенности. Недостает и откровенности, и честности. Уж не сказалось ли то, что мне стыдно перед тобой? С самого начала мне бы лучше не касаться этого. Если бы я только намекнул на эффективность маски, мне бы не пришлось тратить десять—двадцать строк на подобные эротические признания. Потому-то я и сказал, что недостает честности. И поскольку я наполовину обманул тебя, то не только не мог рассказать о своих истинных намерениях, но и неизбежно столкнулся с печальным фактом твоего непонимания.

У меня нет умысла превращать честность в предмет торга. Просто, раз уж я коснулся того, чего неизбежно должен был коснуться, постараюсь, ничего не утаивая, раскрыть истинные свои намерения. С точки зрения прописной морали я вел себя попросту бессовестно, и мое поведение достойно осуждения. Но если рассматривать его как поведение маски, то я думаю, оно может послужить важным

ключом для понимания моих дальнейших поступков. Откровенно говоря, в те минуты я начал испытывать возбуждение. То, что произошло, может быть, еще и нельзя было назвать прелюбодеянием, но, во всяком случае, это был акт духовной мастурбации. Ну, а изменил ли я тебе? Нет, мне не хотелось бы так легко употреблять слово «измена». Если уж говорить об этом, то я непрерывно изменяю тебе с тех пор, как мое лицо превратилось в обиталище пиявок. Кроме того, я боялся, что тебе это покажется гадким и ты не захочешь читать дальше. Поэтому-то я и не касался этого, но по меньшей мере семьдесят процентов моих мыслей занимают сексуальные химеры. В моих действиях они не обнаруживались, но потенциально я, в сущности, был сексуальным маньяком.

Часто говорят, что секс и смерть неразрывно связаны между собой, но истинный смысл этих слов я понял именно тогда. До этого я давал им лишь поверхностное толкование в том смысле, что завершение полового акта настолько самозабвенно, что может даже вызвать мысль о смерти. Но стоило мне лишиться лица и превратиться в заживо погребенного, как я впервые усмотрел в них совершенно реальный смысл. Так же как деревья приносят плоды до того, как приходит зима, как тростник дает семена, перед тем как засохнуть, секс не что иное, как борьба человека со смертью. Поэтому не будет ли правильным сказать, что эротическое возбуждение, не имеющее определенного объекта,— это жажда человеческого возрождения, испытываемая индивидуумом, стоящим на пороге смерти. Доказательством может служить то, что все солдаты подвержены эротизму. Если среди жителей города растет число эротоманов, то этот город, а может быть, и страна в целом должны быть готовы к множеству смертей. Когда человек забывает о смерти, половое влечение впервые превращается в любовь, направленную на определенный объект, и тогда обеспечено устойчивое воспроизводство рода человеческого.

Поведение маски в электричке объяснялось тем, что и я и женщина были невыносимо одиноки, но, исходя из моей классификации, маска, видимо, переживала переходную стадию от эротизма к люб-

ви — состояние эротической любви. Хоть маска еще не ожила окончательно, наполовину, уж во всяком случае, она начала жить. В этих условиях где ей было изменить тебе — у нее и возможностей-то для измены не было. По выработанной мною программе маска могла зажить полной жизнью только после встречи с тобой.

Вывод из этого дополнения можно, видимо, сделать такой. Благодаря маске мне удалось избежать крайнего возбуждения, которому подвержены сексуальные маньяки, но я по-прежнему оставался полуэротоманом; однако не этот эротизм привел меня к тебе. Я даже уверен, что он послужил стимулом для освобождения. И ради этого я должен был любимым способом заставить тебя полюбить мою маску.

Речь идет о воспитании маски, а для этого нет ничего лучше, как заставить ее испытать все на себе, думал я, когда мочился в вокзальном туалете. Я решил избегать шумных торговых улиц и идти переулками. Мне не хотелось неожиданно встретить тебя около рыбного магазина. Я еще не был уверен, что смогу вынести эту неожиданную встречу, ну и, кроме того, хотелось, чтобы первая встреча между маской и тобой состоялась так, как я наметил с самого начала. И хоть встречи не произошло, у меня было чувство, будто я сел на мель. Без всякой причины ноги заплелись, и я чуть не споткнулся на ровном месте. Дыша ртом, как собака, чтобы остудить обжигавший меня горячий воздух, скопившийся под маской, я повторял и повторял, точно заклинание: «Понимаешь, я же здесь впервые. И то, что я вижу, и то, что слышу, — все для меня ново. И дома, которые потом попадутся мне на глаза, и люди, с которыми я, возможно, встречусь, — всех их я увижу впервые. Если даже что-то и совпадет с моими воспоминаниями, это будет либо ошибкой, либо случайностью или же видением, явившимся во сне. Да, и эта сломанная крышка люка... и сигнальный полицейский фонарь... и этот угол дома, где круглый год стоит лужа грязной воды из переполненной канализации... и выстроившиеся вдоль улицы огромные вязы... потом... потом...

Потом, точно выплевывая песчинки изо рта, я постарался одно за другим изгнать из памяти цвета и образы, но что-то все равно оставалось, и я не мог от этого избавиться. Это была ты. Я весь напрягся и сказал маске:

«Ты совершенно чужая. Завтрашняя встреча будет самой первой встречей с ней, ты никогда не видела ее, не слышала о ней. А свои впечатления — выбрось их из головы, и поскорее!» Но по мере того, как окружающий пейзаж растворялся и улетучивался из памяти, твой образ, только он, всплывал все яснее, и я был не в силах противиться этому.

В конце концов я... и маска, конечно, тоже... поставив в центр твой образ, будто мотылек, которого влечет свет, едва не касаясь нашего дома, стал ненасытно кружить вокруг него.

Соседки, спеша мимо с кошелками в руках, не обращали на меня никакого внимания — незнакомый прохожий; дети — дети самозабвенно играли, стараясь не упустить коротких минут, оставшихся до ужина. В общем, нечего было опасаться, что меня узнают. Когда я в пятый или шестой раз приблизился к дому, уже зажглись уличные фонари, начало быстро смеркаться. Я стал присматриваться, замедлив шаги настолько, чтобы не вызвать подозрений, и узнал, что ты дома: из окна во двор падал мягкий свет. Свет из столовой. Неужели и для себя одной ты аккуратно накрываешь на стол?

Я вдруг почувствовал нечто похожее на ревность к этому свету из столовой. И не к чему-то конкретному — будто там какой-то гость и он захватил мое место. Я, казалось, ревновал к самому факту, что там наша столовая и в ней ничего не изменилось, а с наступлением темноты в ней зажжена лампа. В ожидании ужина я бы сейчас читал под этим светом вечерний выпуск газеты, а вместо этого, с помощью маски спрятав свое лицо, вынужден слоняться под окном. Как это несправедливо, как трудно перенести это. Невозмутимый свет столовой, нисколько не потускневший оттого, что меня там нет... точно так же, наверно, как и ты...

И маска, которой до этого я был так доволен, на которую возлагал такие надежды, показалась мне ненадежной, поблекшей. И задуманный мной грандиозный спектакль, в котором я, надев маску, должен был с блеском выступить в роли другого человека, действительно оказался всего лишь спектаклем, бледным и слабым перед неутомимой повседневностью: наступает темнота, выключатель повернут — и свет заливаает столовую. В тот миг, как маска встретится с твоей улыбкой, она тут же растает, как снег весной.

Чтобы избавиться от чувства поражения, я решил позволить маске пофантазировать. Мечты не совсем оформленные, как сама маска, но будут ли они мечтами или химерами повседневности, вылезшей из своей скорлупы,— я промолчу. И, решив закрыть на все глаза, снова стал с деловитым видом кружить вокруг дома.



Но фантазии не приободрили маску, наоборот, они только показали, насколько непреодолима и коварна пропасть между мной и ею.

Освободившись от цепей, маска первым делом без стеснения направится к нашему дому. И я окажусь в роли сводни. Калитка с оторванной петлей. Дорожка из гравия покрыта грязью, и поэтому шагов не слышно. Входная дверь в лишаях облупившейся краски. Полусгнивший водосточный желоб валяется у крыльца... тебе-то какая забота, это чужой дом! Нажав кнопку звонка и отступив на шаг, чтобы успокоить дыхание, я буду прислушиваться к тому, что ты делаешь. Шаги приближаются, зажигается свет над крыльцом, раздается твой голос: «Кто там?»

Нет, как бы подробно ни старался я рассказать обо всем, это ничего не даст. И необходимости нет, да прежде всего и невозможно. Не покажется ли, наоборот, странным, если я всеми правдами и неправдами превращу в связный текст свои обрывочные мечтания, похожие на небрежные строчки на грифельной доске, с которой стерто написанное и снова написано по стертому, неизвестно когда, неизвестно, в каком порядке — может быть, даже лучше сравнить их с каракулями в общественной уборной? Я хочу выбрать только две-три сцены, ограничившись самым необходимым, чтобы ты поняла, какой удар нанесли мне эти фантазии.

Первая — это жалкая сцена после того, как я услышал твой голос, похожий на шепот. Я стремительно всунул ногу в щель опасно приоткрытой двери, с силой рванул ее и быстро приставил пистолет к твоему лицу, испуганному, точно ты вдруг захлебнулась ветром. Представь себе мое замешательство. Ни капли симпатии. Меня часто раздражала твоя невозмутимость — это правда,

но все равно не было никакой необходимости вести себя как бандит из кинофильма. Если уж я соблазнитель, то неужели не мог придумать какой-нибудь ход, более подходящий для соблазнителя? В конце концов, поскольку все это происходило в моем воображении, годилась любая заведомая ложь, ну, к примеру, что я однокашник твоего мужа и зашел по старой дружбе — хотелось, чтобы я вел себя именно так. В общем, никакого обольстителя из меня не вышло. Уж не был ли я мстителем? А может быть, в моей маске с самого начала была упрятана жажда мести? Действительно, я был настроен агрессивно, испытывал ненависть, даже чувство мести — и все это было направлено против предубеждения людей, стремившихся отнять у меня вместе с лицом и право гражданства. А по отношению к тебе?.. Не знаю... думаю, нет, но не знаю... А охватившее меня неистовство совершенно парализовало разум, отняло способность рассуждать.

Это была ревность. Нечто подобное ревности, основанной на воображении, я уже испытывал много раз, но сейчас было другое. Острая чувственная дрожь, которой я даже не могу сразу придумать название. Нет, пожалуй, правильнее сказать «перистальтика». Обручи боли через равные промежутки времени один за другим поднимались от ног к голове. Ты лучше всего поймешь, что это такое, если представишь себе движение лапок сороконожки. Я действительно считаю, что ревность — это животное чувство, которое может легко толкнуть даже на убийство. Существует два взгляда на ревность: что она является порождением культуры и что она представляет собой первобытный инстинкт, которым обладают и дикие животные. Судя по тому, что случилось тогда со мной, верно, думается, второе.

Но к чему же, наконец, должен был я так ревновать? Причина опять настолько дурацкая, что я просто не решаюсь писать о ней. Я ревновал к маске, к тому, что она будет трогать руками твое тело... К тому, что ты не отбросишь решительно ее руки. Не будешь сопротивляться до конца, даже с риском для жизни. Вот что вызывало мою ревность, и кровь стучала в висках, и перед глазами плыли круги. Смешная история, если подумать. Ведь все твои действия существовали пока лишь в моем воображении, были выдумкой самой маски — следовательно, я сам создал причину для ревности и сам же ревную к следствию.

Если я так отчетливо сознавал все, то должен был бы немедленно прекратить фантазии или приказать маске начать все заново, но... почему-то я не делал этого. И не только не делал, но, будто тоскуя по ревности, наоборот, можно даже сказать, натравливал, подстрекая маску. Нет, тут была, пожалуй, не тоска, а все та же месть. Я попал в какой-то порочный круг — все время подливал масла в огонь, муки ревности заставляли меня толкать маску на насилие, насилие же разжигало еще большую ревность. А если так, то и та самая первая сцена была продиктована моим собственным, скрытым желанием. Значит, существуют, видимо, проблемы, которым я должен смело посмотреть прямо в глаза, не сваливая все только на маску. Хорошо, ну а что, если... предположение не особенно приятно, но... если я еще до того, как лишился лица... еще с тех пор, как вел семейную жизнь, как все люди... сам тайно взращивал ростки ревности, ревновал тебя? Вполне возможно. Грустное открытие. Теперь я спохватился, но уже поздно.

Слишком поздно. Маска, которая должна была стать посредником между нами, оказалась бессовестным типом. Конечно, ничего бы не изменилось, будь она ласковым соблазнителем. Наоборот, появилась бы даже возможность страдать от злокачественной ревности, не находящей выхода. И в результате — одна из многих сцен насилия, так схожих между собой.

Твой страх вылился для меня в чувственные конвульсии, чего я и сам не ожидал... нет, довольно... каким бы это ни было спектаклем, созданным как протест против повседневности, то, что случилось, выходит за рамки допустимого. Если все это сон, то хотелось бы, чтобы он был облачен в изящные одежды аллегорий, а тут фантазии, которым недостает вымысла, фантазии, похожие на невыдуманный рассказ. Довольно банальностей!

Последняя сцена, какой бы банальной она ни была, — я не собираюсь притворяться, что ничего не произошло. Дело в том, что сцена была не просто банальной — она представляла собой апогей мерзости и в то же время стала переломным моментом, определившим мои дальнейшие действия. Направив на тебя пистолет, я стал вырывать у тебя признание: «Знаю, чем здесь без меня занималась! Не скрывай, ничего не выйдет. Знаю, что занималась». С невероятным упорством, медленно, но неотвратимо преследовал я тебя. Уже не было сил терпеть. При-

шло время положить конец этим грязным, диким фантазиям. Как же сделать так, чтобы все было понятно? Самый лучший, единственный способ — я твердо был в этом убежден — сорвать маску в тот самый миг, как ты только откроешь рот, чтобы ответить мне.

Но кому должно быть понятно? Маске? Мне? Или, может быть, тебе?.. Да, об этом, пожалуй, я как следует не подумал. Естественно, что не подумал. Но я хотел, чтобы стало понятно не кому-то из нас, а самой идее «лица», которое загнало меня в такое положение.

Я начал чувствовать невыносимую опустошенность от того, что между мной и маской образовалась такая пропасть. Может быть, я уже предчувствовал надвигающуюся катастрофу? Хотя маска, как видно из самого названия, была всего лишь фальшивым лицом и не должна была оказывать никакого влияния на мою личность, но стоило ей появиться перед твоими глазами, как она улетала так далеко, что до нее уже невозможно было дотянуться рукой, и, окончательно растерявшись, я провожал ее беспомощным взглядом. Так, вопреки моим планам, породившим маску, я вынужден был признать победу лица. Чтобы я слился в одну личность, необходимо было, сорвав маску, прекратить саму комедию масок.

Впрочем, как и следовало ожидать, маска тоже не особенно упрямилась. Как только она убедилась в моей решимости, тут же с горькой усмешкой поджала хвост и прекратила свои фантазии. Я тоже перестал ее преследовать. Сколько бы я ни настраивал себя против фантазий, у меня и в мыслях не было отказаться от своих завтрашних планов, и, значит, мы с маской — соучастники преступления, одного поля ягоды... Нет, было бы неверно назвать нас соучастниками. Не нужно опускаться до такого самоуничижения. Во всяком случае, в завтрашние планы не входило потрясать пистолетом. Сексуальные мотивы были, конечно, но они не могли иметь ничего общего с тем бесстыдством. Показать распутником случайной, абстрактной попутчице в электричке — куда ни шло, но предстать в таком свете перед собственной женой — кому захочется?

Когда я в последний раз проходил мимо дома и сквозь изгородь заглянул в окно столовой, я увидел множество бинтов, свисавших с потолка лентами, точно белая морская капуста. Ожидая, что послезавтра я возвращусь из командировки, ты выстирала старые бинты, которыми

я обматывал лицо. В ту минуту мне показалось, что сердце прорвало диафрагму и провалилось вниз. Я все еще любил тебя. Возможно, вел себя не так, как следует, но любил по-прежнему. И самое трагичное то, что утвердить свою любовь я мог только таким поведением. Я был похож на ребенка, которого не пустили на экскурсию,— ему остается лишь ревновать к историческим местам и древним памятникам.

Постскриптум на отдельных листах, вложенных в тетрадь. Может быть, тебе это покажется скучным, но я хочу еще раз попробовать разобраться в бесстыдных фантазиях маски. Видишь ли, я чувствую, что, если на те события посмотреть сегодняшними глазами, во всех рассуждениях вокруг фантазий таился ускользающий от меня определенный смысл, говоря языком детектива... ключ, который дал бы возможность найти преступника или указание на то, что инцидент исчерпан... все содержалось в них.

Я собираюсь потом рассказать о конце как о конце. Надеюсь, не позже, чем через три дня с того момента, как пишу это сейчас, я покажу тебе свои записки, и названные мной три дня — просто приблизительный подсчет времени, необходимого, чтобы все завершить. Поэтому, если бы моей целью было просто рассказать о конце, я, не делая этих дополнений, ограничился бы тем, что включил это в последнюю часть записок. Чтобы они были стройными, это самое правильное — здесь ничего не возразишь. Но цель у меня совсем другая. Я хотел внести хоть какие-то поправки в понятие «эротичный», которым я собирался все объяснить, а вместо этого оказался с прикованной к ноге гирей... а может быть, поправки к утверждению, что между мной и маской существует большая разница. Поскольку я уже признал свою вину, мне, пожалуй, следует дать возможность оправдаться, если, конечно, я не буду искажать фактов.

В тот день я вывел маску из дому с легким сердцем, будто выпустил погулять любимого ребенка. Меня обуяла игривость собачонки, впервые спущенной с поводка, — охватило веселое, жизнерадостное настроение. Но из-за ревности, неизвестно откуда взявшейся, я и маска должны были схватиться за тебя врукопашную. Эта ревность заставила меня вновь вспомнить о любви и преданности

тебе... Потому-то планы, отложенные на следующий день, настоятельно потребовали немедленного осуществления. И волей-неволей мне пришлось предложить маске временное перемирие.

Разумеется, глубоко внутри у меня засело что-то острое, точно шип. Электричка, шедшая в город, была пустая, и на какое бы место я ни сел, оконные стекла, превратившись в черные зеркала, отражали мою маску. Станный тип — обросший бородой, претенциозно одетый, в темных очках, хотя уже вечер... В конце концов, я поставил ему ультиматум: или он по-хорошему соглашается на перемирие, или я срываю маску. В довершение этот тип спрятал в кармане пистолет. Сколько в нем коварства. Мне даже показалось, что маска, ехидно улыбаясь, сказал: «Хватит брюзжать — я для тебя неизбежное зло. Если ты хочешь отказаться от меня, то лучше бы с самого начала ничего не затевал. А уж взялся — молчи. Хочешь что-то получить — будь готов заплатить за это...»

Приоткрыл окно. Ворвалась тугая, острая, как лезвие, струя ночного воздуха. Она освежала лишь затылок и ладони и вмиг замерла перед «неизбежным злом», даже не коснувшись пылавших щек. Психологически я страдал оттого, что маска не составляет со мной единого целого, но физически мне было неприятно слишком тесное соприкосновение с ней. Мое состояние напоминало состояние человека, которому вставили зубной протез.

Но... я тоже, не уступая, стараюсь оправдать себя... поскольку с грехом пополам соблюдалось соглашение о перемирии, если бы только я отказался от некоторых предубеждений (например, от ревности), мне бы как-нибудь удалось добиться главной своей цели — восстановить тропинку между нами. Ну разве могу я питать к своей жене такой бесстыдный интерес? К тому же мое послушание тебе росло в обратной пропорции тому, что я испытывал к маске, — это было удивительно.

Но верно ли это? Результат тебе известен, так что не буду повторяться... вопрос не только в результате... были ли основания ко мне одному относиться с таким предубеждением?

Интимную близость можно, пожалуй, назвать сексуальной областью абстрактных человеческих отношений. Если ограничиться слишком далекими, абстрактными отношениями, которые даже воображение не в состоянии охватить, другой человек неминуемо превращается в аб-

страктного антипода — врага, а сексуальное противопоставление становится интимной близостью. Например, поскольку существует абстрактная женщина, обязательен, неизбежен эротизм мужчины. Эротизм ни в коем случае не может быть врагом женщины, как обычно думают, наоборот: как раз женщина — враг эротизма. Следовательно, логично, видимо, предположить, что интимная близость не есть извращенная сексуальность, а, напротив, типичная форма нынешней сексуальной жизни.

Как бы то ни было, мы живем в такое время, когда стало невозможно, как прежде, провести четкую, кем угодно различимую границу, отделяющую ближнего от врага. В электричке, теснее, чем любой ближний, тебя вплотную облепляют бесчисленные враги. Существуют враги, проникающие в дом в виде писем, существуют враги, и от них нет спасения, которые, превратившись в радиоволны, просачиваются в каждую клетку организма. В этих условиях вражеское окружение стало обычным — мы привыкли к нему, и существование ближнего так же малоприметно, как иголка, оброненная в пустыне. Тогда-то и родилась спасительная идея: «сделаем чужих людей своими ближними», но можно ли представить себе, что найдется колоссальное хранилище, способное вместить людей, единицей для исчисления которых служит миллиард. Может быть, для успеха в жизни рациональнее отказаться от высоких устремлений, которые тебе не по зубам, и добросердечно примириться с тем, что все окружающие тебя люди — враги. Не спокойнее ли побыстрее выработать иммунитет против одиночества?

И нет никакой гарантии, что человек, отравленный одиночеством, не будет эротичным по отношению к своему ближнему, и уж во всяком случае к жене. Случай со мной — не исключение. Если в действиях маски усматривать определенное абстрагирование человеческих отношений, то, возможно, именно из-за этого самого абстрагирования я и предался тем фантазиям, и мне, стремившемуся найти выход из создавшегося положения, не оставалось ничего другого, как заткнуть рот и помалкивать о себе. Да, сколько бы я ни перечислял совершенных мной благих дел, сам факт, что я придумал подобный план, уже достаточно красноречиво говорил о моих эротических химерах.

Значит, план создания маски явился не результатом моего особого желания, а выражением самой обыкно-

ной потребности абстрагированного современного человека. На первый взгляд казалось, что я потерпел поражение от маски, но на самом деле ничего похожего на поражение не произошло.

Постой! Ведь не только план создания маски не представлял собой ничего особенного! Верно? Сама моя судьба — утрата лица, заставившая обратиться к помощи этой маски, — совсем не является чем-то из ряда вон выходящим — это скорее общая судьба современных людей. Разве не так?.. Небольшое, конечно, открытие. Мое отчаяние объяснялось не столько утратой лица, сколько тем, что моя судьба не имеет ничего общего с судьбами других людей. Я не мог подавить в себе чувство зависти даже к больному раком, потому что он разделяет свою судьбу с другими людьми. Если бы не это... Если бы только яма, в которую я провалился, оказалась не старым колодезем, который забыли закрыть, а тюремной камерой, о существовании которой все люди прекрасно знали! Это тоже не могло не повергнуть меня в отчаяние. Ты должна понять, что я хочу сказать. Испытывающий чувство одинокого отчаяния юноша, у которого начинает ломаться голос, или девушка, у которой начинаются менструации, подвержены соблазну мастурбации и думают, что соблазн этот — необычная болезнь и больны ею только они одни... Или чувство унижительного отчаяния, когда детское маленькое воровство (шарик из мозаики, или кусочек резинки, или огрызок карандаша) — корь, которой каждый должен однажды переболеть, — воспринимается как позорное преступление, совершенное лишь только тобой одним... К несчастью, если подобное заблуждение длится дольше определенного периода, появятся симптомы отравления, и такие люди могут превратиться в настоящих сексуальных преступников или в обыкновенных воров. И сколько бы они ни старались избежать поджидающей их ловушки, стремясь как можно глубже осознать, что совершают преступление, — это не даст никаких результатов. Гораздо более эффективная мера — вырваться из одиночества, узнав, что кто-то совершил точно такое же преступление, что у тебя есть сообщник.

Может быть, чувство близости к незнакомым людям — каждого хотелось обнять, — испытанное мной позже, когда я вышел из дому и напился водки, к которой не привык, и опьянел (об этом случае, чтобы не повторяться, я расскажу потом), может быть, это чувство возникло по-

тому, что я питал хрупкую надежду найти среди них кого-нибудь, кто, как и я, потерял лицо. Это не означает, конечно, что я испытывал нежность к ближнему — просто я разделял абстрактно понятую идею одиночества — все, кто прикасается к тебе, — враги, и потому не следовало ожидать, что окружающие меня люди, точно персонажи, выведенные в романе, от счастья видеть меня будут со щенячьей радостью скакать по серому электрическому одеялу доброжелательности...

Но для меня сейчас было ужасным открытием, что рядом со мной за бетонными стенами, как узники, заключены люди той же судьбы. Если прислушаться, отчетливо доносятся стоны из соседних камер. Когда настает ночь, как мрачные грозовые облака, вскипают бесчисленные вздохи, бормотание, всхлипывания — вся тюрьма наполняется проклятиями: «Не я один, не я один, не я один...»

Днем, если судьба благоприятствует, они распределяют время между утренней физзарядкой и приемом ванны, а когда представляется случай тайком поделиться своей судьбой, они обмениваются взглядами, жестами, перешептываются... «Не я один, не я один, не я один...»

Если сложить все эти голоса, то окажется, что эта тюрьма действительно колоссальная. И вполне естественно. Преступления, в которых обвиняются ее узники: виновен в том, что утеряно лицо, виновен в том, что перерезана тропинка, связывающая с другими людьми, виновен в том, что утеряно понимание горестей и радостей других людей, виновен в том, что утеряны страх и радость обнаружения неизвестного в других людях, виновен в том, что забыт долг творить для других, виновен в том, что утеряна музыка, которую слушали вместе, — все эти преступления выявляют суть современных человеческих отношений, и, значит, весь наш мир — огромная тюрьма. Но все равно в мое положение узника это не внесло никаких изменений. Кроме того, остальные люди утратили свое духовное лицо, а я — и физическое тоже, и поэтому в степени нашей тюремной изоляции существует, естественно, разница. Но все равно я не мог отказаться от надежды. В отличие от погребенного заживо в моем положении было нечто позволявшее питать надежду. Может быть, потому, что ущербность неполноценного человека — без маски он не может петь, не может скрестить

оружие с врагом, не может стать распутником, не может видеть снов — вина не только моя, она стала общей темой введущихся повсеместно разговоров. Я в этом убежден.

Ну, а ты что об этом думаешь? Если я рассуждаю логично, ты тоже не составляешь исключения и, думаю, вынуждена будешь согласиться со мной. Разумеется, согласишься... В противном случае ты не должна была сбрасывать мою руку со своей юбки и загонять меня в положение раненой обезьянки, не должна была молча наблюдать, как я попадаю в ловушку, расставленную маской, не должна была доводить меня до такого отчаяния, что мне не оставалось ничего другого, как написать эти записки. Ты сама доказала, что твое лицо, принадлежащее к энергичному, гармоническому типу, было не чем иным, как маской. Значит, в сущности, мы с тобой не отличаемся друг от друга. Ответственность несую не я один. В результате — эти записки. Я не мог уйти, не рассказав о себе. С этим-то ты наверняка согласишься.

Поэтому прошу тебя — не смейся над моими записками. Писать — не значит просто подставить вместо фактов ряды букв, писать — значит предпринять рискованное путешествие. Я не хожу по одной и той же определенной дороге, как почтальон. Есть и опасность, есть и открытия, есть и удовлетворение. Однажды я почувствовал, что стоит жить хотя бы ради того, чтобы писать, и подумал даже, что хотел бы вот так писать и писать без конца. Но я смог вовремя остановить себя. Мне, кажется, удалось избежать того, чтобы показаться смешным: безобразное чудовище делает подарки недостижимой для него девушке. Предполагаемые три дня я растянул на четыре, а потом на пять, но я это делал не просто для того, чтобы выиграть время. Если бы ты прочла мои записки, восстановление тропинки стало бы, несомненно, нашим общим делом. Думаешь, это простая бравада? Напрасно, я терпеть не могу излишнего оптимизма и не самонадеян до глупости. Но я понимал, что мы друзья, причиняющие друг другу боль, и надеялся поэтому на взаимное сочувствие, особенно ждал — не поддержишь ли ты меня? Ладно, давай без колебаний погасим свет. Когда гасят свет, маскарад кончается. В темноте, когда нет ни лиц, ни масок, я хочу, чтобы мы еще раз как следует удостоверились друг в друге. Я бы хотел поверить в новую мелодию, которая доносится до меня из этой тьмы.



Сойдя с электрички, я сразу же нырнул в пивной бар. Я редко испытывал такое чувство благодарности к запотевшей поверхности кружки с пивом. Может быть, оттого, что маска не давала коже лица дышать, горло пересохло. Не отрываясь, точно насос, проглотил пол-литра.

Алкоголь, которого я давно не употреблял, подействовал быстрее, чем обычно.

Цвет маски, конечно, не изменился. Вместо этого пивки закопошились, стали зудеть. Не обращая на это внимания, я выпил одну за другой вторую, третью кружку, и зуд стал утихать. Поддавшись настроению, я добавил еще бутылочку сакэ.

И тогда раздражение, которое я испытывал раньше, неожиданно исчезло, его заменила необычная чванливость, агрессивность. Маска, казалось, тоже начала пьянеть.

Лица, лица, лица, лица... Вытер глаза, влажные от слез, а не от пота, и сквозь табачный дым и шум стал демонстративно, со злобой рассматривать бесчисленные лица, битком набившие зал... Ну, что хочешь сказать? Говори!.. Не будешь говорить?.. Нечего сказать. Да одно то, что ты несешь вздор, запивая его водкой, доказывает, что ты с почтением относишься к маске, что она нужна тебе позарез... Ругая своих начальников, хвастаясь, какой важный человек знакомый знакомого твоего знакомого, ты распалялся изо всех сил, стараясь стать иным, не таким, как твое настоящее лицо... Все равно бездарный способ опьянения... Настоящее лицо никогда бы не могло напиться, как напилась маска... Если же говорить, что настоящее лицо напилось, то, значит, просто оно стало пьяным настоящим лицом... Напейся оно до бесчувствия — будет лишь очень похоже на маску, но никогда не превратится в маску... Пожелай я стереть свое имя, работу, семью и даже гражданство — достаточно принять смертельную дозу яда... С маской же все иначе... Способ опьянения у нее гениальный... Не прибегая ни к капле алкоголя, она может стать совершенно ни на кого не похожим человеком... Вот как я сейчас! Я? Нет, это маска... Забыв о только что заключенном соглашении

о перемирии, маска снова позволяет себе черт знает что... Но я и сам напился вроде не хуже маски, и мне совсем не хотелось так уж ругать ее. Смогу ли я в таком случае взять на себя ответственность за завтрашний план?.. В голосе, спрашивающем это, не было настойчивости, и я не посчитался с давним требованием маски предоставить ей автономию.

Маска становилась все толще и толще. В конце концов она превратилась в крепость, окружившую меня бетоном, и, закованный в эти бетонные доспехи, я выбрался на ночную улицу, чувствуя себя как тяжело экипированный охотник. Сквозь амбразуры этой крепости улицы виделись мне прибежищем бездомных кошек-уродов. Они бродили, собираясь в стаи, недоверчиво принюхивались, пытались отыскать свои оторванные хвосты, уши, лапы. Я спрятался за маску, не имевшую ни имени, ни общественного положения, ни возраста, и почувствовал себя победителем, опьяненный безопасностью, которую сам себе гарантировал. Если свобода окружавших меня людей была свободой матового стекла, то моя — свобода абсолютно прозрачного стекла. Мгновенно вскипело желание: непреодолимо захотелось тут же воспользоваться этой свободой... Да, видимо, цель существования — трата свободы. Человек часто поступает так, будто цель жизни — накопить свободу, но не есть ли это иллюзия, проистекающая от хронического недостатка свободы? Как раз потому, что люди ставят перед собой такую цель, они начинают рассуждать о конце Вселенной, и одно из двух: либо превращаются в скряг, либо становятся религиозными фанатиками... Это верно, даже завтрашний план сам по себе не может быть целью. Соблазнив тебя, я хочу тем самым расширить сферу действия моего паспорта, и, следовательно, план нужно рассматривать как некое средство. Во всяком случае, важно, что я предприму с е й ч а с. Сейчас нужно, не жалея, использовать все возможности маски.

Постскриптум. Все это, конечно, софизмы, пропитанные алкоголем. Я только что поверил тебе свою любовь, и, пока слова эти еще звучат, я не хочу требовать от тебя, чтобы ты согласилась с моими нахальными доводами, бесстыдно оправдывающими нашу тайную связь. Я и сам не должен соглашаться с ними. И поскольку не должен, то подготовил прощальное обращение к маске. Но вот что меня немного беспокоит: я не могу отделаться от мысли, что

даже в трезвом состоянии оперировал теми же доводами, считая их совершенно естественными...

«Цель — не результат исследования; процесс исследования — вот что есть цель»... Да, эти слова как нечто само собой разумеющееся скажет любой исследователь... Хотя на первый взгляд может показаться, что они никак не связаны с моими утверждениями, но, если вдуматься, они говорят о том же. Процесс исследования в конечном счете не что иное, как трата свободы на нечто материальное. В противовес этому результат исследования, выраженный в ценностях, способствует накоплению свободы. Под этими словами подразумевается, видимо, предостережение от тенденции смешивать цель и средство, придавать слишком большое значение результату. Я считал, что это самая что ни на есть трезвая логика, но, если сопоставить все, не покажутся ли мои построения теми же самыми софизмами подвыпившей маски? Многого меня не удовлетворяло. Может быть, стремясь отказаться от маски, я на самом деле просто не знал, как с ней справиться? Или, может быть, свобода подобна сильнодействующему лекарству: в малых дозах — лечит, если же дозу увеличить — вредит. А каково твое мнение? Если я во что бы то ни стало должен подчиниться требованиям маски, тогда моя теория, что маска — тюрьма, о чем я так трудно и долго писал, да что там теория, все мои записки — плод ошибочных представлений. У меня даже в мыслях нет, что ты согласишься с моими рассуждениями, призванными оправдать нашу тайную связь.



Итак, на что употребить эту чрезмерную свободу?.. Если бы кто-нибудь спокойно понаблюдал за моим алчным взглядом, то, я думаю, сурово нахмурился бы. Но спасибо, маска была ни кем и поэтому, как бы о ней ни думали, относилась к этому безболезненно. Как уютно это чувство освобождения, которого не нужно стыдиться, в котором не нужно оправдываться. Освобождение от совести с головой погрузило меня в кипевшую пеной музыку.

Заметки на полях. Да, нужно специально написать о том, как я воспринимал эту музыку. Неоновая реклама, иллюминация, зарево огней в ночном небе, то вырастающие, то уменьшающиеся женские ножки в чулках, запущенный сад, труп кошки в помойной яме, замусоленные окурки и так далее, и так далее, всего не перечислишь — каждый из этих образов превратился в определенную ноту, зазвучал, создал музыку. Из-за одной этой музыки я хотел верить, что реально существует время, наступление которого я предвкушал...

Постскрипtum. Приведенные «заметки на полях», разумеется, предшествуют по времени предыдущему «постскриптуму» и писались, как ты понимаешь, сразу же после основного текста. Мне сейчас трудно вспомнить, где звучала эта музыка. Но не хватает решимости вычеркнуть эти заметки, вот я и оставил их.

Хотя алиби маски было полным, а обещанная ею свобода — неисчерпаемой, довольствоваться свободой, нужной лишь для того, чтобы удовлетворять свои желания, как это бывает с человеком, не имевшим ни гроша и вдруг получившим кучу денег и не знающим, что с ними делать, — это ли не отвратительно? Ты совсем недавно убедилась в этом. Опьянение от алкоголя усилилось опьянением от чувства свободы, все мое тело покрылось буграми желаний, я стал похож на старое дерево в наростах. В довершение оказавшуюся у меня в руках свободу, за которую я заплатил годами жизни, положением, работой, можно было сравнить с моей прежней свободой, как сочившееся кровью сырое мясо с невыразительным словом «мясо». Только смотреть и молчать — ничего мне это не даст. Моя маска не удовлетворилась этим — она широко, будто это пасть морского черта, распахнулась и стала хищно поджидать добычу.

Но, к сожалению, я не знал, на какую добычу стоило бы тратить свободу. Может быть, слишком уж долго меня приучали и приучили наконец экономить свободу. Желания мои были мизерными, но все равно я оказался покрыт ими, точно гнойниками, и я, как это ни смешно, должен был с помощью логических выкладок заниматься калькуляцией своих желаний.

Я не мог похвастать особенно необычными желаниями. Во всяком случае, алиби гарантировано, и мне было

абсолютно безразлично, какими бы бессовестными или порочными они ни были. Или, может быть, лучше сказать так: поскольку я вкусил чувство освобождения от настоящего лица, мне захотелось поступать вопреки здравому смыслу, нарушать закон. И тогда к моим услугам как по заказу оказались — возможно, стимулом послужил духовой пистолет — поступки, к которым прибегают лишь бандиты: шантаж, вымогательство, грабеж. Конечно, если бы я хоть их мог осуществить успешно, для меня это было бы большой победой. Будь вскрыта истинная сущность моих поступков, их таинственность, несомненно, явилась бы первоклассной газетной сенсацией. Того, кто серьезно хочет попробовать, насильно удерживать не собираюсь. Думаю, было бы полезно объяснить людям без масок или, лучше сказать, с псевдомасками истинную сущность абстрактных человеческих отношений — во всяком случае, я бы хоть отомстил за своих пиявок.

Я далек от того, чтобы лицемерить, но почему-то к такого рода порокам у меня не лежит душа. Причина чрезвычайно проста. Во-первых, у меня не было особой необходимости превратиться в настоящую маску — забинтованное лицо вполне меня устраивало. Другая причина: то же вымогательство, тот же шантаж представляли собой не столько цель, сколько средство добычи денег, чтобы заплатить за свободу. К тому же 80 тысяч иен, оставшиеся от командировки, приятно согревали карман. На сегодняшний вечер и завтрашний день хватит. Это немного, но о том, как добыть денег, подумаю, когда они мне понадобятся.

Но что же, наконец, представляет собой цель в чистом виде, без примеси средства? Интересно, что почти все нарушающие закон поступки, какие только я мог припомнить, были связаны с незаконной передачей права собственности, то есть с деньгами. Приведу пример — азартные игры, которые называют сравнительно чистой концентрацией страсти... спросить психолога — он назовет это жаждой избавления, жаждой заменить хроническое напряжение мгновенной его разрядкой... но если это действительно так, то совершенно безразлично, назвать ли это тратой свободы или избавлением... если же из этого мгновенного напряжения исключить прилив и отлив денег, не станет ли оно пресным? Сам факт, что одна азартная игра создает предпосылки для другой и цель их, будь это возможно, продляется до бесконечности и в

конец концов превращается в привычку, доказывает, что азартная игра представляет собой амплитуду колебания между целью и средством. Такие типичные преступления, как мошенничество, воровство, грабеж, подлог, немислимы, если в них не содержится средство. Даже люди, на первый взгляд игнорирующие закон и поступающие как им заблагорассудится, на самом деле живут в несвободном мире, полном несовершенства. Не иллюзорна ли цель в чистом виде?

Были у меня и желания, продиктованные другими стремлениями. Например, пригрозив институтской охране унести из сейфов интересующие меня материалы или, выломав запертую на ключ дверь административного отдела, украсть таблицы произведенных опытов и документы финансовых ревизий — практические желания, столь характерные для меня. Это были, конечно, смехотворные фантазии, подходящие скорее для детского многосерийного телевизионного фильма и абсолютно бесполезные, если представить себе такой стимул, как недовольство компанией, предоставившей институту лишь номинальную независимость. Но все равно они оставались средством, да к тому же вряд ли могли сыграть роль, которую я отводил маске. Вот если я добьюсь, чтобы маска в совершенстве владела тем, что доступно только ей, и приспособлюсь к этой жизни...

Заметки на полях. Ясно, конечно, если не возникнут особые препятствия, я должен буду вечно вести двойную жизнь: в маске и со своим настоящим лицом. Тогда, может быть, стоило бы еще раз призадуматься...

Среди многочисленных преступлений есть всего лишь одно, таящее в себе исключительные возможности. Это поджог. В поджогах, естественно, тоже есть элементы, явно представляющие собой средство накопления свободы: получение страховки, уничтожение улики после воровства, честолюбивые замыслы пожарника. А разве почти все иные поджоги, возникающие не из-за такой расчетливой злонамеренности, не вызваны в конце концов стремлением вернуть замороженную или отнятую свободу? Но есть поджоги, в чистом виде не представляющие никакой ценности, служащие всего лишь удовлетворению непосредственной прихоти... когда бушующее пламя лижет стены, обвивает столбы, прорывает потолок и вдруг взмывает к облакам и, глядя презрительно на стадо мечущих-

ся людей, превращает в пепел кусок истории, только что несомненно существовавшей,— поджоги без всяких примесей, когда трагические разрушения утоляют духовный голод... По-видимому, подобные случаи тоже могут иметь место. Я, конечно, не думаю, что поджог — нормальное желание. В народе таких людей называют поджигателями — демонами поджога, значит, понимают, что их действия выходят за рамки общепринятых. Но, поскольку маска была маской, никак не связанной с общепринятым, то, если гарантировалась трата свободы, вопрос о нормальности или ненормальности не стоял.

...Тем не менее у меня самого не было никакой потребности заниматься поджогами, так для чего же мне все эти рассуждения? Бродя по укромным переулкам, едва не касаясь плечом соблазнительных вывесок, я пытался вообразить сцены, будто из-под этого навеса или из той щели в стене вдруг вырывается пламя, но это несколько не волновало меня. Думаю, меня это не особенно пугало. Попробовала бы ты хоть раз надеть маску — сразу бы все поняла. Стремление подавить действия, не достойные человека, как это ни удивительно, представляется ничтожным, на него нельзя полагаться. Так трусливый ребенок, прикрыв ладонями лицо, спокойно смотрит между пальцами фильм, в котором орудуют чудовища. Чем сильнее накрашена женщина, тем легче ее соблазнить. Речь идет не только о сексуальном соблазне, статистикой совершенно точно это подтверждается и в отношении профессиональных воров. Ах, порядок, ах, обычаи, закон! — сколько шума вокруг, а ведь в конце концов это готовая рассыпаться песчаная крепость, удерживаемая тонким слоем кожи — настоящим лицом.

...Да так оно и было — меня это не пугало. Сейчас бессмысленно отрицать, что у меня отсутствует совесть — кому это нужно. Ведь сама маска — плод моего бесстыдства. Нет действия, хотя законом оно и не запрещено, игнорирующего договоренность между людьми больше, чем надеть на себя маску, которую не заставили осознать, что она маска. Я могу представить себе психологию поджигателя, правда, сам я не поджигатель. Однако меня немного беспокоило, что с таким трудом обнаруженная единственная цель в чистом виде оказалась, к сожалению, не тем, на что я рассчитывал. Ничего не поделаешь — ведь другого подходящего плана у меня не было, это уж точно. Во всяком случае, лучше такой план, чем

никакого. Но все же я не думаю, что все эти желания, покрывшие меня, точно гнойники, можно классифицировать как средство достижения цели. Сколько бы я ни повторял, что меня слишком уж приучили экономить свободу — и в этом причина всех бед, — все это меня весьма печалило. Так или иначе, поджог я оставлю на будущее...

Постой-ка, написал это и обратил внимание, что пропустил очень важный момент, не знаю, умышленно или случайно. Если уж я говорил о незаконных действиях, то, конечно, должен был с самого начала упомянуть еще об одном демоне — о бандите, демоне большой дороги. Если поджигателю разрешают присоединиться к тем, кто имеет цель в чистом виде, то, думаю, не будет ничего плохого в том, чтобы включить в эту компанию и бандита. Не должно быть ничего плохого. Ведь то, что он делает, не имеет того внешнего эффекта, как действия поджигателя, но стоит заглянуть поглубже — не может быть разрушительного действия ужаснее, чем убийство... Все равно, мог ли я забыть об убийстве — примере столь ярком? Нет, наоборот, может быть, именно потому, что пример был столь яркий, я постарался о нем забыть. Уж не потому ли, что я не расположен к поджогам и с самого начала отступился, выбросил из головы действия, требующие гораздо более разрушительных побуждений, — для меня даже вопроса такого не существовало.

Экстравертный агрессивный тип... Моя маска, считающая себя охотником, услышав «разрушительные побуждения», подалась вперед. Мне претит рассказывать об этом, но было именно так — ничего не поделаешь. Может быть, я и повторяюсь, но совсем не из трусости. Я отрицаю трусость совсем не потому, что считаю отрицание трусости обязательным. По правде говоря, мне неприятно даже само употребление этих «демон поджога», «демон большой дороги» из-за одного того, что в них входит слово «демон». Нечто подобное тысячевольтному электрическому току, возбуждавшее в то время маску, не имело ничего общего с разрушительным инстинктом... напоминало что-то вязкое и прилипчивое, никак не могу подобрать подходящее выражение, но, в общем, прямо противоположное разрушению.

Пожалуй, было бы преувеличением утверждать, что во мне полностью отсутствовали разрушительные инстинкты. Я хотел содрать с твоего лица кожу, чтобы ты испытала те же страдания, что и я, я мечтал рассеять в

воздухе ядовитый газ, парализующий зрительные нервы, чтобы сделать слепыми всех людей на свете,— вот какие побуждения охватывали меня не раз и не два. Действительно, в этих записках я, помнится, не однажды злобствовал так. Но еще более неожиданным, если подумать, представляется то, что такое желание выместить на ком-то свою злобу владело мной еще до появления маски, а когда маска была готова, то я все же не мог не почувствовать, что кое-что изменилось, хотя протест и продолжал существовать. В самом деле, видимо, что-то изменилось. И именно потому, что изменилось, маска захотела потратить свою свободу совсем на другое. Не на нечто негативное — произвести разрушения и заставить маску расхлебывать последствия преступления... постой, что же, наконец, я хочу сказать?.. Желая ли я такой классической гармонии, как любовь, как дружба, как взаимопонимание? Или, может быть, хочу поесть сладковатой, липкой, приятно-теплой «воздушной ваты», которую по праздникам продают на улицах?

В гневе, как ребенок, который не может получить то, что он хочет, я зашел в первое попавшееся кафе и стал лить на твердый, как кулак, ком желаний, поднявшийся из глубины горла, холодную воду вперемешку с мороженым. Хотел что-то сделать, но не знал что... если так будет продолжаться, то я либо откажусь от всего, либо через силу буду делать то, чего не хочу. Когда ничего не делаешь, подкрадывается раскаяние... отвратительное ощущение, точно промочил ноги... лицо под маской горело, как в парной бане, кажется, из носа пошла кровь. Нужно по-настоящему что-то предпринять... я прекрасно понимаю весь комизм своего положения: сам превратился в аналитика своего психического состояния и должен классифицировать свои желания, анализировать их, просеивать, определять истинную сущность комка этих желаний и давать ему название.



Если нужно, мне все равно — могу начать с вывода, к которому я пришел. Это было половое влечение. Смешься, наверно? Вывод в самом деле, какими бы красивыми оговорками он ни сопровождался, достаточно ба-

нален. Но я многое понимал, и мне он не представлялся таким уж неожиданным. Только вот банальность была на уровне введения в алгебру и принималась без доказательств — с этим уж я никак не мог согласиться. Самолюбие может, как это ни странно, спокойно соседствовать с бесстыдством.

Итак, третья тетрадь тоже подходит к концу. Ничего не поделаешь, придется ограничиться ходом эксперимента, предпринятого маской. Но хоть это и покажется скучным, лучше всего, я думаю, рассказать лишь о тех доводах, согласно которым трата свободы в чистом виде была фактически половым влечением. Трата свободы, какой бы чистой она ни была, сама по себе не создает ценностей. (Если говорить о ценностях — это скорее производство свободы.) Я не собираюсь утверждать, что мое логическое построение безупречно, но на следующий день все мои действия направлялись этим половым влечением, и поскольку я надеюсь на твой справедливый суд, то, думаю, должен быть честен с самим собой.

Если только не быть намеренно злобным, то не так уж трудно понять, почему маска отвернулась от поджогов и от убийств, понять ее состояние. Прежде всего маска как таковая представляла собой разрушение существующих в мире обычаев. Простой здравый смысл не поможет ответить на вопрос: сколь большим разрушением является поджог или убийство. Чтобы это стало ясным, лучше всего вообразить, что произойдет с общественным мнением, если начнется массовое производство масок, так же искусно выполненных, как и та, которую я ношу, и широкое их распространение. Маски, несомненно, приобретут потрясающую популярность, мой завод не угонится за спросом, даже если будет работать круглосуточно, все расширяя производство. Некоторые люди неожиданно исчезнут. Другие расщепятся на двух, на трех. Удостоверения личности станут бесполезными, опознавательные фотографии в нескольких ракурсах потеряют всякий смысл, фотографии, которыми обмениваются жених и невеста, можно будет порвать и выбросить. Знакомые и незнакомые перепутаются, сама идея алиби будет уничтожена. Нельзя будет верить другим, не будет оснований и не доверять другим, придется жить в состоянии невесомости, в новом измерении человеческих отношений, будто смотришься в ничего не отражающее зеркало.

Нет, нужно, наверно, быть готовым к еще худшему. Все начнут менять одну маску за другой, пытаясь бежать от страха быть невидимым, из-за того, что стал еще прозрачнее, чем невидимый другой человек. И когда привычка беспрерывно гнаться за все новыми и новыми масками станет обыденной, такое слово, как «индивидуум», окажется настолько непристойным, что его можно будет увидеть лишь на стенах общественных уборных, а сосуды в которые заключены индивидуумы, их упаковка — «семья», «народ», «права», «обязанности» — превратятся в мертвые слова, непонятные без подробного комментария.

Сможет ли в конце концов человечество выдержать такую резкую смену измерений и, пребывая в состоянии невесомости, найти приемлемые новые взаимоотношения, создать новые обычаи? Я, конечно, не собираюсь утверждать, что не сможет. Исключительная приспособляемость людей, их колоссальная способность к перевоплощению уже доказана историей, наполненной войнами и революциями. Но до этого... до того, как маске будет разрешено такое безудержное распространение... окажутся ли люди достаточно снисходительными, чтобы не прибегнуть к инстинкту самозащиты — к созданию отрядов по борьбе с эпидемией, — вот в чем вопрос, как мне кажется. Какой бы привлекательной ни была маска, представляя собой потребность индивидуума, существующие в обществе обычаи воздвигнут на ее пути неприступные баррикады и продемонстрируют решимость к сопротивлению. Например, в учреждениях, в фирмах, в полиции, в научно-исследовательских институтах при исполнении служебных обязанностей использование маски будет запрещено. Можно также предположить, что еще более активно будут требовать сохранения авторского права на лицо, развернут движение против свободного изготовления масок популярные актеры. Возьмем более близкий нам пример: муж и жена вместо того, чтобы поклясться в вечной любви, должны будут обещать друг другу не иметь тайных масок. При торговых сделках может родиться новый обряд: перед началом переговоров ощупывать друг другу лицо. На собеседованиях при приеме на работу можно будет наблюдать странный обычай: вонзить в лицо иголку и демонстрировать выступившую кровь. Ну, а потом вполне можно представить себе и такой случай: в суде будет рассматриваться вопрос, законно ли поступил полицейский или превысил власть, до-

тронувшись во время следствия до лица допрашиваемого, а ученый опубликует по этому поводу обширную статью.

И вот уже в газете под рубрикой «Беседы о вашей судьбе» изо дня в день публикуются слезливые письма девиц, которые вышли замуж, обманутые маской. (О своих масках они не упомянут.) Но и ответы будут все как один маловразумительные и ни чему не обязывающие: «Достойна всяческого порицания неискренность, выразившаяся в том, что в период помолвки он ни разу не показал своего настоящего лица. Но в то же время из ваших слов видно, что вы еще не полностью освободились от взгляда на жизнь с позиций настоящего лица. Маска не может обмануть и не может быть обманутой. А что, если вам надеть сейчас новую маску, превратиться в другого человека и начать новую жизнь? Не цепляясь за вчерашний день и не задумываясь о завтрашнем — только так вы добьетесь успеха в жизни в наш век масок...» В конце концов, сколько бы ни было таких обманов, сколько бы ни было разговоров о них, в какую бы проблему они ни вылились — все это никогда не перевесит удовольствия обманывать. На этом этапе, хоть он и будет чреват противоречиями, привлекательность маски останется непоколебимой.

Но возникнут, конечно, и кое-какие отрицательные явления. Популярность детективных романов постепенно сойдет на нет; семейный роман, описывающий двойственность, тройственность человеческого характера, и тот в какой-то момент начнет приходить в упадок, а уж если количество купленных впрок разных масок превысит пять штук на человека, запутанность сюжета превзойдет предел терпения читателей; не исключено, что роман вообще потеряет право на существование, разве что будет удовлетворять потребности любителей исторических романов. Дело не ограничится романами: фильмы и пьесы, по замыслу представляющие собой демонстрацию масок, лишившись возможности создать определенный образ главного героя, превратятся в некий абстрактный код и не смогут привлечь интереса публики. Большая часть фабрикантов косметики разорится, один за другим закроются косметические кабинеты, неизбежно сократятся больше чем на двадцать процентов доходы рекламных агентств. Все писательские ассоциации поднимут вопль — маска разрушает лич-

ность; косметологи и дерматологи будут, несомненно, с превеликим упорством доказывать, что маска вредно влияет на кожу.

Весьма сомнительно, конечно, что подобные вещи смогут иметь больший эффект, чем брошюры общества трезвости. Ведь акционерное общество по производству масок превратится к тому времени в огромный монополистический концерн, имеющий по всей стране сеть пунктов по приему заказов, производственные предприятия, магазины, и заткнуть рот горстке недовольных ему будет легче, чем спеленать младенца.

Но главные проблемы возникнут позже. Маска получит такое распространение, что все пресытятся, период, когда она была чем-то любопытным и необычным, закончится — маска станет обыденным явлением. И когда тонкий аромат преступления и порока, казавшийся пряной приправой, помогающей еще острее ощутить вкус освобождения от беспокойных человеческих отношений, превратится в одуряющий запах переквашенных соевых бобов, наступит период, когда всех снова охватит тревога... когда начнут замечать, что эти шалости с переодеванием, которым предавались так весело, совсем не шалости, а нечто схожее с преступлением, которым можно причинить вред себе самому... Ну, например, появятся, видимо, беспатентные изготовители масок, которые будут специализироваться на подделке чужих лиц, и возникнут довольно смешные инциденты: член парламента начнет заниматься мошенничеством с долговыми обязательствами, известный художник будет уличен как закоренелый брачный аферист, мэр города — арестован по подозрению в угоне автомашин, лидер социалистической партии выступит с фашистской речью, директора банка привлекут к ответственности за ограбление банка. И люди, со смехом смотревшие на все это, как на веселое цирковое представление, неожиданно спохватятся, с ужасом увидят, что у них на глазах другие люди, не отличимые от них, шарят в чужих карманах, воруют в магазинах... со всем этим придется столкнуться. И тогда не исключено, что с большим трудом добытое алиби, вместо того чтобы противостоять доказательству вины, будет даже исключено как свидетельство невинности, его даже начнут ощущать как обузу. Удовольствие от обмана померкнет перед страхом быть обманутым. Потом, когда появится желание смягчить горечь раскаяния,

поплывут слухи о том, что, возможно, из-за того, что цель образования исчезла — совершенно естественно, поскольку утеряна идея личности, которую необходимо формировать, — посещаемость школ резко сократится, начнется массовое бродяжничество, и выяснится, что большинство бродяг — родители этих школьников, и тогда вдруг вспыхнут волнения и паника, и все будут проклинать маску-соблазнительницу. Тут же флюгероподобные авторы редакционных статей начнут, наверно, предлагать учреждение системы регистрации масок, но, к сожалению, маску и систему регистрации абсолютно невозможно совместить, так же, например, как бессмысленна тюрьма, не имеющая запоров. Зарегистрированная маска уже не может быть маской. Общественное мнение коренным образом изменится, люди выбросят маски и потребуют от правительства отмены масок. Это движение примет редко наблюдаемую в истории форму союза народа и полиции, и в мгновение ока возникнет закон о запрещении масок.

Но правительство, как всегда, побойтся крайностей. Вначале, хотя оно и заявит о контроле, ношение маски будет рассматриваться в лучшем случае как мелкое преступление. Подобная нерешительность, наоборот, подстегнет любопытство некоторых людей и приведет к бурному росту подпольных фабрик и черного рынка — наступят времена хаоса, напоминающие период сухого закона в Америке. И тогда, хотя уже и слишком поздно, станет неизбежным пересмотр закона. Использование масок будет регламентироваться так же строго, как употребление наркотиков: соответствующие власти будут выдавать разрешение только в случае, если установят явно выраженные травмы лица или если врачи пропишут маску для лечения серьезных нервных расстройств. Но и после этого подделка лицензий и жульничество производителей масок не прекратятся, и очень скоро содержащиеся в законе оговорки будут отменены, назначены даже особые инспекторы масок, и маски превратятся в объект строжайшего контроля. И все равно число преступлений с помощью масок ничуть не уменьшится, и они не только останутся все тем же сенсационным украшением газетных полос, посвященных социальным вопросам, — дойдет до того, что появятся правые организации, члены которых как форму наденут совершенно одинаковые маски и будут устраивать бесчинства, совер-

шая нападения на членов правительства. Суды вынуждены будут признать, что пользование маской, даже сам факт ее хранения приравнивается к преднамеренному убийству, и общественное мнение, не колеблясь, поддержит их.

Постскриптум. Хотя и пьяные фантазии, но фантазии очень интересные. Допустим, что существует организация, состоящая из ста членов. Значит, каждый из них будет иметь один процент подозрений и девяносто девять процентов алиби, и в результате обязательное оправдание: хотя акт насилия совершен, виновного нет. Почему же на первый взгляд кажущееся столь интеллектуальным преступление будет восприниматься как зверски жестокое? Думаю, что из-за абсолютной анонимности этого преступления. Абсолютная анонимность означает принесение в жертву своего имени абсолютной группе. Не есть ли это больше чем интеллектуальная махинация в целях самозащиты — инстинктивное стремление индивидуума, столкнувшегося лицом к лицу со смертью? Точно так же, как при нападении врага самые различные группы — национальные, государственные, профсоюзные, классовые, расовые, религиозные — пытаются прежде всего воздвигнуть алтарь, именуемый верностью. Индивидуум всегда жертва в единоборстве со смертью, а для абсолютной группы смерть всего лишь атрибут. Абсолютная группа сама по себе имеет агрессивный характер. Это легко понять, если в качестве примера абсолютной организации назвать армию, а как пример абсолютной анонимности — солдата. Но если так, то в моих фантазиях содержалось некоторое противоречие. Почему хотят, чтобы суд, который не может рассматривать военную форму как таковую равносильной преднамеренному убийству, занял столь суровую позицию по отношению к правым группам, члены которых носят одинаковые маски? Разве государство считает маску злом, противоречащим порядку? Совсем нет, как это ни парадоксально, само государство — некая огромная маска, и оно противится тому, чтобы внутри него существовало множество отдельных масок. Следовательно, самое безвредное существо на свете — анархист...

Вот почему, если преодолеть лабиринт любопыт-

ства, станет ясно, что уже само существование маски разрушительно. И поскольку использование маски приравнивается к преднамеренному убийству, в один ряд могут быть смело поставлены ничуть не уступающие ему поджог и бандитизм. Неудивительно, что у маски, олицетворяющей собой разрушение — хотя фактически она сама брела среди развалин человеческих отношений, разрушенных ее существованием, — у маски не лежала душа к подобным разрушениям. Сколько бы бугров желаний ни вспухало, одного ее существования достаточно, чтобы произвести разрушение.



По-детски эгоистичные желания маски, которой от роду нет и сорока часов... желания изголодавшегося беглеца, только что вырвавшегося из тюрьмы на волю сквозь скопища пиявок... какую же свободу может иметь эта ненасытная прорва со свежими следами наручников?..

Нет, честно говоря, нельзя утверждать, что ответа вовсе не было. Желания — это не то, что понимают путем рассуждений, их надо чувствовать. Попробую объяснить проще. Это то самое конвульсивное побуждение — желание стать жертвой расовых предубеждений. Я ясно осознал это в ту минуту, как вышел на улицу. Какая же необходимость была у меня до сих пор вилять, точно оправдываясь? Может быть, рассчитывал, виляя, спастись от стыда? Нет, я, видимо, действительно громоздил одно оправдание на другое, но можно с уверенностью утверждать, что руководил мной совсем не стыд. Руководствовался я лишь одним желанием, на котором, хотел я того или нет, во что бы то ни стало должен был построить наши отношения.

Отношения с тобой были такими, какими они представлялись в самых бесстыдных фантазиях маски. Чего бы я ни захотел почувствовать, пожелать, испытать — все было связано с теми фантазиями, и яд ревности, только-только переставший отравлять меня, снова, набрав силу, двинулся по моим жилам навстречу потоку крови. Ничего удивительного, что это заставляло задуматься над завтрашним планом. Даже маска не могла

не почувствовать себя скованно, неуютно. Как бы то ни было, свобода маски, хотя она и заключалась главным образом в абстрактных отношениях с другими людьми, была все равно что птица с оторванными крыльями. Маска, которую чуть было не выбросили, сохраняя перемирие, способна была лишь на невнятное бормотание.

Тогда маска стала успокаивать меня — если я буду без конца нервничать, то не только маска, но и сам я превращусь в средство. Пусть лицо у меня — маска, но ведь тело-то по-прежнему мое собственное. Можно закрыть глаза и представить себе, что во всем мире исчез свет... тогда мгновенно маска и я превращаемся в одно целое и нигде нет того, к кому я должен ревновать... если тебя касаюсь я сам, значит, тот, кого касаешься ты, тоже я сам и нужно отбросить всякие колебания...

Заметки на полях. Стоит вдуматься, и доводы покажутся подобранными произвольно. Поскольку я идентичен самому себе, а для другого — абсолютно чужой, значит, я наполовину чужой. Правда? Мы — желтая раса, но мы не были желтой расой от природы. Впервые мы превратились в желтую расу благодаря тому, что были названы так расой с другим цветом кожи. Игнорировать условность лица и сделать всю остальную часть тела главной в определении личности равносильно обману. Если я собираюсь упорно отстаивать отождествление, отвлекаясь от лица, тогда мне придется без всякого снисхождения взять на себя ответственность за эротические действия маски. Пусть лишь мысленно, но все равно я бессовестно упрекал тебя в измене, и яд ревности бурлил во мне, а как только дело коснулось меня, я стал беспечно разглагольствовать о трате свободы в чистом виде, совсем не думая, что это может ранить тебя. В конце концов, не напоминает ли ревность избалованную кошку, которая, настаивая на своих правах, не признает обязанностей?..

Таким образом, маска, с одной стороны, ругала меня, а с другой — с придурковатым видом, вроде не испытывая никаких чувств, просеивала сквозь самые разные сита все мои желания, стремясь таким путем убедить меня, что оставшиеся не стоят того, чтобы хотеть их. Правда, разновидностей желаний в полном смысле этого слова

удивительно мало, и они невероятно просты, и если исключить жажду разрушения, то их можно буквально пересчитать по пальцам. Назову пришедшие на память.

Прежде всего, три основных желания: голод, половое влечение, сон. Затем общие желания: естественные отправления, жажда избавления, наживы, развлечения. Далее специфические: желание совершить самоубийство, потребность отравлять себя — вино, табак, наркотики. Наконец, если толковать желания в широком смысле, может быть, правильно включить в их число жажду славы, потребность работать.

Но большая часть этих желаний просеется сквозь первое сито, именуемое «тратой свободы». В самом деле, как бы ни хотелось спать, сон сам по себе не может быть целью. Он — всего лишь средство пробуждения. В общем, с какой стороны ни подойти, сон следует причислить к накоплению свободы. По той же причине естественные отправления, жажду наживы, избавления, славы, труда тоже, пожалуй, лучше здесь не рассматривать. ...Вот только не избежать, наверно, критики за то, что последнее из названных мной желаний — труд — легкомысленно рассматривается как средство в одном ряду с естественными отправлениями. Представим себе, что рождается в результате труда, — труд в самом деле следует сделать господствующим среди желаний. Если бы не было создана вещь, не было бы, очевидно, и истории, не было бы, очевидно, и мира, не появилось бы, несомненно, и такое понятие, как человек. Кроме того, если рассматривать труд как самоотрицание, то есть если труд служит преодолению труда, то одно это позволяет считать его целью. И даже в том случае, когда труд становится самоцелью, это не вызывает неприятного, отталкивающего впечатления, как жажда наживы или славы. И даже в этом случае люди, сочувственно кивая говорят: «Он здорово работает». Можно не опасаться, что его будут корить, порицать. Что ни говори, а люди ведь придумали такие выражения, как «денежная работа», «выгодная работа», «высоко ценимая работа»...

Жаль только, что такое благодное состояние было нетерпимым для маски. Если в какой бы то ни было форме не нарушаются запреты, использование маски теряет всякий смысл. «Свободой только маски» прежде всего должны были быть незаконные действия. (В самом деле, я процентов на шестьдесят был удовлетворен работой в

институте... Если бы у меня отняли ее, то, думаю, тосковал бы по ней процентов на девяносто... И все же я прекрасно мог бы обойтись без маски.) Таким образом, хотя труд ради труда и провалился весь сквозь ячейки первого сита, он все же должен задержаться во втором. Предупреждаю, я не собираюсь касаться проблемы ценностей. Я говорю лишь о сиюминутном желании сбежавшего из тюрьмы, чье алиби гарантировано.

Из оставшихся желаний голод тоже, видимо, попадает во второе сито. Так как бесплатное питание не столько цель, сколько средство, с самого начала не будем его касаться, но где-то я, кажется, слышал о законе, запрещающем наедаться досыта. Запрещение утолять голод не в условиях фронта или тюрьмы — явление довольно редкое. Но если все же попытаться отыскать его, то, пожалуй, удастся обнаружить в людоедстве. Правда, в данном случае речь идет не совсем об утолении голода — значительное место занимает здесь элемент убийства. А убийства, как мы договорились, касаться не будем.

Хотя самоубийство тоже входит в число запрещенных актов, при наличии настоящего лица его все же можно совершить, маска же в конце концов позволила мне избежать участи и «заживо погребенного». И уж если я собирался совершить самоубийство, лучше бы с самого начала ничего не предпринимать. Жажду развлечений тоже не следует брать изолированно: иногда это разновидность избавления, в других случаях — своего рода труд, лишенный объекта, — в общем, мне хотелось бы рассматривать его как сложное образование, состоящее из ряда упомянутых уже компонентов. Страсть к отравлению, так же как желание напиться, — не более чем дурное подражание маске, и потому... я действительно пребывал в блаженном состоянии опьянения... и снова касаться этого не стоит.

Итак, желания одно за другим провалились сквозь все сита и остались наконец те самые конвульсии жертвенности.



Кстати, что ты думаешь о моих рассуждениях? Да, именно о рассуждениях. Я лишь рассуждал о том, что, захоти я в ту ночь потратить свободу в чистом виде, это

было бы не чем иным, как сексуальным преступлением, на самом же деле я так и не совершил ничего хотя бы отдаленно напоминающего преступление. И не потому, что у меня не было к этому никакой склонности, и не потому, что не представилось случая, но, так или иначе, я его не совершил. Вот почему я спрашиваю тебя только об одном — о своих рассуждениях.

На твое сочувствие я не надеюсь. Может быть, даже наверняка, ты заметишь нелепые изъязны в моих рассуждениях. Я уже пережил крах всех этих рассуждений и не могу поэтому не признать, что в них есть недостатки. Но я и в то время не видел их, не могу обнаружить их и сейчас. А может быть... может быть, они вылились в форму подчинения упорным уговорам маски, а я сам себя обманывал, считая их результатом моих собственных желаний.

Поскольку дело касается секса, что-то мешало мне сорвать и выбросить табличку «вход воспрещен», и в то же время с самого начала меня непреодолимо тянуло это сделать. Если вдуматься — ничего удивительного. Я старался по возможности не касаться этого, но дело в том, что, отвергни я сексуальные преступления, мне не удалось бы осуществить и план заставить маску соблазнить тебя. Если бы речь шла о том, чтобы соблазнить тебя один раз, никакой проблемы, видимо, не возникло бы. Но если я хотел сделать отношения между маской и тобой длительными и, таким образом, создать новый мир, то должен был во что бы то ни стало нарушать законы, связанные с сексом. Иначе вряд ли бы я мог вынести двойную жизнь, разъеденный до мозга костей ревностью. И эти долгие, упорные уговоры маски были, конечно, результатом моей сознательной провокации.

Да, забавно — только что с грехом пополам подведя базу под свои рассуждения, я тут же проникся сочувствием к желаниям маски. Кстати, совсем не потому, что я изголодался по сексу, как если бы это была еда или питье. Нарушить сексуальные запреты — вот на что изо всех сил толкала меня маска. Если бы я не осознавал существование запретов, то очень сомневаюсь, что нарушение их было бы наполнено для меня таким трепетным очарованием. И когда я погрузился в это очарование, яд ревности, больше всего мучивший меня, казалось, утратил вдруг свою силу, и я, будто посасывая таблетку противоядия, стал стараться вызвать в себе эротический импульс.

Глазами, полными вожделения, я стал по-новому смотреть на все окружающее, и уходящая вдаль улица представилась мне волшебным замком, сплошь состоящим из табличек «Секс. Вход воспрещен». Будь хоть ограда этого замка прочной — куда ни шло, а то сплошь изъедена червями, с дырами от вывалившихся гвоздей, она, казалось, вот-вот развалится. Ограды, ограды — своим видом они будто готовы отразить вторжение и вызывают этим любопытство людей, снующих по улице, но, стоит приблизиться к ним и присмотреться повнимательней, и червоточины и следы от выпавших гвоздей — все это камуфляж, и тогда пропадает всякое желание подойти еще хоть на шаг. Секс, запрет секса? Что же это в конце концов такое? Любой, кто задумается над смыслом камуфляжа, кто задумается над происхождением оград, тут же неизбежно превращается в эротомана. Безусловно, он сам тоже не что иное, как одна из этих оград. Именно поэтому эротоман и должен проливать на свои желания слезы боли и раскаяния. Когда он ломает сексуальные запреты, то одновременно разрушает и свою собственную ограду. Но коль уж задумываешься над существованием оград, пока точно не установишь их происхождение, не успокоишься. Эротоман — тот же честный, глубокий исследователь: убедившись в существовании загадки, он уже не может не разрешить ее, каких бы жертв это ни потребовало.

И вот я, неудачливый исследователь, заглянул в первый попавшийся мне бар. Никаких особых надежд я не питал. Он привлек мое внимание только потому, что вся его вывеска была покрыта фальшивыми червоточинами и следами гвоздей. Продавали там фальшивую маску — алкоголь. Это место мне как раз подходило.

Как я и предполагал, там оказалось уютно. Фальшивая тьма, преграждающая путь фальшивому свету... фальшивые растения, фальшивые улыбки... неопределенное состояние, точно во сне, — зло не можешь сделать, и добро не можешь совершить... смешанные в нужной пропорции фальшивое добро и фальшивое зло... Я сел, поры по всему телу начали раскрываться, заказал виски с содовой и тут же стал поглаживать палец сидевшей рядом со мной девушки в темно-синем платье. Нет, это был не я, это была маска. Хотя палец девушки был потным, мне он все равно казался сухим, точно посыпанный крахмалом. Девушка, конечно, позволяла заигрывать с собой.

Нет, сказать, что она не сердилась, было бы ложью. Но все мои действия были равносильны бездействию. Мое бездействие было равносильно действию.

Если лгал я, лгала и девушка. Очень скоро она, как мне показалось, начала думать о чем-то другом, но я, разумеется, сделал вид, что ничего не замечаю. Может, сделать эту девушку своей на одну ночь в отместку за пиявки, за тебя, наконец, за свое настоящее лицо. Нет, не беспокойся — здесь все могло случиться, но ничего не случилось. Лгал я, лгала девушка, а потом, не знаю почему, девушка вдруг смутила меня, сказав, что я, наверно, художник.

«Почему? Чем я похож на художника?»

«Как раз художники любят делать вид, что совсем не похожи на художников».

«Это верно... Ну, а грим на лице, для чего он? Чтобы показать что-то или, наоборот, скрыть?»

«И то и другое...» Кончиками ногтей девушка скребла камешек, который держала в руке. «Но ведь во всем этом нет искренности, правда?»

«Искренности?...» Внутри у меня что-то оборвалось, точно вдруг открылся секрет фокуса. «А-а, дерьмо это!»

Девушка брезгливо сморщила свой коротенький носик.

«Отвратительно. Все понятно, но зачем так грубо...»

Верно! Любая настоящая вещь была здесь блестящей подделкой, любая поддельная вещь котировалась как настоящая. Это было как будто условленное место, где развлекаются, рисуя на запретных заборах дыры, чувствуя, что вот-вот захватит возжеление... Если я еще хоть чуть опьянею, то одно сознание, что на мне маска, станет опасным. Бедро девушки под моей ладонью, точно пресытившись, казалось, начало зевать — самое время потихоньку убраться отсюда. В конце концов ничего не произошло, но все равно. Я прикоснулся рукой к запретной ограде и убедился в ее прочности — тоже неплохо. Хочешь не хочешь, завтра я должен повести отчаянный штурм твоей ограды...

Все, что произошло потом, лишено для меня перспективы, будто я смотрю на эти события в подзорную трубу. Но я, помню, не дошел до такой глупости, чтобы, поддавшись опьянению, сорвать с себя маску, и водителю такси назвал не свой настоящий адрес, а убежища. Как бы тесно ни соприкасались мое лицо и маска, какой

бы прочный клейкий состав я ни употребил, уничтожить пропасть между ними, видимо, не так-то просто. Всю ночь между короткими пробуждениями я видел сны. В этих снах ты как будто о чем-то упрашивала меня. Кажется, предостерегала от физической близости, а может быть, я вообразил это уже позже. Один раз я видел во сне тюрьму.



На следующее утро — ужасное похмелье, этого и следовало ожидать. Все лицо вспухло и нестерпимо болело. Наверно, возвратившись домой, я не проделал с лицом всего необходимого, и из-за клейкого состава оно покрылось сыпью. После того как я умылся, а потом освободил желудок, наступило некоторое облегчение. Я проделал все это до десяти часов. А выйти из дому лучше всего после трех, и я решил полежать.

Как невыносимы последние часы ожидания перед заветной минутой, не побоюсь сказать, перед мгновением, ради которого на карту поставлены усилия целого года. Я метался по постели в поисках прохладного места и никак не мог заснуть. Нужно же было выпить, как последнему идиоту. В чем, собственно, я нашел удовольствие, с чего вдруг начал резвиться?.. Мне кажется, я должен что-то вспомнить... надел маску и считая, что стал прозрачным, я брожу по улицам... ограда... запрет... да, я начал становиться развратником... тот самый человек, который, помимо заведования лабораторией в институте высокомолекулярной химии, был абсолютно бесцветным, пресным, безусловно безобидным... ну что ж, ради того, чтобы преодолеть преграду, у меня был лишь один путь — превратиться в развратника...

Стараясь воскресить в памяти впечатления прошлой ночи, я всеми силами пытался избавиться от остатков опьянения, гнездившегося где-то глубоко в черепе. Однако эротические ощущения, такие отчетливые в прошлую ночь, никак не возвращались. Может быть, потому, что я без маски? Конечно, поэтому. Стоит надеть маску, как во мне оживает нарушитель закона. В любом, самом безобидном человеке, должно быть, всегда скрыт преступник, способный реагировать на маску.

Я не собираюсь доходить до такой крайности, чтобы утверждать, будто все актеры имеют преступные наклонности. Я знаю одного начальника важной канцелярии, который проявляет повышенный интерес к костюмированным шествиям во время спортивных праздников, организуемых компанией, и демонстрирует в них незаурядный талант, — на самом деле редкий оптимист, вполне довольный своим положением... Ну, а если бы они узнали, что здесь не праведная повседневность ничуть не безопаснее тамошнего мира преступлений, остались бы они тогда в стороне от преступления?.. Сомневаюсь... Ежедневно ставить будильник на определенное время, заказывать себе печатку, визитные карточки, откладывать деньги, снимать размер воротничка, коллекционировать автографы, страховать жизнь или недвижимость, писать поздравительные открытки, наклеивать фотографию на удостоверение личности... трудно поверить, что в мире, где рискуешь потеряться, если забудешь сделать хоть что-нибудь из этого, что в этом мире люди живут и им ни разу не захотелось, даже в голову не пришло стать прозрачными...

Но все же на какой-то миг я, видимо, заснул. Наверно, поднялся ветер, и скрип ставень разбудил меня. Головная боль и тошнота как будто утихли, но чувствовал я себя еще неважно.

Хотел принять ванну, но как назло вода не шла. Видимо, слабый напор, и вода не может подняться даже до второго этажа. Махнул рукой и решил отправиться в баню. После недолгих колебаний — что выбрать: маску или бинты — решил пойти в маске. Я сгорал от стыда, стоило только вспомнить, какое впечатление на окружающих производят бинты, и еще хотелось испытать маску, в самых разных условиях. (Когда я надеваю маску, ко мне сразу же возвращается уверенность в себе.) Шаря по карманам пиджака в поисках бумажника, я коснулся чего-то твердого. Это были духовой пистолет и золотистый йо-йо. На случай, если встречу с дочкой управляющего, я завернул йо-йо в полотенце вместе с мылом и вышел из дому.

К сожалению, девочку я не встретил. Не из-за какого-то особого предчувствия, но мне не захотелось идти в ближайшую баню, и я направился на соседнюю улицу, до которой была одна автобусная остановка. Баня недавно открылась, посетителей было мало, вода в бас-

сейне чистая. Я погрузился в воду и, чтобы остатки опьянения окончательно улетучились, решил терпеливо сносить жару, и тут заметил в противоположном углу чело- века, который сидел в воде, не сняв черной рубахи. Нет, это, оказывается, не рубаха, а татуировка. Может быть, из-за того, что так падал свет, не знаю, но казалось, что он натянул на себя рыбью кожу.

Вначале я старался не смотреть, но он все больше притягивал мое внимание, и вскоре я уже не мог отор- вать от него глаз. Меня привлек не рисунок, поразил сам факт татуировки, которому я никак не мог найти объяснения — оно вертелось на кончике языка, как чье- то забытое имя.

Может быть, потому, что я чувствовал кровную связь между татуировкой и маской? В самом деле, маска и татуировка имеют поразительно много общего: и та и другая — разновидности искусственной кожи. Общим для них служит стремление уничтожить настоящую ко- жу и заменить ее чем-то иным. Но есть, конечно, и раз- личия. Маска, как можно видеть и по иероглифам, лишь временное лицо, а татуировка полностью ассимилирует- ся, становится частью кожи. Кроме того, маска представ- ляет алиби, а татуировка, наоборот, выделяет, выстав- ляет напоказ. В этом смысле она, пожалуй, ближе не маске, а бинтам. Нет, если говорить о привлечении вни- мания, то она ничуть не уступает моим пиявкам.

Все равно никак не могу взять в толк, почему люди доходят до подобной несообразности, чтобы привлекать к себе внимание. Сам этот человек вряд ли сможет от- ветить... и именно потому, что не сможет ответить, для него имеет смысл привлекать внимание... Уроды, как правило, любят загадки и часто делают своей професси- ей загадывание бессмысленных загадок и выманивание денег у людей, которые не могут их отгадать... В татуи- ровке действительно скрыт вопрос, заставляющий оты- скивать ответ.

Доказательством может служить то, что я сам изо всех сил старался найти ответ. Я пытался, например, подглядеть изнутри свое состояние, если бы мне при- шлось сделать себе татуировку. И первое, что я почув- ствовал,— глаза других людей, впивающиеся в меня, точно колючки. Я мог ясно представить себе это, потому что уже испытал, что представляет собой скопище пия- вок. Потом небо начнет постепенно удаляться... вокруг

разольется яркий полдень, и только на то место, где стою я, опустится абсолютная тьма... да, да, татуировка — это клеймо каторжника... клеймо преступления, и поэтому даже лучи света перестанут касаться меня... Но почему-то я совершенно не чувствовал себя загнанным, не испытывал и угрызений совести... и вполне естественно... ведь сам же я выжег на своем теле клеймо преступления и по своей же воле похоронил себя в глазах общества... и теперь уже никто меня не пожалеет...

Когда мужчина вышел из воды, изображение буддийского божества, засыпанного цветами вишни, стало извиваться, источая коричневатый пот, и я, чувствуя себя соучастником преступления, ощутил, что его отрешенная поза действует на меня освежающе. Верно, кровная связь между маской и татуировкой выражается не в такой форме — она состоит в том, где жить, на какой стороне границы, проведенной по настоящему лицу. Поскольку есть люди, которые могут жить, снося татуировку, то вполне возможно сносить и маску.

Однако у выхода из бани татуированный мужчина глупейшим образом стал придирается ко мне. Когда рука с длинными рукавами скрыла татуировку, он казался моложе, меньше ростом и не таким внушительным, но все равно носил на своем теле угрозу и был великим мастером запугивания.

Хриплым голосом мужчина обвинил меня в том, что я невежливо смотрел на него, и потребовал извинения. Судя по его словам, это его очень задело. Лучше бы мне извиниться, как он требовал, но беда не приходит одна — из-за того, что я долго был в горячей воде, под маской у меня кипело, точно варился суп, я буквально терял сознание.

Не задумываясь особенно над смыслом своих слов, я спросил:

«Но разве татуировка не для того и существует, чтобы ее показывать?»

Не успел я договорить, как рука мужчины взлетела вверх. Но мой инстинкт защиты маски не уступал ему в быстроте. То, что первая атака провалилась, еще больше распалило мужчину. Он неожиданно схватил меня и начал грубо трясти, пытаюсь улучшить момент, чтобы ударить в лицо. Наконец он прижал меня к дощатой стене, и то ли его рука, то ли моя (не знаю точно, руки наши переплелись), в общем, чья-то рука скользнула снизу

вверх по моему подбородку, и в то же мгновение маска оказалась содранной.

Я был повержен, точно на глазах у людей с меня вдруг стащили штаны. Потрясение противника было ничуть не меньшим. Глухим, робким голосом, так не вязавшимся с его наружностью, он пробормотал что-то невнятное и с негодующим видом, будто это он пострадавший, быстро ушел. В полуобморочном состоянии я отер пот и снова надел маску. Собрались, наверно, зеваки, но у меня не хватило мужества оглядеться. Будь это на сцене, над нами бы как следует посмеялись. Теперь, когда буду выходить на улицу, ни за что не оставлю духовой пистолет дома.

Постскриптум. Интересно, как представлялась моя трагикомедия татуированному человеку и зевакам — свидетелям этой сцены? Сколько бы они ни смеялись, обыкновенным смехом это не могло кончиться. Случай на всю жизнь сохранится, должно быть, в их памяти. Да, но в каком виде?.. Застрянет в сердце, как осколок снаряда?.. Или ударит в глаза и исказит облик окружающих?.. Во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что впредь они уже не будут пялить глаза на лица других людей. Они станут для них прозрачными, как привидения, а весь мир будет в прогалинах, как картина на стекле, нарисованная жидкой краской. Сам мир начнет казаться каким-то невообразимым, как маска, людей захватит чувство несказанного одиночества. Поэтому мне нечего чувствовать себя виновным перед этими людьми. То, что они увидели, было скорее правдой. Раньше была видна только маска, а сама правда — не видна. И вот эту, более глубокую правду они смогли лицезреть. Какой бы жалкой ни казалась правда постороннему взгляду, она всегда несет в себе вознаграждение.

Однажды, лет двадцать назад, я увидел труп ребенка. Он лежал навзничь за школой в густой траве. Я случайно наткнулся на него, когда искал бейсбольный мяч. Труп был раздут, как резиновый шар, и весь покрыт красными пятнами. Мне показалось, что рот у него шевелится, но когда я присматрелся, то увидел, что это копошатся бесчисленные черви, уже уничтожившие губы. Меня сковал страх, и потом несколько дней кусок не шел в гор-

ло. В то время это произвело на меня мучительно-страшное впечатление, но с годами — труп, должно быть, вырослел вместе со мной — сохранилась лишь окутанная тихой печалью легкая краснота на гладкой, точно из воска, коже. А сейчас я уже не стараюсь избегать воспоминаний о трупе. Наоборот, даже полюбил их. Каждый раз, когда я вспоминаю об этом трупе, у меня возникает ощущение, что мы друзья. Он заставляет меня вспомнить, что, кроме пластика, существует еще мир, которого можно коснуться рукой. Он навсегда останется со мной как символ другого мира.

Нет, эти оправдания предназначены не только для совсем чужих людей. Теперь все мои тревоги будут касаться и тебя. Я хочу, чтобы ты поверила моим словам, даже если тебе и покажется, что они оставляют слишком глубокие раны. Да это и не раны, а чуть более отчетливые, чем хотелось бы, воспоминания о том, что я испытал, когда ты заглянула мне под маску. Я уверен, придет время, и ты будешь вспоминать об этом с нежностью, как я о трупе.



Я немного задержался — нужно было заняться ссадинами и заменить клейкий состав. Правда, по дороге я сделал крюк, чтобы специально для маски купить все необходимое: зажигалку, записную книжку, бумажник, а потом направился в намеченное место — ровно в четыре часа я был на автобусной остановке. Здесь я собирался дожидаться твоего возвращения с лекций по прикладному искусству, которые ты посещала по четвергам. Приближалось время вечерней сутолоки, шум этого оживленного места поглотил все пространство своей перенасыщенной плотностью, и я почему-то почувствовал удивительное спокойствие, будто шел по лесу, где начали опадать листья. Видимо, прежнее потрясение еще осталось, и оно изнутри подавляло все мои пять чувств. Стоило закрыть глаза, как закружились в водовороте, точно рой moskitov, бесчисленные звезды, излучавшие яркий свет. Наверно, поднялось давление. Действительно, потрясение было глубоким. Но это не так уж пло-

хо. Унижение, подействовав, как стимулятор, толкало на нарушение закона.

Я решил подождать у банка. С пригорка, где находился банк, было лучше видно, а благодаря тому, что рядом со мной стояло много других ожидающих, я не бросался в глаза. Нечего было опасаться, что ты заметишь меня раньше, чем я тебя. Лекции кончаются в четыре часа, и даже если ты пропустишь один автобус, все равно доедешь минут за десять.

Никогда не думал, что твои лекции смогут мне так пригодиться. Если бы меня спросили, я бы сказал, что сам факт этого неустанного многолетнего хождения на такие совершенно ненужные лекции служит прекрасным доказательством неустойчивости женского существования. Весьма символично, что ты выбрала изготовление пуговиц и занимаешься этим с увлечением. Какое же великое множество пуговиц, больших и маленьких, ты уже выточила, вырезала, выкрасила, отполировала! Ты делала пуговицы не для того, чтобы с их помощью что-то застегивать,— ты бесконечно мастерила необходимые для практического использования вещи в целях абсолютно непрактических. Нет, я не хочу обвинять тебя. Ведь я действительно ни разу этому не противился. Если ты по-настоящему горячо увлечена — от души благословляю это невинное занятие...

...Но в событиях, происшедших позже, ты была одним из главных действующих лиц, и поэтому я не стану излагать их час за часом. Что нужно, так это вывернуть наизнанку мое сердце и выставить на свет спрятавшееся там бесстыдное лицо паразита. Ты приехала третьим автобусом и прошла мимо меня. Я двинулся следом. Со спины ты выглядела удивительно гибкой, удивительно изящной, и меня охватила робость.

Я догнал тебя у светофора на перекрестке у вокзала. За несколько минут, которые нужны, чтобы дойти до вокзала, я должен любыми средствами привлечь твое внимание. Не следует идти напролом, но и окольный путь тоже не подходит. Протягивая, будто только что случайно подобрал, припрятанную заранее кожаную пуговицу, которую ты сама сделала, я обратился к тебе с уже подготовленными словами:

— Это не вы потеряли?

Не скрывая удивления, ты, стараясь выяснить, почему это случилось, подняла сумку, стала осматривать дно,

проверять застёжки и, всем своим видом показывая, что не можешь найти объяснения, доверчиво бросила на меня быстрый взгляд. Раз уж я заговорил, нельзя было упускать возможности, в которую поверил, и я бросился напролом.

— Может быть, из шляпы?

— Из шляпы?

— Ловкость рук — и из шляпы может появиться кролик.

Но ты даже не улыбнулась. Больше того, взглядом, как хирургическими щипцами, плотно зажала мне рот. Это был пристальный взгляд, точно ты забылась, взгляд, в котором ты, вероятно, не отдавала себе отчета. Если ты будешь так смотреть еще несколько секунд, то увидишь меня насквозь — я моментально понял это и отступил. Но этого не могло случиться. Успех маски уже был подтвержден в самых различных ситуациях. Нечего было опасаться, что у тебя появятся подозрения, — ты ведь не сорвешь маску силой, как тот татуированный, не коснешься ее губами (разницу в температуре скрыть невозможно). К тому же я сознательно говорил голосом более низким, чем обычно, но даже если бы я этого и не делал, из-за того, что на мои губы были наложены еще и искусственные, губные звуки совершенно видоизменились.

Может быть, я чрезмерно волновался; ты сразу же отвела взгляд, и на лицо вернулось обычное рассеянное выражение. Мой эротизм, натолкнувшись на твой пристальный взгляд, поджал хвост, и если бы ты так и ушла, то, может быть, я и нашел бы в себе силы отказаться от задуманного плана, понимая, что это самое лучшее для нас обоих. День был ясный, солнечный, и маска не могла проявить всех своих возможностей, ее чудесная сила увяла. Но и ты на мгновение заколебалась. А уличный поток, извивавшийся вокруг нас, точно прожорливое первобытное чудовище, впитывал просачивающиеся мысли, стоило им только возникнуть. Выяснить, почему возмутилось магнитное поле, возникшее между нами благодаря твоему минутному колебанию, было некогда, и я использовал это замешательство и двинул второй эшелон заготовленных заранее слов.

Заметки на полях. Выражение «возмущение магнитного поля» очень верно. В общем, я ведь почувствовал важность этой минуты. Если бы речь

шла только о предчувствии, нечем было бы гордиться, нечего объяснять, но, даже не будь предчувствия, если бы я опустил эти строки — содрогаюсь при одной мысли об этом, — я был бы приговорен к осмеянию — все мои действия и поступки стали бы предметом насмешки, и эти записки из записок маски превратились бы в обыкновенные записки клоуна. Клоун — это тоже неплохо, но просто я не хочу стать клоуном, который не осознает, кто он.

Ты, наверно, помнишь? Я как ни в чем не бывало, тоном, будто мне уже надоело это выяснять, спросил, где конечная остановка такого-то автобуса. Не знаю, обратила ли ты внимание, но я выбрал ту остановку не потому, что мной руководила вздорная мысль убить время, нет, это была ловко подстроенная ловушка с дальним прицелом.

Прежде всего речь шла о единственной остановке на этой линии автобуса, находившейся у самого вокзала и в то же время расположенной в неудобном тихом месте, о котором мало кто знал. Затем она была на противоположной стороне вокзала, и, если не знать, что есть подземный переход, пришлось бы идти кружным путем по пешеходному мосту. И еще, переход невероятно запутанный и невозможно в двух словах объяснить, как связано с тем или иным местом множество его входов и выходов. Ну и, наконец, если воспользоваться этим переходом, расстояние до платформы, с которой ты должна ехать, несколько не больше, чем если идти через вокзал. И ты, конечно, знала эту остановку.

Я весь напрягся, ожидая ответа. Тело мое стало точно каменным от страха, что ты разгадаешь мои тайные намерения, и, не будь на мне маски, даже если бы ты предложила меня проводить, не уверен, смог ли бы я идти рядом с тобой. Сомневаюсь даже, удалось ли мне как следует скрыть прерывистое дыхание. Я ждал в таком состоянии, будто меня заключили в хрупкий стеклянный сосуд (стеклянный сосуд тоньше бумаги, чихни — и он разлетится на мелкие осколки). Нельзя отрицать, что я испытывал и нетерпение, но правда и то, что ты не спешила с ответом. Что заставляло тебя колебаться? Я обрадовался тому, что ты в нерешительности. Положение создалось такое, что ты должна была, не колеблясь, принять немедленное решение — или согласиться, или отказаться. И чем больше ты колебалась, тем острее ощуща-

лась неестественность, росла подозрительность. Если ты не хотела, достаточно было одного твоего «не знаю», но ты продолжала колебаться, и это означало, что ты наполовину согласна. И поскольку ты согласилась — пусть наполовину, — то потеряла таким образом предлог для отказа. Чтобы тебе легче было решиться, может быть, мне стоило бы добавить еще что-нибудь. В это время молодой парень, грубо толкаясь, торопливо протиснулся между нами. Только тогда мы заметили, что мешаем людскому потоку и вокруг нас уже образовался водоворот. С трудом удерживаясь в этом потоке, ты вопросительно взглянула на меня — скользнула по мне глазами, точно небрежно пролистала календарь. Не по душе мне твой взгляд, подумал я, и только собрался раскрыть рот, чтобы хоть немного подстегнуть твою решимость, как ты наконец ответила.

Когда я услышал этот ответ, хотя все шло хорошо и внутренне мы уже почти договорились, почему-то стало грустно, точно меня предали... Если это я — все хорошо, а если это совершенно чужой человек, тогда что? Чуть поколебавшись, ты ответила согласием. И с такой значительностью, будто без колебаний нельзя было соглашаться. В общем, намекала на существование запретной ограды. И то, что ты совершенно сознательно согласилась пройти рядом со мной семь-восемь минут, несколько сот метров, я не мог не воспринять как нечто большее, чем простую любезность. Во всяком случае, это был гораздо более ценный ответный подарок, чем пуговица, которую я подобрал для тебя. Говоря откровенно, ты сознательно возбуждала во мне желание. И поскольку возбуждала сознательно, то и сама...

Нет, все хорошо. Да и что я могу сказать, когда весь мой план был рассчитан именно на такой ход событий. Если бы, разгадав мой замысел, ты отказалась, весь мой труд пошел бы насмарку. Я мог бы, конечно, попытаться снова, в другой день, но если в первый раз удалось представить все как случайность, вторично не избежать впечатление нарочитости, и твоя настороженность только усилилась бы. Да, все хорошо. Прошлой ночью я до конца осознал, что желание с помощью маски вернуть тебя и с твоей помощью вернуть всех других людей — не безделица, не пустые слова, оно разрушает запретную ограду секса, пропитывает меня бесстыдством. Поскольку я стремился преодолеть запретную ограду и ты, казалось,

соглашалась на это, сейчас нечего было особенно суетиться. Твое оправдание, что ты просто не придавала этому значения, никого бы не убедило. Если хочешь разрушить ограду, не пытайся добиться того, чтобы партнер сам разрушил ее, то нет другого средства, кроме насилия. Но я бы удивился, услышав, что односторонним разворотом можно восстановить тропинку. Такой, даже единичный поступок неизбежно вынудит маску бесследно исчезнуть из этого мира. Кроме того, если я собирался удовлетвориться насилием, достаточно было моего настоящего лица, покрытого пиявками, и незачем было прибегать к помощи маски.

Теоретически рассуждения мои были, конечно, правильными. Но рядом с тобой, с твоим живым телом, спускаясь по лестнице в подземный переход, забитый чужими людьми, я был подавлен потрясающей реальностью твоего существования, от растерянности, невыразимого страдания мной овладели гнетущие мысли. Мне нечего будет ответить, если ты упрекнешь меня в бедности воображения, но разве так уж редко встречается воображение, основанное на осязании? Я думал о тебе не как о стеклянной кукле или словесном символе, но я впервые почувствовал осязаемую реальность твоего существования, приблизившись настолько, что мог дотронуться до тебя рукой. Ближайшая к тебе половина моего тела стала чувствительной, как после солнечного ожога, — каждая пора, точно собака, изнывающая от жары, высунув язык, тяжело дышала. Стоило лишь представить себе, что ты, такая близкая, готова принять совершенно чужого человека, как меня охватывала невыносимая печаль оттого, что я нахожусь в положении обманутого мужа и, мало того, без всякой причины меня вышвырнули вон за негодностью. Да, вчера мои бесстыдные фантазии, в которых я игнорировал тебя, были куда умереннее. Пожалуй, даже насилие благотворнее этого. Я снова стал вспоминать как совершенно чужое лицо черты маски и начал испытывать кипящую ненависть, отвращение к этому типу лица охотника с бородой, в темных очках и претенциозной одежде. И в то же время я почувствовал, что ты, не отвергшая решительно это лицо, совсем другая, и мне стало еще тоскливей, точно на драгоценном камне я обнаружил капельку яда.

Маска поступала иначе. Она, по-моему, была способна впитывать и превращать в пищу мои страдания; точно

у болотного растения, ветви и листья ее желаний становились все мощнее и гуще. Одно то, что ты меня не отвергла, было равносильно словам «я твоя», и я всадил клыки воображения в твой затылок, выглядывавший из светло-коричневой блузки без воротника, как баночка с фруктовым соком. Мне не в чем было оправдываться — для меня ты была тобой, а для маски — всего лишь одной из приглянувшихся женщин... Да, так далеки были друг от друга я и маска — нас разделяла бездонная пропасть. Мы отличались, но ведь это верхний слой лица в несколько миллиметров, все остальное общее, и поэтому ты, возможно, считаешь, что разговоры о пропасти — просто красивые слова, но мне хочется, чтобы ты вспомнила, как устроена грампластинка. Так просто, а сколько десятков тонов может она воспроизвести. Поэтому нет ничего удивительного, что человеческое сердце бьется одновременно в двух противоположных тонах.

Конечно, удивляться нечему. Ведь ты и сама была расщеплена. Я вел двойную жизнь, и ты тоже стала вести двойную жизнь. Я превратился в чужого человека, надев чужую маску, и ты тоже стала чужим человеком, надев маску самой себя. Чужой человек, надевший маску самого себя... Не особенно приятное сочетание слов... Я заранее рассчитывал встретиться вторично и должен был иметь детально отработанный план, а в результате приходилось, кажется, вторично расставаться. Наверно, в чем-то я допустил непростительный просчет.

Если бы я мог предположить, что дойдет до этого, лучше бы сразу повернуть обратно... нет, еще лучше, не поворачивая обратно, просто спросить у тебя об остановке, а с остальными планами молча распрощаться, но... Так почему же я послушно иду на поводу у маски?.. Не уверен, стоит ли чего-нибудь мое объяснение: моя обманутая любовь была предана и стала ненавистью, желание восстановить тропинку не нашло отклика и превратилось в мстительность, и, раз уж я дошел до этого, получилось так, что, хотя побуждения были у нас противоположные, в своих действиях я начал идти в ногу с маской, стремясь до конца убедиться в твоей неверности. ...Но подожди немного — мне кажется, что и в начале этих записок я часто употреблял слово «мечь», и все же... Да, употреблял... Тогда главным предлогом для изготовления маски было стремление, обманув тебя с ее помощью, отомстить выскомерию настоящего лица. Потом я стал склоняться

к реабилитации других людей, желание соблазнить тебя тоже приобрело рассудочность, созерцательность, потом прибавилось нечто плотское, вспыхнул взрыв страсти, принявший форму ревности, ревность, натолкнувшись на запретную ограду, вызвала любовные судороги, похожие на жажду, я стал эротичным и в конце концов снова превратился в пленника мести.

В последнем приливе мстительности было что-то не удовлетворявшее, беспокоившее меня. Какую месть следовало избрать, убедившись в твоей неверности? Должен ли я, представив тебе доказательства, выслушивать показания или вынудить тебя к разводу? Ни в коем случае — если я сделаю что-нибудь подобное, то потеряю тебя. Если наши отношения позволят лишь подглядывать за твоей изменой сквозь пролом в запретной ограде, разрушенной тобой и маской, — прекрасно, я готов подглядывать так всю жизнь. Но будет ли осуществлена месть путем такого непрерывного извращения? Ведь, приравливаясь к моей раздвоенности, и ты должна будешь беспредельно сносить ту же самую раздвоенность. Ни любовь, ни ненависть... ни маска, ни настоящее лицо... Видимо, в этой густой серой мгле я обретал временное равновесие.



Однако в отличие от меня, решившего спокойно отказаться от своего замысла, маска, которая должна была держаться гордо и независимо, наоборот, начала терять самообладание. Одно твое слово, брошенное невзначай, когда потом, через десять минут, ты сидела в закуской в конце подземного перехода и помешивала ложечкой кофе, лишило маску самоуверенности, точно загнало между двумя зеркалами и вынудило разговаривать саму с собой.

— Мой муж как раз в командировке, поэтому...

Что «поэтому»? Больше ты ничего не сказала, у маски тоже не было желания спрашивать. Здравый смысл подсказывал, что твои слова можно понять так: поэтому, возвратившись домой, я не должна буду готовить обед и ничего не произойдет, если я поем в городе, — то есть ты будто бы оправдывалась в том, что согласилась на мое предложение, так их тоже можно было воспринять. Но в мрачной холодности твоего тона была скорее решитель-

ность, точно ты утверждала себя в собственных глазах, и эффект был такой же, как если бы ты щелкнула по носу самовлюбленную маску... О чем же мы прежде говорили?.. Да, верно, маска вычитанными где-то словами похвалила форму твоих пальцев, потом спросила о ранке на большом пальце правой руки, полученной, когда ты мастерила пуговицы, и после того, как маска убедилась, что твоя рука все равно не избегает ее взглядов, она избрала темой разговора отношения между людьми как алгебраическое уравнение, не включающее данных условий, как имя, профессия, место жительства, и тут же, помнится, стала выведывать твое расположение духа. Маска, которая твердо знала, кому принадлежит руководящая роль в соблазнении тебя, готовая поступить с тобой как ей вздумается, замерла в изумлении, как ребенок, неожиданно обойденный, отброшенный в сторону соперником.

Заметка на полях. Я вспоминаю, что ужасно тогда волновался, боясь, как бы ты не обнаружила, что за маской прятусь я.

Если вдуматься, то, по существу, нет никаких доказательств, что соблазняла маска, а соблазненной оказалась ты. Все было проделано тобой умно и тонко — не соблазnilась ли ты по собственной воле независимо от уловок маски? Так или иначе, изменить что-либо было уже невозможно, и маске, чтобы воодушевить себя, не оставалось ничего иного, как превратиться в еще более настойчивого обольстителя.

Но она напрасно старалась вести себя как соблазнитель, этого было не нужно — ты уже была соблазненной женщиной. Дело в том, что я завладел тобой полностью. Вот почему все время, пока мы были в закуской, маска изо всех сил старалась не возвращаться к разговору о твоём «муже». То же относилось и к пиявкам: как бы ни казалось, что этой теме можно касаться спокойно, сколь логично ни доказывать, что это относится к другому человеку, — все равно страшно. Тем не менее, когда ты не выказала никакого желания возвращаться к теме «мужа», я ужасно рассердился, — в общем, досадная ситуация. Действительно, ты, несомненно, игнорировала «его», следовательно, меня. Более чем неприятное пренебрежение. Но с другой стороны, нельзя сказать, что я хотел, чтобы ты коснулась этой темы, — в общем, положение у меня было достаточно трудное. Если бы ты снова

заговорила о «нем», это можно было бы использовать чтобы обуздать маску. Мне, как обольстителю, оставалось лишь надеяться, что ты будешь по-прежнему моим общником. Меня покорила твоя странная манера улыбаться одной нижней губой. Еще больше встревожило то, что ты смотрела сквозь меня куда-то вдаль. Я чувствовал себя виновным в том, что ты отказалась от предложенного пива. Но и не хотел, чтобы ты пила слишком много. Все равно что после погружения в ледяную ванну сразу быть облитым кипятком. Левый глаз, будто разглядывая трофей, нежно смотрел на твои пальцы, крошившие хлеб,— нежные, мягкие пальцы, словно смоченная водой кроличья шкурка, если отвлечься от ранки, полученной, когда делала пуговицы; правый глаз, точно обманутый муж — свидетель прелюбодеяния жены, корчился от боли. Любовный треугольник, где один исполняет две роли. Неэвклидов треугольник, который выглядел бы на чертеже прямой линией: «я», «маска» — мое второе «я» и «ты».

Когда мы поели, время, точно желе, сразу начало застывать вокруг нас. Может быть, из-за тяжести потолка? Непропорционально массивный бетонный столб стоял в центре зала и наводил на мысль о непомерной тяжести того, что он поддерживал. К тому же эта закусочная в подвале не имела окон. Ничто не подтверждало существования двадцатичетырехчасовой единицы солнечного времени. Был лишь искусственный свет, не имеющий периодичности. А сразу же за стенами закусочной по вертикальным пластикам, уходящим вглубь, по подземным рекам текло время, исчислявшееся десятками тысяч лет. И твой «муж», который должен погнать наше время, пока мы так ждем его, никогда не вернется. О время, сгустись, превратись в сосуд, укрывающий только нас двоих! Тогда, так и оставаясь в сосуде, мы пересечем улицу, и место, куда мы придем, станет нашим новым ложем.

Однако в действительности ни я, ни маска не знали твоих подлинных намерений. Не отказываясь — настолько не противясь, что создавалось даже впечатление, будто ждала этого,— ты приняла мой нехитрый маневр: сначала пригласить тебя выпить кофе, а потом пообедать, но... какое-то время маска оптимистически считала, что все идет по плану... такая твоя решительная позиция, точно все кирпичики своего сознания ты уже скрепила раствором, снова повергла маску в страх и отчаяние. Ты не бы-

ла, конечно, просто неприветливой. Поскольку ты согласилась быть соблазненной, неприветливость доказывала бы, что ты слишком много думала о запретной ограде, и ты, наоборот, стала бы доступнее, но ты была достаточно мягкой, не забывала о деликатной заботливости. Ты не робела, держала себя смело, естественно, свободно. В общем, нисколько не отличалась от той, какой была обычно, ты была ты.

И эта твоя неизменность привела маску в замешательство. Где же, наконец, спрячешь ты вязкое, как расплзающаяся тянучка, дыхание человека, ждущего соблазнения, его сверкающие взгляды, горящие внутренним огнем, возбуждение, вызванное ожиданием? Судорожно ухватившись за край круглого обеденного стола, мы напоминали расплющенные цветки одуванчика, зажатые между страницами солнечного времени. И то, что, жадно глотая слюну, я, ухватившись за запретную ограду, ждал мгновения, когда смогу вместе с тобой участвовать в ее разрушении, — разве это было только самодовольным воображением маски? Вот потому-то окончание обеда в то же время было причудливым концом причудливой встречи...

Официант молча, точно отсутствуя, как требовали того правила, убирал со стола. Поверхность воды в стаканах зарябилась — видимо, прошел поезд метро. Маска, проявляя нетерпение, продолжала бессмысленную болтовню, а в промежутки при любом удобном случае старалась вставлять слова, вызывающие сексуальные ассоциации, но ты никак не реагировала — ни положительно, ни отрицательно. Наблюдая краем глаза за растерянностью маски, я ехидно аплодировал и в то же время жалел, что никак не могу уличить тебя в неверности.

Однако это продолжалось минут двадцать, а потом — помнишь, наверно? — маска, выйдя из оцепенения, вытянула ногу, и носок ботинка коснулся твоей щиколотки. У тебя на лице отразилось чуть заметное волнение. Взгляд замер где-то в пространстве. Между бровями залегла складка, губы дрогнули. Но ты снисходительно, со спокойствием, с каким утренний свет постепенно захватывает ночное небо, приняла от маски эти бесплодные усилия. Маску распирал смех. Не имея выхода, смех точно заряжался электричеством и парализовал маску. На этот раз ей как будто удалось подстрелить добычу. В общем, можно не беспокоиться. Сконцентрировавшись на твоих ощущениях, передаваемых через носок ботинка, маска

тоже прикусила язык и предалась наслаждению безмолвной беседой.

И в самом деле, вести непринужденную болтовню было опасно. Например, мы удивительно единодушно заговорили о садовых деревьях; у обоих неожиданно возникла тема женщины, не имеющей детей; в аллегориях, различных выражениях я стал непроизвольно употреблять химические термины — если я буду так неосторожен, появятся горы улик, которые могут предать маску. Мне кажется, человек загаживает жизнь собственными испражнениями чаще, чем собака останавливается у столбов.

Но мне был нанесен жестокий удар. Невозмутимость, с которой ты позволяла соблазнять себя, не укладывалась в моем сознании, но я прекрасно представлял себе, насколько привлекательным было это для маски, — вот что явилось для меня страшным ударом. И ведь моя нога, касавшаяся твоей щиколотки, была действительно моей ногой, и я это отчетливо сознавал, но если не сосредоточить всех сил, то я получу лишь косвенные, несфокусированные впечатления, точно далекие события, порожденные воображением: коль скоро я оторгнут от лица, то оторгнут и от тела. Я предчувствовал это, но стоило столкнуться с подобным фактом — и меня всего переверачивало от боли. Если такое происходит со мной из-за щиколотки, то смогу ли я сохранить самообладание, когда пойму, что все твое тело доступно прикосновениям? Смогу ли я тогда противиться побуждению сорвать маску? Смогу ли я, при возросшем давлении, сохранять форму нашего сюрреалистического треугольника, и так уже напряженного до предела?..



С каким трудом, стиснув зубы, терпел я эту пытку в номере дешевой гостиницы. Не сорвав маску, не задушив себя, я скрутил себя грубой соломенной веревкой, затолкал в мешок, оставив только дырки для глаз, и вынужден был смотреть, как ты отдаешься. Вопль бессилия застрял у меня в горле. Слишком просто! Более чем просто! После встречи не прошло и пяти часов — как все просто! Если бы ты хоть для виду сопротивлялась... Ну, а сколь-

ко часов удовлетворили бы меня? Шесть часов? Семь часов? Восемь часов?.. Глупость какая, комичные рассуждения... распутство твое так и останется распутством, пройдет ли пять часов, пятьдесят или пятьсот.

Но почему же тогда не положил я конец этому порочному треугольнику? Из мести? Возможно. Было и это, были, думаю, и другие мотивы. Если бы просто из мести, то, пожалуй, я поступил бы правильнее всего, тут же сорвав маску. Но я трусил. Больше всего я, конечно, боялся жестоких поступков маски, безжалостно перевернувшей, разбившей всю мою спокойную жизнь, ну и, кроме того, еще страшнее был бы возврат к тем дням затворничества, когда у меня не было лица. Страх питал страх, и я, точно безногая птица, лишенная возможности опуститься на землю, вынужден был все летать и летать. Но это еще не все... Если я действительно не в силах вынести такое — есть другой выход: маска остается живой и убивает тебя... твоя неверность неопровержима, но, к счастью, в маске я имею алиби... неверность — серьезная вина... маска сможет вполне удовлетвориться...

Но я не сделал и этого. Почему? Возможно, потому, что не хотел потерять тебя? Нет, именно не желая потерять тебя, я имел достаточно оснований для убийства. Бессмысленно искать разумность в ревности. Смотри, что происходит: тогда ты упорно отвергала меня, не глядела в мою сторону, а сейчас лежишь, распластавшись под маской! Жаль, что свет был погашен и я не мог увидеть всего собственными глазами, но... твой подбородок, в котором удивительно сожительствовавали зрелость и незрелость... темная родинка под мышкой... шрам от операции аппендицита... пучок вьющихся волос... Над всем этим надругались, всем завладели. Если бы только это было в моих силах, я бы хотел рассмотреть всю тебя при ярком дневном свете. Ты увидела и отвергла обиталище пиявок, ты увидела и приняла маску и поэтому не в праве была бы возмущаться, что увидели тебя. Но свет мне был ни к чему. Во-первых, я бы не мог снять очки. И главное, на моем теле были тоже различные отметки: шрам на бедре, оставшийся от того раза, когда мы давным-давно вместе ходили на лыжах, и многие другие, о которых я не знал, а ты, скорее всего, знала.

Вместо глаз я мобилизовал все, что может ощущать — колени, руки, ладони, пальцы, язык, нос, уши, — бросил их в атаку, чтобы завладеть тобой. Не упуская ничего,

что служило бы сигналом, исходящим от твоего тела, — ни дыхания, ни вдоха, ни движения суставов, ни сокращения мышц, ни выделений кожи, ни судороги голосовых связок.

И все же мне бы не хотелось превращаться в обычного палача. Из меня были выжаты все соки, я ссыхался и в то же время должен был терпеть эту безнравственность, терпеть эту борьбу. В такой агонии и смерть теряла предполагавшуюся в ней остроту, и убийство выглядело всего лишь небольшим варварством... Что же, по-твоему, заставило меня стерпеть все это? Возможно, это покажется тебе странным — достоинство, которое ты продолжала сохранять, хотя над тобой надругались. Пожалуй, «достоинство» звучит несколько странно. Нет, это совсем не было насилием, не было и односторонним беззаконием маски — ты ни разу, ничем не показала, что отвергаешь ее, и значит, тебя нужно считать скорее соучастницей. А когда соучастник держится с достоинством со своим компаньоном, это выглядит смешно. Правильнее, видимо, сказать, что у тебя был вид уверенной в себе соучастницы. Поэтому, как бы отчаянно ни боролась маска, она не смогла превратиться в развратника, не говоря уж о насильнике. Ты оставалась буквально недоступной. Но факт остается фактом — ты безнравственна и неверна. И факт остается фактом — ревность бурлила во мне, как деготь в котле, как дым, вырывающийся из трубы после дождя, как горячий источник, кипящий вместе с грязью. Но случилось непредвиденное — встав в неприступную позу, ты в конце концов не подчинилась маске, и это поразило меня, потрясло.

Нельзя сказать, чтобы мне удалось полностью постичь, что заставило тебя без всяких колебаний пойти на прелюбодеяние. Наверно, все же не чувственность. Если бы чувственность, ты должна была бы тогда более откровенно кокетничать. Но ты, точно совершая обряд, с начала и до конца усердно сохраняла невозмутимость. Я действительно не понимаю. Что происходило в тебе? Я не мог уловить и намека. Плохо еще и то, что выросшее, укоренившееся чувство поражения до самого конца — во всяком случае, до того времени, когда пишутся эти записки, — так и осталось, как несмываемое пятно. Это пожирающее внутренности самоистязание страшнее припадков ревности. Хотя я надел маску специально, чтобы восстановить тропинку и завлечь тебя на нее, ты прошла ми-

мо меня и скрылась вдалеке. И так же, как прежде, когда у меня еще не было маски, я остался один.

Не понимаю я тебя. Едва ли ты согласилась на приглашение только потому, что оно последовало и тебе было безразлично, кто приглашает, едва ли ты играла уличную женщину, но... но нет и доказательств, что это не так. Или, может быть, ты была прирожденной проституткой, а я просто этого не подозревал? Нет, проститутка не может так величественно сыграть порядочную женщину. Если бы ты была проституткой, то, удовлетворяя чужую похоть, не обливала бы человека презрением, не вынуждала к самоистязанию. Кем же ты была? Хотя маска изо всех сил старалась разрушить преграду, ты, не коснувшись, проскользнула сквозь нее. Как ветер или как дух...

Я не понимаю тебя. Дальнейшие эксперименты над тобой приведут лишь к одному — к моей собственной гибели.



Наутро... хотя какое утро, было уже около полудня... мы до самого выхода из гостиницы почти не разговаривали. Из-за того, что я все время просыпался в страхе, что во сне у меня сползет маска, из-за снов, будто я куда-то должен ехать, будто по дороге потерял билет, усталость сковала переносицу, точно туда всадили кол. Благодаря маске я смог, как и ты, не допустить на лицо усталость и стыд. Но по вине той же маски я не мог ни умыться, ни побриться. Маска, оставшаяся неизменной, туго стянула отекавшее за ночь лицо, выросшая щетина, наткнувшись на препятствие — маску, загнулась и начала вращаться в кожу — состояние ужасное. В общем, маска тоже жалкая штука. Хотелось побыстрее расстаться с тобой и вернуться в убежище.

Когда, закурив последнюю сигарету, мое настоящее лицо, вынужденное все это время играть невыгодную роль, заговорило о том, что могло вызвать у тебя муки совести, ты вдруг нерешительно протянула мне синевато-зеленую пуговицу, и я невольно вздрогнул. Это была не поднятая мной пуговица, а другая, с которой ты возилась тогда, еще полмесяца назад. В то время меня раздражало твое увлечение, но, увидев эту пуговицу снова, я, кажется, по-

нял тебя. Тонкие серебряные нити, точно вдавленные иглой, переплетались в волшебном беспорядке, прочерчивали толстую основу из лака. Казалось, в ней застыл твой безмолвный крик. Пуговица показалась мне приبلудной кошкой, которую от всей души любит и лелеет старая одинокая женщина. Наивно? Может быть. Но стоило мне подумать, что это страстный протест против «него», ни разу даже не вспомнившего о твоих пуговицах, и поступок твой сразу же показался мне хорошо продуманным... Я собирался обвинять тебя, но вместо этого обвиненным оказался сам — в общем, я научился мастерски сносить поражение. Кто, интересно, сказал глупость, будто женщиной можно завладеть?..

Улица вся блестела на свету, точно хромированная. Реальным был только оставшийся в носу запах твоего пота. Наскоро приведя в порядок лицо, я свалился на кровать и проснулся только на рассвете. Оказалось, что я проспал почти семнадцать часов. Лицо горело, точно по нему прошлись рашпилем. Открыв окно и глядя на медленно светлеющее голубизной небо, я начал прикладывать к лицу влажное полотенце. Постепенно небо стало приобретать цвет пуговицы, которую ты мне дала, а потом цвет вспененного винтом моря, уходящего за кормой. Меня охватила тоска, до боли вцепившись руками в грудь, я невольно завыл... Что за бесплодная чистота! В этой синеве жизнь невозможна. Как хорошо бы задушить вчера и позавчера, чтобы они исчезли. Если проанализировать мой план только с точки зрения формы, то нельзя сказать, что он не принес никакого успеха, но кто собрал с него урожай и какой? Если и был человек, собравший урожай, то им оказалась ты одна, без стеснения сыгравшая роль уличной женщины и, как огромная осязаемая тень, пробравшаяся сквозь маску. Но сейчас здесь осталась лишь синева неба и боль лица... Маска, которая должна была стать победителем, выглядела на столе нелепо, как непристойная картинка, после того как желание удовлетворено. Может, использовать ее как мишень для упражнений в стрельбе из духового пистолета?.. а потом разорвать на мелкие клочки, будто ничего и не было?..

Но в это время синева побледнела, улица начала обретать свое дневное лицо, и тогда мое малодушное нытье отвалилось, как старая болячка, и я был снова безжалостно возвращен к неизбежной действительности — ско-

пищу пиявок. Пусть маска больше не сможет дать мне сны, похожие на праздничный фейерверк, но еще хуже — отказаться от маски и заживо похоронить себя в каменном мешке без единого окна. После вчерашнего я еще колебался, но если бы мне удалось точно найти в нашем треугольнике центр тяжести, то, пожалуй, не было бы уж так невозможно, ловко удерживая равновесие, использовать маску. Какими бы бурными ни были мои временные эмоции, любой план требует некоторого срока для доработки — это несомненно.

Я быстро поел и раньше обычного выскочил из дому. Поскольку я должен был снова оказаться в роли «самого себя», возвратившегося из недельной командировки, сегодня после долгого перерыва лицо опять забинтовано. Выходя, я взглянул на свое лицо, отражавшееся в окне, и оторопел. Какой ужас! Я совсем по-новому осознал чувство освобождения, которое давала маска. А что, если прямо сейчас возвратиться домой?.. Такая мысль меня самого подстегнула... Это произведет на тебя впечатление — ощущения прошлой ночи, несомненно, живы еще в твоём теле. Стоит попробовать. Но смогу ли я вынести такое? — вот в чем вопрос. Уверенности, к сожалению, не было. Ощущения прошлой ночи остались и у меня. Я, наверно, терзаю тебя в припадке ярости оттого, что все обнаружилось. Но как я ни страдал, все равно хотелось на некоторое время сохранить треугольник. А нашу встречу, когда я буду «самим собой», давай отложим на то время, когда я встречу с отрезвевшим внешним миром и успокоюсь.

Но действительно ли он отрезвел, этот внешний мир? Ворота института были еще закрыты. Когда я вошел в боковую дверь, сторож, с зубной щеткой во рту, державший в руках цветочный горшок, так испугался, что на мгновение лишился голоса. Он поспешно бросился к вестибюлю, но я остановил его и попросил дать ключ. Запах химикатов был для меня привычный, как разношенные ботинки. Безлюдное здание института напоминало обитель привидений, в которой жило лишь эхо — запахи, звуки шагов. Чтобы восстановить отношения с действительностью, я повесил на дверь табличку со своим именем и быстро переоделся в белый халат. На грифельной доске был записан ход эксперимента, проводившегося ассистентом группы С. Результаты отличные. Только это и пришло мне на ум, и больше

к этой мысли я не возвращался. Находившийся в здании человек, который разжигал соперничество и ревность, был одержим жадной славой, старался обскакать других, чтобы получить зарубежную литературу, ломал голову над проблемой кадров, закатывал истерики по поводу финансирования экспериментов и вместе с тем усердно работал, находя в этом смысл жизни, был не я, а кто-то другой, очень на меня похожий. Мне представилось, что тот человек, которым был я, то же самое, какими здесь были сейчас запахи, звуки шагов... Это меня смущало. Значит, исходить нужно совсем из другого. В технике существуют свои собственные законы техники, и, каким бы ни было лицо, на них это не окажет влияния. Можно ли, например, утверждать, что химия, физика лишаются смысла, поскольку человеческие отношения всех уровней отсутствуют у водяных блох, медуз, паразитов, свиней, шимпанзе, полевых мышей. Конечно же, нет! Человеческие отношения всего лишь придаток человеческого труда. Иначе не осталось бы ничего другого, как сразу отказаться от паллиативного маскарада и покончить с собой...

Нет, просто чудится... никого нет, и поэтому слишком явственны запахи и звуки шагов. Никого это не беспокоит — все равно как небольшая рана на коже не может помешать работе... Что бы там ни говорили, то, что я здесь делаю, касается только меня. Стану ли я прозрачным, стану ли я безносым, станет ли мое лицо похожим на морду бегемота... пока я могу работать с аппаратурой, пока я могу мыслить, стрелка моего компаса всегда будет направлена на эту работу.

Неожиданно подумал о тебе. Существует мнение, что женщины ориентируют стрелку своего компаса на любовь. Достоверность этого сомнительна, но, кажется, женщина действительно может быть счастлива одной любовью. Ну, а ты сейчас счастлива?.. Вдруг мне захотелось позвать тебя своим собственным голосом и услышать в ответ твой голос. Я снял трубку и набрал номер, но после второго гудка повесил ее. Сердце не было готово. Я все еще трусил.

Тут стали собираться сотрудники, и каждый из них приветствовал меня с сочувствием, к которому примешивался некоторый страх, — и к зданию и ко мне наконец вернулся человеческий дух. Слишком уж я нервничаю. Ничего особенно хорошего не произошло, но и ничего

плохого не случилось. Если бы мне удалось в институте сделать тропинкой к другим людям работу, а недостающее восполнять с помощью маски и привыкнуть к такой двойной жизни, то, соединив их вместе, я бы превратился в идеального человека. Нет, маска не просто заменитель настоящего лица — она дает настоящему лицу фантастические привилегии в преодолении любой запретной ограды, открывает перед ним все двери, и поэтому мне придется вести жизнь не одного человека, а множества людей одновременно. Но все равно, сначала — привыкнуть. Я приноруюсь — это все равно что в зависимости от места и времени с легкостью менять одежду. Ведь и граммофонная пластинка способна одновременно издавать сколько угодно звуков...

Днем произошел незначительный инцидент. В углу лаборатории собрались в кружок несколько человек, я с безразличным видом стал приближаться к ним, и стоявший в центре молодой ассистент попытался что-то спрятать. Когда я спросил, оказалось, что и прятать-то нечего: это был подписной лист, в котором говорилось о том, как следует разрешить вопрос о возвращении на родину корейцев. Вдобавок, хотя я и не сделал ему замечания, он начал многословно извиняться, а остальные смущенно наблюдали за происходящим.

...Уж не потому ли, что человек, лишенный лица, не имеет права поставить свою подпись в пользу корейцев? Конечно, у ассистента не было злого умысла — просто он, наверно, заметил, что я возбужден, и из жалости ко мне решил держаться на почтительном расстоянии. Если бы у людей никогда не было лица, сомнительно, что могла бы возникнуть проблема расовых различий, будь то у японца, у корейца, у русского, у итальянца или у полинезийца. Все-таки почему же тогда этот молодой человек, такой великодушный, делал подобное различие между мной, лишенным лица, и корейцами, имеющими другое лицо? Нельзя ли предположить, что когда человек в процессе эволюции ушел от обезьяны, то произошло это не благодаря руке и орудью, как обычно утверждают, а потому, что он сам стал выделять себя по лицу?

Тем не менее, не возмущаясь, я попросил, чтобы мне тоже дали подписать. Все, по-видимому, облегченно вздохнули. Но какой-то неприятный осадок все равно остался. Что заставляло меня делать то, к чему совсем не лежала душа? Невидимая стена, именуемая «лицом»,

преграждала мне путь. Можно ли говорить о том, что мир отрезвел?..

Вдруг я почувствовал непреодолимую усталость и под каким-то благовидным предлогом раньше обычного ушел домой. Я еще не мог утверждать, что ко мне вернулась уверенность, будто у меня настоящее лицо, но на большие улучшения рассчитывать не приходилось. Во всяком случае, мое лицо забинтовано, и, если я не заговорю, нечего беспокоиться, что ты заметишь мое волнение, да и не я один буду волноваться. Пожалуй, гораздо больше нужно тревожиться о том, чтобы, глядя на твое волнение, притвориться, что не видишь его. Я без конца повторял себе, что даже если замечу, что ты в сильном замешательстве, это не должно взвинтить меня, заставить потеть над собой контроль.

Но, встретив меня после недельной разлуки, ты не выказала и тени стыда — во всем твоём поведении, в каждой черточке лица, точно так же, как и неделю назад, таилась насмешка, и сначала я даже оторопел от такой безучастности. Казалось, будто тебя доставили в самолете-рефрижераторе точно такой, какой ты была до моего отъезда. Возможно, мое существование так мало значило для тебя, что ты не считала нужным тратить силы на то, чтобы хранить свои тайны? Или, может быть, на самом деле ты была дьяволом в образе ангела, нахальное бесстыдство составляло истинную твою сущность? В конце концов я сердито попросил тебя рассказать, что произошло в мое отсутствие, и ты, ничуть не изменившись в лице, с невинным видом продолжая возиться с моей одеждой, начала болтать, точно ребенок, в одиночестве забавляющийся кубиками, о тревоживших тебя домашних делах: соседи, нарушая инструкции архитектурного управления, стали делать пристройку к своему дому, и у них с властями началась письменная баталия, а у их ребенка — бессонница из-за собачьего лая, ветви деревьев во дворе сильно свешиваются на улицу, может быть, стоит закрывать окно, когда мы включаем телевизор, стиральная машина противно шумит, может, купить новую. Неужели это тот самый человек, который прошлой ночью щедро, точно фонтан, переполнял меня чувством, что передо мной зрелая, настоящая женщина?.. не верится... я так отчаянно борюсь с раздвоением между лицом и маской, начавшимся уже после того, как я был во всеоружии, а ты хладнокровно выдержала раздвоение, которое

было для тебя совершенно неожиданным, и у тебя не осталось и тени раскаяния... в чем же дело?.. Как это несправедливо!.. А если сказать тебе, что я все знаю?.. будь у меня при себе та пуговица, я бы сейчас молча сунул ее тебе под нос.

Но мне оставалось одно — молчать как рыба. Открыть тайну маски — значило разоружиться. Нет, если бы мне удалось спустить тебя до одного со мной уровня, тогда бы можно и разоружиться. Но все равно баланс будет не в мою пользу. Даже если я сорву с тебя маску лицемерия, на тебе их тысяча, и одна за другой будут появляться все новые, а у меня маска одна, и под ней — только мое настоящее лицо.

Наш дом, в котором я не был уже неделю, как губка, пропитался привычной повседневностью, и стены, и потолок, и циновки на полу — все казалось неколебимо прочным, но тому, кто познал маску, эта прочность представлялась еще одной запретной оградой, тоже привычной. И так же как существование ограды было скорее условным, чем реальным, мое существование без маски стало неуловимо-призрачным; маска же, или тот, еще один мир, к которому я прикоснулся благодаря маске, представлялась мне реально существующей. Не только стены нашего дома казались мне такими, но и ты тоже... Хотя не прошло еще и суток, как я испытал безнадежное чувство поражения, которое можно сравнить только со смертью, но я уже ощущал парализующую меня жажду твоей реальности, открывшейся мне благодаря осязанию. Меня охватила дрожь. Когда крот не касается каких-либо предметов кончиками своих усов, он начинает нервничать; так и я — мне нужно было что-нибудь трогать руками... так чувствует себя наркоман, у которого кончился наркотик, хотя он прекрасно понимает, что это сильнейший яд... вероятно, я уже начал ощущать симптомы запрета...

Дольше я не мог терпеть. Мне было все равно, я хотел одного — скорее приплыть обратно, к твердой земле. Я считал, что это наш дом, а он оказался временным пристанищем, и подумал даже, что как раз маска — не «временное» лицо, а настоящая твердая земля, излечившая меня от морской болезни. И я решил уйти сразу же после ужина, под тем предлогом, что неожиданно вспомнил об эксперименте, прерванном на время моей командировки, который нужно было закончить как можно быстрее. Я сказал, что это такой эксперимент, который нельзя

прерывать, и, может быть, придется заночевать в институте. И хотя такого раньше никогда не случалось, ты сделала вид, что сожалеешь, и ни малейшего сомнения, ни малейшего недовольства не отразилось на твоём лице. Действительно, стоило ли принимать близко к сердцу какой-то предлог, придуманный привидением без лица, чтобы переночевать вне дома.

Не доходя до своего убежища, я, не в силах больше терпеть, позвонил тебе.

— Он... вернулся?

— Да, но вскоре ушел. Сказал, что работа...

— Хорошо, что ты подошла. Если бы он — пришлось бы сразу бросить трубку.

Я говорил беззаботно, что было логическим продолжением моего безрассудства, но ты, чуть помолчав, сказала тонким голоском:

— Жаль его очень...

Эти слова просочились в меня и, как чистый спирт, мгновенно разлились по всему телу. Если вдуматься, это была первая твоя мысль о «нем». Но сейчас мне было не до того. Я утону, если мне сейчас же не бросят бревно ли, железную бочку — все равно, было бы за что ухватиться... Существой он на самом деле, наша тайная встреча была бы чистым безрассудством. Он мог вернуться в любую минуту, по любому делу. И даже если бы не вернулся, вполне мог позвонить по телефону. Ладно бы днем, но как ты оправдаешь уход из дому в такое время? Я думал, что тебе придет на ум именно эта мысль и ты будешь, конечно, колебаться... Но ты сразу же без колебаний согласилась. Интересно, ты тоже, наверно, ничуть не хуже меня барахталась в волнах, высматривая, за что бы ухватиться? Да нет, просто ты такая же бесстыдная. Притворщица, лицемерка, наглая, вертихвостка, развратница, эротоманка — скрипя зубами, я криво усмехнулся, бинты скрывали это, а потом бившая меня дрожь прекратила скрежет и заморозила улыбку.

Кто же ты, наконец? Кто же ты, прошедшая через все, не противясь, не робея, не ломая преграды, соблазнившая соблазнителя, заставившая развратника заниматься самоистязанием, ты, над которой так и не надругались? И ведь ты ни разу не пыталась спросить маску об имени, фамилии, занятии... будто рассмотрела истинную ее сущность... как бледнеют и свобода маски, и ее алиби перед

твоим поведением... если бог есть, пусть он сделает тебя охотником за масками... во всяком случае, меня ты подстрелила...



На дорожке у черного хода меня кто-то окликнул. Дочь управляющего. Она требовала йо-йо. Я едва было не ответил, но это продолжалось лишь мгновение, а потом, в ужасе запрокинув голову, я чуть не убежал. Договаривался ведь с девочкой не я, а маска. С трудом сдерживаясь, в смятении, я жестом показал, что не догадываюсь, о чем идет речь, — единственное, что мне оставалось. Нужно было дать понять девочке, будто я думаю, что она просто обозналась.

Но девочка, не обращая никакого внимания на устроенный мной спектакль, повторила свое требование: йо-йо. Может быть, она думала примитивно, что, поскольку «маска» и «бинты» — братья, договор с одним автоматически распространяется и на другого? Нет, это заманчивое объяснение было начисто разбито словами девочки:

— Не беспокойтесь... Ведь мы играем в секреты...

Неужели она меня с самого начала раскусила?! Как же ей это удалось? Где я допустил ошибку? Может быть, она сквозь щель в двери видела, как я надеваю маску?

Но девочка, недоверчиво покачивая головой, без конца повторяла, что не понимает, зачем я делаю вид, что не понимаю. Наверно, моя маска не в состоянии обмануть даже глаза недоразвитой девочки... нет, наоборот, пожалуй, именно потому, что девочка умственно отсталая, она смогла увидеть меня насквозь. Так же как моей маске не удастся провести собаку. Нерасчлняющая интуиция часто оказывается острее аналитического взгляда взрослого человека. Но конечно же, у маски, которая смогла обмануть даже тебя, находившуюся совсем рядом, не может быть такого недостатка.

Нет, значение этого опыта далеко не так просто, как выискивание алиби. Неожиданно я увидел бездонную глубину этой «нерасчлняющей интуиции» и был уже не в силах сдержать охватившую меня дрожь. Та же интуиция наводила на мысль, что весь мой опыт, приобретенный в течение этого года, может рассыпаться в прах от одного

удара. ...Ну подумай сама, разве не свидетельствует это о том, что девочку не обманул мой внешний вид — бинты, маска и она разглядела мою сущность? Такие глаза действительно существовали. В глазах этого ребенка мой поступок был, несомненно, шуткой.

И горячие порывы маски, и досада из-за пиявок вдруг представились мне бесконечно ничтожными, и вращавшийся со скрипом треугольник, как карусель, у которой выключили мотор, стал постепенно останавливаться...

Оставив девочку за дверью, я вынес ей йо-йо. Она еще раз тихонько прошептала: «Играем в секреты», а потом по-детски, не в силах спрятать улыбку в углах рта, намотала на палец нитку и вприпрыжку побежала вниз. Без всякой причины глаза мои налились слезами. Умыв лицо, я стер мазь, нанес клейкий состав и надел маску, но почему-то она не прилегла плотно к лицу! А, все равно... Я был спокойно-печален, как поверхность застывшего озера под облачным небом, но все время повторял себе, что должен до конца поверить глазам ребенка. У всякого, кто серьезно хочет общаться с другими людьми, есть лишь один выход — сперва вернуться к той самой интуиции...



В тот вечер, возвратившись после второго свидания с тобой, я наконец решился начать эти записки.

В самый волнующий момент нашей близости я готов был сорвать маску. Невыносимо было видеть, как ты, без тени сомнения, дала соблазнить себя моей маске, которую легко разгадала даже дочь управляющего. К тому же я просто устал. Из средства вернуть тебя маска превращалась в скрытую кинокамеру, помогающую убедиться в твоём предательстве. Я сделал маску, чтобы возродить себя, но стоило ей появиться, как она вырвалась из рук, то с наслаждением убегая от меня, то злясь за то, что я стою на ее пути. И только ты, оказавшись между нами, осталась незадетой. Что было бы, если б я позволил событиям так развиваться и дальше? «Я» при любом удобном случае пытался бы убить маску, а «маска», оставаясь маской, всеми способами удерживала бы меня от мести. Она бы, например, отговаривала убить тебя...

В конце концов, если я не хотел обострять положение, не оставалось ничего другого, как ликвидировать этот треугольник путем трехстороннего соглашения, в котором должна участвовать и ты. Вот почему я и начал писать эти записки... Вначале маска презрительно отнеслась к моему решению, но не могла ничего поделать и стала молча насмехаться надо мной... с тех пор прошло почти два месяца. За это время мы встретились с тобой еще раз десять, и каждый раз меня терзала мысль о надвигающейся разлуке. Это не пустые слова, меня действительно терзала такая мысль. Нередко мной овладевало отчаяние, и я уже совсем было бросил свои записки. Я все надеялся, что произойдет чудо — проснувшись однажды утром, я обнаружил, что маска плотно прилипла к лицу и превратилась в мое настоящее лицо, я даже пробовал спать в маске. Но чудо не свершалось. И я продолжал писать — другого выхода у меня не было.

В те дни меня больше всего воодушевляло наблюдение за девочкой, которая, спрятавшись от посторонних глаз в укромном уголке у черного хода, тихонько играла со своим йо-йо. Девочка, отягченная огромной бедой и не сознающая, что это беда, — насколько счастливее она нормальных людей, страдающих от своих бед. Может быть, это был инстинкт — она не боялась что-либо потерять. И я, так же как девочка, хотел оказаться способным пережить свои потери.

Случайно в сегодняшней газете я увидел фотографию странной маски. Кажется, маски какого-то дикого племени. Шедшие по всему лицу борозды, будто вдавленные веревкой, образовывали геометрический рисунок; похожий на сороконожку нос, извиваясь посередине лица, доходил чуть ли не до волос; с подбородка свисали какие-то непонятные предметы. Печать была нечеткой, но я как зачарованный неотрывно смотрел на фотографию. Раздвоившись, на фотографии всплыло татуированное лицо дикаря, всплыли прикрытые чадрой лица арабских женщин, и я вспомнил услышанный от кого-то рассказ о женщинах из «Повести о Гэндзи»¹, которые считали, что обнажить лицо перед незнакомцем — то же, что обнажить срам. Да не от кого-то, а от тебя. Это услышала маска в одну из наших встреч. Зачем понадобилось тебе

¹ Японский роман XII века.

заводить такой разговор? Те женщины были убеждены, что мужчине можно показать лишь волосы, и даже умिरалли они, прикрыв лицо рукавом кимоно. Пытаясь разгадать твой замысел, я много думал о женщинах, прятавших свое лицо, и неожиданно перед моими глазами развернулись, как свиток, те времена, когда не существовало лиц,— я был потрясен. Значит, еще в древности лицо не было тем, что выставляют напоказ, и только цивилизация направила на лицо яркий свет, и впервые лицо превратилось в душу человека... а если лицо не просто существовало, а было создано, значит, и я, собираясь изготовить маску, на самом деле никакой маски не сделал. Это мое настоящее лицо, а то, что я считал настоящим лицом, на самом деле оказалось маской... ну ладно, хватит, теперь уж все равно... кажется, и маска собирается как-то поладить со мной, так что, пожалуй, на этом можно и кончить, как ты считаешь?.. только потом, если удастся, хотелось бы выслушать и твое признание... не знаю, куда нас все это заведет, но думаю, нам есть еще о чем поговорить.

Вчера для нашей последней встречи я передал тебе план, как попасть в мое убежище. Условленное время приближается. Не пропустил ли я чего-нибудь? А-а, все равно, времени уже нет. Маска с сожалением расставалась с тобой. Та пуговица принадлежит маске, давай похороним их вместе.

Итак, ты уже все прочла. Ключ лежит под пепельницей у изголовья — я хочу, чтобы ты открыла платяной шкаф. Прямо перед собой ты увидишь резиновые сапоги, а левее — останки маски и пуговицу. Делай с ними что хочешь — предоставляю это тебе. К твоему приходу я уже буду дома. От всей души надеюсь, что, когда ты вернешься, у тебя будет обычное выражение лица, точно ничего не произошло...

Записки для себя,
сделанные на последних страницах серой тетради

...Я все ждал. Просто продолжал ждать совершенно бесчувственно, как росток в поле, который всю зиму топчут ногами, и ему остается одно — ждать, когда подадут знак и разрешат поднять голову...

Представляя тебя, сидящую в неудобной позе — даже ноги не успела вытянуть — и читающую эти тетради в моем убежище, я превратился в первобытное чудовище с одним-единственным нервом и тихо парил в бесцветных пустых ожиданиях...

Но странно, в моем уме только всплывал твой образ, а след, который оставляют в тебе эти записки, я совсем почему-то не мог уловить. Больше того, даже содержание записок, много раз перечитанных мной, которые я должен был знать настолько, чтобы, не сходя с места, прочесть наизусть с начала до конца, это содержание, словно пейзаж сквозь грязное стекло, ускользало от меня, и я не мог различить даже нить, благодаря которой жили бы воспоминания. Мое сердце было бесчувственно-холодно и просолено, как сушеная каракатица. Может быть, потому, что я на все махнул рукой — сколько теперь ни суетись, изменить уже ничего нельзя. Такую же точно опустошенность я испытывал, закончив серию опытов. И чем важнее были опыты, тем глубже была опустошенность.

Результатом нашей рискованной игры и было мое состояние — решай все ты, пусть выпадет любая кость. Я прекрасно понимал, что разоблачение маски больно ранит тебя, тебе станет стыдно. Но и ты своим предательством нанесла мне удар — так что мы квиты, ничья. Все равно у меня нет никаких оснований держаться вызывающе, и я отнюдь не собираюсь попрекать тебя, какой бы ни была твоя реакция на эти записки. Пусть положение еще хуже, чем было до маски, и наши отношения как бы вмерзли в глыбу льда, все равно я готов принять любую твою реакцию на записки — во всяком случае, будет хоть какое-то решение.

Нет, может быть, это нельзя назвать решением в полном смысле слова, но хотя бы каким-то выходом. Горькое раскаяние, досада, чувство поражения, проклятие, самоуничтожение... я скомкал все злые мысли, которые охватили меня, и, хорошо ли, плохо ли, вздохнул с облегчением, будто сделал огромное дело. Нельзя, конечно, сказать, что мне не хотелось, чтобы все было по-хорошему, но одно то, что даже в постели я не сорвал маску, а предпочел рассказать тебе обо всем в записках, одно это означало, что я выбросил белый флаг. К чему бы это ни привело, все лучше, чем любовный треугольник — самоотравление ревностью, разраставшейся, точно раковые клетки.

Но все же, если вдуматься, нельзя утверждать, что я не собрал никакого урожая. И хотя на первый взгляд мои старания были напрасны и я ничего не добился, все равно пережитое не прошло для меня бесследно. Во всяком случае, одно то, что я понял — настоящее лицо всего лишь несовершенная маска, — разве это не колоссальное приобретение? Может быть, я был слишком оптимистичен, но это мое понимание превратилось для меня в огромную силу, и мне казалось, что если я обречен навеки быть закованным в глыбу нетающего льда, то и в этой глыбе льда смогу отыскать жизнь и уж постараюсь во второй раз не предпринимать напрасных усилий... но лучше подумать обо всем этом на покое, после того, как ты вернешься, держа в руках условия капитуляции. Сейчас, во всяком случае, мне оставалось одно — ждать.

Как марионетка с перерезанными ниточками, я бесильно рухнул на пол, мне хотелось одного — уменьшить, насколько возможно, сопротивление потоку времени. Светлый прямоугольник неба, вырезанный оконной рамой и соседним домом, казался тюремной оградой. Я не отрывал от него глаз, стараясь убедить себя в этом. И мысль, что заключенный не я один, что весь мир — огромная тюрьма, соответствовала моему тогдашнему состоянию. Я продолжал свою мысль: каждый стремится вырваться из этого мира. Однако настоящее лицо, сделавшись ненужным, как хвост человеку, неожиданно обернулось кандалами, и нет никого, кому бы удалось вырваться. Я — другое дело... я единственный, кому удалось, пусть на короткий миг, вкусить жизнь за оградой. Я не вынес ее слишком плотной атмосферы и сразу же вернулся обратно — это верно, но я познал эту жизнь. И если не отрицать жизни за оградой, настоящее лицо — не что иное, как модель несовершенной маски, — не всеяет никакого чувства превосходства. Теперь, когда ты услышала мое признание, думаю, ты не сможешь возразить, во всяком случае против этого.

Однако по мере того, как бетонная стена, закрывшая небо, постепенно теряла цвет и растворялась во мраке, меня начала охватывать непреодолимая злоба — к чему все эти усилия абстрагироваться оттого, что время безжалостно движется. До какого места ты дочитала? Нетрудно прикинуть, если знать, сколько в среднем страниц можно прочесть в час. Предположим, в минуту одна страница, значит, шестьдесят страниц... с тех пор прошло

четыре часа двадцать минут, следовательно, ты вот-вот должна кончить. Но ты, конечно, отвлекалась, не могла не перечесть некоторые места. Были моменты, когда, стиснув зубы, как во время качки на море, тебе приходилось перебарывать себя. Но все равно, сколько бы ты ни прерывала чтение, тебе потребуется еще не больше часа.

...Тут я без всякой причины вскопчил и сразу же подумал, что, в общем, никакой необходимости вставать у меня не было, но желание лечь снова пропало. Я встал, зажег свет и поставил на плиту чайник.

По дороге из кухни я неожиданно почувствовал твой запах. Видимо, это был запах косметики, исходивший от туалетного столика, стоявшего в спальне у самой двери.

Подступила тошнота, как это бывает, когда глубоко в горле смазывают йодом. Наверно, моментальная реакция выползших наружу пиявок. Но я, уже игравший однажды в спектакле масок, имел ли я теперь право брезгливо морщиться от косметики, которую употребляют другие? Нужно быть терпимее. Раз и навсегда я должен подняться над детским предубеждением против косметики и париков. Тогда, следуя методу, каким лечат от отвращения к змеям, я решил сконцентрировать все свое внимание на психологии косметики. Косметика... изготовление лица... оно, естественно, представляет собой отрицание настоящего лица. Отважное усилие — изменив выражение лица, постараться хоть на шаг приблизиться к чужому человеку. Но когда косметика приносит ожидаемый эффект... могут ли женщины не испытывать тогда ревность к этой косметике? Что-то незаметно... и вот что странно... почему даже самая ревнивая женщина никак не реагирует на чужого человека, захватившего ее лицо? От скудости воображения или из духа самопожертвования?.. а может быть, от избытка и самопожертвования, и воображения, не дающего установить разницу между собой и чужим человеком?.. Все это било мимо цели и совсем не излечивало от отвращения к косметике. (Сейчас, конечно, все иначе. Сейчас бы я продолжил, думаю, так. Женщины способны на ревность к своей косметике, видимо, потому, что интуитивно убеждаются в падении ценности настоящего лица. Они, забыв о собственности, инстинктивно чувствуют, что ценность настоящего лица — не более чем реликт того времени, когда наследственная собственность была гарантией положе-

ния в обществе. Может быть, это доказывает, что они гораздо реалистичнее и разумнее мужчин относятся к авторитету настоящего лица? Правда, те же женщины налагают запрет на косметику, когда это касается детей. Может быть, где-то у них гнездится беспокойство? Но все равно ответственность за это лежит не столько на отсутствии уверенности у женщин, сколько на консерватизме начального образования. Если со школьной скамьи внедрять в сознание учащихся представление о пользе косметики, то, естественно, и мужчины будут воспринимать косметику без сопротивления... Ну, ладно, хватит. Сколько бы возможных объяснений я ни давал, в конечном счете это лишь жалкие оправдания осужденного. Во всяком случае, ясно одно — даже маска не в состоянии излечить мое отвращение к косметике.)

Чтобы отвлечься, включил телевизор. Не везет, так не везет — показывали иностранную хронику, как раз шла передача о выступлении американских негров. Несчастного негра в разодранной рубахе волочили белые полицейские, а диктор деловито вещал:

— Расовые беспорядки в Нью-Йорке, вызвавшие столько беспокойства на пороге долгого черного лета, привели к результатам, которые и предсказывались компетентными лицами. Улицы Гарлема наводнило более пятисот полицейских в касках, негров и белых. Приняты предупредительные меры, как летом 1943 года. В ряде церквей одновременно с воскресной службой проводятся митинги протеста. И полицейские, и жители Гарлема смотрят друг на друга с презрением и недоверием...

Мной овладело отвратительное ощущение боли и тоски, точно в зубах застряла острая рыба кость. Конечно, между мной и негром нет ничего общего, за исключением того, что мы превратились в объект дискриминации. У негра есть товарищи, такие же, как он, я же совершенно одинок. Негритянская проблема может стать серьезной социальной проблемой, а то, что касается меня, остается в рамках, ограниченных мной одним, и ни на шаг не сможет вырваться из них. Но от этих сцен волнений у меня захватило дух, потому что я вдруг представил себе собравшихся вместе несколько тысяч мужчин и женщин, так же, как я, потерявших лицо. Интересно, поднимемся ли мы против предрассудков так же решительно, как негры? Нет, это невозможно. Скорее мы передеремся между собой, так как нам опротивеет безобразие друг друга, или

же разбежимся кто куда, чтобы не видеть друг друга. Нет, такое бы еще можно вынести. Но меня, кажется, захватила мысль об этих волнениях. Без всякой видимой необходимости, воспользовавшись первым попавшимся поводом, полчища нас, чудовищ, пойдут в атаку на лица обыкновенных людей. Из ненависти? Или, может быть, из вполне утилитарного тайного стремления уничтожить нормальное лицо и хотя бы одним человеком пополнить свои ряды? И то, и другое могло, несомненно, послужить достаточно веским стимулом, но над всем преобладало страстное желание простым солдатом затеряться в водовороте восстания. Ведь именно солдат ведет совершенно анонимное существование. Хоть он и не имеет лица, это не препятствие для выполнения долга, и, таким образом, смысл существования для него обеспечен. Неожиданно окажется, что безликая воинская часть — идеальное формирование. Идеальная боевая часть, которая, не дрогнув, пойдет на разрушение ради разрушения.

В мечтах все могло произойти именно так. Но в действительности я был по-прежнему одинок. Я, не убивший и пичужки, хотя в кармане лежал духовой пистолет. С отвращением выключив телевизор, посмотрел на часы — время, которое я тебе отпустил, истекает...

И тут я окончательно потерял покой. Я прислушивался к каждому звуку, ежеминутно поглядывал на часы — отвратительное чувство, как при наводнении, когда неумолимо прибывает вода. Стой, шаги!.. нет, залаяла соседская собака, видимо, чужой. А сейчас? Опять не то... у тебя шаги не такие тяжелые. Вот подъехала машина, хлопнула дверца, но, к сожалению, в переулке за домом. Мне становилось все тревожнее. Что же наконец произошло? Не случилось ли чего? Может, попала в аварию? Может, преследует какой-нибудь развратник?.. но, тогда могла бы по крайней мере позвонить... даже ты, так любящая разврат... не нужно, есть вещи, над которыми нельзя шутить... то, что произошло, покрыто такой нежной, такой тонкой кожей, что ее нельзя касаться словами...

Если я так беспокоюсь, то, может быть, лучше пойти тебе навстречу? Нечего пороть горячку. Выйди я сейчас, и мы разминемся — этим дело и кончится. Даже если ты уже дочитала, тебе могло потребоваться больше времени, чем я предполагал, на то, чтобы переварить прочитанное, чтобы обдумать, как лучше ответить мне. Кроме того, тебе предстояло еще похоронить маску, кото-

рую я поручил твоим заботам. Тетради ты оставишь как вещественное доказательство, но все равно, чтобы без остатка стереть все следы этого дурного сна, ты захотела на мелкие кусочки раскрошить, разорвать маску и пуговицу — и это тоже потребовало, возможно, больше времени, чем я рассчитывал. В общем, теперь все дело во времени. Не исключено, что ты уже на пути к дому. Еще через три минуты ты поднимешься на крыльцо, как обычно, коротко позвонишь два раза... Еще две минуты... Еще минута...

Не вышло. Попробую еще раз сначала. Еще пять минут... еще четыре минуты... еще три минуты... еще две минуты... еще одна минута... Я без конца повторял и повторял это, и уже девять часов, десять часов, стрелки подходят к одиннадцати. Мои нервы напряглись, превратились в стальные трубки, которые звенели, резонируя в такт уличному шуму. Я шепотом задавал себе вопросы. Что же еще могло произойти?.. куда ты могла пойти, кроме дома?.. но ответа никакого не получал... вполне естественно... ответа и не могло быть... если ты правильно поняла мои записки...

Неожиданно я начал ругаться. Ругаясь, судорожно обматывал бинтами лицо, потом, едва прикрыв дверь, выскочил на улицу. Чего я мешкаю! Если так, нужно наконец решиться! Ведь, может быть, уже поздно! Поздно? Что поздно? Я и сам как следует не знал, почему употребил это слово, но предчувствия были мрачными, наполненными трагической атмосферой несчастья, точно меня загнали глубоко в горло чудовища.

...И предчувствия эти оправдались. Было около двенадцати, когда я подошел к дому, где снимал комнату. Свет в комнате не горел, не было никаких признаков, что в ней кто-то есть. Нешадно ругая себя за самоуверенность, с которой я ждал до такого позднего часа, я поднялся по черной лестнице и, ощущая во рту горечь, открыл дверь. Сердце громко стучало, точно билось о тонкую парафиновую бумагу. Убедившись, что из комнаты не доносится ни звука, я зажег свет. Тебя не было. Твоего трупa тоже. В комнате ничего не изменилось с тех пор, как я покинул ее. На столе аккуратно лежали три тетради и даже записка на листке бумаги, в которой я писал, чтобы ты начала читать с первой страницы первой тетради, осталась лежать, прижатая бутылочкой чернил. Может быть, ты вообще не появлялась в этой комнате? Я все больше

недоумевал... хотя мне было бы легче, если бы ты исчезла, не прочитав, а не скрылась, прочтя. Несчастье все равно произошло. Заглянул в шкаф. Не было никаких признаков, что ты касалась маски и пуговицы.

Хотя, постой... запах... запах, несомненно, твой — к нему примешался легкий запах плесени и пыли. Значит, ты здесь все-таки появлялась. Но то, что все, вплоть до записки, осталось на своих местах, можно воспринять как знак, что ты игнорировала тетради... но тогда почему же ты зашла так далеко?

Случайно взглянув на записку, я вздрогнул. Бумага была та же, на которой писал я, но почерк совсем другой. Это было письмо ко мне, которое ты написала на обороте записки. Видимо, сбежала, прочитав тетради. И так, произошло самое худшее из того, что я предполагал.

Нет, не нужно так легко употреблять слова «самое худшее». Содержание письма превзошло все мои предположения, ошеломило меня. Страх, растерянность, боль, страдание — все это не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытал. Как в загадочной картинке, где один штрих превращает блоху в слона, все мои попытки превратились в противоположное тому, на что я рассчитывал. Решимость маски... идеи маски... борьба с настоящим лицом... все мои надежды, которые я пытался осуществить с помощью этих записок, обернулись глупым фарсом. Ужасно. Кто бы мог вообразить, что человек способен так насмеяться над собой, так оплевать самого себя?..

Письмо жены

То, мертвое, что лежит в шкафу, — не маска, а ты сам. О твоём маскараде знала не только девочка, игравшая с йо-йо. С самой первой минуты... с той самой минуты, когда ты самодовольно говорил о возмущении магнитного поля, я поняла все. Ты поинтересуешься, как я это поняла, — не спрашивай, пожалуйста, больше ни о чем. Я, конечно, растерялась, была смущена, испугана. Что ни говори, это были дерзкие действия, которых даже невозможно было ожидать от тебя, человека самого заурядного. И поэтому, когда я увидела, как самоуверенно ты ведешь себя, мне показалось, что у меня галлюцинация. Ты прекрасно знал, что я вижу тебя насквозь. И, зная, ты все равно настаивал на том, чтобы мы продолжали этот спектакль. Вначале все представилось мне ужас-

ным, но потом я взяла себя в руки и подумала, что ты делаешь это ради меня. Ты вел себя несколько смущенно, был нежен со мной, мягок, казалось, ты приглашаешь меня на танец. И когда я увидела, как ты изо всех сил стараешься быть серьезным и делаешь вид, будто ты обманут, сердце мое наполнилось благодарностью и мне захотелось послушно пойти за тобой.

Но ты ведь все время заблуждался. Ты пишешь, будто я оттолкнула тебя,— это ложь. Разве не ты сам себя оттолкнул? Состояние, когда хочешь оттолкнуть себя, мне кажется, я понимаю. И поскольку с тобой такое случилось, я почти примирилась с мыслью разделить твои страдания. Вот почему я обрадовалась твоей маске. Даже о том, что случилось, я думала со счастливым чувством. Любовь срывает маски, и поэтому нужно стараться надеть маску для любимого человека. Ведь если не будет маски, не будет и счастья срывать ее. Ты меня понимаешь?

Не можешь не понять. До самой последней минуты у тебя были сомнения: не настоящее ли лицо то, которое ты считал маской, не маска ли то, что ты считал настоящим лицом? Разве не так? Конечно, так. Любой, кого соблазняют, поддается соблазну, прекрасно это сознавая.

Итак, маска уже не возвратится. Вначале с помощью маски ты хотел вернуть себя, но с какого-то момента ты стал смотреть на нее лишь как на шапку-невидимку, чтобы убежать от себя. И поэтому она стала не маской, а другим твоим настоящим лицом. Правда? Наконец ты предстал в своем истинном облике. Это была не маска, это был ты сам. Только если не скрываешь от другого, что маска есть маска, имеет смысл надеть ее. Возьми косметику женщин, столь не любимую тобой,— никто не пытается скрыть, что это косметика. В общем, плохой была не маска, просто ты плохо знал, как с ней обращаться. Доказательство? Хотя ты и надел маску, все равно ничего не смог сделать. Не смог сделать ни хорошего, ни плохого. Лишь бродил по улицам, а потом написал эти признания, бесконечные, как змея, ухватившая себя за хвост. Было бы обожжено твое лицо или нет, надел бы ты маску или нет — на тебе бы это никак не отразилось. Ты не можешь позвать маску обратно. И поскольку не вернется маска, стоит ли возвращаться и мне?..

Но все равно признания страшные. Мне казалось, будто меня, совершенно здоровую, насильно положили на

операционный стол и режут и кромсают сотнями мудреных скальпелей и ножниц неизвестного назначения. Под этим углом зрения прочти еще раз то, что ты написал. И ты обязательно услышишь мои стоны. Если бы у меня было время, я бы объяснила тебе значение каждого моего стоны. Но я боюсь, что замешкаюсь и ты успеешь прийти. Ты моллюск. Хоть ты и говоришь, что лицо — тропинка, связывающая людей, но сам ты моллюск, ты точно таможенный чиновник, только и стараешься захлопнуть створки дверей. Ты, такой благородный, не можешь успокоиться, поднимаешь шум, будто я, которую ты изо всех сил удерживал за стеной, перебралась через эту стену, не уступающую тюремной ограде, и похитила твою жену. И ты, не произнеся ни слова, поспешно заколотил створки маски, как только в поле зрения оказалось мое лицо. Действительно, как ты говоришь, мир наполнен смертью. Но разве сеять смерть не занятие подобных тебе людей, не желающих знать никого, кроме себя?

Тебе нужна не я — тебе нужно зеркало. Любой чужой человек для тебя не более чем зеркало с твоим отражением. Я не хочу возвращаться в эту пустыню зеркал. Мое сердце готово разорваться от твоего издевательства — никогда, никогда в жизни я не примирюсь с ним.

(Дальше идут еще две строчки, зачеркнутые так густо, что прочесть ничего не возможно.)



...Какой неожиданный удар. Сразу распознав в моей маске маску, ты продолжала притворяться обманутой. Тысячегие черви стыда поползли по мне, выбирая места, где легко появляется гусиная кожа, — подмышки, спину, бока. Нервы, ощущающие стыд, наверняка находятся у самой поверхности кожи. Я покрылся сыпью позора, вспух, точно утопленник. Пользоваться избитым выражением, что я не хочу быть клоуном, не сознающим себя клоуном, бессмысленно, так как сами эти слова стали словами клоуна. Ведь ты меня видела насквозь. Не похоже ли это на театр, в котором играл всего один актер, считавший себя невидимым, полный веры в лживые заклинания, даже не представляющий, что он весь на виду. Кожу вспахивали мурашки стыда. А в бороздах вспахан-

ной кожи выростали иглы морского ежа. Еще немного, и я превращусь в колючее животное...

Я стоял покачиваясь, в полной растерянности. А когда увидел, что и тень тоже покачивается, понял, что это не мое воображение — я действительно покачиваюсь. Да я допустил непростительную ошибку. Где-то сел, видимо не в тот автобус. До какого же места должен я возвратиться, чтобы пересесть на нужный мне? Все еще покачиваясь, пытался освежить память, сверяясь с затертой, перепачканной картой.

Поздняя ночь, полная ревности, когда я решил писать эти записки... день соблазнения, когда я впервые заговорил с тобой... утро, когда я решил, что стану развратником... улыбающийся рассвет, когда была закончена маска... хмурый вечер, когда я взялся за изготовление маски... и долгий период бинтов и пиявок, которые привели меня к этому... нужно дальше возвращаться?.. Хоть я и зашел так далеко, но, если сделаю пересадку не там, где нужно, мне придется искать пункт отправления совсем в другой стороне. Неужели и правда во мне всегда была гнилая вода, как ты утверждаешь?..

В общем-то, мне незачем покорно принимать твое обвинение. И прежде всего трудно согласиться с мыслью, что семена смерти сеет тот, кто, подобно мне, не желает знать никого, кроме себя. Само выражение «не желает знать никого, кроме себя» представляется мне чрезвычайно метким и интересным, но рассматривать его в более широком смысле, чем следствие, — при любых условиях значит приписывать ему больше, чем оно заслуживает. Не желать знать никого, кроме себя, — всегда следствие, но никак не причина. Дело в том (я писал об этом и в записках), что современному обществу необходимы главным образом абстрактные человеческие отношения, и поэтому даже люди, которые, подобно мне, лишились лица, могут беспрепятственно получать жалованье. В естественных условиях мы находим конкретные человеческие отношения. Окружающие воспринимаются как стбросы, самое большое, на что они способны, — влачить жалкое существование лишь в книгах и в одиноких островках, именуемых семьей. Сколько бы телевизионные спектакли на семейные темы ни пели приторных дифирамбов семье, мир вне семьи, в котором одни лишь враги и распутники, именно этот мир определяет цену того или иного человека, устанавливает ему жалованье, гаранти-

рует его жизненные права. Каждого чужого сопровождает запах яда и смерти, и люди в конце концов начинают страдать чужефобией. Одиночество, конечно, тоже страшно, но еще страшнее быть преданным чужой маске. Мы не хотим играть роль выброшенных из современности болванов, которые подобоострастно цепляются за чужие химеры. Бесконечное, монотонное повторение дней кажется полем боя, превратившимся в повседневность. Люди целиком посвящают себя тому, чтобы опустить на лицо железную штору, запереть ее на замок и не дать чужому проникнуть внутрь. А если все идет хорошо, они мечтают о невыполнимом (точно так же, как моя маска) — о том, чтобы убежать от своего лица, хотят даже стать прозрачными. Нет такого чужого человека, о котором можно было сказать, что его узнаешь, если захочешь. В этом смысле ты, убежденная, что словами «не желаю знать никого, кроме себя» можно пришить другого человека, подвержена тяжелому недугу нежелания знать никого, кроме себя, согласна?

Теперь уж, конечно, нечего вдаваться в подобные мелочи. Существенны не рассуждения, не оправдания, а факты. Два твоих замечания поразили меня в самое сердце, смертельно ранили. Первое — это, конечно, жестокое признание, что, разоблачив истинную сущность маски, ты продолжала делать вид, будто мне удалось обмануть тебя. И второе — беспощадная критика за то, что, нагромождая одно оправдание на другое — у меня, мол, алиби, у меня анонимность, у меня цель в чистом виде, я просто ломаю запреты, — на самом деле я не подкрепил свои слова ни одним настоящим действием и только и осилил что эти записки, напоминающие змею, ухватившуюся за собственный хвост.

Моя маска, на которую я возлагал надежды, как на стальной щит, разлетелась на куски легче, чем стекло, — здесь уж нечего возразить. Действительно, я чувствую, что маска была не столько маской, сколько чем-то близким новому, настоящему лицу. И если отстаивать мою теорию, что настоящее лицо — несовершенная копия маски, значит, я, затратив огромный труд, создал фальшивую маску.

Возможно, подумал я, неожиданно вспомнив о маске дикарей, которую я недавно видел в газете. А может быть, она-то и представляет собой настоящую маску? Может быть, справедливо назвать ее маской именно по-

тому, что она не имеет ничего общего с настоящим лицом? Огромные, вылезавшие из орбит глаза, огромный клыкастый рот, нос, утыканный блестящими стеклышками, и с двух сторон от его основания — завитки, закручивающиеся по всему лицу в водовороты, вокруг которых, точно в стрелах, торчат длинные птичьи перья. Чем больше я смотрел на нее, тем чудовищней, нереальной она казалась. Но по мере того, как я присматривался, точно собираясь надеть ее на себя, я начинал постепенно читать идею этой маски. Видимо, она являла собой выражение иступленной молитвы — стремление превзойти все человеческое и войти в сонм богов. Какая ужасающая сила воображения! Потрясающая конденсация воли, призванная противостоять запретам природы. Может быть, и мне следовало бы остановиться именно на такой маске, если бы я мог ее сделать. Тогда бы я должен был с самого начала расстаться с чувством, будто таюсь от других...

Ничуть не бывало. Я говорил с такой горячностью, что ты имела все основания издеваться над мудреным скальпелем и ножницами неизвестного назначения. Если хорошо быть чудовищем, то, может быть, нет особой нужды в маске и одних пиявок вполне достаточно? И боги стали другими, и люди стали другими. Люди начали с эпохи изменения лица, прошли через эпоху, когда лицо прикрывали, как это делали арабские женщины, женщины из «Повести о Гэндзи», и пришли к нынешней эпохе открытого лица. Я не собираюсь утверждать, что такое движение — прогресс. Его можно считать победой людей над богами и в то же время рассматривать как покорность им. Потому-то мы и не знаем, что будет завтра. Не исключено, что завтра неожиданно наступит эпоха отказа от настоящего лица. Но сегодня не век богов, а век людей. И в том, что моя маска имитировала настоящее лицо, были свои причины.

Ну хватит. Причин я привел больше чем достаточно. И если искать оправданий, их можно найти сколько угодно. Но сколько бы я их ни выстраивал в ряд, все равно мне не опровергнуть те два факта, на которые ты указала. Тем более что против твоего второго замечания, что моя маска, в конце концов, не смогла ничего сделать и занималась лишь оправданиями, возразить нечего, наоборот, я сам без конца доказываю это. Хватит позорить себя. Если бы я только выставил себя на посмешище, потерпел крах, куда ни шло, но все мои мучения оказались

напрасными — вот это более чем грустно и так стыдно, что я не в силах даже оправдываться. Все настолько явно, что можно прийти в отчаяние. Безупречное алиби, безграничная свобода — и все равно никакого результата. К тому же, оставив этот подробный письменный отчет, я собственными руками уничтожил свое алиби, и теперь уж ничего не поделаешь. Не похож ли я на отвратительного импотента, способного лишь на красивые слова о половом влечении...

Да, единственное, о чем стоит еще написать, — это о кинофильме. По-моему, это произошло примерно в начале февраля. В записках я совершенно не касался этого фильма, и не столько потому, что он не имел ко мне никакого отношения, сколько потому, что слишком касался меня... Я невольно избегал говорить о нем, чувствуя, что он сводит на нет всю мою трудную работу по созданию маски. Но теперь я уже дошел до предела, и суеверия ни к чему. Или, может быть, оттого, что положение изменилось, я теперь воспринимаю его по-другому. Действительно, то, что я увидел, не было простой жестокостью. Фильм был несколько необычным и не имел особого успеха, но название его ты, наверно, помнишь: «Одна сторона любви».



Застывший пейзаж. На фоне его, спотыкаясь, бредет тоненькая девушка в простеньком, но опрятном платье, ее профиль прозрачен, как у привидения. Она идет по экрану справа налево, поэтому видна только левая половина ее лица. На заднем плане железобетонное здание, и девушка идет, почти касаясь этого здания невидимым зрителю правым плечом. Она как будто стыдится людей, и это очень гармонирует с ее скорбным профилем и еще больше усиливает жалкое впечатление, которое она производит.

На той стороне улицы трое парней хулиганского вида, облокотившись на рельс, ограждающий тротуар от мостовой, поджидают жертву. Один из них, заметив девушку, свистнул. Но девушка на это не реагирует, точно лишена органов, воспринимающих внешние раздражения. Другой из компании, подстрекаемый свистом това-

рища, поднявшись, приближается к ней. Привычным движением он, сквернословя, грубо хватая сзади девушку за левую руку, пытаясь притянуть ее к себе. Девушка, будто готовая к этому, останавливается и медленно поворачивается в сторону парня ...и открывшаяся правая сторона ее лица оказывается безжалостно искромсанной желтоидными рубцами и совершенно обезображенной. (Подробного объяснения не было, но потом в фильме часто повторяется слово «Хиросима», видимо, девушка — жертва облучения.) Парень замирает, не в силах вымолвить ни слова, а девушка, отвернувшись и снова обретя лицо прекрасного призрака, уходит, будто ничего не случилось...

Потом девушка проходит несколько улиц, отчаянно борясь с собой каждый раз, когда оказывается на открытом месте, ничем не защищенном справа, или на перекрестке, который должна пересечь (я так близко принимал это к сердцу, что буквально вскакивал со своего места), и наконец подходит к баракам, окруженным колючей проволокой.

Странные строения. Будто мы неожиданно вернулись на двадцать лет назад — по внутреннему двору бродят солдаты, одетые в форму старой армии. Одни с отсутствующим видом, будто восстали из могил, отдают приказы и сами их выполняют, другие маршируют, через каждые три шага становятся во фронт и отдают честь. Среди них наибольшее впечатление производит старый солдат, без конца повторяющий рескрипт императора, обращенный к солдатам. Слова стерлись и потеряли смысл — сохранился лишь общий контур и тон.

Это психиатрическая больница для бывших военных. Больные не знают о военном поражении и живут прошлым, оставаясь во времени, остановившемся для них двадцать лет назад. Походка девушки, проходившей мимо солдат, становится до неузнаваемости легкой и спокойной. Она ни с кем не разговаривает, но между ней и больными ощущается взаимное доверие и близость, как между друзьями, хотя сейчас им и очень некогда. А девушка, в то время как санитар за что-то благодарит ее, начинает стирать белье, пристроившись в уголке барака. Эту благотворительную работу она избрала сама и делала ее раз в неделю. Когда девушка поднимает голову, в промежутке между строениями виднеется освещенное солнцем пространство, где дети беззаботно играют в мяч.

Потом сцена меняется. Теперь мы видим девушку у себя дома. Дом ее — маленькая мастерская на окраине, где штампуют из жести игрушки,— прозаический, унылый дом. Но когда зритель видит то справа, то слева раскрасневшееся лицо девушки, с неприятным обликом дома происходит странная перемена и даже стоящие в ряд незамысловатые ручные прессы начинают жалобно стонать. И пока с раздражающей скрупулезностью воспроизводятся эти детали повседневной жизни, возникает тревога за будущее девушки, которое никогда не наступит, за прекрасную половину ее лица, которое никогда не оценят. В то же время ясно, что такое сочувствие раздражает девушку, неприятно ей. Поэтому не будет ничего неожиданного, если в один прекрасный день она в порыве отчаяния обольет кислотой нетронутую половину лица и сделает ее такой же, как обезображенная. Правда, если она и сделает так — все равно это не выход. Но никто не вправе обвинять девушку в том, что ей в голову не пришел какой-то другой выход.

И еще один день. Девушка, повернувшись к брату, неожиданно говорит:

— Война. Что-то она долго не начинается?

Однако в тоне девушки не слышится ни нотки враждебности к другим людям. Она говорит это совсем не потому, что жаждет отомстить тем, кто не искалечен войной. Просто питает наивную надежду, что если начнется война, то сразу же произойдет переоценка ценностей, интересы людей сосредоточатся не столько на лице, сколько на желудке, не столько на внешней форме, сколько на жизни. Брат, казалось, понимает смысл вопроса и бросает в ответ безразличным тоном:

— Уж порядочно... Но на завтра даже погоду точно не могут предсказать.

— Да, если бы так просто было узнать, что случится завтра, то гадалки остались бы без хлеба.

— Конечно. Возьми войну — только после того, как она начнется, узнаешь, что она началась.

— И верно. Если заранее знать, что ушибешься, никто бы не ушибался...

То, что о войне говорилось так, в безразличном тоне, будто от кого-то ждали письма, было горько, создавало невыносимую атмосферу.

Но на улицах нет ничего, что предвещало бы восставление в правах желудка и жизни. Кинокамера ради

девушки мечется по улицам, но единственное, что ей удается подметить,— это непомерная алчность, безжалостное растрачивание жизни. Бездонное море выхлопных газов... бесчисленные стройки... ревушие дымовые трубы грязных, пропыленных заводов... мчащиеся пожарные автомобили... отчаянная толчея в увеселительных заведениях и на распродажах... беспрерывные звонки в полицейском участке... бесконечные вопли телевизионной рекламы.

В конце концов девушка понимает, что больше она не в силах ждать. Что дольше ждать нельзя. Тогда она, никогда ни о чем не просившая, с мольбой обращается к брату. Она просит его поехать с ней куда-нибудь далеко-далеко (хоть раз в жизни). Брат сразу же замечает, что она делает упор на слове «жизнь» больший, чем на слове «раз», но он не чувствует себя вправе и дальше обречь сестру на одиночество, и он, кивнув, соглашается, ведь любить — значит разделять горе.

И вот через несколько недель брат и сестра уезжают. Погруженная во мрак комната в провинциальной гостинице, обращенная к морю. Сестра, изо всех сил стараясь, чтобы изуродованная сторона лица оставалась в тени и брату была видна лишь прекрасная половина, завязывает волосы лентой, она необычайно оживлена, радостна. Она говорит, что море бесчувственно. Брат отвечает, что это неверно, что море прекрасный рассказчик. Но они расходятся только в этом. В остальном же, даже в самых мелочах, они в полном согласии, точно возлюбленные, каждое слово приобретает для них двойной смысл. Взяв у брата сигарету, девушка пытается курить. Их возбуждение переходит в приятную усталость, и они ложатся рядом на постели. Через окно, которое они оставили открытым, чтобы можно было увидеть луну, сестра наблюдает, как одна за другой падают золотые капли, заливающие границу между морем и небом. Она обращается к брату, но тот не отвечает.

Наблюдая, как поднимается луна, похожая на спину золотого кита, девушка все ждет чего-то, но тут же, вспомнив, что они поехали к морю, чтобы прекратить ожидание, кладет руку на плечо брата, трясет его, стараясь разбудить, и шепчет:

— Ты меня не поцелуешь?

Брат слишком растерян, чтобы и дальше притворяться спящим. Приоткрыв глаза и глядя на прозрачный,

точно фарфор, профиль сестры, он не в силах обругать ее, но и не может, конечно, выполнить такую просьбу. Однако сестра не сдаётся.

— Завтра ведь может быть война...— умоляя, задыхаясь, заклиная, шепчет она, все приближая и приближая губы к его губам.

Так отчаянное разрушение запрета порождает безумное неполное сгорание между двумя молотками, бьющими не в такт — между злостью и желанием. Любовь и отвращение... нежность и желание убить... согласие и отказ... ласки и побои — все ускоряющееся падение, играющее непримиримыми страстями, падение, отрезающее путь назад... Если назвать это бесстыдством, то разве хоть кто-нибудь из их поколения может избежать того, чтобы не быть втянутым в подобное бесстыдство?

Небо посветлело, приближается рассвет. Девушка, прислушиваясь к дыханию спящего брата, тихонько поднимается и начинает одеваться. У изголовья брата она кладет заранее приготовленные два конверта и крадучись выходит из комнаты. Как только дверь за ней затворилась, брат, который, казалось, спал, открывает глаза. С полуоткрытых губ срывается глухой стон, по щекам текут слезы. Он встает с постели, подходит к окну и, со скрипом сжав зубы, осторожно смотрит, чуть высунувшись над подоконником. Он видит, как девушка, точно белая птица, стремительно бежит к мрачно вздымавшемуся морю. Волна раз за разом отбрасывает белую птицу, но, наконец поборов ее, девушка, то исчезая, то показываясь вновь, плывет в открытое море.

Брату становится невозможно стоять на коленях на жестком полу, вдали всплывает линия красных фонарей, и это на миг отвлекает его внимание, а когда он снова смотрит туда, где раньше белой точкой плыла сестра, уже ничего не видно.



Все твердо убеждены, что сказка о гадком утенке обязательно заканчивается лебединой песней. Вот тут-то и возникает оппортунизм. Хорошо самому испытать то, что испытывает лебедь. Какую бы песню ни пели тебе другие — это смерть, полное поражение. Мне это отворачи-

тельно. Увольте. Если я умру, никто не подумает обо мне, как о лебедь, и, значит, я могу рассчитывать на победу. ...Когда я посмотрел этот фильм, он вызвал лишь раздражение, но сейчас другое дело. Я не могу не завидовать той девушке.

Она по крайней мере действовала. С каким огромным мужеством разрушила она, казалось бы, непреодолимую запретную ограду. Ну, а то, что она умерла,— так ведь это же по своей собственной воле, и насколько это лучше, чем бездействовать. Вот почему эта девушка заставила совершенно постороннего человека испытать горькое чувство раскаяния, ощутить себя чуть ли не соучастником преступления.

Ладно, я тоже дам маске еще один шанс, к счастью, она еще существует. Мне все безразлично, поэтому нужен такой поступок, который бы разрушил нынешнее положение и спас мои попытки от небытия. Одежда, в которую я переодевался, и духовой пистолет лежали на своих местах. Стоило мне размотать бинты и надеть маску, как тут же в моем психологическом спектре произошли изменения. Например, ощущение настоящего лица, что мне уже сорок лет, превратилось в ощущение, что мне еще только сорок лет. Посмотрев в зеркало, я испытал радость, будто встретился со старым другом. С мушиным жужжанием маска стала снова заряжаться характерными для нее опьянением и самоуверенностью, о которых я совсем забыл. Не нужно делать поспешных выводов. Маска не была права, но и не ошибалась. Нельзя найти ответа, который бы подходил ко всем случаям жизни.

Точно скованный, я вышел на ночную улицу. Было так поздно, что уже исчезли прохожие, небо, взлохмаченное, точно больная собака, нависло над самыми крышами. Сырой ветер, от которого запершило в горле, предвещал дождь. В ближайшей телефонной будке я стал перелистывать телефонную книгу, пытаюсь найти, где бы ты могла укрываться. Дом твоих родителей, дом твоей школьной подруги, дом твоей двоюродной сестры.

Но все три попытки окончились ничем. По туманным ответам — хочешь верь, хочешь не верь — трудно было понять правду. Я в какой-то степени был готов к этому и не особенно пал духом. Может быть, поехать домой? До последней электрички есть еще немного времени, а если не успею, можно взять такси.

Постепенно во мне нарастает злоба. Я понимаю твое возмущение, но это ведь, так сказать, вопрос самолюбия и гордости — клоун заставил тебя сойтись с ним. Я не собираюсь относиться к твоей гордости как к ненужному аппендиксу, но я могу лишь пожать плечами — стоит ли она того, чтобы из-за нее вручать ноту о разрыве отношений. Хочу спросить: какую сторону лица сестры целовал брат в этом фильме? Вряд ли ты сможешь ответить. Ведь ты не помогла мне, как помог брат своей сестре. Хотя ты и признавала необходимость маски, тебе она была послушна, не способна нарушить запрет. ...Ну, а теперь берегись. Теперь тебя преследует маска — дикий зверь. Поскольку разоблачена истинная ее сущность, она превратилась в маску уже не слабую, когда она была ослеплена ревностью, а в маску, способную преступить любой закон. Ты сама вырыла себе могилу. Никогда еще написанное мной не приносило подобных плодов.

Неожиданно я услышал острое постукивание женских каблуков. Остается одна маска — я исчезаю. В мгновение, не раздумывая ни минуты, я спрятался за углом, спустил предохранитель пистолета и затаил дыхание. Для чего я все это делал? Может быть, это просто спектакль, чтобы испытать себя, а может быть, я и в самом деле что-то замыслил? Я не могу ответить себе на этот вопрос до того, как женщина не окажется на расстоянии выстрела, до самого последнего, решающего мгновения.

Но давай подумаем. Сделав это, смогу ли я превратиться в лебедя? Смогу ли заставить людей почувствовать себя соучастниками преступления? А нужно ли это? Ясно одно — я могу лишь стать распутником, брошенным на произвол судьбы. Мое преступление будет смехотворным, и поэтому меня оправдают — вот и все. Между кинофильмом и действительностью существует, видимо, разница. Все равно, ничего не поделаешь — чтобы победить настоящее лицо, другого пути нет. Я знаю, конечно, вина не одной маски, дело скорее во мне самом... но то, что заключено во мне, заключено не только во мне одном — это нечто общее, что есть во всех других людях, и поэтому я не должен всю эту проблему взвалить лишь на свои плечи... обвинить меня одного не удастся... я ненавижу людей... я не намерен признавать необходимость оправдываться перед кем бы то ни было!

Шаги все ближе...

Больше никогда писать не смогу. Писать следует, видимо, только тогда, когда ничего не случается.



СОЖЖЕННАЯ КАРТА

РОМАН







Город — замкнутая бесконечность. Лабиринт, в котором ни за что не заблудишься. Это карта только для тебя, все районы на ней имеют одинаковые номера.

Поэтому, даже если ты и собьешься с пути,— заблудиться не сможешь.

ГОСПОДИНУ НАЧАЛЬНИКУ ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛЬНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ ЧАСТНОГО СЫСКОГО АГЕНТСТВА

ЗАЯВЛЕНИЕ О РОЗЫСКЕ

Цель заявления — найти местонахождение пропавшего. Имя пропавшего — Хироси Нэмуру. Пол мужской. Возраст 34 года. Занятие — начальник отдела торговой фирмы «Дайнэн». Пропавший — муж заявительницы. С тех пор как он исчез 6 месяцев назад, никаких известий от него не поступало. Доверяю ведение дела по розыску, готова предоставить все имеющиеся сведения.

Поручаю вам ведение этого дела. Оплату всех расходов, связанных с розыском, беру на себя. Обязуюсь хранить в тайне полученные от вас данные, не разглашать их и не использовать во зло.

Имя заявительницы: *Хару Нэмуру* (подпись)

2 февраля 1967 года

Выжав сцепление, переключаю скорость. Для двадцатисильной малолитражки такой подъем — чрезмерная нагрузка.

Дорога не асфальтированная, а покрытая грубым бетоном, и, видимо, для того чтобы предотвратить скольжение, через каждые десять сантиметров в нем прорезаны узкие бороздки. Но пешеходам от этого пользы мало. К тому же пыль и крошки от стирающихся на шершавом бетоне покрышек постепенно забили все неровности, и в дождливый день, если ботинки на резине, да еще старые, идти по такой дороге — дело, наверно, нелегкое. Видно, она рассчитана на автомашины. Бороздки через каждые десять сантиметров, по всей вероятности, могут сослужить им службу. Не исключено, что они эффективны и для отвода воды в кювет, когда талый снег и грязь забивают водостоки.

Впрочем, все эти ухищрения напрасны, так как машин здесь совсем мало. Из-за отсутствия тротуара во всю ширину дороги, поглощенные беседой, не обращая ни на что внимания, идут несколько женщин с сумками в руках. Посигналив, проезжаю между женщинами. И в тот же миг резко торможу. Из-за поворота внезапно вывернулся мальчишка на роликах и несется прямо на машину, завывая, как сирена.

Слева — крутая стена, сложенная из камней. Справа — почти отвесный обрыв, начинающийся сразу же за низким, лишь для видимости, металлическим ограждением и глубоким кюветом. Побледневшее лицо мальчишки, который, пытаюсь ухватиться за ограждение, растянулся поперек дороги. Ничуть не лучше и мое состояние — сердце подпрыгнуло к самому горлу и бешено забилося там. Я начал было опускать стекло, собираясь обругать мальчишку, но под осуждающими взглядами женщин, дружно устремленными на меня, смешался и отказался от своего намерения. Пожалуй, лучше оставить его в покое. Не хватает мне еще влипнуть в историю: разозлю женщин, и они взвалют на меня вину за ссадины, которые получил мальчишка. Они ведь не побоятся дать ложные показания. А обстоятельства мои сейчас таковы, что я должен быть чист как стеклышко.

Нажал на акселератор. Нещадно чадя, машина медленно, с трудом двинулась вперед. И сразу же поворот. В зеркале уплывают в сторону женщины, участливо обступившие мальчишку, который не разбился в кровь,

костей не поломал — в общем, остался цел и невредим, — и вместо них появляется белесое небо, похожее на погасший телевизионный экран. Неожиданно дорога становится ровной. Срезав вершину холма, забетонировали большую площадку — теперь тут конечная остановка автобуса. Неподалеку стоит скамейка, прикрытая от дождя навесом, телефонная будка, а рядом с кирпичным барьерчиком, ограждающим то, что летом превратится, возможно, в цветочную клумбу, даже фонтанчик для питья. Потом снова начинается крутой, хотя и короткий подъем. И тут же огромный плакат, небрежно выкрашенный в желтый цвет, наподобие дорожного знака: «Без особого разрешения въезд автомашин в жилой район воспрещен». Игнорируя это основательно сооруженное, с иероглифами, четко выписанными специально нанятым человеком, почти оскалившее клыки повеление, одним духом беру остаток подъема.

И сразу же пейзаж резко меняется. Прямая белая дорога кажется бесконечной, продолжающейся в белесом небе. На глаз ширина ее метров десять. Оба тротуара отделены от дороги полосами увядшего газона, обнесенного невысокой оградой, и, видимо, потому, что увядание не одновременно, желтая трава перемежается зеленой, странно подчеркивается перспектива. И в самом деле, хотя справа и слева стоит всего по шесть домов — четырехэтажных, шесть квартир на каждом этаже, — создается иллюзия бесконечности. Лишь фасады домов выкрашены в белый цвет, торцы же заляпаны грязно-зеленой краской, и такая пестрота, видимо, еще больше оттеняет определенную геометрическую особенность пейзажа. Дорога служит как бы осью, по обеим сторонам которой раскинулись крылья жилого района, причем в ширину застройка больше, чем в глубину, и, видимо, для лучшей освещенности, дома стоят в шахматном порядке, отчего влево и вправо взгляд наталкивается на сплошные белые стены, подпирающие молочно-белый небесный свод.

Пронзительно плачет оставленный без присмотра в красной коляске ребенок, укутанный с головой в пеленку. Мимо него на серебристо поблескивающем легком велосипеде с переключением скоростей, громко смеясь, проносится мальчишка с посиневшими от холода щеками. На первый взгляд улица кажется оживленной, но на фоне этого пейзажа, далекого, точно смотришь в пере-

вернутый бинокль, люди почему-то кажутся какими-то фантастическими существами. Впрочем, если прижиться здесь, все, возможно, будет восприниматься иначе. Пейзаж все удаляется и становится прозрачным, точно его вообще не существует, и только моя фигура возникает в нем, как на проявляющемся негативе. Достаточно уж того, что узнаешь сам себя. Ведь пеналы, в которых по порядку разложены абсолютно одинаковые жизни, сколько бы сотен этих семей ни было, представляют собой застекленные рамки с вставленными в них портретами членов семьи.

Хигаси, 3-12. Хигаси — Восток — означает правую сторону улицы. Третий номер означает третий от меня дом, выходящий на улицу. Двенадцать — номер квартиры на втором этаже, в левом крыле дома. В промежутках между газонами в ряд стояли таблички с надписью: «Вход воспрещен», «Стоянка запрещена», но я, не обращая на них внимания, остановил машину у дома. Вещи — небольшой черный чемоданчик со всем необходимым, своего рода реквизитом. Длина — пятьдесят, ширина — сорок, толщина — меньше двадцати сантиметров... крышка твердая и ровная, так что чемодан всегда можно использовать вместо стола, а кроме того, около ручки незаметно вмонтирован микрофон и там же устройство, позволяющее, не открывая чемодана, включать находящийся в нем магнитофон. Помимо этого, ничего примечательного в чемодане нет. Можно лишь упомянуть, что он обтянут искусственной замшей, сильно потертой от долгого употребления. Ко дну чемодана по углам предусмотрительно прикреплены металлические накладки. В общем, типичный чемодан коммивояжера. Такой вид чемодана вполне устраивал меня, но, с другой стороны, иногда и мешал.

Вдруг в лицо ударяет ветер, колючий, как осколки льда. Беру чемодан, пересекаю тротуар и вхожу в темный прямоугольник, прикрытый узким козырьком. Вбегаю вверх по лестнице — звук шагов напоминает постукивание по пустой железной бочке. В два ряда восемь почтовых ящиков... на полоске бумаги, прикрепленной клейкой лентой, под выведенной белой краской цифрой «12» можно прочесть написанное мелко от руки «Нэму-ро»... может быть, заранее начать внутренне подготавливать себя, не спеша поднимаясь по лестнице?.. и тогда, как только я узнаю, что нужно клиенту, сразу же при-

ступлю к исполнению роли, которую он потребует от меня... такова уж наша работа — создавать впечатление, что тебе все ясно, но в этом, как ни странно, шаблонов не бывает.



Белая металлическая дверь с темно-зеленым наличником. Белая кнопка звонка на треснутой пластмассовой крышке. Косо отдергивается угол шторы, прикрывающей окошечко величиной с открытку, прорезанное посредине двери на уровне лица, слышится звук снимаемой цепочки, ручка поворачивается, и тяжело, точно в ней тонна веса, дверь открывается. Слабый запах горящего керосина. Женщина открывает дверь в два приема: сначала чуть-чуть, потом почти настежь, — и, отступив на шаг, я вижу, что прижимает руки к груди. Она стоит против света, и лицо ее трудно рассмотреть, но я вижу, что женщина гораздо моложе, чем я предполагал. Из-за того что она маленького роста, шея кажется длинной и тонкой, и, будь здесь хоть чуточку темнее, я бы, пожалуй, принял ее за ребенка.

Протянув визитную карточку, представляюсь сдержанно, на манер банковского служащего. Правда, сам я ни разу не видел, как здороваются банковские служащие, но их манера здороваться представлялась мне смесью учтивости и безграничной самоуверенности, на что способен лишь человек, не испытывающий ни малейшего смущения. В данном случае это не было спектаклем, рассчитанным на то, чтобы вызвать доверие клиентки. Поскольку я пришел по ее просьбе, мне нет нужды навязывать свой товар. Но если хочешь сохранять дистанцию между собой и клиентом, подобная манера держаться лучше всего. Такова уж профессия — все равно на тебя часто смотрят с подозрением. Перед теми, кто ненавидит змей, не следует разыгрывать представление со змеями.

Женщина говорит хриплым голосом, точно шепчет. Не из-за волнения — у нее, видимо, от природы такой голос. И очень странная манера говорить — кажется, будто она все время сосет леденец; это почему-то уми-

ротворяет меня, я вздыхаю с облегчением. Так открывается занавес моих полутемных служебных обязанностей в этой полутемной прихожей.

Сразу же слева маленькая кухня, она же столовая. Дальше отгороженная тяжелой портьерой общая комната, она же гостиная. Комната, примыкающая к ней справа, если смотреть от прихожей,— спальня.

В гостиной, у самого входа, круглая керосиновая печка, в которой дрожит кольцо голубого пламени. Посреди комнаты круглый стол. Почти до пола свисает скатерть из пластика с напечатанным на ней кружевным узором. Половина левой стены занята книжными полками, другая половина — окном. На стене, против двери, вырезанная, наверно, из журнала репродукция картины Пикассо, на которой изображена женщина, одновременно смотрящая влево и вверх. Судя по тому, что литография заключена в рамку, она, несомненно, рассчитана на то, чтобы привлечь внимание гостей. Рядом с ней, гораздо больших размеров,— чертеж, мотор в разрезе. Чертеж мотора рассечен прямыми линиями и снабжен какими-то надписями красной шариковой ручкой. Слева от окна — треугольная полочка для телефона. В углу у противоположной стены, граничащей с соседней комнатой,— стереопроектор, явно самодельный. Над ним динамики, под прямым углом прикрепленные к стене, один против другого. Не уничтожается ли стереозвук от того, что они взаимно гасят звук? Мне предложен стул, стоящий спинкой к проектору. Попросив прощения за то, что вынуждена оставить меня в одиночестве, женщина, видимо, чтобы приготовить чай, раздвинула портьеру и скрылась на кухне. От движения воздуха запах керосина исчез и появился запах косметики, оставленный женщиной.

Как только она скрылась за портьерой, сразу же все, вплоть до ее образа, стало расплывчатым, неуловимым. Я противлюсь этому. Еще раз принимаю и, убедившись, что запаха табака, запаха мужчины нет, закуриваю. Отвернув свисающий до пола конец скатерти, убеждаюсь, что под столом нет ничего подозрительного. И все-таки какое-то странное ощущение. Зимой солнце садится рано, и оконное стекло стало окрашиваться в пурпурный цвет, но все же еще не пришло время зажигать электричество. Присмотревшись, можно даже различить валяющийся под телефонной полочкой черный колпачок от авторучки. Я, несомненно, видел эту женщи-

ну, но... во всяком случае, когда она предложила мне сесть и мы оказались друг перед другом через стол на расстоянии меньше чем в два метра... так и не могу взять в толк, почему же все-таки образ ее так сразу расплылся. Ведь вот уже четыре года я занимаюсь подобными делами. У меня уже выработалась привычка, даже совсем бессознательно, рефлекторно, схватывать характерные особенности человека, которого я увидел, и тут же мысленно рисовать его портрет, а в случае необходимости моментально восстанавливать его в памяти. К примеру, тот мальчишка на роликах... пальто темно-синее, суконное, со слишком широким воротником, кое-где порванное... шарф серый, шерстяной... туфли белые, парусиновые, внешние углы глаз опущены, волосы жесткие, растрепанные, брови образуют почти прямую линию, под носом краснота. К счастью, дорога шла круто в гору, тормоз сработал, и все кончилось благополучно, но, будь подъем вдвое положе, а лошадиных сил в машине вдвое больше, как бы резко я ни тормозил, все равно бы не успел и правая нога мальчишки, который выставил ее, изо всех сил стараясь повернуть влево, чтобы избежать столкновения с машиной, обязательно оказалась бы под колесами. Хорошо еще, если бы отделался переломом. Мальчишка, потерявший из-за роликов устойчивость, при столкновении с автомобилем отлетел бы в сторону и ударился головой о металлическое ограждение. И даже если бы не раскроил себе череп, легко мог сломать шейные позвонки. Закатившиеся глаза, изо рта, из ушей, пенясь, течет сверкающе чистая красная кровь... и меня бы сейчас здесь, конечно, не было...

За портьерой звон посуды... но не фарфора, а стекла... в такое время года вряд ли это будет холодное питье... но угостит ли она меня чем-нибудь алкогольным?.. вряд ли... то, что обычно начинается чуть позже,— это всегда сцена непреодолимой печали, хотя степень ее бывает разная... наверно, готовит мне чашку зеленого чая, и, конечно, у нее все из рук валится... неслышные движения женщины... монотонный звук льющейся из крана воды... если все пойдет, как обычно, она немного повздыхает, а потом пристанет с разговорами и будет болтать без умолку через портьеру — это ее не остановит; а я, прекрасно понимая причину этого — больная находит утешение уже в том, что выслушивают ее жалобу, — охлаждаю ее пыл, начав обсуждать расходы, в общем, буду иг-

рать довольно неприглядную роль — ничего другого мне не останется, но...

Женщина, которую я не могу вспомнить... женщина, точно фокусник, взмахом портьеры стершая свое лицо... неужели оно настолько лишено индивидуальности?.. но хотя лица ее я и не могу вспомнить, зато о ее одежде в состоянии написать целое исследование. Проникнув сквозь одежду, вполне можно представить себе ее тело. Не скажешь, что худа, сложена пропорционально, изящна. Кожа, наверно, гладкая, правда, не особенно белая, спина определенно покрыта нежным пушком. Впадина вдоль позвоночника глубокая, ровная. Возраст — да, ничего не скажешь, она более зрелая женщина, чем показалось сначала в темной прихожей, — но все равно ее девичья фигура, с грудью не большой, но и не маленькой, выглядит удивительно законченной, очень подходящей для новейших модных танцев, требующих подвижного тела. Мне удалось так далеко зайти в своем воображении, что казалось, если мысленно сделать еще один шаг и представить себе, какие черты лица подходят этому телу...

Если строить догадки, опираясь только на воображение, у нее должно быть привлекательное лицо, четко очерченное, очень подвижное... так я безуспешно пытался нарисовать портрет, но ничего не получалось... что-то бледное и невыразительное, как подтек на стене, может быть, покрытое веснушками, всплывало в памяти... но если отвлечься от лица, то, например, волосы, прическу могу вспомнить... черные, сравнительно мягкие, струящиеся через гребень, длинные распущенные волосы, скрывающие левую половину чистого лба... падающий из окна свет создает вокруг головы золотистый ореол — наверно, потому, что она не пользуется маслом для волос... чистый лоб... да, высокий, очаровательный лоб... до него только и удалось добраться. В чем дело?.. может быть, женщина сознательно не дает прочесть выражение своего лица?.. или за время краткого пребывания в комнате она продемонстрировала пять-шесть выражений, причем абсолютно разных?.. уж не скрывает ли она чего-то?.. а если так — порученное дело потребует от меня гораздо больше хитрости и изворотливости, чем я предполагал... скоро уже три минуты, как она ушла на кухню... только распалила мое воображение, с нетерпением закуривая вторую сигарету... закуривая, встаю и, обойдя стол, останавливаюсь у окна...

Окно с частыми переплетами, но, поскольку они алюминиевые, тонкие, видно из него хорошо. Прямо перед окном, через выложенный бетонными плитами десятиметровый тротуар,— северная стена дома Хигаси, 2. На темной гладкой стене лишь пожарная лестница, окон нет. Внизу слева далеко видна широкая улица, по которой я приехал сюда. Прижавшись лицом к стеклу, можно увидеть и мой автомобиль. Если же подойти вплотную к книжной полке, слева от окна, дорога в другую сторону видна до самого спуска, и, поскольку эта перспектива под углом примерно в тридцать градусов пересекается с торцом соседнего дома, тротуар виден лишь до противоположного конца дома 2.

Примерно посредине, между тем местом, откуда я смотрю, и моей машиной, растерянно замигали ртутные лампы уличных фонарей. Наверно, какая-то неисправность, и автоматический выключатель реагирует на нее. А может быть, просто пришло время их зажигать. Прохожих стало несравненно больше, и не только женщин, возвращающихся с покупками, но главным образом мужчин, спешащих с работы домой. Наверно, подошел автобус. Если смотришь сверху вниз, ясно осознаешь, что люди — шагающие животные. Кажется даже, что они не столько шагают, сколько, борясь с земным притяжением, усердно тащат свой мешок из мяса, набитый внутренностями. Все возвращаются. Приходят туда, откуда ушли. Уходят для того, чтобы прийти обратно. Прийти обратно — цель, и, чтобы сделать толстые стены наших домов еще толще и надежней, уходят запастись материалом для этих стен.

Но изредка появляется человек, который уходит и не возвращается...



— Итак, каковы ваши предположения? Рассказывайте по порядку все, что вспомните.

— Нечего рассказывать. У меня просто нет никаких предположений.

— Достаточно того, что вы вспомните. Даже если вы не располагаете никакими доказательствами и подтверждениями...

— Угу... Ну, тогда спички...

— Что такое?

— Спичечный коробок... в кармане плаща вместе со спортивной газетой лежал коробок спичек, взятый в каком-то кафе, но...

— О-о, это интересно...— Снова разглядываю лицо с моментально исчезающим выражением,— лицо, приводящее меня в замешательство, и снова чувствую себя неудобно. Лицо, которому бы очень пошла легкая улыбка в границах робкого равновесия, поразительно безмятежно, будто исчезновение мужа превратилось в источник успокоения. Уж не потому ли, что из-за горя и отчаяния, длящихся полгода, пружина, приводившая в движение волю, лопнула, утонула в безграничной отрешенности? А может быть, черты ее лица — не исключено, что она красавица,— как-то сместились, точно я смотрел на нее сквозь несфокусированную линзу.— Если рассматривать этот спичечный коробок как улику...

— Да нет... просто он лежал в кармане плаща.

— Видите ли. Если вы подтвердите свое заявление, которое вы нам подали, мы, естественно, немедленно начнем розыск. Но я хочу еще раз объяснить, что внесенный вами задаток составляет недельные расходы по розыску и, если за это время нам не удастся найти вашего мужа, гонорар, предусмотренный при успешном завершении розыска, вы платить не будете. Но и внесенные в качестве задатка тридцать тысяч иен также не будут возвращены. В случае же продолжения розыска придется внести еще тридцать тысяч иен. Помимо этого, вы должны будете оплатить текущие расходы...

— Расписаться здесь?

— Но учтите, сведения настолько скудны, что розыск может оказаться безрезультатным. Это моя профессия, и мне, в общем-то, все равно, но подумайте, не выбрасываете ли вы на ветер тридцать тысяч иен. Может быть, у вас есть какие-нибудь пожелания? За кем конкретно мы должны, по-вашему, следить, где, по-вашему, мы должны искать?..

— Если бы я знала...— Женщина отрицательно покачала головой, глотнув, точно пробуя на вкус пиво, от которого я отказался, так как был за рулем:— Да вот взять хоть, к примеру... того человека — возможностей, казалось бы, у него сколько угодно... а у кого ни спрашивал, говорят, причину понять не могут...

— Возможностей?

— По работе...

— Вы что ж, сами занимались розыском? Прошло то уже полгода...

— Да, мой брат...

— А, это тот, который подошел к телефону. Он так разговаривал, будто считает себя вашим доверенным лицом. В таком случае кратчайший путь — поговорить с самим братом.

— Но я не знаю точно, где он живет...

— Ну, это уж слишком. Тот, кто ищет пропавшего без вести, сам пропал без вести! Заколдованный круг какой-то.

— Брат не пропадал без вести. Раз в три дня он обязательно звонит мне... я все мечтаю, хоть бы муж по телефону позвонил. Я бы тогда перестала жить в постоянном страхе... ужасно тяжело — ведь не знаешь, что его к этому побудило.

— Но я не заметил, что вы живете в таком уж страхе.

— Странно, правда? Привычная выдержка, видимо.

— Вы, значит, все поручили брату, а сами ничего не предпринимали?

— Я ждала. Изю дня в день, изю дня в день...

— Ждали, и больше ничего?

— Брат был против, да и я боялась оставлять надолго дом.

— Почему?

— А вдруг, как раз когда меня не будет дома, вернется муж? Что он будет делать?.. разминемся мы, и все...

— Теперь объясните, почему брат был против.

— Видите ли...— Выражение лица женщины становилось все более далеким, расплывчатым, веснушки под глазами похожи на вуаль, обволакивающую ее сон.— Брат, во-первых, из-за того, о чем я сказала, ну и потом у него были какие-то свои ссображения... кроме того, у меня самой и сил бы не хватило... но мне уже стало невозможно ждать... и поэтому брат наконец уступил, и я решила обратиться к вам...

— Вы много пьете?

Женщина, удивленно посмотрев на меня, подняла от стакана бутылку, из которой она машинально доли-

вала пиво, и покачала головой, точно разговаривала сама с собой.

— Иногда, после того как мужа не стало, я только жду и вижу сны наяву... странные сны, будто я гонюсь за ним... будто неожиданно он появляется сзади и начинает щекотать меня... И хотя я понимаю, что это сон, смеюсь, смеюсь от щекотки, и на душе у меня становится как-то странно... необычные сны...

— Да, мне, пожалуй, следовало бы встретиться с вашим братом.

— Как только он мне позвонит, я ему передам..., но, знаете ли, он ведь не стремится к встрече с вами.

— Почему?

— Как бы это лучше сказать... в общем, мне так кажется, а объяснить как следует не могу...

— Видите ли, мне нужны сведения. Ясно? Я не собираюсь копать в жизни вашего брата. Я хочу одного—получить необходимые сведения. Если я с самого начала буду делать то, что уже сделано им, то потрачу в два раза больше времени. Конечно, если вы хотите этого, что ж, у меня возражений нет.

— Я рассказала все, что знаю. А что я должна еще сказать?

— О своих подозрениях.

— Ну что же мне делать? Сколько бы вы ни спрашивали, я ничем помочь не могу, нет их у меня.

— Ладно...— Я решил отступить.— Тогда, может быть, вы мне расскажете все по порядку.

— Все очень просто. До удивления просто... так вот...— Женщина легко поднялась со стула, подбежала к окну и поманила меня рукой.— Вон там... видите, шагах в десяти от того фонаря... ну, люк между тротуаром и газоном... там сразу же пропали его шаги... Почему? Почему там?.. Ведь ему там абсолютно нечего было делать...



Темная дорога... слишком темная дорога... слишком белая дорога, где-то вдаль соединяющаяся с молочным небом, дорога в долине, утонувшей на дне неба, окрашенного ртутными уличными фонарями... От фонаря

прохожу десять шагов и носком ботинка нащупываю крышку люка... здесь, кажется, как раз и пропали его шаги...

Заброшенная, всеми покинутая долина времени, где не только женщин, которые вышли купить продукты на ужин, но даже и красные детские коляски и мальчишек на велосипедах — всех точно вымело темнотой, а служащие, те, что прямой дорогой возвращаются домой, уже успокоились, разложенные по пеналам, тем же, которые по дороге заглядывают кое-куда, возвращаться еще слишком рано... я останавливаюсь... как раз здесь пропали его шаги.

Прорываясь в промежутки между домами, дует ветер. Поток холодного ветра, ударяясь об острые углы зданий, завывает на таких низких тонах, что ухо не может уловить их. И хотя ухо не может уловить их, стон этого огромного органа пронизывает все тело. Оно покрывается мурашками, кровь застывает, и застывшая кровь, влившись в сердце, превращает его в красный ледяной мешочек в форме сердца. Выщербленный асфальтовый тротуар. Белое пятно на газоне — разорванный и выброшенный старый мяч. Труп растрескавшейся дороги, на которой ни живой души, хотя она и освещена ртутным фонарем, отчего даже мои запыленные ботинки кажутся позолоченными. По этой дороге никогда не дойдешь, куда тебе нужно.

Полгода назад был как раз август — еще самый разгар жаркого лета. Асфальт был вязким, как резина, а вокруг фонаря кружился рой мошканы. Газон — зеленая речушка, на которой ветер поднимает рябь; на дне ее утонул разорванный мяч, и если приходилось идти вот так, топая, то не потому, что мерзли ноги, а чтобы разогнать тучи комаров, поднимающихся из люка... Если он остановился как раз здесь... нет, нет, последний раз он проходил тут, когда было еще утро... раннее утро, когда фонари закрыли глаза, мошкара забилась в свои гнезда в корнях травы, и черная долина, сорвав с себя одежду, снова превратилась в белую горбатую улицу, сливающуюся с небом, а может быть, это было удивительное утро, и сверкало голубое небо, потому что дул сильный юго-западный ветер, — та самая трагическая минута, когда по сигналу первого удара сердца города ключи в сотнях пеналов, с разницей не больше чем в пять минут, повернулись, и толпа служащих, непохожих

друг на друга, но и неразличимых, как водяной вал, вырвавшаяся из открытой плотины, заливает улицу во всю ее ширину...



— Да, действительно, точно полчища крыс во власти чар... есть такая сказка, разве вы не знаете ее?..— Женщина, пытаясь, видимо, показать ширину улицы, разводит, насколько возможно, руки, и глаза ее увлажняются — может быть, из-за пива, ведь она выпила целую бутылку, и, переводя глаза с одной руки на другую, бормочет: — Ух ты, темно-то как,— быстро встает и зажигает свет и тут же скрывается на кухне и продолжает говорить в том же тоне, но теперь уже через портьеру.— Не только тротуары, даже мостовая битком забита... да к тому же еще все бегут, чтобы не опоздать на автобус...

— Но ведь в часы пик на автобус надеяться рискованно.

— Конечно.— Женщина возвращается, держа в руке новую бутылку пива.— Потому-то им и приходится еще быстрее бежать.

Поставив бутылку на стол, она неожиданно поворачивается к окну. Когда в комнате зажегся свет, на улице стала ночь. В окне отражается литография Пикассо. Женщина, будто чем-то напуганная, резко задергивает штору, и тогда лимонный цвет, закрывший половину стены, преобразует комнату. Цвет лимона, но не свежего, а слегка увядшего от долгого лежания на витрине магазина. Лишенная хозяйина, казавшаяся заброшенной, комната благодаря этому лимонному цвету ожила. Будто ей не хватало не пропавшего е го, а просто лимонного цвета. Над книжной полкой оказалась вышитая кошка. Под чертежом мотора обнаружилась полочка для безделушек — на ней лежат вязаные ажурные перчатки. Комната, которой очень идет лимонный цвет. Женщина, которой очень идет лимонный цвет. Комната женщины. Комната для женщины, отрезанная от всего мира вместе с жизнью женщины. Я чуть склоняю голову набок. Шестая сигарета. Женщина пьет вторую бутылку пива. Все очень подозрительно.

От фонаря всего лишь десять шагов в сторону спуска. Около маленького люка, находящегося на границе

с газоном. Не смешиваясь с толпой служащих, бегущих по улице, точно их гонят, он медленно шел, задумавшись, по краю этого тротуара. Проходившие рядом видели его своими глазами, и, хотя в самом деле были последними, кто видел его, может ли этот факт иметь какое-нибудь значение?

— Чем бежать к автобусу, на который все равно нельзя надеяться, разумнее было бы с самого начала рассчитывать на метро и идти спокойно, да и дорога туда под гору. Тем более что в то утро он ведь условился о встрече на станции S. Правда, если ехать прямо в фирму — автобусом удобнее...

— А встречей он пренебрег.

— Пренебречь — значит совершить запланированное действие, продиктованное волей.

— Тогда что-то другое. Скажу иначе. Ну как бы это лучше выразиться?..

— А ведь за три дня до этого он ездил на машине, верно?

— Да, но из-за какой-то поломки поставил ее, как мне сказал, на ремонт

— А теперь эта машина?..

— Действительно... куда же она девалась?.. — Удивленные, широко открытые глаза женщины никак нельзя было назвать невинными. — Брат наверняка должен бы знать...

— Опять брат. Но, к сожалению, я не имею возможности встретиться с этим братом...

— Видите ли... брат есть брат... пригласить вас — это была как раз мысль брата... поэтому мне бы хотелось, чтобы вы верили ему. Просто брат такой уж человек... — И, сразу же оживившись: — Знаете, а он не пренебрег встречей, ничего подобного... это уж точно... есть доказательства... да, да, я вспомнила... в то утро, не успел он выйти, как сразу же вернулся... я думаю, это очень важно... после того, как спустился по лестнице, и минуты не прошло... за скрепкой... он отобрал часть документов, которые обещал передать на станции S., и решил, что лучше всего сколоть их скрепкой...

— Значит, вы спрашивали его, зачем он вернулся?

— Да, возможно. — Женщина слегка улыбнулась, обнажив зубы, но не смогла спрятать таившийся в глазах испуг. — Я всегда сама с собой разговариваю... простите... такая у меня привычка... когда разговариваешь

сама с собой, сколько ни повторять одно и то же, никто слова не скажет... так вот эта скрепка, пустяк вроде бы... я тоже так всегда думала... но то, что он вернулся, чтобы взять ее,— разве это не доказательство, что он намеревался выполнить свое обещание встретиться?.. все меня спрашивают, и я в конце концов привыкла повторять это...

— Все?

— Ну да, мои собеседники, когда я разговариваю сама с собой... но вот эта скрепка, какая же она бессердечная... чтобы скальвать документы, она, может быть, и подходит, но ведь скрепкой или еще чем-то нужно сколоть мое самое большое, самое важное желание... понимаете?..



Я медленно иду, останавливаюсь, поворачиваю обратно, и снова иду... выщербленный асфальтовый тротуар... от угла дома 3 — тридцать два шага... поднимешь голову — точно зачарованные, зовущие на праздничное шествие, которое никогда не наступит, стоят ряды фонарей, похожие на немигающие искусственные глаза. Тусклые прямоугольники светящихся окон — удаляющиеся фигуры, давным-давно отказавшиеся от праздника. Снова иду, подняв воротник,— ветер, как мокрая половая тряпка, бьет по щекам...

Если целиком поверить надеждам женщины или ее разговору, который она ведет сама с собой, тогда в промежутке этих тридцати шагов таится какое-то странное происшествие, может быть, здесь он устроил тайник... и таким путем отказался не только от встречи на станции S., но и вообще от людей, смело перешагнув пропасть, которая не позволит ему вернуться назад...



— Ладно. Все же, если дать волю воображению, кое-что представить себе можно. К примеру — вы только не расстраивайтесь,— шантажист, воспользовавшийся какой-

то оплошностью вашего мужа... к примеру, бывшая любовница или ребенок, рожденный от него любовницей... это часто бывает... ошибки молодости, которые не удалось похоронить, неожиданно появляются, как призраки,— в этом нет ничего удивительного... да к тому же еще и август... призраки больше всего любят гулять в это время. Нет, это, конечно, не значит, что призраками бывают одни только женщины. Не менее вероятным претендентом на такую роль может оказаться и соучастник давней растраты, теперь уже превратившийся в дряхлого старика. Ну, или, к примеру, он получил привет от бывшего преступника, за день до этого выпущенного из тюрьмы... кстати, вам ничего не известно о каком-нибудь человеке, неоднократно попадавшемся на шантаже и арестованном по доносу вашего мужа? Не исключено, разумеется, что западню ему подстроил и совершенно незнакомый человек. Дело в том, что в последнее время неизмеримо участились случаи интеллектуальных преступлений. Стали распространенными такие, например, бандитские действия: совершенно незнакомому человеку от своего имени тайно страхуют жизнь, а потом сбивают автомобилем. Правда, в этом случае очень трудно соблюсти все требования закона, так как, если при обнаружении трупа личность погибшего не будет установлена, не удастся получить ни сэна. Нет, поскольку от полиции никаких сведений не поступало, пожалуй, нужно будет исключить смерть от несчастного случая или преступление, имитирующее смерть от несчастного случая. Если же произошло убийство, то труп может оказаться в бочке из-под цемента где-нибудь на дне моря... и в этом случае расследование затянется... нужно будет хорошенько расспросить его товарищей... может быть, замешана какая-то контрабандистская организация, может быть, группа фальшивомонетчиков...

Женщина, отпив до половины второй стакан, отодвинула его. Она сидела неподвижно, глядя, как лопаются пузырьки пены, превращаясь в мутный осадок. Что она, задумалась, рассердилась, а может быть, просто замечталась? Слегка оттопыренная нижняя губа. Нижняя губа еще совсем детская, казалось, не отвыкшая от груди. Маленький, задорно вздернутый носик.

— Нет, сильнее всех этих шаек может оказаться самый ничтожный, буквально выеденного яйца не стоящий случай. Дьявол не дремлет. Вот подлинная история. Ди-

ректор отделения банка, слывший педантом даже среди педантичных своих товарищей — банковских служащих, в день ухода на пенсию пошел смотреть стриптиз и неожиданно потерял голову из-за танцовщицы. У нее была привычка, не обращая внимания на окружающих, сколько бы народу вокруг ни было, грызть ногти. И в перерывах между выходом на сцену, где она исполняла некое подобие танца, непрерывно грызла ногти, и, может быть, поэтому никому не нравилась и не пользовалась никаким успехом. Но вышедшему в отставку директору отделения банка как раз и понравилась ее привычка грызть ногти. Он приходит туда три дня подряд, потом передает ей любовное письмо. На четвертый день везет ее обедать, все как будто очень хорошо, но на пятый катастрофа: в комнате женщины оба кончают жизнь самоубийством. Лезвием безопасной бритвы. Чем вещество тверже, тем легче оно разлетается на куски — таков закон.

Выражение лица женщины по-прежнему не изменилось. Пена в стакане почти растаяла. Сбоку пена напоминает джунгли, сфотографированные с самолета. Что видит женщина? Вдруг — может быть, это свет так лег — вдоль нижнего века наливается что-то, напоминающее полоску блестящего бесцветного лака... Слеза? Я теряюсь... это не входит в мои планы...

— Единственное, о чем я хотел еще спросить, — это о том случае со скрепкой... как вы говорили, скрепка, возможно, служит доказательством, что он всерьез думал о документах... но ведь тогда он, как и договаривался, должен был пойти на станцию S., чтобы передать их, верно? Видимо, здесь уже какая-то другая проблема. Она, разумеется, имеет отношение к содержанию этих документов, но все же...

— Это никому не известно.

Ее ответ легко вернулся ко мне, как отскочивший мяч, в ее голосе слышались нотки, которых не было раньше, до того, как она замолчала.

— Но документы, видимо, необходимы были фирме?

— Да нет, ничего серьезного в них, я думаю, не было.

— Мне нужно не ваше мнение, а факты. Ну хорошо, об этих документах узнаю завтра в фирме... никак не укладывается это у меня в голове... могу понять, что у вас нет никаких предположений, — вопрос сугубо личный, и тут уж ничего не поделаешь, но я просто не могу представить себе, как человек, который настолько любит поря-

док, не оставил ничего — ни записок, ни дневников, ни визитных карточек, ни адресов — в общем, ничего, что помогло бы напасть на след. Здесь какое-то противоречие. У вас нет никаких предположений, и на этом основании вы утверждаете, что исчезновение было совершенно неожиданным, но все указывает на обратное. Мне кажется, в данном случае вполне уместна поговорка: летящая птица следа не оставляет.

— Но ведь случай со скрепкой действительно произошел, и, кроме того, он не притронулся к чековой книжке...

— Скрепка, скрепка, скрепка... послушайте же, ну почему вы не допускаете мысли, что это был продуманный маневр, чтобы заставить вас так подумать? Может быть, таким способом он хотел в последний раз тайком сказать вам до свидания...

— Едва ли... все время, пока я искала скрепку, он чистил ботинки и насвистывал странный мотив.

— Странный?

— Какая-то рекламная телевизионная песенка...

— Перестаньте. Вы вольны сами себе лгать, но меня-то обманывать какая польза.

— По правде говоря, было, пожалуй, кое-что... боюсь, что телефонная книжка...

Она впервые поворачивает голову к углу комнаты, где стоит телефон, и уже начинает было грызть ноготь большого пальца, но тут же поспешно прижимает сжатый кулак к губам. Хотела скрыть, но ничего не получилось. Старается бороться с дурной привычкой, но все равно на краях ногтей, специально покрытых толстым слоем лака, белые следы от зубов... Женщина виновато улыбается.

— Значит, была телефонная книжка?

— Можно ее так, пожалуй, назвать... нажмешь на нужную букву, раз — и переплет сам откидывается... черной эмалью покрыта... вот такой примерно величины... да, да, она всегда лежала вон на той полочке...

— Она пропала одновременно с исчезновением мужа?

— Нет, скорее всего, ее унес брат. Брату не удавалось заставить меня сидеть и ждать, ничего не предпринимая. Однако, сколько он ни разузнавал, ничего, что могло бы навести на след, обнаружить не удавалось, и поэтому он решил прекратить поиски. Но если бы эта телефонная книжка вечно маячила перед глазами, для меня стало бы невыносимым сидеть сложа руки. А брат

был против. Не хотел, чтобы я влезала в такое опасное дело.

— Опасное?

— У каждого человека одна карта жизни. Много-то зачем... брат так говорит... а мир — это лес, густые заросли, кишашие дикими зверями и ядовитыми гадами, и пробираться сквозь них можно, только когда твердо уверен в безопасности...

— В общем, раньше, чем вымыть руки, продезинфицируй мыло, это он имеет в виду?

— Вот именно... действительно такой характер у него, у брата... вернувшись домой, он без конца суетится: и руки вымоет, и горло прополощет...

— Но все же, прошу вас: позвоните прямо сейчас брату.

На лицо женщины вдруг упала серая тень. Нет, вернее, поднялся занавес и выглянул настоящий цвет лица. Впервые поддавшийся настройке взгляд. Тихо поглаживая пальцами край стола, она беззвучно встала, зашла в узкое пространство за стулом, отчего в лимонной шторе образовалась небольшая впадина. Женщина, напоминающая человека, пойманного с поличным... напряженная поясница, сопротивляющаяся тяжести... снимает трубку, не заглянув в записную книжку, набирает номер и пальцем, которым набирала номер, тербит штору... гибким пальцем, будто лишенным суставов... видимо, привычка крутить в руке все, что ни попадется... может быть, эту привычку она выработала, чтобы отучиться грызть ногти?.. Штора тихо качается, и кажется, будто она тоже слегка опьянела... но есть здесь и черно-желтый знак: «Внимание, опасность...»

— Действительно,— женщина говорила хриплым шепотом, обращаясь к кому-то, возникшему перед ее мысленным взором,— прилипла эта привычка разговаривать сама с собой... и ведь верно, первым, от кого я это услышала, был он... я сначала и не поверила... сразу после того, как он беззаботно насвистывал... чувство, которое я тогда испытала, можно назвать испугом... странно, никто не подходит... наверно, нету дома...

— Куда вы звоните?

— Прямо туда...

— Человеку, который последним видел его? Оставьте, пожалуйста. Там сыты по горло вашими звонками.

И, кроме того, прошу я вас совсем не об этом телефонном звонке.

Она испуганно, точно нечаянно схватила гусеницу, кладет трубку.

— Ну а кому же?

— Мы ведь договорились — брату.

— Брату бесполезно. Видите ли...

— Мне нужна карта — пусть не одна, пусть десять, двадцать. Единственная фотография и единственный потертый коробок спичек — ну что они могут дать? Моя профессия — этим я отличаюсь от вас — вынюхивать опасности. И в заявлении, которое вы только что подписали, ясно сказано: вы подтверждаете, что готовы представить все сведения. Я думаю, вас никто не заставлял обращаться к нам.

— Брат знает. Нет ничего, что могло бы помочь вам, — он сам тщательно все проверил...

— Ну и самонадеянность. Тогда зачем же вы меня наняли?

— Потому что я не в силах больше ждать.



Действительно, ждать невыносимо. И тем не менее я продолжаю ждать. Я медленно иду, останавливаюсь, поворачиваю обратно и снова иду... время от времени подходит автобус и слышится нестройное постукивание каблучков, но все равно не видно ни души... не только ни души, невозможно обнаружить ни пропасти, ни разлома, ни магического круга, ни таинственного входа в подземный переход — ни малейшего намека хоть на что-нибудь подобное не обнаружить... есть лишь отчаявшаяся в ожидании темная, пустая перспектива... и стонущий, точно больной, февральский ветер...

А ведь было утро, половина восьмого, самое незамутненное время... время, подобное дистиллированной воде, когда не может произойти ничего таинственного... что же таинственного могло произойти с одним из начальников отделов фирмы по продаже горючего? Может, от него потихоньку избавились, а может быть, он тайно встречается с глупой заявительницей? В общем, с какой сторо-

ны ни подходи, невидимый в любом случае невидим. Кто не хочет, чтобы его видели, и сам не намерен смотреть. Тот, кто хочет смотреть, уже видим. Я пристально всматриваюсь только туда. Тусклый прямоугольник лимонного окна... окна комнаты, где я только что побывал. Эта лимонная штора верно служит женщине, чтобы не впускать тьму, она смеется надо мной, мерзнувшим во тьме. Но все равно предал женщину ты. Заставляешь ее ждать. Заставляешь ждать до такого часа.

Торопливо приближаются шаги, будто кто-то наступает только на каблуки, и тогда я впервые отрываю взгляд от лимонного окна. Неуверенная женская походка, сбивчивое постукивание запоздалых высоких каблуков, раскачивающийся сбоку бумажный пакет... белому пальто, отделанному мехом у ворота и рукавов, не спрятаться и в темноте... делает вид, что не обращает на меня внимания, но обмануть не удастся. Напряженный, точно в доспехах, торс, повернутый в мою сторону... а что, если взять и повалить ее на газон?.. она будет лежать безмолвно, подобно изваянию, и делать вид, что лишилась чувств,— это уж точно... белое пальто слишком бросается в глаза, поэтому, может быть, стоит засыпать ее опавшими листьями, покрывающими траву?.. погребенная под листьями неподвижная женщина... и под этими листьями обнаженная женщина, снаружи остаются лишь руки и ноги... налетает ветер, и открывается лицо... и лицо это превращается неожиданно в лицо той самой женщины за лимонной шторой... поднимается еще более сильный ветер и сдувает с нее оставшиеся листья... но тогда вместо предполагаемого обнаженного тела возникает черная пустота... прямо под фонарем тень женщины в белом пальто прочертила окружность, а потом, разрастаясь и разрастаясь, растаяла в темноте... руки и ноги тоже исчезли, и осталась лишь пустота, подобная бездонному колодцу...

Ощущение, будто вместо ботинок влез в холодное рыбе брюхо. Но подожду еще с полчаса. Если только мое предположение верно... даже мысли не хочу допустить, что оно ошибочно... скоро на той шторе обязательно появится тень склонившейся женщины. С ней у меня все будет иначе, чем с той женщиной под листьями. Не я буду выбирать, выбирать будет она сама.

Я с самого начала был твердо уверен — если она захочет позвонить по телефону, стул будет ей мешать, и

ей придется принять именно эту позу. Она станет боком к окну, и свет будет падать так, что голова окажется чуть-чуть срезанной. Штора редко соткана из толстых ниток, и поэтому нечего опасаться, что тень сквозь нее не будет видна. Лишь бы наступил этот момент — тогда ждать стоит, хоть и холодно. С кем она будет разговаривать по телефону? Ясно... конечно же, с тем, кого она называет братом, с этим подозрительным типом. Станный человек, если о нем говорят, что местожительство его невозможно установить, из-за того, что он добрый, умный, самоотверженный, слишком глубоко все обдумывающий... выступая от имени заявительницы, в ответственный момент поручает переговоры спивающейся женщине, которая грезит наяву, корчится от смеха, будто ее щекочет какой-то воображаемый мужчина, разговаривает сама с собой... безответственный опекун, не желающий казать лица...

Ладно, пусть будет так. У меня нет ни малейшей необходимости доискиваться, правдивы ли слова заявительницы. Такова моя профессия, и я сколько угодно буду служить клиенту — пусть лжет, лишь бы деньги платил. Но если не знать хотя бы в общих чертах планы клиента, невозможно как следует исполнить даже роль болвана. Или, скорее, учесть все так же трудно, как исполнять роль болвана. Ну и, кроме того, существует еще и то, что именуется чувством собственного достоинства. Роль болвана — прекрасно, но когда с тобой сознательно обращаются как с болваном, — это затрудняет общение. Мне заплатили тридцать тысяч иен, следовательно, хотят, чтобы сфера моей деятельности была ограничена тридцатью тысячами иен.

Поставив чемодан к ногам и потирая о бока руки, засунутые в карманы пальто, я не отрываю глаз от лимонной шторы. Вверх по склону, со скрежетом, будто вот-вот развалится на куски, поднимается такси и, разрезая тьму, скрывается между домами. Подожду по крайней мере, пока оно не вернется. Но если и до тех пор не появится тень, которую я ожидаю... это невозможно... слишком уж подозрителен этот братец... для разумного человека было бы гораздо логичнее и естественнее, вместо того чтобы отдалиться, с самого начала постараться сблизиться.

До ушей, точно вздох земли, донесся, будто перекатываясь по бесконечным трубам, далекий звук резко захлопнутой стальной двери. Где-то в воздухе раздался

жалобный собачий вой. Захотелось помочиться. Тело охватила дрожь, кажется, терпению пришел конец. Показалось, что, искрясь, идет снег, но, видимо, это галлюцинация из-за того, что слишком напрягаю зрение в темноте. Закрываю глаза — снег все равно продолжает падать. Но еще труднее, чем в этот снег, поверить в...

Возвращается такси, теперь уже свободное. Так во что же трудно поверить?.. было столько всего, во что трудно поверить, что я уже не помнил, что собирался поставить под сомнение... видимо, даже способность мыслить и та застыла... окно лимонного цвета, за которым ничего не изменилось... стеклянный шарик, по ошибке вложенный в рот вместо леденца... лучше бы не стараться так, изо всех сил... Помочившись, беру чемодан и возвращаюсь к машине... рев мотора... если все идет, как я предполагал, то этот звук, предназначенный для заявительницы, теперь кажется отвратительным, раздражает меня... да, если утверждать, что это факт, то нужно именно с этого факта начинать.

Истертый рекламный коробок спичек и фотография. На карте слишком много белых пятен. И потому-то я не должен наобум закрасивать эти белые пятна. Я ведь не страж закона.



ДОНЕСЕНИЕ

12 февраля. 9 часов 40 минут. Посетил место, откуда появился коробок спичек. От дома заявительницы примерно в двадцати минутах ходьбы, если направиться в сторону станции S. по улице, где ходит автобус, с таким расчетом, чтобы станция метро в конце спуска оставалась справа, то слева окажется платная стоянка автомашин, а сразу же наискосок вывеска «Камелия», выведенная такими же иероглифами, как на этикетке спичечного коробка. Самое обычное кафе, всего на восемнадцать мест. Кроме хозяина, одна официантка. Возраст — примерно 22 года. Полноватая, круглолицая девушка, с маленькими глазками и следами от угрей на лбу. Девушка в модных чулках, любящая броско одеваться, но абсолютно ничем не примечательная. В общем,

не она объект расследования. На двери объявление: «Требуется официантка». Я подумал, что либо их не хватает, либо одна из официанток в течение месяца должна уйти, и решил исподволь выведать у хозяина. Оказалось, что мои предположения ошибочны — просто нужна официантка для нового заведения. Я показал фотографию пропавшего без вести, описал особые приметы, но и хозяин и официантка в один голос засвидетельствовали, что не имеют о нем ни малейшего представления и, уж во всяком случае, он не постоянный посетитель. (Примечание. Стоимость кофе 80 иен).



...Утром я был с похмелья. Поэтому хотя и выпил две чашки кофе, но поставить в счет плату за обе постеснялся и решил записать одну.

На основании этого нельзя, конечно, утверждать, что в донесении о кафе «Камелия» есть какие-то серьезные упущения. И сильно помятый спичечный коробок, и его стершаяся этикетка, и неудобное местоположение кафе — все это точно согласовывалось со словами хозяина, что он не был постоянным посетителем, ну что можно еще к этому добавить?

Ободранная стена с незаделанными следами перестроенных полок. Прикрепленная к стене цветная фотография какой-то кофейной плантации в Южной Америке. На ее загнутых углах толстым слоем лежит пыль — человек, повесивший фотографию, безусловно, забыл о ее существовании. Судя по тому, что на ней все в широкополых шляпах, там, видимо, ослепительно яркий день, а здесь — выжимки белесого февральского солнца, запутавшиеся в сетчатой шторе, да красный огонь керосиновой печки, чадающей под выцветшей пальмой. Вдобавок, кроме меня, нет ни одного посетителя, мрачная девица склонилась у стойки над иллюстрированным журналом, да и хозяин со сморщенным лицом, будто чихнуть собирается, не обращая на меня внимания, лениво протирает столы и каждый раз, покончив с очередным столом, выглядывает на улицу и глубоко, протяжно вздыхает. Если что и можно к этому добавить, то только объявление: «Впереди тупик». Дальнейшие домыслы — такое же дурацкое заня-

тие, как исследование фотографии кофейной плантации с помощью лупы. Не только он — любой, не успев сесть за этот столик, первым делом подумает, какое счастье, что есть место, куда можно возвратиться. Во всяком случае, в моем донесении нет ни грана лжи.

Когда хозяин подошел к соседнему столику, я, хлопнув чемодан, поднялся. Кафе — узкое и длинное — тянется вдоль улицы, и хозяин, чтобы дать мне дорогу, вынужден, втиснувшись между столами, ждать, пока я пройду. При каждом шаге из щелей между половыми досками проступает черный жир. Протянув двести иен девице, поднявшей недовольное лицо от журнала, и ожидая сдачу, я решил отказаться и от посещения клиентки. Я столько раз повторял себе это, пора бы привыкнуть. Но, может быть, встретиться с братом? Ничего не случится, если я попытаюсь выяснить, что же в конце концов представляет собой этот человек. А сейчас, хотя интересы обоих как будто совпадают и писать об этом в донесении не стоит, тем не менее не исключено, что обстоятельства вынудят его снять маску и между ними произойдет разрыв. Формальной заявительницей является женщина, и с ее братом я никакими обязательствами не связан.

Красный телефон-автомат у кассы, захватанный грязными руками вплоть до отверстий в диске. Набрал номер своего агентства, связываюсь со справочным отделом. Прошу зайти в районное управление по месту прописки женщины до замужества и в домовой книге срочно выяснить все, касающееся ее брата. При этом я достаточно громко, чтобы слышали хозяин и официантка, произнес теперешнюю и девичью фамилию женщины. Но с их стороны не последовало никакой реакции. То, что ее не последовало, видимо, естественно. Даже если бы мои самые худшие предположения подтвердились, совсем не обязательно, чтобы они поддерживали связь, пользуясь настоящими именами.

Хозяин, кряхтя, убирает посуду с моего стола. Слыша за своей спиной голос девушки, у которой еще сохранился кантоский выговор¹, я выхожу на улицу. Молочно-мутное небо — и в то же время яркое. Перед самым кафе, почти касаясь друг друга, снуют огромные автобусы. Воспользовавшись тем, что поток на мгновение пре-

¹ Диалект японского языка на востоке острова Хонсю.

рвался, я перехожу через дорогу и направляюсь к автостоянке. На ограждающей ее колючей проволоке в ряд висят три объявления:

«Платная стоянка. Один час — семьдесят иен. За длительное пользование — скидка». Внизу красными иероглифами обозначен номер телефона.

«Прямо туда». Реклама гостиницы, куда указывала метровая рука.

Почти закрывая всю сторожку при въезде: «Контора частных такси Ханава».



Платя семьдесят иен сторожу с подбитым глазом, чуть ли не верхом сидевшему на жаровне, я подумал, что нужно не забыть и их включить в донесение, и спрятал в бумажник квитанцию со штампом. Оборачиваюсь. Сетчатая штора, будто черная тушь, закрасила окно «Камелии», и в нем отражается уличная толчея у аптеки напротив. На карнизе второго этажа появилась толстая, как свинья, кошка и медленно идет по нему. Пройдя пять-шесть шагов, она неожиданно исчезает. У самого конца карниза торчит высокая труба бани, и из нее вьется легкий, прозрачный дымок. По привычке начинаю доставать фотоаппарат, но необходимости в этом нет. Каким доказательством может служить место, куда вторично попасть невозможно?



Моя машина третья в левом ряду. Она спряталась в глубине, и я не сразу ее нахожу. Когда наконец показался ее сплюснутый нос, от сторожки, хрустя галькой, ко мне поспешно подошел человек.

Потребуется дополнительную плату?..

Человек широко улыбается и без всякого стеснения, медленно, сверху вниз скользит по мне глазами. Противный взгляд у этого типа. От широко развернутых, хотя и костлявых плеч пальто ниспадает вниз отвесно, а у кар-

манов — может, в них что-то вложено? — прямая линия круто ломается. Выражение лица недовольное, несмотря на фальшивую улыбку, — может быть, из-за слишком длинных волос на висках? Характерная походка — виляет бедрами, будто специально привлекает к ним внимание. Агрессивный вид, возможно потому, что глаза посажены слишком близко.

— Вы... не из сыскного агентства?

Запоминающийся голос. Не то чтобы заикается, но какой-то неясный выговор, точно рот полон слюны. А может быть, и в самом деле? Тот голос, который по телефону от имени женщины попросил заняться розыском. Человек продолжал улыбаться, но сразу же вызвать у меня ответную улыбку ему не удалось. Было тут и замешательство, было — и это главное — досадное чувство поражения.

Откровенно говоря, я почти не надеялся встретиться с этим человеком. Может быть, потому, что напрасно простоял прошлой ночью, лишь оконечел, ничего не дождавись. Мне начало даже казаться, что вряд ли этот человек действительно брат женщины, больше того, я стал сомневаться вообще в его существовании. Нанять человека, чтобы он вместо тебя позвонил по телефону, — проще простого. И если допустить, что брат действительно существует, положение от этого не меняется. Он тоже человек-невидимка, и в этом несколько не уступает ему, пропавшему без вести, и вынужден прибегнуть к этому детскому притворству только потому, что совершил нечто постыдное. Отрепетированный спектакль, заставляющий подозревать соучастие в преступлении. Так думал я, уже готовый чуть ли не махнуть на все рукой. В общем, все разыгрывается как по нотам: меня незаметно втягивают в нечто папахивающее преступлением.

Да, но ведь есть еще и этот спичечный коробок. Вне всякой связи с кафе «Камелия» в самом коробке, я чувствовал, есть для меня что-то непонятное. В этом истертом коробке лежали два вида спичек с разными головками.

Спички с белой головкой и спички с черной головкой.

Опасное предчувствие: если переусердствуешь в подозрениях, хочешь не хочешь, начнешь ощупью продвигаться вперед по сплошному белому пятну карты. Но я не должен поступать опрометчиво, чтобы не дать этому человеку почувствовать свои колебания. Это-то я понимал.

Расходы оплачиваются в первую очередь с целью защиты интересов клиента, а выяснение истины — дело второстепенное.

Я махнул на все рукой. Действительно махнул, и было бы лишним говорить мне о том, чтобы я спокойно реагировал на этого человека, появившегося сразу после того, как я с похмелья влил в себя изрядное количество кофе.

Я еще не успел ответить, а молодой человек уже наседавал, указывая подбородком на кафе.

— Какой-нибудь урожай собрали? Вот случайность так случайность... ну ничего, я думаю, мы найдем с вами общий язык.

— Случайность? — спросил я непроизвольно тоном допроса.

— Действительно случайность. — Он повернулся так, что почти касался моей машины. — Я ведь и в самом деле за вами по пятам не хожу. Иначе мы поменялись бы ролями.

— А как вы меня узнали?

Собеседник на миг бросил взгляд на мои ботинки и, точно потешаясь:

— Ведь вы-то меня сразу узнали, верно? Тот же случай.

Узнал, по его необычному голосу. К тому же слишком явно подстроенное совпадение места и времени. Есть ли у этого самозваного братца что-нибудь общее с сестрой? Маленькая в сравнении с широкими плечами головка. И эти плечи тоже, видимо, появились благодаря портняжному искусству и вате. Глухой голос, точно воспалились голосовые связки. Холеная кожа, наводящая на мысль, что человек он ловкий и оборотистый. Сказать, что совсем не похож на сестру, нельзя, но ведь все люди более или менее похожи друг на друга. Лицо с застывшей враждебностью, которому абсолютно чужда улыбка. Сухой взгляд человека, ни разу в жизни не видевшего сны, не мечтавшего. Ко всему еще отвратительная манера употреблять высокопарные выражения, что совершенно не соответствовало его виду: во всяком случае, он создавал вокруг себя совсем другую атмосферу, чем его сестра. Но все-таки он по-прежнему доверенное лицо клиентки, и мне незачем ссориться с ним. Однако какая же это колоссальная ошибка — считать, что подачкой в тридцать тысяч иен можно купить и привязанность человека тоже...

— Вчера вечером я, естественно, рассчитывал, что мне удастся встретиться и с вами, но представьте себе мое недоумение, когда оказалось, что разыскивать, собственно, мне придется двоих.

Мужчина, поглаживая рукой в перчатке металлический зажим «дворника», снова заглянул мне в лицо:

— У вас очень густая борода. Даже завидно. А у меня борода совсем не растет — реденькая. Может, виноваты гормоны?

— Мне было очень трудно с ней... она вам сестра?.. Упорно стоит на своем: ничего, мол, не знаю, никаких подозрений нет... а как коснешься какого-нибудь важного вопроса, говорит, что все знает брат... ну а где же брат?.. опять не знает... и единственное, на что она еще способна, — сидеть в одиночестве и пить пиво. Похоже, она просто не хочет, чтобы разгадали причину исчезновения ее мужа...

— Да, у вас голова работает. Все верно. Хотя, в общем, еще рано говорить, что все удастся выяснить.

Мой собеседник, сохраняя улыбку в уголках губ, расстегивает на пальто две верхние пуговицы и, откинув белый шарф, отворачивает лацкан пиджака. Значок величиной с ноготь большого пальца, в форме правильного треугольника с закругленными углами, покрытый голубой эмалью с серебряным ободком. В середине — выпуклая серебряная буква S. Причем буква необычной формы — одна ломаная линия — на первый взгляд напоминает молнию. А может быть, и в самом деле, это не S, а молния?

К сожалению, я еще никогда не видел такого значка, но сразу же понял, что он показал его специально, рассчитывая запугать меня. Понял, но не подал виду.

— Надеюсь, знаете, что это за значок? — Мой собеседник быстро запахнул пальто. — Мне бы не хотелось, чтобы у вас создалось предвзятое мнение. Муж сестры по-настоящему порядочный человек... И, знаете, как бы это лучше сказать, он вовсе не бродяга какой-то. Вы должны именно это как следует уяснить...

— Мне бы как раз и хотелось, чтобы вы, ничего не утаивая, рассказали обо всем, что могло бы помочь розыскам.

— Утаивать? Ну это вы зря. — Снова короткий, скрипучий смешок. — Это уж сестра, наверно, опять все ужасно преувеличила.

— Но ведь если бы это не был запланированный уход из дома, е м у не удалось бы исчезнуть, не оставив ни малейших следов.

— Может быть, действительно запланированный...— Мужчина резко понизил голос, потупился и, постукивая носком ботинка по крышке: — В этом мы с сестрой несколько расходимся, что ни говорите — женщина. Для нее невыносима мысль, что ее вышвырнули, точно рваную тряпку. Ей хочется видеть совсем другую причину. Женщина. Что-нибудь совершенно необъяснимое, похожее на сказку... но, посудите сами, как можно объяснить необъяснимое?.. и вот она обращается к вам, хотя чувства ее я понимаю...

— Бывают случаи потери памяти. Что вы об этом думаете?

Мужчина с безразличным видом еще раз пнул по крышку и, точно оценивая машину, стал обходить ее кругом.

— Да... об этом я тоже думал. Даже советовался с врачом. Судя по тому, что сказал врач...

— Может быть, вернемся снова в «Камелию» и выпьем кофе?

— Зачем?

— Как «зачем»? Просто я порядком продрог.

— Ах, вот оно что.— И пробираясь боком в узкую щель между машиной и оградой и медленно подходя ко мне: — Видите ли, я страдаю сильными головокружениями... а у вас что, там еще дела какие-нибудь остались?

— Нет, это был пустой номер.

— Так вот этот врач говорил,— он вытягивает вперед обе руки и делает у самой моей груди движения, будто разминает невидимую глину,— действительно существует два вида потери памяти... один из них — исчезновение из памяти того, что имело место в прошлом, а то, что происходит в настоящем, ну как бы это сказать?..

— Не теряется способность рассуждать...

Может быть, из-за того, что я, слишком внимательно слушая, подался к нему, я вдруг почувствовал сильный запах из его рта и невольно сделал шаг назад, а мой собеседник чуть склонился, заглядывая в машину.

— Да, да... способность рассуждать... ну а еще один вид — нарушение и этой способности рассуждать... в конце концов человек превращается в кретина. Поэтому в первом случае он, как бы став новым человеком, может

жить среди незнакомых ему людей. Обычно через два-три месяца память восстанавливается. Проблема возникает в том случае, если человек в результате этой болезни становится полным кретиним. Но такие люди сразу же берутся полицией под наблюдение... сверят по карте покинувших дом лиц, о которых сделано заявление, и тут же обнаружат, верно? Ну а тот человек и водительские права, и вообще все документы в отличие от нас, простых смертных, всегда носил с собой...

— Выходит, что вы тоже придерживаетесь версии запланированного исчезновения?

— Трудно сказать. Не ребенок вроде бы — уходить из дому без всякой причины это, знаете ли...

— Если побег тщательно подготовлен, тогда действительно никаких следов не остается. Но, судя по тому, что мне удалось узнать вчера вечером, есть еще кое-какие неясности... посудите сами, телефонная книжка со специальным устройством для открывания на нужной букве, она у вас, да?

Я надеялся застигнуть его врасплох, но он и бровью не повел.

— А, вот вы о чем. Ну, таких вещей сколько угодно. Дневник, например, визитные карточки, лежавшие в его столе... — С рассеянным видом он смотрит в небо, и тогда вздуваются, зажав кадык, хорошо развитые мускулы, как на шее зажаренной целиком птицы. — Но, знаете, с тех пор прошло уже больше полугода. И все это время я не сидел сложа руки. Хватается за все без разбора, наверно, потому, что бестолковый, думаете вы, но... я потратил на это много времени и денег... ладно, если понадобится, я вам когда-нибудь все объясню. Но, по совети говоря, я не хочу, чтобы на эти вещи вы попусту тратили время. Просьба моя — это результат серьезного анализа всех моих неудач. Так вот, не могу ли я просить вас снова все взвесить как следует, заново все пересмотреть.

— К чему вы мне это говорите? Одна фотография, один спичечный коробок — это все равно что искать улицу, не имеющую названия.

— Я бы этого не сказал. — Сняв перчатку, он с силой стал тереть глаз, пыль в него, что ли, попала. — Я тоже прекрасно знаю, что ходить в это кафе — пустая трата времени. Но вот что интересно, размышляя о том, что это за кафе, куда вы собирались пойти на разведку, я

вдруг подумал: а что, если тот самый спичечный коробок, ради которого вы туда пошли, на самом деле куплен не в этом кафе, а к примеру, здесь, на стоянке?.. Мне это кажется вполне вероятным. Так вот, человек этот весьма ловкий и искусный, что касается машин, он был первоклассным автомехаником, имел даже диплом... благодаря своей ловкости он раздобыл где-нибудь почти даром старую развалину, привел ее в порядок и ездит на ней, занимаясь ремонтом автомашин,— прекрасное занятие. Ну как, разве это не может служить хоть малюсенькой зацепкой? И эту стоянку он сделал, причем совершенно случайно, местом заключения сделок...

— Вот я и хочу, чтобы такие сведения вы мне сообщили.— Я сразу же вспомнил, что на полке рядом с лимонной шторой, среди самых различных книг, большую часть которых составляли специальные, действительно были книги по ремонту автомобилей, а прибавив сюда висевший рядом с Пикассо мотор в разрезе, на котором были красные надписи, должен был признать, что проявил некоторую невнимательность.— Ведь то, что он имеет диплом автомеханика, чрезвычайно важная деталь. Расположение родинки, след от операции аппендицита или его отсутствие — приметы бывают не только такие. И, поскольку мне своевременно не рассказали всего этого, я оказался в весьма затруднительном положении.

— Вы правы, это никуда не годится.— Он рассмеялся, оттопырив тонкие губы и резко ткнув меня пальцем в бок.— Моя сестрица, наверно, спутала вас, агента, с закуской к пиву, а?

— Ну и каков же результат?

— Ничего не вышло...— Повернувшись в сторону сторожки, мужчина высунул кончик языка с белым налетом и сплюнул. Плевком, описав крутую дугу, упал на крышу соседней машины.— Старик сторож всего полгода служит здесь, никого другого больше нет. Я пытался поговорить с ним, но он неожиданно оказался крепким орешком, никак не поддается. Своими гноящимися красными глазками он так и шныряет по сторонам. Мол, все в порядке, что вы от меня хотите. А в общем-то желательно на все это взглянуть по-новому. Ведь тогда может проясниться и то, что раньше и в голову не приходило.

Видимо, направление ветра вдруг переменялось — из переулка вынесся клуб пыли и, увлекая за собой песок,

завертелся, заплясал между машинами. Откуда-то доносятся звуки музыкальной шкатулки... или нет, эту мелодию издает скорее всего подметальная машина... неожиданно мужчина плотнее замотал шарф, лицо его недовольно сморщилось.

— Фу как противно.

— Пыль?

— Так сплелись вместе эта пыль и музыка — противно. Если вы не возражаете, может быть, действительно пойдем в кафе и немножко посидим?

Раздраженный голос. На этот раз приглашение исходило от него, и я наконец почувствовал, что могу как будто, пусть и не совсем четко, оценить свое положение.

— Из всех его вещей, которые у вас хранятся, мне хотелось бы в первую очередь и как можно быстрее посмотреть дневник.

— Дневник?.. пожалуйста... хотя его трудно назвать дневником... вас он разочарует, если вы думаете, что это дневник, но...— И делая шаг вперед, точно стараясь возбудить мой интерес: — Я хотел спросить вас о другом... это, правда, касается сестры... как вы думаете, какая она, по-вашему, женщина?.. мне бы хотелось, чтобы вы откровенно высказали свое мнение...

В конце концов я оказался зажатым между машинами, где мог пройти лишь один человек. И если б мне нужно было пройти, мы неизбежно бы столкнулись. Но я не собирался идти, и мой собеседник, сделав еще шаг, застыл в весьма неестественной позе.

— Хочу, чтобы вы обязательно сказали. Отвлекаясь от того, что это ваша работа, просто как мужчина... Хотя и болтаю о чем ни попало, но встретился сегодня с вами прежде всего потому, что хотел спросить именно об этом.

— А разве встреча не была случайной?

Перед металлической оградой громко проезжает стальной ящик, похожий на броневик без амбразур, из которого раздается приятная мелодия.

— Да, случайно, конечно.— Застывшая улыбка свела лицо.— Действительно, голова у вас работает. Кажется, на вас можно спокойно положиться...

— Когда я смогу получить дневник?

В брошенном на меня взгляде на миг притаилась острая ненависть. Он отступает на шаг и дает мне дорогу. Поняв, что я не собираюсь идти вместе с ним, он точно

покорившись, понуро опускает плечи, позволяя цели рассеяться и, казалось, теряя ко всему интерес.

— Когда угодно... завтра... ну, до полудня занесу сестре.

Сестра — женщина... это уже не слова — острая игла, вырвавшаяся сквозь щель в той самой лимонной шторе... пронзенный ею, я, как насекомое, оказался приколотым к невидимой стене... клочок бумаги, прикрепленный к краю шторы... что же все-таки происходит?.. я снова забываю лицо женщины... все еще широкие, как стена, хотя он и ссутулился, плечи уходящего мужчины... не хватает только черной дыры в выложенной мозаикой стене...



Тот же день. 11 часов 5 минут. Посещаю торговую фирму «Дайнэн». Мне сообщают, что в то утро он обещал передать документы одному из своих подчиненных. Чтобы еще детальнее выяснить их содержание, попросил разрешения встретиться с ответственным сотрудником, ведающим вопросами развития торговли.



... Действительно, с тех пор и в самом деле прошло уже полгода... пепельница из Кутани в виде хибати¹, на которой выведена золотом вычурная надпись: «Торговая фирма «Дайнэн», видимо, осталась от заказанных для летних подарков в прошлом году. На четырех выступающих углах пепельницы прикреплены за спины так, что они висят в воздухе, ярко раскрашенные фарфоровые кошки, приносящие счастье. Они улыбаются, слегка обнажив зубы. Директор фирмы не иначе как выходец из деревни, где он и сколотил капитал. Предприятие его, похоже, катится как по рельсам, и хотя контора находится на третьем этаже старого безвкусного здания, да к тому же половину этажа занимают мансарды, но в приемной сте-

¹ Х и б а т и — жаровня в японском доме, служащая для подогревания пищи и обогрева комнаты. К у т а н и — район, где производятся фарфоровые изделия.

ны обшиты деревянными панелями и стоят стулья, столы и другая мебель на ножках из нержавеющей стали, так что с первого взгляда ясно, как много денег это потребовало. Три стены, исключая ту, где окно, завешаны огромным, начерченным от руки планом, на котором пригороды разделены на три района: север, северо-запад и запад. Закрашенный тремя красками: красной, синей и зеленой, этот сложный план, испещренный переплетающимися линиями, кое-где — неровной сеткой, напоминал предельно выразительный анатомический атлас; план был утыкан кремовыми треугольными флажками на булавках; казалось, что в этом зажатом с двух сторон линией электрички и окружной автострады, возвышающемся на улице, подобно огромному сугробу, здании, на первом этаже которого помещался магазин велосипедов, а на втором — залы для игры в маджан¹, где-то четко и решительно пульсирует печень и бьется сердце, всасывая чеки и деньги и выплевывая их. ... Да полгода, жаркое лето было еще в самом разгаре... Этот управляющий, бывший его, исчезнувшего, непосредственным начальником, оттого ли, что слишком натоплено, покрылся потом, будто его обсыпали слюдой. Поглаживая свою голову с благородными залысинами, он откидывается на спинку стула, обтянутую черной кожей, всем своим видом показывая, что хоть сейчас готов позабавиться. Действительно, может быть, он и правда такой — зная, что против него не будет выдвинуто обвинение, он и не проявляет интереса к превратностям судьбы другого. Ведь нет более естественного доказательства невиновности, чем желание наблюдать несчастье другого человека. Я тоже подлаживаюсь под его настроение и бросаю непринужденно... Больше никаких новых сведений нет? Хотя бы каких-то предположений, о которых вдруг вспомнили. ...Нет, нет, ну что вы, я с вами совершенно откровенен... Он протестующе замахал мясистой рукой. ...Да, честно говоря, сейчас уже можно сказать. Так вот, сразу же после того, как это случилось, меня тоже охватили сомнения, мрачные предчувствия. Я даже какое-то время был готов к тому, что собака, которую я кормил, укусит меня... Но она вас не укусила... Да, да, на мне не оказалось ни одной отметины от ее зубов... Значит, на самом деле никакого ущерба вам не причинили. Ну а не могло ли так

¹ М а д ж а н — игра в кости.

случиться, чтобы вы понесли ущерб?.. Видите ли, я бы не сказал, что не могло. Дело в том, что Нэмуру был поручен достаточно обширный рынок. Он был прекрасно осведомлен о состоянии дел, и если бы захотел использовать во зло свое положение... Следовательно, из ваших слов можно заключить, что он уже совершал какие-то поступки, заставлявшие вас испытывать подобные сомнения?.. Ничего подобного. Что это, пожар?.. Нет, это сирена «скорой помощи»... Так вот, Нэмуру действительно, как бы это лучше выразиться, принадлежал к типу людей, преданных работе, не способных на ложь. Когда человек с хорошо подвешенным языком занимается торговлей, борясь со своими конкурентами, он, как любой ловкий человек, превращается в пройдоху с черной душой, готового кому угодно глотку перегрызть. Но Нэмуру был не таким. Из-за честности, подчас неумной, или по какой другой причине это была редкая натура — его бумажник можно было спокойно использовать вместо сейфа... А по характеру своему он был человеком малодушным?.. Малодушным, да нет, я бы, пожалуй, не назвал его малодушным... Ну а если коротко, в двух словах... Если в двух словах, он был скорее твердым, хотя и не принадлежал к тому сорту людей, кто прибегает к эффективным приемам — одним ударом достигает цели, — но зато, как разозленная жаба, будь что будет, он, начиная действовать, становился непреклонным — ни за что, мол, не отступлю... Может быть, каким-то образом он и навлек на себя чью-нибудь ненависть?.. Ненависть? Ну, как вы понимаете, когда барсука продаешь за лисицу, нет ничего странного, если тебя и начнут ненавидеть. Но ему и самому такое не нравилось: он считал, что так делать дела не годится... А что если Нэмуру ухватился вдруг за ниточку какого-то преступления и эти люди?.. Вот оно что, значит, есть предположение, что он либо сам исчез, либо его убрали. Да что там говорить, такая уж у вас работа: без стеснения подсматривать за интимной жизнью людей — встречались, наверно, интересные случаи, а?.. Самые разные... Это верно, любой человек отправляет нужду... Простите, мне бы хотелось вот еще о чем спросить: Нэмуру-сан никак не выказывал, что он недоволен своей работой?.. Ну что вы, такого и быть не могло. Иначе разве мы перевели бы Нэмуру всего лишь за месяц до исчезновения из заведующих тороговой секцией в начальники отдела?.. Да, я об этом уже слышал...

Наша фирма, как вы сами сейчас в этом убедились, совершенно не стремится пускать пыль в глаза. Но судить о ней только, так сказать, по внешнему виду несколько затруднительно. По характеру нашей деятельности мы сосредоточиваем свою работу на пригородах. Когда город разрастается, то, естественно, возрастает и продажа пропана, но, как только рост города достигает определенного уровня и туда доводят магистрали городской газовой сети, первый акт заканчивается. Тогда мы обращаем взор на другой перспективный район — звучит труба, зовущая в поход на завоевание нового рынка. Мы носимся по учреждениям и канцеляриям, собираем информацию, обхаживаем мелких торговцев — в общем, на всех фронтах ведем генеральное сражение. И благодаря тому, что город стремительно развивается, бывает, что посеянные семена сразу же дают всходы, но бывает, тут же засыхают. Весь год неустанная война нервов, нам не нужны работники, прохлаждающиеся за письменным столом. Для фирмы лучше, когда в конторе тихо и пусто. Доказательства? Пожалуйста: в деловом мире по результатам деятельности мы занимаем шестое место, пользуемся широким кредитом в банках — в общем, фирма вполне благонадежная... Я все прекрасно понял, но мне хотелось бы узнать о тех самых документах... Документах?.. Ну да, о документах, которые Нэмуро-сан в то утро должен был передать на станции S. одному из ваших молодых сотрудников... Уж не Тасиро ли? Должно быть, он. Давайте вызовем его и спросим...

Не успев еще закрыть рот, управляющий вскочил со стула и стал рукой толкать неподдающуюся обитую пластиком дверь; наконец пнул ее ногой и в узкую щель прокричал в мудрено разгороженную пропыленную контору: Тасиро-кун, Тасиро-кун, будь добр, на минутку!.. Он смахнул ладонью выступивший на лице пот, вытер руку о брюки и повернул ко мне открытое, улыбающееся лицо — мол, доверяйте мне во всем... Он как раз здесь. Многообещающий молодой человек, и вы можете обо всем спрашивать у него без стеснения...

Робко появившийся вскоре многообещающий молодой служащий явно проигрывал рядом с управляющим — он оказался тщедушным маленьким человечком с плохим цветом лица, с непроницаемыми глазами, спрятанными за толстыми стеклами очков, в чересчур широких брюках и в ботинках на резине. И то, что он не выказал никакого

смущения, когда управляющий представил меня, объяснялось, видимо, не его спокойствием, а скорее непроницаемым выражением лица, которое сразу же озадачило меня. Он сел на тот же диван, на котором сидел я, на самый краешек, рядом с дверью, и, непрерывно поправляя сползавшие вниз очки, отвечал громко, чуть в нос, но, как ни странно, без запинки.

...Нет, не знаю. Думаю, что он назначил встречу на станции S., чтобы не заходить в контору и не терять напрасно времени, поскольку ему нужно было попасть еще в одно место. Вот и все. А документы были очень срочные... И каково их содержание, вы не представляете?.. Не имею ни малейшего представления... Но кому они были адресованы, вы, наверно, знали?.. Нет, было решено, что, когда я буду получать документы, сведения об адресате мне передадут вместе с планом... Никаких предположений не возникало у вас, хотя бы самых общих? Исходя из характера работы в то время, положения дел... Конечно, в те дни все об этом только и говорили, и мне в голову приходили самые разные мысли, но...

...Может быть, вы, господин управляющий? — быстро переменял я направление. Занимаемое вами положение позволяет делать общие выводы. Возможно, у вас есть какие-либо предположения, иные, чем у Тасиро-куна?.. Нет, нет, — он закуривает сигарету и, не меняя позы, отмахивает лезущий в глаза дым, — видите ли, я твердо убежден, что главное в обращении с подчиненными — не вмешиваться по пустякам в их дела. Доклад должен быть лишь в виде выводов. И если выводы дельные — прекрасно. Я всегда на этом настаиваю. Не правда ли, Тасиро-кун?

...И все же — я задерживаю взгляд на кошках, приделанных к пепельнице, — нельзя, видимо, не признать, что эти документы носили, по всей вероятности, конфиденциальный характер — почему, не играет роли... Почему? — первым реагировал управляющий... Видите ли, если б это были ничего не значащие документы, их можно было бы послать по почте... Но разве я вам не говорил — просто чтобы помочь Нэмуру, в деревню сразу же отправился молодой сотрудник — вопрос времени. Туда же срочное письмо приходит лишь на следующий день... Да, но по телефону связаться еще быстрее. Так что, я думаю, здесь, видимо, не только вопрос времени... Это верно, тем не менее по телефону можно лишь обменяться слова-

ми, а в данном случае нужно было передать что-то, скрепленное печатью, получить обратно что-то, скрепленное печатью...

До чего же ловок, пройдоха. Повернувшись на девяносто градусов, открыто смотрит прямо в глаза собеседнику. И лишь стул слегка поскрипывает под ним, но взгляд злой, и сидит он выпрямившись, напряженно.

...Ах, вот в чем дело. Видимо, все было действительно так, как вы говорите. В таком случае, подробности меня не интересуют, нельзя ли указать на плане место, где была намечена в то утро встреча? Молодой служащий слегка кивнул, молча поклонился одному лишь управляющему и, стараясь ступать как можно тише даже в своих бесшумных ботинках, выскользнул из комнаты. Оставшаяся от него на диване вмятина медленно исчезает. Ужасно грязное окно, отделяющее кабинет от необычайно грязного неба. Красноватый свет, не дающий никакой тени. Неожиданно управляющий нацеливается сигаретой на одну из кошек и, гася ее о мордочку, хихикает... Очень жаль, а я так надеялся, что профессиональный детектив что-нибудь из него вытянет. Умный вроде парень, хотя по виду и не скажешь... А почему вы, господин управляющий, принимаете это так близко к сердцу? — спрашиваю я. ...Ничего подобного. Просто вы позволили нашему служащему невесть что возомнить о себе. Но в общем все хорошо, благодаря вам у меня наконец камень свалился с сердца. Теперь вот о чем. Жена Нэмура в конце концов наняла вас. И это вы воспринимаете как доказательство, что она сама абсолютно не знает, куда исчез муж. Хорошо, хорошо. И все же те, кто в курсе дела, никак не могут с этим согласиться. Это было бы весьма печально, но представьте себе — вдруг Нэмура сговорился с женой и только от меня скрывает, куда он исчез, — где-то у меня гнездится такое подозрение... У вас есть на это и конкретные основания?.. Не подгоняйте, это сбивает меня с мысли. Так вот, не будет ничего удивительного, если все неожиданно окажется простым недоразумением. При этом, должен сказать, он по своему характеру работяга, хотя внешне и не выглядит таким. Потом вот еще что. — Управляющий глубоко вздыхает и сплетает на животе пальцы, кисти у него совершенно одинаковые в длину и в ширину. — Неужели же он действительно сбежал, бросив все, даже семью? Этот Нэмура — странный тип, никогда он не казался таким уж храбрецом... Храбрецом?..

Ну да. Хоть я и знаю, что очиститься от скверны, как это сделал он, я бы не смог. Ни за что не смог бы сделать такое. И если меня насильно не сгонят с этого места, я буду цепляться за него до самой смерти. Человек ест, справляет нужду, и ему плохо, когда его сдвигают с места, которое его кормит. Да и справлять нужду лучше всего на одном и том же месте — тогда желудок лучше работает...



...Кто-то следует за мной. Я продолжаю идти как ни в чем не бывало.

Выйдя из фирмы «Дайнэн», я прошел квартала два к югу, вниз по улице, по которой ходят автобусы, повернул направо, на улицу, круто поднимающуюся вверх, и очутился у не огражденного шлагбаумом переезда через линию железной дороги. Улица, идущая вдоль железной дороги, — единственное место, где разрешалась стоянка. От переезда и до угла следующей большой улицы почти вплотную в ряд стоят автомашины. Может быть, потому, что весь этот район набит мелкими заводами, почти все машины — небольшие грузовички. Каждый раз, когда проносится электричка, в воздух, видимо, поднимается металлическая пыль с рельсов — вся улица кажется покрытой слоем ржавчины.

Моя машина стоит в конце улицы. Обернулся — следовавший за мной человек исчез. Но беспокоиться нечего — он обязательно появится снова. Сев в машину, поудобнее устраиваюсь на сиденье, на папку, лежащую на коленях, кладу два бланка для донесений, проложенные копиркой, и закуриваю. Приводить в порядок записи в таком месте стало привычкой. С этим нужно освоиться, так же как с искусством сбора сведений или слежки. Но, кроме нескольких установленных правилами строк, не удастся записать ни одной фразы, за исключением жалких слов «безрезультатно», доказывающих мое алиби... к счастью, у меня в кармане листок бумаги с планом, напоминающим схему водопроводных магистралей, где отмечено место встречи у станции S., который по моей просьбе начертил молодой служащий Тасиро, и поэтому у меня есть чем заполнить донесение... никогда не

ощущаешь свою бездарность острее, чем в такие минуты. Нет, я, наверное, действительно бездарен. Доказали я хоть однажды, что не бездарен? Со временем, когда набьешь руку и уже можешь хоть на тридцать строк развести свое «безрезультатно» — или просто в какое-то мгновение поддаешься такой иллюзии, — становишься в вызывающую позу: особая одаренность в общем-то и ни к чему, о ней можно просто забыть.

Отрываю клейкую ленту и приклеиваю листок с планом к левому углу бланка для донесений.

Показался и долго грохотал на стыках, прогибая рельсы, переваливший, видимо, через горы и весь засыпанный снегом бесконечный товарный состав. В углу автомобильного зеркала снова появилась фигура моего преследователя, как я и ожидал — тот самый молодой человек, Тасиро. Неожиданно он пропадает из поля зрения, но тут же собственной персоной оказывается у окна. Сделав пальцем знак, что перейдет сейчас на другую сторону, он обходит машину, открывает переднюю дверцу, и ворвавшийся упругий поток воздуха, уплотненный поездом, издает звук, точно разбилось стекло, и беспорядочно разбрасывает покоившиеся на моих коленях бланки для донесений. От пальто молодого человека, севшего в машину, в нос ударяет запах нафталина. И те несколько минут, а может быть, несколько десятков секунд, пока шел поезд, зрачки этого человека за стеклами очков все уменьшались, голова его все глубже втягивалась в воротник пальто и вся его жалкая фигурка, будто тонкая металлическая пластинка, начала резонировать в такт грохоту поезда. О чем хочет насплетничать этот человек? Еще хорошо, если насплетничать, а вдруг он пришел, чтобы своими рассказами заморочить мне голову? Многообещающий молодой сотрудник... правда, если послушать управляющего, он, исчезнувший, был действительно человеком, какого встретишь не часто.

Наконец поезд прошел. Оставив шум, словно в ухо залетела мошка.

— Какая противная погода.

И точно эти слова привели в движение киноленту, он ослабил напряжение, сковывавшее его колени, и слегка повернулся ко мне. Когда я щелчком выбросил свою сигарету в приоткрытое окно, он, точно сменив меня, за-

жал в зубах сигарету и закурил, беспрерывно поправляя сползавшие вниз очки.

— Простите... Видите ли, я вам раньше сказал неправду... простите... и необходимости в этом, в общем-то, не было...

— Наверно, чтобы не рассердить управляющего?

— Возможно... хотя нет, думаю, что по другой причине. Управляющему ведь об этом должно быть точно известно... и все-таки даже управляющий почему-то не говорит правду и делает вид, что ничего не знает... а у меня в душе остался неприятный осадок, укор совести, что ли... будто я в сговоре с ним и предал начальника отдела Нэмура...

— Не принимайте близко к сердцу. Если то, что вы хотите сообщить, принесет пользу Нэмуру,— прекрасно.

— Нет, никакой пользы не принесет. Я с самого начала знал, что мое сообщение окажется бесполезным. Иначе я бы ни за что не решился сказать неправду. Что бы я ни сообщил вам, все равно это окажется напрасным.

— Напрасным или нет— это уж разрешите мне судить.

— Речь идет об адресате, которому нужно было доставить те самые документы...

— Вы знали?

— Начальник отдела...— Он извлек из внутреннего кармана визитную карточку и театральным жестом помахал ею: — Я услышал и записал для памяти — он звонил по телефону, что доставит какие-то документы. Дня за два до того, как это случилось...

— Вот оно что, член муниципалитета... но что-то я об этом городке почти ничего не слышал.

— Он образован совсем недавно путем слияния нескольких деревень. Я ездил туда, но напрасно... как видите, и мы не сидели сложа руки...

Фраза, которую я уже слышал. Да это фраза брата, сказанная им на автомобильной стоянке... внезапно меня охватило невыносимое раздражение.

— Послушайте, ну а почему на этот раз вы наконец решились чистосердечно обо всем рассказать?

— В каком смысле?

Если бы я знал, в каком смысле, то стал бы я его здесь расспрашивать! Презрительно глядя на скован-

ную, будто накрахмаленную фигуру своего собеседника, включаю радио. Капризный, полудетский голос под аккомпанемент гитары поет:

Больше ничего,
Больше ничего,
Только тебя я вижу во сне,
Больше ничего.

Тасиро, этот молодой человек, глубоко вздохнул, расправив плечи, вытер ладонью запотевшее стекло машины и действительно приготовился что-то сказать. Прямо впереди на дороге стеной вставало пропитанное водой, готовое разразиться дождем небо. Тесная машина, в которой невозможно отгородиться от сидящего рядом, сколько ни отодвигайся... кажется, что стук сердца собеседника слышится из твоей собственной груди... я тоже молча, зло продолжаю ждать...

— Ладно, скажу.— Он поднимает палец в воздух, выпрямляется, будто для того, чтобы посмотреть вдаль.— Выключите, пожалуйста, радио.

— Верно, лучше сказать. Такая уж у меня профессия — человеку, который сообщает мне те или иные сведения, абсолютно никакие неприятности не грозят...

Пронесятся встречные электрички, точно стальными хлыстами полосую мою машину. Испуганно взвизгнув, замолкает выключенное радио, вызывая в памяти бор-машину. Примерно полмесяца назад у меня вырвали коренной зуб. Еще и сейчас, если я с силой втягиваю воздух, во рту ощущается вкус крови.

— Да, скажу. Действительно, нельзя утверждать, что я был до конца чистосердечен... и не потому, что не хотел помочь вам. Нет, не потому... видите ли, в результате исчезновения моего начальника отдела я тоже оказался одним из пострадавших... и ужас-то какой. Ночью, один, представишь себе все, что случилось,— оторопь берет. Исчез, как дуновение ветра... и мне было трудно говорить об этом... просто было неприятно запятнать репутацию этого человека...

— Сохранение тайны — мой профессиональный долг.

— По правде говоря, человек этот... был с двойным дном... он имел странное пристрастие... очень увлекался фотографией... не просто фотографией, а ню...

— Собирал их?

— Нет, фотографировал. Часто ходил и в студии. Но знал об этом, пожалуй, только я. Потому что случайно познакомил его со своим товарищем, который держал фотолабораторию.

— Не было похоже, что у него есть какая-то определенная натурщица?

— Ну... не знаю, можно ли сказать «определенная»?..— Наконец язык у него развязался, и весь он, вплоть до выражения его лица, стал липким, как внутренность созревших резиновых тапочек.— Вроде была одна девушка, которая ему особенно нравилась...

— Имя или еще что-нибудь о ней вы знаете?

— Где находится студия — знаю. Поскольку я имел к этому отношение, могу, если хотите, показать и фотографии. Правда, фотографии любительские, но именно потому, что любительские, они как раз и производят потрясающее впечатление. Постоянные заказчики очень радуются, получая именно такие снимки.

— Так мы можем в эту студию прямо сейчас заехать.

— К сожалению, это невозможно. Я еле с работы удрал, отговорившись, что иду обедать... но только вы не подумайте, что мой начальник сбежал с этой девицей... он просто не мог бы совершить такой поступок... да и вообще он никого не любил, замкнутый был — к примеру, пригласит в бар и сидит молчит минут десять, а то и двадцать — трудно бывало с ним...

Неожиданно раздался звук, будто в дверь ударили мокрой губкой. Я вытер стекло — на меня исподлобья смотрел готовый расплакаться мальчишка лет десяти в коротеньком пальто с огромной заплатой на левой доле. Я наполовину опустил стекло — чего тебе, мальчик? — и он, уже совсем собравшись в панике убежать, показал пальцем под машину — туда, мол, закатился мячик. Ничего не поделаешь, нужно отъехать, верно? Если ты не против залезть под машину, то можно и не отъезжать. Ну давай, лезь... изморозь, какой давно уже не было, придала покрытой ржавчиной улице оттенок, будто ее полили нефтью. Наверно, и локти, и колени мальчишка тоже намочнут и станут коричневыми. Выползший наконец из-под машины мальчишка, с мячом в руке, спрашивает: «А сколько она дает километров в час?.. сто... ха», — дурашливо хмыкает он, перебегает через дорогу и идет вниз по улице. Я невольно рассмеялся. Не удержался от смеха и молодой человек. Мне по-

чему-то сразу стало легче. С этим Тасиро хорошо бы со временем подружиться.

Поднял стекло, завел машину, включил отопление. Остывший мотор начал работать, тарыхтя, как плохой ударный инструмент.

— Вы пьете?

— Пару стаканчиков виски с содовой, охотно...

— Ладно, тогда завтра вечером в студии, где снималню Нэмуру, я угощаю, идет? Так где мы встретимся и в котором часу?... а что, если... нет, давайте завтра же и уточним по телефону...



Неряшливо одетый, круглый, точно шар, накачанный водой, шеф, за спиной которого висит огромная схема фамилиями агентов — по вертикали, числами и днями недели — по горизонтали, сидит, развалиясь, занимая собой все кресло. Если бы пальцы сложенных на животе рук непрерывно не двигались, можно было бы подумать, что он безмятежно спит. Лоб прорезают глубокие морщины, он весь в прыщах, похожих на пупырышки огурца.

Оставаясь в прежнем полусонном состоянии, шеф чуть приоткрыл глаза, ехидно хмыкнул и хрипло пролаял, точь-в-точь как простуженная собака:

— Ты слишком серьезно к этому относишься.

— Разве я похож на человека, слишком серьезно относящегося к тому, что он делает?

— Хоть маленькая-то надежда есть?

— Нет.

— Я так и думал. Потому-то и не стоит слишком глубоко влезать в это дело.

— Да я просто злюсь.

— Будешь злиться, провалишь все дело.

— Во всяком случае, речь идет о единственной неделе. Не будут же они до бесконечности оплачивать расходы — как-никак тридцать тысяч иен в неделю. Миллионеры они, что ли?

— А она, кажется, неглупа и красавица, эта твоя заявительница?..

— К сожалению, под ногами все время путается один противный тип, вроде бы ее братец.

— Да, кстати, какие-то сведения есть в справочном отделе.

— Видел. Очень уж этот братец мне не по душе, и поэтому я просил проверить в домашней книге.

— Ну и как?

— Как будто брат с таким именем у нее числится, это действительно подтверждается... но фотокарточки не оказалось, и поэтому у меня еще нет полной уверенности, что это не подставное лицо...

Раскаиваюсь, что вдруг ни с того ни с сего разоткровенничался. Но теперь уж ничего не поделаешь. И тогда шарообразный шеф резко подался вперед, так что кресло жалобно закрипело, и беззастенчиво уставился на меня взглядом, жестким, как наждачная бумага:

— Подставное лицо... значит, она назвала своим братом подставное лицо — здорово... выходит, заявительница — продувная бестия.

— Да здесь можно предполагать что угодно...

— А что дало повод к подобным подозрениям?

— Правильнее было бы назвать это не поводом, а скорее незначительностью, неясностью повода...

— Повод более чем ясен, — неожиданно резко перебивает он, — исчезновение мужа заявительницы, разве нет?

— Это-то, конечно, правильно.

— Ты, наверно, знаешь — в нашей работе, когда речь идет о личных делах заявителя, лезть в них строжайше запрещено. Нечего совать нос в то, что не может быть записано в донесении. Кто не соблюдает этого условия, тому ничего не остается, как уйти и поменять профессию, хочешь — на монаха, хочешь — на шантажиста.

Я чуть было не проговорился о спичечном коробке. Единственным вещественном доказательстве, которое можно потрогать рукой, увидеть глазами. Единственная линза, позволяющая сконцентрировать в одной точке бесчисленные гипотезы и придать им реальные очертания. Среди несчетного числа планиметрических карт, имитирующих нечто сходное с действительностью, только то, что проецировалось на спичечном коробке, представляло собой объемную цветную фотографию. Если бы только удалось вырвать у этой женщины всего каких-то два, ну три слова... если бы только удалось... ну

и что бы тогда?.. я бы вволю посмеялся над собой, сам бы у себя выбил почву из-под ног. Мнение шефа я знал еще до того, как услышал его. Его подтвердила и проверка по домово́й книге личности брата. А может быть, и в самом деле шеф прав?



Сегодня утром на стоянке автомашин около кафе «Камелия» он — брат заявительницы — с поразительной предусмотрительностью помог мне избежать неприятностей. Он очень искусно обратил мое внимание на объявление, запрещающее въезд, которое я сам не заметил.

В самом деле, наш район охоты строго определен границами, указанными и санкционированными заявителем. Мотив, заставивший заявительницу решиться на расследование, как об этом ясно указано в заявлении, — его исчезновение, и поэтому, независимо от того, добьюсь я успеха или потерплю неудачу, я буду его искать и мне незачем спрашивать, почему я обязан искать. Пусть заявительница неохотно дает показания, пусть они будут противоречивыми — я не имею права отступить.

Это я прекрасно понимал. И шефу нечего было снова поучать меня. Даже в том случае, если заявитель использует нас, чтобы скрыть свое преступление, наша обязанность — быть ассенизаторами, и я не вправе отказываться от такой работы.

Например, достаточно ловкое объяснение случайной якобы встречи на стоянке автомашин, данное братом, позволило мне не потерять лицо, но в то же время в определенном смысле еще более усилило подозрения. Если он так хорошо разбирался в обслуживании и ремонте автомобилей, то не исключена возможность его связи с воровским синдикатом, специализирующимся на угоне автомашин (может быть, на эту мысль меня навела статья, которую я недавно прочел в газете, об аресте крупной воровской шайки).

Нет, должно быть, все гораздо проще. Хотя бы такой пример. Вполне возможно, что он выправлял вмятины и менял номерной знак на машине преступника, который сбил человека и скрылся, или кто-нибудь заставил его

это сделать, а может быть, он сам этот преступник, сбивший человека и скрывшийся...

Благодаря его блестящему мастерству следы удалось запутать, но результат оказывается обратным, он приперт к стене... в конце концов положение его становится невыносимым, и он прячется... к тому же жена, заявительница, прекрасно понимая это, старается прикрыть побег, и, значит... значит, мне нечего лезть в это дело.

Лишь одно предчувствие не дает покоя... робкая надежда, которая ни за что не хочет покинуть меня... тот нежный лимонный свет в окне, когда я стоял на пронизывающем ветру, обратившись в мороженую рыбу, приковал меня и не отпускал. Я не мог отделаться от ощущения, что меня поманили и я вошел, игнорируя преграды... никаких оснований для такого ощущения не может, конечно, быть... но это беспокойство... проклятое подозрение: не совпадает ли преграда, воздвигнутая заявительницей, с той, что воздвигнута ее самозванным братом... фу, как противно... не могу заставить себя отделаться от мысли, что брат не тот человек, за кого себя выдает... потому-то я и хочу притаиться у щели в преграде, приняв стойку охотничьей собаки, чтобы иметь возможность выскочить в любую минуту.

Щель в преграде... спичечный коробок...

О кафе «Камелия» в моем донесении нет неправды. Нет неправды, и все логично. Не удалось найти ничего, что связывало бы «Камелию» с ним. Хотя это можно утверждать лишь в том случае, когда речь идет о внешнем виде коробка. А вот если заглянуть внутрь... головки разных цветов... двадцать шесть спичек с черной головкой и девять с белой... сколько ни успокаивай себя, сколько ни уговаривай — тревожный факт, не укладывающийся в созданную мной схему... разве нет? Ведь спички, которые мне дали сегодня утром в «Камелии», оказались с белыми головками, и, значит, те двадцать шесть с черными головками были вложены позже. Ну кто станет сейчас класть спички в рекламный спичечный коробок из кафе? Как цены ни поднимаются — спички и вода в любом кафе бесплатные.

Однако в моем донесении я прошел мимо этого факта. Потому что, поступи я иначе, мне бы пришлось перешагнуть запретную преграду, растоптать ее. Мне так хотелось сделать это, но я еще не мог решиться...

На то, что спички разноцветные, я обратил внимание в прошлый вечер. Когда наконец я оторвался от лимонного окна и влез в машину, отопление лишь загнало внутрь окоченелость, и меня колотила безудержная дрожь — я стал даже опасаться, смогу ли нормально вести машину. Постепенно кишачая людьми улица стала меня раздражать, и я решил оставить машину на стоянке у станции S.

Сворачиваю за угол по дорожке, идущей вдоль кинотеатра — облупленные стены, выщербленный асфальт, темные укромные уголки — они точно ждут кого-то. Сюда доносится шум оживленной улицы, но тем не менее я замечаю мужчину, пристроившегося у столба, заклеенного объявлениями. Толкаю левую половинку большой двустворчатой двери, ничем не примечательной, ярко освещенной распивочной-автомата на следующем углу и вхожу внутрь. Может быть, такое время, но посетителей вдвое меньше, чем обычно, и поэтому кажется очень тихо. У входа в одной из разменных касс меняю четыре стоиеновые монеты на десятиеновые. У противоположной стены выстроились в ряд восемь белых с красной каймой прямоугольных металлических ящиков, и, если бы не надписи, их легко можно было бы принять за бензиновые колонки. Пробравшись между маленькими столиками, расставленными параллельно в пять рядов, не теряя времени, останавливаюсь у свободного автомата, крайнего справа. Специфический возбуждающий запах... городская вонь, которая окутывает город, когда после десяти часов вечера пользование канализацией резко сокращается... в обрамленную латунью щель под красной стрелкой в правом верхнем углу автомата опускаю несколько десятиеновых монет... каждый раз раздается мелодичный звук, а после того, как опущена восьмая, зажигается красная лампочка... подставив под кран бумажный стаканчик, я поворачиваю вправо ручку из нержавеющей стали — выливается сто восемьдесят граммов желтоватой жидкости — подогретого дешевого сакэ. Чтобы не дать уйти теплу, обхватываю стакан обеими руками и сразу же залпом отпиваю треть. По пути к облюбованному столику в несколько глотков допиваю остатное.

У моего излюбленного столика уже стоял человек. Под застиранной темно-синей спецовкой яркий узорчатый шарф. Без пальто. Коренастый, плотный, под ногтя-

ми на руке, ухватившей стакан, черный мазут — наверно, истопник из соседнего многоэтажного дома. Восьми-часовые посетители — почти все служащие, и мне смешаться с ними очень легко, а позже посетители уже совсем другие. Освобождая место, мой предшественник обернулся. В дырке от выпавшего зуба торчал кончик языка. Вроде бы уже здорово выпил. Центр тяжести у него все время перемещается — от пяток к носкам. Жаль, что в этом заведении нет стульев. Громко потягивая сакэ из бумажного стакана, внимательно следит, сколько у меня денег. ...Ха, вам тоже нравится это сакэ, удивительно. Потом, понизив голос: дайте в долг десятииеновую монетку. Я здесь частый гость, так что верну, не обману. Если не верите, могу и расписку написать. Одну монетку в десять иен — отдам обязательно...

В этом заведении, правда, не принято было обращаться к соседу. Да и все мое нутро было напряжено в каком-то ожидании. Но я, не возражая, быстро достал десятииеновую монету, и он тут же выхватил ее, даже не поблагодарив, и пошел на этот раз не к автомату, а к окошечку, где чем-то торговали.

На столиках в ряд стоят маленькие автоматы. Там можно купить что душа пожелает, начиная от арахиса, соленых бобов — без них не обойдешься, — кедровых орешков и сушеных мидий и кончая предсказаниями судьбы. Там же был автомат, продающий горячий тофу — соевый творог. Автомат этот, рекламировавшийся как единственный во всей стране и установленный только в этом заведении, был похож на игрушечного робота с оторванными руками и ногами. Обычно, гудя как пылесос, он собирал возле себя целую очередь, но в этот вечер, может быть потому, что товар кончился, он стоял тихо, беззвучно. Сначала я купил десятииеновую порцию кедровых орешков. Они ссыпались мне в ладонь, и я разом отправил их в рот... да там всего-то было зерен двадцать. Когда я отпил до половины второй стакан, у меня неожиданно потекло из носа. Потом купил порцию китового мяса с соевым соусом в треугольном пакетике. В тот вечер опьянение началось где-то у лба и постепенно спускалось вниз, при этом внутри у меня возникали какие-то звуки, будто кошка ступает по оцинкованной крыше. Когда я, наполнив третий стакан, вернулся на свое место, то почувствовал себя легко и свободно, точно тело мое стало невесомым.

Рядом с моим стаканом находился автомат, предсказывающий судьбу. Может быть, оттого, что напряжение упало слишком резко, и оттого, что не нужно было, расставив локти, оберегать свой стакан, как это всегда бывает в часы пик, я отдался водовороту опьянения, крутящемуся все быстрее и быстрее. Я неожиданно заметил, что поверхность стола покрыта имитирующим дерево пластиком, увидел, что оспины, усыпающие весь стол, — следы от сигарет, и даже обнаружил, что какая-то часть оспин движется — это тараканы... и поскольку теперь мне все безразлично, я поддался побуждению, не двигаясь с места, заставить время остановиться, ограничив для себя вселенную лишь тем, что находится сейчас в поле моего зрения.

На столе перед каждым посетителем — алюминиевая пепельница, такая большая, что даже мешает. Между столиками расставлены бесформенные оцинкованные урны. Но все равно сигареты гасят о стол, а бумажные стаканы и тарелки, сломанные палочки для еды будто нарочно бросают мимо урн, и ими усыпан весь пол. Бывая здесь в часы, когда полно народу, я совсем не обращаю на это внимания, но, может быть, покой, умиротворенность, которые чувствуешь приходя сюда, берут свое начало в специфическом ощущении, которое передается через подошву ботинка, спокойно топчущего эти горы мусора. Преданность и повинование — прекрасная сторона обслуживания с помощью автоматов. Посетитель, оставаясь в одиночестве, может спокойно тешить свою королевскую гордость. Вот потому-то он и изливает переполняющее его негодование не в пепельницу, а на значительно большую площадь — на весь стол, не в урну, а на значительно большую площадь — на весь кафельный пол. Мне захотелось завести разговор о чем угодно, пусть хоть о летающих тарелках, с каким-нибудь совершенно незнакомым человеком. Но неписанный закон этого заведения — не обращаться к незнакомым. Мне тоже нравилось такое неписаное правило, и поэтому не оставалось ничего другого, как прибегнуть к услугам самого близкого ко мне автомата, предсказывающего судьбу. Опускаю десятииеновую монету.

«Удача — на юге всплывает счастливое облако. Ты медленно идешь к цели, и врата счастья открыты перед тобой. Рассчитывай только на собственные силы. Будь осторожен в любви. Следи за тем, что-

бы не потерять деньги и не попасть под дождь. То, что ищешь, лежит под ногами. Весенние дожди несут радиоактивные осадки — пользуйся зонтом».

Недостаток бумажных стаканов — как ни старайся, все равно намочишь руку. Может быть, поэтому, когда я попытался закурить, спички не хотели зажигаться, я даже разозлился. Я сложил две спички вместе... и вдруг обратил внимание, что головки у них разного цвета. И хотя опьянение все еще шло по спирали, некоторые протрезвевшие участки мозга уже начали соединять отдельные звенья в единую цепь. Я вспомнил, что этот спичечный коробок, который я безотчетно держал в руке, — важнейшее вещественное доказательство, только что полученное от заявительницы, завернул его в платок и спрятал поглубже во внутренний карман.

Но еще раньше, точно высветившись вспышкой магии, эти две спички четко отпечатались в моем сознании.

Белая головка

и

Черная головка

Моя мысль, точно рентгеновские лучи, проникнув сквозь все обстоятельства и события, стремительно двинулась прямо к выводам. О том, что он не был завсегдаем, часто посещавшим кафе «Камелия», можно было легко догадаться по спичечному коробку и тому, как была истерта этикетка. Будь он завсегдаем — в любое время мог бы взять новый. Но поскольку головки спичек были двух цветов, трудно утверждать и то, что он был случайным посетителем. Разве тот факт, что он запросто заходил в кафе лишь для того, чтобы наполнить опустевший коробок, не доказывает, что если он и не был завсегдаем, то мало чем отличался от завседатая. Может быть, он имел с этим заведением еще более тесные связи, чем обычный постоянный посетитель. Я отпил уже половину третьего стакана, поднес к предсказанию судьбы горящую спичку (конечно, уже другую), а моя мысль, преследуя разбегающихся тараканов, устремляется прямым курсом дальше. Спичечный коробок из кафе, куда он редко заходил... что же заинтересовало его в этом коробке?.. рисунок на этикетке?.. глупость... может быть, номер телефона?.. если так, то можно предположить... в

кафе «Камелия» у телефона сидит одна из тех молоденьких девиц, о которых мечтают мужчины средних лет, и на груди только что не висит табличка: «Ищу избавителя и заступника», и он, время от времени демонстрируя свою приветливость, на крючок номера телефона подцепил ее заинтересованность...

И почти в тот же миг мои рассуждения делают такой резкий поворот, что колеса машины заносит в воздух. Смех! Если бы девица существовала на самом деле, это бы не ускользнуло от братца, всюду сующего свой нос. Он бы давным-давно все разнюхал и в заявлении с самого начала указал бы, что нужно разыскивать эту девицу. Видимо, ее не существовало (ее и действительно не существовало). Ну а если поверить словам женщины, что спичечный коробок был вынут из кармана его плаща... нет, это слишком банальная гипотеза — не нужна она мне... вместе со спичечным коробком, как она мне сказала, была еще и старая газета. Нужно, сверяясь по двум-трем последним сведениям и объяснениям, которые дает женщина, срезать мешающие мне ветви и снова как следует все рассмотреть.

Над моим ухом раздается голос. ...Вы что, этим закусываете? Мужчина, выманивший у меня десятииенную монету.— Нет, это, конечно, не отравка. Смотрите, какие они жирные — вполне съедобны. Очнувшись, я увидел, что, наломав спичек десять, раздавив не меньше двадцати тараканов, я сгреб все это в кучку.— Видно, такая еда прибавляет силенок — тараканы ведь пролитое сакэ пьют. ...Закуска отличная, не хотите попробовать? Я, конечно, пошутил, но после моих слов мужчина вдруг протянул руку, взял щепотку месива и, не успев я оглянуться, отправил в рот. Я попытался остановить его, но меня опередил молодой человек, по виду продавец, который протиснулся между нами, смахнул на пол оставшихся тараканов и прошел мимо, зло взглянув исподлобья и бросив: «Хватит издеваться». А проглотивший тараканов безостановочно рыскал глазами в поисках чего-нибудь еще и, просовывая в дырку от выпавшего зуба кончик языка, приговаривал: Солонатово... и шуршат, как бумага... считай, что это поджаренные дешевые водоросли,— не ошибешься...

Ну что ж, нужно сказать прямо. Если в спичечном коробке и было что-то, заслуживающее внимания,— это, конечно, номер телефона на этикетке. Но номер этот действительно был нужен, как ни странно, не ему, а

женщине или, может быть, ее брату. Пожалуй, правильнее говорить не в прошедшем времени «был нужен», а в настоящем — «нужен». То, что они делали, можно назвать отвлекающим маневром. Боясь, что я догадаюсь, с какой целью использовался номер телефона, они хотели любым способом показать, что этот номер имеет отношение к нему, сбивая меня с верного пути, убедить меня в своей непричастности и отвлечь мое внимание от того, что делается в «Камелии». Разве не такой была их цель?

Может быть, потому, что приближалось время закрытия, из-за перегородки медленно вышла коротко стриженная женщина и стала подметать пол. Да и посетителей оставалось человек пятнадцать — с первого взгляда ясно, что они устали и идти им некуда. Ладно, скажу еще определеннее. Ничего сверхъестественного, выходящего за рамки здравого смысла. На первый взгляд могло показаться, что женщина — несчастная жертва, покинутая мужем... а что, если на самом-то деле все наоборот, и женщина, а может быть, и ее брат — убийцы, то есть самые страшные преступники... выводы можно не делать... представим себе, что какие-то обстоятельства заставят меня бросить работу в агентстве... у женщины и ее брата, как я и предполагаю, разные мотивы, заставившие их сделать заявление, и то, что нанесет ущерб брату, совсем не обязательно повредит женщине, тогда кто-то из них — нужная мне добыча, которая, естественно, не должна избежать преследования. Напрасно меня недооценивают. Правда, если один из них и будет привлечен к суду, на этом ничего не заработаешь, а вот шантажировать — нет лучшего способа для выманивания денег, чем обвинение в убийстве. Так что убедительно прошу — не раздражайте меня своими необдуманными поступками...



Шеф опять становился похожим на накачанный водой шар. И хрипит он, как накачанный водой шар:

— Да, это интересно. Тип-то опять вроде угодил в больницу...

Для нас обоих дополнительные пояснения не нужны. Тип — это тип. Ничтожнейший из самых заурядных аген-

тов. И потому, захваченный дикой фантазией сделать что-нибудь такое, чтобы преодолеть свое ничтожество, он спрыгнул с зонтиком с крыши многоэтажного дома и здорово разбился. Так для нас он стал типом, ничтожнейшим из ничтожнейших.

Однажды тип попал в историю — довел заявителя до самоубийства. Он отличался такой поразительной беспринципностью, что фактически предавал заявителя. Нахальство его доходило до того, что он подбивал писать тайные доносы даже тех, против кого велось расследование, а потом утверждал, что виноваты обе стороны. Но тем не менее он строго следовал букве закона, и поэтому ни разу его предательство не удавалось разоблачить, не было случая, чтобы он навлек на себя гнев заявителя. Тип мог позволять себе подобные трюки только потому, что заявитель обычно не является жертвой в чистом виде. Заявитель, естественно, тоже превращается в объект расследования, поскольку он и сам нанес другому тот или иной ущерб, и, если внимательно к нему присмотреться, окажется, что и он обладает достаточно явными чертами преступника. Бывают даже такие крайние случаи, когда заявитель — стопроцентный преступник. Например, случай, когда донесения о результатах расследования использовались на самом деле в целях мошенничества.

Однако тот заявитель, которого тип довел до самоубийства, как ни странно, оказался стопроцентной жертвой. Заявителем была энергичная незамужняя молодая женщина, воспитывавшаяся без отца, одной матерью. Она содержала небольшой косметический кабинет. Однажды там появился пожилой мужчина, с первого взгляда явный алкоголик, и нахально назвался ее отцом. Девушка, на долю которой выпало немало трудностей, сначала, естественно, не поверила. Но человеку были известны такие подробности, которых он не мог бы знать, не будь ее отцом. Например, он рассказал о небольшом шраме за ухом у покойной матери, который был скрыт волосами, о коралловой шпильке для волос, подаренной бабушкой, о высоком висячем мосте на родине матери, который можно было увидеть только на фотографии... когда же он дошел до родимого пятна на плече самой девушки и группы ее крови, она начала замечать, что форма ушей и носа у этого человека такая же, как у нее.

В тот день, не без колебаний, она дала этому человеку тысячу иен, но через три дня он снова явился якобы лишь для того, чтобы взглянуть на нее, а в результате, распространяя вокруг себя запах алкоголя, попросил еще тысячу иен... и это стало повторяться сначала раз в три дня, потом через день и наконец ежедневно. Девушку это начало тревожить, но в то же время она считала, что, если он действительно ее родной отец, бросить его нельзя и она должна заботиться о нем. В конце концов она пришла в наше агентство и попросила установить личность человека, назвавшегося ее отцом.

Если бы тип не задался целью установить истину, как он это делал обычно, а подумал о том, на какой ответ надеется заявительница, и действовал бы, исходя из этого, удалось бы, возможно, избежать драмы. Но его словно черт попутал... не имея для этого никаких данных, он решил сыграть роль доброго ангела. Но, к несчастью, ему сразу же удалось установить истину.

Однако девушка, не удовлетворенная полученными сведениями, попросила провести повторное расследование. Теперь-то он должен был непременно понять истинные намерения девушки. Уж если ему так это было нужно, лучше бы он, вернувшись в свое обычное состояние ничтожества, вынудил написать донос, на что был большим мастером. Но тип, видимо, слишком увлекся ролью ангела. Точно воспитательница в детском саду, следящая за тем, как едят дети, он решил, не отступая ни на шаг, заставить девушку принять правду. Я сейчас точно не помню, что было правдой — то, что этот человек был настоящим отцом, или то, что он был самозванцем. (Об этом можно узнать у кого угодно из наших, да и большой разницы в общем-то нет.) Но только девушка, которой не оставалось ничего другого, как принять правду, покончила жизнь самоубийством. Тип же, узнав о самоубийстве, заболел тяжелейшим нервным расстройством. С полгода он пробыл в психиатрической больнице и лишь в конце прошлого года наконец вышел из нее — обо всем этом я слышал совсем недавно, и вот теперь снова...

Шеф мрачно повторяет:

— Опять угодил в больницу. Его нельзя ни на минуту оставлять одного — он то и дело теряет над собой контроль и даже падает в обморок. Может, он поправится? Такие случаи бывают, верно?.. Хотя нет, видимо, он окончательно сошел с ума...



Тот же день. 2 часа 5 минут. Покидаю агентство и отправляюсь в город F. Дело в том, что в день происшествия Т.-кун собирался встретиться с господином М., членом муниципалитета города F., куда предполагалось направить документы. Поскольку источники информации, касающейся господина М., строго засекречены, я хочу выяснить, в чем дело. (В пути, на шоссе Косю.)



Тот же день. 4 часа 20 минут. Заливаю бензин на заправочной станции. (14 литров. Талон прилагаю.) Для верности спрашиваю у заправщика дорогу. Он сообщает, что Сантёмэ — третий район города F., расположен к западу от шоссе, в деревне F., обозначенной на моей карте, которая была выпущена в прошлом году, деления на районы нет, да и расположение дорог несколько иное. По его словам, решено сделать неподалеку отсюда транспортную развязку строящейся скоростной автомагистрали, и, следовательно, в будущем здесь начнется активное строительство и продажа земельных участков; процесс слияния города с окружающими деревнями принесет свои плоды, и город F. будет значительно расширен.

Старый город F., где находится дом господина М., сейчас Иттёмэ — Первый район. Он тоже к западу от шоссе, и туда ведет дорога, пересекающая небольшую возвышенность, поросшую смешанным лесом. Прилагаю для справки составленный мной план города F.



Тот же день. 4 часа 28 минут. После второй от заправочной станции автобусной остановки сворачиваю направо и останавливаюсь у третьей: «Почта, Иттёмэ». В табачном ларьке на углу спрашиваю адрес. Мне говорят, что дом господина М. рядом с почтой, через дорогу. Длин-

ная глухая ограда. Густой сад. Обычный жилой дом. Около ворот небольшой гараж с односкатной крышей.

Поставив машину у табачного ларька, решаю заглянуть сначала на почту. Крашенная, с медной ручкой дверь распахнута настежь, с одной стороны — клумба, на которой ничего не растет, с другой установлен красный почтовый ящик. К почте ведет бетонная дорожка, справа — скамейка, слева — телефонная будка. В помещении, напротив двери, два окошка. Одно, над которым надпись: «Денежные переводы. Вклады. Страхование жизни», завешено замусоленной занавеской, и перед ним стоит треугольная табличка: «Сегодня операции закончены». Открыто лишь окошко: «Марки. Бандероли. Телефонные переговоры», и пожилой человек — по всей вероятности, начальник почты, — чистивший, а может быть, чинивший резиновый штампель, исподлобья взглянул на меня. Едкий запах коптящей керосиновой печки. С грохотом несущийся десятитонный грузовик резко сбавляет скорость и переключает сцепление. Наверно, помешала моя машина. Небрежно попросив десять пятииенновых марок, спрашиваю, правда ли, что господин М. хочет купить новую машину — я, мол, слышал об этом: обычный прием в таких случаях — прикинуться коммивояжером.

— Машину? — Начальник почты медленно переводит взгляд в сторону занавешенного окошка рядом со мной. — Нет, такого я не слыхал...

— Собирался покупать... — неожиданно раздается из-за занавески голос женщины, видимо немолодой. Как это бывает во многих маленьких почтовых отделениях, здесь работают вместе муж и жена. — Разве люди, которые хватаются даже количеством будильников, будут молчать, если собираются покупать новую машину?

Ну что же, я услышал то, что мне нужно... теперь я по крайней мере знаю из достоверного источника, что М. ездит на красной машине...

Начальник почты:

— Да что вы, машина у соседа светло-голубого цвета.

Жена начальника почты:

— Обычного светло-голубого цвета. Я не говорю, что он совсем дурной человек, но...

— Ну ладно, что там о нем говорить, а может, и вам подумать о машине?.. когда есть машина, жить вправду гораздо легче. Это принесет вам гораздо больше пользы, чем страхование жизни. Разве я не прав?

— В моем-то возрасте учиться водить машину? С вас пятьдесят иен...

Протягиваю стоиеновую монету.

— Пожалуйста, сдачу, если можно, помельче. А что, у господина М. по-прежнему дела идут хорошо?

Жена начальника почты резко, точно отвергая мой вопрос:

— Мало сказать хорошо. Раньше ведь он только углем торговал.

Начальник почты, протягивая пять десятииеновых монет, презрительно кривит тонкие губы:

— Жилых домов понастроили, и чумазый угольщик превратился в торговца пропаном, да такого чистюлю, что каждый день ванну принимает... времена...

Торговец пропаном! Сердце учащенно забилось. Значит, топливная база напротив дома господина М. принадлежит ему? Значит, вот тот повернувший сюда трехколесный пикап, который, громыхая, точно телега с жестью, и поднимая тучи пыли, везет баллоны, принадлежит господину М.? И если он не только член муниципалитета, но и владелец топливной базы, дело сразу же проясняется. Поведение исчезнувшего в то утро... связи между фирмой «Дайнэн» и господином М. ...все теряет свою загадочность.

— Но такая несправедливость.— У жены начальника почты певучий, звонкий голос, совсем не вязавшийся с тем, что она говорит.— Разве может это продолжаться вечно?

Я снова оборачиваюсь к стеклянной двери. Под навесом из рифленого железа, обязательной принадлежности топливной базы, два молодых парня перекачивают баллоны с дороги в склад. В складе темно, и не видно, что там делается. В этом городке, стоящем в низине, окруженной с востока и запада холмами, солнце, наверно, заходит раньше, чем в других местах. Слышно, как, слегка покашливая, жена начальника почты встает. И сразу же загорается свет. Я закуриваю, и те несколько секунд, которые я на это потратил, как и следовало ожидать, стали приманкой для любящих сплетни языков.

— Ладно, пусть только застроят Нитёмэ — Второй район. К нам сразу же проведут газ — это точно обещали, официально... когда город вот так быстро застраивается, разбухает, превращается в город-спутник, кошелек торговца пропаном тоже разбухает вместе с ним. Но как

только сюда придет городской газ, тогда крах... а сейчас база его расширяется, телефонов понаставил, рабочих набирает без счета. Да одних пикапов, если считать и те, что в филиалах, штук десять...

— Девять.

— Все равно лопнет как мыльный пузырь.

— Он однажды приходил сюда, просил, чтобы мы петицию подписали... говорил, что пропан, мол, лучше, им не отравишься, и гигиеничнее...

— Глупость. В наше время одним, что ли, газом травятся. Что там ни говори, самое главное — удобство. Кто же станет сочувствовать причитаниям угольщика?



Город Ф., Иттёмэ... Главная улица старого городка Ф., начинающаяся от почты... прямая, полого спускающаяся улица, метров четыреста, заканчивается у каменных ступеней муниципалитета... попеременно с богатыми, крытыми черепицей домами много и деревенских построек с высокими крышами и решетчатыми дверьми, словно хозяева их до сих пор занимаются шелководством... но в просторных дворах вместо тутовых деревьев — малолитражка... непомерно ярко сияет, как, впрочем, и везде, магазин электротоваров... сам магазин только с виду похож на полуразвалившуюся бочарню, он все же достаточно процветающий, просто на здании — налет старины... однако уличных фонарей очень мало, и это говорит о жалкой судьбе заброшенной старой части города... на западе, за невысоким холмом, еще плывет свет, позволяющий рассмотреть каждую веточку каждого дерева — скоро на этот низинный город спустится тьма... я медленно пускаю машину по выщербленной, давно не отремонтированной мостовой, не теряя из виду глубокий кювет с правой стороны...

Недалеко от муниципалитета старая развесистая криптомерия закрывает ветвями чуть ли не треть дороги — здесь, кажется, вход в синтоистский храм. Большая площадь, стоит несколько автомашин. А светло-голубая или, может быть, грязноватая светло-голубая?.. из шести машин четыре — в голубых тонах, какая же из них? Окна муниципалитета на втором этаже еще кое-где светятся —

может быть, сверхурочная работа — готовят отчет? Разворачиваюсь и медленно еду назад по той же улице.

Я плохо представляю себе деятельность топливной базы. По мере того как жилые районы выходят за пределы старого города, угольщики благодаря пропану расширяют свою торговлю и с ростом населения процветают все больше... но, подобно тому как выросшие до гигантских размеров пресмыкающиеся не могли не уступить место млекопитающим, они вынуждены отступить перед городским газом. Сколько иронии заключено в такой торговле: она рождается благодаря росту города и умирает тоже благодаря росту города... в момент наивысшего расцвета объявляют о смерти — жалкая участь... неуютное процветание — все равно что, сидя за столом, наслаждаться деликатесами, дарами лесов и морей, когда перед тобой маячит виселица... конечно, такое не может не причинять глубокие страдания...

Но какие бы страдания ни испытывал, результат поездки известен с самого начала. Куда денешься от настаивающего врага — городского газа? Есть ли хоть малейшая надежда, что удастся сманеврировать? В таком столкновении силы слишком неравны. Какова бы ни была у него цель, когда он собирался в то утро использовать Тасиро в качестве курьера, вряд ли можно предположить, что именно в связи с этим создались обстоятельства, вынудившие его к побегу. Пожалуй, правильнее всего поверить словам управляющего, ответственного за сбыт, всячески убеждавшего меня, что в данном случае не может быть и речи ни о каком преступлении. По-видимому, и утверждения Тасиро о том, что он напрасно ходил на свидание, вполне правдивы. Что же касается заботы оптовой фирмы «Дайнэн» о своих мелких заказчиках, попавших в безвыходное положение, то можно сказать, что она помогает им спокойно умереть и принимает заказы на надгробья.

Останавливаю машину недалеко от топливной базы М.

Никаких перемен — только под навесом зажглись фонари, идущие в глубь склада. Так же как и раньше, двое рабочих перекачивают баллоны в склад. Один — ему не больше двадцати — ходит вперевалку, лицо серое, как у тяжелобольного. Другой — лет тридцати, обветренный, крепко сбитый, с полотенцем, повязанным вокруг толстой шеи. Работают они медленно, казалось бы, с прокладцей, но баллоны уже почти все убраны в склад.

— Что, самого нет еще?

— Самого? — Сделав вид, будто услышал непривычное слово, молодой, продолжая упираться руками в баллон, подозрительно смотрит на меня. Баллон и цветом и формой совсем как снаряд, а белая отметина примерно на середине корпуса похожа на лист дерева.

Может быть, ему не понравилось, что я употребил слово «самого»? Хоть он раньше и был угольщиком, но, поскольку теперь стал членом муниципалитета, его, видимо, следует именовать «хозяином». Но, кажется, я напрасно придавал этому такое значение: парень указал подбородком на дом через дорогу:

— Редко он завертывает сюда, на базу... да и домой еще, наверно, не пришел — машины-то нет...

— Собственно, я из фирмы «Дайнэн»...

Это было почти правдой. Хотя выехал я из своего агентства, но до этого действительно побывал в фирме «Дайнэн». Даже если бы меня подвергли потом перекрестному допросу, то, ведись он не особенно придирчиво, мои ответы показались бы вполне достоверными.

Парень оставил баллон, выпрямился и переглянулся со вторым, который постарше, вышедшим из склада: видимо, мои слова произвели впечатление. Правда, реакция не была особенно заметной, но, кажется, название «Дайнэн» было им хорошо известно... значит, и после его исчезновения топливная база М. по-прежнему была контрагентом фирмы «Дайнэн», связь между ними не прерывалась ни на день, и, следовательно, надежда случайно напасть здесь на его след нереальна.

Я, естественно, готов был ко всему, и это открытие не обескуражило меня, но получить нужные мне сведения стоило большого труда, и поэтому я решил по возможности продлить удовольствие. Меня пытались одурачить, пытались избавиться от меня, направляли по ложному следу, зря отнимали время — такой оттенок хотел я придать своему очередному донесению. Потому-то поездка, отнявшая у меня два с половиной часа, и превратилась в откровенный спектакль — все равно что забрасывать удочку в плавательном бассейне.

Кроме того, всякий раз, когда одна за другой рушились мои надежды, раздражающее копошение гнездящейся в моей груди кроваво-красной личинки какого-то огромного мотылька становилось все нестерпимее, возвещая приближение часа, когда напоенный кровью моты-

лек разрушит кокон и вылетит на волю. И стоит лишь вырваться ему на свободу, как в тот же миг, не раздумывая и не блуждая, он полетит в то самое окно лимонного цвета... и, пробившись сквозь стекло и штору, вонзит клыки в отражающегося тенью мужчину — конечно же, это напоминающая черную стену спина самозваного брата,— целясь в его сердце. Постой, у мотылька ведь не бывает клыков. Нет, так он по дороге заглянет к дантисту и вставит их... да, нужно побыстрее сходить к зубному врачу. Трогая кончиком языка дырку от удаленного коренного зуба, я ощущаю металлический привкус крови.

— «Дайнэн» — это что, наша фирма, что ли?

Шмыгнув носом, молодой парень высунул из продранной рукавицы грязный палец и высморкался. Наверно, очищенный нос помог ему уразуметь, в чем дело. Я утвердительно кивнул, и он сказал мне:

— Чудно, а сам сказал, что ему нужно в фирму «Дайнэн», и еще утром уехал, надо же...

— Понял?..— Тот, что постарше, затолкал под воротник спецовки полотенце, которым у него была обмотана шея, продолжая странным, неразборчивым говором: — Вот оно как, только вид сделал, что уезжает, а сам куда-то закатился. Ловок...

Я с таинственной улыбкой поддакнул:

— Конечно, на автомобиле до любого веселого местечка в городе добраться ничего не стоит.

— Чего? — молодой рабочий уперся руками в бока и покачивался. — Как в Нитёмэ бараки появились, так сюда и из города катят... поедете обратно—поверните к речке... гостиница, ресторан — на том берегу... а на этом — здесь их вроде «микро» называют, маленькие, прямо как для детского сада, автобусы... с красными фонариками, они штук по десять выстраиваются в ряд каждый вечер— не хотите ли сосисок, не хотите ли подогретого сакэ с закуской?..

— Да брось трепаться-то, когда хочешь как следует поесть, за сосисками туда не пойдешь,— прохрипел старший и харкнул плевком чуть ли не с куриное яйцо.— Если вам нужно по-настоящему поесть, держитесь от них подальше... за перегородкой в этих автобусах знаете что?.. дырявые дзабутоны¹ там, вот что, лучше туда не ходите.

¹ Дз а б у т о н — квадратная подушка для сидения на полу.

— А знаете, почему их дырявыми дзабутонами зовут? — спрашивает молодой парень со смешком, точно его пощекотали, и присаживается на корточки. И тогда его тень, рожденная фонарями под навесом, еще более черная на черной земле, вдруг сжимается и ныряет под него. — Очень просто, места там за перегородкой нет — не вытянешься, — вот их и зовут дырявыми дзабутонами, а не живыми подстилками.

— Хватит тебе болтать — дырявые дзабутоны, которые деньги заглатывают, — сказал старший, плюнул и снова начал работать.

Молодой сразу же вернулся к своему небрежному тону и хлопнул рукавицами, которые от грязи и мазута стали похожи на потертую резину.

— Так-то вот. Когда вернется, кто его знает. Здесь еще другой тоже с час назад все приставал, а мы что...

— Нахальный тип. Шныряет туда-сюда, будто в собственном доме. Не спрашиваясь, стал по телефону звонить...

Оба, как сговорившись, метнули взгляд, точно камень, на здание, служившее, видимо, конторой — по всей вероятности, посетитель принадлежал к кредиторам, к тем, кого не ждут с распростертыми объятиями. Если я хочу получить нужные сведения, то смогу добыть их у этих двух рабочих. Беру в рот сигарету и предлагаю им:

— Хочу кое о чем спросить у вас...

— Курить запрещено!

Прерывает меня хриплым голосом тот, что постарше, но молодой спокойно берет сигарету, зажигалку, пламя которой взметнулось чуть ли не на два сантиметра, подносит сначала к своей сигарете, а потом, не гася, сует мне, прямо под самый нос.

— Ничего, ветер сейчас западный.

— Пора бы тебе запомнить, как обращаться с огнеопасными материалами — у нас ведь специальные правила.

— Уж очень ты своей жизнью дорожишь. — Зажигалка продолжала гореть, но это его нисколько не смущало. Я же постарался побыстрее прикурить, решив, что лучше уж тлеющая сигарета, чем полыхающая зажигалка. — Если и загорится, страшно только в первую минуту. Здесь все кругом застраховано, и будь я управляющим, наоборот, радовался бы пожару.

Управляющим?.. управляющий — это еще одна диковина... На окраинах беспрерывно растущего города в одну ночь среди полей неожиданно возникают новые улицы. И что ж тут удивительного, если появляется огромное количество управляющих?

— Сопляк ты зеленый.

— Лучше уж быть зеленым, чем фиолетовым, как твой нос.

— Ты кого хочешь переспоришь.— Старший потер пальцами нос, посиневший то ли от холода, то ли от воды. В углах глаз у него скопилось что-то похожее на мед, не то слезы, не то гной.

Молодой перепрыгнул через кювет, подошел к дороге, где в ряд стояли баллоны, и сказал мне удивительно мягко, даже ласково:

— Знаете, с ним случай-то какой вышел. Он землю продал и деньги получил, а у него на автомобильных гонках двести тысяч иен вытащили, а триста тысяч он в электричке положил в сетку и забыл. С тех пор пьет.

— Хватит глупости молоть,— сказал старший без всякого выражения, не отрицая, но и не подтверждая, лениво направляясь вместе с товарищем к баллонам,— давай поторапливаться, а то скоро новые привезут.

— Я хотел только спросить...— Словно преследуя их, я тоже перепрыгнул через кювет и пошел между ними. Выражения их лиц теперь, когда они ушли с освещенного места, было уже не разобрать, и я, взяв чемодан под мышку, включил магнитофон.— Сколько времени вы здесь работаете?

— Я уже почти год,— бросил молодой, перетаскивая баллон,— а он — месяца три, наверно?

— Сегодня ровно три месяца и десять дней. Куда денешься...

— Тогда вы, наверно, знаете,— направляю микрофон в сторону молодого,—...о начальнике отдела Нэмуро из фирмы, которая вам газ поставляет... о Нэмуро-сан, начальнике торгового отдела... он, должно быть, не раз бывал здесь...

— Да нет, вроде не слышал...— На узкую, и тридцати сантиметров не будет, доску, переброшенную через кювет, нужно ловко положить наискось баллон и с силой развернуть его, а потом, используя естественный уклон, перекачивать, подталкивая его то рукой, то ногой.— Да что там говорить, когда хозяин сменил бывшего постав-

щика на «Дайнэн», для нас прямо как бомба разорвалась... мы совсем ничего не знали...

— Это когда случилось? — неожиданно резко и стараясь показать, что голосовые связки напряглись потому, что поперхнулся дымом. — Когда заключили сделку с нашей фирмой?..

— Вроде бы летом... когда перемена эта случилась, у меня был как раз выходной и я пошел на реку купаться, а там один парнишка утонул...

— В июле?.. Августе?

— Должно быть, в июле.

Июль — как раз то время, когда он, видимо только что назначенный начальником отдела, изо всех сил, используя все доступные методы, старался убедить топливную базу М. пересест в новое седло. А может быть, благодаря этой успешной операции его и выдвинули в начальники отдела. Во всяком случае, его усилия принесли плоды, и сейчас эта база ведет дела с фирмой «Дайнэн». Но даже в том случае, если бы все произошло наоборот: операция провалилась и сделка не состоялась, случившееся все равно можно было связать с его исчезновением. Правда, кое о чем приходится сожалеть. О том, что опять зря расходовал батарейки магнитофона.

Где-то вдали раздается металлический звук взрыва и долго перекачивается, отражаясь от холмов, окружающих город. Видимо, это выхлопная труба мощного грузовика. Выключив магнитофон, иду за молодым парнем, ловко перекачивающим баллон:

— А в конторе нет человека, который все знает? Я бы...

— Да нет... — И не давая отдыха рукам: — В конторе одна секретарша осталась... новенькая... да еще ее измучил этот гнусный тип, неизвестно откуда он взялся, она даже разревелась — говорить с ней сейчас без толку.

— Гнусный тип?

— Да вроде бы пройдошливый коммивояжер какой-то... я частенько его встречаю у красных фонариков у реки...

Мы как раз стоим у входа в склад с односкатной крышей. Вместе с подошедшим сзади рабочим, тем, что постарше, они одним движением поднимают баллон и кладут на другие, лежащие уже в три ряда. Судя по звуку от столкновения металла с металлом, весит он, наверно, порядочно.

— Можно я загляну в контору?..

— Холодно что-то сегодня...

Старший, не проявляя никакого интереса, сторбился и, приплясывая, снова идет к дороге.

— Здесь пройдете и сразу налево.— Шмыгнув носом, молодой указывает подбородком на проход между домом и складом, смотрит на густо-черное небо и, зажав пальцами дыры на рукавицах, идет за старшим.

Пробираюсь через узкий проход, и тут же слева — плохо подогнанная раздвижная дверь, стекло в которой залеплено клейкой лентой. Запах, будто в бензине растворили нечистоты... или скорее запах удобрений, смешанных с мочой. Пронзительный скрип двери, движущейся по искривленному полозу. Нерешительно приоткрываю щель, достаточную, чтобы как-нибудь пролезть в нее, и тут же, как это бывает лишь на топливных базах, в лицо бьет, точно мокрым носовым платком, потная жара.

Напротив двери, почти до самого потолка, ширма. Прикрепленное кнопками расписание автобусов, напечатанное в две краски. Перевожу взгляд влево — там лишь один старый канцелярский стол, как конторка вахтера, он повернут лицом к входу. Над столом — коротко стриженная головка девушки, под столом — плотно сдвинутые круглые белые колени.

— Добрый вечер,— говорю я жизнерадостнее, чем следует, не глядя на девушку и поглаживая руки от плеч до кистей, будто втирая в тело тепло.

— Добрый вечер...

Не верю своим ушам. Ответил мне будто мужской голос. Нет, это действительно мужской голос. Он исходит не от девушки, а вроде бы из-за перегородки. Голос мне нравится. Наверно, это тот самый посетитель, о котором говорили рабочие. По мере продвижения вперед в поле моего зрения, одно за другим, попадает: металлический стеллаж... белые занавески на окне, еще больше подчеркивающие безвкусное убранство комнаты... перед стеллажом странные на вид искусственные цветы из пластмассы... потом телевизор... круглый столик, покрытый пластиком, отливающим серебром... на нем уже знакомая мне пепельница с кошками по углам... и на фоне всего этого знакомый мужчина, который сидел, положив подбородок на руки...

Это был он.

Он... без всякого сомнения, он... самозванный братец...

без пиджака, с распущенным черным галстуком, вспотевший лоб, он самодовольно улыбается, выпятив подбородок... без пиджака он выглядит уже не таким мощным, и плечи у него покатые и узкие... зачем понадобилось ему появляться в таком месте?.. малопривлекательная игра... секрет ловли бродячей собаки состоит в том, чтобы сделать вид, что твое внимание поглощено совсем другим.— в создавшейся обстановке я тоже должен поступить аналогичным образом, но тем не менее... как же сделать так, чтобы эта самая бродячая собака, виляя хвостом, вылезла из того места, которое должно было быть этим совсем другим.



— Сегодня у нас день случайностей... нет, я просто поражен...— И даже не стараясь сделать вид, что поражен: — Я буквально потрясен... я так и думал, что вы обязательно пронюхаете об этой базе... да что же вы стоите, присаживайтесь, пожалуйста...

— Но почему же вы молчали, если знали о ней?..— Не теряя времени, включаю магнитофон.— Ведь и в заявлении о розыске ясно сказано, что будут предоставлены все имеющиеся сведения...

— Послушайте, разве же нужно сообщать все подряд, даже сведения, не представляющие никакой ценности? — Он беззаботно окликает секретаршу: — Девушка, простите, что беспокою вас, принесите гостю чашечку чая.

Девушка молча поднимается. Смятая юбка, наэлектризованная телом, прилипла, повторяя очертания зада.

— Если вам эти сведения казались ненужными, все равно было бы лучше заранее рассказать о том, что они не нужны, и объяснить, по какой причине.

— Какая неприветливая девица...— игнорируя мои слова и закидывая ногу на ногу.— Я надоел вам, верно? Куда бы вы ни направлялись, я тут как тут, в роли злодея... и, что самое удивительное, если такое отношение ко мне, как к злодею, будет продолжаться, в конце концов за мной утвердится репутация злодея, да и сам я в это поверю...

— Все-таки что же вы здесь делаете?

— Действительно, что?

— Опять случайно, да? Бесцельно бродя, случайно наткнулись на эту базу и вот...

— Меня привлекла одна из версий.— Он весело рас­смеялся и щелкнул пальцами.— Нет, я не шучу, вам не зря все это кажется таким подозрительным. Правда, не зря. Здесь причудливо переплелись самые разные нити.

— Коль скоро вы так считаете, следовало бы мне все подробно объяснить.

— Я хотел, если бы мне это удалось, сделать вид, что ничего не знаю... но у вас такое испуганное лицо... ладно, расскажу все как есть... по правде говоря, я приехал сюда с целью шантажа.

— Шантажа?

— Девушка, правду я говорю?

Девушка сняла металлический чайник с керосиновой печки, стоявшей перед стеллажом, и, наливая кипяток в большой фарфоровый чайник, застыла в этой позе, не собираясь отвечать. Но именно это молчание и было красноречивее любых слов.

Называвший себя братом с безучастным видом продолжал:

— Сегодня я заранее предупредил, чтобы для меня был приготовлен чек... хозяин сбежал, куда — не представляю, а девица есть девица, упрямо твердит: ничего, мол, не знаю, ничего не ведаю... но только все это, девушка, шито белыми нитками и никакой пользы не принесет. Каждый лишний день только проценты нарастают, вот и все. Поняли? Вы и хозяину это растолкуйте. У меня времени сколько угодно — буду ездить хоть каждый день.

Девушка, сохраняя самообладание, с замкнутым видом ставит на стол две грубые чашки, наполненные до краев жидким чаем, и молча возвращается на свое место. Кто бы подумал, что такая упорная девушка.

— Да, неласковая девица. Может быть, у нее сложилось обо мне превратное представление? Тот, кто шантажирует,— негодяй, верно, но и тот, кого шантажируют, ничуть не меньший негодяй — вот ведь в чем дело.

Встретившись с ним всего второй раз, я уже застиг его врасплох, и, несмотря на это... он без всякого смущения, в открытую заявляет, что занимается шантажом... какие же нервы нужно иметь... я и с самого начала относился к нему настороженно, но, когда он нанес мне такой наглый, неожиданный удар, я сразу же превратился

в муху, утонувшую в горшке с патокой. Действительно, у меня было тайное желание, если представится случай, сорвать с него маску — это правда. Но создавшееся положение не вселяло надежды, что он позволит мне это сделать. Так или иначе, он — частица заявительницы, он — обитатель привилегированной запретной зоны. И к чему бы ему помогать мне подловить его? Просто трюк, может быть?.. но с какой же целью? А вдруг он просто любитель саморазоблачений?.. слишком уж мало я его знаю.

— То, что вы делаете, — плохо само по себе, но, кроме того, это вообще не занятие. — И понимая, что здесь доброжелательность, наоборот, может принести вред: — Во-первых, я уже начинаю сомневаться, насколько чистосердечным было заявление о розыске.

— Почему?

— Слишком много вы скрываете. У меня и в мыслях не было, что на топливной базе провинциального городка могут оказаться такие неожиданные находки. Для настоящей сцены она мне казалась чересчур грубо сколоченной.

— Но если вмешиваются шантаж, вымогательство, тогда...

— Да, и к тому же тот, кто шантажирует, — родственник пропавшего...

Продолжая смотреть на меня исподлобья, он поднес чашку к губам и, отхлебывая чай, заговорил:

— Так я и думал. Вы весьма проникательны. Но и обезьяна, бывает, падает с дерева. Я вас не собираюсь обманывать. Вам не за что уцепиться, и понадобилась моя голова, но вы просчитались. С чего же я должен начать объяснения? Прежде всего с цели, правда? Итак, зачем мне потребовалось прибегать к шантажу?..

Неожиданно его прерывает резкий автомобильный гудок. Работающий точно с одышкой мотор принадлежит трехколесному пикапу довольно старой модели. Может быть, моя машина мешает погрузке и выгрузке баллонов? Потом снаружи доносится голос: «Простите, вы машину не подадите вперед?» Я направляюсь к двери, он вслед за мной тоже встает и поспешно надевает пиджак. Ну что ж, с этим я сегодня и уезжаю... в пиджаке он снова превращается в черную стену... проходя мимо девушки, неожиданно протягивает руку и хватает ее за нос.

Она вскакивает со стула, стул падает, но девушка не издает ни звука.

— Не забудь, передай хозяину.— И сняв пальто, висевшее на гвозде, и перекидывая его через руку: — Сколько бы он ни тянул — мне все равно: проценты, которые причитаются, я получу, тютелька в тютельку.

Поднялся ветер. Небо развеивается, точно черное одеяло. Когда, обменявшись с рабочими нечленораздельными приветствиями, я сажусь в машину, человек, называвший себя братом, как само собой разумеющееся, берется за ручку дверцы и ждет. Включаю мотор, и он тут же садится ко мне в машину. Сильно жму на акселератор, но остывший мотор лишь мелко дрожит — кажется, что тебя разбил паралич и ты уже никуда не годен.

А этот самый братец невозмутимо продолжает:

— Нет, нет... важнее не цель, а средство... итак, почему я пошел на шантаж? Мне нужны деньги... верно... одни только расходы по розыску, который вы ведете, — тридцать тысяч в неделю... пособие, которое получила сестра, — это же сущая мелочь... тридцать тысяч в неделю... Значит, в месяц — сто двадцать тысяч... одной честной работой разве добудешь такую сумму?..

— В месяц... вы собираетесь и дальше продолжать розыски?

— Конечно. Я ведь сам занимался ими целых полгода. Неужели же вы могли рассчитывать, что справитесь за какую-то неделю? Да из одного самолюбия я достану деньги. Если потребуется, пусть хоть год... ничего, посмотрим, кто из нас упорнее...

Он слегка улыбается, а я не знаю, что и подумать. Продолжение розысков... но где же моя способность хватать на лету, хотя и достаточно подпорченная... спички с черной головкой и спички с белой головкой в одном коробке... намеренно случайная встреча на автостоянке перед кафе «Камелия»... еще более намеренно случайная встреча на топливной базе М. ...признание в шантаже... если он просто подозрительная темная личность, тогда все понятно, но он без конца лезет вперед, нет, он не просто подозрительная личность... закурю, пожалуй... бесконечное продолжение?.. двигатель работает с перебоями... включаю отопление... раскаиваюсь ли я?.. а что, если заявители не на словах, но на самом деле хотят узнать правду, хотят узнать истинное положение вещей?.. как бы там ни было, нужно еще раз встретиться с этой жен-

шиной и еще раз четко наметить границы карты... стоя спиной к лимонной шторе и книжной полке и нервно теребя бескровными пальцами скатерть на углу стола, она сосредоточенно ждет чего-то. То же ли это «что-то», на которое надеется брат,— вот что необходимо узнать прежде всего.

Точно поняв мое состояние, он слабо улыбается и грустным голосом, в котором слышится насмешка над самим собой:

— Непростительно я себя веду... подобное поведение может быть терпимо... даже обыкновенный жулик, когда он порывает с прошлым, и тот старается не давать волю рукам... если вам не удастся добраться до сути, мы, конечно, в претензии не будем... здесь уж ничего не поделаешь, правда? сестра — женщина неполноценная, он — гомосексуалист, вы так, наверно, думаете?.. педераст так педераст, как вам угодно, но все равно, если не докопаться до сути... если любыми средствами не вернуть его и не заставить выбросить из головы мысль о побеге... сестра будет конченным человеком... черт возьми!.. вы меня понимаете?

К сожалению, понимаю слабо... прямо на нас мчится взявший слишком вправо грузовик, и я непроизвольно нажимаю на тормоз... что же он пытается внушить мне?.. зачем ему нужно, чтобы я осознал, как необходимо найти его и доставить этой женщине?.. неужели он не понимает, что, внушая мне такую мысль, он, наоборот, вредит сестре?.. пыль от пронесшегося грузовика поглотила всю дорогу... говорят, что самый умный вор — это тот, который делает вид, что его обворовали, так что...

— Так что надежда только на вас... расходы я беру на себя... не будет другого выхода — поплыву во Вьетнам... если набрать человек тридцать и составить из них команду, за один рейс тысяч двести можно заработать... вы не думаете, что нам с вами стоит сойтись поближе?..



— Вы пьяны?

Голос спокойный, но дверь остается на цепочке. То, что я пьян, видно сразу.

— Если можно, хотел бы обязательно еще сегодня поговорить с вами... необходимо для завтрашних розысков...

Женщина, колеблясь, медленно сняла цепочку, впустила меня и оставила в прихожей, сама же, одной рукой придерживая воротник пальто, накинутого поверх ночной рубахи, а другой — поправляя растрепавшиеся на затылке волосы, проскользнула в комнату. Я непроизвольно осматриваю пол в прихожей — ищу мужские ботинки. И в то же время прислушиваюсь к происходящему в комнате... что я подозреваю?.. я сам удивляюсь, осознав свое подозрение... он здесь или его здесь нет... а что, если, притворившись пропавшим без вести, он на самом деле тайно прячется в собственном доме...

Вздор, конечно, но нельзя сказать, что подобная мысль абсолютно беспочвенна. Ведь первое ее приветствие сейчас, глубокой ночью, было: «Вы пьяны?» А разве для нанимательницы, как для любой нанимательницы, не было бы естественным прежде всего ждать новых известий?

Нет, это ложь. Клевета. Достаточно было лишь мельком взглянуть на мое лицо, на котором было написано желание оправдать свое позднее появление, чтобы ей сразу же стало ясно: ждать каких-нибудь важных известий нечего. Кроме того, располагай я действительно какими-то важными известиями — будь то радостными, будь то печальными, — для того, чтобы их сообщить, есть гораздо более удобное, изобретенное цивилизацией средство — телефон.

Женщина вернулась. На ней темно-синие брюки, рыжий свитер, связанный из толстых ниток, волосы зачесаны, как обычно, но, видимо, потому, что заметно выделялись веснушки под глазами и держалась она сухо, казалось, что это совсем другой человек. Возможно, виной тому была и некоторая настороженность по отношению ко мне. Точно оправдываясь, я стараюсь развязать скованный смущением язык.

— ...Собственно, речь идет о вчерашнем спичечном коробке... я и в донесении о нем написал, о кафе «Камелия», я имею в виду, но вот если говорить о выводах, к сожалению, похвастаться нечем. И что меня беспокоит... вы, по-моему, говорили, что спичечный коробок лежал вместе со старой газетой? Эта газета еще у вас? Она могла бы помочь мне...

— Да, должна быть, не...

Она уже пошла было искать, но я удержал ее. Оправдываться — уже само по себе оправдание, с этим застрявшим в горле колючим парадоксом я продолжал:

— Прежде всего хотелось бы знать, от какого числа газета... существует ли какая-нибудь связь между газетой и спичечным коробком?.. здравый смысл подсказывает, что, видимо, не существует, но... с полной уверенностью утверждать этого нельзя — все зависит от того, за какое она число... немного беспокоит это... спичечный коробок, почему он так сильно истерт?.. и тот факт, что в очень важном для расследований, которые я веду, кафе собран столь незначительный урожай, наоборот, заставляет о многом задуматься... гипотез можно выдвинуть сколько угодно... но какую бы ни выдвигал — каждая полна противоречий... как испорченный компас — туда указывает, сюда указывает... но все же, хоть и сломанный, компас есть компас... и мне кажется, достаточно еще лишь одного усилия, достаточно малейшего намека — и компас тут же укажет точное направление.

— Сейчас посмотрю.— Остановив поток моих слов, который мог продолжаться до бесконечности, она слегка кивнула и после минутного колебания, если бы я не следил за ней так внимательно, то не заметил бы: — Заходите в комнату, подождите, пожалуйста.

И вот я снова в той же комнате с лимонной шторой, сижу на том же стуле, что и вчера вечером, с силой сцепив пальцы. Печку, видимо, совсем недавно выключили: вместе с запахом керосина сохранилось еще какое-то тепло, и, казалось бы, нельзя так уж замерзнуть, но почему-то я весь заледенел. Заледенел изнутри. Мне показалось, что холод начал сковывать меня, как только я опустил на стул. Чувство, что я сел, отстранив что-то... что-то легкое, послушное, грустное, похожее на проглядывающую сквозь туман тень дерева... возможно, это был он... застенчиво, несмело он прошел мимо меня, впервые завладев моим сердцем... и тут же снова вернулся на плоский портрет в узкой рамке, безропотно уступив мне свое место. Но в душе моей чувство ледяного стыда все растет и растет, превращаясь в мутную пелену, подобно тому как капля чернил, пущенная в воду, разрастается все новыми и новыми нитями.

Охваченный сильным подозрением, я начинаю с повторения того же, что проделал вчера. Прежде всего пе-

пельница на столе. К счастью, она чистая и сухая, и нет никаких следов, что ею недавно пользовались. Глубоко вдыхаю, принимаю запах в комнате. Все тот же запах косметики, смешанный с запахом керосина... табаком не пахнет совсем. Под скатертью тоже один лишь пустой мрак. Потом взгляд скользит со шторы к книжной полке, а от книжной полки перелетает к телефону. По дороге его заставляет споткнуться и с неподдельным интересом возвратиться назад тот самый клочок бумаги, приколотый булавкой к шторе... прислушиваюсь к тому, что делается в соседней комнате, и, крадучись, обхожу стол и изучаю записку... семизначная цифра, написанная шариковой ручкой... специфически женский почерк, мелкий и четкий... номер телефона, который я запомнил... тот самый номер, который был на этикетке спичечного коробка из «Камелии». Но почему-то это открытие меня не особенно удивило. Вместо удивления сердце заледенело еще сильнее. Отгоняя от себя такую возможность, боясь ее, я в конечном счете ждал ее как нечто неизбежное. Значит, эта женщина совсем не была жертвой в чистом виде.

Неожиданно я становлюсь дерзким, грубым. Ну и хорошо, что стал таким, говорю я себе. Теперь меня отсюда уже никто не выгонит. У меня остался последний козырь — спички с разноцветными головками, да и то, что она заодно с таким же аферистом... ладно, но какой ужасный холод... вы действительно пьяны?.. это, может быть, потому, что я трезвею... так что вам угодно?.. да, действительно, что?.. до самой последней минуты я нес в охапке такое огромное количество всего, что и обеими руками не удержишь... и то мгновение, когда я, остановив возле дома машину, посмотрел на лимонную штору, колебался — выйти, не выйти... натянутая улыбка самому себе в зеркале, когда выключал мотор... бетонные ступени, скрадывающие шаги... освещенная фонарем, выложенная прямоугольниками черно-белая лестничная площадка, похожая на алтарь... но сейчас мои руки пусты, как после нападения грабителей.

Вы пьяны?.. поразительно, в общем более двух часов прошло с тех пор, как я, оставив включенным отопление, до конца опустил стекло и подставлял лицо ледяным иглам ночного ветра. К тому же водка, которой вы меня попрекали, — тоже не по моей вине. Водкой меня угостил не кто иной, как ваш любезный, рассудительный, горячо

любимый сообщник. Если уж кого и следует винить в злых умыслах...

Что это за звук? Он идет из кухни, сразу же за портьерой. Слабый звук ударяющихся друг о друга стаканов, ясно различимый в мертвой тишине... специфический звук столкновения жидкости с воздухом... похожий на тоскливое всхлипывание звук, издаваемый льющимся пивом...



— Бутылочку пивка можно, наверно, а?

Нет особых оснований искушать меня. Я решил заглянуть в микроавтобус на берегу реки скорее из-за того, что проголодался. Подумать только, с самого утра у меня во рту не было ничего, кроме одной гречневой лепешки. И не потому, что негде было поесть — в Сантёме на улице, по которой ходят автобусы, я видел старомодный ресторанчик, каких сейчас уже почти нет, — а просто меня привлекала надежда: вдруг в микроавтобусе мне удастся не только поесть, но и хоть сколько-нибудь приблизиться к пониманию того, что на самом деле представляет собой самозванный братец.

— Все эти передвижные заведения на одно лицо, верно?

— Как я и предполагал, вы наблюдательны.

В самоуверенном смехе не было и тени робости.

— На экзамене при поступлении в агентство у меня не обнаружили особых достоинств, и только оценка за сбор информации была высшей... странно, да?.. экзамены были серьезные... например, после того как вместе с экзаменатором обходишь универсальный магазин, он спрашивает, с кем была женщина в красной юбке, какого цвета ботинки у мужчины, делавшего покупки в отделе галстуков?.. но экзамен по сбору информации несколько отличается... даются определенные условия, и ты должен дать четкие и определенные ответы на три вопроса: кого, о чем и как спрашивать... и я всегда чувствовал себя как рыба в воде... Экзаменатор слушал, спрашивал... а я отвечал... техника сбора информации сложна, но затыкать уши еще сложнее...

Зажатая между обрывом и насыпью, ограждающей

грушевый сад, дорога, точно туннель, такая темная, что даже кажется, будто забыл включить фары... неожиданный порыв ветра чуть ли не вырывает из рук руль, холм и сад кончаются, и начинается короткий, крутой подъем. И сразу же мы оказываемся на дамбе, и дорога разветвляется вправо и влево. И тут же внизу открывается скопление огней. Но в отличие от того, что я предполагал, они не растянуты в ряд, не образуют общей цепи иллюминации, связывающей между собой машины, нет музыки, нет праздничного гулянья. Просто несколько микроавтобусов с раскачивающимися на ветру круглыми красными фонариками, распахнув свои мрачные, бледные рты, образуют полукруг на берегу широкой обмелевшей реки, стоят на разном расстоянии один от другого, под разными углами.

Но взгляд привлекал скорее пейзаж в противоположной стороне от берега, за дамбой. До этого скрытый насыпью грушевого сада, он не был виден — огромное пространство совершенно голой земли, на которой уничтожены поля, снесены постройки, выкорчеваны деревья, ярко освещалось, точно сцена, колоссальными, в метр диаметром, прожекторами. Справа, метрах в ста, строительная контора и несколько бараков, точно светящиеся кубики, вносили оживление — это был пульс жизни, копирующий большой город. Бульдозеры, экскаваторы, вгрызающиеся в холм прямо перед нами... узоры, беспорядочно прочерченные гусеничными тракторами... выложенная бетонными плитами дорога, соединяющая строительную площадку с шоссе... внезапно раздается гудок, и машины и моторы, сотрясавшие своим ревом простирающееся над ними черное небо, умолкают. Три грузовика помчались от бараков к строительной площадке. Каждый из них битком набит, похоже, строителями, едущими на работу, и, судя по тому, что освещение не гаснет, работы ведутся, наверно, без перерыва, в три смены. Горячее времечко, подал он голос, и мы направили машину к берегу реки.

Подъехав, мы увидели, что у микроавтобусов еще заметно некоторое оживление, во всяком случае большее, чем это казалось, когда мы смотрели на них с дамбы. Над раскрытыми настежь задними дверьми навешены деревянные козырьки от дождя, прилавком служат небольшие возвышения на полу; китайская лапша, сосиски, сакэ и острая закуска к нему — все это здесь едят

стоя, пьют стоя. Позади прилавка, в глубине — газовая плита, и в каждом автобусе человек в белом фартуке, по виду повар, сидит на дзабутоне. Прилавок — всего десять сантиметров над полом, и поэтому ему приходится стоять на коленях.

Таких микроавтобусов всего шесть (не знаю — то ли рабочий с топливной базы соврал, то ли в этот вечер их было меньше, чем обычно), у трех из них по несколько посетителей. Как раз в центре образованного ими полукружия — две женщины и трое парней сидят около костра, разложенного в металлической бочке... парни в черных сапогах, стеганых куртках и даже в фуфайках — сразу ясно, что это компания известного сорта. Женщины до ушей завернуты в толстые пальто — видны лишь волосы. Действительно, этим женщинам, волосы которых были кое-где подпалены языками пламени, вырывающимися из бочки, подходило название «дырявый дзабутон». От реки по гальке тяжело шлепает молодой парень, неся канистру из-под бензина. Воду, наверно, притащил. Вот почему здешнюю еду хочется продезинфицировать не простым, а подогретым сакэ, которое покрепче. Парень направляется прямо к крайнему в полукруге автобусу. Почему-то около него и посетителей нет, и фонарь потушен.

Правильно говорили рабочие с базы об этих автобусах, да и у самого хозяина действительно достаточно противный вид. Небритое лицо, на котором даже при голубоватом свете бросаются в глаза желтые отеки. Вытирая о фартук руки, глазами-щелками и нижней губой он изображает какое-то подобие приветливой улыбки.

— Замерзли, наверно? По стопочке теплого сакэ пойдет?

Точно завлекая, он повернулся ко мне, но я резко отказываюсь:

— Мне китайской лапши. Я за рулем.

Это не было ни позой, ни упрямством. Может быть, потому, что у наших профессий слишком много, казалось бы, сходных черт, существует тенденция больше, чем это необходимо, искать расположения полицейских. И в целях самозащиты нужно всегда стараться, чтобы у полицейских не складывалось о тебе дурного мнения. Конечно, будь я без машины, выпил бы с удовольствием. Если же я сейчас выпью, придется оставить машину здесь. Но, с другой стороны, вдруг поездка сюда завтра,

за машиной, окупится — тогда другое дело. К примеру, вернувшись сюда, я смогу поймать господина М. и получить какие-то решающие показания...

Небритая морда аккуратно, кругообразными движениями, чтобы намотанная на палочки сырая лапша не рассыпалась, ловко опускает ее в кипящий котел. Специфический запах картофельной муки и свиного сала приятно щекочет нос.

— Если вам холодно, могу одолжить шарф. — И повернувшись к Небритой морде: — Ну давай, что там у тебя.

Прежде чем Небритая морда начал шарить на полке за своей спиной, я отказался наотрез. Тогда брат, бросив: — Приготовишь нам еще яиц, пожалуйста, — быстро пошел к костру. Парни поздоровались с ним по всей форме — упираясь руками в колени, выпрямились и склонили головы. А он лишь чуть кивнул, словно старший над ними. Женщины же с безразличным видом слегка помахали рукой. Да, такого нелегко раскусить. Не зря рабочий с базы назвал его пройдошливым коммивояжером. Значит, этот самозванный братец...

— Вы с тем малым из одной компании?

— Нет, просто знакомые.

Небритая морда снова принялся за работу и, как мне показалось, чуть-чуть улыбнулся. Свободной рукой он начинает чесать в паху. У меня наполовину пропадает аппетит, но, кажется, чешется он через штаны, а посуда как будто лежит в кипятке — так что не страшно.

...И все-таки мое первое впечатление от этого братца было верным... ждать от него правдивых сведений не приходится... хотя он и сказал, что занялся шантажом, чтобы покрыть расходы по розыску... а если для него цель розыска — или, еще лучше, провал розыска — получение алиби, которое даст ему возможность успешно проворачивать свои темные делишки, тогда, согласно принципу порочного круга, ему нечего особенно прибегать ко лжи. Мне сюда незачем соваться. Были бы расходы по розыску оплачены пусть хоть по фальшивому чеку, деньги получены — и меня это не касается.

Окружив костер, брат и парни о чем-то разговаривают. Женщины остаются безучастными. Мне чудится, что где-то, когда-то я уже видел точно такую сцену. Светящееся синим огнем поддувало, пробитое в брюхе железной бочки. Красный столб пламени, разбрасывая искры,

взметается в черное небо. Холод проникает сквозь подошвы ботинок. Может быть, благодаря дамбе здесь затишье, но над головой слышится вой ветра. Звук напоминает свист включенного на полную мощь радиоприемника, который никак не настраивается на нужную волну. Бесчисленные сухие пальцы, перебирая ветви и раскачивая верхушки деревьев на холме, заставляют их стонать. Я определяю на глаз, как делит автобус фанерная перегородка с маленькой дверью, перед которой сидит Небритая морда. Она идет примерно от середины автобуса чуть ли не до сиденья водителя. Значит, там хватит места для дырявых дзабутонов. Сгибая и разгибая пальцы на ногах, стараюсь вызвать приток крови.

— Развлекаются там, за перегородкой?

— Нет, в своей машине я не разрешаю этого делать...— Зачерпывая шумовкой готовую лапшу и давая стечь с нее воде, Небритая морда искоса смотрит на меня испытующе.— Лучше этого не делать... на кой нужны эти бабы, особо те, которые в такое место забрались, чтобы заработать...

— Тогда, может, у вас какие-то другие развлечения?

— Помещение внутри сдаю внаем. Сейчас его ваш приятель снимает... а меня, стоит мне сучку увидеть, с души воротит... спрашивал у доктора — говорит, сахарная болезнь... когда здесь поблизости бродит такая сучка с течкой, я прямо убить ее готов... но человек — нельзя убивать... смеетесь?... лучше бы я, когда помоложе был, занемог этой сахарной болезнью... не успел бы тогда дать ведьме свое имя... вот, возьмите яйца — эти крутые, эти нет... да и что толку женщинам сдавать, все равно этой банде платить надо, так что разницы никакой.

— И все же, интересное вы дельце придумали.

Грею руки о горячую, как огонь, миску с яйцами.

— Чем же интересно?... хорошо еще, если до того, как придется убраться отсюда, смогу выплатить деньги за машину.

— У вас и машина своя?

— Занятие оказалось не таким прибыльным, как думалось. Есть такая штука, как правила уличного движения, верно? Или такая, как контроль за соблюдением правил уличного движения... и, хоть у тебя машина, это совсем не значит, что ты можешь остановиться где вздумал и заниматься своей торговлей.

— Дайте перец...

— Да вот хотя бы возьмите берег реки или берег моря — правила уличного движения на такие места не распространяются, а все равно ограничивают... а где бойко идет торговля, кто половчее, тот тебя и обштопает. Потом банда эта — попробуй не дай ей денег, она твою торговлю быстро прикончит.

— Ничего не поделаешь, к услугам тех или иных людей всегда приходится прибегать.

— Пока соберешься кого-то съесть — тебя сожрут с потрохами. И никто тебе не поможет, никакая банда. Хочу вам вот что сказать, и не потому, что он, похоже, ваш приятель... этот малый дела обдeldывать мастак, верно?.. и не то чтобы срывает с тебя последнюю шкуру, а берет точно, как с самого начала договорились... вот кончу выплачивать за машину и, если она дотянет до тех пор, поеду летом на какое-нибудь морское побережье, подальше от города — на жизнь себе заработаю...

Этот тип, выдававший себя за брата, говорил, что пытался найти здесь его следы, но безуспешно. Это же утверждали и управляющий торговой фирмы «Дайнэн», и молодой ее сотрудник Тасиро. И вот теперь собственными глазами увидев топливную базу М., собственными ногами походив по городу F., я тоже стал постепенно приходить к той же мысли. С городом F. его связывала только топливная база М. И это были самые обыкновенные, ничем не примечательные отношения оптовой фирмы и розничной базы. Естественно, поскольку отношения были самыми обыкновенными, появление на сцене брата не могло служить для отвода глаз, но почему же тогда человек, по работе никак с пропавшим не связанный, за исключением того, что был его шурином, тоже оказался связанным с городом F.? Может быть, опять не более чем одна из любимых этим типом случайностей?

Видимо, вряд ли можно считать необоснованным предположение, что звено, соединяющее его с городом F., и звено, соединяющее с городом F. брата, совершенно самостоятельные, не связанные между собой... может быть, я преувеличиваю... но, уж во всяком случае, благодаря существованию моей заявительницы, то есть его жены и сестры этого типа, два этих звена неразрывно связаны между собой. А если так, то нагромождением небылиц сейчас пытаются разорвать связь между этими двумя звеньями... и управляющий фирмы «Дайнэн», и даже совсем еще зеленый Тасиро вошли в преступную

делку с братом, превратившись тем самым в сообщников, и им удалось сбежать в безопасную зону, где для меня они недосыгаемы. Если следовать предостережениям шефа, то мне не остается ничего другого, как стать в начальную позу: мол, деньги мне платят за то, что я, вместо того чтобы слушать — затыкаю уши, вместо того чтобы смотреть — закрываю глаза, вместо того чтобы действовать — прохлаждаюсь.

Испуганно заревел второй гудок. Покусывая нижнюю губу и пиная ногой гальку, даже не стараясь скрыть раздражения, от костра возвращается брат. И почти выхватывает из рук Небритой морды сразу же наполненную им дымящуюся чашку.

— Для развлечения гостей всего две женщины. Куда же остальные подевались?

— Может, потому, что грипп свирепствует?.. — крутит головой Небритая морда, наливая в чашки чай из голубого эмалированного чайника.

— Грипп? — Судорожно усмехнувшись, брат медленно поворачивается ко мне. — Никудышные люди, никудышные. Опротивели они мне. Женщины в годах, что им нос-то задирает — ведь за вычетом каждая свою долю получает. Может, они считают, что достаточно подзаработали, и решили чистенькими стать? Да только кто их теперь таких любить-то будет?..

Внезапно раздается грохот, дрожит земля. Началась работа. И люди, повернувшись спиной к освещению на гребне дамбы, стали прыжками, точно танцуя, спускаться вниз. Те, кто закончил смену, помывшись, направляются сюда, чтобы выпить теплого сакэ.

— Две женщины всего... ну что ты будешь делать...

На этот раз, не беря чашку в руки, он наклонился над ней и в два глотка втянул содержимое. На дне толстой чашки сверкнул блик, полумесяцем отражаясь на его влажном подбородке.

— Так, значит, это и есть ваше дело?

— Дело? — хмыкнул он и чуть ли не застенчиво улыбнулся. — Все-таки это отличается от воровства или грабежа... конечно, если здание стационарное, тут хлопот не оберешься... а вот автомобиль, который все время с места на место переезжает, — это пожалуйста... интересная штука — закон... когда речь идет об опасности наводнения, жизнь человека уважают.

— Вы уже давно занимаетесь этим?..

— Сразу же, как начались здесь работы,— значит, с июля прошлого года.

С июля прошлого года?.. что же тогда произошло?.. точно, это как раз тот месяц, когда топливная база М. сменила контрагента и им стала фирма «Дайнэн»... здесь снова соединяются два звена... но действительно ли два звена?.. не окажется ли неожиданно, что звено-то одно... а в августе он исчезает... нужно рискнуть и попытаться узнать у брата, что это за документы, которыми он собирался шантажировать хозяина топливной базы... нет, даже если он и ответит на мой вопрос, все равно я сам без его помощи обязан вывести его на чистую воду... значит, нужно расставить сеть так, чтобы в нее попал этот человек?.. а если в сеть вместе с ним попадет и заявительница?.. в какой же бездонный омут недомолвок попал я!..

— Ладно, будь что будет, выпью, пожалуй, за компанию стаканчик. Машину можно где-нибудь здесь оставить, верно? Холодно, сил нет.

— Похвальная осторожность.— И глядя на меня покровительственно: — Если оставите здесь, положите на меня. Можете даже оставить ее на хранение вместе с собой. Крыши над головой, правда, нет, но здесь, у дамбы, все равно что у себя дома.

— Все это хорошо, но...— ворчит Небритая морда, ставя передо мной стакан.

— Что ты хочешь сказать? — сурово, с упреком говорит брат.— Чего тебе не хватает, а, говори же?

— А я разве говорю, что не хватает,— лениво покачивается он,— зачем зря придираешься-то?

— Тогда выражайся ясней! Почему сегодня все идет вкривь и вкось?

Небритая морда продолжал покачиваться, как затосковавшая обезьяна.

— Сами поглядите: посетителей сегодня навалом, это как-то уж больно хорошо, неспроста, верно?

— Хватит болтать.

— Вы и правда ничего не слышали?

— Нет.

— Вот оно что,— впервые поднял он одутловатое лицо, в котором сквозила тревога.— Сегодня вечером будет заваруха... все, кто в автобусах живет, тоже куда-то пропали...

— Может, выскажешься пояснее?

— Да я не знаю. Просто слухи такие. Что женщин сегодня нет, мне плевать. Но вот что не нравится мне — не одних женщин-то нет. Если случится то, о чем говорят, то людей, пожалуй, у нас маловато. Ребят сегодня трое всего.

— А что говорят-то, ты слыхал?

— Да это всем известно... касается вас, я и рассчитывал, что вы как-нибудь все уладите. Вот это здорово, мы здесь на него надеемся, а он даже и не знает, какие слухи ходят...

Посетителей не было только у нашего автобуса. В течение нескольких минут, пока мое внимание было приковано к стакану с сакэ, вокруг каждого фонарика, образуя живую стену, столпилось, точно выплыв из тьмы, по четыре-пять, а кое-где и по семь-восемь человек. Но атмосфера тревоги как-то не ощущалась. Каждый, ссутулившись, залпом выпивал свой стаканчик сакэ и вылавливал из тарелки закуску. А может быть, мне кажется, что все спокойно, потому что я не знаю, как здесь бывает обычно? Если уж выискивать, что вселяло беспокойство, — так это, пожалуй, то, что среди толпившихся людей некоторые в защитных касках, хотя сейчас они были не на работе. Но не исключено, что надели они их просто из-за холода... да и вокруг костра в прежних позах замерли те пятеро... вроде бы никто из посетителей не заигрывает с женщинами...

Шея брата вдруг напрягается. Он слегка наклоняет голову вперед, как птица, приготовившаяся к нападению, и с недопитой чашкой в руке упругим шагом неожиданно направляется к костру. Чтобы не спотыкаться о камни, он идет на цыпочках, и его спина на фоне еще более огромной тьмы уже не кажется черной стеной.

— Что, начинается?

— Неплохой человек. — Небритая морда с сигаретой в зубах снова начинает покачиваться. — Не такой уж плохой человек, а вот ненавидят его. Человек он с умом, толковый человек, и зачем ему нужно так уж жать. Кому понравится, что он устроил этим, из барачков: выпивку и закуску дают только в кредит? Подмазал управляющего ихней конторой и сделал так, что деньги, которые они ему должны, вычитают из жалованья.

— Здорово...

— Во куда они забрались, чтобы подработать, да из этого все равно ничего не выйдет. И ведь знают, что бу-

дут жалеть, когда кредит покрывать придется, а все равно таким способом их заставляют раскошелиться.

— Затевать историю из-за такого-то пустяка странно.

— Послезавтра... пятнадцатого, день выплаты — вот такое дело... еще стаканчик?

— Только за свои деньги.

Небритая морда, туша сигарету об угол плиты, улыбается. Бросив мельком взгляд на машину, я обращаю внимание на выпуклое продолговатое зеркало у ветрового стекла, которое позволяет, сидя в ней, видеть, что делается на берегу. Пять человек у костра, все как один, наклонившись к огню, неподвижны, словно фигуры на картине. Небритая морда, будто разговаривая сам с собой:

— Да, неплохой человек... вот хоть эти женщины — ведь тем, кто в бараках живет, лишь бы баба, хоть кривая — другие от такой хари бежали бы без оглядки. Да и этим крепкозадым кобылам все равно, с каким мужиком переспать. Одна, говорят, гостя к себе допустит, а сама спит-похрапывает и вроде уже миллион заработала.

— Кому хочется наживать врагов, верно?

— Ого, — сразу понижает голос, — сколько народу собралось там... разве это не чудно?.. не люблю я такие сборища... а вот те на дамбе — эти уж точно на стреме стоят.

— Может, вы зря беспокоитесь?

— Смотрите, сволочи, накачиваются. Они собираются обчистить все автобусы. Сейчас сюда придут, это уж точно.

— Кто-то, наверно, направляет их действия, верно?

— Не знаю я...

— К примеру, член муниципалитета, пользующийся здесь влиянием...

— У вас тоже значок?.. если есть, то, хоть и под отворотом, все равно выбросьте его поскорей...

Я все еще недооценивал происходящее. Даже если что-то и случится, думал я, все ограничится криками и шумом. Пусть покричат. В результате лишь станет ясно, что у брата есть враги. Для меня важно одно — воспользоваться этим случаем, чтобы разнюхать, что эти люди думают о нем. Любая окружность имеет точку, с которой она начинается, и точку, которой она заканчивается... любой лабиринт имеет вход, имеет и выход... а, будь что будет, лишь бы произошло все это поинтереснее, поярче...

Может быть, из-за холода и напряжения сакэ совсем на меня не действовало. Или просто чашка такая тол-

стая, и кажется, что выпил больше, чем на самом деле. Попросил еще порцию — четвертую.

Трое рабочих, держась за руки, шатаясь подходят к автобусу, у которого я стою. Шатаются все трое потому, что средний, в теплом кимоно на вате, которого с двух сторон поддерживают товарищи, еле стоит на ногах. Левый, здоровенный детина с выдающимся вперед подбородком, зло рассматривает меня, но ничего не говорит. Может быть, ищет значок? Тот, что в толстом кимоно, орет «водки», а между выкриками плачет навзрыд... Понимаешь, в заявлении о розыске пропавшего без вести имя надо писать, это я тебе точно говорю. Жена пошла в управу подавать заявление о розыске, ее и спросили, а как имя, кого ты разыскиваешь?.. Да плюнь ты. Это говорил приятный на вид, невысокий человек с растрепанными волосами, шедший справа, поглаживая плакавшего по спине. Если не плюнешь на все, тогда тебе хоть подыхай... Водки! — вопит тот, что в теплом кимоно, по-прежнему заливаясь слезами... Да что там заявление о пропавшем без вести. Напиши хоть одно письмецо, узнают, что работаешь, — и конец пособию. Я бабе своей сказал, два года молчи и терпи. Считай, что муж твой помер, и терпи. Хочешь пособие получать — давай хитрить, делать нечего. Верзила неожиданно внятным тихим голосом: плюнь ты, не из-за жены это управа запрос прислала. Управа надумала конец положить пособию — вот и прислала... Запрос о розыске у прораба. А он грозит — или сам пиши письмо, или я свяжусь с управой... Плюнь. Мы свидетели, что ты здесь. И руки целы, и ноги — какой там пропавший без вести, смех один. Точно — ты здесь живешь. И все... Я здесь... Верзила и маленький хором орал с двух сторон... Верно, ты живешь здесь!.. Водки! Сволочи! Не хочу письма слать... Управа подвохи устраивает. Плюнь... Не ной, и в патинко¹ не пойдем играть. Сказали тебе — никакой ты не пропавший без вести, ну и пошли водку пить...

Небритая морда, подняв большой палец, подает мне какой-то сигнал... бросаю взгляд на зеркало у ветрового стекла — брат, стоя примерно посредине между костром и автобусом, непрерывно делает мне рукой знаки... я ухожу тихо, чтобы не привлечь внимания трех приятелей... идти очень трудно из-за гальки, устилающей берег

¹ Патинко — автоматическая рулетка.

реки... а может быть, я опьянел сильнее, чем мне вначале казалось?..

Брат хватает меня за руку, идет куда-то в сторону, точно увлекая меня во тьму, и говорит с беспокойством:

— Здесь происходит что-то странное, знаете, лучше уезжайте отсюда.

— Странное, в каком смысле?

— Не понимаете?..— И беспокойно оглядываясь по сторонам: — Здесь что-то затевается.

— Я сейчас видел пьяных — занятные. На одного получен запрос о розыске, и он разревелся...

— Дурачье отпетое.

— А хозяин топливной базы, наверно, где-то здесь поблизости.

Он отпустил мою руку и остановился, вглядываясь во тьму.

— Оставьте ненужные предположения. Говорю же, искать в таком месте — пустая трата времени. Ведь тридцать тысяч в неделю — может, это и шальные деньги, но ими только-только расходы покроешь. Прошу вас, уезжайте отсюда побыстрее.

— Но я совсем не держусь на ногах.

— Если эти негодяи по-настоящему взбунтуются, здесь начнется такая заваруха...

И в это время случилось вот что. Компания — их было человек семь-восемь, — медленно проходившая мимо костра и делавшая вид, что идет от одного автобуса к другому, вдруг резко изменила направление и кольцом окружила костер. Потом — кто начал первым, не знаю — люди неожиданно сплелись в черный клубок, женщины с воплем бросились было в нашу сторону. Но их тут же схватили. Подоспело подкрепление. Женщин взвалили на плечи, как мешки с картошкой, и утащили от автобусов во тьму. Хриплая ругань женщин, крики о помощи. Но и это продолжается всего лишь мгновение, покрывая ругань и крики, у автобуса, около самой дамбы, взрывается рев. Звон разбитого стекла. Камень, пролетев сквозь автобус, падает к моим ногам. Около костра обстановка тоже меняется: теперь уже трое парней переходят в контратаку. Они схватили одного из рабочих, ударили его чем-то по голове, и тот с воем рухнул на землю. Упавшего бьют ногами, может быть, у него даже сломана рука, и он, скорчившись, катается по земле. Несколько рабочих переворачивают ногами горящую боч-

ку и, размахивая пылающими головешками, нападают на троих парней. Однако молодые ребята более ловкие и быстрые. И поэтому, хотя в руках у рабочих мощное оружие, они вынуждены отступать. Тогда рабочие решают использовать головешки для нападения на автобусы: они бросают их в разбитые окна. А трех парней атакуют камнями. В ответ те тоже бросают камни, но тут уж побеждает число. Молодые парни отступают, и тогда в объекты нападения превращаются автобусы. Выброшенные из автобусов плиты... газовые баллоны, из которых вырывается пламя... разбитая посуда... но разрушительная сила нападавших не проявилась еще в полную мощь — видимо, потому, что они разрывались между соблазном ринуться вслед за женщинами, которых утащили в сторону от реки, и возможностью напиться дармовой водки — теперь ее вдоволь.

— Схожу в контору, предупрежу.

Сказав это, брат убегает, пробираясь между дерущимися. Он уже совсем было пересек полукруг, образуемый автобусами, когда его догнали несколько рабочих и повалили на землю. Однако я даже не подумал двинуться с места. Задумчиво глядя на катающийся черный клубок, я нисколько не сожалел, что не протягиваю руку помощи, да и не считал, что должен что-то сделать.

Но неожиданно приходит спасение. Самый дальний автобус, более или менее избежавший разгрома — видимо, потому, что водки было слишком много и все были поглощены выпивкой,— неожиданно взревел мотором и как был с открытой задней дверью, теряя по дороге товары и забравшихся в него рабочих, помчался вперед, расшвыривая мелкую гальку.

Внимание нападающих сосредоточивается на нем. Некоторые, схватив камни, бросились за ним вдогонку, а некоторые даже пытаются забраться в него через окна. Но микроавтобус, мотор которого, думаю, был меньше тысячи кубических сантиметров, со скрежетом, будто пилит металл, из последних сил преодолевает подъем на дамбу и отрывается от преследователей.

Успех беглеца дал и ему, и другим автобусам возможность бежать. Пока рабочие гнались за уносящимся автобусом, оставшиеся автобусы разом завели моторы и, газуя изо всех сил, понеслись по берегу.

Я видел краем глаза, как человек, называвший себя братом, брошенный нападавшими, ползет на четверень-

ках к зарослям сухой травы у основания дамбы, один хотел было побежать к своей машине, счастливо избежавшей нападения... но вдруг спохватился: я забыл нечто весьма важное... его дневник... нужно напомнить о дневнике, который он обещал принести послезавтра к сестре. Подумал, что будет нелишне, если он подтвердит это обещание... но брата нигде не было видно — здорово, наверно, спрятался... а помедли я еще хоть секунду — и снова полетят камни... пригнувшись, делаю отчаянный рывок... в спину попадает камень, но боли не чувствую. Хуже, что задыхаюсь, горло перехватывает. Наверно, сказала выпивка. Но все равно я удивительно спокоен, нахожу ключ, на это уходит не так уж много времени, и буквально одним движением завожу мотор. Большая часть рабочих столпилась у дороги, идущей вдоль склона насыпи, — у единственной дороги для автомашин, связывающей насыпь с берегом. Не успевшие удрать два последних автобуса, с зажженными фарами, неистово сигнали, пытаются прорваться через толпу. Один из них каким-то образом проскакивает. А второй, видимо впопыхах сорвав сцепление, посреди подъема неожиданно теряет скорость, и подлетевшие рабочие переворачивают его и легко сбрасывают под откос, где он и остается лежать вверх колесами. Фары ярко освещают склон насыпи, метров двадцать в ширину. Из сухой травы вертикально торчит белая палка — в ней таится какой-то зловещий смысл, но назначение ее не ясно. На фоне насыпи бурлит черная толпа, некоторые взобрались на перевернутый автобус, который уже вхолостую крутит колесами. Подстрекатель, конечно, среди них. Если бы только удалось рассмотреть его, хотя бы в самых общих чертах, представился бы прекрасный случай обнаружить врага этого самого брата — должен же он существовать... но вот еще более громкий вопль... звон разлетающегося стекла... глушу мотор, гашу фары. Вокруг того места, где раньше стояла бочка, красные огоньки беспорядочно разбросанных головешек... кто лежит на земле неподвижно — пьяный или раненый, кто ползет, кто, как лунатик, шатаясь, плетется к реке... но какое счастье, что перевернутый автобус не загородил дорогу. Правда, моя машина вполовину меньше автобуса. Малейшая ошибка, и ее судьба будет точно такой же.

С потушенными фарами отъезжаю далеко от берега реки. Около перевернутой бочки ко мне подбегают

трое молодых парней и просят помощи, но тут их настигают нападающие и грубо валят на землю. А может, их было уже не трое, а всего двое.

Я не обращаю на них никакого внимания. Стараюсь ехать как можно медленнее, и машина, точно проходя испытание на прочность, вся дрожит и воет, готовая вот-вот развалиться. Если она сорвется в кювет и здоровенный камень пропорет ей брюхо — тогда конец. Но, не доезжая до редких зарослей ивы, я сталкиваюсь, как и предполагал, со второй копошащейся толпой. Это те, кто утащил женщин. Я еще больше сбавляю скорость и, когда преследователи, уверенные, что настигают меня, подбегают почти вплотную, круто поворачиваю и, направив машину к подъему на насыпь, нажимаю на газ. Меня подхлестывает грохот, будто молотом изо всех сил бьют по мотору, стараясь разбить его на мелкие кусочки...

Все идет как будто хорошо. Большинство преследователей оставляют меня, захваченные зрелищем обряда, в котором участвовали женщины, стараясь ничего не пропустить. Поскольку фары потушены, я так и не разглядел толком, что за обряд совершался. На ум приходит лишь скользкая туша, освежеванная, разделанная и подвешенная на крюк в холодильнике мясной лавки. Фонари погашены, но зато полыхают огромные факелы, кругом царит дух истерического торжества. Потому-то на мою машину и не обратили никакого внимания. Взобравшись на дамбу, включаю наконец фары. И вдруг все тело становится точно каменным, плечи и колени онемели, в глазах темно — видно еще хуже, чем когда фары были потушены. Переключаю скорость, до упора нажимаю на газ, но машина еле движется, точно ручная тележка. Невыносимый страх леденит затылок. Постой, горелой резиной же пахнет. Ручной тормоз отпущен не до конца. Включив печку, опускаю стекло и только тогда ощущаю в переносице тяжесть опьянения.



Между тем в облике женщины ни малейшего признака опьянения. Положив на мужской плащ, перекинутый через руку, сложенную старую газету и придержи-

вая все это сверху другой рукой, она плечом отодвигает портьеру, отделяющую комнату от кухни, и входит легкой девичьей походкой, почти на цыпочках.

Видимо, она наскоро привела себя в порядок: матовая гладкая кожа, легкие отметинки веснушек — лицо вновь обрело свою обычную свежесть, волосы приглажены щеткой. Что это? — сознательное стремление выглядеть женственней или, наоборот, манера поведения — скорее проявление настороженности, желание скрыть истинное лицо... все равно эффективность ее ухищрений сомнительна... благодаря косметике эта женщина становится словно прозрачной — слишком отчетливо раскрывается ее сущность. Застланный туманом город давней мечты... задохнувшийся в молочном тумане далекий город, переполнявший меня страстным желанием еще до того, как я стал таким, как сейчас, город, который я помню спустя много-много дней... но именно благодаря рамке он выглядит пейзажем, и, может быть, потому, что я считаю его пейзажем, он и кажется прозрачным?.. а если убрать рамку — один туман... и сколько ни трогай рукой, по непрозрачности он ничуть не уступает железобетонной стене... не обольщайся, пока нет никаких доказательств, что эта женщина не сообщница... неожиданно в ушах звенит слабый женский крик, тот, что я слышал на берегу, и из тумана выплывает маленькая, как кусочек луны, разделанная туша, с которой капает черная жидкость...

Она прошла мимо книжной полки, положила плащ на угол стола и, расправив газету, протянула ее мне, а сама села на тот же стул, что и вчера, но приняла несколько иную позу — теперь линия, разграничивающая книжную полку и лимонную штору, проходила у ее правого уха. Хрупкое ухо, готовое от грубого прикосновения рассыпаться на мелкие кусочки, как фарфор... некоторым захочется, наверно, уберечь его, другим — расколоть... к какому, интересно, типу принадлежал он?..

— Это газета, но...

Сложенная пополам и еще вчетверо спортивная газета. Бросается в глаза, что она рваная и затертая, правда меньше, чем спичечный коробок. Вдруг красные иероглифы: «Всепобеждающий меч гнева. Еще шаг — и убийца». Это статья о реслинге.

— От четвертого июня?.. он, видно, долго носил ее с собой...

Переворачиваю страницу — статья о профессиональном бейсболе. Ниже — подробная реклама лекарства от простуды. Третья страница наполовину заполнена фотографиями улыбающихся молодых певцов и сплетнями об их любовных похождениях. Внизу небольшие обведенные рамкой объявления по тысяче иен за строку. Требуются рабочие, сдаются номера в гостинице, производятся финансовые операции, сдаются квартиры и прочая смесь... смесь, за исключением объявления о продаже собаки, касалась исключительно венерических болезней, лечения бесплодия или предотвращения беременности. Последняя страница — результаты и прогнозы бегов и автомобильных гонок; программы радио и телевидения и реклама фильмов. Внизу на три колонки объявления о наборе рабочей силы. Лишь одно объявление о розыске пропавшего без вести, но оно как будто не имело к нему никакого отношения.

— Она и раньше была такая рваная? Или, может быть, вы слишком часто рассматривали ее?

— Да, я тоже трогала, но... — и отведя взгляд от газеты и спокойно посмотрев мне прямо в лицо, — но рваная она была и раньше.

— Когда ваш муж последний раз надевал плащ? Наверно, не помните.

— Не знаю, как это назвать, безалаберностью или предусмотрительностью, но он почти всегда оставлял его в машине. Когда бы ни пошел дождь — всегда под рукой, говорил он... если бы муж не собрался продавать машину и специально не принес плащ домой, я бы, наверно, даже не вспомнила о его существовании.

— Машину? Продал машину? Когда?

Непроизвольно перейдя на тон допроса, я стал поуждать ее к ответу. Но женщина, нисколько не растерявшись и поглаживая пальцами угол стола, будто сомневаясь в чем-то:

— За день до этого, а может быть, за два... во всяком случае, плащ он принес, пожалуй, за неделю до продажи машины... положил в чемодан и забыл...

— Но вчера вы говорили совсем другое.

— Возможно... странно, не правда ли?

— Ведь я же спрашивал, действительно ли машина в ремонте, и вот...

— Значит, это муж мне так сказал.

— Куда девалась машина, брат должен был знать, зачем же вам понадобилось говорить неправду?

Не зашел ли я слишком далеко? Загнав заявительницу в угол, из которого ей не выбраться... сам натворил — сам и расхлебывай... и это не ловушка, расставленная преднамеренно. Но и стена, к которой, казалось, прижата женщина, для нее не большая преграда, чем размокшая бумага... чуть смущенная улыбка...

— У меня уж такое обыкновение — говорить, что на ум придет... вобью себе что-нибудь в голову... вот и сегодня полдня весь дом обыскивала... точно в прятки играла — и в платяном шкафу, и даже за книжным шкафом искала... мне казалось, что он превратился в червячка... и тогда я намазала на бумажку мед и положила ее под кровать.

Губы ее дрожат, дыхание прерывается. Мне кажется, что она вот-вот расплачется, я даже растерялся.

— Собственно, то, что вы неохотно сообщаете сведения, наносит ущерб нам обоим. Вы не только направляете меня по ложному следу, но и несете из-за этого напрасные расходы. А что за человек купил эту машину?

— Очень хороший человек...— И вдруг, точно опомнившись и глядя мне прямо в глаза: — Нет, нет, вы ошибаетесь, если бы он деньги не хотел отдавать или был бы связан с исчезновением мужа, то одно из двух: либо что-то рассказал бы, либо совсем бы не показывался... и тогда я бы просто и не узнала о существовании этого человека. В общем, им можно не заниматься...

— Профессия?

— Кажется, водитель такси.

— За сколько продана машина?

— Что-то около ста шестидесяти тысяч иен...

— Он уже выплатил полностью?

— Да, он мне расписку показывал.

— Значит, муж собирал деньги, чтобы уйти из дому?

— Не может быть. Не могу поверить.— Неожиданно лицо женщины, до этого безмятежное, гладкое, точно восковое, стало колючим, шершавым, точно его обсыпали песком, вокруг губ, вытянувшихся и ставших похожими на сосок, залегли мелкие светлые морщинки. Она с силой прикусывает ноготь большого пальца: — У вас же нет доказательств, значит, вы не можете так говорить.

— Но ведь доказательства складываются из фактов. И я оказался в весьма затруднительном положении, по-

сколько вы, как мне кажется, не проявляете особого интереса к фактам...

— Все равно не могу поверить... человек пропал без вести — это правда, и все же... еще вопрос, из-за чего он убежал... совсем не обязательно, что он убежал из-за меня... думаю, что не из-за меня... из-за чего-то другого...

Я прихожу в уныние. Положив на колени чемодан, открываю крышку.

— Я вам покажу донесение. В нем действительно одни неприятные факты.

Как я и ожидал, женщина садится и с напряженным лицом начинает читать — сначала бегло, а потом снова, теперь уже медленно, осторожно, будто переходя через пропасть по круглому бревну...

— Факт, он вроде моллюска. Чем больше его вертишь в руках, тем плотнее сжимает он створки... а если попытаешься раскрыть его силой, он погибает: теряет прошлое, лишается будущего... остается только ждать, пока он сам не раскроется изнутри... к примеру, эта газета... а вдруг окажется потом, что в ней спрятан ключ к разгадке?.. считать так — лучше всего, почему газета была вместе со спичечным коробком?.. причина как будто есть, но факт остается фактом — там, где я ожидал что-то найти, ничего не обнаружено...

Женщина поднимает глаза от донесения. Я и раньше замечал, как резко меняется выражение ее лица, но на этот раз оно было совершенно новым, такое я увидел впервые. Оно выражало испуг, мольбу, растерянность, будто, набрав в рот воды, забыла ее выплюнуть; тяжело дыша, с покрасневшими веками, она не сказала, а скорее выдохнула:

— Связь есть. Мне жаль, что ввела вас в заблуждение, но...

— Автомобильные гонки? Бега... Да?

— Нет, номер телефона.

— Номер телефона?

— Скрывать или еще что — я совсем не собиралась этого делать, но вот...

— Какой номер телефона?

— Такой же, как на спичечном коробке... где-то он должен быть...

Палец женщины, как муравей, наклонивший голову, безостановочно, беспорядочно бежит по колонке объявлений о найме рабочей силы на четвертой странице.

Кукольный палец, маленький и гибкий, точно без костей... похожий на игрушечный пальчик, который не поранить даже ложью...

— Требуется официантка?

— Нет, нет, водитель... ага, вот.

Под остановившимся наконец пальцем женщины:

«Водитель. Желательно первоклассный. Возраст любой. Нужны рекомендации. Можно прислать либо принести лично».

И номер телефона слева внизу тот же, что и на спичечном коробке из кафе «Камелия».

— Видите, я не обманываю,— бросает она с отчаянным вызовом и, покачав головой: — Сама не понимаю, почему я молчала. Может быть, действительно потому, что боюсь фактов...

— Я не собираюсь докапываться до истины. Я не прокурор и не судья. Я ваш работник, нанятый за деньги. Следовательно, интересы заявительницы и ее безопасность для меня превыше истины. Если есть какие-либо угрожающие факты, скажите мне об этом. Мой долг — оградить вас от них. Какие же факты представляются вам угрожающими?

— Угрожающих нет. Об этом факте я рассказала все, что знаю...— Женщина потупилась и вдруг неожиданно подалась вперед.— Пива не выпьете?

— Если только самую малость за компанию...

Сейчас было совсем уж неуместно проявлять заботу о ее здоровье. Пиво ей необходимо. Мне же необходима эта пьющая пиво женщина. Да и кроме того, хватит ставить ей ненужные рогатки. Как собачонка, спущенная с поводка, она вприпрыжку побежала к портьеру, отделяющей кухню:

— Ну вот... хоть я и говорила, что сообщила все, что знаю, но, может быть, вот еще что... я сама ходила в то кафе, спрашивала, и узнала, что он выступал как посредник — один знакомый попросил его нанять шофера для личной машины... мне сказали, что давно все улажено... ничего удивительного — к тому времени объявление уже было месячной давности...

На губах женщины, возвратившейся с пивом, застыла белая пена.

— Но он же не все время занимался такого рода посредничеством?

— Почему же, он посредничал, когда время от времени приезжали знакомые из провинции и им нужен был шофер, хорошо знающий Токио. Собственно, он мог бы и сам поместить подобное объявление.

— Резонно.

Осторожно разливая пиво по стаканам, женщина, точно ища сочувствия, заискивающе улыбается и садится.

— То дело уже давно улажено.

— А что это за номер телефона приколот к шторе?

— Да тот же номер...

— Зачем?

— Видите ли...— И залпом отпив треть стакана:— Особой причины нет... в общем, не знаю я. Но почему вы относитесь ко мне с таким предубеждением?

— А мне кажется, что вы. Когда я спросил вас о газетном объявлении, вы пришли в несколько странное замешательство.

— Это верно... почему же?...— Держа стакан в обеих руках и глядя на меня, будто вспоминает о каком-то событии десятилетней давности.— Действительно, почему же?... мои ответы всегда кажутся противоречивыми... но, знаете, на факты тоже не всегда можно полагаться... где бы ни был этот человек, что бы он ни делал, все равно... факт, что его нет... это действительно факт... но необходимо его объяснить... почему его не стало?... проблема в том, чтобы объяснить это... вот и все...

— Но если факт не будет установлен, не удастся и объяснить его.

— Достаточно одного объяснения.

— Вам не кажется, что это мог бы сделать только сам ваш муж? Самое большее, на что я способен,— выяснить его местонахождение.

— Что за самоуничтожение.

— Самоуничтожение?

— Зачем вы выбрали себе такую профессию?

— Я должен отвечать?

— Мне всегда интересно, почему люди выбирают то или другое...

— Все это мелочи, не имеющие отношения к делу. Как только человек, убежавший из дома, обнаружен, безрассудство его тут же испаряется и он спокойно возвращается в свое старое гнездо. А побуждения и объяснения — стоит ли вообще о них думать?

— Вам уже случалось разыскивать убежавших из дому?

— Конечно... но, как правило, с самого начала существуют определенные предположения, следы ведут к женщине... да, почти всегда замешана женщина... расспросы и слежка в течение каких-нибудь трех-четырёх дней — и все в порядке... видите ли, кому нравится обращаться в частное сыскное агентство?.. это и денег стоит, и есть опасность повредить репутации человека, которого разыскивают...

— Видимо, вы правы...

— Ваш муж был нервным?

— Скорее, пожалуй, беспокойным. Это даже в одежде проявлялось...

— Человек действия?

— Я бы скорее сказала, что он был ужасно осмотрительным.

— Вы уж, пожалуйста, не противоречьте сами себе. Исчезновение может быть либо активным, либо пассивным, и смысл его в зависимости от этого абсолютно различен.

— Во всяком случае, это факт, что он был увлекающейся натурой. До глупости...

— В чем же проявлялась его увлеченность?

— Во всем... он часто бывал похож на ребенка...

— Автомашина, фотоаппарат?..

— Да, автомашина, у него был даже диплом автомеханика...

— И он этим зарабатывал?..

— Он увлекался дипломами. Просто помешан был на дипломах... водительских прав у него было несколько, даже права на вождение тяжелых грузовиков двух типов, а кроме того — диплом радиста, диплом электросварщика, разрешение на работу со взрывоопасными материалами...

— Была ли какая-нибудь связь между характером его деятельности в фирме «Дайнэн» и разрешением на работу с взрывоопасными материалами?

— Видимо, да.

— У него, по всей вероятности, была практическая жилка.

Начинаю постигать неудобоваримое сочетание книг в его библиотеке. Электричество, связь, машиностроение, юриспруденция, статистика, языкознание — поразитель-

ный разноречивой. И притом не сугубо специальная литература, а сборники экзаменационных вопросов, справочники для поступающих в учебные заведения — в общем, составить об этой литературе цельное представление трудно, потому что хозяин помешан на дипломах — эта его ярко выраженная склонность и определяла подбор библиотеки.

— Потом диплом инженера по киноаппаратуре, диплом преподавателя средней школы...

— Ну и неустойчивый же у него характер...

— Может быть, он просто любил одерживать победу.

— А в последнее время какой диплом его интересовал?

— Тогда... что же это было?.. да, он говорил, что хочет стать радистом второго класса, и все свободное время что-то выстукивал пальцем...

— Радистом второго класса?..

— Если бы он получил такой диплом, ему бы удалось наняться на большое торговое судно. И жалованье бы получал раза в три больше, чем сейчас, — в общем, журавль в небе...

— Простите, какое жалованье было у него в фирме «Дайнэн»?

— Пятьдесят тысяч иен.

— Будь он шофер такси, получал бы примерно столько же, правда?

— Но ему больше нравилась работа автомеханика, и он был ну, что ли, маклером по продаже подержанных автомашин...

— Да, ваш брат мне уже говорил об этом.

— Брат? Вы с ним виделись?

— Как ни странно, мы с ним встречались везде, куда бы я ни направлялся. И как раз перед тем, как приехать к вам, мы с ним дружески выпивали.

— Действительно странно.

— Приятный человек. Если так пойдет и дальше, мы с ним, пожалуй, будем видеться раз по десять в день. Да, да, пока не забыл... Мы с ним договорились, что завтра он принесет сюда дневник вашего мужа, так что...

— Дневник?..

— Кажется, в нем нет ничего интересного.

Я наблюдаю. Чтобы не упустить малейшей перемены в выражении ее лица, после того как мы заговорили о

брате. Чуть нахмуренные брови, напряженные губы... растерянность, смущение или, возможно, недовольство братом, неприятно поразившим ее... однако женщина, прикусив нижнюю губу, игриво улыбается.

— Брат всегда удивляет людей. Такой уж у него характер, с детства.

— Вы читали этот дневник — о чем мечтал ваш муж? Хотя бы в общих чертах можно себе это представить?

— Мечтал...

— Например, мечтал ли он о море?..

— Муж — реально мыслящий человек. Когда он стал начальником отдела, то очень радовался, что нашел наконец опору, чтобы не скользить вниз в этой жизни, где на каждом шагу тебя подстерегает обрыв...

— И все-таки ушел.

— Но не из-за мечты. Он без конца повторял, что дипломы — якорь в жизни.

— Бросать без конца якоря, плывя на маленьком суденышке, — не означает ли это тоже принадлежность к категории мечтателей? Не делай он этого, давно бы уж вышел в море.

Женщина медленно опускает на стол стакан, который она поднесла было ко рту, и сидит молча, задумавшись. То, что происходило, было похоже на снятое методом замедленной съемки увядание цветка: женщина увядала на глазах — ввалились глаза, заострился нос, кожа на лице, до этого гладкая и упругая, утратила эластичность и обвисла, губы запеклись и почернели, будто она ела тутовник. В душе я начал раскаиваться. Сколько бы больной ни умолял врача, тот не имеет права умертвить его, чтобы облегчить страдания, — закон разрешает убивать лишь солдат на поле боя и преступников, приговоренных к смертной казни.

Стенные часы бьют один раз.



ДОНЕСЕНИЕ

13 февраля. 10 часов 20 минут. Просматриваю в библиотеке подшивки газет. До 4 августа, когда исчез разыскиваемый, дождь шел 28 и 29 июля. Однако 28-го дождь

пошел неожиданно, под вечер, а накануне предсказывалась лишь облачная погода. Следовательно, пропавший без вести последний раз надевал плащ 29 июля...

Начав писать, я останавливаюсь и в изнеможении закрываю глаза. Мне хочется не только закрыть глаза, но и выключить все чувства, все нервы, наконец само мое существование. Читальный зал библиотеки. Хотя почти все места заняты, здесь тихо, будто нет ни души... посапывание, шелест страниц, крадущиеся шаги... в нос ударяет запах мастики, которой натерт пол, видимо, мастика низкосортная — пахнет нефтью...

В закрытых глазах вдруг появляется лимонный цвет. Уши женщины благодаря свету, отражаемому лимонной шторой, становятся лимонными... аромат лимонного цвета... лимонный... глупо, почему не сказать, что веснушки бананового или коричневого цвета?..

Ладно, это не поле боя и не эшафот. У меня нет никакого права ранить ее, даже если ранка будет с булавочный укол. Единственное, что мне остается, — продолжать донесение. Заявитель всегда прав. К примеру, если заявитель заведомую ложь называет правдой, она тут же превращается в правду. Но хотя факты никому не нужны и меня наняли лишь для того, чтобы уйти от них, — это пустое дело. И, видимо, мне не остается ничего иного, как, продолжая охотиться за фактами, добиться лишь разочарования клиента. И я буду делать это, кружась на расстоянии вокруг любых, даже самых бессмысленных фактов, объясняющих то, что не поддается объяснению...

Неожиданно студентка слева от меня низко склоняется над столом и лезвием бритвы начинает вырезать какую-то иллюстрацию. Я тоже опускаю голову, будто поведение девушки смутило меня, и продолжаю писать донесение.

...Таков вывод. Хотя доказательств, что в тот день он пользовался плащом, нет. Но вместе с тем существует большая вероятность, что в период с 29 июля до дня исчезновения, то есть в течение недели, он не надевал плащ, так как стояла сравнительно ясная погода и было тепло. Что же касается газеты и спичечного коробка (или номера телефона), то можно с уверенностью сказать, что он еще до этого не прикасался к ним. Вышеизложенное

с достаточной степенью достоверности доказывает возможность того, что исчезновение разыскиваемого было скорее всего не внезапным, а заранее запланированным и заранее подготовленным.



Студентка рядом со мной кончила вырезать из журнала иллюстрацию. Я отрываю от последней страницы блокнота для донесения полоску шириной сантиметра в три и быстро пишу записку:

«Все видел. Буду молчать, но за это идите за мной. Если согласны, сложите записку и возвратите мне».

Складываю записку вдвое и подталкиваю ее под локоть девушки. В страхе съежившись, она посмотрела на меня, но я с невинным видом стал собирать со стола газеты и бумаги. В замешательстве девушка разворачивает записку и начинает читать, и сразу же ее круглое, коротконосое лицо становится пунцовым. Она замирает, похоже, даже дышать перестала... Наслаждаясь пикантной ситуацией, я терпеливо жду ответа...

Наконец оценивающий взгляд студентки. Она облегченно вздыхает, будто освобождая плечи от тяжести, неловко скручивает записку и щелчком возвращает ее мне. Но девушка не рассчитала как следует, и записка падает на пол. Наклонившись, чтобы подобрать ее, я поднимаю глаза — впечатление, что черные туфли без каблуков под толстой лодыжкой с трудом несут тяжесть ее тела. И лишь ложбинки под коленями говорят о невинности и чистоте. Уходящая юность — возраст неустойчивый, как начинающийся насморк. Видимо, почувствовав мой взгляд, девушка плотно сжимает колени.

Подняв свернутую бумажку, сую ее в карман, закрываю газетную подшивку, кладу в чемодан свои записи и авторучку и как ни в чем не бывало встаю со стула. По натертому до блеска полу с быстротой, приличной для библиотеки, иду не оглядываясь к кафедре выдачи. Закончив все формальности, я лишь один раз украдкой смотрю в ту сторону, где сидит девушка. Она все еще на своем месте и, выглядывая из-за ограждающего стол барьера, следит за мной. Подняв слегка руку и сделав ей знак, я сажусь на скамейку в отведенном для куре-

ния месте, между читальным залом и выходом, и закуриваю. Не успеваю я выкурить и четверти сигареты, как студентка неуклюжей походкой приближается к столу выдачи. Она невольно выглядывает наружу, но места, где я сижу, ей скорее всего не видно. Девушка быстро сдает книги, берет в гардеробе пальто и тут же направляется к двери, но вдруг замечает меня и, точно оступившись, сбивается с шага. Я сразу же встаю и тоже направляюсь к двери. Девушка, даже не помышляя о бегстве, семенит вслед за мной.

Когда я подгоняю к входу оставленную на стоянке машину, девушка стоит на середине лестницы, уткнувшись в воротник пальто. Я подъезжаю к ней, опускаю слева от себя стекло, и девушка, перехватив поудобнее портфель, своей неуклюжей походкой спускается по лестнице прямо к машине. В стекле отражается побелевший от холода нос. Ее недовольное лицо — может быть, голова у нее кружится или из-за мороза — производит неприятное впечатление. И зеленый шарф, выглядывающий из-под воротника пальто, чересчур ярок и как бы подчеркивает, с каким трудом сдерживает девушка внутреннее напряжение.

Приоткрываю дверцу.

— Я вас подвезу. Куда вам?

— Куда? — И неожиданно спокойным, даже вызывающим тоном: — Разве это я должна решать?

Невольно усмехаюсь — она, вероятно, видит в зеркале мою улыбку и тоже ухмыляется.

— Вы проголодались?

— Слюнтяй!

Перед самым ее носом я с силой захлопываю дверцу. Даю газ — колеса взмывают гравий, нос легкой машины высоко задирается, как у моторной лодки, мчащейся по волнам. Студентка застывает, безучастная, невыразительная, точно рыба в холодильнике...



Я замираю. Замираю у телефона около стойки в кафе «Камелия», хотя и теряю напрасно время.

— Умер?

— Да, кажется, убийство,— доносится из трубки необычно взволнованный голос шефа.— Что же мы будем делать? Я не допускаю мысли, что у тебя нет алиби.

— Да разве такая штука существует на свете?

— Ну ладно, давай сейчас же звони заявительнице. Она мне телефон оборвала, с утра уже три раза звонила.

— Откуда вам стало это известно?

— От заявительницы. Разве неясно? — И резко изменив тон: — А откуда еще могли поступить такие сведения?

— Я только спрашиваю. Ясно. Немедленно звоню ей.

— Как это ни неприятно, но я настаиваю, чтобы каждый сам нес ответственность за то, что он делает.

— Ясно. В общем, днем я забегу...

И я замираю. Погиб этот человек! Кладу трубку и продолжаю стоять. Наверно, сейчас полиция там уже, всех подняла на ноги. Исключена ли возможность, что в сеть их розысков попадут и сведения о моем существовании? И если попадут, то щупальца расследования дотянутся до топливной базы М... Человек в малолитражке... человек, приехавший, как он заявил, из фирмы «Дайнэн»... в «Дайнэн» направляется запрос... там тоже человек в малолитражке... и вот, как ни прискорбно, выплывает факт моего существования. Правда, это не значит, что у меня могут возникнуть неприятности. Прежде всего, у меня не было никакой необходимости убивать его. Кроме того, вокруг него крутилось сколько угодно подозрительных личностей. Но все же по возможности мне бы не хотелось оказаться замешанным в это дело...

Думаю, особенно опасаться мне нечего. Да и вообще нет оснований предполагать, что полиция свяжет самую обыкновенную на первый взгляд драку с топливной базой М. И единственное, о чем приходится теперь сожалеть,— это о том, что так и не удалось выяснить, каким образом он собирался шантажировать...

И еще одно коренным образом изменилось в связи с его смертью... иссяк источник, позволявший покрывать расходы по розыску, и, значит, вопреки желанию заявительницы они ограничатся одной этой неделей.

Но тогда почему же я чувствую себя чуть ли не обворованным? Вернувшись на свое место и помешивая остывший кофе, я впадаю в тусклую сентиментальность, от которой невозможно избавиться. Может быть, я служу па-

нихиду по умершему? Нет, вряд ли. Сквозь черную сетчатую штору сегодня тоже видна продрогшая, будто простуженная платная стоянка автомашин. Вчера, примерно в то же время, что и сейчас, он окликнул меня как раз у того, второго столба, плотно, точно желе из агар-агара, прилипнув ко мне своим телом, пропахшим жиром... До сих пор я не излечился от нервной сыпи, появляющейся всякий раз, как я вспоминаю о нем.

Если какая-то перемена и произошла, то, пожалуй, изменилось мое отношение к его заносчивости, граничащей с высокомерием. Заявитель действительно является нанимателем, платящим тебе деньги. Но, как правило, он либо смотрит на тебя умоляющим собачьим взглядом, либо выдавливает из себя виноватую поддельную улыбку. В этом случае, чтобы подбодрить заявителя, мы тоже подлаживаемся под него, изображая смиренную улыбку — такова, мол, жизнь, даем понять, что вместе с ним готовы ступить в дерьмо. И поскольку в глубине души мы питаем тайную уверенность, что жизнь именно такова, нам удается вернуть ему самоуважение, способность увидеть в жизни надежду и свет. А он был обломком крушения, но не хотел этого показывать. С самого начала он не скрывал, что запачкан дерьмом, — потому-то и не позволял мне притронуться к этому дерьму и даже не разрешил взглянуть на него. Он был совершенно иным, чем все предыдущие клиенты. Надо признать, он был странным типом — это уж точно, но нельзя и отрицать, что я относился к нему с предубеждением. Когда я пытаюсь вот так, по-новому, взглянуть на него, мне кажется, что как сквозь туман начинает вырисовываться упущенная, вернее, умышленно упускаемая мной другая сторона этого человека. К примеру, возникшее на миг полусерьезное выражение лица, когда он спрашивал мое мнение о «сестре как женщине»... или его забота обо мне, когда он распорядился, чтобы хозяин микроавтобуса приготовил яйца... если бы я не был так настроен против него, если бы я с самого начала не решил, что он и есть та стена, которая скрывает нечто важное от моего взора, а старался быть с ним на равных, не исключено, что не кто иной, как он сам, нашел бы в стене дверь и впустил меня.

Сейчас, впрочем, и самой стены уже не существует. Но вместе с ее исчезновением исчезла и возможность обнаружить дверь.

Ему уже ничем не поможешь. В последний раз я видел его со спины, когда он, похожий на зонт с обломанными спицами, полз в сухой траве под насыпью, и то, что он не хотел сказать, и то, что он, возможно, хотел сказать,— всего этого уже не существует. Разорванное кольцо разума не имеет ничего общего с разумом.

Смотрю на часы... 11 часов 8 минут... если бы я и решил записать это время на бланке донесений, то больше мне нечего было бы сообщить... нет, не только в это время — и через час, и через три часа, и через десять часов у меня нет никакой надежды наткнуться на нечто такое, о чем следовало бы написать в донесении... поспешно допиваю кофе и поднимаюсь... но что же предпринять?.. должен ли я что-то делать?.. я снова замираю... замираю, как та студентка, которую я бросил у библиотеки... когда тебя, лишив свободы, не говоря, куда и зачем, волокут во тьме — это, конечно, очень обидно, но когда без всяких объяснений и извинений бросают посреди дороги — это во много раз унижительнее...

Хозяин кафе почти весь скрылся за стойкой, погрузившись в газету. Мрачная официантка, опершись локтем о кассовый аппарат и прижав к уху чуть слышно играющий транзистор, рассеянно смотрит на улицу. Не отрываясь от окна, она насмешливо улыбается — смешит ли ее то, что она слышит по радио, или она смеется над мной, видя, как я замер, а может быть, смеется над тем, что происходит на улице?.. заинтересовавшись, я тоже смотрю в окно и вижу нечто сильно взволновавшее меня. Мимо окна идут три человека, по виду коммивояжеры, с одинаковыми портфелями под мышкой, сердито и горячо обсуждая что-то... дальше, на мостовой непрерывный поток автомобилей... еще дальше — автостоянка... а около нее что-то берedaщее мою память, как острый обломок коренного зуба... цифры... семизначная цифра в самом низу вывески автостоянки... тот самый номер телефона!

Этикетка спичечного коробка... кафе «Камелия»... объявление в старой газете... и наконец узкая полоска бумаги, прикрепленная к краю лимонной шторы... и везде один и тот же номер телефона.

Ко мне возвращается ощущение времени, возвращаются, хоть и туманные, воспоминания о карте. Громко обращаюсь к девушке, которая, крутя ручку кассового аппарата, не отрывает от уха транзистор.

— Заказы на пользование вон той стоянкой у вас принимают?

Девушка, вместо того чтобы ответить, метнула взгляд на хозяина. Тот прячет газету под стойку и только тогда снизу вверх смотрит на меня. Встретившись со мной взглядом, он усиленно моргает и говорит тоненьким голоском, который совсем не вяжется с его густой щетиной, отчетливо видной даже после бритья.

— Там все заполнено, к сожалению.

И он с недовольным видом — почитать, мол, не дадут — снова склоняется над газетой.

— Видно, много у вас здесь свободного времени, в кафе...

— Что? — резко переспрашивает девушка, оторвав от уха транзистор и всем своим видом показывая, что ее раздражает даже мое шуточное поддразнивание. Я испытываю неловкость, но зато неожиданно мной завладевает фантастическая мысль. Точно теплым ливнем, с меня смывает плохое настроение, и, пульсируя, разрастается чувство освобождения, вызывающее желание, схватившись за живот, разразиться дурацким смехом. Может быть, я и в самом деле рассмеялся. Продолжая смотреть на девушку, я обхожу кассу и беру телефонную трубку. Набрал номер фирмы «Дайнэн», связываюсь с тем самым молодым служащим Тасиро.

...Тасиро-кун? Благодарю за вчерашнее... Когда я называю себя, в его голосе какое-то мгновение слышится растерянность. Он удивляется, когда я спрашиваю, не слышал ли он о смерти того человека, хотя мог бы, кажется, этого и не делать. Но как только я напомнил ему о нашем договоре выпить, тон его сразу становится дружеским и доверительным — видимо, он не любит иметь с посторонними людьми общие тайны. И глядя на едва прикрывающие уши стриженные густые волосы девушки: ...Встретимся на станции S., можно на том месте, что отмечено на плане, который вы вчера нарисовали мне. Да, да, там, где вы договаривались встретиться с Нэмуросан... я тоже хочу еще раз во всем убедиться... время — семь часов... договорились?.. и прошу вас, не забудьте о главном — я имею в виду тот самый альбом ню... Девушка поспешно прикладывает транзистор к уху, но не похоже, что она его включила... Ню, повторил я еще раз, и, если возможно, мне бы хотелось сразу же встретиться с той девицей, которая служила ему натурщицей... От-

вет молодого человека, заговорившего деловым тоном, не был, конечно, слышен окружающим, и поэтому, естественно, им могло показаться, что собеседник не собирается помочь мне. И, понизив голос, между прочим, — нет, скорее не между прочим, а в этом, возможно, и состояла моя истинная цель: ...Мне бы хотелось, чтобы вы подумали еще вот о чем: к каким методам можно прибегнуть, если, допустим, возникнет желание шантажировать хозяина топливной базы? Обыкновенной топливной базы, да, розничной... я очень хочу, чтобы до нашей встречи вы продумали этот вопрос — какие существуют способы шантажа...

Кажется, мой разговор произвел такой же эффект, как если бы физиономию девушки, а может быть, даже и физиономию хозяина я в кровь расцарапал ногтями. Правда, лицо девушки было заслонено рукой, державшей транзистор, и отсюда как следует не было видно. Хозяин же, уткнувшись в газету, даже не шелохнулся. Прикрепленная прямо над его головой открытка с изображением кофейной плантации в Южной Америке, где яркое солнце окрасило далекую горную цепь в желтый цвет, а людей и растения сделало темно-коричневыми, резко контрастировала с покрытым толстым слоем пыли светильником и выглядела нелепо. На втором этаже слышатся чьи-то шаги. Они медленно движутся в мою сторону, замирают прямо над головой и так же медленно удаляются. Я тоже не могу уже спокойно стоять на месте. Если страх и отступает, он все равно вернется снова, как возвращаются вновь и вновь бьющиеся о берег волны. Его смерть, волной взметнувшись в неожиданную высь, разбрасывая вокруг себя брызги, омыла мои ноги и слизнула узенькую тропку, вившуюся по краю обрыва, но и когда волна отступит, ничего нового не прибавится, и, следовательно, особенно суесться смысла нет. К тому же возложенное на меня поручение ограничено первыми тридцатью тысячами иен — это тоже облегчение. Мало того, поскольку и положение самой женщины резко изменилось... значит, я обязан продолжать розыски оставшиеся пять дней, но... совсем не исключено, что она прямо сейчас заявит о расторжении контракта, пожелав, чтобы я с сегодняшнего дня прекратил розыски, — я не застрахован от того, что она этого не оделает. Мне немного жаль бросать эту работу, остался какой-то неприятный осадок. Но с точки зрения дела баланс, в общем, в нашу

пользу. И шеф будет мной доволен, да и ругать перестанет.

Может быть, в этом и заключается основная причина, почему я не решаюсь позвонить женщине... подумал я неожиданно... и меня охватывает удивительное чувство стыда, будто, стоя перед зеркалом и прижав к глазам бинокль, я подглядываю за тем, как я подглядываю. Что же это значит? Я, хотя меня об этом и не просили, сам того не заметив, по рассеянности расписался в получении суммы, превышающей тридцать тысяч иен. Я стану посмешищем. Среди моих приятелей агентов моя глупость станет предметом насмешек. Шеф всегда повторяет: заявитель не человек, он — пища, которой мы набиваем наши желудки, помните об этом. А вас люди считают — кем вы думаете? — бродячими собаками, да еще и бешеными.

А ведь бинокль действительно, в зависимости от того, как его использовать, может дать тот же результат, что и просвечивание рентгеновскими лучами. Например, с помощью бинокля даже на обычной фотокарточке, помимо встречи лицом к лицу с тем, кто на ней изображен, можно прочесть множество выражений лица, проникнуть в характер. Сначала поставить фотокарточку вертикально, по возможности распрямив углы, и тогда фон станет совершенно черным. Источник света расположить таким образом, чтоб не было бликов. Потом встать на колени на расстоянии, равном длине двадцати — тридцати диагоналей фотокарточки... конечно, на колени становиться совсем не обязательно — просто фотокарточка должна быть на уровне глаз... бинокль пяти или десятикратный. Такой бинокль позволяет свободно создать в своем воображении фон, а легкая дрожь руки помогает придать воображению подвижность. Сначала покажется только всплывшее, примерно в метре, увеличенное изображение. Нужно запастись терпением по меньшей мере минут на десять. И когда от напряжения начинается резь в глазах, обычный фотопортрет неожиданно превращается в объемный, кожа приобретает живые краски. Значит, все удалось. Теперь нужно смотреть неподвижно, не моргая, не отрываясь, напрягая изо всех сил зрение, пока не заболят глаза. И не в силах выдержать пристального взгляда, уголки глаз на фотографии или углы рта начнут подрагивать. Если лицо снято в профиль, оно тре-

можно обратит к тебе украдкой вопрошающий взгляд, если — анфас, то, избегая устремленного на него взгляда, будет непрерывно моргать. Потом из его глаз и твоих глаз, из его губ и твоих губ, из всех мускулов, создающих выражение лица, начнут пробиваться волоски нервов, сплетутся в воздухе между ним и тобой, и ты, как в своем собственном сердце, начнешь читать то, что скрыто выражением лица. Особенно важно, что проникаешь в самое сокровенное, спрятанное от посторонних взоров... крепко стиснув зубы, выпятив нижнюю губу, широко раскрыв узкие глаза, он беспокойно шарит взглядом где-то у ног, избегая твоего лица, и его чувства, всегда набриолиненные, аккуратно расчесанные и безмятежные, встают дыбом, точно шерсть на спине кошки, столкнувшейся с врагом... это его мгновенное... никому не показываемое выражение, когда он наедине с самим собой... Я проделал все это вчера утром перед уходом, и теперь он бы уж ни за что не ускользнул от моего внимания, даже если бы мы ехали на эскалаторе в разные стороны. Этот метод придуман мной, и другие агенты очень высоко оценили его, и теперь им пользуюсь уже не я один. Шеф в счет не идет. Для него вообще любая инициатива, только потому, что это инициатива, выглядит нелепицей.

Конечно, в идеале такого рода наблюдения лучше всего вести ночью. И требуется для этого как минимум два часа. Разделив с портретом воображаемую трапецию, нужно, став начальником, приказывать ему, став товарищем, выслушивать жалобы, став подчиненным, получать от него выговор; если это женщина, попытаться лечь с ней в постель, если это мужчина, попытаться самому превратиться в женщину и предложить ему себя. Но в отношении его я еще подобный метод не использовал. И скорее не из-за пренебрежения к своим служебным обязанностям, а потому, что в самой заявительнице было нечто такое, что связывало инициативу, — здесь уж ничего не поделаешь. Гораздо больше, чем его исчезновение, не давали мне покоя, казались дурно пахнущими истинные намерения заявительницы. Действительно, я и теперь далеко не освободился от подозрения, что, возможно, ее заявление о розыске — ловкий трюк, рассчитанный на то, чтобы еще лучше утаить место, куда он скрылся...

Однако тот, кто сеял семена подозрений, тот, кто обволакивал все вокруг меня непроницаемой тучей — зять ис-

чезнувшего,— мертв... и сильный ветер уже разогнал на небе тяжелые тучи, и теперь сквозь разрывы в них выглянуло долгожданное солнце... и если сейчас снова посмотреть на его фотографию...



Его фотография, повернутая ко мне головой, снова лежит перед сторожем автомобильной стоянки... облитый ленивым голосом: «Восемьдесят иен», я протягиваю пятидесятиенную бумажку, положив на нее его фотографию: «Сдачи не нужно»... Не особенно редкие, но уже начавшие редеть волосы, неровно подстриженные на висках...

— Хотел вас кое о чем спросить...

Беспрерывно двигающий губами старик — ноги укрыты одеялом, поверх которого на коленях лежит раскрытый комикс, — подняв на лоб очки, подозрительно переводит налитые кровью глаза с фотографии на пятидесятиенную бумажку.

— У вас под одеялом, наверно, стоит хибати, чтобы ноги греть. Это вредно для здоровья. У вас и глаза такие красные от газа.

— Электрическая она у меня, хоть и плохонькая...

— Значит, здесь у вас слишком сухой воздух.

— Чайник я на ней грею...

— Простите, немного отвлекся.— Смеюсь я нарочито весело и пододвигаю еще ближе к старику пятидесятиенную бумажку.— Человека на этой фотографии не припоминаете? Может быть, дело это и давнее, но все же...

— А что такое?

— Машину угнанную ишу.

Стоило мне произнести эти слова, первыми пришедшие на ум, как тут же улавливаю исходящее от лица, запечатленного на фотографии, огромное своеобразие, и тогда вроде бы без всяких причин мое отношение к нему, как к потерпевшему, неожиданно оказывается колебленным. Нет никаких оснований считать его потерпевшим — с таким же успехом можно предположить, что он преступник, как говорится, пятьдесят на пятьдесят. Если довести эту мысль до крайней точки, можно даже предположить, что именно он был тем самым подстрекателем, который стоял за спиной убийц его зятя... нет,

такое воздаяние за содеянное, в духе детективных романов, вряд ли мыслимо... если бы это была игра в закрытой комнате, тот, кого угадывают, должен был бы сидеть на соседнем стуле, в реальном же мире нужно искать человека, который укрылся с головой маскировочным халатом и спрятался за линией горизонта. Видимо, придется и сегодня ночью еще раз подольше пообщаться с ним при помощи бинокля. Ведь главное действующее лицо остается главным действующим лицом, даже если я уже опоздал...

— Угнанную машину?

— Может, и не угнанную, а попавшую в аварию.— Откровенно отступаю перед неприветливым лицом старика, которое напоминало заржавевший, неподдающийся замок, и кладу на ассигнацию еще три стоиеновые монеты.— Сколько на вашей автостоянке постоянных клиентов, которые платят помесечно, и сколько тех, кто оставляет здесь машину на короткое время?

— Для случайных посетителей отведено...— глядя попеременно на приманку, возросшую до восьмисот иен, и на окно «Камелии», он против воли пробалтывается,— пять мест вон в том ряду...

— Это что же, ради каких-то пяти машин вы здесь целыми днями торчите — не слишком ли большая роскошь?

— Да я ведь больше ни на что и не гожусь — только и могу сидеть в помещении, чай пить да телевизор смотреть...

— Темнишь, стыда у тебя нет.

Старик рукой, казавшейся обтянутой перчаткой из кожи какого-то пресмыкающегося, сгреб случайный доход, не такой уж, видимо, для него редкий.

— Еще на восемь мест, которые днем обычно свободны, делясь с их владельцами, я пускаю случайных клиентов... для старика место приличное. Подходящее, когда ноги от ревматизма еле передвигаешь, да и на табачок перепадает — здесь уж ничего не скажешь.

— Но все равно машин много стоит. Почти все те же, что и вчера, когда я сюда заезжал. Это, наверно, машин ваших постоянных клиентов?

— Вон те два ряда — все постоянные.

— Странно... поблизости вроде бы никаких контор мне не попадалось, а смотрите, сколько у вас здесь машин постоянных клиентов оставлено на день...

Видимо, я добрался до уязвимого места. И прежде малоподвижное лицо старика застыло, как высушенная резина, и он пробормотал, запинаясь:

— Это, наверно, потому, что дешево.

— Или, может быть, здесь собрались люди, которые занимаются такими делами, что приходится пользоваться машинами по ночам?

— Не знаю я. Обязан я, что ли, за каждым следить?

— И все-таки вы не припомните этого человека?

Только после того, как я взял фотографию обратно, вложил в записную книжку и спрятал в карман, лицо старика снова стало спокойным. И, не думая о том, что опять растревожу его, я бью вдогонку:

— Послушайте, неужели хозяин «Камелии» такой страшный? — Иссохшие морщинистые веки старика ползут вверх. Их красные края воспалены. — Да не тряситесь вы так. Во всяком случае, все, о чем вы мне сказали, может увидеть каждый, а если вас спросят, вы всегда можете ответить, что я старался втянуть вас в какую-то историю — показывал фотографию человека, которого вы и в глаза не видели. На самом-то деле лицо, может быть, вам знакомо, но...

— Говорю же, не знаю я его! — Заметив, как он обозлился, стукнув в сердцах комиксом по коленям, я подумал, что, может быть, он действительно говорит правду. Как видно, истинное положение сильно отличается от того, что мне плел этот покойный братец. — Разве каждого упомнишь?..

— Ладно, вот еще двести иен... теперь ровно тысяча... под нашими расчетами я подвожу черту, подведем черту и под нашим разговором... — Следуя за ускользящим от меня злобным взглядом старика, я кладу локоть на окошко и бросаю ему на колени еще две стоиеновые монеты. — Я никому не скажу, что вы взяли тысячу иен... знать об этом будет только двое — вы и я... ну, быстрее говорите.

— Что?..

— Кому нечего сказать, тот не станет без зазрения совести тысячу иен припрятывать.

— Вы же мне их сами дали.

— Хозяин «Камелии» следит за нами. Думаете, он поверит, что ни за что ни про что вы заработали тысячу иен?

— Я их верну! Если верну, ничего не будет.

— Зря вы так. Что за люди ставят здесь машины? Из ваших слов я понял лишь, что не те, кто живет поблизости...

— Ну что вы плетете. Кто вам такое наговорил? Разве сами вы не ставили здесь машину?

— Я имею в виду постоянных клиентов. Ничего удивительного, если люди, работающие в окрестных магазинах, не имеющих гаражей, ставят у вас на день свои машины. Но вы честный человек, и вам поэтому трудно лицемерить. Да к тому же вы сказали, что каждого не упомянешь, верно? Вот вам и доказательство, что и постоянные ваши клиенты, бывает, тоже меняются. Ведь если как следует присмотреться, так здесь найдется немало машин, которых вчера не было, а?

— Вы... — прерывисто дыша, будто сдерживая душивший его кашель, еле слышно, — не из полиции?

— Да бросьте вы, разве полицейский будет сообщать первому встречному секретные данные? А тут еще и чаевые в тысячу иен — это уж уголовное дело.

— Дело — это чепуха... но вот я, спасибо хозяину «Камелии», могу, не выходя из кафе, и на лошадь поставить, и в патинко поиграть... старость... пока сам не состаришься, не поймешь, что такое старость... даже внуки и те вслед за невесткой прямо в лицо мне: грязный старикашка.

— Я не сделаю ничего, что могло бы вам повредить. Обещаю.

— Что вы хотите узнать?

— Я ищу человека, которого вы видели на фоточарточке.

— Вчера уже приходил один — то же самое спрашивал... постоит-ка, да он вроде бы ваш знакомый?.. каких только людей здесь не бывает... много всяких типов — ни запоминать, ни даже по имени их знать не хочется... у меня два раза удар был, я уже наполовину соображать перестал, а проболтаться я всегда могу... вот и стараюсь и к лицам не приглядываться, и имен не запоминать...

— Если вы сами затрудняетесь мне сказать, у кого я могу спросить? Подскажите хоть это.

Старик, будто его приперли к стене, как мышь в поисках выхода, перебегая взглядом с меня к черному окну «Камелии», а потом к дыре, прожженной в одеяле, которым были укрыты его колени, коротко покашливает, прячет руки под одеялом, снова выдергивает их оттуда и

наконец, видимо решившись, вытирает глаза тем же пальцем, которым только что ковырял в носу, прищелкивает языком и говорит, точно плюет:

— Выберите время, часов в семь утра, поездите здесь в округе, выберите время.

— Как будто случайно?

— Угу, случайно...



Тот же день. 12 часов 6 минут. Посещаю господина Томиама, которому разыскиваемый за день до исчезновения продал свою машину. Его не было дома, но я узнал, что у него больной желудок и он имеет обыкновение приезжать на обед домой, поэтому я прошу разрешения подождать. Господин Томиама живет не в доме двадцать четыре, как мне сказала заявительница, а в доме сорок два, и поэтому поиски заняли довольно много времени. Правда, мне все равно нужно было его ждать, и таким образом я сократил время ожидания — как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Дешевый грязный домишко. За сломанной изгородью в маленьком дворике торчит нос «короны» образца шестьдесят третьего года. Не исключено, что это машина, купленная у пропавшего без вести. Она содержится в образцовом порядке, покрышки почти новые.

Жене господина Томиама лет тридцать. Двое детей, обе девочки, двух и четырех лет. Во дворе обтянутое полиэтиленовой пленкой сооружение, похожее на теплицу, — атмосфера домовитости и уюта. После долгого ненастья наконец выглянуло солнце, и двор превращается в солнечную заводь, становится так тепло, что хочется сбросить пальто. Я отклоняю приглашение войти в дом и прошу разрешения присесть на сырой веранде.

Судя по словам жены господина Томиама... (Раздаются два коротких автомобильных гудка — видимо, приехал господин Томиама.)

Тот же день. 12 часов 19 минут. Возвратился господин Томиама. Он очень спешит, и поэтому мы беседуем за обедом. Еда его состоит из протертого супа и хлеба.

Он жалуется на свою жизнь: нужно, мол, и силы поддерживать, и в то же время желудок щадить, да и шофером работать — тоже радости мало, но все же, тревожась о судьбе пропавшего, охотно отвечает на все вопросы.

Ниже следует запись беседы с господином Томияма.

Я. Каким образом вы купили машину у Нэмуру-сан?

ТОМИЯМА. По рекомендации одного моего приятеля, который незадолго до этого купил машину у Нэмуру-сан. Он мне очень советовал: цена, мол, невысокая, машина в полном порядке — в этом можно не сомневаться. Действительно, покупка, как мне кажется, оказалась удачной.

Я. Вы встретились с Нэмуру-сан случайно не в кафе «Камелия»?

ТОМИЯМА (несколько удивленно). Да. В то время из-за какого-то пустяка я вылетел с работы в таксомоторной компании и некоторое время пробавлялся работой у ворот и случайными заработками.

Я. А что это значит «работа у ворот»?

ТОМИЯМА. Направляешься прямо к какой-нибудь таксомоторной компании, останавливаешься у ворот, и тебя, случается, нанимают на временную работу, потому так и называется: работа у ворот. Крупные компании, как правило, у ворот на временную работу не нанимают, но если, случается, шофер заболел или просто не вышел на работу, а машину вести надо — дураков нет, чтобы убытки терпеть. Да к тому же еще для тех, кого нанимают у ворот на временную работу, главное — деньги зашибить, и они забывают обо всех правилах — работают хоть по двадцать четыре часа в сутки. Две-три компании обойдешь — где-нибудь да наймут.

Я. Между «Камелией» и наймом у ворот есть какая-нибудь связь?

ТОМИЯМА (с некоторой растерянностью). Я теперь вернулся в свою старую компанию и полностью порвал с «Камелией», но... об этом не хотелось бы говорить... для некоторых людей «Камелия» все еще спасительная отдушина, а я не намерен предавать своих товарищей шоферов.

Я. Единственное мое желание — как-то нащупать след Нэмуру-сан. Значит, для шоферов, подыскивающих временную работу, «Камелия» была своего рода частной биржей труда?

ТОМИЯМА. Да... кофе в этом заведении крепкий, да к тому же открыто оно с раннего утра, вот так и получилось, что его облюбовали шоферы. Это и надоумило такого мощного хозяина взяться за такое дело.

Я. Вы сказали «деньгу зашибить», а чем, собственно, временные работники отличаются от постоянных?

ТОМИЯМА. Временная работа не предусматривает гарантированного минимума заработной платы, социального страхования, выходного пособия, но зато шоферу выплачивают четыре процента от выручки. Дней десять в месяц поработаешь, самое меньшее сорок — пятьдесят тысяч в кармане. Шофер-левак в дни больших праздников, если, конечно, он профессиональный подшибала и как рыба в воде на бегах, автомобильных гонках, у всяких увеселительных заведений, то дня за три можно и сто тысяч заработать.

Я. Прибыльное дело.

ТОМИЯМА. Когда парень молодой, одинокий, любит красиво пожить, такое беззаботное житье нравится. Но если заболеешь или права отберут — тогда крышка, если же забыть о том, что будет с тобой завтра, тогда весь мир — твой.

Я. И много таких людей ходит в «Камелию»?

ТОМИЯМА. Да нет. Водителей такси в Токио примерно тысяч восемьдесят. И если из этих восьмидесяти тысяч там бывает человек двадцать — тридцать, разве это много? А кроме того, процентов шестьдесят из тех, кто ходит в «Камелию», — люди случайные, как, например, я. Как ни приятна беззаботная жизнь, в конце концов и она человеку приедается. Беззаботность того, кто думает лишь о том, чтобы подзаработать, в конце концов оборачивается меланхолией. Хотя и костюм на нем самый лучший, и ботинки самые лучшие, и часы у него импортные, а он всегда в суете и беспокойстве, иногда и до драк доходит. Лет пять подшибалой поработаешь — даже лицо совсем другим становится, а первого взгляда видно, что за птица.

Я. Нэмуро-сан догадывался об этой скрытой деятельности «Камелии»?

ТОМИЯМА. Я, помнится, говорил ему об этом

Я. А есть еще такие же кафе, как «Камелия»?

ТОМИЯМА. Думаю, что есть. Ведь временная работа — излюбленное занятие многих шоферов. Совсем недавно в газете была статья о налете полиции на одну та-

кую посредническую контору, не имевшую на то разрешения.

Я. За этим, наверно, следят?

ТОМИЯМА. Еще бы — это ведь нарушение закона о трудоустройстве. С теми, кто его нарушает, поступают как с содержателями воровских притонов.

Я. Интересно, с кем связана «Камелия»?

ТОМИЯМА. Не знаю. Так глубоко в их деятельность я не влезал, да и не собирался влезать.

Я. Нельзя ли предположить возможность того, что Нэмуро-сан и сейчас прибегает к услугам «Камелии» или другой аналогичной посреднической конторы?

ТОМИЯМА (несколько удивлен, серьезно обдумывает сказанное мной). Но ведь Нэмуро-сан, кажется, был начальником отдела солидной торговой фирмы. Если только он допустил какую-то серьезную оплошность... конечно, среди шоферов есть люди, которые в прошлом чем только не занимались... бывшие школьные учителя, бывшие рыбаки, бывшие монахи, бывшие художники... работа трудная, но зато в отличие от любой другой ты все время на людях. Хорошая профессия для человека, который по своему характеру в любой толчее способен остаться самим собой. И приходится тебе без всякой надежды на будущее круглый год носиться по городу ради других, и даже не представляешь себе, куда в конце концов прибьешься. Когда-то таких людей называли перелетными птицами — они и есть перелетные птицы. Носятся по свету из одного конца в другой и думают, наверно, что они связывают мир, но ничего похожего — ни одна профессия не разобщает мир так, как эта. И шумные центральные улицы, и тихие переулки — дорога есть дорога. И богатые, и бедные, и мужчины, и женщины — пассажиры есть пассажиры, и пассажиры эти порой не столько люди, сколько отвратительный болтливый груз. Каждый день носишься, продираясь сквозь тысячи, десятки тысяч людей, а тебе представляется, что ты несешься в пустыне, где нет ни живой души, так что можно даже проникнуться любовью к людям. Такая работа по мне, и, если бы мне кто и предложил подыскать другую, потому что, мол, эта уже поперек горла стоит, я б даже и слушать не стал. Но чтобы начать все заново, здесь нужна большая смелость, верно? Конечно, если у человека есть собственный грузовичок, для него все просто, а вот с Нэмуро-сан дело

обстоит иначе — ему трудно было бы на такое решиться, не будь какой-то крайности.

Я. Допустим, попадет человек в «Камелию», может он там что-либо выведать?

ТОМИЯМА. Трудно. Если речь идет о солидной компании, то во время вступительных экзаменов очень тщательно выясняют личность претендента, и никто, в общем, не выражает недовольства по поводу такого расследования... Если же речь идет о «Камелии»...

Я. Возникнут сложности?

ТОМИЯМА. Там существует обыкновение не интересоваться биографиями друг друга, это уж само собой, и даже имени не спрашивать.

Я. А в случае если будут объяснены обстоятельства, заставившие обратиться к ним?

ТОМИЯМА. Узнав об этих обстоятельствах, постараются выгородить человека.

Я. Вы, зная, чем занимаются в «Камелии», тоже откажетесь представить сведения, если их у вас запросят?

ТОМИЯМА (немного подумав). Почему это люди решили, что имеют право следовать по пятам за человеком?.. Он ведь, кажется, преступления не совершил... никак в толк не возьму, почему люди думают, что имеют право и считают совершенно естественным преследовать человека, окрывшегося по своей собственной воле?

Я. Но я хочу подчеркнуть, что, следуя подобной логике, скрывшийся тоже не имеет права скрываться.

ТОМИЯМА. Скрыться — это не право, а воля.

Я. Может быть, преследовать — тоже воля.

ТОМИЯМА. В таком случае я сохраняю нейтралитет. Я не хочу быть ничьим врагом и не хочу быть ничьим другом.



— Какое голубое.

Эти слова удивленно произносит мальчик в школьной форме, посмотрев на небо. Привлеченный словами товарища, другой школьник удивленно открывает рот, сощуривается, ослепленный ярким светом, и вздыхает.

— Смотри, и правда — голубое-голубое.

Однако по мере того, как небо голубеет, постепенно усиливается и ветер, и мальчики, дожидаясь, пока под-

нимут шлагбаум, прижимая портфелями полы пальто и вцепившись в козырьки фуражек, сгибаются в три погибели. За переездом налево сразу же станция пригородной электрички. К выходу на платформу, где стоит контролер, ведут четыре бетонные ступени. Поднимаешься по ступеням, и тут же газетный киоск, на прилавке разложены газеты и журналы, сверху они накрыты тонкой полиэтиленовой пленкой, и поэтому киоскер, немолодая женщина в ватном капюшоне, ладонями, локтями и даже грудью вынуждена воевать с полиэтиленом, который рвется улететь. Небо холодно сверкает, точно присыпанное алюминиевым порошком; напоминающие растрепанную вату облака бешено несутся с северо-запада на юго-восток. Солнце справа, и тени пересекают дорогу под прямым углом.

По небу стремительно мчатся облака, по земле беспорядочно носятся обрывки бумаги. Даже не верится, что на дороге их может быть разбросано так много. Я, разумеется, никогда не думал, что улицы сверкают чистотой. Но впервые вижу, чтобы обрывки бумаги вот так занимали главное место в пейзаже. Есть и белая бумага, но большей частью она цвета палых листьев — бумага, несомненно, пропылилась, наметенная ветром в кучи. А теперь эти обрывки пляшут по дороге и железнодорожным путям. Почему-то выше двух метров от земли они не поднимаются и, будто заигрывая с людьми и машинами, непрерывно кружатся вокруг них в каком-то причудливом танце. Беспорядочное движение бумажных обрывков предугадать невозможно, и для людей оно так же неожиданно, как немислимые пируэты, которые проделывают в воде рыбы. Так снова постигаешь, что воздух материален. Обрывки бумаги скользят по земле, неожиданно взмывают вверх, меняя направление, летят в противоположную сторону и липнут к дверцам машины, а потом, снова бессильно опускаясь на землю, превращаются в мягкую подстилку под колесами. Но стоит машине проехать по ним, как это уже не обрывки бумаги — мгновенно превратившись в маленьких собачонок, они вцепляются в ноги идущих навстречу пешеходов.

Вместе с обрывками бумаги в потоки и водовороты втягиваются, естественно, и песок и пыль — они точно прошивают насквозь полотно ветра. Моя грязная машина должна была бы, казалось, затеряться в этом месиве, но происходит обратное — она еще больше бросается в

глаза. Кажется, будто в водовороте носятся не пылинки, а лучи света, лишь принявшие облик пыли. Поэтому вкус и запах февральской пыли ассоциируется с ранней весной. Сегодня лучи солнца особенно золотисты. Значит, чтобы моя машина не бросалась в глаза, лучше всего вымыть ее как следует на заправочной станции — а я уже больше двух недель ленюсь и езжу на грязной.

Предупредительный сигнал умолкает, стрелка, указывающая направление, в котором шла электричка, гаснет, шлагбаум, ограждающий широкий переезд — здесь ходят экспрессы и поэтому железнодорожных путей очень много, — подскакивает вверх. В узкую горловину, как песок в песочных часах, устремляется поток людей, среди которых медленно ползут машины. Не успевают миновать переезд первые машины, как снова раздается предупредительный сигнал — моя машина последняя, которой с трудом удастся проскочить.

Поворачиваю на вторую улицу слева. К счастью, у первого же столба нахожу крохотное свободное пространство. Чтобы припарковаться, места мало, но я все же с трудом втискиваю в промежуток. Выхожу из машины. Сбоку, на пыльной дверце, огромными иероглифами написано «дурак» — просто представить себе не могу, когда это успели сделать. Видимо, очень торопились — конец слова едва дописан, и остался след перчатки.

На правом углу широкой улицы, пересекающей узкую улочку, куда я приехал, — броская современная витрина, выполненная в фиолетовых тонах... на тонких золотых спицах висят отдельные части манекенов — рука, кисть, туловище, нога, — они прекрасно демонстрируют различные предметы туалета. Ничем другим витрина не украшена, но она притягивает прохожих, а искусно расположенные в глубине зеркала создают иллюзию, что в витрине расставлено с десяток манекенов.

Еще года три назад эта улица не позволила бы себе такую витрину... но все имеет лицевую и оборотную сторону — эта же улица была типичной улицей предместья, на которой вокруг грязного кинотеатрика, где крутят фильмы трехмесячной давности, выстроились мелочные лавки, торгующие только дешевыми товарами, казино, откуда доносится музыка старых-престарых пластинок, и поддерживают видимость, что эта самая настоящая современная улица... по мере того как весь город насыщался и уже начинал пресыщаться, возможно, произошли

изменения и в закономерностях отношений между лицевой и оборотной его сторонами. В этом смысле и здесь приметы центральных улиц выглядели вполне естественно. Действительно, через дорогу, чуть в глубине, строится огромный универмаг самообслуживания, в котором будет даже станция метро. Бесполезно спорить, почему все это происходит: из-за благоприятных ли перспектив, из-за случайного ли везения. В общем, я сдаюсь.

«АТЕЛЬЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ОДЕЖДЫ ПИККОЛО»

С торчащей вперед трубки, напоминающей по форме флейту, свешивается толстый молочно-белый лист пластмассы, к нему прикреплены тонкие алюминиевые буквы, нарочито небрежные, точно написанные разлохмаченной кистью. Даже я не могу не признать, что замысел, хоть и несколько претенциозный, свидетельствует о колоссальной самоуверенности. Пикколо — кажется, это прозвище моей жены в школе. Я не думаю, что ее прозвали так из злых побуждений, но и не уверен, что только из добрых чувств. Однако жена, считая прозвище ласкательным, потом даже сама называла себя Пикколо — так оно ей понравилось. Может быть, действительно в ней что-то напоминало пикколо. Я тоже был очарован характером своей жены. Да и сейчас убежден, что она вполне добропорядочна, хотя и не лишена некоторых недостатков.

Дверь рядом с витриной сделана из цельного куска прозрачного черного пластика. Точно в зеркале, в нем отражается забор, ограждающий строительную площадку напротив. В блестящей двери я помещаюсь во весь рост и сам встречаю себя. Какой-то странный тип: растрепанные ветром грязные волосы, сутулые плечи — будто только что после болезни, — больше похож не на охотника, а на того, за кем охотятся... однако здесь не место приводить волосы в порядок... ведь это отсюда дверь кажется зеркалом, а изнутри она совершенно прозрачна.

Нажимаю на дверь плечом и боком протискиваюсь внутрь — приятное тепло щекочет нос, и я неожиданно чихаю. Это не просто тепло — здесь какой-то специфический воздух: смесь пара от утюга, просачивающегося из пошивочной, запаха одеколona, краски и крахмала, которыми пахнет новая материя. Слева — стеллаж для образцов тканей, журналов мод, готовых изделий. Здесь

же стеклянная витрина, в которой выставлены пуговицы, меховые шкурки, украшения. Справа — два кресла цвета слоновой кости и диван, стоящие у круглого стола с доской под мрамор, на тонких металлических ножках. И стены, и потолок затянуты грубым полотном, на котором по ярко-желтому фону рассыпаны шоколадные цветы, из того же материала и портьера, отделяющая пошивочную, — все сделано хотя и броско, но с отменным вкусом и прекрасно гармонирует с простотой светильников — стеклянных прямоугольников, в узких рамках.

Жена стоит спиной к портьеру, опершись о кресло, и смотрит на меня, насмешливо улыбаясь. В такие минуты начинаешь завидовать людям, носящим очки. Очки ведь, как известно, запотевают, и, протирая их, можно выиграть время. Я же не ношу очков и с бесстрастным выражением лица молча опускаюсь на диван, с краю, ближе к проходу. Пружины стонут, и неожиданно я глубоко проваливаюсь.

— Ты все пружины переломаешь. Придется диван отдавать в починку, — смеется жена, усаживаясь, скрестив ноги, в самое дальнее от меня кресло. Выглядывающие из-под короткой юбки колени кажутся мне чуть полнее, чем когда мы виделись в прошлый раз. Почувствовав мой взгляд, жена резким движением, будто убивает мушку, хлопает по колену и одним духом выпаливает: — Юбки становятся короче и короче — дешевка. Ведь когда стоимость материала снижается, плату за шитье не очень-то повысишь. А вот когда носят то длинное, то короткое, и каждый раз приходится шить все заново...

— Говорят, что, если юбки укорачиваются, это к войне, а?

— Во всем есть определенная цикличность.

— Видимо, так.

— Сегодня опять какое-нибудь дело?

— Хочу кое о чем спросить... можно прямо сейчас?..

Портьера сзади нас раздвигается, и выглядывает молоденькая помощница жены.

— Здравствуйте. Как всегда чаю или, может быть, кофе?

Красавицей не назовешь, но личико милое, чуть наивное... у жены очень ладная фигурка — что бы ни надела, все ей идет, — и поэтому она носит неброскую, простую одежду, а девушке сшила самое что ни на есть модное платье — видимо, принимался в расчет и, так ска-

зять, психологический эффект, который это могло произвести на заказчиков. Хозяйка ателье европейской одежды в слишком ярком платье вызывает неприязнь заказчиков, но и чересчур простой туалет тоже может вызвать недоверие к ее мастерству и вкусу. И то и другое нежелательно. А вот такое сочетание дает наилучший результат. Однако девушка, высунув головку, продолжает из-за плеча жены пристально меня рассматривать. Открытый, простодушный взгляд, как у птички, кажется — вот-вот запоет. Может быть, в ней нет никакой настороженности, потому что перед ней муж ее хозяйки? Да к тому же она не может побороть любопытства — как же, муж, живущий врозь с женой, и стесняться ей в общем-то нечего. Кажется, что девушка, скрытая портьерой, совершенно обнажена. Однако кокетство ее — не кокетство перед мужчиной. Когда жена впервые привела эту девушку, у меня сразу возникло подозрение, а нет ли у моей жены некоей порочной склонности. Во всяком случае, девушка смотрит на меня с кокетством не большим, чем если бы перед ней был стол или стена.

— Что-нибудь важное?

— Я хочу знать наконец, что ты решила?

— А ты не мог заранее позвонить по телефону?

— Зачем же, я хотел услышать неподготовленный ответ. Отрепетированные ответы мне уже надоели.

Девушка, скривив губки, покачала головой и, бросив на прощание ласковый взгляд, скрылась за портьерой.

— Возьму немного вещей. Девочка, — жена понижает голос и со смешком, как сообщница, почти убежденная, что та слышит ее, — какая она милая, как искусна в любви — просто очаровательная девочка.

— Ты тоже достаточно опытна. Ну да ладно. Скажи лучше, почему все-таки мы должны были расстаться?

— И ты пришел, чтобы спросить меня об этом? — Она смотрит на меня изумленно: — Среди бела дня, в ателье...

— Я хочу, чтобы ты, не особенно размышляя над ответом, сразу же сказала, что ты об этом думаешь.

— Просто мне показалось, что я поняла, о чем ты мечтаешь, и согласилась расстаться с тобой. И сколько б ты ни старался переложить на меня вину...

— Значит, ты предвосхитила мои мысли?..

— Конечно.

— Я в самом деле был категорически против того,

чтобы открывать это ателье, — вот почему мы и расстались.

— И теперь тоже?

— Уверен, что вся эта затея провалится.

— Дело не в том, провалится или не провалится...

— Люди часто спрашивают, почему я стал агентом частного сыска. Как ты думаешь, что я в таких случаях отвечаю?

— Во всяком случае, правды не говоришь.

— Тогда послушай. Жена наняла сыщика, чтобы следить, как я себя веду. Однако сыщик этот вдруг переметнулся и потребовал с меня денег за то, что он будет молчать. У меня рыльце было в пушку — это правда, но, когда тебе так беспардонно не доверяют, нужно быть круглым дураком, чтобы стараться сохранить лицо...

— Ты не успокойся, пока хотя бы в своих фантазиях не сделаешь из меня злодейку.

Смеющееся лицо жены медленно испаряется и наконец вовсе исчезает. Подобная отливу бесцветная грусть, обратившись к далекому морю, замыкается в себе.

— У меня и в мыслях не было делать из тебя злодейку, я просто хотел выставить сыщика в дурацком свете.

— Не нужно разговаривать со мной в таком тоне.

— А твой строитель оказался весьма искусным, верно?

— Моя ошибка в том, что я совершенно непреднамеренно ранила твое самолюбие. Но и у тебя есть слабость. Ты необычайно ревнив.

— Ревнив? Никогда не предполагал...

— Прости. Мне не следовало об этом говорить. Но ты сам виноват, ты вынудил меня. Вот так всегда мы возвращаемся к одному и тому же. И не можем понять, в чем причина того, что случилось... и все равно продолжаем без конца ссориться...

— Может быть, лучше не подавать пока на развод?

— Но ведь ты однажды уже сам об этом просил?

— Это потому, что я был категорически против того, чтобы открывать это ателье.

— А сейчас ты уже примирился с ним, да?

— Примирился потому, что ты игнорировала мои возражения, и в конце концов сделал все по-своему. Я не собираюсь упрекать тебя. Ведь в конечном счете ты оказалась права, я же ошибался — это неоспоримый факт... Ревность... нет, здесь что-то другое... похожее, но, думаю,

другое... вопрос вот в чем: почему всегда ошибался один я, а ты никогда не ошибалась?

— Я просто теряюсь, не знаю, что и сказать, когда человек вот так сразу превращает себя в жертву.

— Но ведь ты же сама не можешь не признать, что наше совместное существование не имеет никакого смысла.

— Ну а если бы...— Жена вытягивает ноги, кладет на них, сцепив, руки и подается вперед.— А что, если бы мы поменялись местами, а? Если бы, предположим, ты добился большого успеха в деле, против которого я возражала, и по этой причине я бы завела разговор о разводе?..

— Мне, видимо, было бы трудно понять это.

— Какой же ты эгоист.

— А что, разве лучше, если бы тебе было трудно понять?

— Мне действительно трудно.

— Но ведь ты только что говорила, что тебе все понятно.

— Я просто похвасталась.

— Вот оно что... значит, ты заставляешь меня выпутываться из положения, которое я сам не могу как следует объяснить, так что ли?..

Неожиданно жена выпрямляется и, всплеснув руками, прижимает их к груди. Ее глаза, впившиеся в меня, блестят.

— Поняла. Ты просто ушел из дому, сбежал.

— Сбежал?

Что ж в этом удивительного? У меня действительно было такое намерение, и она понимает это, хотя мы никогда не говорили на эту тему. Пожалуй, лучше всего прикинуться удивленным, будто для меня ее слова нечто совершенно неожиданное. Так я решил, но слова жены, более чем естественные, привели меня в некоторое замешательство. Это правда. Я почувствовал себя униженным, будто мне прямо в лицо вытряхнули содержимое пепельницы... почему?.. может быть, потому, что мне почудилось, что он, разыскиваемый, вдруг слился со своей собственной тенью. На улице солнце припекает все сильнее, оно окрасило дверь в зеленый цвет, и моя тень, вытянувшись вдоль дивана, примостилась в кресле, стоящем у другого его конца. Голова растаяла, ее не видно.

— Да, я считаю, ты сбежал.

Жена утвердительно кивает и пристально смотрит на меня. Мол, если только она сумеет получить от меня подтверждение, то все будет разрешено...

— От кого? От тебя?

— Нет, не от меня,— энергично качает она головой.— От жизни... От того, что заставляет без конца хитрить, от напряжения, словно приходится ходить по канату, от того, что делает тебя пленником спасательного круга — в общем, от всего этого бесконечного соперничества... правильно?.. а я? я была лишь предлогом...

Неожиданно в левом глазу ярким пламенем вспыхивает резкая боль, будто в него вогнали крючок. Это, конечно, из-за зуба. Надо бы наконец пойти к врачу, пока не воспалилась десна.

— А разве в жизни агента частного сыскального бюро не нужна ни хитрость, ни борьба?

— Не занимайся демагогией. Соперничество на самой оживленной центральной улице и такое же соперничество на окраинных улочках, где подвизается частный сыщик — обыкновенный соглядатай,— в обоих случаях это соперничество, но смысл его различен. Ты оставил свою прежнюю работу и поэтому ушел из дому — в этом я убеждена... и, что самое главное... ведь одно из этих двух в чем-то было и хорошим, почему же ты бросил их одновременно... если причиной было не соперничество... правда? Ты считал, что, поскольку ты против ателье, то да, если б тебе и позволили здесь остаться, одно это не было бы разрешением проблемы, вот в чем дело... это была бы жизнь, проблемы которой не разрешишь иначе, как победой в соперничестве...

— Неужели я был настолько расчетлив?

— У тебя что-то болит?

— Зуб сломал.

— Это еще ничего.— Она двумя пальцами сняла приколотую к груди брошь в виде коробочки, открыла крышку — в ней лежали в ряд три плоские маленькие таблетки.— Мое лекарство, которое у меня всегда наготове... в последнее время опять начались головные боли...

Будто девушка только этого и ждала — портьера сильно заколыхалась, и она появилась, пятясь задом. Короткое платье цвета вялой зелени так плотно обтягивает ее, что кажется — вот-вот разойдутся швы... жемчужно переливающиеся ажурные чулки... маленький воротник, как на военной форме... проказливо-веселые огромные

глаза... манжеты с отворотами, скрепленные перламутровыми пуговицами... и, наконец, наполненные до краев, вот-вот расшлескаются, кофейные чашки... На каблучках своих туфелек — тоже цвета вялой зелени — девушка поворачивается кругом, искоса бросает на меня взгляд и скользящей походкой не спеша идет вперед. Движение каждого мускула на бедрах вырисовывается настолько четко, что кажется, будто касаешься их ладонями. Я не мог не восхититься искусством жены, сумевшей так скрыть это платье.

— Может, запьешь водой?

— Ничего, боль как будто прошла.

В какой-то момент, это кажется неправдоподобным, боль действительно исчезла. Девушка, закусив нижнюю губу, напряженно улыбается, но в тот миг, когда она ставит чашки на стол, неожиданно вздрагивает, и кофе проливается. Она громко смеется и усаживается на стул прямо передо мной. Видимо, это была игра — наивность, помогающая продать свой товар подороже. Жена, обращаясь за подтверждением к девушке:

— В его комнате всегда прибрано, чтобы он мог вернуться в любое время, правда?

Девушка, бесстыдно заглядывая мне в глаза, радостным шепотом:

— Мужчина, как интересно...

Я все равно убежден, что не должен возвращаться.



Если считать белым — кажется белым; если считать черным — кажется черным высушенное солнцем покрытие скоростной автострады... скорость девяносто километров — на десять километров больше разрешенной... ревет мотор, издавая такой звук, будто металлической спицей касаются лопастей вентилятора, шуршат по крышки, будто отдирают липкий пластырь... погруженный в шум, я ничего не слышу — или, наоборот, замкнут в безмолвии... и вижу одну лишь бетонную дорогу, уходящую прямо в небо... нет, это не дорога, это полотно текущего времени... и я не вижу, а лишь ощущаю время...

Просто не верится, что где-то впереди пункт взимания платы... не верится — и ладно, и не нужно верить...

не поддается объяснению даже сам тот факт, что вот именно сейчас я мчусь здесь... время, когда я обещал вернуться в агентство и встретиться с шефом, давно прошло... не позвонил я и ваявительнице... а есть ли у меня какая-нибудь цель, у человека, которому здесь и делать-то нечего?.. время в чистом виде... бессмысленная трата времени... какое расточительство... до упора нажимаю на акселератор... стрелка спидометра ползет вверх и показывает девяносто шесть километров... ветер рвет из рук руль... напряжение сжимает меня почти в точку... ощущение, что однажды, в день, не отмеченный в календаре, в пункте, не нанесенном на карту, я неожиданно проснулся... если хочешь обязательно назвать это ощущение побегом, пожалуйста, называй... когда пираты, став пиратами, поднимают паруса, чтобы отправиться в неизведанные моря, или когда разбойники, став разбойниками, прячутся в безлюдных пустынях, в лесах, на дне городов, то хоть однажды и они, несомненно, сжимаются в такую же точку... я — никто; пожалуйста, можно и не соглашаться со мной... человеку, который, захлебнувшись, утонет, погибший в пустыне от жажды представляется глупцом, не достойным пролитых слез...

Но если время в чистом виде есть бодрствование, то путь к нему преграждает следующее сразу же за ним продолжение сна. Пункт взимания платы. Продолжение бесконечного сна после короткого искусственного пробуждения. Резко разворачиваюсь и еду обратно в город. Но, не знаю почему, прежнее состояние уже не возвращается. Может быть, потому, что меня обогнала красная спортивная машина, оставив за собой приглушенное завывание. Или, скорее, потому, что мысль — не остается ничего иного, как возвратиться, — выпустила воздух из упругого резинового мяча, который так хорошо подпрыгивал. А может быть, просто из-за того, что солнце припекает затылок. Теперь уже не дорога, а небо подавляет своей бесконечностью. Кое-где на нем появились облака, и все же голубизна расстилается, как накрахмаленное полотно. Возможно, это закон перспективы? — но вот в небе собрались тучи, и оно немного помрачнело. И под этим потемневшим небом лежит улица. Покинутая мной полчаса назад улица. Она распростерла покрытые струпьями огромные руки и ждет моего возвращения. Пират, посадивший корабль на мель, раскаявшийся пират... неужели это просто мираж?.. нет, такого

не может быть... не существует никаких доказательств, что улица, которую я покинул, и улица, на которую я возвратился, абсолютно одинаковые... может быть, сдвиг крошечный, в один микрон, и потому, что сдвиг этот слишком мал, его невозможно осознать... и есть этот один микрон или его нет — огромная разница... если даже раз в неделю покидать улицу и отправляться в путешествие по платной скоростной автостраде, в месяц соберется четыре микрона... в год — сорок восемь микрон... и если прожить еще тридцать лет — тысяча четыреста сорок микрон... почти полтора миллиметра... процесс более стремительный, чем разрушение Фудзи, — в общем, цифры, о которых можно и стоит говорить.

Грязное пятно неба все больше разрастается, оттесняя и оттесняя голубизну. Опять заныл зуб... почему я должен все время оправдываться?.. для того, чтобы убедить жену в своей правоте?.. для того, чтобы уверить заявительницу, что я не имею никакого отношения к смерти ее брата?.. или, может быть, для того, чтобы доказать шефу, что у меня и в мыслях не было влезать в эту историю глубже, чем необходимо?.. ну что ж, это дело... «хороший охотник никогда не гонится слишком долго за добычей. Он ставит себя на ее место, ищет путь к спасению, охотится сам за собой и в конце концов настигает себя» (из «Воспоминаний об одном уголовном деле»)... несомненно, очень убедительно, но правильно ли это?.. а вдруг действительно я в глубине души хотел соперничать с н и м?.. соперничать с н и м?.. да я просто обязан оправдываться перед н и м, ушедшим и не вернувшимся назад, за свою нерешительность: и не убегаю, и не возвращаюсь.

Возможно. С подобным утверждением я бы согласился. И это гораздо важнее того состояния, в котором я пребывал раньше, когда, потрясенный смертью его шурина, я забыл о самом важном — о нем. Возможно, где-то я уже видел его. Здесь и там попадающиеся на улицах разверстые черные ямы... тени его, не существующего... и если представить себе, сколькими ямами уже изрыта улица... если они — его тени, то он не один — он существует в бесчисленных обличьях... он во мне, он в женщине, он в самом себе. В моем душевном состоянии начинают происходить какие-то огромные изменения...

Подъезжаю к остановке, у которой стоит телефон-автомат. В ту самую минуту, когда я вылезу из машины,

солнце зайдет, будто его счистили щеткой. Но в согретой им будке еще тепло и, может быть, оттого, что ею редко пользуются, ужасно пахнет плесенью.



— Долго не звонил вам, простите, пожалуйста.

— Наоборот, хорошо. Я все время плакала, а теперь у меня уже и слез больше нет.

В ее точно заржавевшем голосе обычное спокойствие — оттого ли, что уже какое-то время прошло, или, может быть, благодаря все тому же пиву?

— Вы опаздываете, и все уже, наверно, волнуются.

— Да что там, разве дело во мне. Конечно, все расходы взяли на себя товарищи. Эти люди ведут себя просто как родные... траурное платье пришлось взять на прокат...

— Оно вам к лицу. Мои слова, может быть, покажутся неуместными, но вам очень идет черное.

Крутой спуск, прорезающий в южном направлении жилой массив на холме... длинная каменная лестница... по обеим сторонам заросли бамбука... резко очерченная линия затылка женщины, спускающейся впереди...

— Вы уже выясняли обстоятельства, при которых это случилось с вашим братом?

— Мне просто не верится, что это произошло с братом. Да в общем-то я о нем почти ничего не знала.

— Это, видимо, случилось сразу же после того, как мы расстались вчера вечером. Я чувствую себя виноватым.

— Но мне никто не говорил, что вы были вместе с ним.

— Становится холодно. Снова напоззли тучи...

Заросли бамбука переходят в кладбище... сразу же справа, как только кончается лестница, древний, запущенный маленький храм, и только его черепичная крыша выглядит торжественно и нарядно. Город совершенно изменился, и прихожан, наверно, стало меньше, единственный источник дохода — похороны. Столбы обветшавших, изъеденных термитами ворот пришлось даже привязать толстой веревкой к подпоркам. Хотя, казалось бы, с ростом населения должно расти и число похорон. Зна-

чит, храм пришел в запустение либо потому, что настоятель безалаберно ведет финансовые дела, либо это просто хитрая политика, чтобы избежать высоких налогов, — ничего другого не придумаешь.

За воротами, в некотором отдалении, — черно-белый шатер. По обеим сторонам дороги, от конторки привратника, зябко греющего руки над переносной жаровней, и до самого шатра, на равном расстоянии, точно телеграфные столбы, рядами стоят подростки, почти дети, и один за другим, как только мы приближаемся, точно заведенные, кланяются. Ноги их слегка расставлены, ладони прижаты к ляжкам, и эта стереотипность позы чуть жутковата и, пожалуй, немного комична. В мое агентство тоже приходят люди, которые любят церемонно раскланиваться, но, конечно, не в такой подчеркнута старинной манере.

В шатре царит торжественность и тишина. Аромат благовоний напоминает о смерти, нагоняет тоску. Священник в одиночестве тихим голосом читает молитву. Четыре венка, на каждом из них огромными иероглифами выведено: «Синдикат услуг Ямато» — в общем, похороны недорогие, по второму разряду.

В храме, справа и слева от входа, деревянные галереи для участников церемонии. Бросается в глаза множество свободных дзабутонов, особенно справа, где на почетном месте лишь один полноватый мужчина средних лет — с первого взгляда ясно, что он занимает руководящее положение, — сидит с закрытыми глазами перед электрической печкой и как будто дремлет. Слева в напряженных позах преклонили колени пять-шесть человек.

Один из них, узнав нас, быстро сбегает по лестнице. Долговязый, с раздвоенным подбородком. Следом — плотный человек в темных очках, голова у него растет прямо из туловища. Он идет медленно, неуверенно. И не потому, что ноги затекли, — он, видимо, просто пьян. Я помню эти темные очки. Да, он действительно похож на одного из тех троих, что прошлой ночью сидели вокруг костра на берегу реки. Кривые ноги, длинные волосы, слегка вьющиеся на висках. Липкий пластырь и мазь на разбитом лице — это, конечно, следы той драки.

— Добро пожаловать, — низко кланяется Раздвоенный подбородок. — Примите наши глубокие соболезнования. Заместитель босса и начальники групп из-за не-

отложных дел вынуждены были уйти несколько раньше. Они просили передать вам наилучшие пожелания.— И, бросив взгляд на дремлющего мужчину на почетном месте, а потом быстро осмотрев меня с ног до головы, добавляет: — Управляющий взял на себя все заботы, так что можете не беспокоиться.

Женщина представляет меня Раздвоенному подбородку.

— Это тот самый человек, о котором я вам уже говорила... я бы хотела, чтобы он встретился со старшим группы брата...

Неожиданно кто-то хлопает меня по плечу.

— Живы-здоровы, вот хорошо... я ведь предупреждал... все так и стряслось, как предсказывал...

Что это за образина в сером? Знакомый голос... ну конечно же, хозяин микроавтобуса... если бы не голос, ни за что бы, наверно, не узнал... действительно, никак не верилось, что свежесбритое, одутловатое лицо и болтающийся под ним галстук принадлежат тому самому человеку, который вчера на берегу реки варил лапшу. Я почему-то тоже поднимаю руку и растягиваю губы в нечто напоминающее улыбку, отвечая на его приветствие. Когда на двух людей в какой-то мере может пасть подозрение, они, как свидетели, моментально заключают молчаливое соглашение о едином фронте.

Обращение ко мне этого человека тут же сказывается на поведении Раздвоенного подбородка. Настороженность отваливается, как фальшивая борода, прилепленная слюной:

— Старший, должно быть, там... сейчас позову его.

С этими словами он быстро идет к шатру и скрывается в нем. Но тот, что в темных очках, с трудом передвигавший ноги, будто нес тяжкий груз, даже не пытается прятать враждебного взгляда, который не могут скрыть и темные стекла. Он, наверно, злится на меня за то, что вчера ночью, когда они с товарищами цеплялись за мою удиравшую машину, пытаюсь спастись, я, прекрасно понимая, что им было нужно, отделался от них. Губы под замазанным носом нервно дрожат, он изо всех сил сдерживается. И, сочтя за лучшее ретироваться, обращается к женщине:

— Пойдемте отдадим ему последний долг.

— Я уже сделала это.

Спокойно, будто разговор идет о еде. Интересно, как

уживаются в этой женщине замеченное мной раньше стремление, о чем бы ни заходила речь, сразу же вытаскивать на свет спасительного братца, с этим поразительным будничным спокойствием, когда дело коснулось его смерти. Конечно, похороны — не свадьба, они не доставляют ни удовольствия, ни радости. Но и похороны очень удобная церемония, на которой можно заколотить гвоздями память об ушедшем и успокоить живых. Безразличие на похоронах может объясняться либо безразличием к покойнику, либо любовью, превосходящей и жизнь, и смерть. Меня охватывает дурное предчувствие.

Ступени из толстых цельных досок... снимаю ботинки и надеваю шлепанцы... поднимаюсь на пять ступенек и оказываюсь прямо под алтарем... толстый, красный, обшитый золотом шелковый дзабутон... невыразительная, белого дерева курильница... встав на колени, я вдруг замечаю, что все еще в перчатках, и поспешно сдергиваю их... досадуя, что сомнутся брюки, зажигаю курительную палочку и наконец вижу его фотографию, висящую прямо передо мной. Я бормочу себе под нос... да, вот такие-то дела, ну что ж... точно дожидаясь, пока я поднимусь, священник перестает читать молитву и быстро исчезает. И тогда трое парней, с трудом сдерживавшие желание закурить, с облегчением усаживаются поудобнее и разом подносят огонек к сигаретам. Сидевший на почетном месте пожилой мужчина, которого называли управляющим, сморкается, протягивает руку к электрической печке и быстрым движением что-то переворачивает, будто печет рисовую лепешку.

Раздвоенный подбородок появляется там, где был священник, и настойчиво манит меня рукой. Женщина у левой галереи о чем-то разговаривает с хозяином микроавтобуса. Нет, сказать «разговаривает» не совсем верно. Не знаю, слушает ли она его или бездумно теребит рукава непривычной для нее траурной одежды, то расправляя, то подворачивая их. Небо опять в молочных облаках без единого просвета... ветер как будто совсем утих.

Меня провели в небольшую комнатку рядом с алтарем, напоминающую приемную. Газовая печка старой конструкции горит сильным голубым пламенем — мускулы на лице начинают сразу же расслабляться. У самого входа, положив руки на колени и низко опустив голову,

меня ждет молодой человек. Раздвоенный подбородок заглядывает мне в глаза:

— Я вам не нужен?

Я отрицательно качаю головой, и он, пожав плечами, покидает комнату. Знакомство происходит без всякого представления, само собой. Я никак не могу сообразить, о чем следует спрашивать этого юнца, и мне совершенно безразлично, будет присутствовать Раздвоенный подбородок или не будет. Сажусь за облупленный кое-где черно-золотой чайный столик напротив молодого человека. Этот хрупкий детский затылок не особенно подходит старшему группы — видимо, начальнику тех молодых ребят, которые сидят сейчас в храме. И его лицо, которое он поднял, распрямившись в ту самую минуту, когда я опустился на свое место, точно такое, каким его можно представить себе, глядя на затылок. Будто отполированная, нежная детская кожа. Мягкая линия подбородка — не поймешь, юноша перед тобой или девушка. Если бы не следы выбритых редких усов — губы совсем девичьи. Форма носа тоже неплохая. Правда, глаза странно-темные, диковатые, напоминают легковоспламеняющуюся нефть. И в то же время такие слабые мускулы... кажется, самое большое, на что он способен, — это нагонять страх на детей и командовать ими. Видимо, он был лисой, облеченной властью тигра. В таком случае со смертью брата он лишился опоры, на нем может сосредоточиться давняя злоба остальных, и сейчас самое подходящее время, чтобы по возможности выведать у него все, что меня интересует. Правда, если он, не имея мускулов, искусно владеет ножом да еще до безумия отчаянный парень, тогда не пропадет. С помощью насилия можно выдвинуться среди своих товарищей. Для спорта, для драки, для убийства требуются совершенно разные данные. Даже тигру не сравниться с голодной одичавшей собакой.

Хорошо, но все-таки какую цель преследовала женщина? Для чего хотела она познакомить меня с этим молодым человеком? Вряд ли это пришло ей в голову неожиданно и она не имела возможности или случая предупредить меня об этом. Такой же точно значок в виде молнии, какой носил покойный. Может быть, это эмблема организации, именуемой «Синдикат услуг Ямато». Коль скоро этого юношу называют старшим, не значит ли это, что ребята, выстроившиеся вдоль доро-

ги,— караул; находившийся в непосредственном подчинении умершего?.. но постой, действительно значок этого молодого человека такой же, как у Раздвоенного подбородка, однако... нет, он точно такой же формы, как у него, но цвет другой... у этого голубой значок, а у Раздвоенного подбородка — ярко-красный... по возрасту тот, пожалуй, старше, но, видимо, цвет нужно понимать не как различие в возрасте или положении, а как различие в принадлежности к той или иной группе. Следовательно, группа покойного в том же «Синдикате услуг Ямато» была, возможно, самостоятельной организацией.

Чего же хочет женщина?

Здесь ли, на месте, пришла ей в голову эта мысль? Или, может быть, до последнего момента было нечто, заставлявшее ее опасаться нашего знакомства? А возможно, она решила, что ей удастся извлечь выгоду из этой встречи, воспользовавшись тем, что я не был к ней подготовлен?

— Старшие у вас меняются?

— Нет.

Бесстрастный, официальный тон, конечно, напускной. Отсутствие выражения — казалось, он выгладил и расправил мельчайшие морщинки страстей, чтобы уравновесить в себе абсолютное подчинение и абсолютный протест. Расположить к себе такого парня не в тюрьме, а в обычных условиях почти невозможно. Есть лишь один выход: сесть вместе с ним в тюрьму и бросить ему вызов в опасной игре «кто кого». Сейчас же такой возможности нет и...

— Трудно, наверно, и вам тоже — такая неожиданная смерть начальника группы...

— Трудно.

— Теперь вы сами будете возглавлять группу? Или, может быть, назначат нового начальника?

— Распустят, наверно.

— Почему?

— У босса было много сложностей с начальником нашей группы... Несовершеннолетних ведь легко выследить... будь то просто убежавшие из дому, будь то такие, из которых шайка кровь сосет... а уж как выследят — глаз не спускают, морока... дело с ними иметь хлопотно...

Ребята, убежавшие из дому... в сердце что-то оборвалось, даже дух захватило... значит, это ребята, убежав-

шие из дому?.. и тот был начальником группы в синдикате, использующем убежавших из дому ребят, и, значит, у него, естественно, была совершенно иная, чем у нас, точка зрения на него, человека, который исчез. Знала ли об этом женщина. Не исключено, что, зная все, она и решила познакомить меня с этим юношей.

— Я от имени всех прочел надгробную речь.— Может быть, из желания разрядить гнетущую атмосферу, он сел более непринужденно. И вдруг вызывающе:— Ха, я даже плакал. Начальник группы любил людей. Да, я плакал. Сколько ни делала налетов полиция, ни один из нас даже рта не раскрыл. И мы ни за что не хотим теперь домой возвращаться. А боссам невдомек... все любили начальника группы... прямо влюблены были в него... ну ничего, просто так это не пройдет...

— Но если известен преступник, нужно отправить его в полицию.

— Что вы глупости говорите? Его ведь убили-то по ошибке. Начальника группы застрелили из пистолета. А разве у тех рабочих были пистолеты?

— Кого же вы подозреваете?

— Ну знаете...

— А самый старший босс, наверно, не согласен?

— Может, он потому и пугает, что распустит нашу группу?

— А как же деньги, они будут и в дальнейшем поступать?

— Да, конечно, наши клиенты все первосортные. И потом, мальчики, те, которых вы видели на улице, тоже стоящие.

Я наконец с трудом начинаю постигать характер деятельности этой группы. Мне как-то не приходило в голову, что на стоянке микроавтобусов у реки не было никого из этой группы... клиенты... стоящие мальчики... я начинаю понимать... группа мальчиков... торгующих собой... и тот человек — их наставник... и если все это делается достаточно ловко, никакой закон им не страшен... но далеко не каждый способен вести такое дело... если не быть с ними в одной упряжке, выполнять роль пастыря трудно... когда выгода не сочетается со склонностью, дело проваливается. Рассудив, я, кажется, начинаю понимать, почему такое тягостное впечатление произвели на меня эти похороны. Теперь никто не знает, что делать с этой группой. Потому-то начальство быстро ретировалось,

оставив в качестве своего представителя управляющего. Одна лишь выгода не заставит этих обезумевших животных подчиняться новому начальнику. Если не быть человеком, способным вызвать к себе любовь этих юнцов и самому не любить их...

— Вы все прикреплены к определенным заведениям?

— Конечно.— Глаза его подозрительно сужаются.— С той компанией мы не имеем ничего общего. Вам, наверно, не понять... нет, конечно, не понять... сразу видно, что у вас к этому вкуса нет... члены нашего клуба все очень уважаемые клиенты... вы находите меня привлекательным? Глядя на меня, вы испытываете волнение?

— Да, вы красивый юноша.

— Ну а станете вы терпеть от меня побои? Станете пить мою мочу? Станете лизать подметки моих ботинок?

С трудом выдерживая его необыкновенно твердый, неподвижный взгляд, я ответил:

— Воздержусь, пожалуй.

— Ну вот. Одни грязные старики, мешки с деньгами... иногда актеры с телевидения — вот и все...

— Хочу спросить... вы, наверно, знаете... начальник группы не говорил недавно об одном владельце топливной базы?

— Владелец топливной базы? Клиент нашего клуба?

— Ну ладно, не слышали — и не надо.

— Вопросы там всякие, не люблю я их. Звон от них только.

— Тогда еще один последний... вы не скажете, где до недавнего времени жил начальник группы?

— Начальник группы был справедливым человеком. И поэтому у него не было противной привычки долго жить у кого-нибудь одного.

— Но вещи-то ведь у него были. Чемодан, к примеру, в котором он держал самое необходимое...

— Рубахи, зубные щетки он, использовав, выбрасывал. Были и ценные вещи. Попользуется он ими два-три раза и продает нам за полцены.

— Но ведь что-то должно же было остаться. Например, какие-нибудь дневники или еще что-нибудь нужное — не носил же он все при себе...

— Ни разу не видел.

— Я не собираюсь нарушать право собственности. Просто он обещал мне дать дневник одного человека...

для вас и ваших товарищей никакой ценности он не представляет.

— И постельные принадлежности, и даже бриллиантин — в общем, все наши вещи были и его вещами... ему просто не нужно было ничего иметь.

— Вы не согласитесь как-нибудь выбрать время и обстоятельно поговорить со мной?

— Ни к чему это.

— А ваша семья?

— Бросьте вы, вечно простаки вроде вас об этом спрашивают.

— А что делал начальник группы, если кого-нибудь тянуло домой?

— У него были люди, которые присматривали. Стоило кому появиться на вокзальной площади, чик — и готово. Безошибочно действовал. Ну и учил как следует. Сразу занятие начинало нравиться.

— Но ведь молодость-то пройдет.

— Никуда не денешься. Годы, конечно, проходят, это точно. Ну что ж, кое-что можно будет сорвать со старых клиентов — пошантажировать их, устроят на автозаправочную станцию или еще куда.



— Вы с самого начала знали, что представляют собой эти юнцы?

— Да, но стоило бы мне рассказать о них, как вы убежали бы без оглядки. В общем, тогда было не время об этом говорить.

Женщина игриво смеется, втянув голову в плечи, в уголках губ застыла пивная пена. Она снова перед лимонной шторой, на улице еще светло, и комната наполнена лимонным светом. Лишь черная траурная одежда выглядит чем-то инородным, точно фотография, вырван-ная из другого альбома.

— Пробовал я выведать о дневнике, но безуспешно. Чем больше усилий прилагал, пытаюсь взломать замок молчания, тем крепче сжимал он губы...

— Вам нужен дневник?

— Ну да, дневник вашего мужа. Брат обещал как раз сегодня принести его...

— А-а...

Не проявив никакого интереса, она продолжает понемногу, но не отрываясь, точно котенок, лакать пиво, я же, наоборот, возбужденно вскакиваю, подбрасываемый раздражением, буквально перехватившим дыхание.

— Недавно мне пришлось ехать по скоростной автострате.

— Ну и что же? Не понимаю.

— И когда я ехал, все время думал, как было бы замечательно, если бы можно было мчаться вот так бесконечно. И мне казалось, что это действительно возможно. Но сейчас меня охватывает дрожь, стоит мне вспомнить тогдашнее мое душевное состояние. Представьте себе, что если бы вдруг и в самом деле сбылось мое желание и я бы ехал и ехал без конца и никогда не смог бы добраться до пункта взимания платы...

Женщина, подняв лицо от стакана:

— Беспочиниться нечего. Полдня проедете — и бензин кончится.

Наши взгляды сталкиваются где-то в пространстве. Женщина, казалось, не улавливает смысла ни того, что я сказал, ни своих слов и, заметив застывшее выражение моего лица, сразу же приходит в замешательство.

— Странно... муж ведь тоже пользовался скоростными автострадами... правда, чтобы испытать отремонтированные машины... вечером, когда внизу уже темно и только красным отсвечивают верхушки домов, а ты мчишься по скоростной автострате и в конце концов становишься как пьяный...

— Видимо, о том же и я говорил...

— Когда проносишься по ней сотни раз, тысячи раз, начинает казаться, что количество выходов все сокращается, и в конце концов оказывается, что ты заперт в автострате...

— В тот момент, когда мчишься по ней, неприятно думать о конце. Хочешь, чтобы это длилось бесконечно. Но стоит автострате кончиться — и с содроганием думаешь, что она могла не иметь конца. Между ездой и мыслями о езде — огромная дистанция.

На губах женщины появляется едва заметная улыбка. Даже обычная улыбка была бы неуместна, а тут волнующая улыбка, будто она старается подладиться к моему тону. И сразу же она опускает глаза и приводит ме-

ля в уныние, как коммивояжера, которому с приторной вежливостью указали на дверь.

— Так что,— продолжаю я еще по инерции,— может быть, действительно не стоит уделять так много внимания дневнику. Дневник в конце концов лишь мечта о езде, а ваш муж ведь на самом деле уехал.

— А-а, о дневнике...

— О чем вы думали?

— Думала, что пойдет разговор о мужчине и женщине.

Она безразлично бросает слова, будто кусочки кожуры мандарина, и снова опускает рассеянный взгляд в стакан.

— О содержании дневника вы что-нибудь знаете? — В конце концов все это меня начинает раздражать.— Почему, объясните мне, почему вы не проявляете никакого интереса к дневнику мужа?.. О ком вы, наконец, беспокоитесь, я перестаю что-либо понимать.

— Но брат как будто не придавал ему особого значения.

— Вы до такой степени доверяли брату?.. больше, чем своему мнению?

— В конце концов я осталась совсем одна.

Закрывает глаза, слегка покачивается и, кажется, совсем забыла о моем присутствии. Интересно, в сердце этой женщины воеет ветер, бушуют волны, отвечающие ее настроению?

— Ну что ж, поступайте как знаете. Мне неизвестно, что вы думаете о своем брате. Но вы ведь знаете правду, при каких обстоятельствах это случилось с ним?

— Да, да, я должна вам рассказать.

Она кладет на колени большую белую прямоугольную сумку, совсем не гармонирующую с ее траурной одеждой, вынимает пакет, завернутый в газету, кладет его на стол и пододвигает ко мне. Неаккуратный, странной формы сверток. Судя по звуку, когда она его клала, сверток, видимо, достаточно тяжелый.

— Это что такое?

— Человек, который заговорил со мной... помните, такой небритый...

— А-а, хозяин микроавтобуса. Он как раз торговал на берегу реки, когда все и случилось...

— Подарок принес на память о брате.

Не успел я спросить, что это такое, как сквозь дыру в газете резко сверкнула черная металлическая трубка. Пистолет! Подумав, что лучше не оставлять на нем отпечатков пальцев, я через газету берусь за ствол и осторожно отодвигаю подальше от края. Из свертка выпадает маленькая, похожая на пуговицу, серебристая вещьца. Тот самый значок.

— Что это такое?

Я буквально оторопел от ее хладнокровия. Что за женщина! Каков ее обычный мир?

— Вы не знаете? Шестизарядный браунинг. Игрушечный.

— Игрушечный?

— Конечно, отверстие в стволе залито.

Я смотрел, она была права. Но и цветом, и формой, и весом пистолет несколько не отличался от настоящего. Ощущение мертвящего холода, которое исходит от поблескивающего изгиба спускового крючка. Для психологического воздействия достаточно натурален.

— Оттого, что брат вытащил пистолет, он еще сильнее распалил своих врагов.

— Странно... ведь этот человек убежал оттуда еще раньше, чем я, и, значит, не мог видеть, что происходило...

— Он оставил машину в безопасном месте и снова вернулся.

После этих слов мне нечего сказать. Мне бы самому следовало поспешить в контору строительства или в полицейский участок или предпринять еще что-нибудь. А я просто-напросто сбежал. На моих глазах убивали человека, а у меня не нашлось доброй воли, хотя бы такой же, как у хозяина микроавтобуса.

— Да, я не вернулся...

— Ему, кажется, каблуком ботинка проломили голову.

— Это странно. По словам старшего группы, его как будто застрелили.

— Не слушайте, что говорят эти мальчишки. Собственная выдумка моментально превращается для них в правду. Да и в полиции мне сказали, что он умер от боев...

— Нельзя быть такой доверчивой.

— Вы думаете?

— Полицейские не спрашивали вас о муже, обо мне?

— Нет, не спрашивали...

— Эта штука, в общем-то, не стоит того, чтобы о ней говорить,— разозлившись, что пистолет ввел меня в заблуждение, и теперь уже смело оставляя на его поверхности отпечатки пальцев,— но все равно я сомневаюсь, следует ли считать занятие брата таким уж безобидным.

— Конечно. Этот пистолет раньше принадлежал мужу.

— Мужу... ему-то он зачем понадобился?..

— Он где-то купил его и похвастался брату, а тот отнял и отругал еще.

— Тоже странная история. Все должно было произойти наоборот. Если представить себе, чем занимался брат, он просто права не имел ругать за игрушечный пистолет. Вы, например, знаете, что делал брат там, на берегу, когда все это случилось?

— В общем...

— Собирал плату и открывал новые заведения для тамошних рабочих... эти микроавтобусы... если бы просто питейные заведения, еще ничего, но он держал там женщин и в открытую поощрял их заниматься проституцией... вы знали об этом?

— Да, в общем...

— В каких отношениях были ваш муж и брат? Я не думаю, что они одного поля ягода, но... когда я слушаю ваш рассказ, у меня создается впечатление, что вы относитесь к брату не критически...

— Мне кажется, я понимаю... брат не мог допустить, чтобы муж шутил подобным образом, так мне представляется...

— В таком случае, какие у него основания предостерегать вашего мужа?.. я не думаю, что он имел на это право...

— Право? Когда мне говорят о праве...— Женщина погружает палец в стакан и слизывает приставшую к нему пену.— Действительно, какая дикая случайность... из-за этой игрушки брат был убит... получается, будто муж убил его...

В выражении ее лица уживаются полнейшее безразличие и вот-вот готовое вылиться наружу напряжение. Женщина изо всех сил сдерживает вопль отчаяния, и меня вдруг пронзает эта ее разрывающая душу боль. Теперь моя очередь растеряться.

- Не преувеличивайте. Это простая случайность.
- Быстрее выбросьте его. Я ненавижу, ненавижу эту игрушку...
- Я возьму его себе. А сумка?
- И ее тоже... лучше всего выкинуть все это...
- В шесть часов я должен буду уйти...
- Пива больше не хотите?
- Лучше бы я посмотрел альбом, если он у вас есть.
- Альбом?
- Ну да, семейный альбом...
- Есть, но... что за интерес, но если хотите...

Женщина, изогнувшись и слегка привстав, достает с полки, сзади себя, вложенный в футляр большой альбом. Внизу на обложке типографским способом напечатано: «Смысл воспоминаний». Присмотревшись, обнаруживаю, что это не напечатано, а выклеено из отдельных иероглифов, вырезанных из какого-то журнала.

— «Смысл воспоминаний» — это что-то вроде названия, правда?

— Видимо, свойственная этому человеку изысканность.

Действительно ли это свойственная ему изысканность?

— Фотографии в альбоме тоже, наверно, изысканные?

— Как вам сказать.

— Какими фотографиями в последнее время он интересовался? — с безразличным видом забрасываю я удочку, открывая первую страницу альбома.

— Да вот... увлекался цветной фотографией и как будто часто ходил в фотолабораторию... он как-то хвастался мне фотографией радуги, отраженной в луже.

Радуга?.. видимо, она не знает о ню... но сейчас вряд ли стоит посвящать ее в это... На первой странице альбома пожелтевший портрет пожилой женщины... фоном служат точно нарисованные море и скалы — по всему видно, что фотография сделана еще в начале двадцатых годов...

— Мать мужа, она живет с золовкой в провинции, — комментирует женщина, заглядывая в альбом, и мои ноздри щекочет свежий запах ее волос.

Этой страницей и ограничиваются фотографии, связанные только с ним, и со второй страницы сразу же

переносишься во время, когда он уже был женат. Напыщенная, традиционно невыразительная фотография молодоженов...

— Фотографий вашего мужа до женитьбы совсем нет?

— Нет, старых не сохранилось. Мы их собрали и отравили его матери.

— Какая-нибудь причина была?

— Просто мы не из тех, кто любит вспоминать давние времена, ну и...

С каждой страницей время меняется. Но большую часть фотографий неизменно занимают портреты женщины. Видимо, он давно увлекался фотографией — все они выполнены в нарочито неестественных ракурсах, в стиле так называемой художественной фотографии. Но раздражало не столько это, сколько вызывающие позы женщины. Лицо поглощенной собой, не обращающей ни на что внимания женщины, стоящей перед зеркалом. Лицо женщины, которая явно думает о другом человеке, устремив взгляд куда-то вдаль, предавшись своим мыслям, чуть улыбаясь, приоткрыв губы. Но еще больше я удивился, обнаружив снятую против света фотографию в ночной сорочке, сквозь которую просвечивало тело. Поразительная женщина. Действительно, вопрос, видимо, нужно поставить иначе: он ее фотографировал или, может быть, скорее она фотографировалась?

Кроме таких фотографий, были и другие, правда весьма немногочисленные, которые рассказывали о его семье. Снятая на память фотография, запечатлевшая момент, когда их, уже супругов, благословляет мать... маленький провинциальный городок... перед лавкой, одновременно табачной и мелочной... видимо, это происходило летом... длинная скамья, посредине сидит мать, справа от нее — он с женой, слева — сестра с мужем... все весело смеются, держа в руках чашки с водой, в которых плавают лед. Я внимательно изучаю выражение лиц его, сестры и матери. Нет ли каких-то общих черт у этих трех людей? Какого-нибудь дурного знака, который бы помог понять причину его исчезновения... указания на таящееся в крови безумие, что ли... хорошо бы иметь увеличительное стекло...

И тут вдруг совсем иная фотография. В каком-то саду он возится с посадками.

— Вы там жили до того, как переехали сюда?

— Да, это когда он был еще представителем фирмы «Дайнэн».

— Что же побудило его заняться этой работой?

— После того как первая фирма, в которой он начал работать, обанкротилась, ему пришлось некоторое время торговать журналами. И тут, совершенно неожиданно, товарищ брата по университету продает землю и открывает собственную торговлю, а мужу уступает свои права представителя фирмы «Дайнэн».

— А деньги?

— Выплачивали ежемесячно. Прошлым летом рассчитались полностью.

— Теперь вы уже не поддерживаете отношений?

— Дело в том, что с самого начала все переговоры вел брат.

— Значит, и все документы по передаче прав тоже были оформлены на имя брата?

— Действительно, как же это было?.. во всяком случае, из представителей он стал начальником отдела фирмы — этого уж он добился сам. Так что в общем неважно, на чье имя были документы.

— Я имею в виду, что пришлось, наверно, уплатить комиссионные...

— А-а, вы вот о чем... — Женщина устало улыбается и, доливая пива в оба стакана, мой и свой: — Видите ли, мы, я и брат, еще в детстве лишились родителей, остались вдвоем на свете и вынуждены были перемогаться чем придется... если кто-нибудь издевался над одним из нас, другой, точно издевались над ним, бросался на обидчика. Даже после моего замужества это не изменилось. По правде говоря, муж перешел работать в фирму опять-таки с помощью брата... это точно... мы не хотели, чтобы дети испытывали лишения, и поэтому решили не заводить их, пока не будет обеспечена страховка и выходное пособие и месячное жалованье после всяких вычетов станет больше шестидесяти тысяч иен... теперь я была бы на восьмом месяце.

— Теперь?

— Да, если бы не выкидыш...

— Муж знал о том, что вы беременны?

— Конечно.

— Чем занимался брат до того, как связался с этим синдикатом?

— Когда он был студентом, то чересчур рьяно участвовал в студенческом движении, и его исключили из университета... а может быть, и сам ушел... толкался туда,

сюда, но подходящей рабсты найти не мог... только совсем недавно устроился секретарем к какому-то члену муниципалитета, и вот...

В самом конце альбома я наконец наткнулся на то, что искал. Фотография, на которой изображен брат заявительницы. Место — тот же самый сад. Наискось стоит автомобиль старой модели с открытым капотом. Мужчина — по-видимому, он — лежит на циновке под автомобилем и, упершись локтями о днище, кажется, что-то говорит шурина — и смеющееся во весь рот лицо брата. Но взгляд, обращенный к объективу, — беспокойный. Брат в гэта и рубашке с короткими рукавами. Обстановка вполне домашняя.

Я в полном отчаянии. Должен бы вздохнуть с облегчением, а я падаю духом, точно мои надежды обмануты. Но совсем не потому, что мои подозрения подтвердились. Я считал их не состоящими в кровном родстве, самозванными братом и сестрой. В домово́й книге, правда, записан брат, имеющий ту же фамилию, то же имя, это верно, но сейчас нет средств получить доказательства, подтверждающие это. Однако атмосфера, которая царит на этой фотографии, бесспорно, указывает, во всяком случае процентов на семьдесят — восемьдесят, что тот человек и в самом деле ее брат. В прах рассыпается порожденная литературными ассоциациями химера, будто тот человек — шарлатан, выдававший себя за брата, будто он вступил с женщиной в тайные сношения и убрал его.

— Ваш муж и брат как будто были в самых добрых отношениях?

— Да, смотря по настроению, прямо как щенки — то играли, то дрались...

— В то время когда была сделана эта фотография, брат уже связался с синдикатом?

— По-видимому, да...

— А как относился к этому муж?

— Не одобрял, конечно... но его ведь это не касалось непосредственно...

— В таком случае, предположим... может быть, это слишком смелый вопрос... считал ли брат вас и мужа одинаково близкими себе людьми или же делал между вами различие — вы были для него родной, а муж — родным в кавычках, то есть чужим человеком... другими словами, когда у вас возникали с мужем столкновения, выступал ли брат в качестве третьей стороны или же от-

крыто становился на вашу сторону, защищая ваши интересы?..

— Видите ли... я как-то над этим не задумывалась...

— Ну ладно, представьте себе обратное: между вашим мужем и братом возникло резкое расхождение по какому-то вопросу и создались обстоятельства, когда, если бы дело происходило в давние времена, был бы неизбежен поединок... вы бы как поступили?.. возможность выступить в качестве третьей стороны уже отпала, нужно выбрать одного из двух... Кого вы выбираете?

— Зря вы это все...

— Но вы должны выбрать.

— Ведь брат помогал мужу, как никто другой.

— Но, может быть, наоборот, для мужа помощь превратилась в обузу?

— Почему я должна отвечать вам на такой вопрос?

— Прежде всего защита заявителя — мой долг.

— Брат уже умер.

Неожиданно женщина тихо вскрикнула надтреснутым голосом, я возрадовался. Ну вот, наконец я заставил ее потерять над собой контроль.

— В шесть часов я уйду...— Часы показывали начало шестого.— Я договорился встретиться с тем самым Тасиро... может, удастся все-таки напасть на след... он ведь, что там ни говори, сталкивается в фирме с большим числом людей, чем остальные...

Однако женщина молчала. Может быть, она поняла? Она, конечно же, проникла интуитивно в мое тайное намерение повторять неприятные для нее вопросы, чтобы углубить пропасть, существовавшую между ним и братом еще до того, как один из них пропал без вести, а другой погиб, проникла в мое тайное намерение, которое я еще сам не мог ясно сформулировать. Я не отрицаю, что имел такое тайное намерение. И потому, что не могу отрицать, чувствую, что меня видят насквозь, и от этого прихожу в замешательство.

Вряд ли стоит утверждать, что совершенно не существовало тем, которые были бы уместны, соответствовали бы роли, которую я исполнял. Взять хотя бы мое утреннее донесение — разве стоило его отметить? Особенно многозначителен рассказ того шофера, который нарисовал подробную схему линии связи между ним и «Камелией». Она проще и достовернее всех схем, которые воз-

никали до этого. Но все равно что-то заставляет меня колебаться. И я испытываю страх, что в тот момент, когда все будет высказано, наступит опустошение и мое существование утратит смысл. Но можно обиняком коснуться немного и «Камелии»...

— ...Да, кстати, в своих донесениях о том самом кафе я забыл кое о чем написать... помните, напротив него находится стоянка автомашин... как раз там я впервые встретил вашего брата. Он постарался сделать вид, что встреча случайная, но я подумал, что случайность слишком искусственная... ну да ладно... вам не известно, с какой целью брат оказался там?

— Странно...

— По словам брата, не исключено, что ваш муж занимался торговлей подержанными автомобилями и эта стоянка служила ему базой.

— И что же оказалось?

Наконец я ощутил нечто похожее на реакцию. Но произошло ли это потому, что она услышала сведения о нем, или же потому, что был упомянут брат?.. Мы одновременно поднесли ко рту стаканы с пивом и, конечно, сделали вид, что не обращаем друг на друга никакого внимания. В стакане женщины пива до половины, в моем— на доньшке...

— Никаких особых доказательств у меня нет, но все же очень странно, почему ваш брат вчера утром поспешил появиться там?.. причем человек, который как будто уже полгода сам вел розыски... мне показалось, что он меня поджидает...— Лицо женщины снова затуманивается, и я, хоть и слышу, как где-то в сердце у меня воеет сирена тревоги, не собираюсь тормозить, пока склон не кончится.— Даже если и случайность, то какая-то уж слишком преднамеренная. Я было даже подумал, не общники ли они, ваш муж и брат. В общем, брат, точно зная, куда скрылся ваш муж, по неизвестной причине старался утаить это и от вас, и от всех остальных...

— У него была какая-то причина?

— Если бы я это знал, проблема была бы решена. Просто нужно продумать все существующие варианты. Подозрение следует распространить на каждого человека, исключая вас.

— Почему же только для меня вы делаете исключение?

— Просто потому, что вы заявительница.

— Но ведь и брат дал согласие, чтобы я обратилась к вам.

— Тут нет никакого противоречия. Поскольку меня наняли, мне полностью и поручен розыск. И так как направление, в котором я его веду, точно известно, я, таким образом, становлюсь похожим на кошку, к шее которой подвешен колокольчик. Вы понимаете?

— Но зачем...

— Давайте лучше подумаем об обратном случае, а? Представим себе следующее: брат знает, куда скрылся ваш муж, они не сообщники, но, прибегнув к психологическому или физическому давлению, он не разрешает ему вернуться домой... ну как, интересно? Достаточно чуть-чуть иначе расставить акценты, и тот же факт представит совсем в ином свете...

— Да, интересно...

— Я говорю не просто так,— меня охватывает невыразимое раздражение и против самого себя, и против женщины. Я теряю самообладание... еще один шаг — и будет высказана правда, но слишком глубока пропасть, чтобы сделать этот шаг.— Ваш брат внимательно следил за моими действиями — уж это-то непреложный факт... не будем говорить о том, как следует его истолковать... не исключено, конечно, что он просто хотел увидеть, как я работаю... я отнюдь не сержусь... тот, кто предает, всегда опасается, что и его могут предать,— это логично... Но он не мог знать, на какое еще предательство способен человек, которого он предал. Такая логика тоже вполне естественна.

— Муж и брат сходились во всем.

— Настолько, что даже поссорились из-за игрушечного пистолета...

Последняя страница альбома... пустая страница из коричневого картона, которую я рассматривал дольше остальных... Закрываю ее и снова вижу надпись: «Смысл воспоминаний»...

— И о моей беременности брат, конечно, тоже знал...

— Если б я был прокурором, то, безусловно, с подозрением отнесся бы к вашему выкидышу.

Женщина поднимает глаза от пива. На секунду между веками сверкнул тонкий прозрачный лед, но она моргнула, и лед растаял. Нужно обладать непостижимой ре-

шимостью, чтобы оставить эту женщину без защиты. Единственное, что я мог утверждать, когда речь шла о нем, исчезнувшем,— видимо, только это. Во всяком случае, он такой решимостью обладал. Независимо от того, была его решимость жизнью или смертью... Женщина неотрывно смотрит на меня... на фоне бледнеющей лимонной шторы линия щек, удивительно сочетающая в себе податливость и твердость, как песок, когда в него ударяются кипящие волны... цвет кожи, похожий на чуть пожелтевшее некрашеное дерево, в котором естественно сплелись зрелость и невинность... в комнате постепенно темнеет, и ее веснушки расплываются... женщина молчит... подол траурного платья соединяется с темным полом, растекаясь по нему, и женщина превращается в растение... Торговец соевым творогом что-то кричит во дворе в мегафон...

— Второй раз я встретился с вашим братом... — Бесстрастно, тихим голосом, наблюдая за блуждающими по краю стола, будто в поисках чего-то, пальцами — большие пальцы не видны: — Нет, нет, не там, где это случилось... чуть раньше... в том самом городке F., но в трех километрах от того места, на топливной базе M... той самой базе, которой я касаюсь в конце вчерашнего донесения... это тоже было из серии странных случайностей... я поехал туда, так как выведал, что адресатом документов, которые ваш муж в день исчезновения должен был передать через Тасиро, была, по всей вероятности, топливная база M... и вот там неожиданно и произошла вторая встреча... мне стало не по себе... тогда-то я и подумал, что скорее достигну цели, если сменю объект преследования и вместо вашего мужа буду гнаться за вашим братом... вы не знаете, какое дело заставило вашего брата появиться там?

— Знаю, если речь идет об M.-сан...

— Значит, вы в курсе дела?

— Сколько раз я уже вам говорила. — Ровный голос — то ли она убивает эмоции, то ли все это не стоит эмоций. — Брат очень много помогал мужу по работе...

— Следовательно, почву для торговой сделки с топливной базой M. подготавливал брат?

— Это была очень сложная работа.

— Разумеется... но то, что он делал вчера, по-моему, не было таким уж добропорядочным... а может быть, наоборот?.. в конце концов для вас это могло оказаться по-

лезным... не исключено... если вы и не знали, к каким средствам он прибегал, роли не играет...

— К каким же?

— Шантаж!

— Шантаж?

Голос тихий, губы сжаты, ощущение, будто наслаждается спелым плодом. Когда это касается женщины, то даже шантаж превращается в сладкий сироп из фруктовых консервов. И музыка этого слова вызывает в воображении какие-то необычные сочные плоды.

— Вы хотите, чтобы я продолжал розыски и дальше, не ограничиваясь этой неделей?

— Да, если возможно...

— Относительно расходов вы, конечно, советовались с братом?

— Да...— Тяжело вздыхает, будто захлебнувшись пивом. Но стакан стоит на столе и слегка поблескивает в сумерках. Захлебнулась реальностью. Как бы ни хотела женщина заспиртовать себя, подобно зародышу, в лимонном свете, чтобы быть наедине с собой и своими разговорами, в одиночестве, смерть стража, ограждавшего ее от вторжения реальности,— реальность. Женщина задыхается, как рыба в высохшем пруду, раскрывая жабры.— У меня остались еще сбережения, есть и выходное пособие мужа... кроме того, жизнь брата была застрахована, хоть и не на большую сумму...

— Опять то же самое.— Неожиданно для самого себя я становлюсь грубым и нападаю на нее.— Я без конца повторяю одно и то же: сведения, сведения — у меня эти слова уже набили оскомину... ведь если б я не от вас услышал, что брат застраховал жизнь, а сам разнюхал это, то, может быть, заподозрил бы, что и исчезновение вашего мужа связано с преступной целью убить брата и вы с мужем просто разыграли весь этот фарс с побегом.

Было уже слишком темно, чтобы рассмотреть выражение лица женщины. О нем можно было лишь догадываться по ее напряженному, звенящему молчанию. Одна секунда, две секунды, три секунды, четыре секунды... глубина и смысл молчания, меняющиеся по мере движения времени... раздражение мое легко смиряет неожиданно раздавшийся голос, в котором слышатся радость и удивление:

— Ой, как темно стало.

Зажегся свет. Женщина стоит у портьеры, отделяющей кухню. Стеллаж, телефонный аппарат, чертеж мотора, репродукция Пикассо, стереопроектор, на столе скатерть под кружево. Женщина слегка поднимает руку и, пройдя сквозь стену портьеры, исчезает на кухне. Она подняла руку, видимо, таким образом прося извинения, что должна покинуть меня, а может быть, просто чтобы взглянуть на рукав своей траурной одежды. Залпом допивая пиво, я почувствовал, как притаившийся в глубине души стыд вдруг начинает всплывать вверх. Незаметно, незаметно, а уже третья бутылка... наверно, я один опорожнил две бутылки, не меньше... прекрасный предлог, чтобы оставить здесь машину... прекрасный предлог, чтобы в любое время снова возвратиться сюда... спокойно, как ни в чем не бывало, я чуть улыбаюсь... не потому ли, что вышла женщина?.. или так подействовало пиво?.. а может быть, успокоительный свет лампы?.. — нет, скорее всего потому, что я перестал ощущать подобный легкому туману запах смерти, который источала траурная одежда... да, видимо, потому, что скрылось за портьерой взятое напрокат траурное платье, которое бродит среди бесчисленных смертей и впитывает в себя смерть, как летучий газ... но вряд ли такое чувство освобождения будет длиться долго... когда женщина, одетая в траурное платье, вернется, воздух в комнате снова станет душным и клейким, как желатин...

Звонит телефон. Внешний мир разверзает черную яму, разрушая иллюзию, будто эта лимонная комната — необитаемый остров. Предающее меня беспокойство... ледяная неуютность, будто из этой черной ямы на тебя наведен пистолет...

Звонок раздается в третий раз, но женщина как будто и не собирается подходить к телефону, и я обращаюсь к ней через портьеру.

— Подойти?

Неожиданный голос из неожиданного места.

— Да, пожалуйста.

Ждал из кухни, а голос раздался из соседней комнаты. Легкость, с какой она доверила мне ответить по телефону, взволновала меня больше всего. И не потому, что я так уж подозревал ее, а оттого, что полностью освободился от унижительного предположения, будто его исчезновение на самом деле фарс, и они, возможно, тайно поддерживают связь по телефону... и вообще, поскольку

ку женщина не ждала никакого тайного звонка, все, что ее окружало, стало до неузнаваемости ясным... вероятно, я окончательно признан ею как официальный поверенный в делах. С трудом справляясь со слишком бурным дыханием, со слишком напряженными мышцами, я бросаюсь к телефону, чтобы не дать ему зазвонить в пятый раз.

Однако я обманулся в своих ожиданиях. Чересчур неожиданный финал — я подготовил себя совсем для другой роли. Это был шеф. Снова бесконечные поучения... Почему я должен каждый раз повторять одно и то же. Сколько можно повторять: агент — это ассенизатор. И его обязанность ползать в грязи, куда не проникает даже луч света. Вот потому-то я и требую, чтобы агент был чист как стеклышко и осмотрительно относился к своей репутации. Думаю: шеф прав. Можно себе представить, как он был обеспокоен, когда я нарушил обещание зайти днем в агентство, даже не позвонил ему. Хотя он относился с еще большим, чем нужно, пониманием и сочувствием к другим, если это не выходило за рамки самозащиты или денежных дел, в этих рамках он не уставал требовать дисциплины, граничащей с монашеским аскетизмом. Шеф еще ни разу не давал мне повода думать о нем плохо. То, как он понимает свой профессиональный долг, скорее достойно уважения, если представить себе, сколько людей пытается утешить других, используя в качестве обезболивающего средства показную черствость и показную доброту... «Не забывай, что брат заявительницы влип в историю, закончившуюся его убийством; может, я зря брюзжу и дело не стоит выеденного яйца, но знай: если ты окажешься замешанным в уголовном деле, то в ту же секунду для нашего агентства станешь абсолютно посторонним человеком, и я сделаю это, даже не предупреждая тебя; может быть, я кажусь слишком строгим, но, когда дело идет о наших принципах, ничего не подделаешь; держать человека, который с нами не считается, — значит наживать неприятности». Нельзя сказать, что мне были неприятны его слова. Они мне скорее нравились. Но сегодня, не знаю почему, я почувствовал в них фальшь. К счастью, во время разговора вернулась женщина. Вернулась, сняв траурное и надев свое обычное платье. Мне кажется, она слишком уж поторопилась переодеться. Вряд ли она могла почувствовать, что меня раздражает исходящий от траурной одеж-

ды дух смерти. Да еще надела плотно облегающее черное платье. Неужели она запомнила мои слова, что ей идет черное? Женщина вопросительно смотрит на меня. Я отрицательно качаю головой и пальцем свободной руки показываю на себя. Женщина огибает стол и садится напротив... очень близко, нас разделяет сантиметров пятнадцать, не больше.

Длинные волосы, прямые и тонкие, переплетаясь, струятся вниз... округлость плеч — стоит протянуть руку, и можно ощутить ее сквозь платье... невольно рассмеявшись, я перебиваю шефа. Мне был очень приятен ваш выговор; я только и делаю, что ищу других людей, а сейчас, наоборот, меня разыскивают — не могу отрицать, что мне это нравится... я не лгу... но, произнеся эти слова, с болью думаю, что должен был бы сказать их не шефу, а в первую очередь своей жене... сколько раз именно я навещал ее, звонил ей, а ведь она еще ни разу мне не позвонила... и это очень плохо... может быть, то, что мне не хватает мужества молча ждать, пока она сама не придет разыскивать меня, так разъело наши отношения?

Оставив продолжавшего меня ругать шефа наедине с трубкой, я возвращаюсь на свое место. И пиво этой женщины, и ее грустная улыбка теперь уже несколько не кажутся неестественными. Я тоже опираюсь рукой о край стола и, пребывая в состоянии, которое испытываешь в воскресный полдень, когда удалось наконец насладиться утренним сном, продолжаю разговор, еще недавно раздражавший меня.

— В общем, пусть расходы вас не беспокоят. Четыре дня до конца недели вами уже оплачены, и я постараюсь за это время сделать все, что только возможно. Что же касается дальнейшего, подумаем об этом, когда придет время.

— В крайнем случае попытаюсь устроиться куда-нибудь на работу. Брата, которого вы все время ругаете, уже нет... я понимаю, люди не такие, какими они казались брату...

— Положение действительно малоприятное, но это не означает, что нужно прекратить розыски...

— Вы раньше сказали, что выкидыш тоже весьма сомнителен, что вы имели в виду?

Тон беспечный, будто разговор идет о погоде, но ведь выражение лица женщины обманчиво. Снова во все это окунаться — увольте.

— Неужели я это говорил?

— Вы имели в виду, не от брата ли этот ребенок?

— Ну, знаете ли, вы ужасные вещи говорите с абсолютно спокойным видом. Просто я сказал, что можно выдвинуть самые различные гипотезы... но вы удовлетворили мое любопытство, дали мне посмотреть альбом, где были фотографии брата, так что...

— Все-таки странно, правда? Когда мне показалось, что я беременна, я сказала брату. Разговор этот был ему крайне неприятен... брат не любил женщин и, может быть, поэтому не любил и детей.

— Ужасный человек. В общем, самый банальный любовный треугольник. Чтобы замести следы, на сцене не появляется фальшивый брат — банальный случай, верно?

— Фальшивый брат?..

— Честно говоря, обстоятельства сложились так, что подобные подозрения были вполне обоснованны.

— Просто мне хотелось поделиться с братом.

— Сейчас я, конечно, не подозреваю.— Стараясь не видеть выражения лица женщины, я быстро перелистываю альбом и, показывая фотографию, на которой были сняты машина и брат.— Вот, как раз эта фотография... на ней будто написано, что этот снимок делали вы. Муж лежит под машиной. Брат стоит рядом и без всякого интереса наблюдает за тем, что тот делает. Нет, скорее прикидывается, что наблюдает, а сам чуть грустно, с видом сообщника, улыбается фотографу, то есть вам. Мужу, естественно, выражение его лица не видно.

— Мне кажется, наоборот, семена подозрения прорастают все глубже.

— Нет, ведь это документ. Нечто целиком сохранившееся как документ. Действительно «Смысл воспоминаний». Это должно, безусловно, четко осознаваться и тем, кто фотографирует, и тем, кого фотографируют. Если было бы хоть что-то, что вам следовало скрывать, вы бы, конечно, сознательно избежали подобной сцены.

— Вам и в самом деле палец в рот не клади.— Женщина вдруг звонко рассмеялась и наполнила пивом мой стакан. Я не особенно отказывался. Пива в бутылке на самом донышке, сантиметров пять.— Люблю я такие истории... если будете их рассказывать, я с удовольствием послушаю...

— Такие истории, вы говорите? Какие истории?

— Истории, в которых, пока их слушаешь, все выворачивается наизнанку... я тоже знаю одну такую историю... о брате... может, рассказать?

— Если успеете, в оставшиеся пятнадцать минут...

— Когда-то и у брата, как это полагается, была любовная связь. Связь, конечно, с женщиной. С девушкой, с которой он встретился, когда участвовал в студенческом движении. Познакомились они зимой. Всю зиму казались безмерно счастливыми. Но как только наступило лето, девушка заявила однажды: почему-то от тебя пахнет кошками. Может быть, стоит полечиться? Брат начал послушно ходить в больницу. Однако, когда лечение уже подходило к концу, оказалось, что оно ничего не дало. Но зато вернулась его старая болезнь — женоненавистничество. Поэтому мое существование приобретало для него все большее значение. Я была единственной в мире женщиной, которая для него не была женщиной. Мы действительно очень любили друг друга. Настолько, что было даже странно, как не завелись у нас дети. И тут появился муж. И он меня превратил снова в женщину.

— Значит, они все-таки соперничали.

— Совсем нет. Брат очень быстро нашел общий язык с мужем. Видимо, он предпочитал, чтобы я вышла замуж, лишь бы не сблизиться с какой-нибудь женщиной.

— Но есть ведь люди, любящие монопольное владение.

— Может быть, и так, но у брата был любимый мальчик, который следовал за ним по пятам.

— Интересно...

— Я по-настоящему любила брата...

— Чего нельзя сказать о муже?

— Видите ли, муж не был таким вывернутым наизнанку человеком, как брат.

— И тем не менее ваш муж убежал первым.

— Это-то и ужасно.

В глазах женщины промелькнул страх. Ранящий страх, подобный покрытым инеем телеграфным проводам, стонущим под порывами ветра.

— Вы испугались потому, что подумали о муже, которого здесь нет. Лучше заставьте себя подумать о муже, который находится сейчас где-то. Может быть, это и мучительно, но боюсь, что для вас он уже окончательно потерян.

— Все равно...

— Даже если вы будете думать, что он живет с какой-то другой женщиной?

— Почему он не со мной? Если не узнаю этого — тогда все кончено.

— В сегодняшних вечерних газетах нет сообщения о том, что случилось с братом. Если бы оно появилось, муж увидел бы его и вопреки ожиданиям, возможно, позвонил бы вам.

— Вы считаете, что виной всему был брат?

— Не исключено. Предвзятость ничего хорошего не сулит. Я тоже до самого последнего момента считал тот самый спичечный коробок абсолютно невыгодным для вас вещественным доказательством. В нем были спички с разноцветными головками. Тот факт, что в коробок добавлялись спички, превращал его в весьма важную улику, указывая, что человек редко посещал кафе «Камелия». Если бы он все время ходил туда — всегда мог бы взять новую коробку. Что из этого следовало? Во-первых, человек редко выходил из дому. Во-вторых, человека интересовал номер телефона на этикетке спичечного коробка. В-третьих, человеку было необходимо тайно звонить по телефону.

— Обычный номер телефона, разве он не мог переписать его в записную книжку?

— Случись что-нибудь, записную книжку сразу же начнут изучать, но вряд ли кто-нибудь обратит внимание на обыкновенный спичечный коробок из кафе. Однако и это подозрение благодаря альбому фотографий тоже оказалось неосновательным. Мне стало легче. Поскольку мы не имеем права подозревать заявителя, я, считая, что мне специально всучили этот ужасный спичечный коробок, все время ломал над ним голову. Прекрасный пример предвзятости. Не лучше ли, если бы и вы попытались с меньшей предвзятостью, объективно взглянуть на отношения между мужем и братом?

— Именно вы с чересчур большим предубеждением относитесь к брату.

— Ладно, не будем больше говорить о брате. Да мне и уходить пора. На метро до станции S. минут десять, правда?

Женщина кивает и снова начинает сосредоточенно обкусывать ноготь на большом пальце.



— Смотрите, прошлогодняя, правда, газета, но в ней вот такая статья.

Тасиро смотрит на меня сквозь толстые стекла очков и, не успеваю я сесть, нетерпеливо протягивает обрывок газеты.

— В вашем плане было очень трудно разобраться...

— Свыше восьмидесяти тысяч человек пропало без вести. Потрясающе. Как видите, случай с начальником отдела Нэмуро-сан исключительным не назовешь.

— Это место вы сами выбрали?

— Да... бесконечное изменение картины... когда одновременно смотришь на людей, поднимающихся по лестнице и спускающихся по ней, создается впечатление, что, никем не видимый, подглядываешь за ними из какой-то фантастической воздушной ямы... нравится мне здесь... люди — очень интересные существа, когда они деловито снуют, не подозревая, что кто-то наблюдает за ними.

— И все же ваш план неверен. Четыре раза я по ошибке сворачивал не туда, и вот результат — опоздал почти на двадцать минут.

— Ничего страшного. В этих бесконечных подземных переходах труднее разобраться, чем в моем плане.

— Никуда не годится.— У официантки в белом платье, подошедшей взять заказ, прошу чашку кофе.— Вполне можно предположить, что, пользуясь таким планом, Нэмуро-сан так и не смог найти место, где вы должны были встретиться.

— Нет, это невозможно. Ведь я прождал его целый час, а потом еще десять минут. Каким бы мудреным ни был этот план, разобраться в нем все-таки можно. В конце концов название кафе он знал совершенно точно...

— В то утро было такое же столпотворение?

— Ну что вы, утренний наплыв посетителей ничего общего с этим не имеет. Людской водоворот заполняет все — ни кусочка пола не видно.

— Но теперь тоже порядочная давка.

Вспомнив тишину в комнате женщины, я мысленно возвращаюсь назад на три, четыре часа. Может быть, из-за того, что, когда смотришь с нашего места, кафельные колонны на кафельном полу между проходом и лестни-

цей образуют сплошную стену, а посетители располагаются свободными полукругами, люди теряют ориентацию, не в силах сообразить, откуда и куда они идут.

— В это время посетители самые интересные. И походка, и выражение лица у каждого свои...

— Сначала, может быть, вы покажете мне те фотографии?

— В таком месте, удобно ли?.. они чересчур откровенные.

— Я не собираюсь их демонстрировать окружающим.

— Все это верно, но...

Четырехугольный конверт, протянутый мне украдкой. Открываю — еще один конверт, скрепленный клейкой лентой. И уже в нем — шесть фотографий величиной с открытку, проложенных плотной бумагой.

— Все цветные, — шепчет он, наклонившись ко мне, — позы, смотрите, какие разнообразные... Насколько они смелее профессиональных фотографий. Натурщица, может быть, и похуже, но... она полная, и ноги кажутся непропорционально тонкими, поэтому напоминает какое-то насекомое. Но все равно — эффектно... а волосы, смотрите... для журнала такой снимок ни за что не подошел бы...

— Странно, все фотографии сняты со спины. Или, может быть, вы просто отобрали такие?

— Вкус начальника отдела. Почему-то все сняты со спины.

— Натурщица как будто одна и та же.

— Волосы у нее, на мой взгляд, потрясающие. Напоминают конский хвост.

Действительно, снимки лишены выразительности, свойственной фотографиям профессионалов, косвенно намекающим на что-то; можно сказать, в них нет остроты, задевающей зрителя за живое. Возможно, все дело в осветительной аппаратуре и технике, хотя фигуры, в общем, выглядят очень уж плоскими. Кроме того, натурщица всегда занимает почти весь кадр, совсем не оставляя вокруг свободного пространства. Наверно, он интересовался больше не композицией, а самим телом, которое фотографировал, и поэтому упрекать его вряд ли стоит. И все же шесть этих фотографий преследуют какую-то определенную цель. Подчинены какому-то определенному стремлению. Он фотографировал не обнаженную натуру вообще, а определенную женщину. Причем все фото-

графии сделаны сзади, и, хотя позы разные, чувствуется, что его больше всего интересовала спина. Лицо он не фотографировал. Рассыпанные по спине длинные волосы либо оказываются наполовину за кадром, либо скрыты оттого, что женщина снята, наклонившись вперед. Тасиро обронил критическое замечание, что, дескать, женщина полная, поэтому ноги кажутся непропорционально тонкими, и она напоминает насекомое, но если как следует присмотреться, то можно обнаружить, что это сделано сознательно, путем выбора определенного ракурса. Взять, например, фотографию, на которой, по словам Тасиро, виден «конский хвост». На ней женщина стоит на коленях, спиной к зрителю, сильно наклонившись вперед, ее розовые пятки — в углах фотографии, мельчайшие детали даны крупным планом, будто рассматриваешь их через лупу, резкость изумительная — видны даже поры. Рука, которой она крепко ухватилась за ягодицу, какая-то широкая, можно даже подумать, что это чужая рука, возможно даже мужская, но по мере приближения от запястья к локтю она резко утоньшается, как бы усыхает. Видимо, такой эффект достигнут благодаря широкоугольному объективу. Самое правильное было бы предположить, что стремящийся во всем к совершенству, он и эти фотографии делал с какой-то определенной целью. Но вопрос в том, какова была эта цель. Вполне допустимо, что им двигало стремление превратить женщину в неженщину, расчленив ее на части, но благо бы это были работы брата, а так подобная цель не укладывалась в сознании. Во всяком случае, моя заявительница не какая-нибудь расплывшаяся уродина, чтобы вызвать у мужчины желание таким способом отомстить всем женщинам. Она скорее напоминает загадочную картинку. В общем, фотографии были неприятны, раздражали, да иначе и не могло быть. Но что же заставило его увлечься такой работой?

— Он вам не сказал, как зовут эту натурщицу?

— Саэко... Она говорит, ей двадцать один год, но я думаю, все двадцать пять, а то и двадцать шесть, — отвечает он раздраженно, поправляя сползающие очки. — Осторожно, официантка идет.

Когда я, перебрав всю пачку фотографий, поднял глаза, то увидел средних лет мужчину, сидевшего на корточках у колонны и рассеянно озиравшегося по сторонам. Полы пальто складками свешиваются до кафельного по-

ла, и, судя по этим складкам, материал, видимо, не из дешевых. Кожаный портфель, лежащий рядом, указывает, что это обыкновенный служащий. На стол со стеклянной доской официантка ставит кофе, под молочник кладет счет. Мужчина у колонны продолжает безразлично, будто перед ним обыкновенный пейзаж, провожать глазами беспорядочно и непрерывно движущиеся толпы людей. Он не похож ни на человека, который отыскивает кого-то определенного, ни на человека, который ждет, чтобы его отыскали. Своим поведением, своей позой он напоминает бродягу, не знающего, что бы ему предпринять. Там, где он, — совершенно пустое пространство, иди куда хочешь. Место, которое можно пройти шаг за шагом и скрыться, чтобы приблизиться к цели. Несуществующий, нереальный мир для всех, кроме воров, сыщиков и фоторепортеров. Чем больше я смотрю на этого мужчину, тем неестественнее кажется мне его поведение. Однако людей, проходящих мимо, этот странный человек нисколько не волнует. Видимо, потому, что для них он не больше чем пустота, исчезающая под ногами, подобно узору на кафеле.

Неожиданно я подумал, не умирает ли этот человек? Горло забито распухшим языком, и он не в силах попросить о помощи, и лишь взгляд его вопиет о горечи последних минут. Бесполезно. Там совершенно пустое пространство — иди куда хочешь. Сколько бы он ни взывал, никто не обернется и не посмотрит на человека, которого не существует.

Но тут человек как ни в чем не бывало быстро поднимается и как ни в чем не бывало смешивается с толпой.

— Последняя фотография... очень уж она неприятная, кажется мне... и у того, кто снимал, но это уж ладно, и у той, которую снимали, нервы как-то по-особому устроены, что ли?

Слово «неприятная» не совсем подходит. Если говорить о ее откровенности, то есть сколько угодно еще более нескромных. Фон черный, и на этом черном фоне жегџина стоит на коленях, центр тяжести она перенесла на левую ногу и сильно подалась вперед; волосы закинута назад, и правой рукой у поясницы она их придерживает. Поза настолько неестественна, что даже не волнует. Она вызывает физиологический протест не только против того, что изображено на фотографии, но и против

безмерных физических страданий натурщицы. Плоская белая поясница никак не вяжется с вывороченными руками и ногами и так же невыразительна, как панцирь краба. И этим панцирем женщина прикрывает невообразимую позу. Действительно, бессмысленная фотография. Она попросту неестественна и, не вызывая никаких эротических чувств или садистских побуждений, оставляет лишь неуютное ощущение, как если бы живые цветы посадили в перевернутый горшок. Поражала лишь необыкновенная готовность, с которой натурщица приняла такую позу. Если объяснять это стремление продемонстрировать безграничную власть над натурщицей, тогда, пожалуй, можно понять появление такой фотографии...

— Тасиро-кун, вы, наверно, решили показать эту натурщицу с какой-то определенной целью?..

— Нет, я бы этого не сказал. Просто это одна из неизвестных сторон жизни начальника отдела, и я считал своим долгом познакомить вас с ней...

— Однако начальник отдела, видимо, очень доверял вам, если поручил даже хранить подобные фотографии.

— Да, дело в том, что начальник отдела был тяжелым человеком и поддерживать с ним отношения было нелегко. В обычном, так сказать повседневном, общении он был хорош с людьми, но внутренне принадлежал, как мне кажется, к тем, кто никому не доверяет.

— В ближайшее время мне, видимо, будет необходимо заглянуть к вам домой, если вы, конечно, позволите. Среди вещей, которые дал вам на сохранение начальник отдела, может оказаться и такая, которая вам представляется ничего не значащей, мне же, если я взгляну на нее, не исключено, поможет напасть на след.

— Нет, по правде говоря,— он в некотором замешательстве сощурился за стеклами своих очков,— они были не у меня дома. В фотолаборатории, о которой я вам говорил вчера, начальник отдела имел собственный шкаф...

— Но он, наверно, заперт?

— Конечно, шкаф запирается...

— Как же вы его открыли?

— Да, видите ли, отмычкой... владелец фотолаборатории ведь мой приятель...

— И вы открыли без разрешения?

— Газету вот тоже, честно говоря, я нашел в этом шкафу. Вам не кажется, что этот факт имеет глубокий

смысл? Газета от конца июля или начала августа. Как раз когда начальник отдела исчез. Может быть, эта заметка и послужила толчком. Если пропадают без вести восемьдесят тысяч человек, то он мог решить, что прибавить к ним еще одного — невелика важность...

— И все-таки вы открыли без разрешения?

— Но ведь это может пойти на пользу начальнику отдела... если в комнате заперся человек, готовый покончить жизнь самоубийством, выломать дверь — не значит, я думаю, совершить преступление.

— Я и не собираюсь вас обвинять. Просто уточняю факты.

— Для чего?

— Я имею в виду топливную базу в городе F., где я вчера был. Почему вы с самого начала скрыли, что речь шла о топливной базе? Не говорите только, что не знали. Вам не хватает прямоты. Может быть, вы и сейчас скрываете что-то важное?

Его бледное лицо начинает окрашиваться в багровый цвет. Он оттопыривает губы и вызывающе разворачивает плечи:

— Зачем вы говорите такие вещи? Вы же растаптываете добрые намерения человека. Возьмите хоть эти фотографии, я ведь по собственному почину... не рассчитывая ни на какое вознаграждение... промолчи я, кто бы узнал... чепуху-то не надо говорить...

— Странное заявление. Вы пользовались особым доверием Нэмуру-сан, верно? Так разве же не естественно, что по собственному почину вы хотите мне помочь?

— Нет, все не так просто, как вам кажется.— И с мрачным видом покусывая верхнюю губу: — Вы все это говорите потому, что такая у вас профессия... но, наверно, не всегда разумно гнаться за сбежавшим человеком... иногда правильнее помочь ему спрятаться.

— Но ведь человек не всегда исчезает по собственной воле. Его могут убить или силой куда-нибудь затащить...

— Не говорите такого, чему даже дети не поверят.

— Может, вы и прячете его?

— Разве у меня сил на это хватит? Лично я, думаю, хочу, чтобы начальник отдела вернулся. Но говорить об этом я не имею права. Если бы мы где-нибудь встретились, не знаю, хватило ли бы у меня смелости окликнуть его... наверно, захотел бы окликнуть, но вряд ли смог бы... а уж если бы окликнул, то, уж наверно, по-

пытался заговорить с ним, пообещав, что никому не расскажу о встрече... естественно, меня он очень интересует... сильный человек... я бы не смог...

— Для этого не нужно быть сильным.

— Ну а вы бы смогли?

— К сожалению, я еще не стал начальником отдела.

— Я бы не смог... эта мерзкая фирма... я буквально убить себя готов, как подумаю, что ради этой фирмы торгую человеческими жизнями... а-а, куда ни посмотришь, везде одно и то же... служу там, а что меня ждет? Стану начальником отделения, потом начальником отдела, потом начальником управления... а если и об этом не мечтать, то жизнь еще горше покажется... товарищей обойди, к начальству подлижись... кто не следует этому правилу, того кто угодно ногой пнет, с такими, как с отбросами, обращаются...

— И среди них затерялся человек, пропавший без вести в каком-то другом мире.

Собеседник смотрит на меня с удивлением. Не поправляя сползшие к кончику носа очки и стараясь смотреть на меня сквозь них, закидывает голову вверх, и на кадыке поднимается несколько невыбритых волосков.

— Возможно...— и, вздохнув с облегчением, точно надеясь на что-то, он чуть понижает голос: — Ну да, сколько людей без конца куда-то отправляются... и у каждого из них определенная цель... сколько же этих целей?.. вот и я люблю, сидя здесь, наблюдать за тем, что делается снаружи... никому не нужный, тоскуя, с тяжелым сердцем. Все идут и идут без отдыха, а у тебя цель потеряна, и остается только смотреть, как идут другие. От одной мысли об этом судорогой сводит ноги... становится как-то тревожно и грустно... ради какой угодно, даже самой ничтожной цели идти, просто идти — какое это счастье, я ощущаю это всем своим существом...

Без всякой связи мне вдруг приходит в голову мысль: почему женщина, простившись с братом, не захотела присутствовать на кремации? Хотя она и говорила, что товарищи брата взяли на себя все заботы, но ведь она единственный человек, состоявший с ним в кровном родстве. И было бы совершенно естественно, если бы она, не дожидаясь приглашения, приняла участие в траурной церемонии. Может быть, она боялась, хотела избежать этого страшного зрелища? Ее состояние можно понять, но все равно такое поведение неестественно. Однако в

этой неестественной ситуации она вела себя настолько естественно, что там, в храме, даже я ничего не заподозрил. Или, может быть, женщина уже в то время, когда брат был жив, считала его мертвым, ушедшим из жизни? С этим объяснением можно согласиться, если ее веру в брата, близкую к безоговорочной, считать панихидой по усопшему. Мне кажется, я начинаю понимать, почему в тот самый миг, когда тело вынимали из гроба и предавали огню, она в десяти минутах ходьбы от храма возбужденно разговаривала со мной о брате, не проронив ни единой слезинки. В гостиной, наполненной фантастическими видениями и разговорами, которые она бесконечно ведет сама с собой, незримо присутствует покойный, и ей нет нужды что-то менять в своем поведении. Значит, и в отношении его, исчезнувшего...

— Это было давно, но я до сих пор с отвращением, с содроганием вспоминаю ту сцену.— И через равные промежутки времени, примерно три раза в секунду, переводя взгляд от окна на меня и обратно, Тасиро продолжает доверительно: — Я тогда отдыхал, сидя на скамейке в каком-то парке. На соседней скамейке спал нищий, но расстояние между нами было больше трех метров, солнце пекло нещадно, и я решил терпеть его соседство, пока не выкурю сигарету. Вдруг неподалеку послышался шум — показалась огромная колонна демонстрантов с красными и голубыми флагами. Одни пели песни, другие кричали в мегафоны, третьи, взявшись за руки, делали вид, что бегут,— и все это продолжалось бесконечно. В какой-то момент проснулся нищий и тоже стал смотреть. Но сразу же заплакал. Он лил слезы в три ручья, скривив губы, вцепившись руками в грудь, выглядывавшую из-под рваной рубахи... весь трясся... ни прежде, ни потом — никогда я не видел таких горьких рыданий... он плакал, глядя на демонстрацию... он был нищим, а значит, грязным, пропыленным, и поэтому с его подбородка капали слезы, черные, как вода, стекающая с половой тряпки... так тоскливо и горько стало ему, когда он увидел идущих людей...

— Может быть, пойдем куда-нибудь в другое место и выпьем по стаканчику? Я угощаю.

— Смотрите, а то, может, не стоит.

— Нет, нет, я хотел вас еще кое о чем спросить...

— А, о шантаже хозяина топливной базы, о котором вы мне говорили, или о чем-нибудь в том же роде?

— Пойдемте куда-нибудь. Есть приличное местечко, причем не очень дорого?..

— Что ж, пошли в бар при студии, где работает Саэко. Клиенты пьют и поджидают в этом баре выбранную ими натурщицу. Студия и бар — одно и то же заведение, поэтому клиентам делается скидка. Хотите встретиться с Саэко?

— Вы постоянный посетитель этого бара?

— Ну что вы... разве моего жалованья на это хватит?



Может быть, оттого, что с наступлением вечера небо заволочло тучами, стало не так холодно. Ветер прекратился, и навис туман, неоновый свет реклам и свет уличных фонарей смешались, будто смотришь сквозь запотевшее стекло, слиплись, как подмокшие леденцы. На главной торговой улице магазины уже начали закрываться, но на боковой улице, куда мы свернули, начиналось самое оживленное время. Большие и маленькие кафе, патинок, пивные, закусовые... а между ними — магазин подержанных фотоаппаратов, букинистический магазин, магазин европейской одежды, а потом очень уютный магазин грампластинок... дальше снова бар, кафе и, наконец, аптека. Пересекаем еще одну широкую улицу и оказываемся на улочке, где чуть ли не вплотную друг к другу выстроились бары, пивные, кабаре. Неоновый туннель окрашивает небо за нами, но у угла огромного здания он кончается, и небо становится непроглядно темным, а мужчин, толпой запрудивших всю улицу, уже почти невозможно различить. Впереди еще одно здание, ярко сверкающее неонами, — там турецкая баня и гостиница для парочек. Тут мы сворачиваем налево и идем по узкой дорожке за ветхим кинотеатром.

— Люди, деловито снующие здесь, если подумать, тоже временно пропавшие без вести. На всю ли жизнь, на несколько ли часов — разница лишь во времени...

— Пожалуй, верно. Я то же самое хотел сказать, когда мы проходили мимо патинок. В патинок человек переживает состояние пропавшего без вести. Черт, какая противная музыка... постойте, около того телеграфного столба, чуть в глубине, вроде бы должен быть бар с ма-

лопривлекательным входом... одному в нем лучше не показываться... может быть, потому, что испытываешь какое-то постыдное чувство, будто играешь в пропавшего без вести...

Дверь с молотком вместо звонка... отчаянно скрипящие петли... вышедшие из моды светильники, резко очерчивающие тени... стойка с высокими табуретами и рядом три столика — ничего лишнего, только самое необходимое. Неприветливость бармена за стойкой переходит все границы. Оставив меня у стойки на неудобном высоком табурете, Тасиро идет к двери в глубине бара, чтобы договориться о приглашении Саэко. Хоть он и не постоянный посетитель, но здешние порядки знает слишком уж хорошо. Двойное виски с содовой... бармен, не отвечая ни слова, взбивая коктейль, продолжает дергать локтем, движения у него быстрые и уверенные... посетителей только двое, за столиком у входа... судя по тому, как они склонились друг к другу, почти упираясь лбами, и поглощены беседой, один из них не посетитель, а, возможно, служащий этого бара, и они о чем-то договариваются... бармен ставит передо мной стакан и, отвернувшись, включает проигрыватель. В тот же миг раздается музыка, такая громкая и в таком бешеном темпе, что начинает ходуном ходить пол, и теперь этой музыкой я заперт в пространстве, ограниченном метром в окружности.

— Все в порядке, скоро придет. Мне тоже с содовой.

Потирая руки и улыбаясь во весь рот, Тасиро снимает пальто и садится рядом со мной.

— Пока мы ее ждем, может быть, поговорим?.. о том самом шантаже... допустим, что хозяина топливной базы действительно шантажировали... что позволило это сделать?

— У вас, видимо, есть конкретный вопрос: возможно ли, чтобы начальник отдела был замешан в шантаже?..

— Нет, я могу поклясться, что Нэмуро-сан не имел никакого отношения к шантажу... вообще вся эта история с шантажом весьма проблематична... просто во всем есть обратная сторона, невидимая людям, находящимся снаружи, как у той двери, через которую вы только что проходили... и если не знать этого, невозможно понять истинного содержания происходящего... потому-то мне и нужно в той или иной мере быть знакомым со всеми обстоятельствами, согласны? Шантаж похож на тараканов, кишущих на черной лестнице... что делает шантаж возмож-

ным?.. если подойти к происшедшему с этой стороны, может быть, удастся сразу же восстановить всю картину в ее истинном виде... часто мы бываем лишь исполнителями...

— После нашего телефонного разговора я много думал... конечно, не в полном объеме, как вы только что сказали... только о том, какая могла существовать возможность...

— Ну что же, пусть хоть о возможности.

— В деловом мире существуют комиссионеры, занимающиеся куплей-продажей специальных соглашений, заключенных с торговыми предприятиями, есть люди, специализирующиеся на добавлении в бензин различных примесей. Дело в том, что в зависимости от сорта бензина резко колеблется процент налоговых отчислений, и с помощью подобных примесей они наживаются. Поэтому и в розничных топливных базах в довольно значительных масштабах, особенно если позволяет их географическое положение, занимаются подделкой сортности. Может быть, и на этой базе было что-нибудь в таком роде?

— Я перескакиваю с одного на другое, но мне хотелось бы спросить: вы не были знакомы с братом жены Нэмуру-сан?

— С братом?.. С женой вот я два раза виделся.

— Такой грубый на вид парень, широкоплечий, ходил вразвалку. Неужели вы у Нэмуру-сан никогда не бывали дома?

— Нет, я его не знаю...

— Прошлой ночью его убили.

— Убили?

— В двух-трех километрах от топливной базы в том самом городе F.

— Почему-то такие люди... все без исключения, живут своей особой жизнью... неужели я один не знаю о случившемся?

Настороженный, пытливый взгляд за очками становится бегающим, испуганным. Чуть толкнуть — опрокинется. Лучше всего поверить ему. Видимо, шантаж преследовал единственную цель — выманить деньги. Если бы даже он и имел хоть малейшее отношение к фирме «Дайнэн», этот осторожный и подозрительный служащий ни за что не проронит ни слова, даже если незаконные сделки и производились.

— Простите, что заставила вас ждать.

Эти слова, прервавшие наш разговор, произнесла деловым, сухим тоном бледнолицая девушка с выдающимся вперед подбородком, в длинной вишневой накидке с темно-синим кантом. За исключением распущенных волос, ничто в ней не напоминает натурщицу на фотографиях. Отдельные ее части на фотографии не имеют ничего общего с оригиналом. Аккуратный, чуть вздернутый нос, в остальном же толстые, будто надутые, губы, следы прыщей на щеках, припухшие нижние веки — кажется, только нажми, потекут слезы, — слишком грубое лицо, хотя оно и продается как объект для фотографирования. Но лицо девушки еще не объясняет его пристрастия к фотографированию сзади. Оставив лицо за кадром, можно найти сколько угодно других частей тела для фотографирования. Кроме того, если бы к тем позам, которые она так охотно принимала, добавилось еще и соответствующее им выражение лица, они, не исключено, выглядели бы совершенно по-иному.

— Можно сразу пройти в студию.

— Выпейте стаканчик, я угощаю. — Отодвинув табурет, предлагаю ей место между мной и Тасиро. — Пива или чего-нибудь покрепче?

— Не тратьте зря время. Или, может, деньги для вас ничего не значат?

— Не беспокойтесь.

Насмешливо хмыкнув, она взбирается на высокий табурет, и в этот момент накидка распахивается и оголяются ноги, чуть ли не до бедра. Прекрасные ноги, даже нельзя себе представить, что у нее могут быть такие ноги, когда видишь ее лицо или вспоминаешь фотографию, где ее фигура деформирована. И хотя кожа не очень уж белая, ноги прекрасной формы, развитые, как у спортсменки. И лишь его непонятное, ничем не объяснимое пристрастие к съемкам со спины могло исключить такие ноги из объекта фотографирования. Саэко — это уж, наверно, чисто профессиональное — выставила длинные голые ноги и кончиком туфли без задника стучит по стойке в такт музыке.

— Бармен, следите за временем. Что я выпью? Если можно, «джинфиз».

— Вас рекомендовал мне человек по имени Нэмуро.

— Кто-кто?

— Вы его должны знать. Он показывал ваши фотографии. Все до единой.

— Который меня снимал?.. тогда, значит, это тот клиент, что с собой меня забирал... вы, наверное, знаете, в студии фотографировать не разрешают.

— А что же там делают?

— Разве не ясно? Оценивают прелести моего обнаженного тела. Но только глазами.

— Но зато чего стоят позы на тех фотографиях. Прямо хватает за душу.

— Да, с работой здешних желторотых не сравнить. Но в последнее время я не езжу сниматься. Скоро замуж собираюсь. Сами понимаете, поездки на съемку, там что хочешь может случиться, да и жениху это не нравится.

— Очень рад за вас. Но если это произойдет, многие клиенты, наверно, будут огорчены.

Бармен, сохраняя полнейшую невозмутимость, ставит перед женщиной коктейль. Из-за лопающихся пузырьков газа его поверхность кажется гладью бездонного озера, над которой поднимается белый туман. Стакан Тасиро уже пустой, и он, держа во рту большой кусок льда, блуждает вокруг рассеянным взглядом, непонятно, слушает он наш разговор или нет; скорее всего, он мысленно провожает глазами безжалостные толпы прохожих, идущих мимо и покидающих его... Я тоже залпом осушаю стакан и заказываю у бармена еще две порции виски с содовой... Тасиро с опаской смотрит на меня.

— Нэмуру-сан, наверно, больше всех будет огорчен...— говорю я громким голосом, чтобы перекрыть пластинку, но, судя по тому, что Тасиро никак не реагирует на мои слова, видимо, стены таинственной комнаты, воздвигнутые музыкой, толще, чем можно было предположить, и наш разговор до него, наверно, не доходит.

— Может, попросить, чтобы сделал потише?

— Нет, ничего. Громкая музыка тоже имеет свои примуущества.

Девушка ехидно улыбается, потягивается, опершись руками о стойку, и, высоко подняв голое колено, закидывает ногу на ногу. Ляжка, ставшая еще аппетитнее и толще от такой позы, занимает все пространство от стойки до табурета. Перенеся центр тяжести на руку, в которой зажат стакан, она наклоняется ко мне, сократив наполовину расстояние между нами.

— Это он и есть, который рядом сидит?

— Нет, не он. Но и его вы, должно быть, видите не в первый раз. Припоминаете?

— Разве каждого клиента в лицо упомнишь? Когда на тебя все время направлены юпитеры, глаза прямо переполняются светом, и клиент кажется черным-черным, как ворона в непроглядную ночь.

— Но согласитесь, фотографии Нэмуро-сан ужасны...— Я слегка касаюсь пальцем ее ноги и, убедившись, что она не противится, смело кладу всю ладонь на большую белую округлость. А Тасиро, косивший в нашу сторону, поспешно опускает глаза и подносит к губам только что поставленный перед ним новый стакан, чуть ли не вцепляясь в него зубами.— Разрешить фотографировать в таких позах — разве это не доказывает вашу близость?

— А чем занимается этот человек?

— Наш начальник отдела.

— Вот оно что... да простому служащему не потянуть... когда меня нанимают для съемки, это стоит очень дорого... я получаю много, но зато и делаю все, что скажут...— Она залпом допивает коктейль, который до этого тянула маленькими глотками, будто лизала, и тут же отдает бармену стакан для новой порции.— Я же говорила, что скоро у меня свадьба. И мне хочется, чтобы она была богатой. Наряд невесты напрокат — ни за что. В самом дорогом отеле соберу всех своих подруг. Пусть за мой счет пьют ночь напролет...

— Подруги — тоже натурщицы? А жених знает, чем вы занимаетесь?

— Вам-то какое дело.— Видимо, я коснулся больного места. Девушка сердито отбрасывает мою руку.— Работа эта нелегкая, ради удовольствия заниматься ею не станешь. Вот хотя бы я, о чем только я не мечтала! Да вот счастье не улыбнулось. Но я не покорилась. Если вы меня жалеете, давайте поспорим, у кого больше на книжке. Рекламириванием универмагов по продаже вещей в рассрочку или демонстрацией купальников — этим ничего не заработаешь. Заниматься таким делом можно лет до двадцати пяти — двадцати шести самое большее, а на книжку ничего не отложишь.

— Ваш жених может вами гордиться.

— Конечно, от меня ему никакого убытка не будет. И расходы на свадьбу, и взнос за квартиру — у меня на все отложено. Умолять, чтобы на мне женились, — благодарю покорно.

— Выходит, те фотографии приобретают сейчас большую ценность.

— Что-то вы уж очень заумно, а о каких фотографиях-то речь?

— О тех, где вы со спины сфотографированы. Помните, наверно? Только со спины... так и чувствуется похотливый взгляд человека, фотографировавшего вас... вот о них я и говорю...— Вытащив из кармана один из снимков, заранее приготовленный мной, я сую его под нос девушке. Выражение ее лица моментально меняется, голос становится отчужденно-резким.

— А откуда известно, что это я?

— Известно...— Я снова кладу руку на ее ногу и через ладонь впитываю в себя собеседницу.— Ну, прежде всего, волосы...

— Волосы? — Она вдруг истерически рассмеялась и так же неожиданно подозрительно нахмурила брови: — Странные вещи вы говорите. Не всегда, конечно, но по просьбе клиентов я пользуюсь париком. Вот и теперь заказали, чтобы были длинные черные волосы...

Девушка быстро поворачивается в сторону Тасиро и, встряхнув длинными распущенными волосами, сует ему их под нос. Высокий пронзительный голос, но слов я не разбираю. И лицо Тасиро, прежде чем я успеваю разглядеть его выражение, быстро прячется за девушку. Вот оно что, парик? Конечно, одного этого мало, чтобы доказать, что натурщица на фотографии и эта девушка не одно и то же лицо... взять хотя бы ту странную позу, где у нее свешивается хвост волос — вряд ли можно утверждать, что нельзя сделать такое и с париком... например, можно зажать губами и принять позу, в которой это не будет видно...

— И я вас предупреждаю.— Я сравниваю ногу, которой сеть голубых жилок, проступающих на ее белизне, придает неповторимую прозрачность, с покоящейся на ней рукой, похожей на огромного красного паука, а девушка продолжает нападать на меня: — Бросьте свои нелепости. Так специально и задумано, чтобы мои снимки были оригинальными. Но только не ошибитесь. Думаете, мы позволим фотографировать нас так, чтобы потом можно было доказать, кто это? Мы ведь не простушки какие-нибудь. Посмотрите, и вы все поймете.

Девушка неожиданно поднесла пальцы к тому месту, где ее волосы соединялись с париком, и сняла его, точно кожуру со зрелого персика. Длинным пучком накладных волос, превратившихся как бы в новое живое существо,

она больно бьет меня по руке и кладет их на колено. Бармен чуть меняет позу, и теперь профиль его становится удивительно широким, застывает. Под волосами, на виске — может быть, свет так падает — виднеется тень, точно от вмятины, а возможно, это след ножевой раны. Была ли его мрачная бесстрастность лишь внешней особенностью лица или неизлечимым недугом, проникшим вглубь и достигшим самого сердца? Во всяком случае, вряд ли стоило оставаться здесь, игнорируя такое предостережение. Когда я отнял руку от ноги девушки, она точно впервые замечает ее, судорожно сводит колени и злобно смотрит на меня, будто перед ней лютый враг.

— Мне, наверно, нечего надеяться, что вы пригласите меня на свадьбу.

— Так что мы будем делать? Если мы прямо сейчас не пойдем в студию и не поторопимся, то времени совсем не останется.

Меняется пластинка. Секундная тишина разрывает уши, и последние слова девушки, точно крылья огромной птицы, нависают над баром. Двое за столиком у входа удивленно поворачиваются в нашу сторону. Потом снова играет музыка — соло на гитаре, — и воздух вокруг теряет свою плотность, и мы уже не отделены от остальных. Допив остаток виски с содовой, я поднимаюсь с табурета.

— Должен извиниться перед вами. Вспомнил, что у меня еще срочное дело. — Прибавляя немного к обещанной сумме, я кладу на две приготовленные тысячеиеновые бумажки столбик из стоиеновых монет. — Очень благодарен вам, прекрасно провел время, но, к сожалению, должен идти. Кажется, еще осталось оплаченное мной время, и, если вы не возражаете, я уступлю его Тасирокун. У вас, видимо, никаких особых дел нет?

Багрянец, которым алкоголь окрасил лицо Тасиро, разлился по шее, и только кончик носа и подбородок, будто прижатые к стеклу, остались белыми. Он пребывал в странном состоянии, не отказываясь и не соглашаясь, но в конце концов, похоже, согласился.

— Вы, наверно, одинокий. — Повернувшись к Тасиро, девушка, не скрывая издевки: — Надо бы хоть на рубаше пришивать пуговицы нитками одного цвета. Вам это не кажется?

Однако Тасиро, вытирая кончиком пальца за очками, сидит как чурбан, ничего не отвечая. Бармен все так же безмолвно опускает передо мной мягко, как пушинку сне-

га, счет за выпитое и раньше, чем взять деньги, дает сдачу. Пройдя мимо столика, за которым сидят те двое, погруженные в какие-то серьезные переговоры, я берусь за ручку двери, но в этот момент меня неслышно догоняет девушка — запах дешевой косметики наводит на мысль о жалкой девичьей постели.

— Ладно, я вам пришлю приглашение на свадьбу.

Шепнув это, она абсолютно спокойно распахивает на секунду свою накидку. Под ней она совершенно голая. Худощавый ее не назовешь, но тело кажется не крепко сбитым, упругим, а скорее рыхлым. Судя по пушке внизу живота, она действительно совсем не та, что позировала для фотографий.

— Работа, — говорит она важно, с деланным смешком. — Вам, может, покажется странным, но я честная. А вот жених все равно не хочет, чтобы я сюда ходила. По нему, самое надежное — это дом. Может, вы еще разочек зайдете, перед моим замужеством?

Тасиро, точно искусно сделанная марионетка, стоит на том же месте, не изменив позы. Сжав слегка пальцы девушки, открываю дверь. Дверь пищит, как вспугнутая птица. Пронизывающий ветер лезет за воротник, в рукава. Музыка отдаляется, переходит в бормотание, превращаясь чуть ли не в галлюцинацию, и с каждым шагом все больше сливается с серым шумом бескрайнего города. Мои ощущения тоже растворяются, рассыпаются в этой тьме. Торопливо иду туда, где неоновое небо. Стараясь как можно быстрее подстроиться к походке прохожих, стремящихся к определенной цели...



Однако чем больше я ускоряю шаг... да, я слышу чужие шаги, шаги человека, несомненно, имеющего цель, пытающегося нагнать меня. Улица перед кинотеатром не особенно людная, зато в потоке такси нет ни просвета... но я продолжаю идти... может быть, потому, что нет пустых такси, а может быть, я хочу, чтобы следующие за мной шаги быстрее догнали меня.

Вскоре слышится тяжелое дыхание человека, идущего в ногу со мной. Не меняя шага, не оборачиваясь, я продолжаю игнорировать его, будто это моя собственная

тень. Слабый, жалобный голос, как писк голодного комара, начинает точить мое замерзшее ухо.

...В чем дело?.. девушка не в вашем вкусе?.. я считаю, у нее прекрасные ноги... даже в летний зной тело у нее, наверное, прохладное... неужели не в вашем вкусе?.. почему вы молчите?.. вы, конечно, поражены... но что мне было делать... я не из дурных намерений... наоборот, я изо всех сил старался угодить вам... малодушный я, да?.. я сам себе противен... вот так всегда, и ведь прекрасно знаю, что потом буду раскаиваться, хоть в петлю лезь... почему только я таким уродился?.. противно... забудьте, что вам говорил о примесях... по глупости наболтал... по правде говоря, на обычной розничной базе выгодно торговать, даже когда дела ведутся честно. А с опасностью для жизни ходить по проволоке — это, знаете ли... если уж делают махинации, то, как правило, с помощью двойной бухгалтерии, чтобы избежать налога... никто заранее не думает, что один неверный шаг — и тебя схватят за руку... я правду говорю. Потому натягивается, так сказать, предохранительная сетка: создается фиктивная компания, и, если ее выследят, фирма никакого урона не понесет... так что все равно не докопаться... сколько ни разнюхивай, не докопаться...

Я не отвечаю. Не соглашаясь, не возражая, продолжаю идти тем же шагом. Постепенно людей становится все больше. Точно ночные бабочки, они тянутся туда, где искусственный свет. Притихший было Тасиро, не выдержав моего молчания, нетерпеливо продолжает:

...Причины две... почему мне пришлось прибегнуть к такой выдумке?.. я испугался... вы понимаете?.. стоило мне подумать, что начальник отдела Нэмуро без всякой причины пропал без вести, и я почувствовал себя покинутым... хотя нет, несколько иначе... во мне все восстало, может быть, даже зависть... я испытал зависть... самое прекрасное, что есть в жизни человека, отнято только у меня, только я остался за бортом... и пусть это было неблагоразумно, я хотел найти какую-то причину, найти объяснение и этим успокоить себя... такое у меня было состояние... и еще одно... противно об этом говорить, но... до сих пор я никому этого не говорил и мучился в одиночестве... но теперь я должен стать честнее... во всяком случае, начав рассказывать, я вынужден буду признаться во всем... по правде говоря, те фотографии тоже моя выдумка... простите... ложь с начала и до конца... я слу-

чайно нашел их на улице... они мне показались интересными, и, без конца рассматривая их, я спутал реальность с вымыслом... может быть, из-за жены начальника отдела... что вы о ней думаете?.. притворяется глупенькой, а сама может человека крепко подкусить, одурачит кого хочешь, правда?.. может, это потому, что на меня она смотрела как на подчиненного Нэмуру-сан?.. я, конечно, подчиненный, но все же можно бы ей не оскорблять человеческое достоинство... хотя стоит ли принимать других людей всерьез, но все же... да что я, собственно, прицепился к ней...

Я по-прежнему продолжаю хранить молчание. Вмешательством во время признания легко толкнуть собеседника на новую ложь. Пока инерция падения не затухла, ее нужно использовать. Я иду. Улица в какой-то момент оказывается погребенной под водопадом света, он вбивает в ночь клин дня, ритм бешеного времени пьянит прохожих.

...Зачем я это делаю? Спазм сжимает горло Тасиро, он задыхается. ...Я разоблачен, да? Я опять вам соврал... против воли ложь сама вылетает из моего рта... может, это болезнь?.. болезненная лживость, что ли... те фотографии, откровенно говоря, я сам сделал... мне стыдно, что до сих пор скрывал это... натурщица, конечно, тоже не эта девица... почему я фотографировал только со спины?.. отсюда женщина выглядит особенно соблазнительно... клянусь, это была последняя ложь... вы, наверно, мне не верите, но все же... я раскрыл перед вами сердце, не сердитесь на меня, прошу вас... я обременен ужасной тайной... она держит меня в страхе... чтобы освободиться от ее тяжести, я лгал, хотя можно было и не лгать... мне казалось, что, если в мою ложь поверит кто-то третий, она превратится в истину... но у меня уже нет сил... я хочу освободиться от груза, раскрыться до конца... я хочу попросить вас вернуть мне фотографии... они не имеют к начальнику отдела никакого отношения, просто я пытался прикрыть его именем свой позор...

Я снова не отвечаю. Ночное небо, на котором дышит неон, водовороты людей, мчащихся к невидимой цели, праздник мрака лжебеглецов, которые не могут увеличить расстояние между собой и чужими, незнакомыми людьми больше чем на три метра, с какой бы скоростью они ни неслись, имитация репетиции вечного праздника, повторяющегося каждый вечер. Подхожу к краю тротуа-

ра, чтобы остановить такси. Тасиро, забежав вперед, брызжет мне в ухо желтой слюной.

...Прошу вас, послушайте меня... ужасная тайна... я видел... видел начальника отдела Нэмуру... я не вру... почему вы не слушаете... ваша обязанность найти начальника отдела... вы мне не верите?.. хотя бы и так, все равно обязаны меня выслушать... я видел... своими глазами видел, как шел начальник отдела Нэмуру.

Заметив огонек свободного такси, я поднимаю руку. Такси тормозит, резко сворачивает и, загрохотав, точно жестянка, останавливается, и я рывком открываю дверцу. Тасиро чуть ли не цепляется за машину, чтобы поехать вместе, но я не приглашаю его, хотя и не запрещаю сесть со мной.



Ужасно мрачный шофер. Когда я сказал, куда ехать, он не только ничего не ответил, но даже не кивнул, резко нажал на сцепление, без всякого сочувствия заставив старенький мотор закашляться. Если он, выйдя через заднюю дверь «Камелии», скрылся в другом мире, то, наверно, так же как этот шофер, изо дня в день скребет осколками стекла по своим нервам... и если он может терпеть такую жизнь, неужели же этот мир стал для него столь невыносимым, что не осталось другого выхода, как навсегда покинуть его?

— Я видел начальника отдела Нэмуру.

Очки Тасиро, который с беспокойным выражением смотрит на меня сбоку, начинают запотевать,— в машине жарко. Застывшее на морозе лицо оттаивает, я сразу же ощущаю опьянение. Под воздействием виски в крови забродили две с половиной бутылки пива.

— Надо было раньше об этом рассказать. Факт ведь очень важный, почему же вы до сих пор молчали?

— Не знаю, имею ли я на это право?..

— Право?

— Начальник отдела, которого я увидел на улице, показался мне совсем другим человеком... в его облике не было никакой отрешенности отшельника... наоборот, походка решительная, энергичная.

— Вы говорите — походка, значит, он шел?

— От неожиданности я испугался, так что даже дыхание у меня перехватило... в какой-то миг я хотел его окликнуть, но, увидев выражение лица, не осмелился... вправе ли я вмешиваться?..

— Широкая улица или узкая?

— Обычная... тротуар вот как этот.

— Вы не заметили, был ли он задумчив, озабочен?.. может быть, Нэмуро-сан только на первый взгляд казался бодрым...

— Нет, нет! Ошибиться было невозможно. Какое там озабочен, нисколько. Он шел с таким видом, будто наслаждался прогулкой.

— Тогда почему же он вас не заметил? Смогли же вы внимательно рассмотреть даже выражение его лица. Вам не кажется это странным?

— Была ужасная толчея. Время, когда кончается работа...

— Может быть, вы видели Нэмуро-сан со спины, шли за ним?

Тасиро, резко надвигая двумя пальцами на нос очки, которые он протер мятым платком, обнажил крупные зубы, белые, точно искусственные.

— Ну что вы меня подлавливаете? Разве я вам не сказал, что видел выражение его лица? Как бы мне удалось сделать это сзади? Как ни прискорбно, но я говорю правду. Когда человек говорит правду, не нужно придирааться.

— Оставим это. Но скажите, почему все-таки вы его упустили?

— Как вам сказать?..

— Не посмели... вы все еще с почтением относитесь к нему?

— Вопрос в том, вправе ли я. Мы по своему усмотрению определяем человеку место, где он должен жить, а сбежавшему набрасываем на шею цепь и водворяем на место... мы видим в этом здравый смысл, но имеем ли мы на это право?.. кому разрешено наперекор воле человека решать за него, где ему жить?..

— Человек убегает оттуда, где жил, лишь для того, чтобы найти успокоение в каком-то другом месте. О какой уж тут сильной воле может идти речь? Лучше бы подумал об ответственности, долге.

— А может быть, освобождение от долга как раз и входит в его намерения?..

— В котором часу это произошло? В каком месте?

— Я вам уже показывал вырезку из газеты. Выходит, на тысячу человек один пропавший без вести... это, думаю я, очень серьезно... а если прибавить еще людей, которые фактически не сбежали, но хотят сбежать,— цифра будет ужасающей... пожалуй, в меньшинстве окажутся не сбежавшие, а скорее, те, кто остался...

— Летом? Или уже наступили холода?

— Раньше нужно до конца выяснить вопрос, вправде ли я?..

— Отчаяние людей, которых он покинул, вам, по-видимому, безразлично? Вы, я думаю, еще не забыли, что брат жены Нэмуро-сан убит?

— Какое же это имеет отношение к отчаянию людей, которых покинули?

— Какого цвета костюм был тогда на нем?

— Когда утром в переполненной электричке я сжат со всех сторон настолько, что вздохнуть не могу, меня охватывает острое чувство страха. Со сколькими людьми, со сколькими десятками, сотнями людей, знакомых в лицо, сталкиваюсь я ежедневно, и мне начинает казаться, что в этом мире я имею четко определенное местожительство, но стоит присмотреться — и оказывается, что люди, плотным кольцом окружающие меня, все совершенно чужие, и этих чужих огромное большинство. Нет, все бы еще ничего, но по-настоящему страшно, когда электричка подходит к конечной остановке и...

— Может быть, вы все-таки скажете хотя бы, какого цвета был на нем костюм? Из-за вас мне придется действовать наобум, напрасно бить ноги.

— Да, простите,— тут же уступает он и, несколько раз с трудом проглотив слюну: — Цвет костюма... кажется... нет, он был, по-моему, не в костюме, а в плаще...

— Точно?

— В тот день... дождя не было... но погода была такая, что он мог вот-вот пойти. Начальник отдела всегда был человеком предусмотрительным... мы все даже смеялись над его дипломанией — у него были водительские права, а кроме того, свидетельства радиста, стенографа...

— Знаю я об этом.

— Все это, я думаю, связано одно с другим... чтобы не растеряться, когда остаешься один среди совершенно незнакомых людей... будь то в переполненной электричке, будь то в лабиринте незнакомых улиц...

— Цвет плаща?

— Самый обычный... коричневатый или зеленоватый, в общем, цвет плаща.

— Новый? Или заметно поношенный?

— Нет, не новый. Сильно поношенный. Я так говорю потому, что... на рукаве и воротнике были жирные пятна... да, вспомнил, это был тот самый плащ, который начальник отдела уже давно носил... он любил ремонтировать автомобили и часто вместо рабочей одежды надевал этот плащ и лез в нем под машину...

В тот же миг я приказываю шоферу остановиться. Темная широкая улица с редкими фонарями... сверкает красным светом знак, указывающий на ночные работы в водопроводном колодце, несколько касок, покрытых светящейся краской, монотонно повторяют без конца одни и те же движения.

— Вылезайте. Прочистите как следует мозги. Причина вам, должно быть, понятна, так что вопросов не задавайте.

— Откуда же мне знать? — Он сжался, готовый к сопротивлению. — Я собираюсь вам рассказать все, и прямо сейчас.

— Подумайте как следует, может быть, поймете. Ну, живо выметайтесь.

— Вы пожалеете.

— Хватит. Знайте, я этот плащ получил от его жены в качестве вещественного доказательства. Проспитесь, выпейте аспирина, придумайте вранье покрасивее и тогда приходите снова.

Сложив средний и указательный пальцы, я грубо ткнул Тасиро под пятое ребро. Он коротко вскрикнул, скорчился и, подавшись вперед, вывалился из машины, с трудом удержавшись на ногах. Обернувшись к захлопнутой дверце, он завопил:

— Я шел за ним! Я шел за начальником отдела!



Выхожу из машины, не доезжая до подъема к жилому массиву, где живет женщина. Заплатил за кофе, выпитый вместе с Тасиро, — это уж ладно, потом вывалил кучу денег в студии ню, по пьянке, наверно, а теперь еще

раскошелился на такси... сколько же я должен взыскать на покрытие расходов?... нужно, естественно, донесение, подкрепляющее их необходимость... вряд ли можно утверждать, что нет ничего достойного упоминания в донесении... даже напрасная потеря времени может чему-то научить... я думаю, мне удалось получить прекрасный ластик, чтобы в течение двух часов с потенциальным псевдобеглецом стирать неясные, ненужные линии.

Однако почти невысказанно занести этот косвенный урожай в объективное донесение, которое бы не потеряло ценности, выйдя из-под моего пера. Написать, что лжец признался в том, что ложь была ложью, все равно что ничего не написать. Когда я мысленно возвращался назад, в памяти отчетливо всплывали лишь голые белые ноги под стойкой... лишь ощущение, будто я впитываю их своей ладонью... но эта отдельная часть женщины не приводила меня к целому, и если бы я попытался завершить «фреску», то остальные части смог бы отыскать только там, за лимонной шторой. Точно мотылек, привлеченный световой ловушкой, я направляюсь к этому окну. Не имея никакого повода и в то же время не особенно задумываясь о том, что у меня его нет...

Нет, нельзя сказать, что совсем не было повода. Повод — моя машина, брошенная у самой лестницы, ведущей к дому женщины, как раз напротив второго отсюда фонаря... я ее оставил под тем предлогом, что был пьян, но сейчас я еще более пьян, так что и этот повод весьма шаток. Я медленно иду тропинкой, протоптанной по высохшему газону, сокращая расстояние до лимонного окна. От угла дома номер три, если идти обычно, тридцать два шага... поднимаю голову — ряды фонарей, точно застывшие, немигающие, искусственные глаза, ссылают на праздник, который никогда не наступит... окна — бледные прямоугольники света, выстроившиеся в ряд, как проклятья, — там давным-давно забыли и думать о празднике... Подняв воротник пальто, я замираю — ветер, точно мокрая половая тряпка, хлещет по щеке... как раз там, где последний раз видели его...

Если бы человеком, стоящим сейчас здесь, был не я, а он... он, тайно прокрадывшийся сюда под покровом темноты. О чем бы он думал, глядя в окно покинутого дома? Я пытаюсь проникнуться его настроением, но мне не удастся. Почему-то все время его лицо заслоняет шофер такси, с которым я только что приехал. Человечек цвета

накипи, вместо воздуха вдыхающий ропот, вместо крови нагнетающий в жилы проклятье, человек, все тело которого испускает зловоние хлева... такому человечку не зачем здесь стоять... ему незачем исподтишка сопрягать свою судьбу с лимонным окном... но, наверно, далеко не все водители именно такие. Есть среди них и положительные, хозяйственные люди, как, например, Томиама, купивший у него машину. Он должен быть самим собой. Его не заслонить никому другому. Он... он, решительно отвернувшийся от надежды на любой праздник, смело попытавшийся вырваться из разложенной по полочкам жизни... может быть, он и решил отправиться в путь, чтобы прийти в вечный праздник, которого никогда не может быть?

В один прекрасный день неожиданно попадаете на глаза кусок бумаги, приклеенный к какой-то стене или фонарному столбу,— слинявшее от ветра и дождя и не привлекающее ничьего внимания объявление об огромном празднестве, которое еще сильнее подхлестывает желание, потому что место и время не указаны. И он, желая попасть на празднество, существующее лишь в объявлении, без оглядки устремляется на торжество, которое, в отличие от еженощной имитации празднества, сверкающего украшениями лишь в темноте и в неоновом свете, будет длиться вечно, не кончится и после смерти... на праздник в мир ночи, который будет продолжаться бесконечно, лишь бы на нем было достаточно тьмы... в безграничный круг радости, не обрамленный усталостью, разочарованием, обрывками бумаги, пляшущими на ветру...

Теперь он стоит здесь... взвешивает, что тяжелее — утраченное или еще не осуществленное желание... на что же решиться?... я шарю, пытаюсь найти его... нет, ничего не выходит... эта тьма, в которой я шарю, в конце концов оказывается моим нутром... моей собственной картой, отпечатавшейся в моем же мозгу... тот, кто сейчас стоит,— это я сам, а не он... откровенно говоря, стоять я должен не здесь, а скорее у забора стройки, которая видна из квартиры моей жены... а вместо этого я стою здесь и дрожу, рыская взглядом по окнам совершенно чужого человека, ничем со мной не связанного, за исключением того, что он случайно оказался заявителем... может быть, и то место, где сейчас стоит он, не отмечено на его собственной карте, и он стоит под окном, которого я даже не могу себе вообразить... в том месте, до которого не

добраться никому, кроме него, спит ли он, бодрствует ли, смеется ли, плачет ли, сердится ли, грустит ли, отчаивается ли, веселится ли, наживается ли, страдает ли от зубной боли, дрожит ли от страха, дымит ли, как пустая сковорода на огне, покрывается ли гусиной кожей, витает ли в облаках, топчется ли на месте, летит ли стремительно в пропасть, углубляется ли в подсчет наличности, передается ли воспоминаниям, строит ли планы на завтра, мучается ли от кошмара одиночества, рвет ли на себе волосы в раскаянии, наконец, смотрит ли затаив дыхание, как сочится кровь из глубокой раны...

Однако сейчас здесь стою я. Несомненно, я сам. Собираясь идти по его карте, я иду по своей собственной, собираюсь преследовать его, я преследую себя. И вот я застываю, точно примерзаю к месту... нет, не только из-за холода... нет, не только из-за опьянения... нет, не только из-за стыда... замешательство превращается в беспокойство, беспокойство превращается в страх... мой взгляд следует до угла дома номер три, бегаёт вверх и вниз, возвращается назад и начинает считать здания... еще раз... снова и снова... точно сумасшедший, он мечется по зданию сверху вниз и снизу вверх... нету!.. нету лимонной шторы!.. в том месте, где должно быть лимонное окно, висит штора в бело-коричневую продольную полосу!.. что же случилось?.. если я хочу знать, достаточно пройти вперед еще тридцать два шага, подняться по лестнице и позвонить у двери слева на втором этаже, но... я уже не в силах... поскольку так изменилась штора, тот, кто меня встретит, будет отличаться настолько же, насколько лимон отличается от зебры... а вдруг и в самом деле это полосатая штора — условный знак, оповещающий о его возвращении?.. ну а если произошла та самая невероятность, о которой я недавно говорил, ни на минуту не допуская возможности подобной невероятности: прочитав в вечернем выпуске газеты о том, что случилось с ее братом, он возвратился? Какой банальный конец... поразительная быстрота... точная и понятная карта... диалог, неотличимый от монолога... ну что же, все разрешилось безболезненно, и теперь можно с легким сердцем отступить от этого дела, не блуждая мысленно в потемках и не гоня от себя противную мысль, что не удастся похвастаться своими успехами...

Конечно же, все это так, и, право, нет никаких оснований горевать. Даже если у меня и было тайное жела-

ние, чтобы дело это продолжалось вечно, со смертью ее брата источник поступления средств иссяк, и, что бы там она ни говорила о своих сбережениях, вряд ли стоило и дальше продолжать эти почти безнадежные розыски. И, как бы я ни старался, в оставшиеся три с половиной дня до истечения срока договора результаты все равно будут ничтожны... у меня нет оснований быть недовольным... достаю из машины чемоданчик — выходит, такой крюк я делал ради него — и возвращаюсь той же дорогой, по которой пришел. Темная дорога... слишком темная дорога... последний раз оборачиваюсь на этот неприятный, совсем не подходящий полосатый рисунок. Мимо идут, подняв плечи и съежившись от холода, немолодые супруги. За руки они ведут школьника в форме, который трещит без умолку. Спустившись вниз, направляюсь к станции метро. У ярко освещенного входа в метро мелкие обрывки бумаги, точно наперегонки, влетают внутрь. Быстро управляюсь с ужином, взяв в дешевой столовой по соседству с метро рис с яйцом. Хотя еще середина зимы, огромная муха пытается вскарабкаться на абажур лампы. Она без конца соскальзывает и каждый раз снова начинает карабкаться. Но беспокоиться нечего. Видимо, муха лучше меня ориентируется в сезонах.



ДОНЕСЕНИЕ

14 февраля 6 часов 30 минут утра. Утром с 6 часов 30 минут до 7 часов буду вести тайное наблюдение за кафе «Камелия», поскольку имею сведения, что там без разрешения занимаются посредничеством в устройстве шоферов такси на временную работу. Если это подтвердится, то спичечный коробок из «Камелии», оставшийся после пропавшего без вести, его истертость, лежащие в нем спички с разноцветными головками — все это приобретает огромное значение. Кроме того, необходимо повторно расследовать обстоятельства, связанные с объявлением о приглашении на работу шофера, помещенным в упоминавшейся спортивной газете. Утверждение хозяина кафе, что это было объявление о найме шофера для собственной машины, следует, естественно, рассматривать как отго-

ворку с целью запутать следы. Весьма вероятно, что объявление служило особым условным сигналом для шоферов, специализирующихся на временной работе. (Например: величина и расположение иероглифов извещают о возобновлении работы после налета полиции или указывают на изменение условного места встречи — другими словами, отнюдь не исключено, что объявление имеет скрытый смысл.) Это, конечно, не означает, что таким образом наверняка удастся напасть на след пропавшего. В настоящее время в городе насчитывается до восьмидесяти тысяч шоферов такси, и, поскольку пятнадцать тысяч из них, то есть примерно двадцать процентов, не имеют постоянной работы, вполне можно предположить существование значительного числа аналогичных посреднических контор. Однако пока нет достаточных оснований считать «Камелию» той нитью, которая поможет напасть на след пропавшего. Такова причина, заставившая меня вести тайное наблюдение за «Камелией». Благоприятствует и то, что шофер Томияма — человек весьма уважаемый — некоторое время сам активно прибегал к услугам посредничества, которым занимаются в «Камелии», и, хотя он не снабдил меня необходимыми рекомендациями, воспользовавшись его именем, я смогу получить нужные мне сведения.



Однако все, что я написал, — неправда. Следовало подождать еще двенадцать минут, чтобы четырнадцатое число, которое я указал, наступило. А до рассвета остается еще больше шести часов. Подготовка, пожалуй, слишком длительная, и не потому, что я уподобляюсь школьнику, отправляющемуся на экскурсию, или просто занимаюсь безответственной болтовней наподобие Тасиро. Сколько бы я ни ждал — шесть часов или десять, — содержание моего донесения не изменится. Кроме того, у меня и в мыслях не было, что я скоропостижно скончаюсь в течение этих шести часов, а если еще принять во внимание, что завтра сразу же после посещения «Камелии» я надеялся попасть к женщине, то мое донесение — не что иное, как пропуск, превосходящий любой самый лучший оправдательный документ. Что за сигнал — эта

отвратительная полосатая штора? Я обязан преодолеть барьер. Во всяком случае, урожай, который я смогу собрать на месте, в лучшем случае ограничится, видимо, несколькими строчками, и испытывать стыд у меня нет никаких оснований. Это так же ясно, как то, что день сменяет ночь...

Да еще в моей необжитой крохотной холостяцкой квартирке, которая служила мне только для сна, и ночь наступала с опозданием, и светало с опозданием. Ставлю будильник на без чего-то пять, старательно завожу и отодвигаю подальше, на подоконник, чтобы не удалось дотянуться до него рукой, включив радио, заглушаю стук костяшек маджана, доносящийся со второго этажа, залезаю под одеяло, залитое вином и пахнущее мной сильнее, чем я сам, ставлю около подушки его фотографию и рядом одну из полученных у Тасиро, на которой чувственность девушки ощущается особенно отчетливо, и, прямо из бутылки потягивая виски, сосредоточиваю все свое внимание на связи между этими двумя фотографиями.

Несимметричное, чуть удлиненное лицо мужчины, принадлежащего к типу увлекающихся. Кожа на лице кажется негладкой, и не столько из-за неровностей, сколько из-за пятен, которыми она покрыта. Видимо, он подвержен аллергии. Правый глаз излучает волю, а левый, с опущенным внешним углом, какой-то вялый, немигающий, грустный, как у некоторых собак. То же впечатление производит и тонкий нос, слегка искривленный влево. Четкие губы, словно очерченные по линейке. Верхняя губа, тонкая, нервная, нижняя — пухлая, спокойная, на левой щеке несколько невыбритых волосков. Прежде его лицо казалось мне лицом делового человека, но этой ночью — состояние, что ли, у меня такое — я нахожу и некоторые черты мечтателя. Я не чувствую к нему ни враждебности, ни предубеждения, но никак не верится, что этот человек может и в самом деле появиться и заговорить со мной. Выражению его лица больше всего подходит нынешнее состояние, будто он специально родился, чтобы существовать в виде отпечатка на фотобумаге. Навискошь прорезающая фон светлая полоса. Может быть, это часть строения, отсвечивающего на солнце, а может быть, и платная скоростная автострада.

Другая фотография напоминает огромный плод телесного цвета — женские ягодицы на совершенно чер-

ном фоне. Они кажутся огромными, потому что занимают весь кадр, но тем не менее выглядят скорее изящными. Формой они напоминают что-то. Да, конечно, плод мушмулы... бледной мушмулы несколько необычной формы... гибрид мушмулы и груши... видимо, потому, что кусок материи, постеленной на пол, не особенно черный, нижняя часть видится зеленоватыми прозрачными полусферами... они глубоко западают вниз и резко выдаются в конце позвоночника... во впадине явственно ощущается испарина... верхняя часть непрозрачно белая с едва заметным розоватым оттенком... эту непрозрачность, видимо, создает покрывающий тело пушок, и белизна тоже, вероятно, результат отражения света от пушка. Поскольку я выбрал фото, где натурщица сильно наклонилась вперед, видимая под определенным углом спина, на которой выстроились в ряд позвонки, точно полусасыпанные песком древние курганы, окрашена в цвет слегка подрумяненной пшеничной корочки. Почему-то к этому цвету я испытываю особое влечение.

Тонкий и нежный пушок, как на очень дорогом бархате... приятно смуглая, упругая, как у ребенка, кожа... даже с помощью самой совершенной техники современная цветная фотография не может, конечно, воспроизвести все оттенки цвета. Однако... нет, я не собираюсь снова возвращаться к признанию Тасиро, но... и все же, если подвергнуть сомнению ложность лжи, совсем не исключено, что первая ложь обернется правдой... к тому же и сама женщина подтвердила, что он увлекался цветной фотографией... так что не следует еще полностью отметить вероятность того, что и это ню — его произведение. Возможно, Тасиро с такой настойчивостью опровергал свое первое утверждение именно потому, что не хотел, чтобы стало известно, каким образом эти фотографии оказались у него. Предположим, но интересно, можно ли определить это по его лицу. Ведь когда мужчина смотрит, когда мужчина во что-то всматривается, на его лице образуются совершенно определенные морщины. Житель вывернутого наизнанку мира, который не может убедиться в существовании объекта, пока не впитает его в себя...

Я придерживаюсь именно такой точки зрения. Прежде всего интересно знать, достаточно ли у Тасиро сноровки, чтобы использовать широкоугольник. Потом этот альбом, названный «Смысл воспоминаний». Женщина,

спокойно, сознавая, что ее фотографируют, приняла даже несколько театральную позу. Ее силуэт в ночной сорочке, сквозь которую просвечивают очертания тела... (Почему она разрешила мне рассматривать эту фотографию? — от безразличия ли, по рассеянности, сознательно ли, а может быть, из природного кокетства?..), да, очень возможно... натурщицей служила сама его жена, моя заявительница...

Внутри у меня все сжимается. Я убираю его фотографию, оставив только фотографию женщины. Утро еще не наступило, но бутылка виски уже пуста. Радио беспрерывно передает американские народные песни. Под одеялом жарко, я не отрываю глаз от плода мушмулы. В моем воображении женщина превращается в маленькую девочку. Мушмула, покрытая очаровательной тонкой пленкой, напоминающей перепонку лягушачьей лапки. Женщине, несомненно, пошла бы короткая ярко-красная юбка. Все это у меня причудливо переплетается и смешивается, как в репродукции Пикассо, висящей в комнате женщины, с воспоминанием о той странной девушке, которая служит в ателье у моей жены. Головокружительный акробатический номер с бесконечно повторяющимся падением с абсолютно безопасного каната, разложенного на земле. А что, если пойти с женщиной в ателье к моей жене и заказать ей там платье? Хотя постой, она ведь говорила, что хочет подыскать себе работу. Может быть, устроить ее к жене?... Перепонка лягушачьей лапки стала еще очаровательнее, превратилась в оливкового цвета резину... что разрушается, что остается?.. на пластиковом потолке, отделанном под дерево, появляется все то же лицо... смеющаяся луна... почему так страшен сон, будто меня догоняет полная луна, который я вижу два-три раза в год? Сколько ни ломал голову, это так и осталось для меня загадкой...



4 часа 56 минут... раздражающий звонок будильника, словно провели по нервам наждачной бумагой... в горле горит, оно забито мокротой, даже курить не хочется... в отличие от обычного вчерашнее опьянение продолжается, кажется, и сегодня. Сколько ни лью на лицо холод-

ную воду — в глазах резь, будто долго стоял на голове, сколько ни сморкаюсь — из носа продолжает течь.

То, что еще только намечено на сегодня, уже записано в донесении. И ничего не остается, как действовать, будто все уже совершено. Маленькая комната почти без мебели кажется непомерно просторной. Может, потому, что холодно. Греюсь, обхватив руками теплый чайник на газовой плитке. Выпью чашку кофе покрепче и пойду. Если выйду в половине шестого, то в шесть десять доберусь туда, где живет женщина. Возьму машину, несколько раз для вида проеду перед «Камелией» и уеду — будет точно 6 часов 30 минут, как и сказано в донесении.

Я побрился, переделся и уже пил кофе, просматривая вчерашнюю вечернюю газету, когда снова раздался звонок. На этот раз не будильника... звонок телефона... телефон — единственная стоящая вещь в моей комнате... я его установил не специально, имея в виду свою работу, а просто чтобы иногда, когда проспичь, можно было позвонить в агентство. Но, насколько я припоминаю, последние полмесяца такого не случилось ни разу... я даже подумывал, не отказаться ли мне от него... звонок раздастся в третий раз... не представляю, кто бы это мог быть... Возможно, ошиблись номером?.. постой, а вдруг женщина... внезапно оказалась втянутой в какую-то историю, заставившую ее снова сменить штору на лимонную?.. или жена?.. если жена, да еще в половине шестого, то не иначе, как аппендицит или острая пневмония... не дожидаясь четвертого звонка, беру трубку.

— Кто это?

— Вы спали?..— Тусклый, слабый голос. Ну, конечно же, Тасиро.

— Что случилось, в такую рань?..— И грубо:— Вы подумали, который час?

— Да, я уж решил, если вы не проснетесь после еще одного звонка,— положу трубку. Мне очень нужно с вами поговорить...

— Послушайте, на улице ведь еще совершенная тьма. Знаете ли, все хорошо в меру.

— Нет, нет, небо уже начинает светлеть. И такой печальный у него цвет. Вот прошла машина, развозящая молоко, а вот и топот газетчиков. Залаяла собака. Прогрохотал первый трамвай.

— Хватит болтать. Я кладу трубку.

— Не делайте этого! Вы потом пожалеете, что так отнеслись к последним, прощальным словам человека. Я скоро покончу с собой. Ночь не спал, все думал. Нет, я уже сыт по горло. О, снова газетчик бежит! Газета?.. в сегодняшнем вечернем выпуске будет заметка о моей смерти... причина... причина, в чем же она?.. невроз, наверно...

— Я восхищен вашей великолепной игрой. Но, к сожалению, я тороплюсь. Нельзя ли попросить вас продолжить спектакль, ну хотя бы завтра.

— Вы не верите? Бесчувственный человек. Неужели из моих слов нельзя понять, правду я говорю или лгу? Хотя любая ложь, изреченная, заключает в себе определенный смысл. Но на этот раз я заставлю вас поверить. Я заставлю вас раскаиваться всю жизнь. Меня это очень радует. Я заставлю вас до конца понять, что значит быть виновным в бесчувствии.

— Откуда вы звоните?

— Безразлично откуда. Вы как будто забеспокоились.

— Забеспокоился? Разве на меня это похоже?

— Что вы говорите?

— Я кладу трубку.

— Подождите! Я у вас не отниму много времени. Я ведь вот-вот умру. Когда умираешь, так хочется говорить и слушать. Для вас я был не больше чем обыкновенный червяк, и поэтому вы так спокойно присутствуете при моей кончине, да? Ну что ж, давайте договоримся: считайте, будто я притворяюсь, что умираю. Ладно? И, решив это, слушайте меня, спокойно попивая чай.

— Я пью кофе.

— Тем лучше. Вам это больше подходит. Вы слышите? Это я поднимаюсь на подставку... чемодан, с которым я езжу... теперь завязываю веревку вокруг шеи... нет, просовываю голову в веревочную петлю...

— Завещание написали?

— Нет. Я думал об этом, но, если завещание писать серьезно, ему не будет конца... если же писать коротко— ну, например, «до свидания»,— то и писать не стоит.

— Напоследок вы ничего не хотите сказать о начальнике отдела Нэмура?

— Бесчувственный человек, вот уж поистине так. Даже не человек, а свинья. Разве так говорят с тем, кто вот умрет? Ужасно... того человека... пропавшего без вес-

ти, я его презираю... разве это не малодушие?.. такое может сделать только трус... и вот из-за подобного ничтожества подняли невообразимый шум... я бы такого не сделал... ну вот, повернул петлю вокруг шеи. Теперь положение веревки — о'кей... она и сейчас уже так стягивает шею, что, чувствую, вот-вот пойдет из носа кровь. Я уйду дальше, чем любой пропавший без вести. Уйду в непроглядную даль.

— Покончить с собой или пропасть без вести — разве не одно и то же? Ко всему еще — мертвое тело отвратительно. Пропасть же без вести — значит, стать прозрачнее воздуха, чище стекла...

— Пойдите, кто-то идет. Итак, я умираю. Оттолкну чемодан, на котором стою. Сейчас оттолкну. Скажите жене начальника отдела: нанимать сыщика ради человека, пропавшего без вести, — слишком большая роскошь...

— Почему роскошь? Для кого?..

Ответа не последовало. Мне показалось, что раздался звук, будто ногой раздавили резиновый мешок с водой, но и этот звук был заглушен страшным шумом — видимо, трубка обо что-то сильно стукнулась, и после этого я уже не слышал ничего. Только какой-то глухой звук, точно в ящике копошится собачонка... почудилось, наверно?.. я, конечно, не думаю, что он и в самом деле покончил с собой, но... что же делать? Если он действительно повесился, меня, как последнего человека, с которым он общался, полиция возьмет в оборот — семь потов сойдет. Возьмет в оборот — это точно, но какое лучше всего дать объяснение? Сплошная нелепица. Может быть, так сказать: все произошло оттого, что я был бесчувственной свиньей? Самым убедительным объяснением для полиции будет такая схема: я шантажом довел бедного человека до самоубийства. Ничего не поделаешь — для подобных людей это — единственное логическое объяснение причины и следствия. Да, отомстил он мне что надо. Так ловко, что я даже не понял, что он мстит... нет, он, конечно, не покончил с собой... он просто ненормальный... такой у него характер — он не может жить без того, чтобы не привлекать внимания окружающих экстравагантными выходками... это аналогично тому, как некоторые любят, когда на груди у них болтаются ордена... сейчас он поднес трубку ко рту и смеется или, может быть, плачет. Ага, какой-то звук... скрипнула дверь... Но я слышу

громкий мужской вопль... кричит человек... хриплый испуганный голос...

Значит, правда! Я опускаю трубку и убеждаюсь, что кругом тишина.



И снова темная дорога... слишком темная дорога... заброшенная долина времени, когда мгла, точно щеткой, смела и женщин, вышедших за покупками к ужину, и грузовики, развозящие молоко, и серебристые автомашины, когда разложена по полочкам большая часть тех, кто ежедневно ходит на работу, и лишь людям, которые по дороге домой забредают кое-куда и притворяются пропавшими без вести, возвращаться еще рано... я останавливаюсь... как раз у того места, где он исчез.

В окне женщины та же, что и вчера, бело-коричневая полосатая штора... прежде всего мне бы следовало сообщить ей о самоубийстве Тасиро, но я почему-то все еще колеблюсь.

Пусть мое донесение о «Камелии» — само совершенство, но утверждение Тасиро, что он напал на его след — хоть это и противоречит действительности, — большой шаг вперед в розысках, это позволило бы мне без зазрения совести говорить о блестящем успехе, но Тасиро смешал все мои карты. И на следующее утро мне волей-неволей пришлось идти в «Камелию».

Прорываясь в промежутки между домами, дует ветер. Поток холодного воздуха, ударяясь об острые углы зданий, завывает на таких низких тонах, что ухо не может уловить их... все поры на теле застывают, и застывшая кровь, влившись в сердце, превращает его в красный ледяной мешок в форме сердца. Выщербленный асфальтовый тротуар. На газоне по-прежнему валяется все тот же рваный белый мяч. В свете ртутного фонаря мои запыленные ботинки сверкают, будто позолоченные. Труп растрескавшийся дороги. Зброшенный, как и я, люк в пожухлой траве.

Сегодня я принес заявление об уходе. Если найдутся доказательства, что я был последним человеком, с кем вел свой последний разговор Тасиро, мне не избежать преследования полиции. А я еще больше ухудшил свое

положение хотя бы уже тем, что немедленно не сообщил в полицию о случившемся. Чрезвычайно запутанная ситуация — для шефа она невыносима. Нельзя сказать, что шеф предложил мне уйти с работы, — это верно, но он и не отверг моего заявления. По выражению лица ни о чем не догадаешься, лишь глаза ласковее, чем обычно... Работать самостоятельно — это, конечно, хорошо, но стоит мне хоть чуть ослабить вожжи, и человека начинает заносить, а считают, что я придираюсь из-за дурного характера. Сколько угодно примеров того, что конец жизни почти всегда болото... у тебя, по-моему, большое самообладание, может быть, потому и совершаешь эту ошибку... наша профессия такая — весь путь перед тобой усеян ловушками... не хочу сказать ничего плохого, но для тебя лучше всего раз и навсегда сменить профессию... мир огромный, люди живут по-разному... ждем вас у себя в качестве уважаемого клиента, заявителя с толстой пачкой денег. По старой памяти мы подберем вам самого лучшего агента и сделаем для вас все, что в наших силах...

Полдня я сидел дома и ждал. Хорошие ли известия, плохие ли — хуже всего, когда ты бежишь от них. Но полиция так и не показалась. Кажется, худшего я избежал. Опасность была не столь уж нереальной, хотя о моих разговорах с Тасиро знали только женщина, шеф, ну и сам Тасиро.

Ожидание невыносимо... работаешь, но результат заранее известен и не зависит от твоих собственных сил, а ожидание — какие бы усилия ты ни прилагал, ничего изменить не может. К тому же от двухдневного пьянства я чувствовал себя отвратительно — три раза меня выворачивало. А может быть, за тем окном женщина тоже ждет? Скорее всего, полосатая штора не служит знаком того, что он вернулся. В противном случае был бы, конечно, звонок в агентство и я получил бы сведения от шефа. Полосатая штора означает что-то другое. Может быть, женщина все еще ждет? Но у меня не хватает мужества позвонить у той двери. Сменилась штора, и там внутри, несомненно, произошли какие-то перемены, даже если он и не вернулся. А кроме того, и во мне произошла перемена. Я ушел со службы в агентстве, которому женщина поручила розыск, я уже не агент, и женщина для меня уже не заявительница. Шеф дал мне последнее поручение: узнать, имеет ли она намерение продолжать ро-

зыски, даже если они будут поручены другому сотруднику, но и это я решил сделать лишь после того, как завтра утром порыскаю в «Камелии». Малодушие, может быть, но другого выхода у меня нет, и я не знаю, куда себя девать.

Он исчез, брат заявительницы убит, его подчиненный Тасиро покончил с собой, моя жена ни разу не позвонила, и единственный человек, кто остался у меня,— женщина, которая не устает ждать.

Все исчезают. В глазах сослуживцев из агентства я, как это ни странно, тоже, видимо, буду одним из тех, кто исчез. Нет, не только я. И женщина, разговаривающая сама с собой и пробуждающаяся только опьянев,— ведь фактически подтвердить ее существование может лишь налоговый инспектор из муниципалитета. Смешная игра в прятки, когда несуществующие люди ищут друг друга.

Как ни сверкает ртутный фонарь, кроме тьмы, ничего не видно. Иногда подходит автобус и слышны шаги, но людей не видно... есть лишь уставшая от ожиданий черная, пустая перспектива... но я продолжаю ждать... медленно иду, останавливаюсь, поворачиваюсь на каблуках и снова иду... буду ждать сколько угодно... пока ждет женщина, буду ждать вместе с ней и я... точно по трубам, разносится звук с силой захлопнутых где-то вдали металлических дверей и отдается в ушах, как глубокий вздох земли. Тихий собачий вой прорезает пустоту. Действительно ли все исчезают?



Значит, за мной следили — ничего другого я предположить не могу. На улице все однотонно, краски еще не вернулись, но уже достаточно светло, чтобы различать очертания предметов. Как раз час, когда автомобили только начинают тушить фары, а в «Камелии» еще горит свет и сквозь черную сетчатую штору видно, что делается внутри. Кафе, темные дела которого все время привлекают мое внимание, битком набито волнуемыми людьми. Мое донесение могло остаться в неизменном виде, стоило лишь исправить число с четырнадцатого на пятнадцатое... По всей вероятности, из кафе еще плохо видна улица. Действительно, все с сосредоточенным ви-

дом повернулись к стойке и совершенно не обращают внимания на то, что происходит на улице, и не принимают никаких мер предосторожности. Не исключено, что сторож со стоянки каким-то способом тайно связался с ними...

Я тоже не собираюсь остерегаться. Моя цель — встретиться с кем-нибудь из завсегдатаев и расспросить о нем. Я уже безработный и не собираюсь силой вытягивать из него сведения, окажись он неразговорчивым, и совсем не думаю о том, чтобы принуждать его к этому с помощью шантажа, запугивая разоблачением темных дел, которые здесь творятся. Обратив внимание, что объявление «Требуется официантка» написано заново, толкаю дверь кафе, в которое я уже приходил столько раз, и в тот миг, как я беспечно окунаюсь в шум и духоту...

У меня не было времени рассмотреть, что там происходит. Я лишь наткнулся на враждебные взгляды нескольких человек, обернувшихся в мою сторону, и в то же мгновение рука, протянувшаяся из-за двери, схватила меня за шиворот, а другая изо всех сил ударила по голове. Нет, это была не рука, а скорее палка. Похоже, гибкая резиновая дубинка. Тупо сдавило грудь. Во рту вкус желудочного сока. Меня били по лицу, пинали ногами, но особой боли я не ощущал. Боль я почувствовал, когда меня выволокли из кафе, бросили около стоявшей рядом машины и стали бить ногами по голове и животу. Резкая боль вспыхивает фейерверком, пробегает искрой, дав импульс сердцу. Может быть, от этого я и прихожу в сознание. Кто-то открывает дверцу машины, другой, взяв меня под мышки, вталкивает внутрь. Торчащие наружу ноги втискивают под приборную доску и грубо захлопывают дверцу. Сработано специалистами. Жаль, что не удалось рассмотреть лица человека, который заталкивал меня в машину.

Боль возвращает мне энергию. Пробую пошевелить плечами — к счастью, от этого как будто боль не усиливается. Руки в крови. Смотрю в зеркало над ветровым стеклом — все лицо залито кровью, будто его специально разрисовали кисточкой. Нос распух, дыхание тяжелое. Достая из-под сиденья старое полотенце для протирки стекол и вытираю кровь. Но запекшуюся кровь так легко не сотрешь. Да и из носа кровь все еще идет. Зажимаю нос, откидываю голову и некоторое время остаюсь в таком положении. Но медлить нельзя. Там, где я нахо-

жусь, сейчас еще почти безлюдно, окно «Камелии» уже превратилось в черное зеркало, пейзаж приобрел краски, вот-вот наступит утро, и на тихую безлюдную улицу хлынет поток людей. Мне не для чего выставлять такое лицо на всеобщее обозрение. Сворачиваю жгутиками бумажную салфетку и затыкаю нос. Ощущая взгляды, несомненно устремленные на меня из окна «Камелии», медленно отъезжаю. Сторожка автомобильной стоянки еще погружена во тьму, и старика, к сожалению, разглядеть невозможно.



И снова белое небо... и белая дорога, точно привязанная к этому небу... фонари уже сомкнули веки, дорога расширяется — на глаз метров десять... только кое-где в распахнутых парадных еще сохранились остатки ночи. Последние машины, развозящие молоко, пронеслись мимо вниз по склону, громыхая пустыми бутылками.

К счастью, прохожих нет, я взлетаю по лестнице, прыгая через две ступеньки. И вот белый звонок у белой металлической двери с темно-зелеными наличниками... прошел всего лишь один день, а у меня состояние как у матроса, ступившего на сушу после многомесячного плавания... какое бы значение ни таила в себе полосатая штора, человеку с окровавленным лицом, конечно же, разрешат войти.

После второго звонка шторка окошечка в двери наконец приоткрывается. В такое время задержка вполне естественна. Звук поспешно снимаемой цепочки. Ручка поворачивается, дверь широко распахивается, и, как я и ожидал, испуганный голос:

- Что случилось? В такую рань...
- «Камелия». Разрешите умыться...

Во всяком случае, в прихожей мужских ботинок не видно. Женщина, с сеткой на голове и в какой-то стеганой пижаме, кажется девочкой, и я никак не могу совместить ее с цветной фотографией, на которую, не отрываясь, смотрел две ночи подряд.

- «Камелия»? То самое кафе?

Снимаю пальто, стягиваю пиджак — ворот и рукава рубахи залиты кровью. Обмакиваю вату в теплую воду,

приготовленную в умывальнике, и, тщательно смывая с лица запекающуюся кровь, коротко рассказываю о случившемся, тяжело при этом вздыхая, тяжелее, чем необходимо. Тревожные сведения, полученные от сторожа автостоянки... рассказ шофера Томияма, подтвердившего эти сведения... нелегальное посредничество в устройстве шоферов на временную работу...

— Пораненные места лучше не трогать. Сменить воду?

— Видимо, это кровь из носа... ран как будто нет... щиплет, но это, вероятно, ссадины.

— Вы, наверно, сами сделали что-нибудь такое, что им пришлось так вас избить.

— Избили — значит, наверно, сделал.

— Они безумно боятся попасться на глаза постороннему человеку.

— Вы уже знаете, что Тасиро покончил с собой?

— Покончил с собой?

— Он во что бы то ни стало хотел убежать.

— Что его к этому побудило? Должна ведь быть какая-то причина?

— Что побудило?.. Видите ли, это долгий разговор... в общем, он сбился с дороги... где я?.. действительно ли я живу так, как мне кажется?.. подтвердить это могли только другие, но ни один из них не взглянул в его сторону...

— Тогда мне следовало бы давным-давно умереть, вы не думаете?— В ее голосе снова слышится напряжение.— Рубаха мужа будет вам впору... наденете?

— Да, из-за него я потерял работу. Мой шеф страдает ярко выраженной полициейбоязнью, и, если возникает хотя бы малейшая опасность оказаться втянутым в какие-нибудь неприятности, он тут же увольняет человека. Я могу рассчитывать, что вы разрешите мне продолжать работу оставшиеся два дня, хотя меня и уволили?

— Наверно, из-за меня...

— Вы сменили штору.

— Залила кофе. Позавчера, кажется. Совершенно верно, в день похорон брата... да, точно, вскоре после того, как вы заезжали ко мне... пятна от кофе очень плохо отходят... поэтому я отдала в чистку... разговаривала с кем-то, и он сказал, что очень бы хотел выпить кофе...

пока я наливала, все было хорошо, а когда понесла, сзади кто-то пощекотал меня...

Неожиданно я чувствую тошноту. Резкая боль, возникнув у глаз, захватывает всю черепную коробку и, как в фокусе, концентрируется в затылке и сжимает горло.

— Кто же вас пощекотал? Вы опять размечтались о муже?

— Да, судя по тому, где пощекотали, видимо, так.

— Мне очень нравилась та лимонная штора.

— Через два-три дня повешу обратно.

— Осталось пятьдесят восемь часов. Двое суток и десять часов... до того момента, как истечет срок договора о розыске... договор на неделю, но воскресенье отбрасывается, и счет составляется исходя из шести дней.

— Я работать пойду. Пусть вас это не беспокоит...

Тошнота подступает все сильнее. Желудок становится тяжелым, будто в него погрузили грязный ком глины.

— В одном Токио не меньше восьмидесяти тысяч шоферов такси. Крупных таксомоторных компаний около четырехсот, а если прибавить и мелкие, то больше тысячи. Можно ежедневно обходить эти компании, но все равно в день больше чем в пяти не побываешь...

— Вы себя плохо чувствуете?

— Да, неважно...

— Вам бы лучше прилечь...

Головная боль и тошнота сузили поле зрения, все мое сознание бесстыдно вцепилось в напрягшиеся маленькие руки женщины. Будто в них сосредоточился весь мир. Наклонившись вперед и изо всех сил стараясь сдержать готовую вырваться рвоту, я впервые проникаю в спальню... неубранная после сна белая постель... вмятина на ней, оставленная женщиной... нос полон спекшейся крови и не ощущает запаха, но я все равно улавливаю его... вмятина от середины постели до стены — оставленное мне ложе для сна... оливковая перепонка лягушачьей лапки...

— ...Простите... что там ни говори, а в сравнении с настоящим городом карта, которую мы нарисовали, слишком примитивна...

— Лучше помолчать, когда плохо себя чувствуешь... у вас еще целых тридцать четыре часа...

Женщина сидит на полу у кровати и, оставаясь невидимой, пристально смотрит на меня. Она действительно смотрит на меня? Или, как и тот гость, которого она уго-

шала кофе, я тоже причислен к видениям — ее собеседникам,— когда она разговаривает сама с собой?..

Это огромное сердце, которое бьется, не зная, для кого оно бьется... город... изменив положение, ищу женщину... но ее уже нигде нет... где же я, на которого смотрит женщина, которой нет?..

— Сколько времени, а?..

— Пять минут...

Торшер около подушки неожиданно загорается — прямо передо мной стоит женщина. Стеганую пижаму она сменила на светло-желтое кимоно, сетка с волос исчезла, волосы рассыпаны по плечам.

— Пять минут какого?

— Пять минут назад истек срок договора.

— Как?— От неожиданности я подскакиваю на постели.— Что это значит?

— Можете не беспокоиться.— Женщина поворачивается, отходит на несколько шагов и останавливается посреди комнаты.— С завтрашнего дня я решила пойти работать...

Перед тем как она повернулась, в выражении ее лица промелькнула неясная тень, оставившая легкий привкус на моих губах. Незнакомые воспоминания сковывают грудь. Почему я так отчетливо представляю себе, что делала женщина до того, как зажгла свет? Теперь ее взгляд, скользя мимо стены, у которой стоит кровать, устремляется к окну рядом с туалетным столиком... к темно-коричневой шторе с простым рисунком в виде белых квадратиков неправильной формы...

— Что вы увидели?

— Окна...

— Нет, я спрашиваю, что вы видите в окне?

— Я же говорю, окна... много окон... в них, то в одном, то в другом, гасят свет... и только в такие минуты я могу почувствовать — там есть люди...

— Значит, сейчас уже ночь?

— Пять минут...

— Это я так долго спал?

— Нет еще... будете спать...

Откинув голову, она медленно встряхивает волосами, и они качаются из стороны в сторону. Сквозь кимоно можно ясно увидеть, как в такт этим движениям колыхается ее грудь. Я напрягаюсь, потихоньку спускаю левую ногу на пол, перемещаю на нее центр тяжести и

вскакиваю с кровати. Делаю шаг вперед, протягиваю руки, обнимаю ее и неожиданно сильно щекочу. Женщина коротко вскрикивает, вырывается из моих рук и пытается убежать. Но бежит она не к окну, не к двери, а прямо ко мне. Мы сталкиваемся и падаем на кровать. В моих глазах смеются коричневые веснушки, между пальцами натягивается нежная оливковая пленка. Вмятина на постели, оставленная женщиной... приготовленное мне ложе для сна...

Напротив кровати стоит платяной шкаф. Матово-белые большие металлические ручки. Поверхность шкафа, отделанная под бамбук, светло-коричневая и отполирована так, что на расстоянии двух метров можно смотреть в нее, как в зеркало. Женщина где-то, видимо на кухне, тихо напевает. Доносятся лишь отдельные звуки, поэтому разобрать, что за песня — невозможно. Надев пиджак, я иду... идет и женщина... она проходит мимо лимонной шторы, и сразу лицо ее становится черным, волосы — белыми, губы — тоже белыми. Зрачки — белыми, белки — черными, веснушки превращаются в белые точки, будто это пыль на скулах каменной скульптуры... крадучись, я направляюсь к двери.



Вдруг я замедляю шаг и останавливаюсь. Останавливаюсь, точно меня отбрасывает назад пружина воздуха. Центр тяжести, перенесенный с пальцев левой ноги на пятку правой, снова возвращается к левой и сосредоточивается в колене. Потому что подъем очень крутой.

Дорога не асфальтированная, а покрытая грубым бетоном, и, видимо, чтобы предотвратить скольжение, через каждые десять сантиметров в нем прорезаны узкие бороздки. Но пешеходам от этого пользы мало. К тому же пыль и крошки от стирающихся на шершавом бетоне покрышек постепенно забили все неровности, и в дождливый день, если ботинки на резине, да еще старые, идти по такой дороге — дело, наверно, нелегкое. Видно, она рассчитана на автомашины. Бороздки через каждые десять сантиметров, по всей вероятности, могут сослужить им службу. Не исключено, что они оказываются эффек-

тивными и для отвода воды в кювет, когда талый снег и грязь забивают водостоки.

Впрочем, все эти ухищрения напрасны, так как машин здесь совсем мало. Из-за отсутствия тротуара во всю ширину дороги, поглощенные беседой, не обращая ни на что внимания, идут несколько женщин с сумками в руках. Посреди дороги мчится вниз мальчишка на роликах, завывая как сирена. Я поспешно посторонился, потому что тоже шел посреди дороги.

Тут я замедляю шаг и останавливаюсь. Останавливаюсь, точно меня отбрасывает назад пружина воздуха. Центр тяжести, перенесенный с пальцев левой ноги на пятку правой, снова возвращается к левой и сосредотачивается в колене.

Слева — крутая стена, сложенная из камней. Справа — почти отвесный обрыв, начинающийся сразу же за низким, лишь для видимости, металлическим ограждением и неглубоким кюветом. Стена, казалось, перерезает и дорогу впереди, которая круто поворачивает здесь влево и потом должна резко пойти в гору, к жилому массиву на холме. Через пять-шесть шагов обзор расширится, и я увижу улицу, которая мне нужна. В этом можно не сомневаться. Пейзаж, его даже не замечаешь — так привычна стала мне эта дорога, по которой я могу идти хоть с закрытыми глазами... дорога, ставшая такой родной — сколько сотен раз ходил я по ней... и сейчас, как всегда, иду по ней — я возвращаюсь домой.

Но тут я произвольно останавливаюсь. Останавливаюсь, точно меня отбрасывает пружина воздуха. Останавливаюсь с желанием бежать назад от этой удивительно четкой картины, от этого вида крутой дороги, на которую обычно не обращал внимания. Причина, заставившая меня остановиться, была, конечно, ясна, но в это трудно поверить. Почему-то пейзаж, который должен был открыться сразу же за поворотом, пейзаж, казалось знакомый мне не хуже дороги, расстилавшейся сейчас передо мной, я никак не могу вспомнить.

Оснований для беспокойства пока еще не было. Такие провалы памяти, по-моему, бывали у меня уже неоднократно. Надо подождать. Когда смотришь на стену, выложенную квадратами, смещается фокус и чувство дистанции теряется. Забыть на какой-то миг имя знакомого человека — в этом нет ничего странного. Вот я сейчас упрусь в землю левой пяткой, уравновешу центр тя-

жести — много времени это не займет — и спокойно дождусь, пока фокус восстановится. Ведь за поворотом улица, где мой дом, — это совершенно точно. Я просто никак не могу вспомнить, но то, что он существует, — факт неопровержимый.

Небо по сезону сплошь затянуто негустыми синевато-серыми тучами, и уже надвигаются вечерние сумерки, хотя часы показывают двадцать восемь минут пятого. Еще достаточно светло, чтобы различить бороздки, прорезающие дорогу через каждые десять сантиметров, но не настолько светло, чтобы предметы отбрасывали тень. Стена слева уже вся темная, виной тому, видимо, материал, из которого она сложена, да к тому же и влажный мох быстрее впитывает мглу. Я скольжу взглядом вверх по стене, дохожу до прерывистой неровной линии — в этом месте небо пронзительно-светлое. Рассмотреть, что там, конечно, невозможно, но на середине холма, я это знаю, должны стоять три небольших деревянных жилых дома и около них — окруженное деревьями не то общежитие, не то гостиница. Там, от самого конца склона, идет еще одна дорога, но я редко ею пользовался и поэтому плохо помню — тут уж ничего не поделаешь. Я даже возлагаю надежду на то, что где-то в тайниках памяти, хоть и нечетко, что-то все же сохранилось. Иначе такого воспоминания не родилось бы, когда растилавшаяся передо мной дорога распахнула двери в прошлое. А может быть, в действительности совершенно неизвестное место представляется мне знакомым потому, что, по мне, весь мир за пределами моего поля зрения пусть хоть исчезнет. Но исчезла тем не менее лишь улица, где мой дом.

Север... в какой же он стороне? Не могу даже определить положение солнца, а еще пытаюсь совершенно точно угадать направление! В долине, что внизу, под обрывом, это бы удалось сделать. Я нахожусь на такой высоте, что ряды домов там оказались значительно ниже уровня моих глаз, и я вижу лишь черепичные и железные крыши — поле, где вместо овощей — люди и лес антенн, улавливающих радиоволны, — все это напоминает геометрические фигуры игрушечного лабиринта, вижу трубу бани, торчащую рядом с каменной оградой. Прямо напротив меня... но я уверен, что смогу точно проделать в уме весь путь через лабиринт до бани, что стоит у меня на дороге... Вот я присаживаюсь у недавно открытого

магазина. Улица, по которой любят прогуливаться старики, покуривая сигареты. Улица, по которой после трех часов спешат женщины с банными принадлежностями. Дорога — объезд у самого обрыва, — по которой снуют грузовички, развозящие керосин. На ее обочинах громоздятся горы обломков рекламных щитов.

Переступаю с ноги на ногу, дышать становится все труднее. И по мере того, как дышать становится все труднее, начинает расти беспокойство. А может быть, оттого, что растет беспокойство, дышать становится все труднее. И мне не только не удастся восстановить фокус, но, хуже того, улица за поворотом все больше превращается для меня в белое пятно, будто ее стерли отличным ластиком. Стерт цвет, стерты очертания, стерты формы, наконец, стерто, кажется, само существование этой улицы. Сзади слышатся шаги. Меня обгоняет мужчина, по виду служащий, с папкой в левой руке и с зонтом в правой. Ссутулившись, загребая ногами, он идет, размахивая зонтом в такт шагам. Видимо, оторвалась застежка, и складки зонта, точно дыша, то расходятся, то сходятся. Окликнуть его не хватало смелости, но в какой-то миг захотелось пойти за ним следом. Может, это и есть самое главное — вот так, не колеблясь и не раздумывая, идти вперед? Во всяком случае, через каких-нибудь пять-шесть шагов я смогу увидеть, что там за поворотом. Мне кажется, что, если удастся своими глазами убедиться в реальности пейзажа, все легко разрешится, как застрявшая в горле пилюля легко проглатывается с водой. Мужчина как раз заворачивает за угол. Он исчезает, но никакого вопля не слышно. Видимо, улица там существует, в чем он и был абсолютно уверен. То, что удалось мужчине, должно удалиться и мне. Всего каких-то пять-шесть шагов, какие-то десять секунд — невелика потеря.

Однако действительно ли невелика? Что я буду делать, если, не дожидаясь, пока вернется память, помчусь вперед, а там вдруг окажется совершенно незнакомое место? Совсем не исключено, что такой знакомый пейзаж здесь, на крутой дороге, постепенно превратится, если я пойду за мужчиной, в незнакомый мир. Во всяком случае, это не исключено. Возможно, и дома на холме существуют лишь в моем воображении, а пришедший мне на память лабиринт под обрывом — обычная ассоциация, которую вызвала труба бани. Ясно, что здесь

северный склон холма — это легко определить по влажному мху, захватившему все владения от каменной стены и до бетонного покрытия дороги.

А вдруг мои привычные ощущения на самом деле не настоящие воспоминания, а лишь рядившееся в одежды таких воспоминаний ложное восприятие... и тогда уверенность, что я на пути домой, не более чем предлог для оправдания этого восприятия... и я сам превращаюсь в нечто неопределенное, что невозможно назвать мной.

Я перевожу дух, изо рта вырывается холодный пар. Навстречу обогнавшему меня мужчине с зонтом вниз бежит вприпрыжку, звеня мелочью в кошельке, девочка в длинной зеленой кофте. Вот так все время — кто-то исчезает на исчезнувшей улице и вместо него кто-то появляется с исчезнувшей улицы. Вынимаю сигареты и, стараясь оттянуть время, нарочно медлю, не зажигая спички. Как было бы хорошо, если б прошел какой-нибудь знакомый. А вдруг, как и улица на холме, лицо, которое должно быть мне знакомо, превратится в совершенно незнакомое?..

Подступила тошнота. Может быть, оттого, что я слишком напрягал зрение, стараясь разглядеть невидимое. К тошноте прибавилось и головокружение. В общем, я, очевидно, слишком долго колебался. Если я не решаюсь повернуть за угол, тогда нужно, не раздумывая, идти обратно. Но в тот миг, когда я уже собрался повернуть, сзади раздался пронзительный гудок автомобиля. Изрыгая клубы дыма, вверх поднимается груженный овощами, обшарпанный трехколесный грузовичок. Но что это, галлюцинация? Прижавшись к стене, я на секунду теряю его из виду, а в следующую секунду грузовичка уже нигде нет и исчезает не только трехколесный грузовичок. Исчезают и все люди. Теперь вокруг ни души. Меня охватывает чувство ужасного одиночества. Так тоскливо, будто меня с головой погребли под чернильными ластиками, и я что было сил помчался назад, вниз, откуда только что пришел. Но спускаться вниз по крутой дороге еще труднее, чем подниматься по ней. Выщербленный бетон — не особенно удобное место для ходьбы, и бороздки, предотвращающие скольжение, тоже никакой пользы прохожему не приносят. Чтобы сохранить устойчивость, приходится изо всех сил напрягать колени. Каменная стена — теперь уже справа — по-

степенно повышается, в самом конце спуска около нее стоит уличный фонарь. На его столбе прикреплена табличка с названием улицы — белые иероглифы на зеленом фоне. И хотя я чувствую, что название именно то, которого я ждал, прежней уверенности нет.



Неожиданно дорога становится шире и упирается в большую улицу с тротуарами, по которой ходят автобусы. У конца склона горит фонарь, а на этой улице, буквально в десяти шагах от него, еще совсем светло. Но куда ни посмотришь, на ней тоже нет ни души, и меня охватывает невыразимый страх. Впечатление, будто меня заманили в пейзаж, на котором забыли нарисовать людей. Поскольку нет людей, нет, разумеется, и машин. Но все указывает на то, что люди только что здесь были. Например, еще дымящийся окурок сигареты на обочине тротуара. Судя по пеплу, его бросили несколько секунд назад.

Я бегу вправо. Показался вход в метро — там-то уж безусловно должно быть оживленно илюдно, думаю я. На перекрестке у светофора — центральная часть улицы — высится огромное здание страховой компании, книжный магазин, небольшой универмаг. Двери магазинов широко распахнуты, товары разложены — они ждут покупателей, но покупателей нет, нет и продавцов. Только светофор меняет зеленый цвет на желтый, желтый на красный, красный снова на зеленый, но автомобилей нет, ни движущихся, ни стоящих. Однако разносимый ветром запах выхлопных газов чувствуется, как обычно. Значит, и люди, и автомашины исчезли совсем недавно.

Заглядываю в метро. Тишина, не слышно шума ветра, гудящего в бесконечном туннеле. Рядом — дешевая закусочная, и я протискиваюсь в полуоткрытую дверь — хотя людей нет, чашки с рисом, стоящие на столах, еще дымятся. Я выскакиваю наружу. Бегу назад к дороге, ведущей в гору. У подъема останавливаюсь, смотрю вверх и, убедившись, что воспоминание о том, что находится за поворотом, не возвращается, начинаю кричать сначала тихим голосом, а потом все громче и громче.

Голос растворяется в абсолютном безлюдье, поглощается им — он не возвращается даже трупом эха.

Я миную дорогу и бегу в другую сторону по той же улице, на которую она меня вывела. Пробегаю под виадуком, в ряд тянутся табачная лавка, мастерская водопроводчика, химчистка, я поворачиваю налево, вижу автозаправочную станцию, а за ней платную стоянку автомашин, и тогда мне кажется, что я попал наконец в то место, которое мне нужно. Хотя, может быть, и не то, куда я стремился. Но чувствую, что оно может послужить отправной точкой. Останавливаюсь у входа на платную стоянку: наискось от меня, через дорогу, высится труба бани, а рядом — кафе. Этот вид запечатлелся в моей памяти, как открытка. Надежда распирает грудь — я пересекаю улицу и толкаю дверь кафе. И надежда не обманывает меня — мне удастся встретить живого человека. Женщина с хрупкой, как у девушки, шей сидит на табурете напротив входа, закинув ногу на ногу и высоко подняв колени. И в то же мгновение — будто включили радио — вскипает шум. Я оборачиваюсь — за черным сетчатым занавесом, на улице, снуют люди, сплошным потоком текут машины. На миг вернувшийся ко мне покой позволяет забыть о потерянной улице. Конечно, только на миг. Спускаются сумерки. Небо еще светлее помрачневших зданий, но автомашины уже зажгли фары. Я никак не могу понять, каким образом движется время. Странно и то, что дыхание у меня почти спокойное, хотя я так долго бежал.



Я занимаю столик в самом дальнем углу кафе у окна. Зажав двумя пальцами правой руки бумажник, лежащий в левом внутреннем кармане, не свожу глаз с женщины на табурете. Табурет недалеко от входа, и с моего места кажется, что ее сплетенные ноги чуть ли не над дверью. Хотя я и говорю «у окна», но столики стоят в один ряд — все у окон, хоть я и говорю «в самом дальнем углу», но от меня до двери всего пять столиков, каждый на четыре человека. И служащих в кафе — только эта женщина на табурете, одновременно официантка и кассирша. За стойкой маленькое окошко, как в голубятне,—

из него подают заказанные блюда. Стена, где окошко, другого цвета, чем остальные. Видны высывающиеся в окошко руки, лица ни разу заметить не удалось. Руки белые, большие, но возраст и пол человека, которому они принадлежат, не определить. Если это мужчина, то он похож на женщину, если женщина, то она похожа на мужчину. Но в моем воображении обладатель рук обязательно должен быть мужчиной, и он должен быть мужем женщины или кем-то в этом роде. Скорее всего из непроборимой ревности он упрятал себя за стену. И, представляя себе взгляды мужчин, рыщущие по телу его жены, он корчится в муках там, за стеной. А может быть, где-то в стене проделана дырка, и он исподтишка наблюдает за посетителями. Иначе зачем бы женщине, как птице на жердочке, сидеть перед стойкой на шатком табурете, высоко подняв скрещенные ноги? Выполнив заказ посетителя, она с грустным лицом возвращается на свой табурет и, тряхнув головой, поправляет рассыпанные по плечам волосы. На лоб, наискось перерезая его, падает челка. Веснушки под глазами гармонируют с ее грустным лицом. И потом она замирает в удивительно напряженной позе, закинув ногу на ногу, будто рекламирует чулки. Тогда ее тело, хрупкое, точно девичье, становится удивительно женственным и к тому же ужасно незащитным... ее действительно нельзя не ревновать. Даже я, посторонний для нее человек, непроизвольно испытываю ревность.

Если бы удалось разрушить стену, тогда тут же на месте можно было бы решить, прав ли я. Кто-то, помнится, утверждал, что посетителям кафе очень нравится наблюдать за тем, как приготавливают для них еду. Но не будь стены — представление, устраиваемое женщиной, сразу же утратит свою естественность, а поведение мужчины покажется смешным. Нельзя пренебрегать и вознаграждением. Цена женщины снизится наполовину. Если ревность чего-то стоит, потеря будет чувствительной. Кто бы ни был режиссером этого представления на табурете, мужчина вряд ли согласится расстаться с позицией, которую он занял. Самая горькая ревность, упрятанная за стену, может рассчитывать на вознаграждение. Вот потому-то я и стал постоянным посетителем этого кафе. Правда, я не подвергаю сомнению уверенность, что являюсь постоянным посетителем — от этого я просто отвлекаюсь...

Двое за столиком у самой двери, те, что оживленно жестикулируя, договаривались, видимо, о какой-то торговой сделке, поднялись. Вслед за ними, одернув юбку, сходит с табурета женщина. Икры ее слегка поблескивают. Впечатление, что поблескивает покрывающий их пушок, но вряд ли ноги ее обнажены. Все-таки юбка слишком короткая, не гармонирующая с ее длинными распущенными волосами. Воспользовавшись тем, что остался единственным посетителем, я решительно лезу в карман за бумажником. Черный, бычьей кожи прямоугольный бумажник с загнутыми углами и следами долгого пользования. Выну-ка я все из бумажника и разложу на столе — на его светлой пластиковой поверхности. Может быть, это возвратит мне память. Нужно вынимать по порядку — начну с того, что внутри. Почти беззвучно расстегиваю молнию. Верхнее отделение для ключей, в нем два ключа — большой и маленький. Один от автоматического замка, другой — обычный, простой формы. На каждом выбит номер — никаких других знаков на них нет. К сожалению, не помню, от чего они.

Среднее отделение, с двух сторон затянутое прозрачной пластмассой, — для проездного билета. Когда я открывал еще верхнее отделение, то сразу увидел, что в среднем ничего нет, но ведь это так на меня похоже — проездной билет и бумажник класть в разные карманы. Ладно, не буду отвлекаться, пойдем дальше. Отстегнув кнопку, пересчитываю содержимое. Три новенькие бумажки по десять тысяч иен и две по тысяче. И мелочи на шестьсот сорок иен. Итого тридцать две тысячи шестьсот сорок иен. Если даже я и не сразу найду наш дом, то все равно смогу протянуть какое-то время. Но откуда у меня такие деньги? Этому нужно, очевидно, найти объяснение. Мне кажется, это слишком большая роскошь, иметь при себе на карманные расходы месячное жалованье. Не исключено, конечно, что была какая-нибудь особая необходимость. Но на тридцать тысяч иен, да еще в рассрочку, можно очень много купить. Объяснить забывчивостью — но это уже выходит за всякие рамки. Объяснением может, разумеется, быть не только необходимость сделать какие-то покупки. К примеру, мне поручили передать собранные в фирме деньги семье умершего товарища. Но этот вариант ничуть не лучше забывчивости. Даже несуразность должна иметь какие-то границы. Если я обыкновенный служащий, у меня не может

быть никаких оснований носить при себе такие деньги. Нет, такой автопортрет не годится. Обманывать себя — еще не значит быть обманутым настолько, чтобы ложь представлялась правдой... Действительно, ты даже не в состоянии ухватиться за главную путеводную нить — свое собственное имя!

Неожиданно от затылка ко лбу надвигается тупая боль. Снова поднимается тошнота, оставившая было меня, как только я вошел в кафе. Кажется, я действительно забыл свое имя. Сохранилось лишь сознание, что я — это я.

Вдруг стакан на моем столе со звоном подпрыгнул. К счастью, он пустой — не пролился и не разбился. Видимо, стол затрясся от моего колена, и, значит, это я дрожу. Кладу локти на стол — он опять дрожит, и я поспешно снимаю их. Беспорядочно шарю по карманам. Хоть бы отыскать проездной билет, тогда бы все встало на свои места, прошлое вернулось бы. Раньше мне казалось, что знать имя, адрес не так уж важно, но теперь этого не скажешь. Я начал вываливать на стол все, что было в карманах.

...Носовой платок... спички... сигареты... оторванная от пиджака пуговица... темные очки... маленький треугольный значок... клочок бумаги, на котором начерчен какой-то план...

Оконное стекло сверкнуло огнем. Его лизнули фары автобуса. В свете фар ветви чахлах деревьев вдоль тротуара кажутся рваной сетью. Я тут же весь сосредоточиваюсь на автобусе. Ощущаю истертые подножки и поручни, рыскаю глазами по салону в поисках свободного места, вижу рекламу за сиденьем водителя, вдыхаю специфический запах — смесь пота и бензина, вслушиваюсь в работу мотора — каждый работает по-своему, и мне он кажется живым продолжением моего собственного тела. Я мчусь вместе с автобусом. Множество остановок, таких важных для меня, все время меняющийся пейзаж, здания, имеющие названия, — все это, слившись в общую картину, всплывает перед глазами. И вправе ли я сомневаться, что существует самая тесная, неразрывная связь между мной и автобусом? Только бы найти проездной билет — тогда все бы разъяснилось. Может, завалился куда-нибудь, может, и потерял... нет, наверно, как раз кончился срок и я отдал его, чтобы получить новый...

да, а что, если из этих тридцати тысяч я собирался уплатить за билет?..

Брось, сколько ни вытаскивай на свет таких догадок, они ни к чему. Кроме всего, мой автобус шел куда угодно, только не в то место, которое мне нужно.

Настоящий автобус, дав газ, умчался. Оконное стекло снова превращается в темное зеркало. И как раз в том месте, где был свет фар, отражается фигура женщины. На ее лицо падают блики уличного фонаря, над деревьями — сквозь листву, — и как следует его не рассмотреть, но, кажется, она наблюдает за мной. И это вполне резонно. Совершенно естественно, что ей хочется наблюдать. Жалкий, суетящийся человек, что-то потеряв, вываливает содержимое своих карманов на стол. Насколько осознает она всю серьезность положения — это уж другой вопрос. Действительно, речь идет о потерянной вещи, но ей и в дурном сне не приснится, что на самом деле я потерял самого себя. Нет, может быть, не я потерял самого себя, а я потерян самим собой. И поэтому, когда умчался автобус, я почувствовал на мгновение боль оттого, что автобус меня потерял, стряхнул с себя. Выходит, что я, находящийся здесь, — не потерявшийся «я», а именно потерянный «я». Или, другими словами, не улица за поворотом исчезла, а скорее исчез этот другой мир, оставив меня одного между поворотом и кафе. Действительно, если вдуматься, я не утратил воспоминания посреди склона, пожалуй, с того места только и начались мои воспоминания. И проблема не в исчезнувшей улице, а, возможно, в том, что осталось, не исчезнув. Может быть, это кафе имеет для меня несравненно большее значение, чем я предполагаю? И эта женщина, вернувшая на улицы прохожих, живых людей...

Я тоже, не отрываясь, смотрю на женщину. Зеркало окна слишком темное, глаза спят фары беспрерывно проносащихся машин, и поэтому я перевожу взгляд прямо на женщину. Она, конечно, замечает мой взгляд. Но с невозмутимо-понимающим видом продолжает смотреть в окно. Не исключено, что ключ в ее руках. Может быть, она значительно более важная находка, чем все извлеченное мной из карманов и сваленное на столе.

Вошли новые посетители. Молодые мужчина и женщина, мужчина по виду продавец — скорее всего, из ближайшего магазина. Женщина — его возлюбленная или сестра, а может быть, просто родственница, приехавшая

из деревни навестить его. Они садятся через столик от меня, и мужчина, подняв два пальца, говорит громко: «Кофе», и они начинают о чем-то разговаривать шепотом, с таким трагическим видом, будто обсуждают расходы на лечение умирающего отца.

Женщина слезает со своего табурета, и я, воспользовавшись этим, заказываю себе еще кофе. Я не думал, что таким способом оправдаю свое пребывание в кафе — я сидел уже минут сорок — пятьдесят, просто хотелось побыть еще — меня все больше занимал мужчина за стеной. Правда, этот мужчина существовал лишь в моем воображении. Но я очутился в такой ситуации, что теперь у меня с этим воображаемым мужчиной была в чем-то общая судьба. И оттого, что он был воображаемым, глупостей все равно делать не следовало. Если в потере памяти есть своя логика и закономерность, то и этот воображаемый человек, естественно, как один из главных соучастников, заслуживает равного положения с женщиной.

Я смотрю на женщину. Я продолжаю смотреть на нее. Сквозь просветы в падающих на лицо волосах я воровски перехватываю ее взгляд. У нее слишком короткая юбка, и видно, как в такт движению ног, точно дыша, эластично сокращаются ложбинки под коленями. И вот сейчас этот незримый мужчина за стеной, весь обратившись в слух, разбивает от ревности первое, что подается под руку, и проливает крутой кипяток — мысль об этом заставляет сильнее биться сердце. Но сколько я ни жду, к величайшей досаде, звука разбившегося фарфора так и не слышу. А из окошка как ни в чем не бывало высовывается белая рука. Чашки на подносе совсем не дрожат. Дрожу я. Большой палец, которым я уперся в край стола, чтобы унять дрожь, точно сохраняя отзвук печали, продолжает напряженно дрожать, как дрожит рука актера, когда он хочет безмолвно передать волнение. Но можно ли в это поверить? Ведь сила взрыва пропорциональна силе сжатия. А может быть, мне серьезно заняться соблазнением этой женщины? Стоит мне отсюда выйти, и мой мир превратится в тупик перед тем поворотом. Значит, спокойно сидеть я могу только здесь. Для меня кафе превратилось в нечто большее, чем для обыкновенного завсегдатая, связанного с ним несколькими чашками кофе. И вовсе не исключено, что скрытый смысл выпавших на мою долю испытаний

как раз и заключался в том, чтобы соблазнить женщину. Используя окно как зеркало, я приглаживаю волосы над ушами. Выпятив подбородок, поправляю узел галстука. Он не очень дорогой, но модный, только что поступивший в продажу. Я, конечно, не мню себя завзятым соблазнителем. Но положение мое весьма выгодно. Я похищаю женщину, увязнувшую в любви, у мужчины, увязнувшего в ревности, а это самое простое химическое уравнение. Будь я только соблазнителем, все было бы в порядке. Но, по-моему, женщине уже следовало бы реагировать, как это полагается по законам химии. Попробую, улучив момент, сунуть ей деньги и попрошу ее пораньше закрыть кафе и переспать со мной. Реакция в полном соответствии с законом ускорится и наконец достигнет апогея. А мужчина, взорвавшись, пробьет стену. Я, естественно, тоже, избавившись от своей роли — хотя нельзя сказать, что все связи с прошлым порваны, — обрету наконец свой мир за поворотом...

Из окошка снова высовывается белая рука — на этот раз, очевидно, мой кофе. Женщина, держа поднос в одной руке, подходит ко мне, оставив стул, загораживающий узкий проход между столиком и стеной. Я тоже поспешно отодвигаю раскиданные на столе вещи. И, понимая, что в этом теперь нет никакой необходимости, снова рассовываю их по карманам.

Носовой платок (без инициалов)... спичечный коробок (из этого кафе)... сигареты (осталось всего четыре штуки)... пуговица от пиджака... темные очки...

Темные очки? Глаза у меня болят, что ли? Судя по отраженному в оконном стекле моему портрету, портрету служащего, с глазами как будто все в порядке. И одет скромно, в общем, не похож на определенную категорию людей, щеголяющих в темных очках. В том, что коммивояжеры или рекламные агенты, работающие на открытом воздухе, носят темные очки, чтобы следить за реакцией клиента, нет ничего удивительного. Если бы я был комиссионером фирмы в каком-нибудь отдаленном районе, с конторой, расположенной в собственном доме, то отсутствие проездного билета можно было бы объяснить этим. И все равно, не слишком ли мало у меня вещей? Не могу понять, почему у меня нет с собой ни одной визитной карточки. А может быть, у меня вошло в привычку все складывать в чемодан и сдавать его в камеру хранения на вокзале?

Когда женщина приблизилась к моему столику, на нем уже оставались только две вещи: клочок бумаги и значок. Я подумал, что с ними, наверно, связана целая история, и решил, что они не помешают поставить кофе. Кроме того, мне хотелось увидеть реакцию женщины. Не исключено, что я хотел использовать эти вещи, казалось, такие знакомые, чтобы с их помощью распутать нить воспоминаний. Женщина ставит кофе, молочник, сахарницу, наливает в стакан воду, и в течение этого времени по меньшей мере два раза бросает взгляд на оставленные вещи. Но реакции, которую можно назвать реакцией, я не замечаю. Если бы вместо них лежали сигареты, спички и пуговица, было бы, наверно, то же самое.

Надежда не оправдалась, и я, захваченный странным выражением ее лица, которое придают ему веснушки — по мере приближения к внешним углам глаз их становилось все больше,— задал ей несколько вопросов — самых общих — они были у меня заранее приготовлены. Один из вопросов, например: какой сегодня день? Сам по себе он никакого особого смысла не имеет. Но по ответу я мог судить, как относится ко мне женщина, и эти ничего не значащие слова послужили прекрасной зацепкой для более важных вопросов. Во всяком случае, эта женщина сегодня единственный знакомый мне человек, и, если она поможет мне, какое это будет для меня счастье. Очень бы хотелось, чтобы она по возможности рассказала все, что знает обо мне. Следовательно, нужно повести дело осмотрительно, стараясь не допустить ни малейшей ошибки...

Женщина снова возвращается на табурет и сплетает ноги. Туфля едва не сваливается с ноги, которая наверно, впадинки у лодыжки тревожат воображение. Я опускаю глаза. Ладно, брошу последний вызов этим двум уликам. Слегка выпуклый посредине значок в виде правильного треугольника с закругленными углами, покрытый голубой эмалью, с серебряным ободком. Серебряное же рельефное S. Буква необычной формы — одна ломаная линия — и на первый взгляд напоминает молнию. А может быть, и в самом деле это не S, а молния? Если молния, то, я думаю, значок как-то связан с электричеством, но мне ничего не приходит в голову. Я не знаю, что предпринять, — не могу же я, в самом деле, выискивать в телефонном справочнике названия всех элект-

рических компаний, начинающихся на S. Но, судя по тому, как сделан значок, это не детская игрушка, в нем заключен определенный смысл. Внимательно рассматривая его, я прихожу к мысли, что это значок какой-то опасной тайной организации. Просто прихожу к мысли, но догадаться, что это за организация, не могу. Я понял одно — задача мне не под силу.

Клочок бумаги с планом мне тоже напоминал что-то, но вспомнить ничего не могу. Похоже и на план, похоже и на схему расположения газовых и водопроводных магистралей, похоже и на насос в разрезе — в общем, может оказаться чем угодно, в зависимости от того, с какой стороны смотреть. В углу мелко написана семизначная цифра. Возможно, номер телефона. Я не помню, чтобы сам писал эту записку, но не припоминаю, чтобы мне ее кто-то передавал. Что же это за предмет, который, вместо того чтобы отвечать, сам задает вопросы? Остается только скрежетать зубами. А вдруг это и в самом деле номер телефона, что тогда?.. и не исключено, что именно он свяжет меня с прошлым, и по этой тропинке возвратится моя память...

Телефон рядом с кассой. Сразу же за табуретом женщины. Когда я проходил мимо, она почти не изменила позу. Я протерся боком о ее выставленные колени, но она и не подумала подобрать их. Она сжала губы, втянула их, а потом неожиданно распустила и издала звук, похожий на поцелуй. Это можно было принять за приветствие, но приветствие очень опасное. А если не приветствие, то тогда непонятно, что это.

Стоило поднять трубку, как меня сразу охватило беспокойство. Чувство, будто беру на себя обезвреживание мины, не умея с ней обращаться. Может быть, я проваливаюсь в поджидающую меня ловушку? Медленно, сверяясь по бумажке, набираю номер. Что сказать, когда поднимут трубку? Во всяком случае, нужно постараться, чтобы не возникло никаких подозрений. Нужно как-то поддерживать разговор, чтобы выяснить, что это за человек и где он живет. Занято. Набираю еще раз — снова занято. Я звоню подряд раз семь, примерно минут двадцать, но все время слышу одни и те же резкие прерывистые гудки.

Перевожу взгляд на женщину — она неотрывно грызет ноготь большого пальца. Поглощена этим занятием. Покрытые красным лаком ногти похожи на маринован-

ные сливы. Быстродвигающиеся губы. Кончик ногтя она вкладывает между губами, и зубы грызут его. Вновь и вновь вгрызаясь в ноготь, женщина забывает обо всем. И потому, что забывает обо всем, забывает, конечно, и обо мне. Неожиданно я испытываю беспокойство. Если женщина совсем обо мне забудет, не превратится ли улица снова в безлюдную? Нужно, наверно, заставить ее поскорее прекратить это занятие. Чтобы вернуть женщину к действительности, я поспешно кладу счет на стойку. Женщина испуганно прячет большой палец, ноготь на котором обкусан и лак облез.

Я молча протягиваю тысячееную бумажку, женщина, тоже молча, дает сдачу. Она не произносит ни слова, но, как и раньше, трижды издает губами звук поцелуя. Было ли это сделано с определенным значением, нет ли, я снова как следует не понял. Я надеялся услышать от нее какие-то слова и немного подождал. Вместо слов — извиняющаяся улыбка, которая приводит меня в растерянность. На скулах веер веснушек, так идущих улыбке. Но сколько бы она ни улыбалась, я не знаю, что мне делать. До улыбки все равно должны быть слова. Я вынужден сознаться, что, видимо, спутал последовательность. Кроме того, я уже взял сдачу, и дальше оставаться в кафе нет причин.



Останавливаю такси. Темно-синее такси с желтым верхом. Дверца захлопывается с таким грохотом, что кажется, будто машина вот-вот развалится. В открытой пепельнице еще дымится сигарета, оставленная предыдущим пассажиром. Молодой шофер, раздраженный тем, что я все не называю улицу, на которую нужно ехать, срывает фуражку и швыряет ее на сиденье. Протягиваю пятьсот иен, недалеко, мол, и прошу ехать, куда укажу. У него сразу же исправляется настроение, но фуражку он так и не надевает.

— Там, в начале этого спуска, какая улица?

— Не Взгорная?

— Возможно. Она на горе, потому, наверно, и называется Взгорная.

Улица задыхается от света, бурлит остатками дневно-

го оживления. Но почему-то существенной разницы с прежним безлюдным пейзажем не ощущается. И теперь я никак не могу понять, почему безлюдье привело меня в такое замешательство. Столкнись с ним сейчас, наверно, не испугался бы. Даже если бы вместо людей и машин по улице шествовали полчища ящеров и муравьедов, я бы воспринял это как реальность и постарался понять, что происходит.

И вот мы посредине того самого склона... но такси не поворачивает назад и не останавливается... звук мотора неожиданно меняется, машина начинает дрожать, но шофер переключает скорость, и она спокойно, одним махом преодолевает поворот. Я упираюсь ногами в пол, спина вдавливается в подушку. Затаив дыхание, надеюсь как следует рассмотреть проносящуюся мимо улицу...

Нельзя сказать, что я покинут в пустоте. Какая там пустота: насколько хватает глаз — огромный жилой массив. Четырехэтажные дома на дне темной долины образуют симметричный рисунок огней. Я и представить себе не мог, что передо мной развернется такой пейзаж. Но вопрос в том, почему не мог представить себе. В пространстве улица, несомненно, существовала, а во времени представляла собой пустоту. Как это страшно — существовать и в то же время не существовать. Четыре колеса действительно вращаются по земле, и мое тело, несомненно, ощущает вибрацию. И все равно — моя улица исчезла. Видимо, не следовало проскакивать этот поворот. Теперь попасть туда, за поворот, мне уже никогда не удастся. Перспектива ярких ртутных фонарей. Спешащие домой толпы людей, удаляясь, становятся все прозрачнее...

Я почти кричу шоферу, вопрошающе замедлившему движение. Скорее назад! Как можно скорее отсюда! Нужно убежать в такое место, где гарантирована свобода пространства. А здесь я потеряю не только время, но и пространство и окажусь замурованным в стену действительности наподобие того белорукого хозяина кафе.

К счастью, остальной мир в порядке. Наверно, я сделал правильно, выбрав такси — транспорт, доступный бесчисленному множеству людей. Выхав на улицу, по которой ходят автобусы, я выскакиваю из такси у первой же телефонной будки. Сейчас в моих руках единственная сохранившаяся нить — номер телефона под планом на клочке бумаги. Конечно, если я буду действовать неловко, произойдет то же самое, что случилось там, за пово-

ротом. Снимаю трубку и опускаю десятииеную монету. Набираю номер, сейчас уже не занято — долгие гудки. Я прихожу в замешательство. Видимо, недостаточно собрался, рассчитывая на то, что там еще разговаривают. Может быть, положить трубку? В том состоянии, в каком я сейчас, мне вряд ли удастся решиться на что-либо, даже если ответят. Начинаю пересчитывать трещины в разбитом стекле кабины. Если четное число — подожду. Если нечетное — положу трубку. Но раньше, чем я успеваю пересчитать все трещины, десятииеная монета проваливается — к телефону подошли.

Женский голос. Голос до ужаса отчетливый — несомненно, ее голос. Произношу первую пришедшую на ум ложь.

— Простите, пожалуйста. Я нашел бумажник, и в нем лежал листок с этим номером. Я решил на всякий случай позвонить...

Реакция совершенно неожиданная. Женщина на том конце провода рассмеялась. Низким, точно застревающим в горле голосом, но невинным, безразличным тоном:

— О-о, это вы? Что случилось?

— Я, понимаете, кто-то...

— Ну ладно, оставьте ваши шутки...

— Помогите мне! — молю я. — Я сейчас в телефонной будке у начала Взгорной улицы. Прошу вас, выйдите мне навстречу.

— Ну что вы, в такое время... вы, наверно, пьяны?

— Прошу вас! Мне очень плохо. Сделайте это для меня...

— Невозможный человек... ну ладно, ждите. Стойте на месте. Я выхожу...

Кладу трубку и без сил опускаюсь на пол прямо тут же, в кабине. В углу валяется скомканная газета, под ней чернеют высохшие испражнения. Не особенно пахнут, но я тем не менее невольно поднимаюсь. Какой мужчина сделал это?.. может быть, и женщина, нет, скорее мужчина... он очень долго терпел. Этот одинокий мужчина, который не может воспользоваться ни одной уборной из великого множества разбросанных по бесконечному лабиринту, именуемому городом... мне стало жутко, когда я представил себе скорченную фигуру этого мужчины в телефонной будке.

Конечно, совсем не обязательно, чтобы он был таким же, как я, человеком, потерявшим место, куда должен

вернуться. Может быть, бродяга, даже не осознающий, что он потерял. Но между нами большой разницы нет. Врач, наверно, стал бы утверждать, что я потерял не то, что находилось за поворотом, а память. Но кто же в это поверит? Любой человек, каким бы здоровым он ни был, не может знать иных мест, кроме тех, что он знает. Любой, так же как и я сейчас, заключен в узкий, известный ему мирок. Поворот на улице, станция метро, кафе — действительно мал этот треугольник. Слишком мал. Ну а что произойдет, если этот треугольник увеличится в десять раз? Что изменится, если треугольник превратится в десятиугольник?

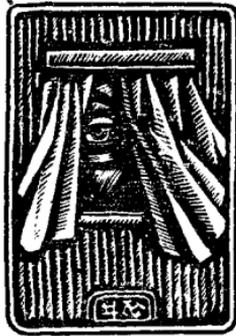
Если только знать, что этот десятиугольник не открытая карта, простирающаяся бесконечно... если только спаситель, пришедший на помощь по телефонному звонку, не окажется посланцем из другой карты и не заставит тебя понять, что твоя карта неполная, с множеством пропусков... тогда и этот человек заглянет за поворот, существующий и в то же время не существующий. Телефонный шнур превратился в петлю.

Дверь будки с силой захлопывается, но пружина отбрасывает ее немного назад, и остается щель сантиметра в три. Много прохожих. Но никто ко мне не обращается. Моей спасительницы пока не видно. Улыбаясь чему-то, быстро проходит мужчина. Беременная молодая женщина, все время поглядывая, как капает из ее сумки, в которой лежит мороженая рыба, пробирается сквозь море людей. На меня взглянул лишь один человек — бледный юноша лет семнадцати-восемнадцати. Он наполовину просунулся в будку, из которой я только что вышел, и, привычным движением что-то подбросив в нее, скрылся в толпе. Наверно, карточку с телефоном девицы.

Между машинами почти нет промежутков. Я с трудом перебегаю на другую сторону. Как раз напротив телефонной будки растут платаны. Их толстая шершавая кора указывает на значительный возраст, но они не настолько толстые, чтобы укрыться за ними. В нескольких шагах от метро темная щель, точно ее прогрыз червяк — узкая дорожка между лавкой, одновременно табачной и винной, и обувным магазинчиком. Как ни в чем не бывало я иду туда, как ни в чем не бывало прячусь в этой щели. В промежутки между непрерывно текущими большими и маленькими машинами я внимательно слежу за телефонной будкой. Наконец появляется женщина. Ког-

да человек так останавливается, его ни с кем не спутаешь — узнаешь сразу. Заглядывает в будку, смотрит вокруг, останавливается. Та самая женщина. Женщина из кафе, с распущенными волосами, сидевшая на табурете, закинув ногу на ногу... я сначала удивляюсь, но потом понимаю, что это совершенно естественно. Женщина уходит, потом возвращается, подходит к будке и снова заглядывает внутрь. Растерянно оглядывается по сторонам, опять останавливается. Однажды взгляд ее скользит по мне, но узкую темную щель она, видимо, не замечает. Я продолжаю прятаться, наблюдая за ней. Она беспокойно ищет, даже смотрит на небо. Раздавив зубами готовый вырваться вопль, я продолжаю сдерживать себя. Если она меня и найдет, все равно ничто не разрешится. Мне нужен сейчас мир, выбранный мной самим. Собственный мир, выбранный по собственной воле. Женщина ищет. Я продолжаю прятаться. Наконец она, отказавшись от мысли найти меня, медленно уходит, ее загораживают машины, и женщины уже больше не видно. Я тоже покидаю темную щель и иду в противоположную сторону. Иду по карте, понять которую не могу. Может быть, для того, чтобы прийти к женщине, я иду в противоположную от нее сторону?..

Не нужно искать дорогу в прошлое. Хватит звонить по телефону, записанному на бумажке. Поток машин неожиданно останавливается, потом все они, даже тяжелые грузовики, объезжают труп кошки, раздавленной, расплющенной, как лист бумаги. Бессознательно я начинаю подбирать имена для этой расплющенной кошки, и на моем лице расцветает щедрая улыбка.



ЧЕЛОВЕК-ЯЩИК

РОМАН

•





**ВЧЕРА ПРОВЕДЕНА ОПЕРАЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ УЭНО ОТ
БРОДЯГ. АРЕСТОВАНО 180 ЧЕЛОВЕК.**

Полицейское управление Уэно в Токио, готовясь к приближающейся зиме, а также принимая меры предосторожности в связи с делом № 109 — «зверские убийства с применением огнестрельного оружия», — в ночь на 23-е провело облаву на бродяг в парке Уэно, а также в подземном переходе вокзала Уэно. В районе здания Токийского культурного центра в парке Уэно, в подземном переходе и других местах было арестовано в общей сложности 180 человек, которым было предъявлено обвинение в нарушении закона о мелких правонарушениях (бродяжничество, попрошайничество), а также правил поведения в общественных местах (действия, запрещенные на улицах). Все арестованные были доставлены в ближайший полицейский участок, 4 человека, сказавшиеся больными, помещены в клинику, 9 человек — в дом для престарелых. Остальные освобождены после того, как дали подписку о «прекращении бродяжничества». Однако уже через час почти все отпущенные снова вернулись на прежние места.

ЧТО ПРОИЗОШЛО СО МНОЙ

Это невыдуманные записки о человеке-ящике. Я начинаю писать их в ящике. В ящике из гофрированного картона, который надет на голову и доходит до пояса.

Одним словом, человек-ящик — я сам. И так, человек-ящик, сидя в ящике, приступает к запискам о человеке-ящике.

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯЩИКА

Материал:

Пустой ящик из гофрированного картона — 1.

Кусок полиэтилена (полупрозрачного) — 50×50 см.

Клейкая лента (водоотталкивающая) — примерно 2 метра.

Проволока — примерно 2 метра.

Инструмент — перочинный нож.

Чтобы быть надлежащим образом одетым для улицы, необходимо, кроме того, обеспечить себя тремя кусками плотной ткани и одной парой резиновых сапог.

Пустой ящик из гофрированного картона должен быть метр в длину, метр в ширину и метр тридцать в высоту — тогда он подойдет любому. Лучше всего использовать стандартный ящик. Во-первых, его легко достать. Во-вторых, большинство товаров, для которых используются стандартные ящики, как правило, не имеют определенной формы, например пищевые продукты, и поэтому ящики для них, чтобы продукты не деформировались, делают достаточно прочными. В-третьих — и это самое главное, — отличить такой ящик от других практически невозможно. Действительно, насколько мне известно, почти все люди-ящики, точно сговорившись, используют именно такие ящики — видимо, если ящик чем-то выделяется, это снижает анонимность его владельца.

В последнее время ящики из гофрированного картона, даже самые обычные, стали делать чрезвычайно прочными и обрабатывать водоотталкивающим составом — так что в сухой сезон выбирать ящик с особой придирчивостью нет необходимости. Кроме того, такой ящик хорошо вентилируется, он легкий и удобен. Тем, кто намерен длительное время пользоваться одним и тем же ящи-

ком, во все времена года, и особенно в сезон дождей, я предлагаю «непромокаемый». Он обтянут полиэтиленом и обладает, как следует из названия, повышенной водонепроницаемостью. Снаружи поверхность у него глянцевая, точно покрыта слоем жира, и в нем, видимо, быстро накапливается статическое электричество, отчего он сразу покрывается слоем пыли, стенки же у него толстые и поэтому коробятся. Все это сразу бросается в глаза.

Прежде чем приступить к подготовке ящика, необходимо решить, где будет его верх, а где низ (можно исходить из того, где наклеена этикетка, или считать верхом наименее поврежденную сторону ящика — в общем, каждый решает это по своему усмотрению), и срезать нижнюю крышку. Если личных вещей много, можно не срезать ее, а завернуть внутрь и, закрепив по углам проволокой или клейкой лентой, использовать как полку. На стыках стенки лучше всего укрепить клейкой лентой (три шва сверху и один — сбоку).

Особого внимания требует смотровое окошко. Прежде всего нужно определить его размер и местоположение. Поскольку для каждого человека они будут различны, я ограничусь лишь тем, что приведу размеры, которые, на мой взгляд, можно считать оптимальными. Верхний край окошка должен находиться в 14 сантиметрах от верха ящика; нижний — в 28 сантиметрах, ширина окошка — 42 сантиметра. Эти цифры можно принять за исходные. Для того чтобы обеспечить устойчивость надетого на голову ящика, я привязываю к голове один журнал. Если учесть его толщину, линия, находящаяся в 14 сантиметрах от верха ящика, будет примерно на уровне бровей. Может показаться, что окошко в ящике расположено слишком низко, но дело в том, что в повседневной жизни человеку редко приходится смотреть вверх. Вниз же, наоборот, необходимо смотреть часто, и поэтому уровень нижнего края окошка имеет большое значение. Стоящий в полный рост человек должен видеть землю хотя бы на полтора метра перед собой — иначе трудно идти. Что касается ширины окошка, то здесь все предельно просто — я заботился лишь о том, чтобы сохранить прочность ящика и избежать сквозняка. Поскольку дна в ящике нет, окошко должно быть как можно меньше.

Далее — как приделать к окошку шторку из полупрозрачного полиэтилена. Здесь тоже есть свой секрет. Лучше всего полиэтиленовую шторку укрепить клейкой

лентой у верхнего края окошка с внешней стороны, чтобы она свисала свободно, — нужно при этом не забыть предварительно разрезать полиэтилен пополам. Даже вообразить трудно, какую огромную службу сослужит эта маленькая уловка. Обе половины шторы должны быть одного размера и заходить одна на другую на два-три миллиметра. Если ящик находится в вертикальном положении, края шторы смыкаются и никто не может заглянуть внутрь. Если же ящик слегка наклонить, между двумя половинами шторы образуется щель, и это позволяет видеть, что делается снаружи. Простое, но в то же время чрезвычайно хитрое приспособление — вот почему нужно с особой внимательностью отнестись к выбору полиэтилена. Желательно, чтобы он был по возможности плотным и в то же время мягким. Дешевый полиэтилен, который при понижении температуры, моментально дубеет, создает массу неудобств. Еще менее пригоден тонкий, непрочный полиэтилен. Плотность и эластичность полиэтилена должны быть такими, чтобы путем изменения угла наклона ящика можно было свободно регулировать ширину щели в шторке и в то же время не испытывать неудобств от малейшего ветерка. Для человека-ящика щель в полиэтиленовой шторке — это фактически выражение его глаз. Ни в коем случае ее нельзя приравнивать к обычной дырке в заборе. Чуть увеличивая или уменьшая ширину щели, можно совершенно явственно выражать свое отношение к происходящему. Разумеется, не доброе. Это, скорее, мрачный, угрожающий взгляд. Можно без преувеличения сказать, что для беззащитного человека-ящика такой взгляд — одно из немногих средств самообороны. Хотел бы я встретить человека, который бы не дрогнул, глядя на меня.

В случае если приходится часто попадать в уличную толчею, неплохо проделать дыры и в боковых стенках ящика. Дыры, проткнутые толстой спицей, должны образовать круг диаметром 15 сантиметров и располагаются на таком расстоянии друг от друга, чтобы не нарушить прочности картона. Это увеличит обзор и, кроме того, поможет определять направление звука. Дыры целесообразно проделывать изнутри, и тогда шероховатости, образовавшиеся снаружи, хотя внешний вид ящика от этого проиграет, помешают дождю попадать внутрь.

И наконец, проволока — ее нужно разрезать на небольшие куски по пять, десять и пятнадцать сантимет-

ров и, загнув концы в противоположные стороны, сделать из них крючки. Количество вещей нужно свести до минимума, но все-таки существуют совершенно необходимые предметы, которые всегда должны быть под рукой и без которых просто невозможно обойтись: транзистор, чашка, термос, карманный фонарь, полотенце, коробка для мелочей.

Объяснять необходимость резиновых сапог вряд ли нужно. Главное, чтобы они не были дырявые. Плотная ткань служит для того, чтобы, обмотав ею поясницу, заполнить пространство между телом и ящиком,— так ящик будет плотнее сидеть. Если намотать ее, сложив в три слоя и спереди сделать разрез, движению она мешать не будет. Не создаст неудобств и при естественных отправлениях.



ЧТО ПРОИЗОШЛО С А.

Сделать ящик несложно. На это не потребуется и часа. А вот чтобы надеть его и стать человеком-ящиком — для этого нужно немалое мужество. В тот миг как человек влезает в ничем не примечательный, обычный картонный ящик и выходит на улицу, исчезают и ящик и человек и появляется совершенно новое существо. Человек-ящик отравлен ядом злобы. В какой-то степени тем же ядом отравлены и мужчина-медведь, и женщина-змея, нарисованные на вывеске балагана. Но платой за вход яд так или иначе нейтрализуется. Яд же, которым отравлен человек-ящик, не так безобиден.

Видимо, ты стал таким еще прежде, чем до тебя дошли слухи о человеке-ящике. Да и необходимости в слухах обо мне не было. Дело в том, что я не единственный человек-ящик. Статистических данных, правда, не существует, но есть косвенные доказательства того, что в самых разных районах страны скрывается немало людей-ящиков.

Тем не менее я еще ни разу не слышал, чтобы человек-ящик становился предметом обсуждения. Все будто сговорились хранить молчание о людях-ящиках.

Хотя и видели их...

Хватит притворяться несведущим. Человека-ящика заметить нелегко — это верно. Он подобен груде мусора под пешеходным мостом, за общественной уборной или дорожным ограждением. Но не замечать и не видеть — совсем не одно и то же. Человек-ящик — явление не такое уж редкое, и поэтому может представиться сколько угодно случаев встретиться с ним. Да и ты, несомненно, видел его не раз. Но я также хорошо понимаю твоё нежелание признать это. Причем не ты один, встретившись с ним, прикидываешься, что не видишь его. И даже если ты делаешь это без всякого умысла, все равно не можешь, наверно, инстинктивно не отвести глаза. Это неизбежно; когда глубокой ночью человек надевает темные очки или прикрывает лицо маской, значит, он замышляет что-то дурное или же просто трусит — других объяснений я придумать не могу. Тем более это относится к человеку, целиком упрятавшему себя в ящик, — его все подозревают, и против этого нечего возразить.

Кто же, несмотря на это, все-таки хочет стать человеком-ящиком, что его на это толкает? Возможно, то, что я скажу, покажется неправдоподобным, но существует немало поводов, совершенно незначительных случаев, которые могут привести к этому. Повод может быть совсем неприметный, который на первый взгляд даже не воспринимается как повод. Вот что, например, произошло с А.

Однажды под окнами А. поселился человек-ящик. Как А. ни избегал смотреть на него, он все равно без конца попадался ему на глаза. Сколько А. ни старался его игнорировать, ему это так и не удалось. Им сразу же овладели раздражение и растерянность, гнев и возмущение оттого, что кто-то посторонний незаконно вторгся в его владения. Но все же он решил выждать, ничего не предпринимая. Пусть это сделает вместо него болтливый мусорщик, каждое утро опорожняющий мусорные ящики. А. долго ждал, но никто не выказывал желания взяться за это дело. А. обратился было к управляющему домом — безрезультатно. Может быть, человек-ящик виден лишь из его комнаты, а людям, которым он не попадает на глаза, нет до него дела? Любой с готовностью прикинется, что не видит его.

В конце концов А. решил обратиться в полицию. Когда вышедший к нему полицейский, изобразив на лице

озабоченность, предложил написать заявление о причиненном ущербе, А. впервые почувствовал нечто похожее на испуг.

«Послушайте, но вы же просто можете сказать ему, чтобы он убрался».

Это брошенное ему вслед ехидное замечание полицейского заставило А. наконец решиться. По дороге из полиции он зашел к приятелю и взял у него духовое ружье. Вернувшись домой, он закурил, успокоился и, не таясь, высунулся из окна, из которого раньше выглядывал с опаской. Видимо, чисто случайно человек-ящик повернулся к нему той стороной, где было прорезано окошко. Их разделяло всего три-четыре метра. Как будто заметив растерянность А., человек-ящик слегка наклонился, полупрозрачная полиэтиленовая шторка, прикрывавшая окошко, следуя за наклоном, разошлась посередине, и из глубины ящика на А. внимательно посмотрели мутные белесые глаза. Кровь ударила А. в голову. Он распахнул окно. Вложил пулю в духовое ружье и стал прицеливаться.

Но куда же стрелять? С такого близкого расстояния можно попасть даже в глаз. А не вызовет ли это осложнений? Вполне достаточно просто дать ему понять — в другой раз не показывайся здесь! Какое положение занял человек в своем ящике? Пока А. пытался представить себе очертания его тела, палец, напряженно замерший на спусковом крючке, начал дрожать. Лучше всего, если его угроза заставит человека-ящика уйти, и тогда вообще стрелять не придется. Совсем не хочется проливать кровь, даже каплю крови. Но пусть не заставляет ждать до бесконечности. А вдруг он догадался, что это пустая угроза? Но отступать теперь уже поздно. Нервы сдавали, и А. решил подождать еще немного. Снова поднялась злость. Время перекалилось и вспыхнуло. Он потянул спусковой крючок. Ружье, а за ним и ящик издали звук, словно по мокрым брюкам провели зонтом.

В ту же секунду ящик резко дернулся вверх. Как бы ни старались сделать ящик как можно более прочным — гофрированный картон всего лишь картон. И хотя он успешно выдерживает давление, когда оно равномерно распределяется по всей поверхности, против точечного давления он устоять не может. Значит, свинцовая пуля впиалась в тело человека. Но ни вопля, ни даже стона, как ожидал А., не последовало. В ящике, который, дернув-

шись, снова замер, можно было уловить лишь до ужаса тихое, неприметное движение. А. растерялся. Целился он на несколько сантиметров левее и ниже линии, соединяющей правый верхний и левый нижний углы окошка. Видимо, он попал в правое плечо. Но может быть, он вообще промахнулся? И виной тому — его обычная нерешительность. Нет, реакция была слишком уж явной. На ум пришла ужасная мысль. Совсем не обязательно, чтобы человек-ящик находился в нем лицом к А. Невозможно определить и его позу, так как нижняя часть туловища была обернута плотной материей. Не исключено, что он сидел, скрестив ноги. Тогда могло произойти худшее — пуля, лишь задев плечо, попала в сонную артерию.

Рот напрягся до онемения. Состояние, будто бежит во сне. С надеждой он ждет следующего движения. Не двигается... нет, двигается... в самом деле двигается. Не как секундная стрелка, но быстрее, чем минутная. Ящик наклоняется все больше и больше. Неужели он так вот и упадет? Шуршание, точно растирают сухую глину. Человек-ящик неожиданно встает. Какой он, оказывается, высокий. Звук, точно от удара по мокрой брезентовой палатке. Медленно поворачивается, тихо кашляет и потягивается. Идет, слегка раскачивая ящик вправо и влево. Кажется, что он немного наклонился вперед — наверно, просто пригнулся от страха. Уходя, как будто что-то пробормотал, но расслышать не удалось. Пройдя вдоль дома, он вышел на улицу и, свернув за угол, исчез. У А. остался неприятный осадок от того, что ему не удалось увидеть, какое выражение лица было у человека-ящика.

Может быть, от волнения А. показалось, что земля на том месте, откуда ушел человек-ящик, чернее, чем вокруг. Пять затоптанных окурков. Пустая бутылка, заткнутая бумажной пробкой. В бутылке — два огромных паука. Один, по-видимому, мертвый. Смятая обертка от шоколада. И тут же три в ряд темных пятна величиной с ноготь большого пальца. Неужели кровь? Нет, вероятно, слюна. Точно извиняющийся фальшивый смешок. Во всяком случае, цель достигнута.

Через полмесяца А. начал забывать о человеке-ящике. Но все еще не избавился от недавно приобретенных привычек: отправляясь на работу, он из-за безотчетной тревоги перестал ходить узким переулком — ближайшей дорогой до станции; каждый раз, вставая утром с постели или вернувшись домой, он прежде всего подходил к

окну и выглядывал наружу. Но если бы только он не решил купить новый холодильник, то когда-нибудь его жизнь непременно вошла бы в прежнюю колею...

Купить новый холодильник с морозильной камерой — что в этом особенного, но холодильник был упакован в ящик из гофрированного картона. Причем подходящего размера. Как только из ящика было вынута содержимое, сразу же всплыло воспоминание о человеке-ящике. Раздался щелчок, точно стеганули хлыстом. Будто из двухнедельного прошлого возвратилась пуля духового ружья. А. опешил и твердо решил выбросить ящик. Но вместо этого стал усердно мыть руки, сморкаться, полоскать рот. Видимо, возвратившаяся пуля влетела в черепную коробку и все там перевернула. Опасливо озираясь, А. задернул на окнах шторы и робко влез в ящик.

В ящике было темно и сладко пахло водоотталкивающей пропиткой. Почему-то сидеть в нем было очень уютно. Неуловимое воспоминание — кажется, вот-вот ухватишь его. Хотелось сидеть в ящике до бесконечности. Но очень скоро А. опомнился и вылез наружу. Чувствуя, что ящик влечет его все настойчивее, он решил покончить с ним, но чуть позже.

На следующий день, вернувшись с работы, А., натянуто улыбаясь, прорезает в ящике окошко и, как тот человек-ящик, надевает его на себя. И тут же сбрасывает — нет, здесь не до смеха! Он и сам как следует не понимает, что произошло. Но бешеное сердцебиение предвещало какую-то опасность. Грубо, но не настолько, чтобы испортить ящик, он пинком загнал его в угол комнаты.

Третий день. А. немного успокоился и через окошко в ящике стал осматривать комнату. И уже не мог вспомнить, что именно так напугало его в тот вечер. Он чувствует, что в нем произошла какая-то перемена. Но эта перемена лишь радует его. Все вокруг лишилось острых углов и кажется гладким и округлым. Привычные и на первый взгляд такие безобидные пятна на стене... Сваденные в беспорядке старые журналы... переносной телевизор с погнутой антенной... на нем пустая банка из-под мясных консервов, доверху набитая окурками... — он впервые заметил, что все эти предметы представлялись ему раньше покрытыми острыми шипами, заставляли его бессознательно испытывать напряжение. Видимо, нужно перестать относиться к ящику с предубеждением.

На следующий день А. уже смотрел телевизор, надев на себя ящик.

Начиная с пятого дня, он все время, когда бывал дома, уже почти безвылазно находился в ящике, снимая его, только чтобы поесть и справить нужду. И спал он пока что не в ящике. Он испытывал лишь некоторое смущение, но отнюдь не чувство, что совершает нечто из ряда вон выходящее. Более того, все, что он делал, представлялось ему естественным и приятным. Даже одиночество, казавшееся прежде мучительным, представлялось ему теперь счастьем.

Шестой день. Первое воскресенье. Он никого не ждет и сам не собирается выходить из дому. С утра он уже в ящике. Он спокоен, умиротворен, но чего-то ему недостает. Во второй половине дня он наконец понял, что ему нужно. Выходит на улицу и поспешно делает покупки. Ночной горшок, карманный фонарь, термос, корзина для продуктов, которую берут с собой на пикники, клейкая лента, проволока, ручное зеркальце, фломастеры семи цветов, всякая еда, готовая к употреблению. Возвратившись домой, он оборудовал ящик с помощью клейкой ленты и проволоки, взял с собой остальные покупки и укрылся в нем. Он обеспечил себя всем необходимым — и едой, и вещами. На внутренней стенке ящика (слева, если стоять лицом к окошку) А. повесил ручное зеркальце и при свете карманного фонаря зеленым фломастером нарисовал губы. Потом всеми семью цветами радуги, начиная с красного, нарисовал вокруг глаз широкие круги. Теперь он потерял сходство с человеком и напоминал скорее рыбу или птицу. Лицо его стало похоже на спортивную площадку, какой она видится с вертолета. И на ней — убегающая стремглав его маленькая фигурка. Лучшей раскраски лица, которая бы так подходила для ящика, не придумать. Наконец-то он почувствовал, что сроднился с тем, что уже стало его неотъемлемой частью. И впервые заснул в ящике, привалившись к стенке.

На следующее утро (прошла ровно неделя) А., надев на себя ящик, вышел на улицу. И домой больше не вернулся.

Если А. и можно было в чем-то упрекнуть, то лишь в том, что он чуть острее, чем другие, представлял себе сущность человека-ящика. Я не вправе издеваться над ним.

Кто хоть раз нарисует в своем воображении безымянный город, существующий лишь для безымянных жителей, — двери домов в этом городе, если их вообще можно назвать дверьми, широко распахнуты для всех, любой человек — твой друг, и нет нужды всегда быть начеку, ходи на голове, спи на тротуаре — никто тебя не осудит; можешь спокойно окликнуть незнакомого человека, хочешь похвастаться своим пением — пой где угодно и сколько угодно, а кончив петь, всегда сможешь смешаться с безымянной толпой на улице — кто хоть однажды размечтается об этом, того всегда подстерегает та же опасность, с которой не совладал А.

Поэтому обращать ружье против человека-ящика по меньшей мере опрометчиво.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Возможно, я повторяюсь — теперь я человек-ящик. И здесь мне бы хотелось коротко рассказать о себе.

Сейчас я пишу эти записки, укрывшись от дождя на берегу канала под мостом, по которому проходит автострада. Не особенно точные часы показывают девять пятнадцать или девять шестнадцать. Дождь льет с самого утра, и черное вечернее небо волочит свой подол почти по самой земле. Насколько хватает глаз, тянутся склады рыболовецкого кооператива, склады пиломатериалов. Ни одного дома вокруг, ни живой души. Не доходит сюда и свет фар проносащихся по мосту машин. Мне светит лишь карманный фонарь, свисающий с потолка ящика. Может быть, поэтому написанные шариковой ручкой иероглифы, которые, как я знаю, должны быть зелеными, кажутся почти черными.

Дождь на побережье пахнет псиной. Дождь, мелкий, морозящий, летит во все стороны, точно его разбрызгивают из пульверизатора, и поэтому мост, под которым я укрылся, совершенно не спасает от дождя. Фермы моста слишком высоки. Нет, это место не подходит не только для того, чтобы спастись от дождя. Находиться в такое время в таком месте — совершенно противопоказано человеку-ящику. Одно то, что я сейчас пользуюсь кар-

манным фонарем,— безумная расточительность. Бездомные люди вроде меня довольствуются тем, что удастся подобрать на улице, а чего не подобрали, без того обходятся, но неиспользованные батарейки, разумеется, на улице не валяются. Непозволительная роскошь — жечь карманный фонарь только для того, чтобы писать какие-то записки. В последнее время и уличных фонарей стало больше, и светят они лучше, и лампочки у них ярче. Устроившись под фонарем, вполне можно даже газету читать.

И вот в таком неподходящем для человека-ящика месте я почему-то сижу уже больше двух часов. Сначала я должен объяснить, как это произошло. Правда, сколько бы я ни старался объяснить, у меня нет уверенности, что мне удастся тебя убедить. Ты просто мне не поверишь. Но даже если и не поверишь, от фактов никуда не уйдешь. Дело в том, что мой ящик запродан. Я нашел покупателя, который дает за него огромные деньги — пятьдесят тысяч иен. И вот теперь ради этой сделки я сижу здесь, поджидая покупателя. Ты не веришь в это, да и я сам наполовину верю, наполовину сомневаюсь. Неправдоподобная история, правда? Трудно представить себе, чем руководствуется человек, которому настолько захотелось заполнить этот истертый картонный ящик, что он готов выложить такие деньги.

Почему же я, не веря в это, принял предложение? Причина проста. Не было повода для сомнений — вот в чем дело. Так бывает, когда останавливаешься, заметив на обочине блестящий предмет. Мой покупатель блеснул, как осколок пивной бутылки, на который упал луч вечернего солнца. И хотя понимаешь, что осколок не представляет никакой ценности, все равно преломляющийся в стекле луч света придает ему удивительную прелесть. Вдруг начинает казаться, что проник взглядом в другое время. Ее ноги — они были особенно прекрасны — изящные и прямые, как уходящие вдаль рельсы, когда смотришь на них, стоя на холме. Легкая юная походка, которой можно любоваться бесконечно, как бездонным прозрачным небом. Не было повода верить, но в то же время не было и повода для сомнений. Видимо, ее ноги обезоружили меня.

Теперь я, конечно, раскаиваюсь. Хотя лучше, пожалуй, сказать так: я духовно раздавлен предчувствием того, что мне придется пережить боль раскаяния. Жалкое состояние. С какой стороны ни посмотришь, мое поведе-

ние совсем не свойственно человеку-ящику. Меня как бы лишили основной его привилегии. У меня, естественно, есть надежда, но надежда настолько неуловимая, что ее не в состоянии обнаружить даже самый чувствительный анализатор. Неужели в моем ящике начинают происходить какие-то перемены? Не исключено. Действительно, мне кажется, что с тех пор как я забрел в этот город, ящик стал легкоранимым, хрупким. Этот город и в самом деле недоброжелателен ко мне.

Я, конечно, выбрал это место частично по ее указанию, но намекнул о его существовании все же я сам. Опасность, грозящая мне, должна одновременно угрожать и ей. У моста стоит высеченный из камня покровитель детей и путников Дзидзо, подвязанный красным фланелевым фартучком,— его, наверно, поставили в память об утонувшем ребенке. Чуть выше по течению, у каменных ступеней, спускающихся к пристани, огромный, видимо, недавно появившийся здесь щит, на котором белой краской написано, что купаться здесь запрещено. Хорошо еще, что полиэтиленовая шторка на окошке от дождя намокла и уже не напоминает покрытое изморозью стекло — она стала совершенно прозрачной, и через нее все хорошо видно. Ограждающая канал бетонная дамба четко пересекает окошко наискось. Мертвенно-бледный прожектор стоящего у пристани грузового пароходика, который дрожит мелкой дрожью, борясь с готовым сорвать его мощным течением, тускло освещает пешеходную дорожку вдоль дамбы, и если кто-нибудь появится на ней, то сразу же бросится в глаза, как чернильное пятно на светлом платье.

Вот под прямым углом дамбу пересекает кошка. Бездомная кошка, грязная и взлохмаченная. Видимо, должна скоро окотиться — раздулась, как икрная селедка. Уши разодраны — в драках, наверно. Даже такие мелочи подмечаю, хотя все время пишу не отрываясь, — значит, нервы у меня в порядке. Если она собирается нагрянуть сюда неожиданно, вряд ли это ей удастся.

Разумеется, лучше всего, если она, как мы и договаривались, придет одна. Но остается еще много неясностей. Пятьдесят тысяч за ящик — этого я никак не могу взять в толк. Неестественно и то, что она согласилась совершить сделку в таком месте. Нет повода верить, но нет повода и сомневаться. Нет повода сомневаться, но нет повода и верить. Тонкая шея, бледная, чуть ли не прозрач-

ная. Во всяком случае, осторожность никогда не помещает. В этом мое единственное спасение. Если же случится непредвиденное, останутся вещественные доказательства — эти записки. Смерть бывает разная — одно могу сказать. У меня и в мыслях нет покончить жизнь самоубийством. И если я умру, это будет не самоубийством — даже если моя смерть будет напоминать самоубийство, — а убийством. Как бы я ни отвергал людей, как бы ни старался укрыться от них в ящике, не надо забывать, что человек-ящик от...

(Фраза оборвана из-за того, что кончилась паста.

Прошло две с половиной минуты, пока я отыскал в коробке для мелочей огрызок карандаша и очинил его. К счастью, меня еще не убили. Доказательством может служить то, что, хотя я и заменил шариковую ручку карандашом, почерк остался прежним.)

Да, но какое слово я начал писать? Я остановился на «от...». Возможно, я собирался написать: «...человек-ящик отличается от простого бродяги». Правда, люди не в состоянии провести между ними четкую грань, как это способен сделать сам человек-ящик. Действительно, между ними немало общего. Например, у них нет документов, они нигде не работают; не имеют определенного места жительства, неизвестны их имя и возраст, у них нет определенного времени и места для еды и сна. Затем... да, не стригутся, не чистят зубы, редко ходят в баню, на жизнь им почти совсем не нужны деньги, и так далее, и так далее...

Однако нищие и бродяги прекрасно сознают свое отличие от человека-ящика. Сколько раз они наводили меня на горькие размышления. Если представится случай, я еще напишу об этом, — так вот, особенно враждебны ко мне самые убогие нищие. Стоило мне приблизиться к району, где они обосновались, как я столкнулся не с безразличием, а, наоборот — со слишком явной неприязнью с их стороны. Они встречали меня еще более враждебно, поливали еще более отвратительной бранью, чем люди, которые имеют свой дом и живут на честно заработанные деньги. В общем, я еще ни разу не слышал, чтобы нищий стал человеком-ящиком. Правда, и человек-ящик не захочет составить компанию нищему — в общем, мы друг друга стоим. Поэтому не следует смотреть на нищих сверху вниз. Как это ни странно, даже нищие учитываются при определении числа жителей города, и поэтому стать

человеком-ящиком означает для них опуститься еще ниже уровня нищего.

Хроническая болезнь человека-ящика — паралич подвластного сердцу чувства направления. В такие минуты ему кажется, что земная ось отклонилась, и это вызывает у него тошноту, как при морской болезни. Не знаю почему, но только это не имеет ничего общего с ощущениями обычного неудачника. Я еще ни разу не стыдился своего ящика. Мне даже кажется, что ящик для меня не тупик, в который я в конце концов забрел, а широко распахнутая дверь в иной мир. Не знаю в какой, но в совсем иной мир... убеждаю я себя, а сам с трудом борюсь с тошнотой, наблюдая через окошко, что происходит снаружи, и этот иной мир видится мне все тем же тупиком. Ну ладно, хватит паниковать. Я хочу, чтобы предельно ясно стало одно — у меня еще нет никакого желания умирать.

Что-то она запаздывает. Неужели нарушит свое обещание? Осталось семь спичек. До чего противна отсыревшая сигарета.

Обещание?..

Запылю его глотком виски. Мало осталось — меньше трети бутылки.

А, все равно. Если и обманула, что тут удивительного? Наоборот, я бы удивился, если б она появилась, как обещала. Я боюсь только одного: вдруг она не обманула меня, но придет не сама. У меня предчувствие, что так и случится. Вместо себя она пришлет кого-нибудь другого. Я, в общем, догадываюсь, кто может быть этим другим. В конце концов эти подлецы сговорились: она сыграет роль приманки, завлечет меня сюда, и здесь, под мостом, он расправится со мной. Поскольку я идеальная «жертва» (и это вполне естественно — человек-ящик равнозначен чему-то несуществующему, и поэтому убийство его не будет считаться убийством), «убийцей» автоматически становится противная сторона. Но события совсем не обязательно должны развиваться в соответствии с этим моим предположением. Я и сам готов встретить его во всеоружии. Мокрый склон достаточно крутой, и скатиться по нему ничего не стоит. Правда, не исключено, что он сильнее меня. А может быть, в противоположность тому, что я сейчас испытываю, в глубине души мне просто не хочется умирать?

В общем, для убийства лучшего времени и места не найти. А о стремительности на этом берегу морского при-

лива и говорить нечего. Старой конструкции, неуклюжий, словно разжиревший мост, построенный в виде обруча, стягивающего самую узкую часть воронкообразного устья канала, вспухающего во время приливов. Чтобы под ним могли проходить суда, средняя часть моста круто изогнута в виде лука, и поэтому фермы даже почти у самого основания необычайно высокие. Правда, человеку-ящику, путешествующему, как улитка, вместе со своим водонепроницаемым домом, нечего особенно беспокоиться о таком пустяке, как высокие фермы моста или косой дождь. Но разве можно считать недостатком ящика, что в нем в отличие от настоящего дома нет пола? Когда льет дождь да еще поднимается ветер, спастись от них в ящике все равно невозможно. Следовательно, если вдуматься, именно отсутствие пола как раз и позволяет, не обращая никакого внимания на сырость, обосноваться у самого морского побережья, все время переходя с места на место. Когда к приливу прибавляется еще и дождь и уровень воды неожиданно резко повышается, можно выбрать другое место — нужно лишь следить, чтобы вода не залилась в резиновые сапоги. В этом свобода и легкость — непонятные тому, кто сам не испытал подобной жизни. Не беда, скоро прилив кончится. И нечего опасаться, что уровень воды поднимется выше, чем сейчас. Черный пояс гниющих в мазуте водорослей, тянувшийся вдоль дамбы, точно по линейке делит пейзаж на две части — верх и низ.

Наползают со всех сторон черные волны, гася легкую рябь на воде. Беспорядочно возникавшие у опор моста огромные и совсем крохотные водовороты, грязные, точно в них растворили неочищенную патоку, начинают постепенно принимать правильную форму. Здесь не особенно глубоко, но все равно остатки деревянных ящиков, плетеных бамбуковых корзин для рыбы и пластмассовых ведер опасно приближаются к водовороту и, неожиданно захваченные им, начинают бешено вращаться, а потом вдруг теряют скорость и втягиваются в воронку.

Да, в самом крайнем случае присоединю эту тетрадь к остаткам ящиков и корзин. Если на дамбе появится кто-то другой, я вложу свои записки в полиэтиленовый пакет, надую его, зажму верхнюю часть, сложу вдвое и несколько раз перевяжу тонкой проволокой. Это займет двадцать две — двадцать три секунды. Затем поверх проволоки намотаю красную клейкую ленту и оставлю длинный конец,

чтобы сразу бросался в глаза. К ленте бумажной веревкой привяжу большой камень. Это — секунд пять. Вся работа займет секунд тридцать. В общем, сколько бы я ни мешкал, больше минуты мне вряд ли понадобится. А ему, чтобы сойти по лестнице, ведущей к пристани, спуститься по выложенному каменными плитами склону, на котором легко поскользнуться, и подойти ко мне, даже если он будет очень спешить, потребуется по меньшей мере две-три минуты. В общем, мне нечего бояться, что опоздаю. Если его поведение покажется мне хоть чуть подозрительным, я сразу же брошу пакет в канал. Привязанный камень позволит закинуть его достаточно далеко. И до пакета ему ни за что не дотянуться. Пакет прямым ходом попадет в водоворот. Предположим, он окажется прекрасным пловцом и бросится в воду — разве ему угнаться за пакетом? Нет, если он прекрасный пловец, то тем более не станет заниматься таким бессмысленным делом. Примерно в течение часа после начала отлива кататься на лодках здесь тоже запрещено. Может быть, он и не читал, что написано на том щите, но все равно ему должно быть хорошо известно, как опасны водовороты. Если пакет с записками, оказавшись у водоворота, все же не будет втянут в него, его точно пружиной выбросит в открытое море, и он пойдет ко дну. Через сколько-то часов или сколько-то дней бумажная веревка расползется, и надутый воздухом пакет освободится от камня. Подхваченный приливом, он будет легко носиться по волнам недалеко от берега, пока кто-нибудь не заметит красную ленту.

Но предположим — прямо сейчас, в эту самую минуту, он появится... дает ли основание написанное мной до сих пор утверждать, что преступник — именно он? Вряд ли. Назови я на этих страницах даже его имя — все равно никто не поверит. Если я недостаточно вразумительно объясню, что его к этому побудило, достоверность моих записок значительно уменьшится. Они станут похожи на выдумку. Но мне тоже пальца в рот не клади. В правом верхнем углу на обратной стороне обложки — черно-белая фотография, прикрепленная клейкой бумажной лентой. Возможно, на ней не все вышло четко, но тем не менее она сможет послужить неопровержимым доказательством. Фигура мужчины средних лет, который убегает, пряча, прижав к боку, духовое ружье, повернутое дулом вниз. Если увеличить снимок, человека удастся рассмот-

реть детально. Одет небрежно, хотя костюм хороший. Однако брюки мятые. Толстые и крепкие, но вместе с тем не привыкшие к тяжелой работе пальцы с тщательно подрезанными ногтями. И что прежде всего бросается в глаза — туфли. Туфли без задников, неглубокие, вырезанные по бокам. Видимо, работа у него такая, что придется постоянно снимать и надевать их.

Если только подобравший эту тетрадь захочет, она может превратиться для него в состояние.

О, водовороты начали наливать, точно бицепсы. Прохожие не исчезли — просто нет никакой нужды обращать внимание на их взгляды. По мосту, как раз надо мной, терзая толстые железобетонные плиты и сопровождая громыхание непрерывными гудками, проносятся огромные машины, тяжело груженные мороженой рыбой, досками, — они поглощены своим собственным ревом и напминают этим слепых зверей. Идеальное место не только чтобы избавиться от трупа, но и чтобы расправиться с живым человеком. И это идеальное место, чтобы убить, в то же время идеальное место, чтобы быть убитым.

Грифель стерся. Хватит, пора и честь знать. Придет она, наконец, или, может быть, вообще не собирается приходить?

(Этим тупым ножом и карандаша как следует не очинишь. Завтра, если только останусь жив, нужно обязательно достать пару шариковых ручек, не забыть бы. В тех, что я подбираю у ворот школы, бывает еще много пасты.)



**НЕСКОЛЬКО ДОБАВЛЕНИЙ,
КАСАЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВЕННОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА —
ФОТОСНИМКА, ПРИКЛЕЕННОГО НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ
ОБЛОЖКИ**

Время фотографирования: вечер, примерно неделю или десять дней назад (паралич чувства времени — тоже одна из хронических болезней человека-ящика).

Место фотографирования: конец упирающегося в ко-

согор длинного черного забора соевого завода. (Тень от этого забора по диагонали перерезает человека на фотографии.)

Я как раз мочился. Вдруг раздался резкий щелчок. Он напоминал стук бьющих по ящику камней, которые вылетают из-под колес грузовика. (Часто ночуя на обочине, я слышал это неоднократно.) Но, не говоря уж о грузовиках, даже трехколесный автомобиль и то ни один не проехал. И в ту же минуту я почувствовал в левом плече острую боль, похожую на ту, которую испытываешь, когда испорченным зубом надкусишь кусочек льда, и перестал мочиться. Посмотрев в дырки, сделанные в боковой стенке ящика, я увидел, что там, в конце заводской ограды, где начинается косягор, а асфальтированная дорога обрывается и переходит в грунтовую, на том самом месте, где дорога поворачивает, огибая картофельное поле птицефермы, широко раскинул ветви старый тутовник (часть его можно увидеть в левом углу кадра). За ним прячется, наклонившись, мужчина (в позе человека, готового бежать). Он отводит от плеча и прижимает к боку какую-то палку примерно с метр длиной, и как раз в этот момент на палку упал луч вечернего солнца и она сверкнула металлическим блеском. Я мгновенно понял, что это духовое ружье. И сразу же схватился за фотоаппарат. (Должен признаться, что, прежде чем стать человеком-ящиком, я был фоторепортером. В человека-ящика я превращался постепенно, продолжая заниматься своей работой, поэтому у меня еще сохранился самый необходимый минимум фотоаппаратуры.) Повернув ящик другой стороной, я сделал три снимка подряд (навести на резкость времени уже не было, но, так как я поставил выдержку 1/250 секунды и фокусное расстояние — 11, изображение оказалось резким). Мужчина двумя прыжками пересек дорогу и пропал из моего поля зрения.

Если как следует рассмотреть фотоснимок, он может в какой-то степени подтвердить факты, о которых я говорил до сих пор. Но то, о чем я буду говорить дальше, доказательством служить не может. И мне остается лишь надеяться, что ты или тот, кто подберет эти записки, поверив моему свидетельству, подтвердите мои слова.

Первые предположения об истинном облике стрелявшего. Предлагаю обратиться к главе «Что произошло с А.». В случае если существование человека-ящика заразило кого-то и он сам хочет стать им, проявление этого желания в такой сверхагрессивной форме, как стрельба из духового ружья, следует, видимо, рассматривать как общую тенденцию. Вот почему я не стал звать на помощь, не бросился в погоню за стрелявшим. Наоборот, я испытал к нему даже родственное чувство, понимая, что ряды жаждущих стать человеком-ящиком пополняются. Боль ушла, и теперь я испытывал в плече сильное жжение. Стрелявшему — вот кому еще много раз придется испытывать боль. И нет никакой необходимости усугублять ее преследованием.

Глядя на безлюдную, круто уходящую вверх дорогу, теперь, когда мужчина со своим духовым ружьем исчез, я почувствовал, что сочусь влагой, как испорченный водопроводный кран. Идущий от соевого завода отвратительный сладкий запах, напоминающий запах жженого сахара, рашпилем сглаживает острые края резких теней, рожденных вечерним солнцем. Где-то вдалеке монотонный звук пилы. А еще дальше — бодрый треск мотоцикла. Но проходят две секунды, три секунды — ни живой души. Неужели все здешние жители, точно черви, зарылись в землю? Безмятежный пейзаж, словно специально созданный для того, чтобы звать к человеколюбию. Но от внимательного взгляда человека-ящика ничто не ускользнет. Глядя из ящика, можно рассмотреть и ложь, и злой умысел, укрывшиеся в невидимой части пейзажа. Пейзаж пытается таким образом привести меня в замешательство, заставить капитулировать — это его тайная цель, но меня этим не проведешь. Для человека-ящика боляше подходят привокзальный район или кишашие людьми торговые улицы. Он любит и пейзаж, чистосердечно выдающий свои три-четыре улочки за таинственный лабиринт, — жить в таком месте одно наслаждение. Вот чем плохи маленькие провинциальные городки. Слишком много этих выставленных словно напоказ «единственных» дорог. Мной овладевает чувство жалости, когда я представляю себе смятение человека с духовым ружьем, который бежит по этой «единственной» дороге, не зная, где бы ему укрыться.

Рука, зажимавшая рану, вся в крови. Меня вдруг охватывает беспокойство. В каком-нибудь людном месте в

Токио — куда ни шло, но на этой, такой благополучной улице в городе Т. вряд ли потерпят появление еще одного человека-ящика. Если он во что бы то ни стало хочет стать человеком-ящиком, волей-неволей придется избавиться от меня. Стоит ему узнать, что с помощью духового ружья ему не удалось от меня отделаться, он, не исключено, притащит охотничье. Может быть, я должен был реагировать по-другому? Честно говоря, люди, такие же, как он, уже много раз пытались установить со мной контакт. Однажды меня даже окликнули. Но всякий раз я через щель в полиэтиленовой шторке лишь молча смотрел на них. И они терялись. Даже полицейские и те трусливо поджимали хвост. Возможно, еще до того, как я вынудил его схватиться за духовое ружье, мне следовало поговорить с ним?

В связи с появлением нового персонажа мои предположения меняются. Этот новый персонаж приехал на велосипеде. Неожиданно кто-то окликнул меня сзади, когда мое внимание было поглощено псевдоединственной дорогой. «Там, на горе, есть клиника», — белые пальцы коснулись окошка, и в ящик упало три бумажки по тысяче иен. Когда я повернулся, подумав сначала, что мой ящик использовали как почтовый, фигура, которую я увидел со спины, была уже метрах в десяти. На вид совсем молодая девушка — ей никак не подходит этот низкий, хриплый голос. Не успел я навести фотоаппарат, как она свернула в первый же переулок и скрылась. Я видел ее всего лишь несколько секунд, но движения ее ног, крутивших педали, очень взволновали меня. Тонкие, но не слишком, легкие и в то же время хорошо развитые ноги. Шелковистая кожа на сгибе под коленями, напоминающая внутреннюю сторону двустворчатой раковины. Она вся была такая сверкающая, что я даже не помню, что на ней было надето. Все-таки я не могу сказать, что был полностью обезоружен и подчинен ей. И если бы к вечеру рана на плече не разболелась, я бы ни за что не пошел в клинику на горе и так никогда бы и не узнал, что стрелявший в меня мужчина (тот, которого я сфотографировал) на самом деле врач этой клиники, а девушка на велосипеде — медицинская сестра. Конечно, не следовало допускать, чтобы меня втянули в эту глупейшую историю — в таком опасном месте под мостом ждать ее (или того, кого она пришлет вместо себя).

Но единственное, что я сделал,— сунул в рот сигарету. Я вновь и вновь пересчитывал три тысячеиенные бумажки, а потом, сложив их втрое, опустил за голенище резинового сапога. Птица в неволе отказывается от пищи и умирает с голоду. Но приговоренный к смертной казни с наслаждением затягивается своей последней сигаретой. Не будучи птицей, я тоже с удовольствием поднес к сигарете огонь — вряд ли нужно думать, что эти двое связаны между собой. Мужчина с духовым ружьем — сам по себе, девушка — сама по себе. А ее поспешное бегство объясняется лишь тем, что она стыдится своей благотворительности...

Однако палач не будет ждать до бесконечности, пока приговоренный курит сигарету за сигаретой. Время казни неотвратно приближается. На рассвете боль в плече от нагноившейся раны скрутила меня, будто я оказался втиснутым в слишком узкий резиновый мешок. Я вылез из ящика и отправился в клинику на горе. Меня уже поджидали там велосипедистка со шприцем и стрелявший мужчина со скальпелем. Я нисколько не удивился, наоборот, с самого начала был к этому готов.

Я проснулся, лежа на кровати,— на меня, издавая запах витаминов и креозота, смотрела велосипедистка. В белом халате, какой носят медицинские сестры, она способна была остановить время. Если же время остановится, то, естественно, нарушатся причинно-следственные связи, и тогда можно, не опасаясь, что тебя осудят, совершить самый бесстыдный поступок. К сожалению, я не дошел до того, чтобы совершить этот бесстыдный поступок, хотя и чувствовал себя свободным настолько, что смог забыть о том, что вылез из ящика и выставил свое лицо на всеобщее обозрение. Она с улыбкой кивала, слушая небылицы, которые я рассказывал о себе, и ее улыбка, точно вырезанная в затвердевшем воздухе и окрашенная солнечной кистью, была удивительно привлекательна и в то же время беззащитна, и у меня вдруг возникла галлюцинация, будто она признается мне в любви. Улыбающееся лицо, заставившее даже забыть о том, что халат слишком длинный и ног ее почти не видно. Я захлопал крыльями, как впервые взлетевший в воздух птенец (неумело, суетливо, но в то же время неистово). Поток воздуха наконец подхватил мои крылья, и я взлетел — пьяный от освежающего ветерка ее улыбки, и подумал, что теперь, пожалуй, нет нужды возвращаться в свой ящик. Потом,

в какой-то момент, сам не знаю, как это произошло, я опрометчиво пообещал купить для нее ящик за пятьдесят тысяч нен (я изо всех сил убеждал ее, что можно и даром), поскольку немного знаком с одним человеком-ящиком (что вполне естественно). Как я теперь понимаю, нужно было сразу же выяснить, что она собирается делать с ним. Но ее улыбка тогда обезоружила меня. Я даже подумал, что было бы глупо слишком много времени тратить на разговоры о ящике.

В тот момент, когда я покинул клинику, безвозвратно исчезла и ее улыбка. Укрывшись в ящике, я вернулся к себе под мост, пустой желудок дугой выгнул мое тело, и меня долго и тяжело рвало. Может быть, без моего ведома меня накачали наркотиками. Наконец я все же понял, что легко попал в ловушку, но почему-то возненавидеть велосипедистку так и не смог.

(Здесь сделана небольшая приписка на полях. Ни почерком, естественно, ни даже цветом чернил она не отличается от основного текста.)

«Я говорю о каком-то нищем, надевшем на себя ящик...»

«Знаю, конечно. Я же фоторепортер. Фоторепортер-соглядатай. Его специальность — везде, где только можно, проделывать дырки, чтобы подглядывать. У него нет никаких моральных устоев».

«Старый ящик из гофрированного картона...»

«Чего доброго, он еще окажется моим товарищем. Видимо, я ошибся. Но все же нельзя сказать, что совсем ошибся. Он тоже фоторепортер, и однажды по какому-то совершенно непонятному побуждению... сам не зная, как это произошло, щелкнул затвором... Так он сфотографировал человека-ящика. Его это заинтересовало, и он стал повсюду гоняться за ним, но второй раз встретить его не удалось. Зато ему понравилось фотографировать улицы. Причем скрытую от глаз оборотную сторону улицы, ненавидящую, чтобы на нее смотрели... и, поскольку он фотографировал такие места, которые ненавидят, когда на них смотрят, ему приходилось делать это тайно, чтобы никто не заметил. Вдруг его осенила мысль. А что если надеть на себя ящик, притвориться человеком-ящиком и спокойно фотографировать все, что пожелаешь? Он будет видеть всех, его — никто, и все пойдет превосходно. Действительно, сначала все шло как будто превосходно. Он стал подобием человека-ящика и начал с упоени-

ем фотографировать улицы. Однако, когда товарищи стали судачить о нем, он исчез. Просто не вернулся к себе домой. По слухам, именно так он и стал настоящим человеком-ящиком».

«А мне все равно, пусть на меня смотрят...»

«Но ведь когда смотрят, будто ножом вырезают твой облик, кажется, что срывают одежду...»

«Я как-то позировала одному фотографу, давно, правда».

«Я говорю серьезно, я готов сделать для тебя все, что в моих силах. Но я бессилён. Досадно, но я способен только на то, чтобы смотреть в видеоискатель и щелкать затвором.

Могу еще купать в проявителе твой прозрачный силуэт. Желтовато-зеленая лампа... секундная стрелка часов со светящимися цифрами, показывающими восемь... влажная поверхность фотобумаги, блестящая, точно залитая маслом... всплывающий мягкий силуэт... перечеркивающий силуэт... силуэт, громоздящийся на силуэт... и, наконец, очертания твоего обнаженного тела, подобно следам преступника, оставленным в моем сердце...»

«Я хочу тот ящик».

СТО ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК НЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЯ НА УМЕРШЕГО

23-го, около семи часов вечера, у западного выхода подземного перехода станции Синдзюку в Токио полицейский патруль обнаружил мертвого нищего, примерно сорока лет, сидевшего, прислонившись к колонне.

По сообщению полиции, умерший был ростом 1 м 63 см, среднего веса. На нем была пестрая рубашка с длинными рукавами и рабочие сапоги; волосы давно не стриженные, как у бродяги. Он имел при себе сто двадцать пять иен мелочью и несколько газет, которые собирал, видимо, для подстилки. Никаких документов, которые позволили бы установить его имя, местожительство и другие данные, не обнаружено.

Указанный подземный переход — место весьма

оживленное, за день по нему проходят до ста тысяч человек (по данным полицейского управления Синдзюку), в нем установлено множество телефонов-автоматов. По рассказам очевидцев, этот человек примерно полдня сидел в одной и той же позе, но в течение шести-семи часов никто не обратил на это внимания и не сообщил о нем полиции, пока полицейский патруль не обнаружил его. До ближайшего полицейского поста не более десяти метров, но полицейский утверждает, что за колонной ему не было видно умершего.



ПОТОМ Я ДРЕМАЛ, ПРОСЫПАЛСЯ И СНОВА ДРЕМАЛ

Кстати, ты когда-нибудь слышала предание о ракушечьей траве? Пробивающиеся между камнями, которые устилают склон, где я сейчас сижу, усыпанные колючками пучки листьев — они разлетаются фейерверком, — наверно, и есть та самая трава.

Предание гласит, что тому, кто понюхает ракушечью траву, приснится, что он превратился в рыбу. Мне кажется, это обман, но и не исключено, что правда. Ракушечья трава любит сырую почву, богатую солью, и особенно легко приживается на морском побережье — вот почему в появлении такого предания нет ничего удивительного. К тому же существует точка зрения, что алкалоиды, содержащиеся в пыльце цветов этой травы, вызывают легкую дурноту, что-то вроде головокружения, и в то же время раздражают дыхательные пути и слизистую оболочку — это, видимо, и вызывает ощущение, будто погрузился в воду.

Однако этим дело не ограничивается. Тягостен не сон сам по себе, а пробуждение. Каковы ощущения настоящей рыбы, неизвестно, но время для рыбы из сна движется совершенно иначе, чем наяву. Скорость движения времени резко сокращается — кажется, что земные секунды растянулись в дни и недели.

Прежде всего поражает необычность ситуации: ты играешь с ласковой морской травой, покрывающей утесы, ныряешь между полосами света, которые чертят линзы

волн, гоняешься за стайками беззаботных маленьких рыбешек — в общем, наслаждаешься легкостью тела, освободившегося от земного тяготения. Чувствуешь, что ты стал легким, бесконечно легким. Радуешься жизни, будто помолодел по меньшей мере на десять лет. Все телесные страдания, вызванные земным тяготением: тяжесть в желудке, онемение шеи и плеч, боль в коленных суставах, отек ног, — сразу же покидают тебя. Легкость, точно вино, пьянит рыбу из сна.

Не знаю, как настоящая, но лжерыба в конце концов трезвеет, и наступает пресыщение. Когда время еле движется, тоска становится непереносимой. И не так уж трудно представить себе, в какое состояние впадает затосковавшая лжерыба. Ею овладевает чувство покорности, похожее на паралич всех пяти чувств. Легкость освобожденного тела постепенно становится невыносимой. Будто все тело крепко скручено и втиснуто в смирительную рубашку, имеющую форму рыбы. Подошвы ног тоскуют по упругой земле, по которой они привыкли ходить. Суставы начинают с нежностью вспоминать тяжесть мышц и тканей, которую они распределяют между собой. Лжерыба мечтает о том, чтобы ходить. Но вдруг с удивлением замечает, что у нее нет для этого ног.

Отсутствуют не только ноги. Нет ушей, нет шеи, нет плеч... и, главное, нет рук. Горькое чувство неполноценности. Конечно, потому, что вырваны руки. Любопытство невозможно как следует удовлетворить, не дотронувшись рукой до заинтересовавшего тебя предмета. Невозможно определить, что он собой представляет, не пустив в ход пальцев: не помяв, не пощупав, не покрутив, не повертев. Всегда стремишься вдоволь потрогать и погладить. А тут этот отвратительный чешуйчатый мешок. Собрав все силы, ты пытаешься сорвать его с себя, но единственное, что удается, — напрягши спинной плавник и широко раскрыв жабры, выжать из себя зеленовато-желтое дерьмо.

Лжерыбой, содрогавшейся от судорог так, что все тело наливается кровью, овладевает роковое подозрение: а вдруг я лжерыба? Но стоит закрасться сомнению, как начинают происходить удивительные вещи. Рыба, у которой не только нет рук и ног, но нет и голосовых связок, испытывает непереносимые муки, когда ей приходит это на ум. Зудящая раздвоенность.

Но разве это происходит не во мне?

Все равно, слишком затянувшийся сон. Бесконечный сон, длящийся так долго, что невозможно вспомнить, когда он начался. Удастся когда-нибудь проснуться или нет?

Способ доказать самому себе во сне, что это сон,— этот способ элементарен, я много раз прибегал к нему, и он действует безотказно — изо всех сил ущипнуть себя за ладонь... Правда, в этом сне у тебя, к сожалению, нет ногтей, чтобы ущипнуть, нет и ладони, которую нужно щипать. Ну что ж, если этот способ не подходит, можно попробовать другой — собрать все свое мужество и броситься вниз с утеса. Помнится, я много раз успешно прибегал к нему.

Главное, отсутствие рук и ног не помеха. Но может ли рыба, плавающая в море, упасть, вот в чем вопрос.

Я никогда не слышал, чтобы рыба падала. Мертвая рыба и та всплывает на поверхность. Упасть ей труднее, чем парящему в небе воздушному шару. Падение для рыбы — это антипадение.

Антипадение...

Да, такой способ тоже возможен. Он означает падать не вниз, а, наоборот, к небу и утонуть в воздухе. А страх разбиться до смерти останется прежним. И, значит, удастся проснуться от этого так же, как от падения на землю.

Когда эта мысль овладела однажды лжерыбой, она пришла в еще большее замешательство, испытав неожиданно приступ трусости, так несвойственной холодно-кровным. Стоит только осознать во сне, что это сон, как направляешься к выходу из сна. Что может измениться, если после всего пережитого посмотреть еще немного на происходящее?

Лжерыба решила подождать. Даже воля ее, окрашенная в синеву моря, сжалась, еще больше посинев.

Прошло еще сколько-то дней, сколько-то недель, и для лжерыбы тоже настало время принимать решение. Обрушилась буря. Налетел страшный циклон, какие нередко случаются в тропическом поясе, и до самого дна всколыхнул море. Поднялись огромные волны, способные вселить мужество даже в нерешительную, трусливую лжерыбу. И не потому, что она стремилась к гибели. Нет, просто она пыталась сопрячь свое тело с волнующимся морем.

Вдруг обрушилась волна — точно ей в бок впились пятьдесят электрических пил. Она подхватила лжерыбу,

понесла и, ударившись о прибрежные скалы, подбросила ее высоко в него. Утонув в воздухе, лжерыба погибла.

Но пришло ли пробуждение от сна? Нет, сон от ракушечьей травы так легко не кончается. Этим он и отличается от обычного сна. Лжерыба, до того как проснуться, погибла, и ей уже больше не было нужды просыпаться. Она должна была досмотреть свой сон о том, что произошло после ее гибели. В конце концов лжерыбе пришлось навсегда остаться лжерыбой, будто ее заморозили новейшим способом.

Буря утихла, и среди рыб, выброшенных на берег, немало несчастных, которые заснули, нанюхавшись ракушечьей травы.

Однако я почему-то до сих пор ни разу не превращался в рыбу. Сколько раз засыпал, но так и остался человеком-ящиком. Если вдуматься, между лжерыбой и человеком-ящиком нет, как мне представляется, такого уж большого различия. Надев ящик, я превратился в псевдосебя, не являющегося мной самим. Может быть, у меня, псевдоличности, выработался иммунитет, не позволяющий видеть сон о рыбе? Наверно, сколько бы ни просыпался человек-ящик, он человеком-ящиком и останется.



Обещание выполнено, вместе с пятьюдесятью тысячами цен за ящик с моста было брошено письмо. Это случилось всего пять минут назад. Я приклеиваю здесь это письмо.

Я вам верю. Расписки не нужно. Покончить с ящиком поручаю вам. До того как наступит отлив, прошу вас разорвать ящик и бросить в море.

Странное дело. Я много раз перечитывал ее письмо. Может быть, его нужно читать как-то по-особому? Нет, сейчас я бессилён толковать его иначе чем буквально. Я понюхал этот сложенный втрое листок бумаги с голубыми линейками. Он чуть пах креозотом.

Я был убежден, что придет врач. И все, что он делал до сих пор, лишь предвещало его нападение. Однако пришла она сама. Да, она пришла сама. Сама она пришла. Она сама... Не могу понять причину... нет, понимаю... просто она обещала и выполнила обещание. Почему я так растерялся? Может быть, потому, что ждал от нее предательства? Возможно. Во всяком случае, мне бы она подошла больше, если бы предала меня. Вот почему я и растерялся, когда она сдержала слово. Хотя подожди, возможно, я упустил что-то важное. Например, стоило бы еще раз основательно взвесить ее отношение ко всему этому делу... ее роль.

... Писать дальше, думается мне, уже нет никакого смысла. Ни я никого не убил, ни меня никто не убил, и поэтому снова начинать все эти объяснения просто бессмысленно.

Прилетевшее с неба письмо без адреса... разорвать и бросить его?

Спокойно. Ведь здесь пятьдесят тысяч иен. Причем мне никто не говорил, что, получив деньги, я должен разделиться со своими записками. Она требует другого — чтобы я разделался с ящиком. За пятьдесят тысяч иен я передал ей все права на ящик. Уважая ее волю, я, согласно договоренности, должен, естественно, покончить с ящиком. И все-таки никак не могу взять в толк. Предположим, я покончу с ящиком, но кому и какая будет от этого польза? Только за то, чтобы выбросить его в море, пятьдесят тысяч иен... что ни говори, слишком уж щедро... неужели я им как бельмо на глазу? Не нужно придавать своей персоне такое значение — мотивы должны быть более разумными, жизненными, что ли. Должна быть какая-то совершенно определенная веская причина, благодаря которой у них не возникает чувства, что пятьдесят тысяч иен выброшены на ветер...

Что же делать? Просто ума не приложу. Может, решиться и бросить им в лицо эти пятьдесят тысяч иен? Как ошибаются они в своих расчетах, если думают, что я на это не способен!

А вдруг мои рассуждения несостоятельны? Можно предположить, что она замыслила весь этот план, чтобы ящик не попал в руки врача. У врача по какой-то причине

возникло непреодолимое желание получить ящик. Возможно, сначала она соглашалась с его планом. Или делала вид, что соглашается. Но постепенно, по мере того как приближалось время его осуществления, стала колебаться. Поразмыслив, она решила, что до добра это не доведет. Но сколько она ни убеждала врача, он и слушать ее не хотел, и ей не оставалось ничего другого, как помешать осуществлению плана. К счастью, ей удалось добиться расположения некоего человека-ящика. И она подумала: а что если поручить самому человеку-ящику покончить с ящиком? Таким образом, ящика не станет, и врач волей-неволей вынужден будет покориться обстоятельствам.

Да... мне представляется это вполне логичным... независимо от того, какова цель врача, пятьдесят тысяч иен она, видимо, стоит. Положение значительно меняется в зависимости от того, чем продиктовано ее стремление помешать врачу — обыкновенным эгоизмом или заботой о нем, но одно можно утверждать с полной уверенностью — между ними нет единодушия. Ну что ж, надо сказать, симптом неплохой...

И все-таки меня не может не беспокоить перспектива утраты ящика. Я еще не собрал необходимые сведения, чтобы быть спокойным. Видимо, покончить с ящиком я должен лишь после того, как выясню истинные ее намерения. Уж на это-то у меня право есть. К тому же, честно говоря, я ею очень недоволен. То, что она пришла сюда сама, — ничего не скажешь, прекрасно, но повела она себя слишком уж отчужденно. Даже с дамбы не спустилась. На своем легком велосипеде с пятью скоростями (прожектор грузового парохода осветил отливающий серебром плащ... просвечивающие сквозь плащ линии тела... и, наконец, движение обезоруживших меня колен и крепких ног) она стремительно промчалась мимо щита «Купаться запрещено» и, не обращая внимания на судорожные сигналы, которые я подавал карманным фонариком, выехала на автостраду. Через некоторое время в двух метрах от меня по земле, дрожа, заскользил круг света. Это был карманный фонарик, которым она светила, перегнувшись через перила моста. Для человека-ящика, лишенного возможности смотреть вверх, она была вне поля зрения. Потом какой-то звук... чуть в стороне от круга света что-то упало. Полиэтиленовый мешок, в который вложен камень — для тяжести. В нем лежало то

самое письмо и пять свернутых бумажек по десять тысяч иен. Она уехала... Была почти рядом со мной и, не проронив ни слова, уехала. Исчезло в темноте движение крепких ног, потом исчезло сверкание мокрого плаща, исчез наконец и красный огонек. Когда я прочел письмо и пересчитал деньги, неожиданно послышалось шуршание морящего дождя, которое и услышать-то невозможно. Может быть, такой же звук издает кровь, циркулирующая в сосудах головного мозга?

Пятьдесят тысяч иен!.. Я бы хотел объяснить ей... для того, кто их дает, возможно, это пустяк, но для человека-ящика пятьдесят тысяч — огромные деньги, которых он не должен брать. Ей просто ничего не известно о человеке-ящике. Она слишком легко судит о том, что такое ящик для человека-ящика. Я не собираюсь хвастаться. Можно ли ради одного хвастовства в течение трех лет прожить в ящике? Как только рак-отшельник начинает свою жизнь в раковине, его тело срастается с ней, и, если силой вытащить его, он тут же погибнет. Только ради того, чтобы вернуться в прежний мир, мне не стоит вылезать из ящика. Я бы покинул его лишь в том случае, если бы смог, как насекомое, с которым произошла метаморфоза, сбросить кожу в другом мире.

Втайне я надеялся: а вдруг встреча с ней даст мне такую возможность, и вот...

Я и представить себе не мог.

Какое появится существо.

Из личинки человека, именуемого человеком-ящиком.



В ЗЕРКАЛЕ

Дождь стал утихать, но поднялся ветер. Порывы ветра веером рассеивают брызги. Непроглядная темень. И лишь красный фонарь на воротах клиники, куда я направляюсь, виден все время и отовсюду. В темной синеве он точно соринка в глазу. По этой дороге я ходил уже много раз, но впервые — надев на себя ящик. Поэтому до-

рога кажется бесконечной. Хотя обычно, когда на тебе ящик, любое расстояние не так уж обременительно.

Каждый человек выбирает в пейзаже лишь нужные ему детали и видит только их. Например, прекрасно представляя себе автобусную остановку, можно в то же время не вспомнить, что рядом с ней растет несколько ив. Валяющаяся на дороге стоиеновая монета обязательно бросится в глаза, но, будь это ржавый, гнутый гвоздь или кустик придорожной травы, человек пройдет мимо, не заметив, точно там их нет вовсе. Поэтому обычно, идя по дороге, не обращают внимания на то, что делается вокруг. Но когда смотришь на нее через окошко, прорезанное в ящике, все выглядит по-иному. Любые подробности пейзажа становятся однородными, приобретают одинаковую значимость. И окурок сигареты... и след собаки... и окно с колеблющейся занавеской на втором этаже... и вмятины на боках железной бочки... и глубоко врезавшееся в палец обручальное кольцо... и уходящие в бесконечность железнодорожные рельсы... и окаменевший от дождя мешок цемента... и грязь под ногтями... и плохо подогнанная крышка люка... больше всего я люблю именно такой пейзаж. Возможно, потому, что очертания предметов, расстояние до которых невозможно определить, расплывчаты и имеют много общего с тем, что происходит со мной. Прелесть мусорной свалки. Ни один пейзаж не может надоесть, если смотришь на него из ящика.

Но сейчас эффект ящика был ограничен крутой ночной дорогой, ведущей к клинике на горе. Красный фонарь, который никак не приближался ко мне. Кроваво-красное пятно в закрытых глазах. Под ногами не так темно, как вокруг, — дорога усыпана гравием. Нервирующий человека пейзаж со стертыми деталями. Вдали лишь белесое небо (да, на западе тучи начали расходиться). Может быть, у меня такое состояние потому, что ночь слишком темна (вот почему я и не люблю ночь). А может быть, потому, что цель слишком ясна.

И все же я, слегка покачивая ящиком, упорно шел вперед. Но ящик не приспособлен к тому, чтобы спешить. Он плохо вентилируется, и сразу же покрываешься потом. Покрытый влажной грязью, даже в ушах испытываешь зуд. Туловище наклонено вперед, и ящик, тоже накренившись, слегка постукивает по пояснице. Ящик картонный, и постукивание негромкое.

Вдруг услышалось прерывистое дыхание животного. Огромная дворняга грубо потерлась о мое колено и тут же, зарычав, убежала. Ее мокрая спина будто окрашена в красный цвет. Подняв голову, я увидел красный фонарь на воротах. Туман растаял, и показались запертые железные ворота. Покрытый светящейся краской звонок для ночного вызова. Но я не собирался звонить, чтобы мне открыли. Мне не хотелось встречаться с врачом. Перешагнув через живую изгородь, я оказываюсь во дворе. Собака, опередив меня, уже была там, но лаять как будто не собиралась. Я заранее специально подкармливал ее, чтобы приручить. Одно из окон тускло освещено. Высокая жесткая трава цепляется за ноги. Наверно, остатки старой клумбы. Спотыкаюсь об ограждавшие ее камни, и ко мне весело бросается собака, решившая, что я с ней играю. Я останавливаюсь, замерев и затаив дыхание, все тело покрыл пот, пот заливает глаза.

Ее комната выходит на противоположную сторону дома, второе окно слева. С того момента не прошло и часа, может быть, она еще не легла. А если и легла, то не успела заснуть. И можно не опасаться, что она испугается и со сна поднимет крик. Я хочу вернуть ей деньги и аннулировать наш договор, а если удастся, попытаюсь обо всем поговорить с ней, пусть хоть через окно. В зависимости от того, как она себя поведет, мне придется избрать и соответствующий способ действий, не исключено, что я буду вынужден даже прибегнуть к силе.

Да, но что это за освещенное окно, выходящее во двор? Там приемная, потом процедурная, а эта за ней... может быть, в этой комнате стоит аппаратура... Уже первый час, значит, забыли погасить свет, подумал я, но все же забеспокоился. И решил для верности заглянуть внутрь.

Стекла до половины матовые, и виден лишь потолок. Свет, идущий снизу, наверно, от настольной лампы, параболой разливается в глубине комнаты. Чтобы выяснить что там происходит, нужно встать на что-нибудь высокое. Пользоваться карманным фонарем я, конечно, не должен. К счастью, я вспомнил об автомобильном зеркальце, которое лежало у меня на дне коробки для мелочей. Я как-то подобрал его — может пригодиться, подумал я тогда. Стерев с зеркальца пыль, я, чуть наклонив его, поднял над головой и заглянул в него снизу. С помощью высоко поднятого крохотного зеркальца через маленькое окош-

ко наблюдать за тем, что делается в комнате,— труд немалый. Но все же потрудиться стоило. Вопреки ожиданиям (я почему-то решил, что предметы в комнате окажутся перевернутыми вверх ногами) мне удалось увидеть все почти под нормальным углом.

Первое, что я увидел, была лампа, стоявшая на углу большого рабочего стола. Потом — белое пространство. Когда я установил как следует зеркало, белое пространство разделилось на стену и дверь. Довольно обшарпанные стену и дверь, чего не могли скрыть многочисленные подкраски. Высокая, видимо, больничная койка — тоже белая. И набитая книгами и старыми журналами полка, чуть выделяющаяся на фоне стены, выкрашена в тот же белый цвет. Большая, безликая комната — правда, рядом с рабочим столом стоит стерилизатор,— по всей вероятности, это кабинет и одновременно жилая комната врача.

В конце концов, что это за комната, не имеет никакого значения. Позже, когда я приводил в порядок свои воспоминания, она представилась мне именно такой. В комнате находилось два человека. Эти двое сразу же прочно завладели моим вниманием. Все остальное виделось мозаично, точно я насекомое с фасеточными глазами.

Из этих двоих одной была она. То, что это происходило в том же помещении, то, что там находилась она,— в этом не было ничего удивительного. Но она — обнаженная, совершенно обнаженная,— стояла посреди комнаты. Чуть наклонившись в мою сторону, она с кем-то разговаривала.

Обращалась она к человеку-ящичку. Он сидел на краю кровати, надев на себя точно такой же ящик, как мой. С того места, где я стоял, были видны лишь задняя и правая стенки ящика, но все равно я определил, что и размером — это уж безусловно,— и тем, как он был испачкан, даже полустершейся этикеткой с названием товара, это был точь-в-точь мой ящик. Специально выбран такой же ящик — двойник моего. А содержимое... разумеется, врач.

(Я вдруг подумал: помнится, я где-то уже видел точно такую же сцену.)

Комната, где только двое — я и она, обнаженная,— даже прикосновение к ней осязаемо всплывает в моей

памяти... Когда, где?.. Нечего обманывать себя. Это не воспоминание, а вожденная мечта. Трудно поверить, что я сейчас пришел сюда только затем, чтобы вернуть пятьдесят тысяч иен. Наверно, в глубине души я тайно надеялся, что стану свидетелем этой сцены. Смотреть на нее — обнаженную... смотреть до тех пор, пока не покажется, что сорваны еще какие-то одежды, и она не предстанет передо мной еще обнаженнее, чем обнаженная.

(Заметки на полях. Чернила красные. Почему мне так нравится подсматривать? Может быть, из-за излишней робости? Или из-за обостренного любопытства? Если подумать, то не исключено, что стремление удовлетворить свою любовь к подглядыванию и сделало меня человеком-ящиком. У меня страсть везде все высматривать, а так как проделать дырки во всем на свете невозможно, я приспособил ящик в качестве такой переносной дырки для подсматривания. У меня появилось желание убежать и одновременно появилось желание преследовать. Какое из них возьмет верх?)

Распирившее меня непреодолимое желание подглядывать за ней так разрослось, что намного превысило объем ящика. Ощущение, точно вспухшие саднящие десны заполнили весь рот. Но не нужно винить во всем одного меня. Она тоже не безгрешна. Даже если оставить в стороне то, что именно через нее врач заплатил мне за ящик пятьдесят тысяч иен, ведь это именно она намекнула на денежную помощь, которую окажет мне как фоторепортеру.

Ее рассказ о себе, который я услышал после того, как она перевязала мне рану на плече, сводился к следующему. До того как стать медсестрой-практиканткой, она была бедной студенткой-художницей (талантливой или нет — сейчас не об этом речь), зарабатывавшей на жизнь позированием в частных художественных школах, клубах художников-любителей (горький привкус раскаяния). Два года назад в этой клинике ей делали аборт (я начинаю ощущать ее как существо реальное, во плоти). Но из-за серьезных осложнений она тогда три месяца бесплатно пролежала в клинике, а тут как раз уволилась медсестра, и ее взяли вместо нее (что-то в ней раздражало, хотя трудно было уловить, что именно). Работы у нее прибавлялось, но ей пообещали по возможности идти на-

встречу. Когда не было неотложных случаев, по вечерам и в свободные дни у нее оставалось даже время писать картины. Однако, если отвлечься от заработка, больше всего по душе ей была работа натурщицы. И совсем не потому, что позировать — значит бездельничать, просто-душно добавила она. Действительно, во время позирования ничего не делаешь, но это тяжелая работа, требующая немалой выдержки. И к тому же волнение, охватывающее тебя, когда ты стоишь обнаженная, пробуждает волю к жизни, подстегивает желание творить. (Врет, подумал я. Картины ее лишены конкретной формы и не имеют никакого отношения к натуре.) Она даже намекнула, что и сейчас продолжала бы позировать, если бы врач решительно не воспротивился этому.

Ее слова о том, что она проявляет интерес к моей профессии фоторепортера, были уже явным вызовом. По пуле из духового ружья (вынутой из раны в моем плече), по тому, как я неумело подстрижен, она уже, несомненно, должна была догадаться, что я тот самый человек-ящик, сбросивший свой наряд. Но я прошел мимо этой несообразности. У меня было ощущение, что она с материнским великодушием зализывает мою рану. Тогда-то и полились из моих глаз слезы. Но в конце концов я взял себя в руки — прежде чем кто-то меня сломит, лучше уж самому сломить себя. В веках прорезались зубы. Загорелись глаза, я весь напрягся от дикой идеи впиться в нее этими зубами.

В каком-то смысле мне удалось осуществить свою дикую идею. Обнаженная она... смотрящий я... да, я действительно смотрел на нее, обнаженную. Правда, для меня нагота ее была условной. Нагота, на которую уже смотрел другой — все тот же мой двойник. Я не испытывал никакого удовлетворения, наоборот — бешеную ревность. Когда пересыхает в горле, не остается ничего другого, как представить себе картину, будто пьешь воду. Я подсматриваю за собой подсматривающим. Я вспомнил сон, как, весь содрогаюсь от отчаяния, смотрю, взмыв к потолку, на свой собственный труп. Мне стало стыдно, и я начал смеяться над собой. Рука обессилела, угол, под которым я держал зеркало, изменился, и комната уплыла. Я переменял руку и теперь приладил зеркало, прислонив его к оконной раме. Я прекрасно понимал, что это не более чем мираж, но все равно, когда горло горит огнем, устремляешься даже за призрачной водой.

Те двое стояли лицом друг к другу — их разделяло шага четыре. Она чувствовала себя непринужденно, и нельзя было предположить, что отношения у них враждебные. Может быть, она только что закончила свой рассказ о том, что произошло час назад? Если они сообщники, то, наверно, весело смеются сейчас надо мной. Соблюдая договор, я полдня провел под мостом, глядя на водовороты, и дождался наконец — бросили, как собаке, приманку, пятьдесят тысяч иен укрывшемуся в ящике до глупости прямодушному человеку... ящичной башке... ящичку с испражнениями... упакованному в ящик ничтожеству... проститутке в ящике...

Но поскольку передо мной была обнаженная женщина, я совершенно забыл и о том зле, которое она мне причинила, и о ее кознях. И хотя по-прежнему испытывал чувство унижения, никакой ненависти к ней во мне не поднималось. Я готов неотступно следовать за ней по пятам. Это мой сосуд, обманом уворованный двойником. Нагота ее во сто крат очаровательнее, чем я предполагал. Естественно. Никакому воображению не угнаться за реальной наготой. Она существует лишь до тех пор, пока смотришь на нее, и страстное желание неотрывно любоваться ею становится непреодолимым. Оторви взгляд, и она исчезнет — нужно сфотографировать ее, перенести на холст. Нагота и плоть — вещи абсолютно разные. Нагота — это созданное не руками, а глазами произведение, материалом для которого служит плоть. И хотя плоть принадлежит ей, когда дело касается права владения наготой, я не должен скромно отступить.

Нагота, точно легко качающаяся на волнах женщина, опиралась на левую ногу. Нагота, точно волшебная лента, тянущаяся вверх в руках фокусника. Пальцы правой ноги касаются подъема левой, согнутое колено чуть отведено в сторону. Что же так привлекает меня в ее ногах? Может быть, намек на нечто сокровенное? Действительно, судя по нынешней моде, это сокровенное связано не столько с торсом, сколько с ногами. Но если бы только это — ведь есть сколько угодно еще более чувственных ног. Жизнь в ящике, когда все время видишь лишь нижнюю половину человека, сделала меня специалистом по ногам. Женственность ног, что бы ни говорили, заключается, видимо, в мягкой плавности их изгиба. И кости, и сухожилия, и суставы должны растопиться в мышцах и никак не влиять на форму ног. Они служат не столько

средством передвижения, сколько прикрытием для сокровенного (в этом нет ничего постыдного, и называть постыдным нет оснований — ведь любой сосуд с чем-то ценным всегда прикрывается). И открыть его можно только с помощью рук. Вот почему прелесть женских ног (отрицать ее может только лицемер) должна быть не столько зрительной, сколько осязательной.

Эти ее ноги, во всяком случае, прекрасные зрительно, даже отдаленно не напоминали мужские. В возмездие за то, что мужчина, борясь с земным притяжением, носит на плечах непомерные тяжести, ноги у него служат лишь практической цели, средством передвижения, — они жилисты, суставы утолщены и вывернуты. Но сколько я ни присматриваюсь к ее ногам, не могу обнаружить в них и следа усилий удержать тяжесть тела. Бесстыдно вытянутые в струнку грациозные ноги — их можно сравнить с ногами подростка, у которого не начал еще ломаться голос. Они влекут, обещая утолить жажду уставшего в пути мужчины... Ощущение, что они, избавившись от земного притяжения, свободно, как легкую птицу, несут свою владелицу. Своенравные ноги, и не медлящие, как женские, и не продолжающие идти напролом, как мужские. Быстро бегущие ноги всегда распалют преследователя. Это не значит, что ее ноги были лишены чувственной прелести. В них было заключено и нечто такое, что превосходило обычное физическое влечение. Нашел ли я в ее ногах идеал ног или, может быть, просто пытался подвести их под идеал?..

Округлые белые полушария. По сравнению с ногами такие осязаемые. Под ними пролегла глубокая складка. Возможно, потому, что здесь центр тяжести. Чуть приподнятое правое бедро резко очерчено, точно грудная кость птицы. Судя по тому, что прическа — волосы легкие, это видно с первого взгляда: так свободно и непринужденно они лежат — неподвижна, ветер дует откуда-то снизу. Видимо, вентилятор плохо отрегулирован, и холодный воздух струится по полу. Бедрa напряжены, отчего живот слегка выдается вперед и кажется совсем беззащитным. А плечи — наоборот — сильно откинута, и затылок, образовавший с плечами прямой угол, казалось, поддерживает голову, упавшую вперед, точно ее сорвали с невидимых петель. В общем, поза вполне непринужденная, но впечатление такое, будто ее торс пронзает металлический стержень. Она охватила себя руками — правой

у пупка, левой под ложечкой. Под грудью остался след от лифчика. Полоска над бедрами, наверно, след от резинки. Видимо, прошло не так много времени с тех пор, как она разделась. Сброшенная одежда валяется тут же, у ее ног. Черные маленькие трусы на белом медицинском халате кажутся бессильно вытянувшим ножки мертвым паучком.

Женщина слегка покусывает нижнюю губу. Но губа, убегая в сторону, все время ловко увертывается от зубов. Эта растянувшая рот улыбка пронзает мое сердце копьем печали. Не поднимая головы, она исподлобья смотрит на моего двойника — человека-ящика. Тот говорит что-то (видимо, приятное ей), и она, подняв голову, бросает ему в ответ несколько слов. Мышцы на спине у нее вытягиваются в стальную ленту. Это напряжение передается всему телу, до кончиков пальцев, и она направляется к ящику. Не делай этого, кричу я про себя. Диафрагма задубела, как высушенная мокрая кожа, дыхание сперто, мое лицо, по которому потоками льет пот, стало похоже на переспелую дыню. Она что-то получила от ящика. Это был недопитый стакан пива. Мне совсем не нравилось, что она подносит ко рту стакан, из которого пил лжечеловек-ящик. Мои мышцы готовы были взорваться, и я не разбил стекло и не влетел в комнату, вероятно, еще и потому, что она предала меня (вот прекрасный пример отговорки, свойственной человеку-ящику). Она неловко, точно втягивая лапшу, допила пиво, которого оставалось еще с полстакана. Вернув ящику стакан, она, чуть враскачку, большими шагами отступила назад. Поняв, что лжечеловек-ящик не покинет своего укрытия, я вздохнул с облегчением. Напряжение, сковывавшее плечи и спину, ушло, и я издал звук, будто разматывают клейкую ленту. Вернувшись на прежнее место, она быстро заговорила о чем-то. Потом вдруг умолкла, подняла глаза к потолку и стала поглаживать поясницу. Разговором снова завладел человек-ящик, но она, по-видимому, слушала его без особого интереса.

Неожиданно она на пятках повернулась спиной к мужчине. Я весь точно сохся — остались одни глаза. Лжечеловек-ящик сильно подался вперед и стал медленно покачиваться.

Земля под моими ногами вдруг точно вздыбилась, и я, потеряв равновесие, упал на колени. Мне показалось, что я не издал ни звука. Взвизгнула не земля, а собака, ко-

зорая, соскучившись, примостилась у моих ног. Тихо прогнать собаку трудно. Я, разумеется, должен молчать, но и чтобы собака залаяла, тоже не годится. Собака, заволновавшись, стала с силой тыкаться в ящик носом, напоминающим мокрое мыло. Наверно, хочет забраться ко мне. Ничего не поделаешь — я проделал небольшую дырку в банке мясных консервов, которые были у меня припасены, дал ей понюхать, лизнуть и бросил подальше от себя. Теперь бедной собачке придется до утра сражаться с этой банкой.

Поспешно возвращаюсь к окну. Зеркало затуманилось, захватанное грязными руками. Быстро протерев рукавом рубахи, снова устанавливаю его. В комнате все переменялось. К счастью, то, что, по моим предположениям, должно было случиться, не случилось.

Лжеящик, не разорванный, не сломанный, продолжал в той же позе сидеть на краю кровати. Конечно, он мог овладеть ею, не вылезая из ящика. Она уже не обнажена. Она стоит в углу комнаты, прислонившись к письменному столу, и курит. Слишком длинный для нее халат аккуратно застегнут на все пуговицы, и ног не видно. Халат закрывает ноги, и вся она какая-то удивительно безразличная — совсем другой человек. На треть выкурена сигарета. Сурово нахмурены брови. Ногти покрыты перламутровым лаком. Даже не верится, что несколько минут назад она была обнаженной. Неужели то, что отражалось в зеркале, было не более чем видением?

Где-то в кустах тяжелое дыхание собаки, которая, зажав консервную банку в зубах, колотит ею об землю. Чешу затылок, и рука наполняется катышками грязи. Сминая их, я испытываю глубокую тоску. Почему, когда действительно не произошло то, чего ни в коем случае не могло произойти, то, чего я не хотел, чтобы произошло (чтобы ящик овладел ею), я испытываю такую безумную боль? Может быть, потому, что слишком уж часто меня обводят вокруг пальца?

Одной рукой она тушила сигарету, а мизинцем другой прочищала ухо, слегка покачивая головой. Свет настольной лампы бил ей прямо в лицо, и от этого казалось, что расстояние между глазами увеличилось и они чуть касаются. Она недоверчиво улыбалась одним ртом, показывая зубы, — она стала похожа на своенравного ребенка. Отрицательно покачав головой, она закрыла рот, и ее выпяченная нижняя губа неожиданно для меня оказалась силь-

но припухшей. Потом, легко изогнувшись, делает движение, будто пинает невидимый воздушный шар. Она пересекает комнату и направляется к двери. Стоило ей пойти, и я понял, что это та самая женщина. Неправдоподобная легкость. Эта ее невесомость соседствовала с потерянностью. Лжечеловек-ящик сполз с кровати. Не оборачиваясь, она открыла дверь и скрылась за ней. Лжечеловек-ящик, бросившийся было вслед, походил на насекомое с оторванными лапками. На нем не было лишь резиновых сапог — все остальное, даже плотная материя, намотанная на поясицу, точно как у меня. Дверь захлопнулась, и он остановился. Видимо, он не собирается преследовать ее, и, качнув ящик и изменив его направление, поплелся назад, неловко волоча ноги, точно обмочился. Я увидел переднюю стенку ящика. Окошко, ничуть не отличающееся от моего, прикрывает шторка, ни устройством, ни цветом ничуть не отличающаяся от моей.

Да, ему удалось воспроизвести все, до мелочей, а это потребовало немалых усилий. Все было сделано слишком уж старательно, чтобы объяснить это простой прихотью. Что же он задумал? Теперь, как бы я ни старался вернуть пятьдесят тысяч иен, он не проявит готовности пойти мне навстречу. Пятьдесят тысяч иен я получил и с этой минуты передал другому свои права настоящего человека-ящика и превратился в поддельного — видимо, так надо это понимать? Походка робота, пересекающего по диагонали комнату, была точной копией моей походки. Не особенно приятно видеть отражающуюся в зеркале собственную копию, которая, игнорируя волю хозяина, делает все, что ей заблагорассудится. Вот дурак. Почему он не поспешил сбросить с себя ящик?.. Может, он пьяный?.. Если он в ящике давно, то теперь просто не в состоянии вылезти из него. Не хочешь — не вылезай. А то, может, я вылезу вместо тебя? Мне начинает казаться, что речь и в самом деле идет о действиях одного и того же человека. Сделку придумала, конечно, она. Если как следует вникнуть в ее намерения, не исключено, что она с самого начала замыслила... упрятать этого человека в ящик. И тогда она свободна. А что, если мне, воспользовавшись этим, развязаться со своим ящиком?

Но пока что нужно уйти отсюда. Принимать скоропалительные решения не следует. Если уж я решусь на это, то смогу в любое время сбросить ящик. После того как я спокойно соберусь с мыслями, хоть завтра можно будет

снова вернуться сюда. Но до того, как уйти, я должен заглянуть в ее комнату. Когда я пересек ведущую к главному входу усыпанную гравием дорожку (на нее нанесли столько земли, что звук шагов скрадывается) и, наклонив ящик, начал продираться сквозь густые заросли огромных, в рост человека, хризантем, вдруг сверкнула впадина, напоминающая перламутровую внутренность раковины — видимо, эта ассоциация вызвана поднимающимися от травы испарениями. Или, возможно, ее подмышками. Задняя сторона дома обращена на север, и все окна узкие и высокие. А окно в ее комнате к тому же закрыто плотными шторами, сквозь которые чуть пробивается свет, так что надеяться не на что. А я все равно не уйду и, малодушно притаившись у окна, стою в ожидании чего-то. Ветер, сотрясая водосточную трубу, осыпает меня крупными брызгами — они громко барабанят по ящику. Но из ее комнаты не последовало никакой реакции.

Конечно, вылезти из ящика ничего не стоит. Но поскольку ничего не стоит, нечего и вылезать попусту. Только, если это возможно, хотелось бы протянуть кому-нибудь руку.



ВСТАВКА НА ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИСТКАХ

(Отличается не только бумага. Явно отличается и рисунок иероглифов, впервые написанных авторучкой. Если кто-либо когда-нибудь переписет это в другую тетрадь, то, по всей вероятности, и бумага и почерк совпадут. Но вряд ли стоит об этом беспокоиться.)

«Итак, что же дальше?»

«Горло пересохло...»

«Вот стакан. Правда, треснутый».

«Ничего».

«Ну?»

«Разделась. Как договорились...»

«Я спрашиваю, был ли в комнате свет?»

«Пива больше нет?»

«Я снова повторяю вопрос: темно ли было в комнате?»

«Было совершенно темно. Настолько, что я долго во- зилась, пока мне удалось снять лифчик».

«Между светом и лифчиком, по-моему, нет никакой связи. Во всяком случае, снять его можно и на ощупь».

«Верно, конечно, но все же...»

«Ну ладно. Что же потом?»

«Ему не терпелось, и он сказал, что поможет мне снять лифчик. Но я не согласилась».

«Странно».

«Почему?»

«Ведь было совершенно темно. Откуда ему было знать что ты не можешь справиться именно с лифчиком?»

«Он и не знал. Просто наобум...»

«И что же, он настаивал?»

«Да нет»

«Почему?»

«У нас же был уговор. Что он до меня не дотронется... И руки у меня вон какие длинные. Я их свободно могу свести за спиной...»

«Хорошо. Итак, в полной темноте ты стала раздевать- ся и, раздевшись, зажгла свет. Так было, да?»

«Скорее всего, так...»

«Ну а как же укол?»

«Сделала, конечно».

«Обнаженная?»

«Естественно — в темноте сделать укол невозможно».

«Достаточно было бы того, что ты показала свою на- гогу. И делать укол обнаженной было уж совсем ни к чему».

«А что, не все ли равно?»

«Огромная разница».

«Не нужно так громко».

«Да ладно. Когда начинают раздеваться, нагота вы- глядит гораздо более вызывающе, чем после того, как раздевание закончено. Это каждому ясно. То же относит- ся и к уколу. Любое действие обнаженной делает наго- ту во сто крат откровеннее. Не говори, что ты этого не знала».

«Теперь все понятно. Впредь буду знать».

«Еще раз расскажи мне все по порядку с самого на- чала».

«Так вот, разделась я, зажгла свет...»

«А до этого, видимо, потушила свет?»

«Так вот, потушила свет, разделась, снова зажгла свет и потом сделала укол».

«Все равно как-то странно ты рассказываешь. Неужели за все это время вы не промолвили ни слова?»

«Нет, почему же...»

«Я не настаиваю, о чем не хочешь рассказывать, не рассказывай».

«Ни о чем таком мы не говорили... Ну, сначала он говорил о погоде... Вот так, трогая мои волосы...»

«Был же уговор, что он не прикаснется к тебе».

«Но только волосы».

«Все равно — что».

«А может, он случайно коснулся их...»

«Нечего его выгораживать».

«Это было как раз в тот момент, когда я нагнулась, чтобы зажечь торшер, стоявший у изголовья».

«Торшер?»

«Он пожелал».

«Чего?»

«При одном верхнем свете не все можно рассмотреть».

«Прекрати. А то дойдешь неизвестно до чего».

«Хорошо. Больше не буду».

«Что же он потом говорил?»

«Кажется, о дожде. Волосы у меня были как прили-
занные...»

«Просто намокли от пота».

«Да, были потные».

«Нет, постой. Значит, еще до разговоров о погоде он пожелал, чтобы горел торшер?»

«Да, сначала речь шла о торшере».

«Теперь я совсем запутался».

«Простите. Я очень устала. Никуда не годится... Посмотрите, как у меня дрожат колени — будто сижу верхом на включенной стиральной машине...»

«Тогда сядь сюда. Мои колени лучше, чем стиральная машина».

«Мне хочется закурить».

«От курения по ночам портится кожа».

«Но это же лучше, чем раздеваться».

«Не передергивай. При том отвратительном типе этого действительно не следовало делать. Но ведь в ванной ты сама снимаешь лифчик».

«Вы все время об одном и том же, сэнсэй. У вас пря-

мо навязчивая идея, вы хотите испытать все до мельчайших подробностей».

«Просто я хочу знать правду».

«А я хочу забыть обо всем, что произошло».

«Значит, было то, что ты хочешь забыть».

«Как это ни печально, ничего из того, что вы предполагаете, сэнсэй, не произошло».

«Если это правда — прекрасно».

«Правда. Он протер гноящиеся глаза и, заставляя принимать разные позы, так смотрел на меня, будто выискивал драгоценные камни. Но очень скоро укол стал оказывать свое действие — глаза постепенно приобрели странное выражение, и не прошло и пяти минут, как он уставился на люминесцентную лампу, а на меня, казалось, уже не обращал никакого внимания».

«Неужели этот боров не приставал к тебе?»

«Нет, не приставал. Наоборот, заплакал. Испугался чего-то. А плакал он, по-моему, притворно. Только рот скривил и подвывал... И этот отвратительный запах у него изо рта... И сколько он ни канючил, я не поддавалась, только старалась не дышать. А он все больше распалялся. Когда он посмотрел на меня сзади, как я стою на коленях, этого он уже вынести не мог».

«И он это как-нибудь проявил?»

«Нет. Наверно, из-за укола. Я только стояла не шелохнувшись. И представляла себя со стороны. Все это было очень странно. Может, это гипноз?.. И не потому, что я вся была на виду, а только от его желания смотреть на меня я и пришла в такое состояние. Стоило мне представить его взгляд, как силы оставили меня, и я уже не могла подняться с четверенек. Кровь отлила от зада, он стал нечувствительным... каменным».

«Отвратительный тип».

«Но, кажется, он все-таки реагировал. Стиснул зубы и шипел... Я прислушалась и уловила: спасибо, спасибо...»

«Почему ты не отказалась?»

«Сэнсэй, вам не кажется, что вы все преувеличиваете?»

«Возможно».

«Прошу вас, успокойтесь. Я хотела, сэнсэй, по возможности рассказать так, чтобы вы поняли, что все это для меня абсолютно ничего не значит».

«В таком случае поставим на этом точку. Ну иди сюда. Что ты стоишь как истукан... Сними чулки или что там на тебе...»

«Я без чулок».

«Иди ко мне скорей... Послушай, а он точно тебе указал, какую ты должна принять позу?»

«Погасите свет...»



НЕНОРМАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МНОЙ ПИШУЩИМ И МНОЙ ОПИСЫВАЕМЫМ

Обнаженная стояла на коленях. Перевернутый треугольник, образованный торсом, ляжками и предплечьями. Он отпечатался в моих глазах, и, куда бы я ни смотрел, всегда вижу его как резко очерченную гравюру, окрашенную в нежно-розовый цвет. Поры на моем теле широко раскрыты, я в изнеможении высовываю язык. Подступает тошнота. Невероятное напряжение. Не хватает воздуха. Еще и потому, что не выспался.

И все-таки когда и как я добрался сюда? Я обжулил самого себя. Три часа восемнадцать минут. Здесь, как раз напротив порта Т. на противоположной стороне залива, городской пляж. Безлюдная полоса песка, по которой, шурша, ползают крабы. Вымокшие под дождем треугольные зеленые флажки, трепещущие на высоких бамбуковых шестах. Хотя дорога идет под гору, взять и просто скатиться вниз невозможно. Но все время хотелось сделать это.

По правде говоря, именно здесь неделю назад я приводил себя в порядок перед тем, как пойти в клинику, чтобы там занялись моей раной. Лучшего места не найти, где человек-ящик мог бы незамеченным покинуть свое убежище. Прежде всего я хотел выкупаться и помыть голову, хотел побриться, хотел постирать белье и рубашу. На любом вокзале и на любой пристани всегда есть умывальник, которым легко можно воспользоваться, правда, там допоздна толкутся люди, но если с умом выбрать время, то удастся, ни с кем не встретившись, воспользоваться душем в туалетной комнате.

Да и особых причин скрываться у меня нет. Вот только что я все это и проделал. Выкупался, помыл голову, побрился, постирал нижнее белье и рубаху. Я, кажется, был немного простужен, и поэтому, пока сохли белье и рубаха, снова забрался в ящик — самое большое часок потерплю, а потом навсегда покину его. Да я и сейчас уже наполовину покинул его. Чтобы уничтожить предмет, изъеденный жучком, особой решимости не требуется. А там, впереди, уже виднеется выход из тоннеля. Если ящик — передвигающийся тоннель, то обнаженная — ослепительный свет у выхода из него. И эта поза, словно призывающая к тому, чтобы ею любовались. Последние три года, мне кажется, я ждал именно такого случая.

И вот неожиданная встреча с лжечеловеком-ящиком. Мой двойник, усевшийся на кровати и уставившийся на нее, стоявшую обнаженной (в беззащитной позе, лишь призывавшей к тому, чтобы на нее смотрели). Никогда еще ящик не казался мне таким безобразным. Все напоминало отвратительный сон, в котором мой дух, воспарив к потолку, разглядывает мой же труп. Неужели это сожаление о ящике? Нет, не сожаление — тоска. Мне нужен тоннель, имеющий выход. А записки — наплевать, даже если они все до последней строчки будут уничтожены.

Я думаю, что его жизнь в ящике началась совсем недавно. Однажды я обнаружил пустой полуразвалившийся ящик из гофрированного картона, небрежно сунутый в узкую щель между общественной уборной и забором. Ящик без хозяина то же, что заброшенный дом, — он быстро ветшает, ветер и дождь окрашивают его в коричнево-красный цвет вялого винограда. Я с первого взгляда понял, что это чье-то брошенное жилище. Прорезанное в ящике окошко... торчащие из него обрывки полиэтиленовой шторки... вздутия на боковых стенках, точно следы кожного заболевания, — набухшие, видимо, от воды мелкие слуховые отверстия, — из-за всего этого ящик казался полуразрушенным. Я стал обрывать боковую стенку. Ощущение — будто разматывал отсыревший пластырь, показалась внутренность ящика. Я непроизвольно загородил собой щель, куда был засунут ящик, стараясь скрыть от взглядов прохожих покинутое жилище.

Внутри ящика запечатлелись, как отпечатки рук на глине, следы пребывания в нем бывшего жильца (назо-

вем его В.). Например, дыры, заделанные с помощью па-лочек для еды и изоляционной ленты. Вырезанная из журнала фотография обнаженной девицы, превратившаяся теперь в грязное пятно цвета птичьего помета. Красный шнурок, с помощью которого ящик, чтобы он не качался, привязывался к поясу. Маленькая пластмассовая коробка, укрепленная под окошком. Бесчисленные надписи, покрывающие почти всю внутреннюю поверхность ящика. Места, где их нет,—прямоугольники, одни побольше, другие поменьше,—где раньше, несомненно, висели транзистор, коробка для мелочей, карманный фонарь и другие вещи.

Сейчас ящик мертв. Мне вдруг показалось, что я вижу, как его покидает призрак В. Я вздрагиваю. Я еще ни разу вот так ощутимо не представлял себе моей (ящика) смерти. Мне казалось, что, когда придет время, я просто исчезну, как испаряется капля воды. Но вот я столкнулся с действительностью. Каков же был конец В.?

Совсем не обязательно, разумеется, смерть ящика должна была означать и физическую гибель самого В. Возможно, он просто выбрался из тоннеля и выбросил свой ящик. И значит, останки ящика — это оболочка «куколки», из которой вырвалась на волю бабочка. (Пожалуй, «бабочка» слишком романтично, и можно назвать его хотя бы цикадой или поденкой.) Во всяком случае, мне бы хотелось думать именно так. Думать иначе было невыносимо. Но, чтобы так думать, нужны были доказательства. В поисках доказательств я стал внимательно изучать надписи. К сожалению, В. пользовался, видимо, фломастером, смываемым водой, и поэтому разобрать почти ничего невозможно. Пластмассовая коробка плотно закрыта крышкой. Если существует какая-то путеводная нить — она, безусловно, в ней. Когда я с трудом сорвал крышку, от нее отлетели петли. В коробке лежали две шариковые ручки, сломанный нож, кремни, часы без стекла, с одной минутной стрелкой и, наконец, небольшая записная книжка с оторванной обложкой. Первая страница начиналась такой записью — к счастью, я сразу же переписал ее на одной из стенок внутри своего ящика (в то время там оставалось еще много свободного места) и поэтому могу воспроизвести ее дословно:

«Его нервозность перешла уже все границы. Стоило ему хоть ненадолго выйти из дома, как его охватывало беспокойство: вдруг жильё исчезнет —

для него стало невыносимо покидать дом. Он превратился в заядлого домоседа. Заперся в четырех стенах и ни на минуту не покидал своей комнаты. В конце концов он умер с голоду или повесился. Разумеется, я узнал, что никто еще не опознал тот труп...»

Я попытался перевернуть страницу, но записная книжка расползлась под пальцами, как отсыревшее печенье. Вместе с ней расползлась и путеводная нить, и я до сих пор не в силах определить, что значил труп того ящика.

Ну что ж, надо проститься с ящиком. Но рубаха и белье почему-то плохо сохнут. Дождь перестал, но воздух попитан влагой из-за низко нависших, набухших водой туч, и белье никак не сохнет. К счастью, сидеть голым в ящике не так уж плохо. Может быть, потому, что я тщательно смыл с себя грязь, все тело точно ожило, мне даже приятно обнимать самого себя. Но не буду же я бесконечно оставаться в таком положении. Скорее бы кончился утренний штиль.

Темное мокрое небо и черное море, сливающееся с ним на уровне глаз. Море еще темнее, чем небо. Непроглядная чернота, как в сорвавшемся вниз лифте. Бездонная чернота, которая видна, даже если зажмурить глаза. Слышен шум моря. Видна внутренность собственной черепной коробки. Куполообразный свод, прикрывающий видимый глазу каркас. Как в самолете. Постоянное недосыпание отравило кровь. Стучит в висках. Хочется спать. Раньше чем покинуть ящик, я решаю поспать пару часов. Еще плотнее смежаю веки уже закрытых глаз. Я вижу волны. Волны все сужающимися и сужающимися линиями, ровными, точно их провели по линейке, уходят в бескрайнее море. У каждой волны свои взлеты и падения, взлеты — прекраснее. Пытаюсь заглянуть во впадину между волнами, я подаюсь вперед, и в то же мгновение у меня выскакивают оба глаза. С того места, куда они упали, поднимается легкий дымок. Без конца ударяясь друг о друга, глаза катятся между волнами. К горлу подступает тошнота. Я открываю глаза. И море и небо по-прежнему черные и тихие. На мокром твердом песке я чувствую себя жалким и беспомощным. Мне остается одно — сидеть с открытыми глазами и ждать, когда меня настигнет неожиданный сон.

Но даже если я и не смогу уснуть, хотя бы ненадолго, все равно, когда настанет время, придется начать намеченные действия. Покончив с покинутым мной ящиком, я часов в восемь снова пойду в клинику. Прием пациентов начинается там с десяти часов, и я хочу сделать так, чтобы у меня было побольше времени. Но и слишком рано приходить тоже не стоит, а то еще испортишь своим будущим собеседникам настроение и ничего хорошего не получится. Я рассчитал, что восемь часов как раз не поздно и не рано — я уже никого не разбудю и на переговоры останется два часа, хотя нельзя сказать, что это так уж много. Правда, не исключена возможность, что моим собеседникам придется даже отложить на день прием больных, чтобы не прерывать переговоры. Во всяком случае, переговоры могут потребовать массу времени... но какие переговоры?

(Записываю, чтобы не забыть. Только что придумал убийственную фразу, которую я произнесу, если встречу ее: «Я не хочу, чтобы ты смеялась надо мной или злилась на меня. Если другие будут смеяться и злиться, мне безразлично, главное, чтобы ты не делала этого».)

В общем, волноваться нечего, рискну. Если мы не прервем наших переговоров, вероятно, удастся договориться, а если не удастся договориться, тогда останется одно — прервать их. Сейчас же нужно наметить порядок, в котором я буду улаживать свои дела, с таким расчетом, чтобы успеть к восьми часам. Я говорю «улаживать», но в общем-то особого труда это не составит. Ящик, когда я разорву его на несколько частей и сомну, превратится в обыкновенный мусор. Как бы медленно я это ни делал, пяти минут и то для этого не потребуется. Разобраться с моим личным имуществом — все это предметы, которыми я постоянно пользуюсь в своей бродячей жизни, — дело пустяковое. Например, доска, которую я сейчас использую как подставку, чтобы писать свои записки. Это всего-навсего кусок истертой, довольно толстой пластмассы молочного цвета размером сорок на сорок пять сантиметров, но это действительно предмет первой необходимости, без которого я не могу обойтись в повседневной жизни. Прежде всего он служит столом. Для еды или пасьянса обязательно нужна устойчивая поверхность. Во время приготовления еды он превращается в кухонную доску. В ветреные зимние ночи он служит став-

ней, чтобы прикрыть окошко, в душные летние ночи — заменяет веер. Когда приходится садиться на влажную землю — он для меня переносная скамья, когда нужно выпотрошить подобранные окурки и свернуть папироску — рабочий стол.

Конечно, чтобы обходиться минимальным количеством вещей, должно пройти немало времени. Когда я еще только начинал свою жизнь в ящике, то никак не мог освободиться от общепринятых представлений об удобствах и без конца припасал не только вещи, казавшиеся мне для чего-либо пригодными, но и такие, которые даже не представлял, как использовать. Жестяная банка с цветным изображением трех обнаженных девиц, державших золотое яблоко (для чего-нибудь обязательно пригодится), диковинный камень (возможно, древняя каменная утварь), шарик рулетки патинко (пригодится, если возникнет необходимость иметь в руках тяжелый предмет), карманный англо-японский словарь (когда-нибудь может понадобиться), золотые каблуки от туфель (они интересной формы, а кроме того, их, пожалуй, можно использовать вместо молотка), штепсельная розетка на сто двадцать пять вольт, шесть ампер (плохо, если ее нет, когда она нужна), медная дверная ручка (если привязать к ней веревку, станет грозным оружием), паяльник (наверняка для чего-нибудь пригодится), связка ключей (не исключено, что я наткнусь на замок, к которому один из них подойдет), металлическая гайка диаметром четыре с половиной сантиметра (подвешенная на нитке, она превращается в сейсмограф, удобна и как грузик для сушки фотопленки)... — таких предметов насобирав я бесчисленное множество, и, когда от их тяжести и оттого, что они до отказа забили мой ящик, я уже и шагу ступить не мог, мне наконец стало совершенно очевидно, что от них следует избавляться. Человеку-ящику нужен не перочинный нож с семью предметами, а скорее умение использовать обычное лезвие безопасной бритвы для самых разных целей. Если какой-либо вещью не пользуешься по меньшей мере три раза в день, с ней нужно безжалостно расстаться.

Но выбрасывать нелегко. Накапливать трудно, выбрасывать еще труднее. Всегда боишься — если не будешь изо всех сил цепляться за свои вещи, их унесет ветром. Например, разве легко человеку, с наслаждением пользующемуся портативным приемником — высококачествен-

венным транзистором с прекрасным звучанием, спокойно отказаться от него только ради того, чтобы облегчить свой багаж? Но я и это смог.

Да, я должен обязательно рассказать ей ту историю о радиопередачах. А если нужно, то рассказать и лже-человеку-ящику. Я хочу, чтобы еще до начала наших переговоров те двое ясно понимали, с кем они имеют дело.

«Ты спрашиваешь, зачем я пришел в такую рань? (Я обращаюсь только к ней, а врач в своем лжеящике пусть сидит где-нибудь в углу комнаты.) Обычная прогулка. Утренняя прогулка. Крутая дорога, которая ведет сюда от соевого завода, не такая уж живописная, но я люблю ее. Вон те старые узловатые деревья, скудно покрытые листвой, которые растут вдоль дороги,— интересно, как они называются? Или вот эти островерхие крыши, проглядывающие сквозь листву,— как причудливо они громоздятся. Свежевыкрашенные узкие высокие окна, ярко выделяющиеся на стенах потрескавшейся штукатуркой,— состояние, будто идешь на опасное, страшное дело... Не верите?.. Тогда я скажу по-другому. Никакой особой причины у меня не было — пришел потому, что хотел прийти... Опять не годится?.. Я не выгляжу настолько жаждущим? Такое уж у меня лицо от рождения, ничего не поделаешь. Когда у человека тусклые глаза, лицо его производит неблагоприятное впечатление. Ну ладно, так вот, эти пятьдесят тысяч иен (невыносимое отвращение воодушевляет меня, я бросаю их на процедурный стол)... мне всучили эти деньги, но это не значит, что я согласился их принять. Сейчас я как раз обдумываю создавшееся положение. Правда, с ящиком, как меня просили, я уже разделался, так что можете успокоиться. В общем, мы в расчете, хотя нет, скорее всего я немного в долгу. Ну а как тебе живется в ящике? (Я стремительно заглядываю в окошко лжеящика и, не дожидаясь ответа, снова обращаюсь к ней.) Простите, что я сразу перехожу к делу, но, чтобы вы узнали, что представляет собой такой человек, как я, хорошо бы вам выслушать мой рассказ о радиопередачах. Да, о радиопередачах. Я уже давно был отравлен ядом новостей. Понимаете? Я испытывал непреодолимую тревогу, если постоянно, без конца не запасался свежими новостями. Все время меняется военная обстановка на фронтах, без конца женятся и расходятся кинозвезды и певцы... Ле-

тит ракета к Марсу, перестает подавать признаки жизни рыболовное судно, послав свой последний SOS... Арестовывают начальника пожарной команды, страдающего пироманией, в грузе бананов обнаруживают ядовитых змей, стреляется чиновник министерства торговли и промышленности, насилуют трехлетнюю девочку, а в это время добивается блистательных успехов или проваливается международная конференция... Учреждается общество по разведению стерильных крыс, на стройке супермаркета обнаруживают замурованного в бетон ребенка, зарегистрировано рекордное количество дезертирств из всех армий мира... В общем, мир напоминает кипящий котел. И стоит лишь на миг отвлечься, как окажется, что изменилась даже форма земного шара. Все это кончилось тем, что я стал выписывать семь газет, установил два телевизора и три радиоприемника, не выходил из дома без транзистора, даже спать ложился в наушниках. Ведь в одно и то же время разные станции передают разные новости, и поэтому всегда существует опасность пропустить какое-нибудь экстренное сообщение. Трусливые животные настороженно оглядываются по сторонам — вот почему постепенно у жирафа вытянулась такая длинная шея, а обезьяна перестала падать с дерева. Не смейтесь, для меня, человека, о котором идет речь, то, что я рассказываю, чрезвычайно серьезно. Я большую часть суток проводил за чтением и слушаньем новостей. Негодуя на собственное безволие, я плакал, но ни на шаг не отходил от своих радиоприемников и телевизоров. Причем я прекрасно сознавал, что, сколько бы ни старался выудить из этих новостей правду, даже приблизиться к ней и то невозможно. И, сознавая это, был бессилен отказаться от своей привычки. Возможно, мне нужна была не правда, не понимание происходящего, а лишь форма — заключенные в стандартные фразы новости. В общем, я был отравлен ядом новостей.

Но в один прекрасный день я выздоровел. Крохотное событие, настолько крохотное, что так и хотелось наклониться к нему, чтобы получше рассмотреть, явилось противоядием. Оно... действительно, где же оно произошло?.. Точно, на углу широкой улицы между банком и станцией метро... днем прохожих там совсем мало... передо мной размеренно шагал человек средних лет, по виду служащий, вдруг у него подкосились ноги, и он стал медленно оседать прямо на тротуар, потом повалился на бок и

замер. Ну точно как играют с ребенком в медведя и охотника. Проходивший мимо юноша, похожий на студента, иронически глянул на него. «Может, умер?» — брезгливо улыбаясь, спросил он меня. Я не ответил, и он, хоть и неохотно, пошел позвонить в табачную лавку через несколько домов. Я, по профессиональной привычке — мне один-два раза в месяц всегда заказывали фотографии для рекламы товаров, — вынул фотоаппарат и начал с разных точек прилаживаться, чтобы сфотографировать мужчину. Но вовремя одумался и не спустил затвора — и совсем не потому, что мне стало жаль умершего и стыдно перед ним. Просто я понял, что этот случай не годится для новостей.

Смерть — это действительно своего рода цепь изменений. Прежде всего бледнеет кожа. Затем заостряется нос, ссыхается подбородок. Приоткрытый рот напоминает сделанный ножом разрез на коже мандарина, в котором торчит красная вставная челюсть. Меняется даже одежда умершего. Казавшаяся добротной, она прямо на глазах превращается в тряпье. Все эти факты, конечно, не новости. Но умершему, видимо, нет никакого дела до того, может случившееся с ним превратиться в новости или нет. Десятая жертва, попавшая в руки опасного преступника, разыскиваемого по всей стране, умрет так же, как умерли все предыдущие. Меняешься сам, вместе с тобой меняется и внешний мир — никаких других изменений не существует. И изменения эти столь огромны, что за ними не угнаться и самым сенсационным новостям.

Стоило мне так подумать, и сразу же отношение к новостям резко переменилось. Как бы это лучше сказать... У меня не было другого выхода, как приказать себе: «Ты тоже в состоянии покончить с новостями...» И все же, понимаете... почему всем нужны новости?.. Может быть, для того, чтобы в критический момент быть во всеоружии, хотя заранее известно, что все на свете меняется? Раньше я тоже так думал. Но это ложь. Человек слушает новости только для того, чтобы успокоиться. Какую бы потрясающую новость ему ни сообщили, если человек слушает ее, значит, он жив — вот в чем дело. По-настоящему потрясающая новость — это последняя новость, возвещающая о конце света. Заветная мечта каждого — быть в состоянии услышать ее. Потому что это будет означать, что удалось пережить конец света. Если вдуматься, то, как мне представляется, мое отравление было

вызвано именно стремлением не прозевать этой последней передачи. Но новости все шли и шли без конца, так и не превращаясь в последнюю. Это значило, что новости все еще не последние. Они будут продолжаться и впредь — лишь стереотипные фразы станут еще короче. Прошлой ночью «Б-52» провели самый крупный в этом году налет на Северный Вьетнам, а ты все-таки остался жив. На газовом заводе произошел пожар, восемь человек получили тяжелые ожоги, а ты не пострадал и остался жив. Новое огромное повышение цен, а ты продолжаешь жить. Из-за выброса промышленных отходов в заливе уничтожена вся рыба, а ты все-таки остался жив».

«Так о чем же мы говорили?»

— Значит, это рассказ о том, как вам надоело слушать новости... — Она сводит колени (видимо, почувствовала мой интерес к ним) и закуривает новую сигарету. А лжечеловек-ящик мрачно добавляет:

— Не могу понять, к чему такая самореклама...

«Среди людей, не интересующихся новостями, злодеев не бывает — вот что я имею в виду». Я бросаю эти слова в лицо врачу и с прежней улыбкой обращаюсь к ней. «Не верить в новости — значит не верить в перемены. Так что я не собираюсь против вашей воли привносить сюда перемены».

— Все-таки мы просчитались, тебе не кажется? — сказал лжечеловек-ящик с откровенностью, которой я от него не ожидал.

— Просчитались?

— Я имею в виду пятьдесят тысяч иен. Деньги, которые мы отдали тебе, поверив, что ты близок с человеком-ящиком, чтобы ты купил у него для нас ящик. Выходит, мы просчитались. Откуда нам знать, достанешь ты ящик или нет.

— Что вы придираетесь ко мне. — Я даже растерялся из-за его неожиданной контратаки. — Вы прекрасно знаете, что человек-ящик и я — одно лицо.

— Откуда нам знать?

— Не надо передергивать. Есть достаточно веские доказательства. — Чтобы успокоиться, я сделал несколько глубоких вдохов. — Неделю назад в то утро, когда я пришел сюда, чтобы мне перевязали рану, вы должны были все понять. Неумело подстриженные волосы... плохо вы-

бритое лицо, с бесчисленными порезами... обветренная, шелушащаяся кожа на шее и руках, несмотря на острый запах мыла...

— Знаете, среди фоторепортеров попадаетея немало чудаков.— Тон беспечный, явно свидетельствующий о том, что моя игра проиграна. В конце концов она, видимо, стакнулась с врачом и решила просто использовать меня в своих целях.

— Но ведь ты же признала тогда, сама признала, что мое плечо ранено пулей из духового ружья?..

— Ну и что из этого? У очень многих есть духовые ружья. Хорьки повадились в курятники, просто беда с ними.

— Один добросердечный человек, случайно оказавшийся свидетелем моего ранения, посоветовал мне эту клинику. Более того, он даже дал мне деньги, чтобы я оплатил счет за лечение. Три тысячи иен, бумажки чуть попахивали креозотом.— Я пристально посмотрел ей в глаза. Мне и в голову не могло прийти, что она так легко переметнется на сторону противника. Ведь она совершенно определенно обещала мне даже позировать. Когда она позирует, ощущая на себе взгляд художника, это, видимо, наэлектризовывает ее. И в таком возбужденном состоянии или... возможно, сейчас она просто старается выгородить врача. Да мне и не особенно хочется, чтобы врач начал здесь препираться с ней. Нужно еще подумать, стоит ли так упорно преследовать ее — это может только ухудшить ее положение.— ...Какая-то девушка в мини-юбке на велосипеде новейшей конструкции... Возможно, эта девушка... к сожалению, я видел ее только со спины, но ноги у нее были очень красивые. Ноги — однажды увидев, ни за что не забудешь. Когда долгие годы живешь в ящике и перед глазами лишь нижняя часть тела прохожих, пресыщаешься видом бесконечного количества ног.

Мне показалось, что она надула щеки, чтобы сдерживать улыбку. Но рассмеялся во весь голос лжечеловек-ящик.

— Ну разумеется, одно дело — разглядывать ящик, другое — надеть его на себя, разница огромная.

— Я только хочу напомнить, что права на владение ящиком я вам еще не передавал.

— Просто колоссальная разница,— повторил лжечеловек-ящик спокойно, точно понял наконец суть этой раз-

ницы.— Вчера я впервые всю ночь провел в ящике. Это нечто потрясающее. Нет, не зря я стремился стать человеком-ящиком.

— Я не собираюсь насильно удерживать вас от этого шага.

— А я и не принадлежу к тем, кого можно удержать. Разве это не ясно?

В самоуверенном голосе лжечеловека-ящика притаилась смешок. Добродушный и в то же время ехидный — не нравится он мне. Я окончательно расстроился. Кажется, с самого начала нужно было подружиться с ним. Он и в самом деле совсем не собирался вступать со мной в борьбу. Мне бы удалось более спокойно поговорить с ним, если бы я коснулся тем, близких человеку-ящику, когда он впервые появляется на улице: способы добывания пищи, места, где можно достать вполне пригодные к употреблению старые вещи, способы бесплатного проезда на большие расстояния, места, где обитают бродячие собаки, которых нужно избегать. И все-таки не очень приятно сознавать, что рядом с тобой живет еще один человек-ящик. Понятно, что он — не настоящий, но сейчас уже слишком поздно об этом говорить. Если бы я мог все это предвидеть, мне, возможно, следовало прийти сюда в своем ящике и потягаться с ним. Я вызывающе обращаюсь к ней:

— Ну а что бы ты сделала на моем месте? Удержала бы его или позволила поступать как ему заблагорассудится?

Продолжая стоять, прислонившись к процедурному столу, она исподлобья взглянула на меня. Губы чуть растянуты, и от этого казалось, что она улыбается, но глаза совсем не смеялись.

— Я думаю только о том, что, если сейчас вывесить вдруг табличку «Приема нет», пациенты, наверно, забеспокоятся.

Пожалуй, это верно. Двусмысленный ответ, который можно толковать и так и этак. Но пока что мне следует удовлетвориться им. Подожду, что скажет лжечеловек-ящик.

Ящик издал какой-то звук, привлечший мое внимание, и заметно накренился. Шторка на окошке разошлась, и показались глаза. Просто смотрящие глаза, лишённые всякого выражения. Глаза, гордые тем, что вынудили меня посмотреть в них. Когда ему удалось научиться

этому приему? Образец — я, это безусловно. Я подавлен. Тот, кто смотрит,— я, тот, на кого смотрят,— тоже я.

— Сколько бы ты ни разглагольствовал, это бесполезно.— Голос у лжечеловека-ящика тонкий, не соответствующий его наружности.— Но я вижу, ты не веришь.

— Да ведь фактически и нет, видимо, такой необходимости — уходить отсюда.

— На небольшой компромисс я готов.— Лжечеловек-ящик откашлялся, прочищая горло, и продолжал вкрадчиво: — Например, как бы ты посмотрел на такое мое предложение. Ты получаешь возможность делать в этом доме все, что тебе заблагорассудится. Какие бы отношения ты ни установил с ней, я вмешиваться не буду. Не буду мешать, не скажу ни слова, не буду мозолить вам глаза. Но только при одном условии. Я получаю возможность наблюдать за вами. Только наблюдать, и все. Конечно, из ящика. Я имею в виду отношения, в которых мы, трое, оказались сейчас. Мне достаточно, если разрешат вот так, из угла, следить за тем, что вы делаете. Когда вы к этому привыкнете, я превращусь для вас в нечто, напоминающее корзину для бумаг.

У меня было такое чувство, что предложение, которое должно было исходить от меня, сделал мой двойник. А она, следя за происходящим, быстро перебирала пальцами, точно самозабвенно играла без нитки в «колыбель для кошки». Она не спеша переступила с ноги на ногу. Полы свежеевыглаженного белого халата разошлись, и выглянуло колено, которое так и хотелось погладить. А вдруг под халатом она совершенно нагая? Я испытал чувство, будто неосмотрительно проглоченный крохотный воздушный шарик начал вдруг раздуваться во мне. Неужели у меня хватит смелости попросить ее раздеться на глазах у этого лжечеловека-ящика?

— Колебаться нечего,— подгонял меня лжечеловек-ящик.— Что такое человек-ящик, если не принимать близко к сердцу его судьбу? Дуновение ветра, пыль, не более. Со мной самим произошел чрезвычайно интересный случай. Однажды я стал проявлять какой-то снимок, сделанный совершенно случайно, и вдруг во весь кадр всплыло изображение, увидеть которое я даже не предполагал. По улице спокойно, без стеснения шел человек, надевший на себя ящик из гофрированного картона. Я не такой специалист, как ты, поэтому у меня дешевый детский фотоаппарат. И все-таки, что же я собирался тогда сфо-

тографировать? Дело давнее, но я думаю, скорее всего, похороны. Я всегда стараюсь сфотографировать на память похороны своих пациентов. Я был потрясен. Как можно было не заметить этого человека-ящика — ведь фотографировал я с такого близкого расстояния. Но я совершенно не помню его. Невидимый, но кажущийся видимым призрак — значит, это просто антисуществование. И с тех пор, да, с тех пор я и начал испытывать интерес к людям-ящикам. Я стал приглядываться и обнаружил, что по улицам бродят люди точно такого вида, как на моей фотографии. Я заметил также, что никто не обращает на них никакого внимания. Значит, не я один просмотрел их. Человек-ящик заходит, например, в продовольственную лавку. Высовывает из дырки руку и начинает тащить все подряд. Помидоры, молоко, сухие соевые бобы — не такая уж ценность, но все же. Но вот что смешно: ни покупатели, ни продавцы, стоящие тут же, рядом, не только не ругают, но даже не замечают его. Человек-невидимка, да и только. Ходить, упаковав себя как товар, — это не просто вести себя подозрительно, но, более того, оскорбительно для людей. И все-таки существование человека-ящика никому не причиняет вреда — если есть желание игнорировать его, можно спокойно игнорировать. Ты тоже должен относиться ко мне с полнейшим безразличием.

Лжечеловек-ящик, неожиданно вздохнув, умолк, точно проглотил последние слова, и я вслед за ним тоже глубоко вздохнул. Может быть, в самом деле его условия не так уж плохи. Я-то лучше всех знаю, что существование человека-ящика никому не причиняет вреда. Место, где находится его клиника, не особенно удобно, но, поскольку он открыл ее, значит, у него должны быть соображения, так что неудобство может, наоборот, обернуться для нас возможностью быть подальше от людей. В общем, теперь проблема в том, как на все это посмотрит она. Если только удастся добиться ее согласия, мы, не исключено, прекрасно заживем втроем. Нет, не втроем, а вдвоем. Рассматривать его как корзину для бумаг, конечно, не стоит, но, если вообразить, что это клетка с обезьяной, стоящая в спальне, — все будет в порядке.

— Ну а ты как, не возражаешь?

— Я? — Она пристально посмотрела на меня, потом перевела взгляд на лжечеловека-ящика. Пока она переводила взгляд, на лице ее появилась улыбка, вызвавшая

у меня острую ревность.— Зря спрашиваете... Трудно отвечать на вопрос, когда всю ответственность перекалывают на тебя... Стоит мне задуматься, и я тут же роняю на ногу ножницы или сажусь со всего размаха на стакан... в общем, в таких случаях со мной всегда происходят странные вещи... Сколько сейчас времени?

— Без двадцати четырех десять,— поспешно ответил лжечеловек-ящик, а я, снедаемый нерешительностью, почувствовал угрызения совести. Она же, продолжая наступать, отрывисто бросила:

— Послушайте, сколько вам лет? Только по правде.

— По метрике двадцать девять, а по правде года тридцать два — тридцать три.

Попавшись на удочку, я ответил сразу, не задумываясь, но тут же понял, что спрашивала она с каким-то тайным умыслом. Не успел я ответить, как она, повернувшись ко мне спиной, начала наводить порядок на процедурном столе. Этим, видимо, она хочет, не говоря ни слова, показать, что вопрос об отмене приема еще не решен. Пожалуй, это самое честное, что она может сделать. Но и порядок на процедурном столе она не наводила по-настоящему. Она просто перекалывала с места на место инструменты, переставляла стеклянные пробирки. Может быть, это нужно рассматривать как пассивное согласие? Или, наоборот, расценить как несогласие? Но то, что она специально тянет время, можно понять как стремление заставить меня на что-то решиться. И я чувствую: мне действительно нужно принимать решение. Стоит сказать ей одно слово, попросить ее раздеться, и в то же мгновение произойдет такая сцена... Она расстегнет перламутровые пуговицы на халате, потом помедлит пару секунд... И вот она обнаженная. Меньше чем в трех метрах от меня. Расстояние, на которое движение воздуха в комнате донесет ее запах. Ну что ж... однако сумеет ли она сыграть эту столь трудную роль так, как мне хотелось бы?

(Мне вдруг приходит на ум одно неприятное воспоминание. Это случилось на школьном вечере. Мне поручили, хотя у меня не было и тени популярности, крохотную роль, скорее всего потому, что никого другого на нее не нашлось. Я должен был исполнять роль лошади, которую звали Тупица, и, помнится, от возбуждения и радости не чувствовал под собой

ног. Но, выйдя на сцену, не знаю почему, не мог произнести ни слова из своей коротенькой роли. Когда я в отчаянии покидал сцену, мой соученик, игравший хозяина лошади, разозлившись, изо всех сил пнул меня ногой. Тут и я разозлился и пнул его в ответ — он стукнулся головой об пол и потерял сознание. Что было потом, как прервали спектакль, я совершенно не помню. Знаю только, что вскоре после этого у меня развилась близорукость и родители заставили носить очки. Это потому, что я стал в укромных полутемных уголках читать, приблизив к самым глазам книги и журналы, напечатанные мелким шрифтом. Мне хотелось укрыться, чтобы ни на кого не смотреть и чтобы никто на меня не смотрел.)

Я прекрасно сознаю свое безобразие. И не настолько бесстыден, чтобы демонстрировать другим свою наготу. Разумеется, безобразен не я один — девяносто девять процентов людей имеют недостатки. Я убежден, что люди изобрели одежду не из-за утраты волосяного покрова, а, осознав свое безобразие, постарались скрыть его с помощью одежды, и уже от этого у них вылезли волосы. (Я знаю, что мое утверждение противоречит фактам, но все равно убежден в своей правоте.) Люди в состоянии жить, хоть и с трудом, но все же вынося взгляды окружающих, только потому, что надеются на несовершенство их зрения и оптический обман. Люди придумывают самые разные уловки, чтобы не отличаться от других, — стараются по возможности одинаково одеваться, одинаково стричься. А некоторые всю жизнь живут потупившись: мол, я не буду никого откровенно разглядывать, пусть и окружающие тоже постесняются разглядывать меня. Вот почему в старину преступника выставляли к позорному столбу, но это наказание было слишком жестоким, настолько жестоким, что в цивилизованном обществе оно было отменено. Потому что действие, именуемое подглядыванием, обычно означает рассматривание осуждающим взглядом, и человек не хочет, чтобы за ним подглядывали. Когда человека ставят в такое положение, что ему неизбежно приходится подглядывать, от него требуют соответствующей компенсации — это общепринято. Действительно, в театре и кино тот, кто смотрит, платит деньги, а тот, на кого смотрят, получает деньги. Но каждый хочет сам смотреть и не хочет, чтобы смотрели на

него. И бесконечная продажа все новых и новых средств подсматривания — радиоприемников, телевизоров — лишь доказывает, что девяносто девять процентов людей осознают свое безобразие. Близорукость моя все прогрессировала, я стал завсегдатаем стриптизов, потом поступил учеником к фотографу... а уж оттуда до человека-ящика — всего лишь один шаг.

(Снова примечание, сделанное красными чернилами. Существование такой патологии, как эксгибиционизм, категорически противоречит утверждениям одного автора, считающего, что выставлять себя напоказ — обычная склонность всех людей.)

— Нет, ты и в самом деле ни рыба ни мясо, — резко заговорил лжечеловек-ящик хриплым голосом. — Такое тебе предлагают... а ты растерялся... Я б на твоём месте, не раздумывая, согласился.

— А ты здесь будешь торчать как бельмо на глазу.

— Ну и что ж...

— Я на своей собственной шкуре испытал, что такое человек-ящик — мне известно о нём гораздо больше, чем тебе. Когда люди игнорируют человека-ящика, они не знают, что за человек составляет содержимое ящика. А я тебя вижу насквозь. Я даже представляю себе твой взгляд, каким ты сейчас смотришь на меня. Мне противно. Я терпеть не могу, когда за мной постоянно следят.

— Но ведь тебе заплатили пятьдесят тысяч иен.

— Я сам привык подсматривать, но чтобы за мной подсматривали — к этому я не привык...

Лжечеловек-ящик все время покачивался. И вдруг, наклонившись резко вперед, встал во весь рост с легкостью, которую трудно было от него ожидать. Задняя стенка ящика проскребла по стене, и послышался неприятный шуршащий звук, который обычно издает при этом пересохший гофрированный картон. В общем, подделка есть подделка. Она не идет ни в какое сравнение с настоящим ящиком, чуть влажным от долгого употребления.

— Ну ладно, хватит болтать, — веселым голосом сказал лжечеловек-ящик, стоявший широко расставив ноги. Поросшие волосами мускулистые босые ноги. Неужели он без штанов? — Я не так уж голоден, но бросить что-нибудь в рот не откажусь. — Потом он окликнул ее по имени и сказал: — Послушай, покажись-ка ему голдой, а?

Я растерялся. Наверно, и она испытала неловкость оттого, что ей приказали раздеться, да еще назвали по имени. Я не решаюсь даже сейчас написать здесь ее имя. Я вновь остро ощутил, как много значит она для меня. Пусть случайно, но поскольку она оказалась единственным человеком противоположного пола, с которым мне удалось наконец встретиться, и у меня не было другого объекта, чтобы сравнивать ее с ним, меня вполне удовлетворяли местоимения, позволяющие различать пол.

— Прямо сейчас?

В голосе, каким она спросила это, не слышалось особого удовольствия. Не было в нем и тени сомнения. Все гладко, будто жирной ладонью гладят яйцо. Так она и в самом деле обнажится без всякого стеснения. Я молчал в полной растерянности. Светло губы, я не мог вымолвить ни слова.

— Не возражаете?

— Не возражаю, но...

Короткий деловой разговор.

— Спичек не найдется?

Понуждаемая лжечеловеком-ящиком, она, проскользнув мимо меня, пересекла комнату. Походка идеального, точно отрегулированного механизма, не оставляющая ощущения, что движение требует хотя бы малейших усилий. Она достала из кармана белого халата коробку спичек и, держа ее двумя пальцами, бросила в окошко ящика. Я вдруг почувствовал ее запах. Он напоминал запах арахисового поля, который я улавливал на морском берегу. Сердце бешено заколотилось. Может быть, от ревности к лжечеловеку-ящику? Возвращаясь на прежнее место, она сразу же начала расстегивать халат. После второй пуговицы бросила на меня быстрый взгляд. Такой легкий — он бы за полдня мог свободно улететь высоко в небо — взгляд, что я не только не отвел глаз, но даже не моргнул (очень важно заметить, что, сколько она ни смотрела на меня, я почти не ощущал, что она на меня смотрит). Казалось, ее освещает внутренний свет. Она совершенно спокойна, закушенная нижняя губа влажно выглядывает между зубов. Открытое выражение лица. Может быть, это она для меня распахнула ставни? Третья пуговица. Потом четвертая. Если она в самом деле хочет до конца узнать меня... если этой своей позой, которую она вчера демонстрировала лжечеловеку-ящику, собирается поймать меня... то действитель-

но хорошо, что на мне нет ящика. Людям, лишенным безобразия, которое нужно скрывать, безобразие других не видно. Если человек-ящик — профессиональный «подглядыватель», то женщина по своей природе «подглядываемая». (Мне непонятно одно: что заставило врача, жившего бок о бок с ней, такой женщиной, запереть себя в ящик?) И вот наконец последняя пуговица.

К счастью, халат был надет не на голое тело, я вздохнул с облегчением. Под ним оказалась шелковая оранжевая блузка. Крохотными ягодками вниз сбегали мелкие пуговицы того же цвета. Короткая желтая юбка, застегнутая сбоку на три черные пуговицы сантиметра два в диаметре. Из ящика послышалось трение спички о коробок. Раньше мне казалось, что она белокожая, но теперь, сравнивая ее тело с желтой юбкой, я бы назвал ее скорее смуглой. Но пальцы, взявшиеся за пуговицы юбки, были действительно белыми. И вот сейчас, глядя на нее, я не мог понять, какая же она на самом деле. Пальцы, лежавшие на юбке, вдруг замерли и, словно передумав, переместились к ягодкам на блузке. Конечно же, нужно начинать с них. По мне, чем дольше все это будет продолжаться, тем лучше. Запахло табаком. Если на прошлой неделе я уже однажды встретил эту женщину — женщину, которая с непосредственностью ребенка одним взмахом уничтожила все мои обязательства, подобно тому как уничтожает пятна мощный агрегат для чистки одежды, то, не исключено, мне удастся снова где-то встретиться с ней. И этой женщине, за которой я подглядывал вчера, женщине терпимой, точно она слепая, к чужому безобразию, напоминающей автомат для утоления жажды, освобождающей, подобно алкоголю или наркотику, от чувства неполноценности, тоже когда-нибудь снова представится случай встретиться со мной. Трудно поверить, что действительно существует человек, в котором слились два этих качества. Правда, я не настолько хорошо знаю эту женщину, чтобы иметь право судить о ней. И все же. Но то, что узнаешь с помощью правого глаза и с помощью левого глаза, наверно, чего-то стоит. Самое главное — доверие, которое позволит даже бессознательно обращать внимание на одни и те же вещи и совершенно естественно сделает все нашим общим достоянием. Расстегнута третья пуговица-ягодка. Блузка, кажется, надета на голое тело. Хотя и доносится запах табака, дыма не видно. Так курить не годится.

И тут из всех щелей, из окошка ящика вдруг повалил дым — значит, внутри столько дыма, что глаза невозможно открыть.

— Нужно и тебе приготовиться, как ты считаешь? — сказал лжечеловек-ящик торжественно. — Она... по-смотри, она не обращает на меня ни малейшего внимания.

Расстегивая пятую пуговицу, она чуть улыбнулась. Улыбнулась так, будто оступилась. Осталось еще семь пуговиц-ягодок.

— Если хотите фотографировать, фотографируйте, пожалуйста.

Я был поражен. Действительно, я договаривался с ней, что она будет мне позировать. Она раздевается, но это совсем не значит, что и я должен раздеваться вместе с ней. Может быть, и разденусь, но зачем же сразу? Наверно, я просто боялся того, к чему это приведет. Чтобы сгладить неловкость, я протянул было руку к вещевому мешку, где лежал фотоаппарат, но потом раздумал доставать его. Если бы я достал и установил фотоаппарат, это означало бы молчаливое согласие жить вместе с лжечеловеком-ящиком. Правда, фотографировать лучше, чем обнажаться, но это было бы равносильно тому, чтобы отдать ему второй ключ от своей собственной квартиры.

— Смотри, какой воинственный вид...

Расстегивая седьмую пуговицу, она отвернулась вполоборота к стене. Блузка распахнулась, и показался лифчик. Угольного цвета лифчик, выстроченный лучеобразно, как мяч для регби. Пожалуй, и правда — вид воинственный. Стеклянный шкафчик со стерильными инструментами. Узенькая кушетка для осмотра больных. Эмалированный таз, стоящий на подставке с широко расставленными тонкими металлическими ножками. Жутковатое медицинское кресло, похожее на зубоучебное, но чем-то отличающееся от него. Интересно, для чего оно? В подборе этих предметов было нечто эротическое, как в картине ада. Для фотографирования места лучше не придумаешь — как только солнце станет повыше, вряд ли удастся избежать соблазна пощелкать.

— Если хочешь, можешь переменить место. А я уйду вон туда... — любезно предложил лжечеловек-ящик.

— Наоборот, не нужно. Иначе свет будет падать сзади.

Молчание, молчание... Сейчас любая моя грубость приведет к поражению... Она взялась за девятую пуговицу — еще три, и блузка будет снята...

— Однако, как мне удалось заметить, от тебя ждут не фотографирования, а более решительных действий.— Притворная веселость. Лжечеловек-ящик начал замазкой болтовни заделывать щель, образованную моим молчанием.— Если бы спросили меня, я выбрал бы именно такие действия. Только не ври, что она не возбуждает тебя. А фотографию можно сделать когда угодно и фотографировать что хочешь. Если же ты думаешь, что это будет неприятно мне, можешь не беспокоиться. Я отказался от всех своих прав. Примерно год назад, когда она пришла, чтобы прервать беременность, я прямо влюбился в нее. Сделал ей операцию, а она мне так спокойно говорит: денег у меня нет, давайте я у вас поработаю и расплачусь. И это наивное лицо... Я был поражен... Но решение принял моментально. Я, естественно, не стал выпрашивать ее ни о том, как зовут ее приятеля, ни о родственниках. Мне удалось привлечь ее тем, что я игнорировал ее прошлое.

— Если бы спросили, я, думаю, ответила бы.

— Пожалуйста, не считай, что я сознательно не спрашивал.

— И все же хорошо, что не спрашивали.

— Медсестра, которая работала здесь раньше, была не особенно привлекательной. А эта производила впечатление девушки бывалой и вполне доступной.

— А на самом деле какой была?

— Сначала мне показалось — крайне осторожной. Потом показалось, наоборот, чересчур доверчивой. Ты все делаешь слишком импульсивно. А когда тебя ругают, ты легко просишь прощения. Видимо, ты убеждена, что стоит попросить прощения, и любая вина забыта.

— Сколько хлопот я доставила.— Она берется за последнюю пуговицу.

— Ничего, я прощаю тебя. А то, что я сначала не расспросил тебя о прошлом, теперь мне представляется дурацким легкомыслием. В общем, тебе удалось пройти по снегу и скрыться, не оставив следов.

Чуть растянув губы, она коротко рассмеялась, вытащила из юбки полы расстегнутой блузки и, плавным движением сняв ее, бросила на край кушетки. Когда она поворачивалась, на талии образовалось несколько тонких

складок. Она не казалась особенно худой, но и слой подкожного жира, видимо, не такой уж толстый. Эти складки кожи что-то напоминают. Но что? Вспомнил — замшу для протирки объектива.

— А все-таки получилось у нас неплохо, правда?

— Слишком хорошо, — насмешливо фыркнул лжечеловек-ящик. — Но я был ужасно самонадеян. Я считал, что могу делать все, что хочу, потому что у меня была возможность удерживать ее... Отвратительно. Как мерзкий соблазнитель, я брился два раза в день — утром и вечером... И такие отношения между врачом и пациентом, обратившимся к нему, чтобы сделать аборт! А дальше история с ньютоновым яблоком — закон тяготения. Тут как раз и служившая до этого медсестра ушла, да еще так неожиданно...

(На полях красными чернилами сделана приписка и стрелкой указано, к чему она относится.

— Откуда мне было знать, что это его жена...

— Если бы и знала, ничего бы не изменилось. Да и ей самой опротивела роль, которую она вынуждена была играть.)

— Я ужасно не люблю быть свидетелем того, как ранят человека.

— А как ты такое объяснишь? Однажды я спросил тебя: представь себе, что мир вот-вот погибнет, согласишься ли бы ты провести со мной последние мгновенья? Ответ был такой: если бы мне удалось, я бы хотела в одиночестве смотреть на море...

— Неправда. Я, должно быть, сказала другое: хочу быть вместе с толпой в каком-нибудь оживленном месте... на вокзале, в универмаге — вот где.

— Действительно, нечто подобное.

— Я не думаю, что мир погибнет так просто.

— Во всяком случае, все, что следовало мне уплатить, уплатили сполна. И теперь не должны ни иены...

Желтая юбка кольцом упала к ее ногам. Лево́й ногой она переступила через юбку, а правой поддела ее и легко вскинула вверх. Юбка бесшумно полетела и упала на пол перед кушеткой. Пуговицы стукнулись друг о друга и издали звук, будто раздавили маленькую ракушку. Светлоголубые трусы — немислимо маленькие — плотно облегают бедра. Чуть согнув колени, она прижала ладони к ляжкам. Ее поза напоминала позу ныряльщицы, казалось, она дурачится. Каждое ее движение прочерчивало

пространство, делало его контрастным, меняющимся, рисовало какой-то особый мир. Вдруг во мне просыпается жалость — точно от насморка зашекотало в носу. Может быть, я испытал это странное чувство, потому что видел такое впервые.

— Подожди,— остановил ее лжечеловек-ящик, когда она взялась за резинку трусов. Она замерла, устремив взгляд поверх моей головы, в какую-то далекую точку.— Почему ты не смотришь на нее как следует? Ведь она для тебя раздевается. Ты должен пожирать ее глазами. Ты когда-нибудь видел, как делают искусственный жемчуг? У меня ощущение, будто ее шея и плечи из такого жемчуга... Точно он еще льется нескончаемым потоком перед тем, как застыть... Мне очень нравится этот изгиб, идущий от талии к бедрам. И юная кожа — ее ведь не сбросишь, как это делает змея,— еще сохранила свою свежесть...

— Что меня особенно привлекает, так это ноги. По мне...— Сказав это, я напряг подбородок и стиснул зубы. Веки отяжелели, я не в силах поднять их, чтобы посмотреть ей в глаза. Интересно, какое у нее сейчас выражение лица? Подозрительно, что из ящика не струится дым, а лжечеловек-ящик даже не закашлялся ни разу.— Да я, в общем, ничего в этом не понимаю. Хорошие ноги, плоские ноги... Это все равно что заставить человека читать книгу на незнакомом ему иностранном языке... Сам не пойму, почему меня вдруг привлекли ее ноги.

— Наверно, потому, что они ближе всего к тому месту, которое тебя волнует.

— Ничего подобного. Если бы только это, мне было бы безразлично, какие ноги. Может быть, я вспомнил о бегущих ногах? За быстро бегущими ногами всегда хочется броситься вслед...

— Явная натяжка. Объяснить тебе, в чем дело? Расстояние слишком велико. Ты не можешь решиться сделать хотя бы полшага и поэтому бессилён заставить себя поднять голову. Почему ты не можешь сделать эти полшага? Я объясню.— Лжечеловек-ящик заговорил другим тоном и, отойдя от стены, занял место вершины воображаемого равнобедренного треугольника, основанием которого служила линия, связывающая меня и ее.— И рыбы, и птицы, и звери перед тем, как спариться, совершают особый любовный обряд. По мнению специалистов, он, скорее всего, представляет собой трансформированную

форму угрозы или нападения. В общем, каждое живое существо имеет собственный, четко очерченный участок, и оно инстинктивно готово атаковать агрессора, нарушившего его границы. Но атакуя всех подряд, спариться невозможно. Для этого нужно, чтобы граница была прорвана, двери открыты. Вот тут-то и возникает то, что на первый взгляд похоже на атаку, но отличное от нее: рождается особое искусство всем своим видом, своими телодвижениями усыпить оборонительный инстинкт партнера. То же самое и у людей. Ухаживание — это все тот же наступательный инстинкт, лишь подкрашенный и принаряженный. Во всяком случае, конечная цель и у животного и у человека одна и та же — прорвать границу и напасть. По своему опыту знаю, что у людей граница проходит в радиусе двух с половиной метров. И если удастся переступить эту тщательно охраняемую черту, неважно как — уговорами или с помощью яркой электрической лампочки, — противник побежден. И хотя с такого близкого расстояния противника можно прекрасно рассмотреть, определить, что он собой представляет, трудно. Здесь могут сослужить службу лишь осязание и обоняние.

— Что ты в конце концов хочешь сказать?

— Если ты сделаешь еще хоть полшага, то как раз будешь на этой пограничной черте.

— И что тогда?

— Нет, ты действительно ни рыба ни мясо. Ты же умолил ее и получил пропуск на свободный проход через границу. Тебе достаточно сделать еще полшага — и, хочешь не хочешь, от тебя потребуют представить пропуск на проход. Разумеется, пропуск на свободный проход. Но тогда, естественно, тебе придется отказаться от права, а вместе с ним и от всяких предлогов снова возвратиться в свой ящик. Ты больше всего боишься признать это. Вот и тянешь время. И ее связал по рукам и ногам. Ты оставил часы.

Честно говоря, он прав. Она стояла неподвижно в нерешительной позе, по-прежнему держась руками за резинку трусов. И ее глаза, блуждавшие в пространстве, точно что-то выискивая у меня над головой, были широко раскрыты, как искусственные.

— Так что же делать?

— Среди тех, кто ненавидит новости, злодеев не бывает... — Лжечеловек-ящик оборвал фразу и высморкался. — Ты, так не верящий в перемены, противоречишь са-

мому себе — боясь осуществления того, о чем сам же молил, ты остановил часы.

— Видимо, на такое рискованное дело я просто не способен.

— Я как-то прочел об одном человеке, который сделал из своей возлюбленной чучело и жил с этим чучелом. Конечно, чучело преданнее и вернее, чем живая возлюбленная.

— К сожалению, у меня нет такой склонности.

— Ну что ж, прекрасно. Вывод напрашивается сам собой. Совершенно ясно, что ты не собираешься вылезать из своего ящика.

— Я же сказал, что с ящиком покончено.

— ...Тогда я спрошу иначе: где и что ты делаешь сейчас, в эту самую минуту?

— Ты сам видишь. Стою здесь и болтаю с тобой.

— Прекрасно... Тогда где и кто пишет эти записки? Разве их не написал Некто в ящике при неверном свете лампочки без абажура, свисающей с потолка туалетной комнаты на побережье?

— Наверно, можно и так сказать. Но в этом случае придется признать, что и ты тоже — плод моей фантазии.

— В общем, верно.

— Бесспорно.

— Действительно, реально существует лишь один человек. Некто, пишущий сейчас эти записки. Все принадлежит одному этому Некто. Ты не можешь не признать, что я прав. И поскольку этот Некто продолжает отчаянно цепляться за свой ящик, он намерен бесконечно писать свои записки.

— Ты слишком подозрителен. Я ведь только жду, пока высохнет белье. Я собираюсь отправиться в путь, как только оно высохнет. Я вымылся слишком тщательно, и меня всего продуло до костей. Я ненадолго укрылся в ящике с единственной целью — спастись от ветра. А совсем не потому, что не могу оторваться от своих записок. Вот только допишу эту последнюю строчку...

— Ты в самом деле собираешься прийти сюда, чтобы встретиться с нами, когда высохнет белье?

— Что мне стоит собраться? У меня почти ничего нет. Честно говоря, чтобы покинуть ящик, совершенно необходимо... только одна вещь... и, если ее нет, из ящика не вылезешь... понимаешь... брюки... Брюки... Когда есть брюки, можно спокойно смешаться с толпой... Даже если

ты босой, по пояс голый, но в брюках — все в порядке... И наоборот, если ты появишься на улице в самых модных ботинках, в дорогом пиджаке, но без брюк, это вызовет переполох. Цивилизованное общество — своего рода брючное общество. К счастью, я подготовился на этот случай и запасся наимоднейшими брюками. Первый раз я надел их на прошлой неделе, когда отправился в клинику, чтобы мне оказали помощь. Вешалку, на которой они висят на потолке ящика, можно сложить — много места она не займет. Возьму еще мой профессиональный инвентарь — фотоаппарат со всеми принадлежностями... А все остальные вещи не так уж мне необходимы, и если они будут мне мешать, я без всякого сожаления выброшу их. А может, не выбрасывать? Может, лучше отдать их тебе? Мыло, паста, зубная щетка, лезвия безопасной бритвы, спички, бумажные стаканы, затычки для ушей, термос, автомобильное зеркальце, водонепроницаемая резиновая лента... А вот закрепляющее, глазные капли и другие лекарства — это по твоей части, — их, конечно, можно выбросить... Шесть фотографий, вырезанных из второго тома «Новейшего собрания лучших фотографий обнаженной натуры», трубка для рассматривания этих фотографий... Как пользоваться ею, понять нетрудно — достаточно взять ее в руки... Наконец, карманный фонарь, шариковая ручка, ну еще кусок пластмассы, моток проволоки и всякие другие предметы, которыми каждый день приходится пользоваться, не знаю даже, как они называются... Казалось бы, никчемные вещи, но все они составляют жизненно необходимый минимум, без которого невозможно просуществовать в ящике. Я не жду благодарности — пусть это будет моим прощальным подарком новому человеку-ящику. В первое время, наверно, хорошо бы иметь транзисторный приемник. Если у тебя выработается, как у меня, иммунитет против яда новостей, тогда другое дело, но, пока не привыкнешь, временами будешь испытывать непреодолимое чувство одиночества...

— В самом деле, есть хоть малейшая надежда, что твое выстиранное белье высохнет наконец?

— Только что кончился дождь, и воздух пропитан влагой. Но все равно белье уже почти сухое, и, когда к утру направление ветра переменится, оно моментально высохнет.

— Выходит, у тебя там еще темно?

— Как раз сейчас на горизонте что-то сверкнуло. На-

верно, подходит судно, промышленяющее каракатиц. Это его время. Значит, вот-вот рассветет.

— Белье, говоришь, уже почти сухое — нечего привередничать, надевай его, и конец. Когда, бывает, немного обмочишь трусы — потерпишь, они и высохнут естественным образом. Поторапливайся, а то нам надоест тебя ждать.

— Я немного простужен. Может быть, оттого, что недоспал, меня знобит, а ноги почему-то горят... Зарыл ноги в песок — почувствовал себя лучше... Но стало еще холодней... Слишком долго стоял под душем — это несомненно. На прошлой неделе, когда я пришел сюда, рана болела нестерпимо, поэтому у меня и мысли не было помыться, а вот сейчас я решил смыть наконец с себя трехлетнюю грязь... Смылил целый кусок душистого мыла. Ты бы посмотрел, какой кусок мыла. Изготовленного по особому заказу... Свободного времени у меня было сколько угодно... или, лучше сказать, мне нужно было что-то делать руками, чтобы сосредоточиться — за эту неделю необходимо было многое продумать... И я даже попытался вырезать из него женское тело. Обыкновенное женское тело... Хотел сделать похожим на ее тело, но мне это оказалось не под силу. Получилась не женщина, а какая-то лягушка, хотя я стремился к предельной реалистичности. Да, мыло было удивительно приятной формы, с торговым знаком, подтверждающим его высококачественность. Сначала я долго стоял под душем, потом, намылив вместо мочалки трусы, стал изо всех сил тереть себя. Тщательно, до боли, скреб себя ногтями и снова стал под душ. И так четыре раза, пока с меня не полилась совершенно чистая вода. После четвертого раза волосы распушились как пена. Пора было заканчивать мытье. Я ожидал, что у меня будет ощущение, точно я вожу рукой по отполированному стакану, как это бывает после долгой ванны... Ничего подобного... Я извел все мыло, устал так, что не мог шевельнуть рукой, тело саднило, будто с него содрали кожу... Ощущение такое, точно меня вывернуло наизнанку... Действительно, глупо было надеяться, что с трехлетней грязью удастся справиться одним куском мыла. Видимо, оставил только кости, превратившиеся в окаменевшие комья грязи... Когда я снова выполз на песок, над головой послышался звук, будто на меня летит самосвал, груженный галькой. Чепуха, это работал насос. Вот в чем дело — опростоволосился я: вода-то соленая, из ко-

лодца, вырытого прямо здесь на берегу. Так что хоть еще три года мойся, хоть кожу сотри до костей, мыло здесь не поможет...

— Интересно, какая усталость наступает раньше — от болтовни или от ее слушанья?

— Вот ты какой! Наконец-то я понял, что ты собой представляешь. Ты решил, что я слишком бесцеремонно обращаюсь с фактами, выдавая обыкновенный вымысел за правду. Но ведь только от того, что тот или иной факт не является вымыслом, ранг его не повышается. Да и сам этот процедурный кабинет, включая вас двоих, — это ведь записи на стенках моего ящика. Обыкновенные записи. Сидя в своем ящике, ты даже представить себе этого не можешь — вот в чем разница между настоящей вещью и подделкой. Убежище на одного человека, где я сейчас обитаю, осматриваясь по сторонам... Никто меня не видит, и поэтому мне не нужно притворяться — на моем лице написано все... Стенки моего картонного ящика, продублированные потом и дыханием, сплошь испещрены моими записями... Это мои мемуары... Там есть и схемы улиц, где можно добыть еду, и сделанные на память заметки... Есть рисунки и цифры, значения которых я и сам не понимаю как следует... В общем, здесь собраны самые нужные сведения.

— Сколько сейчас времени на твоих часах?

— Пять... без восьми минут...

— А начал ты писать свои записки точно в три часа восемнадцать минут. Противные часы. Они показывают, что с того момента прошел всего один час тридцать четыре минуты.

— Тебе бы не мешало помнить, что это всего лишь мои записки. Ты считаешь, что я слишком привязан к ящику? В тот миг, как я по твоему совету разделаюсь с ним, исчезнут и эти записки, а вместе с ними и ты.

— О, ты тоже порядочный оптимист.

— Благодаря тебе я стал к тому же и порядочным самоненавистником.

— Давай подсчитаем. Всего в твоих записках пятьдесят девять страниц. За один час тридцать четыре минуты — пятьдесят девять страниц... Что ни говори, это немыслимо... Я много раз предупреждал тебя — не болтай глупостей. Я бы хотел, чтобы ты вспомнил свой прежний опыт. Сколько в среднем страниц ты можешь написать за час? В среднем и страницы не напишешь. Даже

когда пишешь с невероятной скоростью, самое большее напишешь четыре страницы. Но это уже будет совершеннейшая мазня.

— Нет, иногда я писал и побольше.

— Хорошо, давай считать пять страниц в час, согласен? Разделим пятьдесят девять на пять и получим одиннадцать и в остатке четыре... Одиннадцать часов пятьдесят минут, верно?.. Округлив, получим двенадцать часов. То есть еле-еле можно уложиться в двенадцать часов, строча непрерывно, не отрываясь на то, чтобы попить и поесть. Значит, если ты начал писать в три часа ночи, то не мог бы закончить работу раньше трех часов дня.

— Прости, но это мои записки. И я волен был писать их так, как мне заблагорассудится.

— При определенных обстоятельствах это возможно. Например, если бы ты—не знаю, с какой тайной целью,— решил писать вздор. Или если бы более двадцати четырех часов ты находился в бессознательном состоянии. Или же если бы произошла невиданная катастрофа, в результате которой вращение земного шара замедлилось. Но чем договариваться до такого, лучше вообще выдвинуть совершенно другую гипотезу. Нет никакой необходимости считать автором записок именно тебя. Кто мешает предположить, что автор записок не ты, а кто-то другой.

— Хватит придираться. Пишу все это я. Темное побережье, окутанное запахом моря. В туалетной комнате запыленную лампочку без абажура, висящую у меня над головой, будто дымом, заволокла крохотная мошкара. Вдруг по ящику что-то застучало, точно брызнуло дождем, и я понял, что эти насекомые крупнее, чем я предполагал. Сейчас я зажал в зубах сигарету... зажег спичку... ее пламя осветило мои голые колени... приблизил огонек сигареты к коленям... почувствовал тепло... В любом случае это факт несомненный. Если бы я сейчас здесь перестал писать, то не появился бы следующий иероглиф, следующая фраза.

— ...Возможно, пишет кто-то другой в каком-то другом месте.

— Кто?

— Например, я.

— Ты?

— Да, не исключено, что пишу именно я. Не исключено, что пишу я, представляя себе тебя, который пишет, представляя себе меня.

— Для чего?

— Может быть, для того, чтобы обличить человека-ящика, постараться создать впечатление, что он существует на самом деле.

— Но результат будет прямо противоположным. Если считать автором тебя, то человек-ящик сразу же превращается в продукт твоей фантазии.

— В таком случае, возможно, для того, чтобы доказать, что человек-ящик — вымысел, постараться создать впечатление, что он не существует на самом деле.

— Я так и предполагал, что ты подумаешь нечто подобное. Но сколько бы ты ни хитрил, ничего этим не добьешься. У меня есть неопровержимые вещественные доказательства. Перед тем как вступить с тобой в переговоры, мне, наверно, следовало заранее предостеречь тебя. Если бы ты знал, что я кое-чем запасся, то не смог бы вести себя так неосмотрительно... Нет, я не собираюсь использовать это во зло. Если бы собирался сделать это, то сделал бы давно... Но советую — проявляй на переговорах добрую волю. А вещественное доказательство я могу передать тебе в любое время.

— Весьма любезно, но я представить себе не могу, на что ты намекаешь.

— Оставь меня в покое, и так я все время недосыпаю и поэтому весь взвинчен. Так и быть, скажу. Кто стрелял в меня из духового ружья? Вот здесь все точно запечатлено.

— Ну и что же? У очень многих есть духовые ружья. Хорьки повадились в курятники, просто беда с ними.— Неожиданно женщина повторила фразу, которую я от нее уже слышал. Я поразился — значит, время все-таки шло. Я не хотел обижать ее, но нельзя было допустить и того, чтобы она держала сторону лжечеловека-ящика.

— Сожалею, но существует неопровержимое доказательство. В ту самую секунду, когда в меня выстрелили, я по профессиональной привычке спустил затвор. Я проявил пленку в тот же день. Снимок получился прекрасный. Человек, правда со спины, прижав к боку духовое ружье и согнувшись в три погибели, чтобы спрятать его, убегает вверх по крутой дороге. Специфическая стрижка, костюм, сшитый на заказ, чтобы скрыть сутулость, памятные брюки, хотя и из дорогого материала, и, наконец, туфли без задников...— Я резко меняю тон и обращаюсь к ней одной: — Давай поиграем в сообразительность.

Стрижка, по которой видно, что человеку не приходится считаться с окружающими, что он материально обеспечен, что ему много приходится сидеть, что его работа связана с частым надеванием и сниманием туфель... Что бы ты подумала? Вопрос не такой уж трудный. Любому на ум сразу же придет врач, принимающий больных. И к тому же крутая дорога на фотографии проходит рядом с соевым заводом, здесь внизу...

Тут обстановка резко меняется. Лжечеловек-ящик, тот самый лжечеловек-ящик, до сих пор стоявший спокойно и бесстрастно, как корзина для бумаг, у которой выросли ноги, издал какой-то отвратительный звук и качнул своим ящиком. Полиэтиленовая шторка, прикрывающая окошко, разошлась, и оттуда высунулась длинная палка. Духовое ружье. Оно было наведено на мой левый глаз.

— Перестань...— одернул я его шутливым, беззаботным тоном.— Я страдаю боязнью тонких длинных предметов — это моя слабость...

— Отдашь пленку?

— Я и не собирался приносить ее сюда. Это же единственное, что дает мне возможность говорить с тобой на равных.

— Обыщи его,— резко приказал женщине лжечеловек-ящик.

Она колеблется. Умоляюще смотрит на меня. Скрещивает на груди руки, наклоняется вперед, ворот поднимается вверх. Полы белого свежeweыглаженного халата (когда она успела снова его надеть?) расходятся. Он застегнут на одну верхнюю пуговицу. Халат надет на голое тело. Я это предполагал, но все же был застигнут врасплох. Нагота под халатом еще более откровенная, чем просто нагота. Халат выглядит не халатом — он превратился в торжественное облачение, в котором совершают жертвоприношение. Напряженная изогнутая поверхность, испытывающая внутреннее давление, соблазнительна — она напоминает какой-то механизм, с которым неизвестно как обращаться. Только маленький подбородок и округлая нижняя часть живота выглядят по-детски беззащитными. Я копаюсь в своей памяти. Переворачиваю в ней все вверх дном, будто роюсь в чужом чемодане. Чтобы сохранить устойчивость, она выставляет вперед левую ногу. В ту же минуту поле зрения сужается, и во мне пробуждается боевой дух. Причины я и сам не могу понять.

— Хорошо. Я сам это сделаю, можешь не затруднять-ся.— Я иду к вешалке у двери, раскрываю тот самый вещевой мешок, которым пользуются при восхождении на гору (возможно, он был куплен еще во времена американской оккупации), и достаю игрушечного крокодила.— Во всяком случае, я понял, что передо мной у вас совесть нечиста. Это видно с первого взгляда. Мне сразу показалось, что слишком уж сладко вы поете...

Игрушечный зеленый крокодил, которого я вынул, был длиной около полуметра и шириной шестнадцать сантиметров, с красной разинутой пастью, коричневыми бугорками на спине и на концах лап, с белыми пластмассовыми глазами и клыками. Кто бы ни увидел эту наивную, непритязательную игрушку, испытывал странную опустошенность. Не вызывая болезненного страха, как у детей, у взрослых эта игрушка лишь парализует враждебные намерения. Конечно, это была не обыкновенная кукла. Это была дубинка, изобретенная мной в расчете на ее психологическое воздействие. Дубинка была не игрушечной, а прославленным орудием убийства, к которому любит прибегать мафия и тайная полиция. Я вытряхнул из куклы опилки и губку, которыми она была набита, и обычно носил ее с собой как пустой мешок. Но сегодня утром, предчувствуя недоброе, набил морским песком. Достаточно взять крокодила за хвост и покрутить им над головой — любой испугается. Если стукнуть как следует, можно свободно проломить череп. Я, естественно, не собираюсь нападать с таким ожесточением. Удобство дубинки в том и состоит, что, не оставляя почти никаких следов, ею можно нанести смертельный удар. А после этого нужно вынуть затычку в животе крокодила и высыпать песок у какого-нибудь двора. И в случае чего никому и в голову не придет, что обыкновенный тряпичный мешок послужил орудием убийства.

И вот, нехотя, делая вид, что показываю лжечеловеку-ящичку тряпичного крокодила, я что было сил снизу вверх ударил по ружейному стволу. Удар получился немислимой силы — видимо, благодаря резкости. Ружье врезалось в верхний край окошка, и ящик подпрыгнул. Послышался яростный стон застигнутого врасплох врача. И одновременно звук выстрела — будто гвоздем прокололи автомобильную шину. Пуля полетела к потолку, но я не слышал, как она стукнулась в него. Я рванул к себе ружье. Врач, не сдаваясь, высунул руки из окошка и с не-

ожиданной силой вцепился мне в правую щеку, как в лепешку. Крокодиллом, набитым песком, я ударил его по ногам. Послышался тяжелый чавкающий звук — точно топор вгрызся в живое дерево. С воплем врач отдернул руку. Меня бросило в пот от этого нечеловеческого вопля, в котором смешались все гласные звуки. Чтобы заставить его замолчать, я замахнулся, пытаюсь через ящик стукнуть его по голове, но заколебался. Пожалел ящик. Я стал бить его по ногам, теперь уже расчетливо (мне ни к чему, чтобы он остался здесь из-за того, что я переломал ему ноги), и врач, сжавшись в своем ящике, снова превратился в корзину для бумаг. Из ящика слышался лишь звук, который издает водопровод, когда выключают воду, — даже представить было невозможно, что там спрятался человек. Я впервые стал смотреть на ящик с полным безразличием. Проникающие сквозь окно слабые солнечные лучи — еще только десять часов утра, — заливая выкрашенные известью стены, наполняют комнату и ящик выглядит вырытой в ней норой.

И если даже сейчас пишу эти записки не я (я тоже не могу не признать отмеченное лжечеловеком-ящиком временное противоречие), то независимо от того, кто их пишет, рассказ движется, кажется мне, предельно бестолково. Во всяком случае, следующая сцена могла бы быть только такой. Я оборачиваюсь и смотрю на нее. Какую позицию по отношению к ней должен избрать пишущий? В зависимости от ее реакции волей-неволей придется решать, что я приобрету и что потеряю, порвав с ящиком. Например, встретит ли она меня, расстегнув пуговицы своего белого халата или в полном одеянии... Нет, пуговицы не могут служить критерием... Не исключено, что она забудет застегнуться от испуга, или, наоборот, совсем не исключено, что она будет застегнута на все пуговицы, стремясь встретить меня торжественно, не упрощая церемонии их расстегивания. Находясь в двух с половиной метрах от нее, я, несомненно, смогу уловить выражение ее лица. Если на ее лице будет разлит покой, которого не скрыть, даже когда оно напряжено, значит, между нею и врачом полный разрыв и я спас ее от тирании и притеснений врача, если же она, напротив, будет испугана, значит, они с самого начала были сообщниками и я чудом уцелел...

Ну хватит. Все это глупость, о которой и говорить не стоит. Хуже всего не то, что рассказанная мной история звучит неубедительно, а то, что она звучит слишком убедительно. Действительность, подобно мозаичной картине с недостающими кусками, фрагментарнее, не такая цельная. Все-таки какой ему смысл, утверждая, что я — возможно, не я, до сих пор оставлять меня в живых? Я, наверно, повторяюсь: человек-ящик — идеальный объект для убийства. Будь я на месте врача, я бы сразу угостил своего гостя чашкой чаю. Для человека его профессии влить туда каплю яда ничего не стоит. Или же... А вдруг... он напоил меня такой чашкой чаю? Не исключено. Вполне возможно. В самом деле, нет никаких доказательств, что я еще жив.



ПИСЬМЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ

Все, о чем я скажу ниже, — чистая правда. Вы спрашиваете меня о трупе, выброшенном на берег приморского бульвара Т. Я по собственной воле, ничего не утаивая, подробно расскажу об этом.

Имя — С.

Местожителство — (прочерк).

Профессия — практикант врача (санитар).

Дата рождения — 7 марта 1926 года.

Мое настоящее имя С. Имя, под которым я зарегистрировался на санитарно-гигиенической станции и занимался врачебной практикой, принадлежит господину военному врачу, моему бывшему командиру в годы войны, когда я служил в армии санитаром, и взято мной с его ведома.

К уголовной ответственности не привлекался, в полиции и прокуратуре в качестве подозреваемого не допрашивался.

Государственных должностей до сего времени не занимал, наград не имею, пенсии и пособия не получаю.

Холост, но если говорить о моем семейном положении детально, то следует отметить, что до прошлого года я проживал в незарегистрированном

браке с N. В качестве медицинской сестры она помогала мне в работе и вела все финансовые дела. Она была законной супругой господина военного врача, именем которого я воспользовался, начав заниматься врачебной практикой. Прошу учесть, что мы жили вместе с ведома и согласия господина военного врача,— так что и здесь никаких претензий ко мне быть не может. Между мной и N. до недавних пор серьезных разногласий не было, но, когда в прошлом году я нанял медсестру-практикантку (Ёко Тояма), она возмутилась и предложила расстаться. Я согласился, и это положение сохраняется до настоящего времени.

В годы войны я отбывал военную службу в качестве санитаря и, используя полученный опыт, стал заниматься врачебной практикой — отзывы пациентов были самые благоприятные, хочу также отметить, что я не пренебрегал советами и помощью господина военного врача, имевшего диплом. Моей излюбленной областью, в которой я проявлял особое мастерство, была хирургия, например операция аппендицита. Если вы будете осуждать меня за то, что я в нарушение закона занимался врачебной практикой, то я могу заявить, что глубоко сожалею о том, что незаконно присвоил себе чужое имя, обещаю отныне прекратить всякую врачебную практику и приношу всем свои искренние извинения.

Что же касается трупа, о котором вы меня спрашивали...



ЧТО ПРОИЗОШЛО С С.

Теперь ты пишешь.

Полутемная комната, в которой потушен верхний свет и горит лишь настольная лампа на рабочем столе. Только что ты оторвался от «Письменных показаний», которые начал писать, и глубоко вздохнул. Оставаясь в той же позе, ты слегка наклоняешь голову направо и видишь тонкую полоску света на уровне правого угла стола. Это

в щель под дверь проникает свет из коридора. Если бы кто-то стоял за дверью, тень его обязательно легла бы на полоску света. Ты ждешь. Семь секунд, восемь секунд... За дверью никаких признаков жизни.

Белая дверь со следами времени, царапины и выбоины на ней не может скрыть многослойная краска. Ты задумываешься, точно проникая взглядом за дверь. Что бы означал этот звук, неожиданно привлечший твое внимание? Может быть, просто послышалось? Нет, слышал тот самый звук... Он шел не отсюда... Ты поворачиваешься к окну. У стены — кровать, на ней передвижное жилище из гофрированного картона, точно такое же, как у человека-ящика. Может быть, тебя беспокоит то, что в конце концов придет настоящий человек-ящик? Нет, для мужских шагов они слишком легкие. И не собака. Похоже, что это все та же курица. До чего же злобная курица, усвоившая с некоторых пор привычку гулять по ночам. Каждую ночь приходит сюда в поисках еды. Чтобы курица гуляла по ночам — интересно, это редкое явление или не такое уж редкое? Она может одна, без всяких помех, клевать насекомых, которые ночью спокойно вылезают из своих укрытий, и, значит, еды у нее больше чем достаточно, а она почему-то всклокоченная и тощая. За любые привилегии неизбежно приходится расплачиваться. (У тебя теперь появилась тяга к дидактике.)

Ты подносишь ко рту недопитый стакан с пивом. Но лишь пригубил и не стал пить. Ты так подавлен, что не пьется. С тех пор как ты сел за стол, прошло больше четырех часов. Уже конец сентября, но погода пасмурная. Ватой, смоченной в спирте, ты стираешь потоки льющегося со лба пота, облизываешь липкие губы; не приносит прохлады и вентилятор. Нет, ты не можешь не услышать шагов, какими бы тихими они ни были. Ты полон сомнений.

На столе лежит толстое стекло. На нем — неоконченные «Письменные показания». «Письменные показания» о событии, которое еще не произошло и неизвестно, произойдет ли вообще. Ты отодвигаешь их в сторону и берешь тетрадь. Обыкновенная тетрадь в светло-коричневую линейку... Я удивлен. Мне и в голову не приходило, что ты даже запасаешься такой же тетрадью, как моя. Непослушной рукой раскрываешь тетрадь. Первая страница начинается фразой:

«Это невыдуманные записки о человеке-ящике. Я начинаю писать их в ящике. В ящике из гофрированного картона, который надет на голову и доходит до поясницы.

Одним словом, человек-ящик — я сам».

Полистав тетрадь, ты открываешь чистую страницу. Взяв шариковую ручку, приготовился писать дальше, но передумал и смотришь на часы. До полуночи еще девять минут. Последняя суббота сентября вот-вот кончится. С ручкой и тетрадь в руках ты встаешь. Подходишь к кровати. Наклоняешь ящик и влезает в него. Садись в нем на край кровати. По всему видно, что ты привык влезать в ящик и вылезать из него. Поворачиваешь ящик так, чтобы окошко было обращено к лампе на рабочем столе. Но, чтобы писать записки, света недостаточно. Ты зажигаешь карманный фонарь, прикрепленный над окошком. Используя вместо стола пластмассовую доску, которой ты запасся заранее, начинаешь писать:

«В самых общих чертах суть события состоялась в следующем. Место действия — город Т. Последний понедельник сентября...»

Ты, кажется, собираешься рассказать о событии, которое еще не произошло и произойдет лишь послезавтра, как об уже свершившемся. Зачем так торопиться? Может быть, поддержкой тебе служит изрядная порция самоуверенности? Программа будущих действий облечена в форму свершившихся — значит, ты уже нажал на спусковой крючок. И, определив предполагаемую траекторию полета пули, уже видишь примерно ту точку, куда она должна попасть. Ты хочешь, чтобы я прочел о том, что должно случиться. Я не думаю, что конечной целью может быть что-либо иное, кроме смерти. Итак, ты начинаешь писать.

«...В дальнем конце приморского парка, где редко можно встретить человека, был выброшен на берег неопознанный труп. На нем был надет ящик из гофрированного картона, который доходил ему до поясницы и с помощью шнура был крепко привязан к телу. Человек-ящик, бродяжничавший в последнее время в городе, видимо, случайно свалился в канал и приливом был выброшен на берег. Никаких личных вещей не обнаружено. Вскрытием было установлено, что смерть наступила тридцать часов назад».

Тридцать часов назад... Ты решительный человек. Представим себе, что вскрытие было произведено рано утром в понедельник. Если вернуться назад на эти тридцать часов, то будет как раз сейчас. Или всего на несколько часов позже. Видимо, ты уже принял твердое решение. Неожиданно ты закрываешь тетрадь и сползаешь с кровати на пол. Задняя сторона ящика, оставшаяся на кровати, оказывается выше. Содержимое ящика, перекатываясь, производит сильный шум. Растерявшись, ты оборачиваешься, стараясь удержать ящик. Вертишь головой, прислушиваясь, что делается на втором этаже. Страх широким взмахом кисти лакирует твое лицо. И моментально высохший лак сбегается на нем мелкими морщинками. Слишком уж ты нервный. Тебе бы следовало быть реалистичнее. Сколько ни старайся, сделать больше того, на что ты способен, невозможно.

Ты поворачиваешься к двери и принимаешь решительную позу. Идешь. Прижимаешь руки к бокам, слегка сжав пальцы... Сделав три шага, теряешь силы. Поворачиваешься и идешь к столу. Садись и охватываешь голову руками. В одной из них тетрадь — она бесшумно падает на стол. Какое-то время ты сидишь в глубокой задумчивости, ничего не делая.

Сейчас ты смотришь неотрывно на край толстого стекла, лежащего на столе. Чистая синева, скрадывающая расстояние. Чуть тронутая зеленью беспредельно далекая синева. Опасный цвет, манящий к побегу. Ты тонешь в этой синеве. Тебе кажется, что если ты весь погрузишься в нее, то сможешь плыть бесконечно. Ты вспоминаешь, что уже не раз испытывал этот зов синевы. Синевы волн, бурлящих за гребными винтами корабля... Стоячая вода на месте заброшенных серных рудников... Синий крысиный яд, приготовленный в виде желеобразной тянучки... Фиолетовый рассвет, который наблюдаешь, ожидая первую электричку, чтобы поехать куда глаза глядят... Цветные стекла в очках любви, рассылаемых «Клубом смерти в душевном покое», назову его так, если другое его название — «Общество помощи самоубийцам» — недостаточно благозвучно. Опытнейшие мастера с огромной тщательностью наносят на эти стекла тончайшую пленку, содранную с сурового зимнего солнца. Только те, кто в этих очках, могут увидеть станцию отправления поезда, уносящего в безвозвратную даль.

Может быть, ты слишком глубоко залез в свой ящик? И ящик, бывший не более чем средством, начал отравлять тебя? Мне приходилось слышать, что ящик — тоже источник появления опасной синевы.

Цвет дождя, от которого престоужается нищий... цвет времени, когда закрываются подземные магазины... цвет не выкупленных в ломбарде часов, подаренных в память об окончании университета... цвет ревности, разбивающейся о кухонную мойку из нержавеющей стали... цвет первого утра после потери работы... цвет чернил на ставшем ненужным удостоверении личности... цвет последнего билета в кино, купленного самоубийцей... и другие цвета — цвет анонимности, зимней спячки, смерти как средства облегчения страданий, дыры, проеденной сильнейшей щелочью — временем.

Но стоило всего лишь на несколько сантиметров перевести взгляд — и ты уже избежал падения. Сколько ни старайся, в конце концов ты всего-навсего лжечеловек-ящик. И тебе все равно не удастся убить в себе самого себя. Сейчас ты рассматриваешь календарь фармацевтической фирмы, лежащий под стеклом. По обе стороны от фирменной марки — каких-то латинских изречений, окружающих кремового Гиппократы, — напечатано: слева — «Сезон витамина С и кортизона», справа — «September» — ослабление контроля над своими нервами и медицинские советы на каждый месяц. Затем твоё внимание привлекли, видимо, красные иероглифы в левом углу. Последнее воскресенье сентября. Как раз день назад... на следующий день... нет, сегодня, за несколько минут до того, как, по твоим расчетам, в отдаленной части приморского парка будет выброшен на берег этот упакованный в ящик утопленник. Как ты ни стараешься не смотреть на четко отпечатанные иероглифы, они не исчезают. Так же, как твоё расписание приема больных, написанное в прошедшем времени. Ты разводишь руки на ширину плеч и кладешь их на край стола. Да, так хорошо. Если, опираясь на руки, перенести центр тяжести вперед, удастся быстро встать на ноги. После того как спусковой крючок нажат, невозможно найти предохранитель, который бы спас от мук совести.

Все-таки «Письменные показания», которые ты начал писать, никакой службы тебе не сослужат. Прошу тебя, до того как встанешь из-за стола, разорви и выбрось их.

Если все пойдет согласно твоему плану, они абсолютно бесполезны, в случае же провала не спасут и самые убедительные показания.



ПИСЬМЕННЫЕ ПОКАЗАНИЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Что же касается того трупа, о котором вы меня спрашивали, то я с полной определенностью утверждаю, что это, несомненно, был господин военный врач, именем которого я воспользовался, чтобы начать врачебную практику. Я называю его господином военным врачом не из старых сословных предрассудков, а просто потому, что в течение многих лет я полушутя так называл его, и это вошло у меня в привычку, думаю, ему это было приятно. Я давно опасался, что господин военный врач покончит жизнь самоубийством, и от всей души сожалею и глубоко раскаиваюсь, что недосмотрел и мне не удалось помешать ему. Я бы настоятельно просил, чтобы вы мне предоставили возможность дать по этому поводу подробные объяснения.

За год до конца войны я был направлен в энский полевой госпиталь в качестве помощника господина военного врача. В то время господин военный врач с головой ушел в исследование возможности производства сахара из древесины и почти всех больных начал лечить я. К счастью, у меня прекрасная память и, что называется, золотые руки, и под руководством господина военного врача я стал делать довольно сложные операции. Что же касается исследований господина военного врача, то, как известно, во время войны сахара было крайне недостаточно и он пользовался большим спросом. Если бы удалось найти способ производства сахара из древесины — это было бы открытием мирового значения. Господин военный врач обратил внимание на то, что овцы едят бумагу, сырьем для которой служит, как известно, древесина, и подумал, что в кишках у них должны содержаться активные

ферменты, превращающие целлюлозу в крахмал, и он дни и ночи напролет занимался тем, чтобы найти и выделить эти ферменты.

Однажды произошло несчастье — господин военный врач тяжело заболел, то ли заразившись бактериями, содержащимися в кишках овец, то ли отравившись бесконечными пробами обработанной древесины. В течение трех дней держалась высокая температура, а потом начали происходить какие-то странные явления: каждый третий день случался приступ острой мышечной боли, сопровождавшийся судорогами и помутнением рассудка. Сам господин военный врач был не в силах поставить диагноз, да и другие врачи, его коллеги, тоже оказались бессильны. Я потом много раз, как только представлялся случай, обращался к книгам, но до сих пор так и не смог установить название болезни.

Я с большим уважением относился к душевным качествам господина военного врача и, не жалея сил, ухаживал за ним. Болезнь его время от времени обострялась, и я до сих пор не могу простить себе, что, не в силах видеть мучений господина военного врача, уступил его настойчивым требованиям и стал постоянно делать ему уколы морфия. К концу войны он стал хроническим наркоманом. Я уже не мог бросить господина военного врача на произвол судьбы и демобилизовался вместе с ним.

После демобилизации мы с господином военным врачом открыли клинику, и я в качестве его ассистента стал вести дела клиники и принимать больных. Время шло, а состояние здоровья господина военного врача не улучшалось, и в конце концов он уже не мог принимать больных и лишь давал мне указания, знакомясь с историями болезни. Вы спрашиваете, почему я, зная, что занимаюсь врачебной практикой незаконно, все же не прекратил ее, — ну что ж, я готов рассказать и об этом, ничего не скрывая.

Во-первых, обстоятельства были таковы, что я должен был снабжать господина военного врача морфием. Теперь, как известно, сословные различия упразднены, и господин военный врач, разумеется, не принуждал меня. Я делал это из дружеских чувств, по собственному желанию, поскольку счи-

тал себя ответственным за случившееся. На возможный вопрос: если вы искренне питали к нему дружеские чувства, не лучше ли было подумать о лечении его от наркомании? — отвечу следующим образом. В отличие от лечения от наркомании обычных больных лечение врача — дело почти безнадежное, процент излеченных практически близок к нулю. Я, понимая, что происходит медленное отравление организма, которое в конце концов приведет к смерти, тем не менее не имел мужества бросить господина военного врача на произвол судьбы.

Во-вторых, нельзя отрицать факта, что, воспользовавшись именем господина военного врача, я смог обеспечить свое существование. Однако я не использовал слабости господина военного врача в корыстных целях. Все финансовые дела были сосредоточены в руках его супруги. Позже между мной и ею установились близкие отношения, они также возникли потому, что господин военный врач, опасаясь, что я оставлю его, упорно принуждал супругу вступить со мной в такие отношения, поскольку считал их единственным средством, способным удержать меня. Такого рода психоз — явление, часто наблюдаемое на последней стадии наркомании.

В-третьих, еще одной причиной, почему я продолжал заниматься врачебной практикой, была уверенность в себе, вызванная тем, что день ото дня моя популярность росла, мастерство стало широко признаваться. Правда, объективного критерия, позволяющего точно оценить искусство практикующего врача, не существует. Видимо, поэтому почти никогда незаконная врачебная практика не осознается как преступление. Кроме того, мой интерес к медицине все возрастал, и я постоянно черпал новейшие сведения в медицинских книгах и журналах. Двадцатилетний опыт, добросовестность и научное рвение превратились, как мне представляется, в самоуверенность, которая сняла проблему диплома врача. Действительно, осматривая пациентов, лечившихся ранее в других клиниках, я нередко сталкивался с безответственным, ошибочным диагнозом, поставленным безграмотными врачами, имеющими университетский диплом. Я, разумеется, не хочу ска-

зять, что это является оправданием преступления, совершенного мной. Ничто не может оправдать нарушение закона.

На восьмом году произошли серьезные перемены. До этого господин военный врач поручал мне присутствовать на конференциях врачей и осуществлять внешние контакты, что в конце концов вызвало неприятные разговоры, стали распространяться клеветнические слухи, будто он сошел с ума. Эти слухи доходили и до нас. В то же время количество потребляемых господином военным врачом наркотиков значительно превысило его обычную норму, и мне пришлось установить за ним строгий контроль. Я понимал, что над нами нависла серьезная угроза, и, посоветовавшись с господином военным врачом, мы решили закрыть клинику и переехать в этот город — так развивались события до настоящего времени.

Из-за всех этих неприятностей психическое состояние господина военного врача стало резко ухудшаться, у него развилась мизантропия и явно обозначилось стремление покончить жизнь самоубийством. По предложению его супруги мы решили прервать всякое общение господина военного врача с внешним миром, решили, чтобы я, превратившись в господина военного врача, зарегистрировал клинику на себя. Хотя при этом формально положение менялось, фактически же все оставалось по-прежнему, и господин военный врач охотно согласился на наше предложение. К счастью, и в этом городе я завоевал большое доверие пациентов и, хотя сознаю, что совершил преступление, могу с полной уверенностью утверждать, что не совершил ничего, что могло бы вызвать заявление о причиненном мной ущербе. Я бы хотел сказать только одно: если жертва, не осознающая себя жертвой, — не жертва, то и я, не осознающий себя преступником, — не преступник, хотя я и не утверждаю, что закон позволено нарушать. Поскольку моя жизнь и мое имущество, как гражданина нашей страны, находятся под защитой закона, я не пытаюсь доказать, что можно идти против закона.

В прошлом году я принял на работу новую медсестру-практикантку, и это явилось причиной того, что

мы с N., как я уже говорил, стали жить врозь. Но я по-прежнему докладывал ей о всех доходах и расходах, и мы по-прежнему взаимно уважали наше право совместно вести дела — так что здесь, как мне кажется, никаких проблем не возникло. В настоящее время она открыла класс игры на фортепьяно и начала обучать детей — мне бы хотелось, чтобы вы все подробно выяснили у нее самой и убедились, что мои показания абсолютно достоверны.

Я совершенно не могу представить себе, что послужило непосредственной причиной, почему господин военный врач покинул клинику и решил умереть. Он занимал комнату на втором этаже, ложился и вставал в самое неопределенное время и часто, чтобы выйти из комнаты или вернуться в нее, пользовался лестницей черного хода — вот почему я не считаю себя ответственным за его действия. Могу рассказать о небольшом столкновении, случившемся совсем недавно: жалуясь на то, что он тоскует по своим прежним исследованиям, связанным с получением сахара из древесины, он стал утверждать, что испытывает болезненное пристрастие к сладкому, я же, боясь за его здоровье, решил ограничить его в сладком, и он страшно рассердился. Но я не думаю, что этот факт мог явиться причиной его смерти. Как известно, на покойном был надет картонный ящик, не исключено, что господин военный врач совсем не собирался умирать, а просто гулял по дамбе, скользкой от дождя, лившего вчера весь день; в таком непривычном облачении он мог не рассмотреть как следует, что делается у него под ногами, и просто оступился.

Вы можете спросить, почему он надел на себя ящик из гофрированного картона, — об этом я не имею ни малейшего представления. В течение нескольких месяцев у нас здесь слонялся по городу бродяга, надевший на себя картонный ящик, его многие видели, и, если бы вы спросили меня, не был ли это переодетый господин военный врач, я бы не мог категорически отрицать возможности того, что он тайно от меня устраивал подобное переодевание. Скорее всего, он убедил себя, что вместе со своим именем, происхождением, правами передал мне и себя как личность, а сам превратился в ничто. К то-

му же он стал ужасным человеконенавистником, и я вполне могу понять его состояние, когда, выходя на улицу, он старался укрываться от всех в ящике. Как ясно показали результаты экспертизы, на обеих руках и на ляжках трупа обнаружены многочисленные следы от укусов. И поскольку отравление его организма стало так прогрессировать, вряд ли вызывает особое удивление и эксцентричность его поступков.

Существуют люди, видевшие, как человек-ящик выходил из клиники и входил в нее, и, основываясь на их показаниях и на том, что на трупе были обнаружены следы многочисленных укусов, заподозрили связь человека-ящика с клиникой, и меня даже вызывали на допрос. Но и в том случае, если бы такие очевидцы отсутствовали и труп человека-ящика не был бы опознан, я должен честно признать, что мне был бы крайне неприятен даже намек на обвинение в том, что я, делая вид, будто ничего не произошло, продолжаю заниматься врачебной практикой. Мы договорились, что ни я, ни медсестра не будем заходить в комнату господина военного врача, пока он не вызовет нас звонком. Раньше тоже неоднократно случалось, что он по полдню и больше не звал нас, поэтому, заподозрив неладное, я зашел в его комнату лишь глубокой ночью в воскресенье. Но когда он не вернулся домой и на рассвете, я подал в полицию прошение о розыске и, хотя понимал, что в результате может обнаружиться моя незаконная врачебная практика, с готовностью пошел на это как на неизбежное.

Больше всех противился тому, чтобы я прекратил врачебную практику, сам господин военный врач. Он подзуживал меня, расточая комплименты, и в то же время угрожал, неоднократно намекая, что закончит с собой, если я ее прекращу. Всем известно, на какое коварство и безрассудство способны наркоманы, чтобы добыть наркотик. Возможность самоубийства господина военного врача действительно меня крайне беспокоила. Прежде всего при оформлении справки о смерти мне бы пришлось указать те же имя и фамилию, что и у меня, и мне бы не хотелось представлять в муниципалитет такой документ. Я был вынужден много раз униженно про-

сить господина военного врача: делайте что угодно, но хотя бы временно откажитесь от самоубийства. Господин военный врач совсем распоясался: за отказ хотя бы на время отложить самоубийство он потребовал, чтобы ему увеличили дозу наркотиков, разрешили любоваться наготой вновь нанятой медсестры-практикантки (Еко Тояма), — в результате всего этого я оказался в крайне тяжелом положении. Но я не испытываю к нему неприязни. Больной обречен на страдания, неведомые здоровому, поэтому к нему, как мне кажется, нужно проявлять особую терпимость.

Поскольку господин военный врач уже не нуждается во мне, я теперь не обязан, обманывая людей, и впредь продолжать заниматься врачебной практикой. По мнению господина военного врача, незаконная врачебная практика — это когда пациент несет материальный или физический ущерб, а если никто не пострадал, она не может рассматриваться как преступление, но я тем не менее считаю, что быть лжеврачом уже само по себе преступление, и именно с этих позиций рассматриваю свои действия. Сейчас мне представился случай честно во всем признаться, и я решил снять многолетнюю тяжесть со своей души.

Все рассказанное мной — чистая правда.



ПАЛАЧ — НЕ ПРЕСТУПНИК

...Видимо, тебя беспокоит, что в конце концов придется приступить к тому, что ты задумал. Только что слышался тихий металлический звук — ты кладешь в стерилизатор шприц. Этот звук я услышу с какого угодно расстояния. Полевая мышь учует запах воды и за десять километров. Вот хлопнуло от сквозняка окно на лестничной площадке... Да, несомненно... Оно хлопает только когда открывается или закрывается дверь твоей комнаты. Слышу... как ты идешь босиком по устланному пластиком коридору... ты приближаешься медленно, со

скоростью одного шага в секунду... Конечно, на тебе надет ящик... На одиннадцатом шаге слышится другой звук — будто ты идешь по сырой циновке, — теперь ты ступил на лестницу. Ты поднимаешься. Ступенька, еще ступенька, все замедляя и замедляя шаги... ты наконец достигаешь площадки, останавливаешься... идешь вдоль балюстрады, ограждающей площадку второго этажа, прямо перед тобой маленькая комната. Во всю ширину узкого коридора почти сливающаяся со стеной дверь из криптомерии.

Покойницкая.

Совсем не из-за дискриминации — мол, трупы, — а просто принимая во внимание повышенную чувствительность к смерти пациентов клиники (что неоднократно проявлялось), для покойников выбрали самую отдаленную, незаметную комнату. К тому же она рядом с черным ходом, и выносить трупы тоже удобно.

Собственно говоря, я еще не труп. Живым, правда, меня тоже трудно назвать, но все-таки не труп. И, не умерев, я нахожусь сейчас в покойницкой — я должен подчеркнуть это специально для тебя — не потому, что со мной обращаются как с трупом, а потому, что я сам на этом настаивал. Мне нравится эта комната. Прежде всего, в ней нет окон, а это отвечает моему теперешнему состоянию. С недавних пор мои зрачки, как мне кажется, потеряли способность уменьшаться на свету, и днем мне так режет глаза, будто в них попал песок. Кроме того, длина комнаты в два с половиной раза больше ширины, что точно соответствует пропорциям гроба, самого уютного места для меня, человека, утратившего все виды свойственной людям защитной реакции: чувства ненависти, недовольства, злобы.

Из коридора не доносилось ни шороха — ты замер. Так же как я сквозь дверь пытался уловить, что ты делаешь, ты сквозь дверь пытался уловить, что делаю я. Если бы дверь была наделена сознанием, она бы хохотала, держась за живот. Но и я понимаю твои колебания. Какое бы согласие ни царило между нами, тебе придется выполнить роль палача. И у тебя тяжело на душе — это естественно. Если бы мы поменялись местами, я бы, видимо, заколебался и не знал, как мне поступить. Ведь тот, кого должны убить, ясно осознает, что его убьют.

Я бы, наверно, никогда не решился на то, чтобы, истязая человека, понимающего, что его убивают, непринужденно беседовать с ним. Я бы чувствовал себя гораздо спокойнее, если бы вместо непринужденной беседы обсуждал с ним проблему смерти. Нет, и такая тема, пожалуй, не годится. Это выглядело бы еще большим фарсом. Если же молча смотреть друг на друга, то нервы оголятся и произойдет замыкание — это вызовет сильнейший ожог.

Лучше всего для меня сейчас — заснуть. Спокойно переселиться во сне в иной мир — что может быть приятнее? Но ведь ты тоже прекрасно знаешь, как чуток сон наркомана. Он всегда в полусне и поэтому как следует заснуть не может. Да и ты тоже не так прост, чтобы ждать, что я буду крепко спать. И я действительно не сплю. Сидя на кровати, я быстро пишу. Время от времени протираю гноящиеся глаза борной кислотой — это может нарушить твои планы. Но я прошу тебя, успокойся. Еще до того, как твоя рука коснется дверной ручки... как только я услышу первый твой шаг... сразу же прикинусь спящим. Ты, конечно, поймешь, что я прикинулся спящим, но так тебе будет спокойнее, чем если я буду спать на самом деле. Если я засну по-настоящему, то возникнет опасность, что проснусь, если же буду притворяться спящим, об этом можно не беспокоиться. Хочешь, я уронию тетрадь на пол, и ты поймешь, что я совершенно сознательно притворяюсь спящим. Главный виновник моего убийства — я сам, ты лишь сообщник. И тебе совсем не нужно брать всю ответственность на себя. Все равно тебе нужно будет решиться — так что решайся поскорее. Хоть прямо сейчас. Как только ты решишься на задуманное, моим запискам придет конец...

Ты не хочешь, чтобы я оставил тебе письмо, хотя бы самое коротенькое? Я не думаю, что в нем возникнет необходимость, но в случае чего тебе будет спокойнее. Привлекать к ответственности за содействие в самоубийстве глупо. Иногда, правда, случается, что из-за одной спущенной петли распускается весь вязаный жакет. Вырежь то, что я напишу (чтобы бумага не намокла, положи в полиэтиленовый пакетик), и привяжи к пальцу трупа. Постой, к пальцу не годится, нужно выбрать какое-то другое место, к которому я бы сам мог привязать... Может, свернуть в трубочку и повесить на шею? Нет, ты ведь хочешь, чтобы моя смерть выглядела как смерть от несча-

стного случая, и поэтому до того, как сюда доберется до-тошная полиция, нужно, пожалуй, спрятать где-нибудь в этой комнате, например, в кровати, где сразу заметить не удастся, а если полиция что-то заподозрит, при внимательном осмотре обязательно найдет. Вырезав написанное мной ниже, тетрадь, разумеется, сожги.

Я сам выбрал смерть. Если паче чаяния сложилось впечатление, что я кем-то убит, то это исключительно от моей неловкости...

Нет, звучит надуманно, ясно, что я стараюсь кого-то выгородить. Так я, наоборот, посею семена подозрения. Лучше прямо, без обиняков.

Я решил умереть. Не нужно лицемерно вселять в меня надежды. Пока сам не возьмешь в рот и не пососешь, любой леденец кажется страшно твердым. Но стоит взять в рот, сразу же хочется разгрызть его. А когда разгрызешь, прежней формы он уже не примет никогда.

Неужели я еще так сильно привязан к жизни? И невольно обнаружил свои истинные чувства? Не нужно беспокоиться, как бы я ни был привязан к жизни, привязанность — это всего лишь привязанность. Разум подсказывает мне, что больше я не должен жить. Все-таки очень важно, что разум у меня еще сохранился. Но и этот разум, подобно песчаному замку на морском берегу, размываемому приливом, эфемерен. Еще две-три большие волны — и он исчезнет бесследно. Как раз сейчас я, кажется, готов отступить от своих слов и начать жадно цепляться за жизнь. Я готов на то, чтобы нагло сделать ей предложение, а если она мне откажет (я и не сомневаюсь, что она мне откажет), убить ее, и это доставит мне наслаждение. Мне много раз снилось, как я пожираю ее — она напоминала нечто среднее между говядиной и дичью. Мое чувство к ней, казалось, перекипело и выродилось в конце концов в чувство голода. Если этот голод и дальше будет усиливаться, хочешь не хочешь, придется съесть ее сырой. И пока разум у меня еще сохранился, я хочу все уладить. Самоубийство — вполне добропорядочный поступок, но, поскольку это поступок, его нельзя совершить лишь с помощью разума и

желания. Иначе любая жалость, любое чувство станет поводом для колебаний. Но пока разум мой бодрствует, я, во всяком случае, не должен делать вид, что отталкиваю протянутую тобой руку помощи. Единственная просьба — протяни мне руку, пока еще я хочу взять ее. Это и в твоих интересах, и в моих тоже.

Что с тобой? Почему ты колеблешься? Я же обещал, что прикинусь спящим. Будь решительнее, и я сразу же превращусь в камень или бревно. Неужели ты уходишь, так тихо, чтобы я не слышал? (Напрасно. Тебе не выкрасться отсюда тише, чем ты пришел сюда.)

— Послушай, ты здесь?.. Если здесь, ответь... Не бойся, заходи.

Это я кричу сейчас через дверь, изо всех сил напрягая голосовые связки. Ответа нет. Ни малейшего признака какого-то движения. Лишь ночная тишина, точно молотом бьют по стальному листу, болью отдается в ушах. Может быть, мне все это показалось? Возможно, и в стуке хлопающего окна на лестнице, и в скрипе половиц, будто по ним гуляет мокрая половая тряпка, виноват сухой ветер, неожиданно налетевший с гор после длившегося целых три дня дождя. Обстоятельства сложились так, что я не мог избежать поспешных выводов. В эту ночь ты не прислал ее. Ее нагота — абсолютно необходимое условие отсрочки моей смерти. С тех пор как ты стал готовить ящик (мой гроб), прошло десять дней, и то, что она исчезла, — признак того, что уже все готово и мне вынесен смертный приговор. Да, да, пусть шорох за дверью — галлюцинация, но твой приход — лишь вопрос времени.

Вскоре дверь действительно тихо отворилась. Я тут же прикидываюсь спящим. Кроме тебя, никто бы не мог так тихо отворить дверь, поэтому тем более мне следует делать вид, что я сплю. Я продолжаю прикидываться спящим. Чтобы выдержать вонь, ты задерживаешь дыхание. Прежде чем снова вдохнуть, проглатываешь слюну. Застывшая в груди ледышка величиной с большой палец проваливается на несколько сантиметров вниз. Ставя на пол пластмассовую канистру для воды и вылезая из ящика, ты осматриваешь узкую и длинную

Комнату без окон: действительно, точно гроб. Освещает комнату единственная тридцативаттная лампа дневного света у потолка. С нее свисают мухоловки, образуя нечто, напоминающее искусственную розу. А под ними, в центре комнаты, точно сердцевина этой розы, стоит металлическая больничная койка. Нелепо примостившись на этой койке, тихо сплю я. При каждом вздохе мое тело колыхается, как колыхается от прикосновения пузырь с растаявшим льдом. Я похож на распластанного морского черта в витрине рыбной лавки, которого никто так и не купил. Полосатая пижама распахнута, мой живот цвета вареной спаржи прикрывает застиранное полотенце в цветочек. Торчащие из-под полотенца ноги почти без волос и влажные, как сырая каракатица, с которой содрали шкуру. Воздух я вдыхаю носом, а выдыхаю через закрытый рот, отчего губы вибрируют, как толстый резиновый клапан. На этом клапане застыли кристаллы метана или аммиака, и он сверкает, как трико танцовщицы. Каждый раз, когда я засыпаю, внутри у меня отмирает какой-нибудь орган. Если бы устроить соревнование на скорость разложения, я бы не уступил и настоящему трупу. Ты зажал нос, на глазах показались слезы. Глаза ест вонь от пота. Ты больше не в силах терпеть. Тебе не следует придавать особенно большое значение тому, что ты убийца,— достаточно знать: ты прерываешь процесс разложения.

Ты слегка касаешься моего плеча. Я продолжаю прикидываться спящим. Ты стягиваешь мою руку резиновым жгутом. Скальпель легко проникает в руку и находит вену. Кожа на руке покрыта сплошными струпьями — игла в нее просто не вошла бы. Тело белое, кровь и не показалась. Зажав в пальцах гигроскопическую вату, берешь вену и втыкаешь в нее иглу. Черная кровь проникает в шприц. Поршень вытянут до отказа, до двадцатого деления, но в шприце всего три кубических сантиметра морфия. Распустив жгут, ты прежде всего вводишь в вену эти три кубических сантиметра. И хотя, пока ты делал укол, я проснулся (я с самого начала притворялся спящим и просыпаться не было нужды), дыхание у меня стало прерывистым, и поэтому ты решил сделать еще один укол морфия — в общем, оправданий можно придумать сколько угодно. Прямо на глазах дыхание становится все тяжелее, осунувшееся лицо осу-

нулось еще больше, рот провалился, как у покойника. Ты продолжаешь давить на поршень. Теперь в вену входит один воздух. Обнаженный кусок вены вспухает и начинает походить на рыбий пузырь. Ты вытаскиваешь иглу, мажешь края раны клейким составом и крепко сдавливаешь пальцами. Ты не собирался меня лечить, поэтому нечего было заботиться о том, чтобы избежать нагноения, так что оставим без внимания некоторую неаккуратность, с которой ты все это проделал. К тому же я, видимо, погрузился уже в глубокий сон. Если бы мне отрезали пальцы, мне бы показалось, что кто-то просто откусывает сильно наперченную венскую сосиску. Неожиданно у меня снова сбивается дыхание. Оно становится неровным, прерывистым, из горла вылетает кошачий хрип, и дыхание вообще пропадает. Во сне я стою перед бесчисленными уходящими вдаль светящимися арками — у входа в лишенный тени огромный город. Когда я, содрогаясь от смеха, вбегаю в них, мое тело легко взмывает в небо. Исчезает тень, и вместе с ней исчезает вес. В это мгновение я, лежа на койке, начинаю скрипеть зубами и судорожно биться (как рыба, пойманная на крючок). Скрипит зубами и кровать. Сотни пружин лопаются на разные голоса, как толстые сухие ветки в костре. Этот треск, растворяясь во сне, сливается со стоном леса арок и превращается в мой похоронный марш. Обняв колени и летя высоко в небе, я удивительно весел и сентиментален. Сделанный специально для меня крупным планом снимок ее, плачущей. Молодой сосне так идет дыхание зимы. Я вытягиваю руку и пальцем продырявливаю воздух. Из дыры вырывается зловоние. Сон темнеет и застывает. Я умираю.

Ты взбираешься на мой труп. В руке у тебя канистра с водой. Сев мне на грудь, ты своей тяжестью выдавливаешь находящийся во мне воздух. Остатки воздуха выходят с легким бульканьем, точно лопаются рыбы икринки. Сдавлив изо всех сил мои легкие, ты засовываешь мне в рот огромную воронку и льешь в нее содержимое канистры. Одновременно постепенно приподнимаешься, уменьшая давление на мою грудь. Канистра наполнена морской водой. В воронке пляшет крохотный водоворот. Куски водорослей забивают дырку. Когда ты их вытаскиваешь, раздается звук, точно втягивают воздух через

зуб с диплом,— может быть, это морская вода уже переполнила меня и выливается изо рта. Наверно, тебе нужно приподняться чуть больше. Когда ты встал, двухлитровая канистра наполовину пуста.

Так завершилась подготовка к тому, чтобы выдать меня за утопленника.

(Ты, конечно, не мог бы обмануть всех, вплоть до судебно-медицинской экспертизы. Чтобы суд вынес определение, что человек утонул, нужно по меньшей мере, чтобы планктон был обнаружен не только в легких, но и в других внутренних органах. Оказавшаяся в легких морская вода, с какой бы удивительной ловкостью это ни было проделано, наоборот, вызовет скорее подозрение. В общем, для подозрений мой труп дает массу оснований. Пусть труп будет вздут, как пузырь, переполненный водой, пусть рыбы оторвут от него куски, но на теле все равно останутся следы, которых нельзя не заметить. Вспухшие, задубевшие рубцы неправильной формы, сплошь покрывающие руки, от плеч до кистей, и ноги — от паха до колен. Наркоман, больной, в течение долгих лет постоянно употреблявший наркотики,— это ясно с первого взгляда, не говоря уже о том, что для получения наркотиков нужны надежные тайные каналы; в том маленьком провинциальном городке люди, которые бы имели возможность постоянно получать столь огромное количество наркотиков, разумеется, наперечет. Прежде всего это может быть либо какой-то шантажист, умело использующий слабости того или иного врача, либо сам врач. Действительно, согласно статистике, учитывающей профессиональную принадлежность наркоманов, самый большой процент составляют люди, имеющие отношение к медицине. И если установят количество использованных наркотиков, ты окажешься в безвыходном положении. Я понимаю, в каком ты был состоянии, когда начинал готовить свои «Письменные показания». Но ты опоздал. Единственное, что ты сейчас можешь,— это постараться, чтобы в дальнейших твоих действиях не было упущений. Ну ничего, все хорошо, все идет как нельзя лучше. То, что я написал толь-

ко что, окажется для тебя холодным душем, а вот помешать тебе у меня нет возможности. Ты уже, должно быть, многим полицейским рассказал о бродяге, надевшем на себя ящик, но бессмысленная трата государственных средств на вскрытие умершего бродяги, чтобы установить причину его смерти, недопустима.)

Итак, последние приготовления. Стащить меня вниз по лестнице нелегко. Тяжелый труд для такого хлюпика, как ты. К тому же, если ты взвалишь меня на спину, из легких фонтаном хлынет вода, которая зальет тебе затылок. Так что хорошо бы полотенцем обмотать мне голову. Потом ты возвращаешься за ящиком. Не забудь еще вылить из канистры остаток морской воды. Малейшая оплошность может привести к роковым последствиям. Затем надень на мой труп ящик и крепко привяжи — шнурком у поясицы. Возможно, лучше сделать это после того, как труп будет погружен на тележку. А натянуть брюки и надеть ботинки, пожалуй, лучше до того, как наденешь ящик. На этом все приготовления будут закончены. Теперь в путь. Может, на всякий случай накрыть сверху тряпкой? Нет, белая тряпка слишком бросается в глаза. Да и опасность встретить кого-нибудь по дороге почти исключена. А если и встретишь, свернешь в сторону — и все в порядке. Дорога идет под уклон, колеса тележки хорошо смазаны, так что везти ее будет совсем не тяжело. Только бы отделаться от собаки. Хуже нет, если увяжется за тобой назойливая собака. Поэтому перед тем как отправиться в путь, не забудь посадить ее на цепь.

Теперь о месте, где выбросить труп, — я предлагаю за тем самым соевым заводом, как мы еще раньше договорились. Не могу сказать, что туда удобно добраться с тележкой, но и преимущества этого места тоже нельзя упускать из виду — вода подходит к самому обрыву и труп сразу понесет по течению. Пока ты со всем справишься, будет уже половина второго. Самое позднее до трех часов все должно быть завершено. Иначе кончится отлив, течение в канале прекратится, и вся работа этой ночи пойдет насмарку. Отложить же на завтра это отвратительное дело, только...

(Записки по неизвестной причине обрываются.)



СНОВА ВСТАВКА, НА СЕЙ РАЗ ПОСЛЕДНЯЯ

Пришло наконец время открыть всю правду. Я хочу, сняв с себя ящик, предстать в своем истинном облике и одному тебе честно рассказать о том, кем был настоящий автор этих записок, в чем была его истинная цель.

Возможно, ты мне не поверишь, но во всем, что написано до сих пор, нет ни капли лжи. Плод воображения — да, но не ложь. Ложь призвана, вводя в заблуждение того, для кого она предназначена, увести его от правды, воображение же, наоборот, может ближайшей дорогой привести к правде. И вот мы подошли вплотную к истине — до нее теперь рукой подать. Эти последние коррективы, они совсем короткие, должны все прояснить.

Я, разумеется, не обязан раскрывать истину. Также и ты не обязан верить мне. Проблема не в обязанностях, проблема в реальных приобретениях и потерях. Мне нет никакого смысла обманывать тебя. Единственное, о чем я тебя прошу, — не воспринимай мои записки как детективный роман, допускающий множество различных решений.

Правда, мне кажется, что в последнее время события развиваются в направлении, не подходящем для детективных романов. Я сейчас пишу об этом, и мне на ум пришла мысль о том, какое широкое распространение получила сейчас система продажи в рассрочку. Теперь уже нет, как в прошлом, людей, боящихся уколов, редко встречаются и такие, кто не решается покупать в рассрочку. Прибегать к рассрочке — значит в качестве залога, гарантирующего выплату долга, выставить на показ и самого себя, и свою профессию, и местожительство. И когда людей, имеющих настоящую профессию и настоящее имя, которые используются ими в качестве залога, станет огромное большинство, это, естественно, приведет к сокращению количества преступников, сыщиков, охранников. В нынешний век лишь партизаны и люди-ящики стремятся надеть маску, противятся удобству рассрочки. Я и есть такой человек-ящик. Один из

тех, кто представляет антирассрочников. Противясь общей тенденции, я хочу завершить свои записки правдивым рассказом.

Кстати, что ты думаешь о смерти как средстве облегчения страданий? Приведу в качестве справки судебные прецеденты, опубликованные городским судом Нагои в феврале 1963 года:

1. Когда при неизлечимой болезни смерть становится неизбежной.

2. Когда страдания больного невыносимы для окружающих.

3. Когда целью является пресечение страданий больного.

4. Когда больной находится в полном сознании и изъявляет свою волю или просьбу.

5. Когда это делает врач. Или когда есть достаточные основания согласиться с больным.

6. Когда средство умерщвления логически оправдано.

Если бы спросили меня, я бы сказал, что в этих судебных прецедентах слишком большое значение придается причинам физического свойства. Мне кажется, в том, что касается понимания сущности человека, они — следствие малодушия и банальности. Видимо, бывают случаи, когда душевные муки человека так же непереносимы для окружающих, как и страдания физические. Но на это не обращается никакого внимания. Когда люди находятся в таком месте, куда не доходит закон, каждое убийство можно рассматривать как смерть с целью облегчения страдания.

Подобно тому как не считается преступлением убийство на войне или приведение в исполнение палачом смертного приговора, нельзя рассматривать в качестве преступления и убийство человека-ящика. В доказательство этого достаточно прочесть приведенные выше прецеденты, заменив слово «больной» на «человек-ящик». Ты должен отдавать себе полный отчет в том, что существование человека-ящика само по себе подобно существованию вражеского солдата или приговоренного к смерти и априори не рассматривается как законное.

Вот почему я и считаю, что наиболее быстрый способ приближения к истине — не выяснять, кто настоящий человек-ящик, а установить, кто ненастоящий. Человек-ящик располагает опытом, о котором может рассуждать лишь человек-ящик, опытом только человека-ящика, о котором совершенно не способен рассуждать лжечеловек-ящик.

Например, летние дни, которые впервые встречает тот, кто стал человеком-ящиком. Это и начало испытаний, с которыми сталкивается человек-ящик. Каждое воспоминание вызывает чувство удушья — хочется ногтями разодрать ящик. И если бы только от жары — это бы еще можно стерпеть. Стало невозможно — подойди к дверям любого бара у подземного перехода, и тебя обдаст холодным воздухом работающего там кондиционера. Противнее всего липкий пот, который, не успев высохнуть, вбирает в себя уличную пыль и превращается во все утолщающийся слой грязи. Лучшей питательной среды для плесени и бактерий не придумаешь. Потовые железы, задыхающиеся под слоем прокисшей грязи, тяжело дышат, высунув язык, как моллюски на отмели во время отлива. Этот зуд разрушающейся кожи нестерпимее любой внутренней боли. Человек-ящик воспринимает как свою собственную беду рассказы о пытке, когда человека обмазывали дегтем, или о том, как сошла с ума танцовщица, выкрашенная золотой краской. Деваственность фрукта, с которого счищена кожура, преследует человека-ящика как олицетворение чистоты. У меня много раз было желание вместе с ящиком содрать с себя и кожу, как счищают кожуру с инжира.

Но в конце концов победила привязанность к ящику. Через пять-шесть дней, может быть, оттого, что кожа привыкла к грязи, я уже не испытывал никаких страданий. Или, возможно, организм приспособился к сокращению потребления кислорода, необходимого для дыхания кожи. Сначала я сильно потел, но к концу лета потеть почти совсем перестал. Пока человек потеет, он еще не настоящий человек-ящик.

Теперь я расскажу о нищем со значками. Самом противном типе из всех, с которыми пришлось встретиться мне — человеку-ящику. Это был дряхлый старик, весь,

точно рыбьей чешуей, увешанный значками, игрушечными орденами и медалями, на его шляпе, как свечи на именинном пироге, торчали маленькие национальные флажки. При каждой встрече он с воплями набрасывался на меня. Привыкший к тому, что меня обычно не замечают, я потерял бдительность и однажды не смог избежать его неожиданного нападения. С нечленораздельными воплями нищий взобрался на мой ящик и что-то воткнул в него. С трудом согнав его, я вытащил то, что он воткнул в ящик, — это был один из флажков, украшавших его шляпу.

Я был сильно взволнован. Еще несколько сантиметров — и спица, на которой был укреплен флажок, воткнула бы мне ухо. С тех пор я решил, хотя это было не в моих правилах, первым атаковать нищего со значками. К счастью, в то время я уже научился бросать из ящика тяжелые предметы. Сначала (если ты не левша) нужно просунуть в прорезь правую руку, согнуть в локте ладонью к себе и вместе с ящиком, не отрывая ног, отклониться влево. В тот момент, когда тело вернется в исходное положение, подняв локоть до уровня цели, резко выбросить вперед руку. Так же как при метании диска, только без участия ног. Того, кто не способен напасть на нищего со значками, нельзя еще назвать вполне сформировавшимся человеком-ящиком.

Обычно дни человека-ящика, после того как он вышел на улицу, проходят спокойно. С неприятностями он сталкивается чрезвычайно редко. Смущение и робость оттого, что привлекаешь всеобщее внимание, проходят в первые два-три месяца. Прежде всего болезненно реагировать на взгляды окружающих — значит усложнять себе жизнь. Человек-ящик не может избежать того, что приходится делать человеку повседневно: есть, спать, справлять нужду. Для сна и естественных отправок особые места выбирать не приходится — другое дело, если речь идет о еде. Когда кончаются запасы еды, приходится заниматься ее добычей. Если хочешь без денег и без особых затруднений добыть пропитание, нужно искать объедки. В поисках объедков направляешься в такое место, где они в изобилии и большом выборе.

Но даже для того, чтобы находить объедки, надо знать секрет. В отличие от нищих и бродяг, прижившихся на свалках, человек-ящик не может питаться чем придется. И дело не в изысканности вкусов, а в элементар-

ном понятии гигиены. Правда, было бы неверно утверждать, что объедки всегда нечистые, но они производят неприятное впечатление. Особенно пугает запах. За три года я так и не смог привыкнуть к нему.

Все дело в несоответствии вкуса и запаха объедков. Все имеет свой собственный запах: рыба — рыбы, мясо — мяса, овощи — овощей; человек, удостоверившись, что запахи смешиваются у него во рту в определенном соотношении, успокаивается и соглашается с таким смешением. Предвкушая жареную креветку, человек выплюнет еду изо рта, если почувствует вкус банана. Его начнет тошнить, если откушенный кусок шоколада окажется по вкусу жареным моллюском. Запахи объедков, смешанные как попало, не позволяют соотнести их с определенными продуктами, и хотя теоретически человек понимает, с чем он имеет дело, физиологически принять их он не в силах.

Первый шаг в добыче еды начинается с поиска сухих объедков, лишенных запаха. Но это невероятно трудно. Отбросы закусочных и ресторанов подразделяются на два основных вида: первый — легко теряющие форму, труднохранимые продукты, которых больше всего. Предварительно отделив их от несъедобных предметов (палочек для еды, бумажных салфеток, битой посуды и так далее), их сваливают в огромные пластмассовые баки, которые каждое утро увозят на свиноферму. Другой вид — продукты, которые сохраняют свою форму, но не могут быть поданы другому посетителю, например, хлеб, жареное мясо, сушеная рыба, сыр, сладости, фрукты. Эти продукты никакой особой ценности не имеют, но, стоит начать искать их, никак не попадают на глаза. Может быть, потому, что хотя они и представляют собой объедки, но быстро не портятся и их можно использовать в дальнейшем. Действительно, хлеб высушивают и превращают в панировочные сухари, из костей жареной рыбы или курицы можно приготовить прекрасный бульон.

Однако человек-ящик, я уже писал об этом, может свободно добывать себе еду прямо с прилавка магазина. Так что у него нет особой необходимости овладевать наукой выискивания объедков. Это лишь хорошая возможность привыкнуть к улице. Чтобы проводить время в давке и толчее в качестве человека-ящика, прежде всего необходимо привыкнуть к улице. И когда человек-

ящик привыкает, то, где бы он ни находился, время начнет рисовать вокруг него концентрические круги. Все находящееся вдали будет быстро пронеситься, находящееся вблизи — почти не двигаться, а в центре вообще замрет, и, значит, время не будет течь томительно однообразно. Тот, кому невыносимо скучно в ящике, — определенно еще не настоящий человек-ящик.

Вот теперь и подумай. Кто же не был человеком-ящиком? Кому так и не удалось стать человеком-ящиком?



ЧТО ПРОИЗОШЛО с Д.

Подросток Д. жаждал стать сильным. Он хотел любым способом стать сильным. Но не имел ясного представления, как этого добиться. В один прекрасный день ему пришла в голову мысль — из фанеры, плотной бумаги и зеркал сделать нечто похожее на перископ. В верхнем и нижнем концах трубки он поместил зеркала под углом в сорок пять градусов и с помощью этого приспособления мог, говоря образно, перемещать положение глаз в стороны, вверх и вниз на длину трубки. К зеркалам в верхнем конце он приделал петли из плотной бумаги, прикрепил шнурок и мог немного менять их угол наклона.

Первое испытание своего прибора он решил провести в закоулке между сараями и забором близлежащего многоэтажного дома. Это место он присмотрел еще с тех пор, когда совсем маленьким играл там в прятки; оно представляло собой узкий проход, который не был виден ни с улицы, ни даже из окон дома. Он присел на корточки — в нос ударил запах крыс, смешанный с запахом сырой земли. Уперев локти в колени, он прижал свой перископ к глазу. Верхний конец выставил над забором. Улица идет круто под гору, поэтому прохожие, даже высокого роста, не смогут увидеть, что делается за забором. Кроме того, на крутой дороге они чувствуют себя неустойчиво и вряд ли кто-нибудь будет смотреть

не под ноги, а вверх. Так уговаривал себя Д., стараясь унять волнение, но когда улица и в самом деле отразилась в зеркале прямо перед его глазами, он от неожиданности оторопел. Ему показалось, что весь пейзаж впился в него осуждающим взглядом. Он непроизвольно отпрянул. Конец перископа стукнулся о забор и переломился, издав чавкающий звук, будто раздавили спелый мандарин. Весь потный от напряжения, Д. принялся его ремонтировать с помощью клейкой ленты.

Во второй раз он, уже смелее противостоя наползающему на него из зеркала пейзажу, продолжал наблюдение. И когда ему удалось устоять и не поддаться этому давлению, напряжение спало. Убедившись, что ответных взглядов опасаться нечего, он успокоился окончательно, смущение постепенно исчезло, и пейзаж стал меняться буквально на глазах. Он мог ясно осознать изменение отношений между пейзажем и собой, между остальными людьми и собой. Главная цель, которую он преследовал, изготавливая свой перископ, была так или иначе достигнута.

Ничего особенно нового он для себя не обнаружил. Спокойный и в то же время обладающий огромной силой проникновения свет заливал пейзаж, высвечивая мельчайшие его детали, и все кажется мягким, атласным. С выражения лица прохожих, с их осанки начисто стерто все, что заставляло испытывать к ним чувство враждебности. Никаких злых, придирчивых взглядов. С бетонированной мостовой, с заборов, с телеграфных столбов, с дорожных знаков, со всяких выступов и неровностей, формирующих пейзаж, казалось, срезаны выпирающие острые углы. Весь мир, казалось, наполнен покоем, будто это самое начало субботнего вечера, которому суждено длиться вечно. С помощью зеркала он забавлялся с улицей. И улица улыбалась в ответ на его забавы. Как прекрасен мир, хотя бы в тот момент, когда смотришь на него. В своем воображении он заключил мирный договор с этим миром.

Почувствовав вкус к своим наблюдениям и осмелев, Д., меняя места, стал осматривать всю улицу. Улица не упрекала его за это. Мир, когда на него смотрели через перископ, был безгранично великодушен. Однажды, поддавшись порыву, он замыслил маленькую шалость. Решил подсмотреть, что делается в уборной соседнего дома. Это был стоящий в некотором отдалении флигель, в

котором жила учительница физкультуры. А может быть, и не жила, а просто пользовалась флигелем с хорошей звукоизоляцией, чтобы, никому не мешая, играть на пианино. Но он тогда всего этого не знал, да и не особенно стремился узнать.

Однако, замыслив свою шалость, он неожиданно отнесся к ней как к давно задуманной. Ему даже стало казаться, что все его усилия были направлены именно на ее подготовку. Флигель стоял в некотором отдалении от забора, почти вплотную к крохотной комнатке, выгороженной из коридора, в которой он занимался. Поэтому шум спускаемой в уборной воды слышался гораздо ближе и явственнее, чем звуки пианино, заглушаемые капитальной стеной. Собственно говоря, пианино и шум льющейся воды никогда не слышались одновременно, но в голове Д. слились воедино, будто в этом был какой-то тайный смысл: грустная, очаровательная мелодия, которую в самом конце своих упражнений играла учительница, и шум смешанного с воздухом водоворота в белой фаянсовой посудине. Стоило ему услышать, что в соседней уборной кто-то есть, как его обжигало изнутри, точно он вдохнул пар, и привычная мелодия вызывала привычное напряжение.

На уровне пола в уборной, кажется, есть небольшая дверца, через которую выметают мусор, — когда-то он совершенно случайно обнаружил ее. Если только удастся открыть дверцу, проблемы не будет, если же не удастся, придется подсматривать через вентиляционное отверстие у потолка — другого выхода нет. Через него заглянуть трудно, особенно потому, что после того как был вынут вентилятор (наверно, испортился), отверстие затянули металлической сеткой от насекомых. Стоило ему только представить себе, как он будет подсматривать, и глаза начинали гореть от вожделения.

По сделанным еще раньше наблюдениям, учительница прерывает свои упражнения два раза — примерно в пять и в восемь часов. После чего идет в уборную — чаще это происходит в восемь часов. Это было для него очень неудобно. Обычно родители в это время дома, и незаметно выйти во двор трудно. Вот если бы в пять часов: отец еще не возвращается со службы, и матери тоже часто не бывает в это время дома — она ходит за продуктами для ужина. Для решительных действий самое время. Правда, еще светло и есть опасность, что учитель-

ница может увидеть его, но тут-то и поможет перископ. Наблюдая за улицей, он научился уверенно им пользоваться. Желание осуществить задуманное и заняться подсматриванием за учительницей всеми цветами радуги закрасило его нерешительность.

Вернувшись в тот день из школы, Д., чтобы к пяти часам быть свободным, измыслил какие-то невероятные предлоги, чтобы задержать выход матери из дому. Примерно в четыре часа сорок минут упражнения закончились и вот-вот должна была начаться та самая мелодия — тогда он наконец отпустил мать. А сам, прижав к боку перископ, надел спортивные туфли с ободранными носами и, крадучись, выскользнул во двор. Вопреки его предположениям с этой стороны забора и перископ не мог ему помочь. Ну что ж, ничего не поделаешь, да к тому же, если подсматривать с этой стороны забора, скорее поймают. Нужно перебраться через него — там даже меньше опасности, что его заметят, подумал он. Поскольку он не собирается оповещать учительницу, что подсматривает... то, если она и обнаружит, что за ней подсматривают, а он сделает вид, будто не замечает, что она это обнаружила,.. между подсматривающим и подсматриваемой, смутно надеялся он, установится некая близость. Ему даже в голову не могло прийти, какого осуждения достойно подсматривание — невысказанное, тайное признание в любви.

Он подлез под забор и оказался на той стороне. Там было еще более сыро, чем в его дворе. Между забором и домом не было и полуметра, и сюда, видимо, редко кто забредал — земля была покрыта густым слоем серебристого мха. Боком он протиснулся в узкую щель между уборной и забором. Ему повезло. Дверца у пола уборной была сантиметров на пять приоткрыта. Перископ, естественно, нужно будет держать в горизонтальном положении. Перехватило дыхание, сжало грудь. Привалившись к забору, он закрыл глаза. Наконец, передохнув, выбрал место и пристроил перископ. Первое, что он увидел, — фаянсовый унитаз. Унитаз был не белый, как он предполагал, а светло-голубой. На полу был постелен белый коврик и стояли выкрашенные серебряной краской резиновые сандалии. Как он ни изменял положение зеркал, обзор передвигался лишь вправо и влево, а то, что было нужно, в поле зрения не попадало. Успокойся, говорил он себе, перископ находится в горизонтальном положе-

нии и, чтобы смотреть вверх и вниз, нужно повернуть трубку. Стена была фанерная, выкрашенная под дерево.

Ему казалось, что время не движется. И музыка сегодня длится бесконечно. Он весь горел, дыхание вырывалось из горла, как из флейты. У него было ощущение, что раскрылась черепная коробка и из нее, как пробка из бутылки, выскочили глаза. Мать вот-вот вернется. Доносившиеся до него торжественные звуки вызывали дрожь во всем теле, как при нервном заболевании. Он еле сдерживал себя, чтобы не ворваться в дом и не разбить вдребезги пианино.

Но конец игры приближался. Знакомые заключительные аккорды... вот последний... Д. уговаривал себя: не нужно питать такие уж большие надежды, было бы слишком нахально надеяться, что с первого раза все удастся. Но и терять надежду тоже не хотелось. Д. дрожал. Он тяжело дышал — воздуха не хватало. Широко раскрыв рот, он, как насосом, втягивал воздух.

Неожиданно у самого его уха раздался голос:

— Кто это здесь? Что ты делаешь? Только не вздумай убежать. Убежишь, всем расскажу.

Сжавшись, Д. чуть приподнялся. Он был повержен. Не осталось даже сил, чтобы повернуть голову и определить, откуда идет голос. Он еле дышал, дыхание его напоминало гаснущие на лету искорки, которые разбрасывает тонкая курительная палочка.

— Обойди дом и заходи через парадное.— В голосе слышатся не угрожающие, а, наоборот, спасительные нотки.— Ну, вставай быстрее...— Голос доносится, кажется, из уборной. Но никого не видно. Откуда, каким образом она меня видит? — Не забудь свой чудной прибор. Иди к парадному. Дверь не заперта.— Она еще собирается в уборную или уже сейчас там сидит? Плохо приладил перископ.— Вижу, что собираешься делать. Убежишь, хуже будет. Не мешай, иди к парадному...

Ему не оставалось ничего другого, как подчиниться. Действительно, предположим, что убежит, но это же ничего не даст. Если понимать ее предостережение — убежишь, хуже будет — в том смысле, что, если он не убежит, она ничего не расскажет в школе и родителям, то, какое бы наказание его не ожидало, лучше всего получить его здесь. Д. покорно, прижав к груди ненужный теперь перископ, обогнул дом и направился к па-

радному. Дверь, прежде напоминавшая ему податливую живую плоть, превратилась в железобетонную.

Сразу за дверью — большая комната с пианино. Оно так источено жучком, что при одном взгляде на него тело начинало зудеть. На полу расстелен зеленый ковер. Как только он притворил за собой дверь, распахнулась дверь в глубине комнаты, и вошла учительница. Ей вдогонку неся шум воды. Видимо, она шла прямо из уборной. С шумом спускаемой воды в сознании D. ассоциировался ее белый зад, примостившийся на унитазе. Он не мог заставить себя поднять голову — его охватило чувство неловкости, будто он и в самом деле видит перед собой ее зад.

— Запру дверь.

Учительница прошла мимо него — щелкнул замок.

— Тебе не стыдно?

— Стыдно.

— У тебя, я вижу, ломается голос. Мне теперь понятно, почему ты так поступил, но это же так нечистоплотно — просто противно. Я понимаю, что тебе стыдно, но мне, учительнице, еще более стыдно. Самому стыдно, и меня тоже заставил пережить стыд. Что мне с тобой делать? Отпущу я тебя сейчас, а ты снова повторишь то же самое..

— Больше не буду...

— Что же мне с тобой делать?

— Правда, больше не буду.

— Хорошо... Все-таки я должна тебя наказать. Я сделаю так, чтобы ты испытал примерно то же самое, что заставил испытать меня.

Учительница села к пианино, пальцы ее быстро забежали по клавишам. Это были последние аккорды той самой мелодии. Но в отличие от тех, которые он слышал через стену, несравненно более торжественные. Казалось, напряженное полотнище флага трепетно бьется на ветру. D. все сильнее ощущал непристойность своего поступка, свою ничтожность и в конце концов не смог сдержать слез.

— Как тебе эта мелодия?

— Нравится.

— Правда, нравится?

— Очень нравится.

— А кто композитор, знаешь?

— Не знаю.

— Шопен. Изумительный, великий Шопен.— Неожиданно учительница перестала играть и встала.— А теперь быстро раздевайся. Я выйду.

D. не сразу понял, чего она от него хочет. И после того как она вышла из комнаты, какое-то время стоял неподвижно, ничего не соображая.

— В чем дело? Почему ты мешкаешь? — раздался голос из-за двери.— Я все прекрасно вижу через замочную скважину. Если ты в самом деле осудил свой поступок, то должен сделать это.

— Что сделать?

— Раздеться, разве не ясно? Ты заставил учительницу пережить точно такой же позор — так что возражать не имеешь теперь никакого права.

— Простите, пожалуйста,

— Нет. Думаешь, тебе будет лучше, если я расскажу обо всем отцу и матери?

D. был повержен. У него было ощущение, будто желудок проваливается куда-то вниз и внутри образовалась пустота. Дело не в том, что ему было так уж неприятно раздеться догола. Ему даже казалось, что в этом у них как будто достигнуто взаимопонимание. Но он не чувствовал в себе необходимой решимости. Раздевшись, он невольно возбуждается. Но как отнесется к этому учительница? Трудно предсказать. Она, несомненно, разозлится и уж на этот раз не спустит ему. А может быть, просто расхохочется, держась за живот. И то и другое плохо. Но может быть, ему удастся взять себя в руки и умерить свое возбуждение? Нет, ничего не выйдет. Стоило ему только представить себя обнаженным, и он сразу же возбуждался. А от ее смеха возбуждается, конечно, еще сильнее.

Ему оставалось одно — смириться. Стыдясь своего безобразия, он сбросил куртку, стащил рубаху, спустил штаны и остался голым. Но учительница никак не реагировала. За дверью была полная тишина. Не просто не доносилось ни звука — материализовавшаяся тишина присела на корточки. Ее взгляд черным лучом пронзил его через замочную скважину. Все стало одноцветным, в глазах у него потемнело. Он стиснул колени, обхватил голову руками, готовый расплакаться. Но слез не было. Внутри у него вдруг все стало сухим, как песчаное побережье под утро.

— Ну как, понял теперь? — Голос учительницы из-за двери был бесстрастен. Он кивнул. Он действительно все

понял. Он постиг все гораздо глубже, чем подтвердил своим кивком, и даже гораздо глубже, чем казалось ему самому.— Теперь можешь идти.

Дверь приоткрылась, и на пол беззвучно упал ключ. Ключ от двери, которую изнутри можно было открыть и без ключа.

.

Двери клиники, куда я наконец добрался,— на замке, и висит табличка, что сегодня приема нет. У черного хода хрипло поскуливает та самая добродушная собака. Я звоню. От нетерпения жму на кнопку звонка, не отнимая пальца. Кто-то подходит. Неожиданно дверь распахивается, и меня впускает в дом женщина — будто с нетерпением ждала моего прихода. Что-то пробормотав, она направляется в глубь дома. Я не расслышал как следует, что она сказала,— скорее всего, спутав меня с лже-человеком-ящиком (или лжеврачом), выговаривает ему. Чем раньше я исправлю ее ошибку, тем лучше. Откашлявшись, я начинаю объяснять:

— Я не сэнсэй. Я настоящий. Повторяю: настоящий. Вчера вечером я ждал тебя под мостом. Бывший фоторепортер...

Приоткрыв рот, она быстро осматривает меня с ног до головы. Ее лицо застывает в удивлении.

— Вам не стыдно? Почему не выполнили обещания? Снимайте его немедленно. Вы, видимо, не знаете, а...

— Нет, знаю. Ты, наверное, имеешь в виду сэнсэя. Я только что встретил его на улице.

— Снимайте же, прошу вас...

— Не могу снять. Я очень торопился сюда.

— Перестаньте. Теперь уж...

— Но я голый. Совершенно голый. После того я вымылся в душе на побережье, выстирал белье и стал ждать, пока оно высохнет. Покинуть ящик можно лишь после того, как подготовишь себя к тому, чтобы его покинуть,— верно ведь? Потом я собирался разделаться с ящиком и прийти сюда. Чтобы ты сама убедилась, что я сдержал обещание. Но я заснул. Заснул так крепко, точно меня расплющило дорожным катком. И к тому же, пока я спал, все время видел сон, будто не в силах сомкнуть глаз, поэтому хотя я проснулся совсем недавно, так и не смог выспаться как следует. Но это бы еще ничего; когда я проснулся, то обнаружил, что белье и брюки ку-

да-то исчезли. Положение отчаянное. Мне кажется, под утро я видел сон, как ребяташки, водрузив на бамбуковый шест флаг, носятся по берегу,— видимо, это был не сон, а явь. Теперь я догадываюсь, что бегали они не с флагом, а с моими брюками. Я пал духом. Нужно было как-то раздобыть брюки. Любое старье, лишь бы достать... С этой мыслью я поплелся в город, и вдруг — как раз там, где кончается дамба,— идет точно такой же человек-ящик, как я... Теперь все пропало, подумал я... Если буду искать брюки, не успею в клинику...

Она неожиданно рассмеялась. С трудом удерживая на пятках согнутое пополам тело, она вся сотрясалась от смеха. Сначала она смеялась зло, издевательски, но надолго ее не хватило, и смех ее стал просто веселым. Высмеявшись, она становится оживленной и добродушной.

— Это ничего, что голый. Договор есть договор.

— Ты уж меня прости, но мне бы и старые брюки вполне подошли, может, одолжишь на время?

— Так и быть, я тоже разденусь для вас догола. Вы же собирались меня фотографировать. Если мы оба будем голыми, стесняться нечего, правда?

— Смотреть на голого мужчину — это же ужасно.

— Ошибаетесь,— бесстрастно отвечает она и начинает быстро раздеваться. Блузка... юбка... лифчик... — До чего противный этот ящик. Я просто не могу уже выносить его.

Совершенно обнаженная, она стоит передо мной. На губах — чуть заметный вызов. Но в глазах — мрачная мольба. Обнаженная, она ни капельки не выглядит обнаженной. Ей слишком идет нагота. Но мне она не идет. Особенно торчащая из ящика нижняя часть тела выглядит более чем комично.

— Может, ты хоть на минутку закроешь глаза? Или отвернешься...

— С удовольствием.

В голосе ее смех. Она отворачивается и прислоняется плечом к стене коридора. Снимая сапоги, я чувствую, как всего меня бьет мелкая дрожь. Я тихо вылезаю из ящика и, крадучись подойдя к ней сзади, охватываю руками ее плечи. Она не сопротивляется, а я, сокращая и сокращая отделяющее нас расстояние, настойчиво убеждаю себя, что это расстояние обязан сохранять вечно.

— А вдруг сэнсэй вернется, ничего?..

— Вряд ли вернется. Он и не собирался возвращаться...

— Как пахнут твои волосы...

— Нескладная...

— Признаюсь. Я был ненастоящим.

— Молчи...

— А вот записки — настоящие. Они мне достались от настоящего человека-ящика после его смерти.

Я обливаюсь потом...

(Вряд ли нужно предупреждать, что все в этих предсмертных записках — чистая правда, что они представляют собой искреннее признание. Умиравший всегда испытывает непонятную зависть, ревность к тем, кто остается после его смерти. Среди них обязательно найдутся малoverы, до мозга костей пропитанные досадой на фальшивый вексель, именуемый «истиной», — они будут стремиться к тому, чтобы хоть крышку гроба заколотить гвоздями «лжи». Только не следует воспринимать их как обычные предсмертные записки.)



**ВО СНЕ И ЧЕЛОВЕК-ЯЩИК СНИМАЕТ С СЕБЯ ЯЩИК.
ВИДИТ ЛИ ОН СОН О ТОМ, ЧТО БЫЛО ДО ТОГО,
КАК ОН НАЧАЛ ЖИЗНЬ В ЯЩИКЕ,
ИЛИ ВИДИТ СОН О СВОЕЙ ЖИЗНИ ПОСЛЕ ТОГО,
КАК ПОКИНУЛ ЯЩИК...**

Дом, к которому я направлялся, стоял на холме, так сказать, у выхода из города. Я проделал бесконечно длинный путь в конной повозке и вот наконец подъехал к воротам дома. Судя по расстоянию, дом, возможно, стоит не у выхода из города, а скорее у входа в него.

Конная повозка — я просто так называю ее. На самом же деле повозку везла не лошадь, вез человек, на котором был надет ящик из гофрированного картона. А если говорить совсем уж откровенно, этим человеком был мой отец. Ему за шестьдесят. Хоть в этом было нечто старомодное, отец, ни за что не желавший ломать исконную традицию города, по которой во время брач-

ной церемонии жених должен приехать за невестой в конной повозке, впрягся в нее сам вместо лошади. Но, чтобы не позорить меня, спрятался в ящик из гофрированного картона. Он, видимо, заботился еще и о том, чтобы невеста не раздумала.

Разумеется, если бы у меня были деньги, чтобы нанять конную повозку, отец наверняка не стал бы делать этого ради меня, да я и сам, думаю, не попросил бы его об этом. Но отказаться от свадьбы только потому, что я не в состоянии заплатить за конную повозку, было бы чересчур обидно. Поэтому мне не оставалось ничего другого, как прибегнуть к доброте отца.

Однако шестидесятилетний отец совсем не годится на роль лошади. Он с трудом тащил повозку в гору по выбитой дороге — он не стоил и одной десятой настоящей лошади. Я, разумеется, не мог слезть с повозки, чтобы подталкивать ее сзади, и она почти не двигалась вперед. Только время летело с бешеной скоростью. К тому же еще и нещадная тряска довела до крайнего предела потребность справиться нужду, и, когда мы доехали, я был совершенно зеленым.

Наконец повозка остановилась.

Отец отвязал от ящика кожаные ремни, которыми привязывают лошадь к повозке (не знаю, как они называются), и, глянув на меня из прорезанного в ящике окошка, слабо, устало улыбнулся. Я ответил ему натянутой улыбкой и медленно вылез из повозки.

Повозка, которую я назвал конной, была предназначена для доставки грузов. Но уговора не приезжать за невестой в такой повозке не было — главное жениться, а там она от меня никуда не денется. Учащенно дыша, шаркая ногами, побежал, расстегивая на ходу брюки, к обочине дороги и, напрягши живот, почувствовал такое огромное облегчение, будто взмыл в небо и лечу над сиенющими вдали горами.

— Эй, Шопен, что ты делаешь? — в растерянности воскликнул за моей спиной отец. Я допустил ужасную неосторожность. Между домом невесты и дорогой густо рос кустарник, и я был уверен, что он полностью скрывает меня. Но нашей невесте ждать стало невмоготу. Видимо, она еще издали улышала звук приближающейся повозки и вышла на обочину встретить меня. Смутьившись, я попытался спрятаться за кустами, которые так неудачно посчитал надежным укрытием. Наши взгляды встре-

тились. Я убежден, что она все видела. Между ветвей мелькнуло белое платье, послышался легкий топот бегущих ног, стук двери, точно удар деревянным молотком по ореху. И все смолкло. Изнывая, раскачиваясь из стороны в сторону, я с невероятным трудом перебирался по тонкой веревке, протянутой между надеждой и отчаянием, и в тот миг, когда до заветного берега было рукой подать — вот-вот вступлю на него, надеялся я, — веревка вдруг оказывается перерубленной топором. Придется отказать от женитьбы, но для меня это невыносимо.

— Отец, ты ее опекун, прошу тебя, сделай что-нибудь.

К горлу подступают слезы. Рыдая, я продолжаю молиться. Струйка, пробив ямку в земле, весело разливается светло-желтой лужицей.

— Нет, Шопен, придется отказать, — печально уговаривает меня отец, постукивая по ящичку высунутой из прорези рукой. — Прошу тебя, не упрямясь. Современная молодая девушка не выйдет замуж за эксгибициониста.

— Да какой я эксгибиционист!

— А она вполне может так подумать, и тут ничего не поделаешь. Она же все видела.

— Мы ведь все равно должны были вот-вот пожениться.

— Веди себя как мужчина, хотя бы из уважения к отцу, который ради тебя даже взял на себя роль лошади. Прошу тебя. Счастье еще, что, кроме нее, никто этого не видел. В будущем, когда твоя, Шопен, биография разрастется в сотни томов, мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал об этой скандальной истории. Не годится, чтобы из биографии следовало, будто твоя судьба определилась тем, что ты не вовремя помочился. Правда? Ты ведь не совершал ничего постыдного. Виною всему предубеждение против эксгибиционистов и нерадивость городских властей, спустя рукава относящихся к строительству общественных уборных. Ну ладно, пошли. Нас ничто не связывает с этим городом. Отправимся в другой, большой город, где есть общественные уборные. Когда есть общественные уборные, в любое время можно справиться нужду, и большую и малую...

Я не надеялся, что большой город излечит меня от сердечной раны. Все это так, но отец почему-то зовет меня Шопеном. Ранен не я один, подумал я и решил не доносить на него. В общем, я тоже согласился с мнением отца,

что нам нечего оставаться в этом городе. Как не защищен человек, когда он мочится, — эта мысль ужасала меня.

Повозку мы бросили. Но снять ящик отец решительно отказался. Он упорно утверждал, что, поскольку половина вины лежит на нем, его обязанность как отца — по-прежнему выполнять роль лошади. И я, верхом на ящике отца, покинул город, в котором прожил много лет.

Придя в большой город, мы сразу же сняли мансарду с пианино и решили ждать, пока нам улыбнется счастье. Не отдавая себе в этом отчета, я воображал, будто совершил полный круг и теперь вошел в ее дом с черного хода. Утешить разбитое сердце можно было только работой, и отец где-то достал и принес мне альбом и перо. Используя вместо стола пианино, я принялся по памяти рисовать ее. Нужно ли говорить, что по мере роста моего мастерства на портретах она становилась все более обнаженной.

— Шопен, у тебя незаурядный талант. Признаю. Но ты ведь знаешь, наши денежные дела малоутешительны. Может быть, стоит экономнее расходовать бумагу, делая рисунки поменьше...

Отец был прав. Но он имел в виду, конечно, не размер бумаги. Просто на маленьком рисунке пером легче выразить то, что хочешь. Я продолжал рисовать, все уменьшая и уменьшая листки. Уменьшив их, я быстрее заканчивал свои рисунки и поэтому стал изводить бумаги еще больше, чем прежде; тогда мне пришлось разрезать бумагу на еще более мелкие листки. Кончилось тем, что я прикреплял булавками к доске крохотные квадратики бумаги величиной с подушечку большого пальца и, глядя через лупу, выводил тончайшие линии, не различимые невооруженным глазом. Только в минуты, когда я весь отдавался этой работе, я мог быть вместе с ней.

Однажды я обнаружил странную вещь. Мансарда, где обычно была гробовая тишина, неожиданно оказалась наполненной людским гомоном. Почему-то я до сих пор не замечал этого. От двери до пианино стояла очередь, и эта очередь тянулась до самого конца коридора. Тот, кто был первым в очереди, клал деньги в ящик (в нем находился, разумеется, отец) и, бережно взяв мой рисунок, удалялся. Я не очень удивился. Мне даже казалось, что это длится уже довольно давно. Действительно, в последнее время еда стала у нас гораздо лучше, и вместо старого пианино, служившего мне столом, теперь стоял

новенький рояль. Сильно изменился и ящик отца — теперь он был не из гофрированного картона, а из настоящей красной кожи с блестящими застёжками. Видимо, ничего не подозревая, я начал приобретать всеобщее признание. У меня покупали рисунки прямо из-под пера, и, сколько я ни рисовал, очередь жаждущих купить рисунок не убывала.

Однако теперь это ничего для меня не значит. На полученные деньги отец, кажется, купил настоящую лошадь, но и это не имеет ко мне никакого отношения. С тех пор я ни разу не видел, чтобы отец вылез из ящика, и даже сомневаюсь, действительно ли там мой отец. На моих рисунках она остается такой, какой была давным-давно, хотя настоящая она должна была состариться на те годы, которые прошли, и это неизбежно — вот где причина моей тоски. Стоит мне об этом подумать — и в памяти отчетливо воскресает наша горькая разлука, и из глаз, которые теперь у меня всегда на мокром месте, сразу начинают течь слезы. И всякий раз отец протягивает из ящика руку и вытирает мне глаза новым шелковым носовым платком. Ведь рисунок такой крохотный, что и одной слезинки достаточно, чтобы испортить его.

Вот почему теперь нет ни одного человека, который бы не знал моего имени. В мире вряд ли можно встретить энциклопедию, в которой не было бы статьи о Шопене, изобретателе и создателе первой в мире почтовой марки. Но с развитием почтового дела и передачей его в ведение государства мое имя прославилось как имя лжесоздателя марок. В этом, видимо, и состоит причина того, что ни на одной почте не висит мой портрет. И лишь красный цвет ящика, полюбившийся моему отцу, и теперь еще кое-где принят как цвет почтовых ящиков.



ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ПОДНЯТИЯ ЗАНАВЕСА

«Теперь между мной и тобой дует горячий ветер. Бушует чувственный, обжигающе горячий ветер. Честно говоря, я не знаю, с каких пор он начал дуть. От этой безумной жары и свистящего в ушах ветра я, кажется, потерял ощущение времени.

Но я знаю — направление ветра рано или поздно должно измениться. В один прекрасный день вместо него подует прохладный западный ветер. И тогда этот горячий ветер, точно призрачное видение, слетит с обнаженного тела, и никто о нем даже не вспомнит. Да, жара ужасающая. В самом горячем ветре притаилось предчувствие, что вот-вот он кончится.

Почему? Если бы меня попросили объяснить, я бы, пожалуй, смог сделать это. Главное — будешь ты слушать мои объяснения или нет... Я знаю — существует театр одного актера, но не наскучу ли я тебе? Ну как?.. продолжать?.. или...»

«Пожалуйста, только не очень долго...»

«Говоришь, не очень долго, минут пять?»

«Да, пять минут в самый раз.»

«Видимо, это все-таки любовь. Нечто отличное по своей сущности от того, что именуется любовью, становившееся постепенно все выше и выше, пока наконец не превратилось в огромную туманную башню и, не сформировавшись, застыло... Любовь, возникшая, если можно так сказать, из сознания того, что она безответна... парадоксальная любовь, начавшаяся с конца. Один поэт сказал: любить — прекрасно, быть любимым — отвратительно. Любовь, возникшая из безответной, не оставляет после себя и тени. Не знаю, прекрасна она или нет, но, во всяком случае, в ее боли нет раскаяния.»

«Зачем?»

«Что зачем?»

«К чему продолжать уже оконченный разговор?»

«Ничего не окончено. Все началось с безответной любви. Сейчас как раз горячий ветер крепчает.»

«Жарко, потому что лето.»

«Нет, ты, кажется, не в состоянии понять. Разумеется, это рассказ. Рассказ, который именно сейчас я веду. Поскольку ты слушаешь, то обязана стать одним из его действующих лиц. Только что тебе признались в любви. Пусть мне это будет неприятно, пусть я буду чувствовать себя глупцом, все равно для меня было бы большим ударом, если бы мне не дали сыграть роль отверженного.»

«Почему же?»

«Важно не завершение. Необходимо как-то отразить этот горячий ветер, обдающий сейчас мое обнаженное тело, — это факт. Завершение не проблема. Дующий сейчас горячий ветер — вот что важно. Уснувшие слова и

чувства, будто через них пропустили высоковольтный заряд, вспыхнули синим огнем — вот что значит быть захваченным этим горячим ветром. Редкостный случай, когда человек собственными глазами может увидеть душу».

«Грандиозно. Соблазняя женщину таким способом, ни за что себя не ранишь. Но не проглядывает ли здесь слишком уж продуманный расчет?»

«Действительно, половина сказанного тобой — правда. Но если ты не признаешь существование другой половины — давай прекратим этот разговор».

«А хочется продолжать?»

«Разумеется».

«У тебя есть еще две минуты».

«Ты поступаешь глупо».

«Не нужно попусту тратить время».

«Да, временем следует дорожить. Но я не собираюсь повернуть время вспять. Насколько мое существование в тебе незначительнее твоего существования во мне. Но когда я пытаюсь преодолеть эту муку, время начинает медленно растворяться. Если свободно владеешь искусством соблазнять, то всегда есть надежда ухватить хоть кусочек покоя и счастья. Поэтому для меня так важен этот редкостный горячий ветер, возникший из безответной любви. Изумительный лес слов, прекрасное море чувств... Достаточно слегка коснуться твоего тела — и время останавливается, наступает вечность. В этом мучительном вихре горячего ветра я не исчезну до самой смерти, мне даруют искусство перевоплощения...»



И ВОТ, НЕ ДОЖИДАЯСЬ ЗВОНКА К ПОДНЯТИЮ ЗАНАВЕСА, ДРАМА ЗАКОНЧИЛАСЬ

Теперь-то можно сказать точно и определенно. Я не ошибся. Возможно, потерпел поражение, но не ошибся. Поражение не вызвало ни малейшего раскаяния. Значит, я не жил ради завершения.

Стук захлопнутой входной двери.

Она ушла. Теперь я уже не сержусь и не обижаюсь. В стуке захлопнутой двери прозвучало глубокое состра-

дание и сочувствие. Между нами не было ни ссор, ни враждебности. Видимо, она хотела исчезнуть, постаравшись выскользнуть не через парадный ход. Поэтому она стеснялась стука входной двери. Подожду десять минут и забью ее гвоздями. Мне нечего надеяться, что она возвратится. Я лишь подожду, пока она отойдет настолько далеко, чтобы не слышать стука молотка.

Покончу с входной дверью, и останется лишь запереть на засов дверь черного хода на втором этаже. После того как я заделаю фанерой и гофрированным картоном окна и вентиляцию, в дом не проникнет даже луч дневного света. Тем более что сейчас облачный вечер. Дом будет полностью отрезан от внешнего мира — в нем не останется ни входа, ни выхода. После этого я покину его. Выбраться из дома сможет только человек-ящик. В конце этих записок я собираюсь рассказать, каким способом и куда я сбегу.

Прошло десять минут.

Я подошел к входной двери, чтобы забить ее. Промаявшись, содрал кожу у ногтя большого пальца левой руки. Выступила кровь, но боль быстро прошла.

Я вспоминаю, что за все время с моего возвращения домой и до ее ухода мы не промолвили ни слова. Осадок, конечно, оставался. Но вряд ли он исчез бы от разговора. Этап, когда слова еще играют какую-то роль, закончился. Достаточно было нам обменяться взглядами, чтобы понять все. Слишком совершенное — это всего лишь одно из явлений, возникающих в процессе разрушения.

Лицо у нее чуть напряженное. Может быть, оно кажется таким оттого, что на нем почти нет косметики. Но изменившееся выражение ее лица всего лишь частица происшедших в ней перемен — мне все равно, какое у нее выражение лица. Главное, что она одета. Какое на ней платье, в данном случае не важно. Уже около двух месяцев она жила обнаженной. Я тоже был совершенно обнаженным. У меня не было никакой одежды, кроме ящика. В доме находилось двое обнаженных. И кроме нас, не было никого. Табличка с именем и вывеска были сняты, красный фонарь у ворот потушен, никто не заходил к нам, даже по ошибке, и поэтому не было необходимости вывешивать объявление о временном прекращении приема.

Раз в день, надев ящик, я выходил из дому. Я бродил по улицам как человек-невидимка, добывал предметы первой необходимости, главным образом пищу. Если заходить в один и тот же магазин не чаще одного раза в месяц, то нечего опасаться, что тебя обругают. Нельзя сказать, что мы роскошествовали, но и нужды ни в чем не испытывали. Я был уверен, что таким образом мы проживем вдвоем не один год.

Поднявшись по лестнице черного хода в коридоре второго этажа, я снимал ящик и ботинки, а она, уже с нетерпением ждавшая моего возвращения, обнаженная взбегала ко мне наверх. Это были самые волнующие минуты. Дрожа, мы прижимались друг к другу так крепко, что между нами не оставалось и щелочки. Словарный запас у нас был поразительно беден. Ее голова доходила мне примерно до носа, и я шептал: «Как пахнут твои волосы», а она, прижимаясь ко мне еще крепче, вторила: «Как сладко». Так что дело было, я думаю, не в словах. Слова нужны, лишь пока вы не замкнуты в круге радиусом в два с половиной метра и еще можете воспринимать друг друга как разных людей. Я также не думаю, что наши отношения омрачало существование той самой покойницкой, находившейся тут же, рядом с лестницей. Мы обходили ее молчанием, а обходить молчанием равносильно признанию, что ее фактически не существует.

Потом мы размыкали объятия и шли на кухню в конце коридора. Но, даже не обнимаясь, мы старались постоянно касаться друг друга. Например, она стояла у раковины и чистила картошку или лук, а я в это время, примостившись рядом на полу, гладил ей ноги. Пол в нашей кухне был покрыт тонким слоем плесени. Главная кухня была на первом этаже, а эту приспособили уже давно специально для больных, лежавших в клинике, но ею почти не пользовались, и она пришла в запустение. У нас была причина снова начать пользоваться этой кухней. Напротив нее через коридор находилась пустая комната, и было удобно выбрасывать в нее отходы после приготовления еды. Очистки овощей, рыбы головы мы складывали в полиэтиленовые мешки, но крысы моментально их прогрызали и растаскивали отбросы по всему полу. Через полдня отбросы начинали разлагаться, и вонь вырывалась из комнаты всякий раз, как мы открывали дверь. Но даже это нас несколько не беспокоило. Прежде всего потому, что соприкосновение с

кожей другого человека полностью меняет обоняние. Кроме того, мы, видимо, бессознательно чувствовали, что это создает для нас благоприятные условия, позволяющие не думать о существовании покойницы. Чтобы заполнить отбросами всю комнату, потребуется по меньшей мере полгода, предполагали мы оптимистически.

Но действительно ли мы были так оптимистичны? Мне кажется, мы просто с самого начала отказались от всяких надежд. Страсть — это импульс к тому, чтобы воспламенить. У нас было непреодолимое желание воспламенить. Мы боялись прервать воспламенение, и я даже сомневаюсь, хотели ли мы, чтобы продолжал существовать реальный мир. Мы не имели права заглядывать в такую бесконечную даль, как полгода, когда отбросы заполнят всю комнату. С утра до ночи мы непрерывно старались касаться друг друга. Мы почти постоянно были замкнуты в круге радиусом в два с половиной метра. На расстоянии, которое обычно было между нами, друг друга почти не видно, но мы не испытывали от этого неудобства. Мы привыкли в своем воображении соединять в целое отдельные части — только так мы могли видеть друг друга, и это давало чувство огромной свободы. В ее глазах я был расчленен на мелкие куски. Она могла делать замечания относительно моей спины, но ни слова не говорила о своем мнении о моем облике в целом, независимо от того, нравился он ей или нет. Ее, видимо, это не особенно волновало. Слова, как таковые, стали терять всякий смысл. И время тоже остановилось. Все шло хорошо и три дня, и три недели. Но как бы долго ни длилось горение, если оно кончается, то кончается мгновенно.

Поэтому, когда сегодня я увидел, что вместо того чтобы голой взбежать наверх, она, одетая, молча смотрит на меня, то испытал не какое-то невероятное смятение, а лишь уныние от мысли, что мне снова придется вернуться к своей прежней безрадостной жизни. Теперь моя нагота выглядела бесконечно жалкой. Точно за мной гонятся, я заполз в свой ящик и, замерев, стал ждать, пока она уйдет, — мне не оставалось ничего другого. Она нахмурилась и огляделась по сторонам, но сделала вид, что не замечает меня. Казалось, она хочет понять, откуда исходит дурной запах. Потом медленно повернулась и возвратилась в свою комнату. Я тоже, крадучись, по-

шел в бывшую процедурную. Если она хочет, можно начать все заново. Начинать заново можно бесконечно. Напрягши слух, я пытался определить, что она делает. Никакого движения. Не исключено, она ждет, чтобы я предложил начать все заново. Но сколько бы мы ни начинали заново, каждый раз будет возвращаться то же место, то же время.

Циферблат часов облез.
Больше всего стерлась
Цифра 8.
Два раза в день обязательно
На нее смотрят шершавым взглядом,
И она стерлась.
Напротив нее
Цифра 2.
Глаза, закрытые ночью,
Пробегают ее, не останавливаясь,
И она стерлась значительно меньше.
Если есть человек, имеющий часы
С облезшим циферблатом,
То это он, опоздавший начать жизнь
На один оборот часовой стрелки.

И поэтому мир всегда
Обгоняет его на один оборот часовой стрелки.
То, что он, как ему представляется, видит,—
Это еще не начавшийся мир.
Призрачное время.
Стрелки на циферблате стоят перпендикулярно,
Не дожидаясь звонка к поднятию занавеса,
Драма закончилась.

Теперь — последний откровенный рассказ. То, что я услышал, было на самом деле стуком двери ее комнаты. Я не мог услышать стука входной двери. Она была забита с самого начала. Я потратил немало сил, чтобы она была забита крепче. Значит, уйти она не могла. Выход на черный ход я запер на засов, так что она теперь навсегда замурована в доме. И разделяет нас только эта проклятая блузка и юбка. Причем эффект одежды моментально исчезнет, стоит мне выключить свет. Если ее не будет видно — это равносильно наготы. Невыносимо, когда она, одетая, смотрит на меня. А в темноте она будет воспринимать меня как слепого. Она снова станет нежной. А я буду полностью освобожден от необходимости ломать голову над планом, к которому у меня не лежит душа, — как ослепить ее.

Вместо того чтобы вылезать из ящика, я лучше весь мир запру в него. Как раз сейчас мир должен закрыть глаза. И он станет таким, каким я представляю его себе. В этом доме убрано все, рождающее тень и обрисовывающее форму: начиная с карманного фонаря, спичек и свечей и кончая зажигалками.

Немного подождав, я выключил свет. Не демонстративно, но в то же время и не особенно таясь, я вошел в ее комнату. Разумеется, обнаженный, сняв ящик. Представляя себе маленькую темную комнату, я растерялся от той невообразимой перемены, которая произошла в ней. Увиденное настолько отличалось от того, что я ждал, что я даже не испугался, а пришел в замешательство. Пространство, которое всегда было комнатой, превратилось в переулок с задней стороны лавок, выстроившихся у какого-то вокзала. Через дорогу напротив лавок — здание, где находились контора по продаже недвижимости и частная камера хранения ручного багажа. Это был узкий переулок, по которому с трудом мог пройти один человек, и даже тот, кто плохо ориентируется на местности, судя по ландшафту и расположению переулка, мог сразу определить, что он на самом деле — тупик, упирающийся в станционные здания. Сюда мог случайно забрести лишь тот, кому понадобилось помочиться.

Мотки резинового шланга... печка, сделанная из металлической бочки... сваленные кучей ящики из гофрированного картона... старый велосипед и рядом пять горшков с засохшими карликовыми деревьями загораживали проход. С какой целью затерялась она именно здесь? Если у нее была цель найти ящик из гофрированного картона, то куда она собиралась направиться отсюда?

Разгребая хлам и продвигаясь вперед, я наткнулся на узкую бетонную лестницу, преградившую мне путь. Не крутая, всего пять ступенек. Спустившись по ней, я не поверил своим глазам — лестница кончалась огромной бетонной площадкой. С первого взгляда я определил, что это начали строить виадук, но работа была прервана, и виадук так и остался недостроенным.

Я ступил на площадку. Неожиданно усилился ветер и донес до меня грохот — это ночные работы на железной дороге. Видимо, в облаках отражалась неоновая реклама — небо было залито багрянцем. Еще шаг вперед, и вдруг передо мной пустота и метрах в семи-восьми же-

лезнодорожная линия. Стиснутый бетонными стенами в подтеках, напоминающих птичий помет, я испытывал чувство, будто нахожусь в кабине подъемного крана, нависшего над скелетом недостроенного здания.

Я должен найти ее. Но отсюда я не могу и шага ступить вперед. Видимо, и это в конце концов часть все того же ограниченного пространства. И все-таки куда же она исчезла? Я с опаской глянул вниз; но в темноте ничего не увидел. А что если сделать еще один шаг? Любопытно. Наверно, там то же самое. Все то же, что происходит в пределах этого дома.

Да, чтобы не забыть, еще одно важное добавление. Самое главное при подготовке ящика — оставить в нем достаточно пустого места для своих записей. Хотя нет, пустого места всегда будет достаточно. Как усердно ни делай записи, заполнить пустое место целиком все равно не удастся. Меня всегда удивляет, что некоторые записи значат столько же, сколько пустое место. Во всяком случае, необходимое пространство для имени всегда останется. Но если ты не хочешь верить, не верь, мне все равно.

Ящик, по виду простой обычный куб, на самом деле, если посмотреть на него изнутри, представляет собой запутанный лабиринт с замысловато петляющими дорожками. И сколько ни мечись в ящике, он — еще один слой кожи, покрывший твое тело, — изобретает все новые и новые дорожки в своем лабиринте, в которых окончательно запутываешься.

Несомненно, где-то в этом лабиринте исчезла и она. Не убежала, нет, просто не в силах найти то место, где сейчас нахожусь я. Теперь я могу сказать это с полной уверенностью. Я нисколько не раскаиваюсь. Когда путеводных нитей много, то пусть существует столько правд, сколько путеводных нитей.

Слышится сирена «скорой помощи».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Н. Федоренко. Кобо Абэ. Впечатления в мысли</i>	3
ЧУЖОЕ ЛИЦО	17
СОЖЖЕННАЯ КАРТА	209
ЧЕЛОВЕК-ЯЩИК	431

Абэ Кобо

А 13 Избранное: Пер. с яп. В. Гривнина /Вступ. ст. Н. Т. Федоренко.—М.: Правда, 1988.—560 с., ил.

В издание включены три романа известного японского писателя Кобо Абэ «Чужое лицо», «Сожженная карта», «Человек-ящик», посвященные теме одиночества человека во враждебном ему капиталистическом обществе. От общества убежать нельзя — приходит к выводу Кобо Абэ. Только изменив его, можно изменить и условия человеческого существования.

А 4703000000—1591 1591—88

84, 5 Я

080(02) — 88

Кобо Абэ

ИЗБРАННОЕ

Редактор

Л. М. Кроткова

Художественный редактор

Р. А. Ключков

Технический редактор

Е. Н. Щукина

ИБ 1591

Сдано в набор 12. 06. 87 Подписано к печати 13. 07. 87.

Формат 84x108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.

Газетитра «Литературная» Печать высокая

Усл. печ. л. 29,40. Усл. кр.-отт. 29,40. Уч.-изд. л. 30,61.

Тираж 500000 экз. (1-й завод: 1—250000).

Заказ № 1430. Цена 2 р. 30к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда»
125865, ГСП, Москва А-137, улица «Правды» 24

Отпечатано в типографии издательства «Подилля»
Хмельницкого обкома Компартии Украины,
г. Хмельницкий, проспект Мира, 59.